

милан кундера

Невыносимая легкость бытия
Вальс на прощание
Бессмертие

«Издательство «Азбука»

Невыносимая легкость бытия. Вальс на прощание. Бессмертие

Милан Кундера

Аннотация
Милан Кундера. Невыносимая легкость бытия. Вальс на прощание. Бессмертие
Невыносимая легкость бытия
- Часть первая. ЛЕГКОСТЬ И ТЯЖЕСТЬ
- Часть вторая. ДУША И ТЕЛО
- Часть третья. СЛОВА НЕПОНЯТЫЕ
- Часть четвертая. ДУША И ТЕЛО
- Часть пятая. ЛЕГКОСТЬ И ТЯЖЕСТЬ
- Часть шестая. ВЕЛИКИЙ ПОХОД
- Часть седьмая. УЛЫБКА КАРЕНИНА

Вальс на прощание
- День первый
- День второй
- День третий
- День четвертый
- День пятый

Бессмертие
- Часть 1. ЛИЦО
- Часть 2. БЕССМЕРТИЕ
- Часть 3. Борьба

Часть 4. Homo Sentimentalis
Часть 5. Случайность
Часть 6. Циферблат
Часть 7. Торжество

Аннотация

Милан Кундера принадлежит к числу самых популярных писателей современности. Его книги буквально завораживают читателя изысканностью стиля, умелым построением сюжета, накалом чувств у героев. Каждое новое произведение писателя пополняет ряд бестселлеров интеллектуальной прозы.

Впервые в России в один том собраны наиболее известные романы Милана Кундеры: «Невыносимая легкость бытия», «Вальс на прощание» и «Бессмертие», обеспечившие автору почетное место среди признанных мастеров европейской литературы нашего времени.

Содержание:

Невыносимая легкость бытия
Вальс на прощание
Бессмертие

Милан Кундера
Невыносимая легкость бытия. Вальс на прощание. Бессмертие

Невыносимая легкость бытия

Часть первая. ЛЕГКОСТЬ И ТЯЖЕСТЬ

1

Идея вечного возвращения загадочна, и Ницше поверг ею в замешательство прочих философов: представить только, что когда–нибудь повторится все пережитое нами и что само повторение станет повторяться до бесконечности! Что хочет поведать нам этот безумный миф?

Миф вечного возвращения per negationem [1] говорит, что жизнь, которая исчезает однажды и навсегда, жизнь, которая не повторяется, подобна тени, она без веса, она мертва наперед и как бы ни была она страшна, прекрасна или возвышенна, этот ужас, возвышенность или красота ровно ничего не значат. Мы должны воспринимать ее не иначе, как, скажем, войну между двумя африканскими государствами в четырнадцатом столетии, ничего не изменившую в облике мира, невзирая на то, что в ней погибло в несказанных мучениях триста тысяч чернокожих.

Изменится ли что–то в войне двух африканских государств в четырнадцатом столетии,

---

[1] Примечания: 1
В отрицании (лат.)

повторяйся она бессчетное число раз в вечном возвращении?

Несомненно, изменится: война превратится в вознесшийся на века монолит, и ее нелепость станет непоправимой.

Если бы Французской революции суждено было вечно повторяться, французская историография куда меньше гордилась бы Робеспьером. Но поскольку она повествует о том, что не возвращается, кровавые годы претворились в простые слова, теории, дискуссии и, став легче пуха, уже не вселяют ужаса. Есть бесконечная разница между Робеспьером, лишь однажды объявившимся в истории, и Робеспьером, который вечно возвращался бы рубить французам головы.

Итак, можно сказать: идея вечного возвращения означает определенную перспективу, из ее дали вещи предстают в ином, неведомом нам свете; предстают без облегчающего обстоятельства своей быстротечности. Это облегчающее обстоятельство и мешает нам вынести какой–либо приговор. Как можно осудить то, что канет в Лету? Зори гибели озаряют очарованием ностальгии все кругом; даже гильотину.

Недавно я поймал себя на необъяснимом ощущении: листая книгу о Гитлере, я растрогался при

виде некоторых фотографий, они напомнили мне годы моего детства; я прожил его в войну; многие мои родственники погибли в гитлеровских концлагерях; но что была их смерть по сравнению с тем, что фотография Гитлера напомнила мне об ушедшем времени моей жизни, о времени, которое не повторится?

Это примирение с Гитлером вскрывает глубокую нравственную извращенность мира, по сути своей основанного на несуществовании возвращения, ибо в этом мире все наперед прощено и, стало быть, все цинично дозволено.

2

Если бы каждое мгновение нашей жизни бесконечно повторялось, мы были бы прикованы к вечности, как Иисус Христос к кресту. Вообразить такое ужасно. В мире вечного возвращения на всяком поступке лежит тяжесть невыносимой ответственности. Это причина, по которой Ницше называл идею вечного возвращения самым тяжким бременем (das schwerste Gewicht).

А коли вечное возвращение есть самое тяжкое бремя, то на его фоне наши жизни могут предстать перед нами во всей своей восхитительной легкости. Но действительно ли тяжесть ужасна, а легкость восхитительна? Самое тяжкое бремя

сокрушает нас, мы гнемся под ним, оно придавливает нас к земле. Но в любовной лирике всех времен и народов женщина мечтает быть придавленной тяжестью мужского тела. Стало быть, самое тяжкое бремя суть одновременно и образ самого сочного наполнения жизни. Чем тяжелее бремя, тем наша жизнь ближе к земле, тем она реальнее и правдивее.

И, напротив, абсолютное отсутствие бремени ведет к тому, что человек делается легче воздуха, взмывает ввысь, удаляется от земли, от земного бытия, становится полуреальным, и его движения столь же свободны, сколь и бессмысленны.

Так что же предпочтительнее: тяжесть или легкость? Этот вопрос в шестом веке до Рождества Христова задавал себе Парменид. Он видел весь мир разделенным на пары противоположностей:

свет — тьма; нежность — грубость; тепло — холод; бытие — небытие. Один полюс противоположности был для него позитивным (свет, тепло, нежность, бытие), другой негативным. Деление на полюс позитивный и негативный может нам показаться по–детски простым. За исключением одного примера: что же позитивно — тяжесть или легкость?

Парменид ответил: легкость — позитивна, тяжесть — негативна. Прав ли он был или нет? Вот в чем вопрос. Несомненно одно: противоположность «тяжесть — легкость» есть самая загадочная и самая многозначительная из всех противоположностей.

3

Я думаю о Томаше уже много лет, но лишь в свете этих раздумий увидел его явственно. Увидел, как он стоит у окна своей квартиры, смотрит поверх двора на стены супротивного дома и не знает, что делать.

Он впервые встретил Терезу три недели назад в одном маленьком чешском городке. Едва ли час провели они вместе. Она проводила его на вокзал и ждала, пока он не сел в поезд. Десятью днями позже она приехала к нему в Прагу. Они познали друг друга еще в тот же день. Ночью начался у нее жар, и затем она неделю пролежала в гриппе у него дома.

Томаш почувствовал тогда неизъяснимую любовь к этой почти незнакомой девушке; ему казалось, что это ребенок, которого положили в просмоленную корзинку и пустили по реке, чтобы он выловил ее на берег своего ложа.

Она пробыла у него неделю, пока не поправи-

лась, а потом снова уехала в свой городок, что в двухстах километрах от Праги. И тут наступила та минута, о которой я говорил и которая представляется мне ключом к его жизни: он стоит у окна, смотрит поверх двора на стены супротивного дома и размышляет.

Надо ли ему навсегда позвать ее в Прагу? Он боялся этой ответственности. Позови он ее сейчас, она приедет и предложит ему всю свою жизнь.

Или уж вовсе не напоминать ей о себе? Это значит, Тереза останется официанткой в ресторане того захолустного городка, и он никогда не увидит ее.

Хотел ли он, чтобы она приехала к нему, или не хотел?

Он смотрел поверх двора на супротивные стены и искал ответ.

Вновь и вновь он вспоминал, как она лежала на тахте; она не вызывала в памяти никого из его прошлой жизни. Она не была ни возлюбленной, ни женой. Это был ребенок, которого он вынул из просмоленной корзинки и опустил на берег своего ложа. Она уснула. Он наклонился к ней. Ее горячечное дыхание участилось, раздался слабенький стон. Он прижался лицом к ее лицу и стал шептать ей в сон утешные слова. Вскоре

он заметил, что ее дыхание успокаивается, и ее лицо невольно приподнимается к его лицу. Он слышал из ее рта нежное благоухание жара и вдыхал его, словно хотел наполниться доверчивостью ее тела. И вдруг он представил, что она уже много лет у него и что она умирает. Им сразу же овладело отчетливое ощущение, что смерти ее он не вынесет. Ляжет возле и захочет умереть вместе с нею. Растроганный этим воображаемым образом, он зарылся лицом в подушку рядом с ее головой и оставался так долгое время.

Теперь он стоял у окна и воскрешал в памяти ту минуту. Что это могло быть еще, как не любовь, которая вот так пришла к нему заявить о себе?

Но была ли это любовь? Ощущение, что он хочет умереть возле нее было явно преувеличенным: он тогда виделся с ней лишь второй раз в жизни! Уж не истерия ли это человека, осознавшего свою неспособность к любви и потому разыгравшего перед самим собой это чувство? К тому же его подсознание оказалось столь малодушным, что избрало для своей комедии всего–навсего жалкую официантку из захолустного городка, не имевшую почти никакого шанса войти в его жизнь!

Он смотрел поверх двора на грязные стены и понимал, что так до конца и не знает, была ли это

истерия или любовь.

И ему было грустно, что в таком положении, когда настоящий мужчина сумел бы не мешкая действовать, он колеблется и лишает самые прекрасные мгновения в жизни (он стоял на коленях у изголовья Терезы, и казалось ему, что он не вынесет ее смерти) их значения.

Он злился на себя, но потом вдруг его осенило, что не знать, чего он хочет, вполне, по сути, естественно.

Мы никогда не можем знать, чего мы должны хотеть, ибо проживаем одну — единственную жизнь и не можем ни сравнить ее со своими предыдущими жизнями, ни исправить ее в жизнях последующих.

Лучше ли быть с Терезой или остаться одному?

Нет никакой возможности проверить, какое решение лучше, ибо нет никакого сравнения. Мы проживаем все разом, впервые и без подготовки. Как если бы актер играл свою роль в спектакле без всякой репетиции. Но чего стоит жизнь, если первая же ее репетиция есть уже сама жизнь? Вот почему жизнь всегда подобна наброску. Но и «набросок» не точное слово, поскольку набросок всегда начертание чего–то, подготовка к той или иной картине, тогда как набросок, каким

является наша жизнь, — набросок к ничему, начертание, так и не воплощенное в картину.

Einmal ist keinmal, повторяет Томаш немецкую поговорку. Единожды — все равно что никогда. Если нам суждено проживать одну–единственную жизнь — это значит, мы не жили вовсе.

4

Но как–то раз, в перерыве между двумя операциями, сестра подозвала его к телефону. В трубке он услышал Терезин голос. Звонила она с вокзала. Он обрадовался. К сожалению, на сегодняшний вечер у него уже было назначено свидание, и ему пришлось пригласить ее к себе на следующий день. Но едва он повесил трубку, как стал попрекать себя, что не позвал ее тотчас. Еще было время отменить свидание! Он представил, как Тереза проведет в Праге целых полтора дня до их встречи, и его охватило желание немедля сесть в машину и поехать искать ее на пражских улицах.

Пришла Тереза вечером следующего дня. На плече у нее висела сумка на длинном ремне, и она показалась ему элегантнее, чем в прошлый раз. В руке она держала книгу. Это была «Анна Каренина» Толстого. Вела она себя оживленно, даже несколько шумно и старалась всячески под-

черкнуть, что зашла к нему случайно, благодаря особым обстоятельствам: в Праге она по делу, возможно (ее объяснения были весьма туманны), ей удастся найти здесь работу.

Потом они лежали рядом, голые и уставшие, на тахте. Была уже ночь. Он спросил ее, где она поселилась, чтобы отвезти ее туда на машине. Она в растерянности ответила, что гостиницу только собирается поискать и что ее чемодан в камере хранения на вокзале.

Еще вчера он боялся, что позови он ее к себе в Прагу, она приедет и предложит всю свою жизнь. Когда она сейчас сказала ему, что ее чемодан в камере хранения, у него вдруг мелькнула мысль, что в том чемодане ее жизнь и что прежде, чем предложить ему, она ее оставила пока на вокзале.

Он сел с ней в машину, стоявшую перед домом, заехал на вокзал, взял чемодан (большой и невероятно тяжелый) и повез его вместе с ней обратно к себе.

Как же случилось, что он так быстро принял решение, если чуть не две недели колебался и не мог заставить себя послать ей даже открытку?

Он сам был поражен. На этот раз он поступал вопреки своим принципам. Десять лет назад он

развелся с женой и переживал развод в праздничном настроении, в каком иные празднуют свадьбу. Он понял, что не создан жить вместе ни с одной женщиной и что может оставаться самим собой лишь в положении холостяка. Он всеми силами старался создать такую систему жизни, при которой уже ни одна женщина не смогла бы поселиться у него с чемоданом. Из этих соображений в его квартире стояла лишь одна тахта. Хотя она и была достаточно широкой, Томаш уверял всех своих возлюбленных, что не способен ни с кем уснуть в одной постели, и после полуночи всегда отвозил их домой. Впрочем, и когда у него впервые оказалась Тереза, больная гриппом, он не лег с нею рядом. Первую ночь он провел в большом кресле, а затем уезжал в больницу, где у него был свой кабинет, а в нем кушетка, которой он пользовался в ночные дежурства.

На этот раз он уснул возле нее. Проснулся рано и обнаружил, что она, все еще продолжая спать, держит его за руку. Неужели они провели так всю ночь? Это казалось ему фантастичным.

Во сне она глубоко дышала, держала его за руку (так крепко, что он не мог высвободиться из этих тисков), а немыслимо тяжелый чемодан стоял возле постели.

Боясь разбудить Терезу, он, не высвобождая своей руки, лишь осторожно повернулся на бок, чтобы лучше видеть ее.

И снова подумалось, что Тереза ребенок, которого положили в просмоленную корзинку и пустили по течению. Но можно ли позволить корзинке с ребенком плыть по бушующей реке?! Если бы дочь фараона не выловила из волн корзинку с младенцем Моисеем, не было бы Ветхого Завета и всей нашей цивилизации! Столько старых мифов начинается с того, что кто–то спасает подкидыша. Не прими Полиб маленького Эдипа, Софокл не написал бы своей самой прекрасной трагедии!

Томаш тогда еще не понимал, что метафора — опасная вещь. С метафорами шутки плохи. Даже из единственной метафоры может родиться любовь.

5

Он жил с женой менее двух лет и произвел с ней на свет одного ребенка. На бракоразводном процессе суд присудил ребенка матери, а Томаша обязал платить на него треть своего заработка. При этом гарантировал ему право видеть сына каждое второе воскресенье.

Однако всякий раз, когда Томаш собирался

встретиться с мальчиком, его мать находила какую–нибудь отговорку. Конечно, приноси он им дорогие подарки, свиданий он добивался бы куда легче. Да, за любовь сына надо было платить, а то и переплачивать. Он представлял себе, как в будущем по–донкихотски захочет привить сыну свои взгляды, в корне противоположные взглядам матери, и его уже заранее охватывала усталость. Когда в очередное воскресенье бывшая жена снова в последнюю минуту отказала ему в свидании с сыном, он внезапно решил, что уже никогда в жизни не пожелает его видеть.

Почему, впрочем, он должен был испытывать к этому ребенку, с которым его не связывало ничего, кроме одной неосмотрительной ночи, нечто большее, чем к любому другому? Он будет аккуратно платить алименты, но пусть уж никто не заставляет его бороться за право на сына в угоду каким–то отцовским чувствованиям.

Естественно, такие рассуждения ни у кого не вызвали симпатии. Его собственные родители осудили его и объявили, что коль скоро Томаш отказывается интересоваться своим сыном, то и они, родители Томата, перестают интересоваться своим. При этом они остались в демонстративно хороших отношениях с невесткой и похвалялись

всем и вся своим примерным поведением и чувством справедливости.

Так, в течение короткого времени, ему удалось избавиться от жены, сына, матери и отца. Единственное, что они по себе оставили в нем — это страх перед женщинами. Он желал их, но боялся. Между страхом и желанием ему пришлось создать некий компромисс; он определял его словами «эротическая дружба». Он убеждал своих любовниц: лишь те отношения, при которых нет ни следа сентиментальности и ни один из партнеров не посягает на жизнь и свободу другого, могут принести обоим счастье.

И желая заручиться уверенностью, что так называемая эротическая дружба никогда не перерастет в агрессивность любви, он встречался с каждой из своих постоянных любовниц лишь после весьма длительных перерывов. Он считал этот метод совершенным и пропагандировал его среди друзей. «Следует придерживаться правила тройного числа. Либо видеться с одной женщиной в течение короткого промежутка времени, но при этом не более трех раз. Либо встречаться с ней долгими годами, но при условии, что между свиданиями проходит по меньшей мере три недели».

Эта система давала Томашу возможность не расходиться со своими постоянным любовницами и параллельно иметь множество непостоянных. Его не всегда понимали. Среди подруг с наибольшим пониманием к нему относилась Сабина. Будучи художницей, она говорила: «Я люблю тебя, поскольку ты полная противоположность кича. В империи кича ты считался бы монстром. В любом сценарии американского или русского фильма ты не мог бы представлять собою ничего, кроме примера устрашающего».

Именно к Сабине Томаш обратился за помощью, когда ему понадобилось подыскать для Терезы работу в Праге. Следуя неписаным правилам эротической дружбы, Сабина пообещала ему сделать все, что в ее силах, и вскоре нашла–таки место в фотолаборатории одного иллюстрированного еженедельника. Это место не требовало никакой особой квалификации, однако сразу же возвысило Терезу: от уровня официантки до статуса сотрудника прессы. Она сама привела Терезу в редакцию, и Томаш тогда говорил себе, что в жизни у него не было лучшей подруги, чем Сабина.

6

Неписаный договор эротической дружбы пред-

полагал, что Томаш исключает любовь из своей жизни. Если бы он нарушил это условие, все прочие его любовницы сразу бы оказались на второстепенных ролях и взбунтовались.

Вот почему он постарался снять для Терезы квартиру, куда ей пришлось отнести свой тяжелый чемодан. Ему хотелось заботиться о ней, оберегать ее, наслаждаться ее присутствием, но у него не было ни малейшего желания изменить свой образ жизни. Никто не должен знать, что Тереза спит в его доме. Общий сон, выходит, был corpus delicti [2] любви.

С другими любовницами он не спал никогда. Посещая их, он мог уйти в любое время. Хуже было, когда они приходили к нему, и он вынужден был им объяснять, что страдает бессонницей, что рядом с другим человеком не может уснуть и потому после полуночи отвезет их домой. Эти объяснения были недалеки от правды, но главная причина крылась в другом, гораздо худшем, и он не осмеливался ее высказать: в минуту, следовавшую за любовной близостью, его охватывало непреодолимое желание остаться одному; пробуждаться посреди ночи рядом с чужим су-

---

[2] Примечания: 2
Вещественными доказательствами (лат.)

ществом ему было неприятно; общее утреннее вставание его отвращало; ему вовсе не хотелось, чтобы кто–то слышал, как в ванной он чистит зубы, не привлекал его и завтрак тет–а–тет.

Поэтому он был так поражен, когда, проснувшись, осознал, что Тереза крепко держит его за руку. Он смотрел на нее и не мог достаточно ясно понять, что случилось. Он вспомнил о только что пережитых часах, и ему казалось: от них исходит запах какого–то неизведанного счастья.

С той поры они оба наслаждались совместным сном. Я бы даже сказал, целью соития был для них не оргазм, а сон, следовавший за ним. И особенно она не могла спать без него. Когда случалось ей оставаться одной в снятой ею квартирке (все больше становившейся лишь алиби), она не могла уснуть всю ночь. А в его объятиях засыпала, какой бы возбужденной она ни была. Он шепотом рассказывал сказки, которые сочинял для нее, молол всякую чепуху или монотонно повторял слова, то успокоительные, то смешные. Эти слова превращались в путаные видения, которые уводили ее в первое забытье. Он полностью владел ее сном, и она засыпала в то мгновение, какое избирал он.

Когда они спали, она держалась за него, как

в первую ночь: крепко сжимала его запястье, палец, лодыжку. Если он хотел удалиться, не разбудив ее, ему приходилось пускаться на хитрости. Он высвобождал из ее тисков палец (запястье, лодыжку), что всегда отчасти будило ее, поскольку и во сне она чутко сторожила его. И успокаивалась лишь тогда, когда он всовывал ей в руку вместо пальца какую–нибудь вещь (свернутую пижаму, туфлю, книгу), которую она сжимала затем так же крепко, как если бы это был кусочек его тела.

Однажды, когда он только усыпил ее и она, пребывая еще на первой ступеньке сна, способна была отвечать на его вопросы, он сказал ей: «Так. А теперь я уйду». — «Куда?» — спросила она. «Ухожу отсюда», — сказал он строгим голосом. «Я иду с тобой!» — сказала она и привстала на постели. «Нет, нельзя. Я ухожу навсегда», — сказал он и вышел из комнаты в переднюю. Она поднялась и с прищуренными глазами пошла за ним. В одной короткой сорочке, под которой ничего не было. Лицо неподвижное, без выражения, но движения энергичны. Он из передней вышел в коридор (общий коридор многих обитателей дома) и закрыл перед ней дверь. Она тут же отворила ее и пошла за ним, убежденная во сне, что он хочет уйти от нее навсегда и что надо удержать его.

Он спустился на лестничную площадку этажом ниже и там подождал ее. Она сошла к нему, взяла его за руку и повела назад в постель.

Томаш говорил себе: быть в близких отношениях с женщиной и спать с женщиной — две страсти не только различные, но едва ли не противоположные. Любовь проявляется не в желании совокупления (это желание распространяется на несчетное количество женщин), но в желании совместного сна (это желание ограничивается лишь одной женщиной).

7

Среди ночи Тереза начала стонать во сне. Томаш разбудил ее, но, увидав его лицо, она сказала с ненавистью: «Уходи! Поди прочь!» А чуть погодя рассказала ему, что ей снилось: они вдвоем и Сабина оказались в большой комнате, в центре которой была постель, точно подмостки в театре. Томаш велел ей стоять в углу, а сам у нее на глазах стал любить Сабину. Это зрелище причиняло ей невыносимые страдания. Стремясь перебить боль души болью тела, она стала всаживать себе под ногти иголки. «Было ужасно больно», — говорила она и сжимала в кулак пальцы, словно они и вправду были изранены.

Он обнял ее, и она медленно (еще долго дрожа)

засыпала в его объятиях.

Думая об этом сне на следующий день, он кое–что вспомнил. Он открыл письменный стол и вынул из него пачку писем, которые ему писала Сабина. Он быстро нашел это место: «Я хотела бы любить тебя в своей мастерской, словно это сцена. Вокруг стояли бы люди, не смея приблизиться ни на шаг. Но и глаз они не могли б от нас оторвать…»

И что хуже всего: на письме была дата. Была сравнительно свежей, тогда как Тереза уже долгое время жила у Томаша.

— Ты рылась в моих письмах! — накинулся он на нее.

Не отпираясь, она сказала:

— Ну так выгони меня!

Но он не выгнал ее. Он будто видел ее перед глазами: она стоит, прижавшись к стене Сабининой мастерской и вонзает себе иголки под ногти. Он взял ее пальцы, стал гладить их и, поднеся к губам, целовать, словно на них еще были следы крови.

Но с той поры словно все взбунтовалось против него. Почти каждый день она узнавала какие–то новые подробности его тайной интимной жизни.

Поначалу он все отрицал. Если находились доказательства слишком очевидные, он утверждал, что его полигамная жизнь отнюдь не перечеркивает его любви к ней. Правда, он не отличался последовательностью: то отрицал свои измены, то оправдывал их.

Однажды он позвонил какой–то женщине, чтобы договориться о встрече. Когда кончил разговаривать, услышал из соседней комнаты какой–то странный звук, точно у кого–то громко стучали зубы.

Оказалось, Тереза по чистой случайности пришла к нему, а он и не заметил этого. Сейчас она держала пузырек с успокоительным, лила содержимое прямо в рот, и рука ее так тряслась, что пузырек стучал о зубы.

Он бросился к ней, будто хотел спасти утопающую от гибели. Пузырек упал на пол, забрызгав валерьяновыми каплями ковер. Она сопротивлялась, пыталась вырваться, но он чуть ли не четверть часа сжимал ее в объятиях, словно в смирительной рубашке, пока она не успокоилась.

Он понимал, что оказался в положении, которому нет оправдания, ибо оно основано на полном неравенстве.

Еще до того как она обнаружила его переписку с Сабиной, он был с нею и несколькими друзьями в баре. Отмечали новую Терезину должность. Она покинула лабораторию и стала фотографом еженедельника. Поскольку он сам не любил танцевать, Терезой завладел его молодой коллега. Эта пара прекрасно смотрелась на танцевальной площадке бара, и Тереза казалась ему красивей обычного. Он изумленно наблюдал, с какой точностью и послушностью она на какую–то долю секунды предупреждает волю своего партнера. Этот танец словно бы говорил о том, что ее жертвенность, какая–то возвышенная мечта исполнить то, что она читает в глазах Томаша, вовсе не была нерасторжимо связана только с ним, а готова была ответствовать зову любого мужчины, который встретился бы ей вместо него. Не было ничего проще вообразить себе, что Тереза и его коллега — любовники. Простота этого воображаемого образа больно ранила его! Он вдруг осознал, что Терезино тело без труда представляемо в любовном соитии с другим мужским телом, и впал в уныние. Лишь поздно ночью, когда они вернулись домой, он признался ей в своей ревности.

Эта абсурдная ревность, исходившая всего

лишь из теоретической возможности, была доказательством того, что Терезину верность он считал безусловной предпосылкой их любви. Так мог ли он попрекать ее тем, что она ревновала к вполне реальным его любовницам?

8

Днем она старалась (хоть и с частичным успехом) верить тому, что говорил Томаш, и быть веселой, какой была до сих пор. Однако ревность, укрощенная днем, тем безудержнее проявлялась в ее снах, кончавшихся рыданиями, которые он обрывал, лишь разбудив ее.

Сны повторялись, как темы с вариациями или как телевизионные многосерийные фильмы. Ей часто, например, снились сны о кошках, которые прыгали на лицо и впивались когтями в кожу. Мы можем найти для этого достаточно простое объяснение: «кошка» в чешском арго означает красивую женщину. Тереза постоянно чувствовала над собой угрозу, исходившую от женщин, от всех женщин. Все женщины были потенциальными любовницами Томаша, и она боялась их.

В другом цикле снов ее посылали на смерть. Однажды, среди ночи, когда он разбудил ее, кричавшую от ужаса, она стала рассказывать: «Это был большой крытый бассейн. Нас было около

двадцати. Одни женщины. Мы все были голые и маршировали вокруг бассейна. Под потолком была подвешена корзина, и в ней стоял мужчина. На нем была широкополая шляпа, затенявшая его лицо, но я знала, что это ты. Ты подавал нам команды. Кричал. В строю мы должны были петь и делать приседания. Стоило какой–нибудь женщине неудачно присесть, ты стрелял в нее из пистолета, и она мертвая падала в бассейн. В ту минуту все начинали смеяться и петь еще громче. А ты не спускал с нас глаз, и если какая снова допускала оплошность, ты убивал ее. Бассейн был полон трупов, они плавали под самой водяной гладью. Я чувствовала, что у меня нет уже сил сделать еще одно приседание, и что ты застрелишь меня!»

В третьем цикле снов она была мертвой.

Она лежала на катафалке, таком же большом, как фургон для перевозки мебели. Вокруг нее были одни мертвые женщины. Было их столько, что задние двери не закрывались, и ноги некоторых торчали наружу.

Тереза кричала: «Я же не мертвая! Я все чувствую!»

«Мы тоже все чувствуем», — смеялись трупы.

Они смеялись совершенно таким же смехом,

как и те живые женщины, которые когда–то с радостью убеждали ее, что если у нее будут плохие зубы, больные яичники и морщины, так это в порядке вещей: у них тоже плохие зубы, больные яичники и морщины. С таким же смехом они теперь объясняли ей, что она мертвая и что это совершенно нормально!

Потом ей вдруг захотелось помочиться. Она крикнула: «Мне же хочется по — маленькому! Это доказывает, что я не мертвая!»

А они снова смеялись: «Это нормально, что тебе хочется писать. Все эти ощущения надолго еще останутся. Как если кому отнимают ногу, а он потом еще долго ее чувствует. У нас уже нет мочи, а нам все время хочется по — маленькому».

Тереза прижималась в постели к Томашу:

— И все мне говорили «ты», будто издавна знали меня, будто это были мои подруги, и меня обуял ужас, что теперь я останусь с ними навеки!

9

Все языки, восходящие к латыни, образуют слово «сострадание» с помощью приставки «со-» (corn-) и корня, который изначально означал «страдание» (поздняя латынь: passio). На другие языки — например, на чешский, польский, немецкий, шведский — это слово переводится

существительным, состоящим из приставки того же значения, сопровождаемой словом «чувство» (по–чешски: soucit; по–польски: wspolczucie; по–немецки: Mitgefuhl; по — шведски: medkansla).

В языках, восходящих к латыни, слово «сострадание» (compassion) означает: мы не можем с холодным сердцем смотреть на страдания другого; или: мы соболезнуем тому, кто страдает. От другого слова, имеющего приблизительно то же значение (от французского pitie, от английского pity, от итальянского pieta и так далее), исходит даже некая снисходительность по отношению к тому, кто страдает. Avoir de la pitie pour une femme означает, что нам лучше, чем женщине, что мы с жалостью склоняемся над ней, снисходим до нее.

Вот причина, по которой слово «сострадание» вызывает определенное недоверие; кажется, что оно выражает какое–то худшее, второразрядное чувство, имеющее мало общего с любовью. Любить кого–то из сострадания значит не любить его по–настоящему.

В языках, образующих слово «сочувствие» не от корня «страдание» (passio), а от корня «чувство», это слово употребляется приблизительно в том же смысле, но сказать, что оно выражает какое–то

худшее, второразрядное чувство, было бы нельзя. Тайная сила этимологии этого слова озаряет его иным светом и придает ему более широкий смысл: сочувствовать (или же иметь сочувствие) значит не только уметь жить несчастьем другого, но и разделять с ним любое иное чувство: радость, тревогу, счастье, боль. Такого рода «сочувствие» (в смысле soucit, wspolczucie, Mitgefuhl, medkansla) означает, стало быть, максимальную способность эмоционального воображения, искусство эмоциональной телепатии. В иерархии чувств это чувство самое высокое.

Когда Тереза рассказывала Томашу о своем сне, в котором вонзала себе под ногти иголки, она тем самым призналась в том, что украдкой просматривала его ящики. Сделай это какая–нибудь другая женщина, он бы в жизни уже с нею не разговаривал. Тереза это знала и потому сказала ему: «Выгони меня!» Но он не только не выгнал ее, но схватил ее за руку и стал целовать кончики пальцев, ибо в ту минуту сам почувствовал боль под ее ногтями, словно нервы ее пальцев врастали прямо в кору его мозга.

Любой, кто не наделен дьявольским даром, называемым «сочувствие», способен лишь холодно осудить Терезу за ее поступок, ибо личная жизнь

другого человека — священна, и ящики с его интимными письмами открывать не положено. Но поскольку сочувствие стало уделом Томаша (или проклятием), ему представилось, что это он сам стоял на коленях перед открытым ящиком письменного стола и не мог оторвать взгляда от фраз, написанных Сабиной. Он понимал Терезу и не только не в состоянии был сердиться на нее, но любил ее еще больше.

10

Ее движения становилась резкими и беспорядочными. С тех пор как она обнаружила его измены, прошло два года, но чем дальше, тем становилось ей хуже. Выхода не было.

В самом деле, неужто он не мог оборвать свои эротические дружбы? Нет, не мог. Это разрушило бы его. У него не было сил перебороть свою тягу к другим женщинам. Да он и не видел в том нужды. Никто не знал лучше, чем он, что все его похождения ничем не угрожают Терезе. Так надо ли отказываться от них? Ему казалось это столь же бессмысленным, как если бы он ни с того ни с сего перестал ходить на футбол.

Но можно ли при этом говорить о радости? Уже в ту минуту когда он уходил к своей очередной любовнице, он испытывал к ней неприязнь и

зарекался больше никогда не встречаться с нею. Перед его мысленным взором стояла Тереза, и дабы не думать о ней, он был вынужден оглушать себя алкоголем. Да. с той поры как он познал Терезу, он не мог сблизиться ни с одной женщиной без спиртного. Но именно дыхание, отдававшее алкоголем, было тем следом, по которому Тереза еще легче дознавалась о его изменах.

За ним захлопнулась ловушка: в минуту, когда он шел к любовнице, он переставал желать ее, но стоило ему остаться хоть на день без женщины, как он уже набирал номер телефона, мечтая о встрече с одной из них.

По–прежнему ему ни с кем не было так хорошо, как с Сабиной. Он знал, что она не болтлива и что не надо опасаться разглашения их тайны. Ее мастерская встречала его как воспоминание о его прошлой жизни, идиллической жизни холостяка.

Он, пожалуй, и сам не сознавал, как изменился: боялся поздно прийти домой, ибо там его ждала Тереза. Сабина однажды даже заметила, что он смотрит на часы во время любовных утех и тщится ускорить их завершение.

Затем, все еще обнаженная, она прошлась ленивым шагом по мастерской, остановилась

перед мольбертом с начатой картиной и краем глаза стала наблюдать, как Томаш поспешно одевается.

Вот он уже оделся, хотя одна нога все еще была босая. Он поозирался, потом встал на четвереньки и заглянул под стол.

Сабина сказала: — Смотрю на тебя, и у меня возникает ощущение, что ты превращаешься в вечную тему моих картин. Встреча двух миров. Двойная экспозиция. За силуэтом Томаша–либертина проглядывает удивительное лицо романтического любовника. Или наоборот: сквозь фигуру Тристана, который не думает ни о чем другом, кроме как о своей Терезе, виден прекрасный, отверженный мир либертина.

Томаш выпрямился, рассеянно слушая Сабинины слова.

— Что ты ищешь? — спросила она.

— Носок.

Она вместе с ним оглядела комнату, и он снова встал на четвереньки и посмотрел под стол.

— Нет здесь твоего носка, — сказала Сабина. — Ты, наверное, пришел без него.

— Как я мог прийти без него? — вскричал Томаш и посмотрел на часы. — Не пришел же я в одном носке!

— Не исключено. В последнее время ты ужасно рассеян. Все куда–то торопишься, смотришь на часы и потому неудивительно, что забываешь о носке.

Он уж был готов надеть ботинок на босу ногу.

— На улице холодно, — сказала Сабина. — Возьми мой чулок.

Она подала ему длинный белый модный чулок, вязанный крючком крупными петлями.

Он прекрасно понимал, что это месть за то, что он смотрел на часы, когда они были вместе. Она явно спрятала носок. Было действительно холодно, и ему ничего не оставалось, как подчиниться. Он уходил в носке на одной ноге и в закатанном над щиколоткой белом чулке на другой.

Положение его было отчаянным: для любовниц он был отмечен постыдным клеймом своей любви к Терезе, для Терезы — постыдным клеймом своих любовных похождений.

11

Чтобы приглушить ее страдания, он женился на ней (наконец–то они отказались от найма квартиры, в которой она уже давно не жила) и достал ей щенка.

Родился он у суки породы сенбернар, принадлежавшей коллеге Томаша. Отцом щенят был

соседский пес — овчарка. Охотников на маленьких бастардов не нашлось, а хозяину жалко было их убивать.

Выбирая среди щенков, Томаш знал, что те, которых он не выберет, должны будут умереть. Он представлялся себе президентом республики, который стоит перед четырьмя осужденными на смерть и властен помиловать лишь одного. Наконец он выбрал щенка, сучку, телом она походила на овчарку, а головой на мамочку — сенбернара. Принес Терезе. Она подняла песика, прижала его к груди, и он вмиг обмочил ей блузку.

Они взялись подыскивать ему имя. Томаш хотел, чтобы уже по одному имени было ясно, что собака принадлежит Терезе, и вспомнил о книге, которую она сжимала под мышкой, когда незванно приехала в Прагу. Он предложил назвать щенка Толстым.

— Не может он быть Толстым, — возразила Тереза, — потому что это девочка. Она может быть Анной Карениной.

— Нет, она не может быть Анной Карениной, такая смешная моська не может быть ни у одной женщины, — сказал Томаш. — Это скорее Каренин. Вот именно, Каренин. Точно таким я его и представлял.

— Но если мы станем звать ее Каренин, не повлияет ли это на ее сексуальность?

— Вполне возможно, — сказал Томаш, — что сука, которую хозяйка постоянно называет именем кобеля, будет иметь лесбийские наклонности.

Томашевы слова удивительным образом сбылись. Хотя обычно сука тянется больше к хозяину, чем к хозяйке, Каренин испытывал противоположные чувства. Он решил быть влюбленным в Терезу, и Томаш был ему за это премного благодарен. Гладил его по голове и приговаривал: «Ты молодец, Каренин. Именно этого я и хотел от тебя. Если меня одного ей мало, ты должен мне помочь».

Но даже с помощью Каренина ему не удалось сделать ее счастливой. Он осознал это примерно на десятый день после того, как его страну захватили русские танки. Был август 1968 года, Томашу каждый день звонил из Цюриха директор тамошней клиники, с которым Томаш подружился на одной международной конференции. Он опасался за Томаша и предлагал ему место.

12

Если Томаш и отказывался от предложений швейцарца почти без колебаний, то причиной тому была Тереза. Он предполагал, что ехать туда

ей не хотелось бы. Кстати сказать, всю первую неделю оккупации она провела в каком–то экстазе, походившем почти на ощущение счастья. Она сновала по улицам с фотоаппаратом и раздавала пленки заграничным журналистам, которые чуть ли не дрались из–за них. Однажды, когда она вела себя слишком дерзко, пытаясь сфотографировать офицера, нацелившего пистолет на группу людей, ее задержали и оставили на ночь в русской комендатуре. Ей угрожали расстрелом, однако как только отпустили, она снова вышла на улицы и продолжала отщелкивать пленку.

И, конечно, Томаш весьма удивился, услышав от нее на десятый день оккупации такие слова:
— Почему ты не хочешь ехать в Швейцарию?

— А почему я должен ехать?

— Здесь они могут свести с тобой счеты.

— С каждым из нас они могут свести счеты, — махнув рукой, сказал Томаш. — А ты согласна была бы жить за границей?

— А почему нет?

— Я видел, как ты рисковала жизнью ради этой страны. Трудно представить, что теперь ты смогла бы покинуть ее.

— С тех пор как Дубчек вернулся, все изменилось, — сказала Тереза. И вправду: та всеобщая

эйфория продолжалась лишь первую неделю оккупации. Руководители страны были вывезены русской армией как преступники, никто не знал, где они, все дрожали за их жизнь, и ненависть против пришельцев пьянила, как алкоголь. Это было хмельное торжество ненависти. Чешские города были украшены тысячами нарисованных от руки плакатов со смешными надписями, эпиграммами, стихами, карикатурами на Брежнева и его армию, над которой все потешались, как над балаганом простаков. Однако ни одно торжество не может длиться вечно. Русские принудили чешских государственных деятелей подписать в Москве некое компромиссное соглашение. Дубчек вернулся с ним в Прагу и зачитал его по радио. После шестидневного заключения он был так раздавлен, что не мог говорить, заикался, едва переводил дыхание, прерывая фразы бесконечными, чуть не полминутными паузами.

Компромисс спас страну от самого страшного: от казней и массовых ссылок в Сибирь, вселявших во всех ужас. Но одно было ясно: Чехия обречена теперь вовек заикаться, запинаться и ловить ртом воздух, как Александр Дубчек. Праздник кончился. Настали будни унижения.

Все это говорила Тереза Томашу; он знал, что

это правда, но знал и то, что за этой правдой кроется еще другая, более существенная причина, по какой Тереза хочет уехать из Праги: в прошлом она не была счастлива.

Дни, когда она фотографировала советских солдат на пражских улицах и лицом к лицу встречалась с опасностью, были самыми прекрасными в ее жизни. Это были единственные дни, когда телевизионный сериал ее снов оборвался и ночи ее стали счастливыми. Русские на своих танках принесли ей душевное равновесие. Теперь, когда праздник кончился, она снова стала бояться своих ночей и хотела бы бежать от них. Она поняла, что бывают обстоятельства, при которых она может чувствовать себя сильной и счастливой, и мечтала теперь уехать в другой мир с надеждой, что там снова встретится с чем–то подобным.

— А тебя не волнует, — спросил Томаш, — что Сабина тоже эмигрировала в Швейцарию?

— Женева не Цюрих, — сказала Тереза. — Думаю, там она будет волновать меня меньше, чем волновала в Праге.

Человек, мечтающий покинуть место, где он живет, явно несчастлив. Томаш принял желание Терезы эмигрировать, словно злоумышленник, принимающий приговор. Он покорился ему и в

один прекрасный день оказался с Терезой и Карениным в самом крупном городе Швейцарии.

13

В пустую квартиру он купил одну кровать (на другую мебель денег пока не было) и окунулся в работу со всей истовостью человека, начинающего после сорока новую жизнь.

Несколько раз он звонил в Женеву Сабине. Ей повезло: выставка ее картин открылась за неделю до русского вторжения, так что швейцарские меценаты, увлеченные волной симпатии к маленькой стране, раскупили все ее работы.

— Благодаря русским я разбогатела, — смеялась Сабина в трубку. Она позвала Томаша к себе в новую мастерскую, заверив его, что она мало чем отличается от той, которую он знает по Праге.

Томаш, конечно, рад был ее навестить, но никак не мог придумать предлога, каким сумел бы оправдать свою поездку в глазах Терезы. И потому Сабина приехала в Цюрих. Поселилась в гостинице. Томаш пришел туда после работы, позвонил ей из холла и сразу же поднялся к ней в номер. Открыв дверь, она предстала перед ним на своих красивых длинных ногах, полураздетая, в одних трусиках и бюстгальтере. На голове у нее был черный котелок. Она смотрела на него

долгим, неподвижным взглядом и не говорила ни слова. И Томаш стоял молча. А потом вдруг понял, как он растроган. Он снял с ее головы котелок и положил на тумбочку у кровати. И тут же, так и не перемолвившись словом, они отдались любви.

Уходя из гостиницы в свою цюрихскую квартиру (уже давно пополнившуюся столом, стульями, креслами, ковром), он не без радости говорил себе, что носит с собой свой образ жизни так же, как улитка — свой домик. Тереза и Сабина являли два полюса его жизни, полюсы отдаленные, непримиримые и, однако, оба прекрасные.

Но именно потому, что систему своей жизни он носил повсюду с собой, словно она приросла к его телу, Терезе продолжали сниться все те же сны.

Они жили в Цюрихе уже месяцев шесть или семь, когда он однажды, вернувшись поздно вечером домой, нашел на столе письмо. Тереза сообщала ему, что уехала в Прагу. Уехала потому, что не в силах жить за границей. Она сознает, что должна была стать здесь опорой ему, но сознает также и свою неспособность к этому. Она наивно полагала, что заграница изменит ее. Верила, что после всего пережитого в дни вторжения она уже не будет мелочна, станет взрослой, умной, сильной, но она переоценила себя. Она в тягость ему

и не может больше выносить это. Она обязана сделать из этого необходимые выводы прежде, чем будет совсем поздно. И просит простить ее, что взяла с собой Каренина.

Он принял сильное снотворное, но уснул только под утро. К счастью, была суббота, и он мог остаться дома. В сотый раз он взвешивал все обстоятельства: граница между его страной и остальным миром уже закрыта, прошли те времена, когда они уезжали. Никакими телеграммами и телефонными звонками Терезу обратно не вызволишь. Власти уже не выпустят ее за границу. Ее отъезд непостижимо бесповоротен.

14

Сознание, что он абсолютно беспомощен, действовало на него, словно палочные удары, но при том, как ни странно, и успокаивало его. Никто не понуждал его принимать то или иное решение. Ему не надо было смотреть на стены супротивного дома и задаваться вопросом, хочет он жить с Терезой или не хочет. Она все решила сама.

Он пошел в ресторан пообедать. Было горестно, но за едой первоначальное отчаяние как бы отступило, как бы утратило свою силу, истаяв в обычную меланхолию. Он оглядывался на годы, которые прожил с Терезой, и ему казалось, что

вся их история не могла завершиться удачнее, чем завершилась. Если бы кто–то даже придумал эту историю, то вряд ли мог бы закончить ее иначе: Тереза пришла к нему по собственной воле. Таким же образом в один прекрасный день и ушла. Приехала с одним тяжелым чемоданом. С одним тяжелым чемоданом и уехала.

Он расплатился, вышел из ресторана и стал прохаживаться по улицам, исполненный меланхолии, которая становилась все более и более прекрасной. Позади было семь лет жизни с Терезой, и теперь он убеждался, что те годы в воспоминаниях были прекрасней, чем когда он проживал их в действительности.

Любовь между ним и Терезой была прелестна, но утомительна: он постоянно должен был что–то утаивать, маскировать, изображать, исправлять, поддерживать в ней хорошее настроение, утешать, непрерывно доказывать свою любовь, быть подсудным ее ревности, ее страданиям, ее снам, чувствовать себя виноватым, оправдываться и извиняться. Это напряжение теперь исчезло, а красота осталась.

Суббота клонилась к вечеру, он впервые прогуливался по Цюриху один и вдыхал аромат своей свободы. За углом каждой улицы таилось при-

ключение. Будущее вновь стало тайной. Опять вернулась холостяцкая жизнь, жизнь, которая, как он некогда думал, была ему предначертана; лишь в ней он может оставаться воистину самим собой.

Вот уже семь лет он был привязан к Терезе, ее глаза следили за каждым его шагом. Было так, словно она привязала к его лодыжкам железные гири. А теперь неожиданно его шаг стал гораздо легче. Он чуть не парил в воздухе. Он оказался в магическом поле Парменида: он наслаждался сладкой легкостью бытия.

(Было ли у него желание позвонить в Женеву Сабине? Дать знать о себе кому–то из цюрихских женщин, с которыми он познакомился в последние месяцы? Нет, у него не было такого желания. Он чувствовал, что случись ему встретиться с какой–нибудь женщиной, воспоминание о Терезе мгновенно стало бы невыносимо мучительным).

15

Это особое меланхолическое очарование длилось до самого воскресного вечера. В понедельник все изменилось. Тереза ворвалась в его мысли: он чувствовал, каково ей было, когда она писала ему прощальное письмо; чувствовал, как у нее тряслись руки; видел, как она тащит тяжелый

чемодан в одной руке и Каренина на поводке — в другой; он представлял себе, как она отпирает их пражскую квартиру, и собственным сердцем ощущал бесприютность одиночества, пахнувшего ей в лицо, когда она открыла дверь.

В течение тех прекрасных двух дней меланхолии его сочувствие отдыхало. Сочувствие спало, как спит горняк в воскресенье после недели каторжного труда, чтобы в понедельник снова суметь спуститься в шахту.

Он осматривал больного и вместо него видел Терезу. Мысленно он наставлял себя: не думай о ней! не думай о ней! Он говорил себе: именно потому, что я болен сочувствием, хорошо, что она уехала и что я больше не увижу ее. Я должен освободиться не от нее, а от своего сочувствия, от этой болезни, которая была мне неведома, пока Тереза не заразила меня ее вирусом!

В субботу и воскресенье он испытывал сладкую легкость бытия, что приближалась к нему из глубин будущего. Но уже в понедельник навалилась на него тяжесть, какой он не знал прежде.

Все тонны стали русских танков не шли с ней в сравнение. Нет ничего более тяжкого, чем сочувствие. Даже собственная боль не столь тяжела, как боль сочувствия к кому–то, боль за кого–то,

ради кого–то, боль, многажды помноженная фантазией, продолженная сотней отголосков.

Он убеждал себя не поддаваться сочувствию, и сочувствие слушалось его, склонив голову, словно ощущало себя виноватым. Сочувствие знало, что злоупотребляет своими правами, но все–таки упорствовало исподтишка, и потому на пятый день после ее отъезда Томаш сообщил директору клиники (тому самому, который ежедневно звонил ему в оккупированную Прагу), что немедля должен вернуться на родину. Ему было стыдно. Он знал, что его поведение покажется директору безответственным и непростительным. Нестерпимо хотелось довериться ему и рассказать о Терезе и о письме, что она оставила для него на столе. Но он не сделал этого. С точки зрения швейцарского врача, поступок Терезы выглядел бы истеричным и безобразным. А Томашу не хотелось позволить кому бы то ни было думать о ней дурно.

Директор и в самом деле был обижен.

Пожав плечами, Томаш сказал:

— Es muss sein. Es muss sein.

То был намек. Последняя часть последнего Бетховенского квартета написана на эти два мотива: Muss es sein? (Должно ли это быть?) — Es muss

sein! Es muss sein! (Это должно быть!)

Чтобы смысл этих слов был совершенно ясен, Бетховен озаглавил всю последнюю часть словами: «der schwer gefasste Entschlusse», переводимыми как «тяжко принятое решение».

Этим намеком на Бетховена Томаш уже возвращался к Терезе, так как именно она заставляла его покупать пластинки с Бетховенскими квартетами и сонатами.

Намек оказался более уместен, чем Томаш ожидал, ибо директор был большим любителем музыки. Он слегка улыбнулся и тихо сказал, воспроизводя голосом Бетховенскую мелодию:

— Muss es sein?

Томаш сказал еще раз:

— Ja, es muss sein!

16

В отличие от Парменида для Бетховена тяжесть была явно чем–то положительным. «Der schwer gefasste Entschluss» (тяжко принятое решение) связано с голосом Судьбы («Es muss sein!»); тяжесть, необходимость и ценность суть три понятия, внутренне зависимые друг от друга: лишь то, что необходимо, тяжело, лишь то, что весит, имеет цену.

Это убеждение родилось из Бетховенской му-

зыки, и хотя возможно (или даже вероятно), что ответственность за него несут скорее толкователи Бетховена, чем сам композитор, ныне мы все в большей или меньшей степени разделяем его; величие человека мы усматриваем в том, что он несет свою судьбу, как нес Атлант на своих плечах свод небесный. Бетховенский герой — атлет по поднятию метафизических тяжестей.

Томаш ехал к швейцарской границе, а в моем воображении сам патлатый и хмурый Бетховен дирижировал оркестром местных пожарников и играл ему на прощание с эмиграцией марш под названием «Es muss sein!».

Затем Томаш пересек чешскую границу и натолкнулся на колонны русских танков. Ему пришлось остановить машину у перекрестка и ждать полчаса, пока они пройдут. Грозный танкист в черной форме стоял на перекрестке и управлял движением, словно все дороги в Чехии безраздельно принадлежали только ему. «Es muss sein!» — мысленно повторял Томаш, потом вдруг засомневался: в самом ли деле это должно было быть?

Да, невыносимо было оставаться в Цюрихе и представлять себе, что Тереза живет в Праге одна.

Но как долго мучило бы его сочувствие? Всю жизнь? Или целый год? Или месяц? Или всего неделю?

Откуда ему было знать? Мог ли он это испробовать?

Любой школьник на уроках физики может поставить опыт, чтобы убедиться в правильности той или иной научной гипотезы. Но человек, проживающий одну — единственную жизнь, лишен возможности проверить гипотезу опытным путем, и ему не дано узнать, должен был он или не должен был подчиниться своему чувству.

Погруженный в эти мысли, Томаш открыл дверь квартиры. Каренин пустился прыгать, норовя лизнуть его в лицо, и тем самым облегчил ему первые минуты встречи. Желание упасть Терезе в объятия (желание, которое обуревало его, еще когда он садился в Цюрихе в машину) совершенно исчезло. Ему казалось, что он стоит напротив нее посреди снежной равнины и что они оба дрожат от холода.

17

С первого дня оккупации русские военные самолеты летали над Прагой ночи напролет. Томаш от этого звука отвык и не мог уснуть.

Ворочаясь с боку на бок возле спящей Терезы,

он вспомнил вдруг фразу, сказанную ею когда–то давно посреди пустой болтовни. Они говорили о его приятеле З., и вдруг она обронила: «Если б не встретила тебя, наверняка бы влюбилась в него».

Уже тогда эти слова привели Томаша в состояние странной меланхолии. А теперь он вдруг осознал абсолютную случайность того факта, что Тереза любит его, а не приятеля З. Что кроме ее осуществленной любви к нему в империи возможностей есть еще бесконечное множество неосуществленных влюбленностей в других мужчин.

Мы все не допускаем даже мысли, что любовь нашей жизни может быть чем–то легким, лишенным всякого веса; мы полагаем, что наша любовь — именно то, что должно было быть; что без нее наша жизнь не была бы нашей жизнью. Нам кажется, что сам Бетховен, угрюмый и патлатый, играет нашей великой любви свое «Es muss sein!».

Томаш вспоминал о Терезиной обмолвке насчет приятеля З. и убеждался, что история любви его жизни не откликается никаким «Es muss sein!», скорее «Es konnte auch anders sein»: это могло быть и по–иному.

Семь лет тому в больнице Терезиного городка

случайно было обнаружено тяжелое заболевание мозга, ради которого для срочной консультации был приглашен главный врач клиники, где работал Томаш. Но у главврача случайно оказался ишиас, он не мог двигаться и послал в провинциальную больницу вместо себя Томаша. В городе было пять гостиниц, но Томаш случайно напал именно на ту, где работала Тереза. Случайно до отхода поезда у него оставалось немного свободного времени, чтобы посидеть в ресторане. Случайно была Терезина смена, и она случайно обслуживала стол, за которым сидел он. Потребовалось шесть случайностей, чтобы они подтолкнули Томаша к Терезе, словно его самого к ней не тянуло.

Он вернулся в Чехию из–за нее. Столь роковое решение опиралось на любовь столь случайную, какой и вовсе могло не быть, не уложи ишиас семь лет назад его шефа в постель. И эта женщина, это олицетворение абсолютной случайности, лежит теперь рядом с ним и глубоко дышит во сне.

Была уже поздняя ночь. Он почувствовал, что начинаются боли в желудке, как часто случалось у него в минуты душевной подавленности.

Ее дыхание раз–другой перешло в легкое по-

храпывание. Томаш не ощущал в себе никакого сочувствия. Единственными ощущениями были тяжесть в желудке и отчаяние, что он вернулся.

Часть вторая. ДУША И ТЕЛО

1

Было бы глупо пытаться автору убедить читателя, что его герои жили на самом деле. Они родились вовсе не из утробы матери, а из одной–двух впечатляющих фраз или из одной решающей ситуации. Томаш родился из фразы: Einmal ist keinmal. Тереза из урчания в животе.

Когда она впервые вошла к Томашу в квартиру, у нее вдруг заурчало в животе. И неудивительно; она не обедала, не ужинала, лишь утром на вокзале, прежде чем сесть в поезд, съела бутерброд. Она вся была сосредоточена на своей дерзкой поездке, а про еду и не вспомнила. Но кто не думает о своем теле, тот еще скорее становится его жертвой. Было ужасно стоять перед Томашем и слышать, как громко разговаривают ее внутренности. Ей хотелось плакать. К счастью, Томаш сразу же обнял ее, и она смогла забыть о голосах желудка.

2

Итак, Тереза родилась из ситуации, которая брутально обнажает непримиримую двойственность тела и души, этот основной человеческий

опыт.

Когда–то, в давние времена, человек с удивлением прислушивался, как в груди раздается звук размеренных ударов, и не понимал, что это. Он не мог отождествлять себя с чем–то столь чуждым и неведомым, каким представлялось тело. Тело было клеткой, а внутри нее находилось нечто, что смотрело, слушало, боялось, думало и удивлялось; этим нечто, оставшимся за вычетом тела, была душа.

Во времена нынешние тело, конечно, вещь изведанная; мы знаем: то, что стучит в груди, — это сердце, а нос — оконечность трубки, которая выступает из тела, дабы подавать кислород в легкие. Лицо не что иное, как некая приборная панель, куда выводятся все механизмы тела, то бишь пищеварение, зрение, слух, дыхание, мышление.

С тех пор как человек на своем теле может всему дать название, оно тревожит его куда меньше. Мы знаем и то, что душа не что иное, как деятельность серого вещества мозга. Двойственность тела и души окуталась научными терминами, и ныне мы можем весело смеяться над ней, как над старомодным предрассудком.

Но достаточно человеку, влюбленному до безумия, услышать урчанье своих кишок, как

единство тела и души, эта лирическая иллюзия века науки, тотчас разрушается.

3

Она стремилась сквозь свое тело увидеть себя. Поэтому так часто останавливалась перед зеркалом. А поскольку боялась, чтобы при этом ее не застигла мать, каждый любопытный взгляд в зеркало носил характер тайного порока.

К зеркалу влекло ее не тщеславие, а удивление тому, что она видит свое «я». Она забывала, что смотрит на приборную панель телесных механизмов. Ей казалось, что она видит свою душу, которая позволяет ей познать себя в чертах лица. Она забывала, что нос — это всего лишь оконечность трубочки для подачи воздуха в легкие. Она видела в нем верное отображение своего характера.

Она смотрела на себя долго и подчас огорчалась, видя на своем лице черты матери. Но тем настойчивее она смотрела на себя и старалась усилием воли отвлечься от материнского облика, вычеркнуть его начисто, дабы в ее лице оставалось лишь то, что представляло ее самое. Когда ей это удавалось, наступала минута опьянения: душа выступала на поверхность тела, как если бы войско, вырвавшись из трюма, заполонило

всю палубу, замахало руками небу и ликующе запело.

4

Она не только была физически похожа на мать, но, как мне порой кажется, и жизнь ее была лишь продолжением жизни матери, примерно так, как бег шара на бильярде есть лишь продолжение движения руки игрока.

Где и когда началось это движение, которое позднее превратилось в жизнь Терезы?

Пожалуй, еще в то время, когда Терезин дедушка, пражский торговец, стал во всеуслышанье благоговеть перед красотой своей дочери, Терезиной матери. Было ей тогда года три или четыре, и он любил разглагольствовать о том, как она похожа на образ Рафаэлевой мадонны. Четырехлетняя Терезина мать отлично это усвоила, и позже, сидя в гимназии за партой, вместо того чтобы слушать учителя, думала о том, на какие образы она похожа.

Когда пришло время выходить замуж, у нее объявилось девять претендентов. Все они коленопреклоненно толпились вокруг нее, а она стояла посредине, словно принцесса, и не знала, кого предпочесть: один был красивее, другой остроумнее, третий богаче, четвертый спортивнее, пятый

из лучшей семьи, шестой читал стихи, седьмой исколесил весь мир, восьмой играл на скрипке, а девятый был изо всех самый мужественный. Но все они равно стояли перед ней на коленях и равно натерли на них мозоли.

И если в конце концов она выбрала девятого, то вовсе не потому, что он был мужественнее всех, а потому, что когда она шептала ему на ухо в минуты страсти «будь осторожен, будь очень осторожен!», он умышленно не осторожничал, и ей пришлось поспешно выйти за него замуж, ибо вовремя не удалось найти доктора, который сделал бы ей аборт. Так родилась Тереза. Бесчисленная родня съехалась со всех концов страны и, склонясь над коляской, сюсюкала. Терезина мать не сюсюкала. Молчала. Думала об остальных восьмерых поклонниках, и все они казались ей лучше, чем этот девятый.

Она так же, как и ее дочь, любила смотреться в зеркало. В один прекрасный день она обнаружила, что вокруг глаз полно морщин, и сказала себе, что ее брак — сущая нелепица. Она встретила немужественного мужчину, у которого в прошлом было несколько растрат и два расторгнутых брака. Она ненавидела любовников, у которых на коленях были мозоли. Ей непреодолимо хотелось

преклонить колени самой. Она упала на колени перед растратчиком и покинула мужа и Терезу.

И неожиданно самый мужественный мужчина сделался самым грустным. Он сделался таким грустным, что ему все стало трын–трава. Он везде и всюду говорил громко все, что думает, и коммунистическая полиция, огорошенная его бредовыми сентенциями, арестовала его, судила и надолго упекла за решетку. Квартиру опечатали, а Терезу отослали к матери.

Самый грустный мужчина вскоре в заключении умер, и мать с растратчиком и Терезой поселилась в маленькой квартирке в подгорном местечке. Терезин отчим служил в конторе, мать была продавщицей в магазине. Родила еще троих. Потом снова поглядела на себя в зеркало и обнаружила, что стала стара и уродлива.

5

Когда она заключила, что все потеряно, то начала искать виноватого. Виноваты были все: виноват был первый супруг, мужественный и нелюбимый, который не послушал ее, когда она шептала ему на ухо, чтобы был он осторожен; виноват был второй супруг, немужественный и любимый, который уволок ее из Праги в маленький городишко и гонялся за каждой юбкой,

обрекая ее на невылазную ревность. Против обоих мужей она была бессильна. Единственный человек, который безраздельно принадлежал ей и не мог увильнуть от нее, заложница, вынужденная расплачиваться за всех остальных, была Тереза.

Впрочем, возможно, именно она и вправду была повинна в судьбе матери. Она, то есть та абсурдная встреча спермы самого мужественного с яйцеклеткой самой красивой. В ту роковую секунду, имя которой Тереза, стартовала в беге на длинную дистанцию исковерканная жизнь матери.

Мать не уставая объясняла Терезе, что быть матерью — значит всем жертвовать. Ее слова звучали убедительно, ибо за ними стоял опыт женщины, утратившей все ради своего ребенка. Тереза слушала и верила, что самая большая ценность в жизни — материнство и что оно при этом — великая жертва. Если материнство — воплощенная Жертва, тогда удел дочери — олицетворять Вину, которую никогда нельзя искупить.

6

Тереза, конечно, не знала истории ночи, когда мать шептала на ухо ее отцу, чтобы он был

осторожен. Провинность, которую она ощущала, была неясной, сродни первородному греху. Она делала все, чтобы его искупить. Мать забрала ее из гимназии, и она с пятнадцати лет пошла в официантки, отдавая в дом весь свой заработок. Она была готова работать в поте лица, лишь бы заслужить материнскую любовь. Хлопотала по хозяйству, ухаживала за маленькими, все воскресенья убирала и стирала. Обидно было: в гимназии она была самой способной среди одноклассников. Она стремилась куда–то выше, но в этом маленьком городишке никакого «выше» для нее не было. Тереза стирала белье, а возле ванной всегда лежала книжка. Она переворачивала страницы, и на книгу падали капли воды.

В доме не существовало стыда. Мать ходила по квартире в одном белье, подчас без лифчика, а в летнюю пору и вовсе голая. Отчим голым не ходил, зато всегда лез в ванную, когда там купалась Тереза. Однажды она из–за этого заперлась в ванной, и мать закатила скандал: «Ты кого из себя корчишь? За кого ты себя считаешь? Думаешь, он откусит твою красоту?»

(Такие стычки наглядно показывают, что ненависть матери к дочери была сильнее, чем ее ревность к мужу. Вина дочери была бесконечна и

вбирала в себя даже мужнины измены. Стремление дочери быть самостоятельной и настаивать на каких–то своих правах — хотя бы на праве запираться в ванной было для матери более недопустимым, чем предположительный интерес мужа к ней.)

Однажды зимой мать расхаживала голая при зажженной лампе. Тереза торопливо бросилась задергивать шторы, чтобы мать не увидели из дома напротив. За спиной она услышала ее смех. На другой день к матери пришли приятельницы: соседка, сослуживица по магазину, местная учительница и еще две–три женщины, которые по обыкновению регулярно встречались. Тереза вместе с шестнадцатилетним сыном одной из женщин вошла ненадолго к ним в комнату. Мать, воспользовавшись этим, стала рассказывать, как вчера дочь пыталась сберечь ее благопристойность. Она смеялась, и женщины смеялись вместе с ней. Затем мать сказала:

«Тереза не хочет смириться с тем, что человеческое тело писает и пукает». Тереза покрылась краской, а мать добавила: «Что в этом такого плохого?» — и сама тут же ответила на свой вопрос: громко выпустила ветры. Все женщины засмеялись.

7

Мать громко сморкается, во всеуслышание рассказывает о своей сексуальной жизни, демонстрирует свой зубной протез. Осклабившись в широкой улыбке, она с поразительной ловкостью умеет поддеть его языком так, что верхняя челюсть падает на нижние зубы и ее лицо внезапно принимает чудовищное выражение.

Ее поведение не что иное, как единый ожесточенный жест, которым она отбрасывает свою красоту и молодость. В пору, когда девять поклонников стояли на коленях вокруг нее, она тщательно оберегала свою наготу. Словно бы мерой стыда хотела выразить меру цены, какую имеет ее тело. И если теперь ничего не стыдится, то делает это нарочито нагло, словно своим бесстыдством хочет торжественно подвести под жизнью черту и выкрикнуть, что молодость и красота, которые она так высоко ставила, на самом деле не стоят ломаного гроша.

Мне кажется, что Тереза и есть продолжение этого жеста, которым мать отбросила далеко назад свою жизнь красавицы.

(И если у самой Терезы нервозные движения, недостаточная плавность жестов, вряд ли можно тому удивляться: этот великий материнский

жест, дикий и самоуничтожающий, остался в Терезе, стал Терезой!)

8

Мать требует к себе справедливости и хочет, чтобы виноватый был наказан. Поэтому она настаивает на том, чтобы дочь осталась с ней в мире бесстыдства, где молодость и красота ничего не стоят, где весь мир не что иное, как один огромный концентрационный лагерь тел, похожих одно на другое, а души в них неразличимы.

Теперь нам может быть понятнее смысл тайного Терезиного порока, ее частых и долгих взглядов, бросаемых на себя в зеркало. Это борьба с матерью. Это была мечта не быть телом, похожим на другие тела, а увидеть на поверхности собственного лица войско души, вырвавшееся из трюма на палубу. Нелегко было: Терезина душа, печальная, несмелая, забитая, была спрятана в глубине ее нутра и стеснялась выйти наружу.

Так было именно в тот день, когда она впервые встретила Томаша. Она пробиралась между выпивохами в своем ресторане, тело сгибалось под тяжестью пивных кружек, которые она несла на подносе, а душа была где–то в самом желудке или в поджелудочной железе. И именно тогда Томаш обратился к ней. Это обращение было многозна-

чительным, ибо исходило от того, кто не знал ни ее матери, ни всех этих выпивох, ежедневно бросавших по ее адресу затертые, скабрезные фразочки. Положение человека заезжего возвышало его над остальными.

И еще кое–что возвышало его: на столе перед ним лежала открытая книга. В этом кабаке еще никто никогда не открывал книги. Книга была для Терезы опознавательным знаком тайного братства. Против окружавшего ее мира грубости у нее было лишь единственное оружие: книги, которые она брала в городской библиотеке; особенно романы: она прочитала их уйму — от Филдинга до Томаса Манна. Они давали ей возможность иллюзорного бегства из жизни, не устраивавшей ее, а кроме того, имели для нее значение и некой вещи: она любила, держа книгу под мышкой, прохаживаться по улице. Книги обрели для нее то же значение, что и элегантная трость для денди минувшего века. Они отличали ее от других.

(Сравнение книги с элегантной тростью денди не совсем точно. Трость денди не только отличала его, но и делала современным, модным. Книга отличала Терезу, но делала ее старомодной. Она, конечно, была слишком молода, чтобы

осознавать эту свою старомодность. Молодые люди, которые проходили мимо нее с галдящими транзисторами в руке, казались ей тупыми. От нее ускользала их современность.)

Тот, кто обратился к Терезе, был одновременно и посторонним и членом общего тайного братства. Он обратился к ней приветливым голосом, и она почувствовала, как ее душа пробивается на поверхность всеми жилами и порами, чтобы показаться ему.

9

Когда Томаш вернулся из Цюриха, ему стало не по себе от мысли, что его встреча с Терезой была порождена шестью неправдоподобными случайностями.

Но не становится ли событие тем значительнее и исключительнее, чем большее число случайностей приводит к нему?

Лишь случайность может предстать перед нами как послание. Все, что происходит по необходимости, что ожидаемо, что повторяется всякий день, то немо. Лишь случайность о чем–то говорит нам. Мы стремимся прочесть ее, как читают цыганки по узорам, начертанным кофейной гущей на дне чашки.

Томаш явился Терезе в ресторане как абсолют-

ная случайность. Он сидел за столом, глядя в открытую книгу. Потом вдруг поднял глаза на Терезу, улыбнулся и сказал: «Рюмку коньяка».

В то время звучала по радио музыка. Тереза, подойдя к стойке за коньяком, повернула рычажок приемника, и музыка зазвучала еще громче. Она узнала Бетховена. Она знала его с тех пор, как в их городе побывал квартет из Праги. Тереза (как известно, мечтавшая о чем–то «высшем») пошла на концерт. Зал пустовал. Кроме нее, в нем был лишь местный аптекарь с женой. На сцене, выходит, был квартет музыкантов, а в зале — трио слушателей, однако музыканты оказались столь любезны, что не отменили концерта и играли весь вечер только для них последние три Бетховенских квартета.

Затем аптекарь пригласил музыкантов на ужин, а вместе с ними и незнакомую слушательницу. С тех пор Бетховен стал для нее символом запредельного мира, мира, о котором она страстно мечтала. И теперь, неся от стойки коньяк для Томаша, она пыталась прозреть в эту случайность: возможно ли, что именно сейчас, когда она несет коньяк незнакомцу, который нравится ей, звучит музыка Бетховена?

Да, именно случайность полна волшебства,

необходимости оно неведомо. Ежели любви суждено стать незабываемой, с первой же минуты к ней должны слетаться случайности, как слетались птицы на плечи Франциска Ассизского.

10

Он подозвал ее, чтобы расплатиться. Закрыл книгу (опознавательный знак тайного братства), и ей захотелось спросить его, что он читает.

— Вы могли бы вписать это в счет моего номера? — спросил он.

— Конечно, — сказала она. — Какой у вас номер? Он показал ей ключ, к которому была привязана деревянная дощечка с нарисованной на ней красной шестеркой.

— Странно, — сказала она, — шестой номер.

— Что же в этом странного? — спросил он.

Она вдруг вспомнила, что пока жила в Праге у все еще не разведенных родителей, их дом был под номером «шесть». Но вслух сказала она нечто другое (и мы можем оценить ее лукавство):

— У вас шестой номер, а у меня работа как раз в шесть кончается.

— А у меня в семь отходит поезд, — сказал незнакомец. Не зная, что сказать еще, она подала ему счет, чтобы он расписался на нем, и отнесла его в бюро обслуживания. Когда она кончила

работу, незнакомец уже не сидел за своим столиком. Понял ли он ее деликатный призыв? Из ресторана выходила она взволнованная.

Напротив гостиницы был небольшой редкий парк, таким жалким бывает только парк в грязном маленьком городке, но для Терезы он всегда представлял собою островок красоты: газон, четыре тополя, скамейки, плакучая ива и кусты форзиции.

Он сидел на желтой скамейке, откуда был виден вход в ресторан. Именно на этой скамейке она сидела вчера с книгой на коленях! В ту минуту она уже знала (птицы случайностей слетелись ей на плечи), что этот незнакомец предназначен ей судьбой. Он окликнул ее, пригласил присесть рядом. (Войско ее души вырвалось на палубу тела.) Затем она проводила его на вокзал, и на прощание он дал ей свою визитную карточку с номером телефона. — Если вдруг когда–нибудь приедете в Прагу…

11

Гораздо больше, чем визитная карточка, которую он сунул ей в последнюю минуту, значил для нее знак случайностей (книга, Бетховен, число «шесть», желтая скамейка в парке), придавший ей мужества уйти из дому и изменить

свою судьбу. Возможно, именно эти несколько случайностей (кстати сказать, совсем скромных, серых, поистине достойных этого захолустного городка) привели в движение ее любовь и стали источником энергии, которую она не исчерпает до конца дней.

Наша каждодневная жизнь подвергается обстрелу случайностями, точнее сказать, случайными встречами людей и событий, называемыми совпадениями. «Со–впадение» означает, что два неожиданных события происходят в одно и то же время, что они сталкиваются: Томаш появляется в ресторане и в то же время звучит музыка Бетховена. Огромное множество таких совпадений человек не замечает вовсе. Если бы в ресторане за столом вместо Томаша сидел местный мясник, Тереза не осознала бы, что по радио звучит Бетховен (хотя встреча Бетховена и мясника тоже любопытное совпадение). Зарождающаяся любовь, однако, обострила в ней чувство красоты, и этой музыки она уже никогда не забудет. Всякий раз, когда услышит ее, она растрогается. Все, что будет происходить в эту минуту вокруг нее, озарится этой музыкой и станет прекрасным.

В начале того романа, который Тереза держала под мышкой, когда пришла к Томашу, Анна

встречается с Вронским при странных обстоятельствах. Она на перроне, где только что кто–то попал под поезд. В конце романа бросается под поезд Анна. Эта симметрическая композиция, в которой возникает одинаковый мотив в начале и в конце романа, может вам показаться слишком «романной». Да, могу согласиться, однако при условии, что слово «романный» вы будете понимать отнюдь не как «выдуманный», «искусственный», «непохожий на жизнь». Ибо именно так и компонуются человеческие жизни.

Они скомпонованы так же, как музыкальное сочинение. Человек, ведомый чувством красоты, превращает случайное событие (музыку Бетховена, смерть на вокзале) в мотив, который навсегда останется в композиции его жизни. Он возвращается к нему, повторяет его, изменяет, развивает, как композитор — тему своей сонаты. Ведь могла же Анна покончить с собой каким–то иным способом! Но мотив вокзала и смерти, этот незабвенный мотив, связанный с рождением любви, притягивал ее своей мрачной красотой и в минуты отчаяния. Сам того не ведая, человек творит свою жизнь по законам красоты даже в пору самой глубокой безысходности.

Нельзя, следовательно, упрекать роман, что он

заворожен тайными встречами случайностей (подобными встрече Вронского, Анны, вокзала и смерти или встрече Бетховена, Томаша, Терезы и коньяка), но можно справедливо упрекать человека, что в своей повседневной жизни он слеп к таким случайностям. Его жизнь тем самым утрачивает свое измерение красоты.

12

Побуждаемая птицами случайностей, что слетались ей на плечи, она, не сказав ни слова матери, взяла недельный отпуск и села в поезд. Раз за разом выходя в туалет, она смотрелась в зеркало и молила душу в этот решающий день ее жизни ни на миг не покидать палубу ее тела. В одно из таких посещений туалета она, разглядывая себя в зеркале, вдруг испугалась: почувствовала, что у нее першит в горле. Неужто в решающий день ее жизни ей суждено заболеть?

Но пути назад не было. Она позвонила ему с вокзала, и в ту минуту, когда он открыл ей дверь, у нее страшно заурчало в животе. Стало стыдно. Казалось, что в живот к ней забралась мать и хохочет там, чтобы испортить ей свидание с Томашем.

В первое мгновение она подумала, что из–за этих непристойных звуков он ее наверняка выго-

нит, но он обнял ее. В благодарность ему, что он не замечает урчания в ее животе, она целовала его так страстно, что туман застилал ей глаза. Не прошло и минуты, как они отдались друг другу. В соитии она кричала. У нее уже была температура. Начинался грипп. Устье трубочки, проводящей кислород в легкие, было забитым и красным.

Затем она приехала во второй раз с тяжелым чемоданом, куда уложила все свои пожитки, решившись никогда не возвращаться в маленький город. Он позвал ее к себе только на следующий вечер. Она провела ночь в дешевой гостинице, утром отнесла чемодан в камеру хранения на вокзале и целый день бродила по Праге с «Анной Карениной» под мышкой. Вечером она позвонила, он открыл дверь, но она все еще не выпускала книгу из рук, словно это был входной билет в мир Томаша. Она сознавала, что кроме этого жалкого входного билета у нее нет ничего, и оттого ей хотелось плакать. Но она не плакала, была болтлива, говорила громко и смеялась. И вскоре он снова обнял ее, и они любили друг друга. Она погрузилась во мглу, в которой ничего не было видно, лишь слышен был ее крик.

13

Это были не вздохи, не стоны, это был поистине

крик. Она кричала так, что Томаш отстранял голову от ее лица. Ему казалось, что голос, звучавший у самого его уха, повредит барабанные перепонки. Этот крик не был выражением чувственности. Чувственность — это максимальная мобилизация сознания; человек напряженно следит за своим партнером, стараясь уловить каждый его звук. Ее крик, напротив, имел целью оглушить сознание, помешать ему что–либо видеть и слышать. Это кричал сам наивный идеализм ее любви, стремившейся разрушить все противоположности, разрушить двойственность тела и души и, пожалуй, разрушить само время.

Закрыты ли были ее глаза? Нет, но она никуда не смотрела, вперившись взглядом в пустоту потолка. По временам она резко, из стороны в сторону, поводила головой.

Когда крик затих, она уснула рядом с Томашем и всю ночь держала его за руку.

Еще когда ей было восемь лет, она засыпала, сжимая одну руку другой и представляя себе, что держит мужчину, которого любит, мужчину своей жизни. И если она сжимала во сне руку Томаша с таким упорством, мы можем понять почему: тренируясь с детства, она готовила себя к этому.

14

Девушка, мечтающая приобщиться к «чему–то высокому», но вынужденная меж тем разносить пьянчугам пиво и по воскресеньям стирать грязное белье материнских отпрысков, накапливает в себе великий запас жизнеспособности, какая и не снится тем, кто учится в университетах и зевает над книгами. Тереза прочла куда больше их и знала о жизни куда больше их, но она никогда так и не поймет этого. То, что отличает человека учившегося от самоучки, измеряется не знаниями, а иной степенью жизнеспособности и самосознания. Вдохновение, с каким Тереза окунулась в пражскую жизнь, было одновременно неистовым и зыбким. Она словно ждала, что и один прекрасный день кто–то скажет ей: «Тебе здесь не место! Вернись, откуда пришла!» Вся ее тяга к жизни висела на единственном волоске: на голосе Томаша, который когда–то вызвал наружу ее душу, пугливо затаившуюся в ее нутре.

Тереза получила место в фотолаборатории, но ей было недостаточно этого. Хотелось фотографировать самой. Приятельница Томаша Сабина дала Терезе три–четыре монографии знаменитых фотографов, встретилась с нею в кафе и по открытым книгам взялась объяснять ей, чем эти

фотографии особенно примечательны. Тереза слушала ее с молчаливой сосредоточенностью, какую редко видит учитель на лицах своих учеников.

Поняв с помощью Сабины родственность фотографии и живописи, она стала заставлять Томаша посещать с нею все выставки, устраиваемые в Праге. Вскоре ей удалось напечатать в иллюстрированном еженедельнике собственные фотографии, и она, покинув наконец лабораторию, перешла в цех профессиональных фотографов.

В тот же вечер они пошли с друзьями в бар отметить ее повышение. Танцевали. Томаш впал в уныние и лишь дома, по ее настоянию, признался, что произошло: он приревновал ее, видя, как она танцует с его коллегой.

— В самом деле, ты ревновал меня? — спросила она его раз десять, словно он сообщал, что ей присуждена Нобелевская премия, а она никак не могла в это поверить.

Потом она обняла его за талию и пустилась с ним танцевать. Но это не был тот современный танец, какой час назад она демонстрировала в баре. Это больше походило на деревенскую «скочну» с ее дурашливым подскакиванием: высоко вскидывая ноги, она делала неуклюжие длинные

прыжки и волочила его взад–вперед по комнате.

К сожалению, вскоре она начала ревновать сама, и ее ревность была для Томаша отнюдь не Нобелевской премией, а тяжким бременем, от которого он избавился лишь незадолго до смерти.

15

Она маршировала вокруг бассейна голая вместе со множеством других голых женщин. Томаш стоял в корзине, подвешенной под сводом купальни, кричал на них и заставлял петь и делать приседания. Если какая–нибудь женщина неловко приседала, он убивал ее выстрелом из пистолета.

К этому сну я хочу вернуться еще раз. Его ужас начался не в ту минуту, когда Томаш сделал первый выстрел. Сон был ужасен изначала. Маршировать в строю голой для Терезы было самым основным образом ужаса. Когда она жила дома, мать запрещала ей запираться в ванной. Этим она как бы хотела сказать ей: твое тело такое же, как и остальные тела; у тебя нет никакого права на стыд; у тебя нет никакого повода прятать то, что существует в миллиардах одинаковых экземпляров. В материнском мире все тела были одинаковы, и они маршировали друг за другом в строю. Нагота для Терезы с детства была

знамением непреложного единообразия концентрационного лагеря; знамением унижения.

И был еще один ужас в самом начале этого сна: все женщины должны были петь! Мало того, что их тела были одинаковы, одинаково не представляющими никакой ценности, мало того, что они были простыми звучащими механизмами без души, но женщины еще тому радовались! Это была радостная солидарность бездушных! Женщины были счастливы тем, что отбросили бремя души, эту смешную гордыню, иллюзию исключительности, и что теперь они подобны друг другу. Тереза пела вместе с ними, но не радовалась. Она пела, потому что боялась: если не будет петь, женщины убьют ее.

Но какой смысл был в том, что Томаш стрелял в них и они, одна за другой, падали мертвые в бассейн?

Женщины, радующиеся своей одинаковости и неразличимости, празднуют, в сущности, свою грядущую смерть, которая сделает их сходство абсолютным. Таким образом, выстрел был лишь счастливой кульминацией их макабрического похода. После каждого выстрела они начинали смеяться, и по мере того как труп опускался под гладь бассейна, их пение набирало силу.

А почему тот, кто стрелял, был именно Томаш? И почему он хотел застрелить со всеми вместе и Терезу?

Да потому что именно он послал Терезу к ним. Вот что должен сообщить Томашу сон, коли Тереза не может сказать ему это сама. Она пришла к нему, чтобы спастись от материнского мира, где все тела были одинаковы. Она пришла к нему, чтобы ее тело стало исключительным и незаменимым. А он сейчас снова поставил знак равенства между нею и другими: он целует всех одинаково, ласкает одинаково, не делает никакой, ну никакой разницы между телом Терезы и другими телами. Тем самым он послал ее обратно в мир, от которого она хотела спастись. Он послал ее маршировать голой с другими голыми женщинами.

16

Снились ей попеременно три сериала снов: первый, в котором бесновались кошки, рассказывал о ее страданиях в жизни; второй сериал в несчетных вариациях изображал картины ее казни; третий повествовал о ее посмертной жизни, где ее унижение стало вовек не кончающейся мукой.

В этих снах не было ничего, что нуждалось бы

в расшифровке. Обвинение, которое они бросали Томашу, было таким очевидным, что ему оставалось лишь молчать и, склонив голову, гладить Терезу по руке.

Эти сны были не только многозначительны, но еще и красивы. Обстоятельство, ускользнувшее от Фрейда в его теории снов. Сон — не только сообщение (если хотите, сообщение зашифрованное), но и эстетическая активность, игра воображения, которая уже сама по себе представляет ценность. Сон есть доказательство того, что фантазия, сновидение о том, чего не произошло, относится к глубочайшим потребностям человека. Здесь корень коварной опасности сна. Не будь сон красивым, о нем можно было бы мигом забыть. Но Тереза к своим снам постоянно возвращалась, повторяла их мысленно, превращала в легенды. Томаш жил под гипнотическим волшебством мучительной красоты Терезиных снов.

— Тереза, Терезочка, куда ты от меня исчезаешь? Тебе ведь каждую ночь снится смерть, словно ты и вправду хочешь уйти… — говорил он ей, когда они сидели друг против друга в винном погребке.

Был день, разум и воля опять одерживали верх. Капля красного вина медленно стекала но стеклу

бокала, и Тереза говорила: Томаш, я не виновата. Я же все понимаю. Я знаю, что ты любишь меня. Я знаю, что эти измены… это совсем не трагедия…

Она смотрела на него с любовью, но боялась ночи, которая наступит, боялась своих снов. Жизнь раздвоилась. За нее боролись ночь и день.

17

Тот, кто постоянно устремлен «куда–то выше», должен считаться с тем, что однажды у него закружится голова. Что же такое головокружение? Страх падения? Но почему у нас кружится голова и на обзорной башне, обнесенной защитным парапетом? Нет, головокружение нечто иное, чем страх падения. Головокружение — это глубокая пустота под нами, что влечет, манит, пробуждает в нас тягу к падению, которому мы в ужасе сопротивляемся.

Марширующие голые женщины вокруг бассейна, трупы на катафалке, счастливые тем, что Тереза мертва, как и они, все это было то самое «внизу», которого она страшилась, откуда уже однажды сбежала, но которое таинственным образом влекло ее к себе. Это было ее головокружение: ее звало к себе сладостное (почти веселое) отречение от судьбы и души, ее звала к себе солидарность бездушных. И в минуты слабости ей

хотелось покориться этому зову и вернуться к матери. Хотелось отозвать войско души с палубы тела; сесть среди подруг матери и смеяться тому, что одна из них громко выпустила газы; маршировать с ними голой вокруг бассейна и петь.

18

Да, в самом деле, Тереза воевала с матерью вплоть до ухода из дому, но нельзя забывать, что при этом мучительно любила ее. Она готова была сделать для матери все что угодно, стоило той лишь попросить ее голосом любви. И только потому, что этого голоса она ни разу так и не услышала, она нашла в себе силы уйти.

Когда мать поняла, что ее агрессивность утратила над дочерью власть, она принялась писать ей в Прагу письма, полные жалоб. Она сетовала на мужа, на работодателя, на здоровье, на детей и называла Терезу единственным человеком, который есть у нее в жизни. Терезе казалось, что она наконец слышит голос материнской любви, о которой мечтала двадцать лет, и ей захотелось домой. Хотелось домой тем больше, что она чувствовала себя слабой. Измены Томаша вдруг открыли ей ее беспомощность, и из ощущения незащищенности родилось головокружение, беспредельная тяга к падению.

Однажды мать позвонила ей. Сказала, что у нее рак и что жить ей осталось не более нескольких месяцев. Это известие обратило Терезино отчаяние из–за измен Томаша в бунтарство, и она стала упрекать себя, что предала мать ради человека, который не любит ее. Она была готова забыть обо всем, чем когда–то мать досаждала ей. Теперь она могла понять ее. Ведь они обе в одинаковом положении: мать любит отчима, как Тереза любит Томаша, и отчим мучит мать изменами так же, как Томаш мучит Терезу. Если мать и была жестока с Терезой, то лишь потому, что слишком страдала.

Томаш, словно почувствовав, что к матери притягивает ее не что иное, как головокружение, воспротивился ее поездке. Позвонил в больницу этого маленького городка. Учет онкологических обследований проводился в Чехии весьма тщательно, и потому он легко смог установить, что у Терезиной матери не было обнаружено никаких признаков рака и что за последний год она вообще ни разу не обращалась к врачу.

Тереза, послушавшись Томаша, не поехала к матери. Но несколько часов спустя после этого решения она упала на улице и повредила себе колено. Ее походка стала шаткой, что ни день

она где–то падала, обо что–то ушибалась или по меньшей мере роняла какую–то вещь, которую держала в руках.

У нее была непреодолимая тяга к падению. Она жила в состоянии постоянного головокружения.

Тот, кто падает, говорит: «Подними меня!» И Томаш терпеливо ее поднимал.

19

«Я хотела бы любить тебя в своей мастерской, словно это сцена. Вокруг стояли бы люди, не смея приблизиться ни на шаг. Но и глаз они не могли б от нас оторвать…»

По мере того как время шло, этот образ утрачивал свою первоначальную жестокость и стал ее возбуждать. Не раз она шепотом рисовала его в подробностях Томашу, когда они отдавались любви.

Ей вдруг пришло в голову, что существует способ, как можно избежать приговора, который виделся ей в изменах Томаша: пусть берет ее с собой! пусть берет ее к своим любовницам! Наверное, таким способом можно было бы ее тело снова сделать первым и единственным изо всех. Ее тело стало бы его alter ego, его помощником, ассистентом.

«Я буду их раздевать для тебя, потом выкупаю

в ванне и приведу к тебе...» — шептала она ему, когда они приникали друг к другу. Она мечтала срастись с ним в одно двуполое существо, и тогда тела других женщин стали бы их общей игрушкой.

20

Стать alter ego его полигамной жизни. Томаш не хочет ее понять, но она не в силах избавиться от этого наваждения. Стремясь сблизиться с Сабиной, она предложила ей сделать ее фотографии.

Сабина позвала ее в мастерскую, и она наконец увидала просторное помещение, посреди которого стояла широкая квадратная тахта, словно Подмостки.

— Ужасно, что ты у меня еще не была, — говорила Сабина, показывая ей картины, прислоненные к стене. Она откуда–то вытащила даже старый холст, на котором была изображена стройка металлургического завода. Она писала его в ученические годы, когда в Академии требовали самого точного реализма (нереалистическое искусство, считалось тогда, подрывает устои социализма), и Сабина, увлеченная спортивным духом пари, стремилась быть еще строже своих учителей и писала картины так, что мазки кисти были на них совершенно невидимы, и они стано-

вились похожими на фотографии.

— Эту картину я испортила. Капнула на нее красной краской. Сперва я ужасно переживала, а потом пятно мне понравилось, оно походило на трещину. Словно стройка была не настоящей стройкой, а треснувшей театральной декорацией, на которой стройка всего лишь нарисована. Я начала играть с этой трещиной, расширять ее, придумывать, что можно было бы увидеть позади нее. Так я написала свой первый цикл картин, который назвала «Кулисы». Естественно, я никому их не показывала. Меня тотчас бы выгнали из Академии. На первом плане всегда был совершенно реалистический мир, а за ним, словно за разорванным полотном декорации, виднелось что–то другое, таинственное и абстрактное. — Она помолчала и добавила: — Впереди была понятная ложь, а позади непонятная правда.

Тереза слушала ее с той пристальной сосредоточенностью, какую редкий учитель когда–либо встречал на лицах своих учеников, и обнаруживала, что все Сабинины картины, прошлые и нынешние, в самом деле говорят об одном и том же, что все они представляют собой слияние двух тем, двух миров, что они будто фотографии, полученные путем двойной экспозиции. Пейзаж, за

которым просвечивает настольная лампа. Рука, которая разрывает сзади полотно идиллического натюрморта с яблоками, орехами и зажженной рождественской елкой.

Тереза была восхищена Сабиной, а поскольку художница вела себя на удивление дружелюбно, это восхищение, свободное от страха или недоверия, превращалось в симпатию.

Она едва не забыла о том, что пришла ее фотографировать. Сабина сама напомнила об этом. Тереза оторвала глаза от картин и вновь увидела тахту, стоявшую посреди комнаты словно подмостки.

21

Возле тахты была тумбочка, и на ней подставка в форме человеческой головы. Точно такая бывает у парикмахеров, на которую они насаживают парики. На Сабининой подставке был не парик, котелок. Сабина улыбнулась: — Это котелок моего дедушки…

Такой котелок, черный, твердый, круглый, Тереза видела только в кино. Чаплин носил такой котелок. Она улыбнулась, взяла его в руки и долго рассматривала. Потом сказала: — Хочешь, я тебя в нем сфотографирую?

Сабина долго смеялась над этой идеей. Тереза

отложила котелок, взяла аппарат и начала фотографировать.

По прошествии примерно часа она вдруг сказала:

— А хочешь, я сниму тебя голой?

— Голой? — улыбнулась Сабина.

— Вот именно, голой, — решительно подтвердила Тереза свое предложение.

— Для этого нам надо выпить, — сказала Сабина и открыла бутылку вина.

Тереза почувствовала, как по телу разливается слабость, и сделалась молчаливой, тогда как Сабина, напротив, ходила по комнате с рюмкой вина и рассказывала о дедушке, который был мэром небольшого городка.

Сабина не знала его; единственное, что от него осталось — вот этот котелок и еще фотография: на трибуне стоит группа провинциальных сановников, один из которых ее дедушка; что они делают на этой трибуне — совершенно неясно; может, присутствуют на каком–нибудь торжестве, может, на открытии памятника какому–то своему собрату–сановнику, который тоже нашивал котелок по торжественным случаям.

Сабина долго рассказывала о котелке и о дедушке, а когда допила третью рюмку, сказала:

— Подожди, — и ушла в ванную.

Вернулась в купальном халате. Тереза взяла фотоаппарат и поднесла его к глазу. Сабина распахнула перед ней халат.

22

Аппарат служил Терезе одновременно и механическим глазом, которым она разглядывала любовницу Томаша, и чем–то вроде вуали, под которой она скрывала от нее лицо.

Сабине потребовалось какое–то время, прежде чем она решилась сбросить халат полностью. Положение, в котором она оказалась, было все же более затруднительным, чем представлялось ей поначалу. После нескольких минут позирования она подошла к Терезе и сказала: — Теперь я буду тебя фотографировать. Разденься.

Слово «разденься» Сабина много раз слышала от Томаша, и оно врезалось ей в память. Это был приказ Томаша, который теперь Томашева любовница адресовала Томашевой жене. Этой магической фразой он соединил обеих женщин. Это был его способ, каким он внезапно переводил невинный разговор с женщинами в атмосферу эроса: отнюдь не поглаживанием, лестью, просьбами, а приказом, который он проговаривал вдруг, неожиданно, тихим голосом, однако

настойчиво и властно, причем на определенном расстоянии: в эту минуту он никогда не касался женщины. Он и Терезе часто говорил точно таким же тоном «разденься!», и хотя говорил это тихо, подчас даже шепотом, это был приказ, и она всегда приходила в возбуждение от того, что покорно следует ему. Сейчас, когда она услышала то же слово, ее желание подчиниться стало, пожалуй, еще сильнее, ибо подчиниться кому–то чужому — это особое безумие, безумие в данном случае тем прекрасней, что приказ отдает не мужчина, а женщина.

Сабина взяла у нее аппарат, Тереза разделась. Она стояла перед Сабиной нагая и обезоруженная. В буквальном смысле обезоруженная: минутой раньше она не только закрывала аппаратом лицо, но и целилась им, словно оружием, в Сабину. Теперь она была отдана во власть любовницы Томаша. Эта прекрасная покорность опьяняла ее. Она мечтала, чтобы эти мгновения, когда она стояла голая против Сабины, длились вечно.

Думаю, что и Сабину вид стоявшей перед ней нагой жены ее любовника, удивительно покорной и застенчивой, овеял особыми чарами. Два–три раза она щелкнула спуском и, словно испугавшись этого очарования и желая быстро

его отогнать, громко рассмеялась.

Тереза тоже засмеялась, и обе женщины оделись.

23

Все предшествующие преступления русской империи совершались под прикрытием тени молчания. Депортация полумиллиона литовцев, убийство сотен тысяч поляков, уничтожение крымских татар — все это сохранилось в памяти без фотодокументов, а следовательно, как нечто недоказуемое, что рано или поздно будет объявлено мистификацией. В противоположность тому, вторжение в Чехословакию в 1968 году целиком отснято на фото–и кинопленку и хранится в архивах всего мира.

Чешские фотографы и кинооператоры прекрасно осознали, что именно они могут совершить то единственное, что можно еще совершить: сохранить для далекого будущего образ насилия. Тереза всю неделю была на улицах и фотографировала русских солдат и офицеров во всех компрометирующих их ситуациях. Русские не знали, что делать. Они получили точные указания, как вести себя в случае, если в них будут стрелять или бросать камни, но никто не дал им инструкций, что делать, если кто–то нацелит на

них объектив аппарата.

Она отсняла уйму пленки. Пожалуй, половину раздала в непроявленных негативах зарубежным журналистам (границы все еще были открыты, приезжавшие из–за кордона репортеры были благодарны за любой материал). Многие фотографии появились в самых разных заграничных газетах: на них были танки, угрожающие кулаки, полуразрушенные здания, мертвые, прикрытые окровавленным красно–сине–белым знаменем, молодые люди на мотоциклах, с бешеной скоростью носящиеся вокруг танков и размахивающие национальными флагами на длинных древках, молодые девушки в невообразимо коротких юбках, возмущавшие спокойствие несчастных, изголодавшихся плотью русских солдат тем, что на глазах у них целовались с незнакомыми прохожими. Как я уже сказал, русское вторжение было не только трагедией, но и пиршеством ненависти, полным удивительной (и ни для кого теперь не объяснимой) эйфории.

24

В Швейцарию она увезла с собой фотографий пятьдесят, которые сама же и проявила со всем тщанием и умением, на какие была способна. Отправилась предложить их в большой ил-

люстрированный журнал. Редактор принял ее любезно (все чехи еще были окружены ореолом своего несчастья, трогавшего сердца добрых швейцарцев), усадил ее в кресло, просмотрел снимки, похвалил и объяснил ей, что сейчас, когда события уже отдалены определенным временем, нет никакой надежды («несмотря на то, что снимки превосходны!») на их публикацию.

— Но в Праге еще ничего не кончилось! — возразила она и попыталась на плохом немецком объяснить ему, что именно сейчас, когда страна оккупирована, на фабриках, вопреки всему, организуются органы самоуправления, студенты бастуют, требуя вывода русских войск, и вся страна продолжает жить своей жизнью. Именно это и потрясает! А здесь это уже никого не волнует!

Редактор обрадовался, когда в комнату вошла энергичная женщина и прервала их разговор. Она протянула ему папку и сказала: — Репортаж о нудистском пляже.

Будучи человеком тонким, редактор испугался, как бы чешка, фотографировавшая танки, не сочла вид голых людей на пляже слишком фривольным. Поэтому он отодвинул папку достаточно далеко, на край стола, и не мешкая сказал вошедшей женщине: — Хочу представить тебе

твою пражскую коллегу. Она принесла превосходные снимки.

Женщина пожала Терезе руку и взяла ее снимки.

— А вы покамест посмотрите мои, — сказала она.

Тереза протянула руку к папке и вытащила из нее фотографии.

— Это прямая противоположность тому, что фотографировали вы, — сказал редактор Терезе едва ли не извиняющимся тоном.

Тереза возразила: — Ну что вы! Это одно и то же.

Никто этой фразы не понял, да и мне совсем нелегко объяснить, что, в сущности, хотела сказать Тереза, приравняв нудистский пляж к русскому вторжению. Просматривая фотографии, она особенно долго задержалась на одной, на которой была изображена семья из четырех человек, стоявших в кружок; голая мать, склонившаяся к детям так, что большие соски свисали у нее вниз, точно у козы или коровы, а с другой стороны в такой же склоненной позе мужчина, чья мошонка также напоминала миниатюрное вымя.

— Вам не нравится? — спросил редактор.

— Отлично сфотографировано.

— Тема вас, вероятно, шокирует, — сказала фотограф. — По вас сразу видно, что на нудистский пляж вы не пошли бы.

— Нет, конечно, — сказала Тереза.

Редактор улыбнулся: — Что ж, нетрудно догадаться, откуда вы приехали. Коммунистические страны ужасно пуританские.

— Голые тела, что тут особенного! — сказала фотограф с материнской мягкостью. — Нормально. А все, что нормально, красиво!

Тереза вспомнила мать, ходившую голой по квартире. И явственно услышала смех, который раздавался за ее спиной, когда она бежала задернуть шторы, чтобы голую мать не увидели из дома напротив.

25

Фотограф позвала Терезу на чашку кофе в буфет.

— Сделанные вами снимки весьма любопытны. Замечу, что вы обладаете особым чутьем женского тела. Вы понимаете, что я имею в виду? Тех девушек в вызывающих позах!

— Тех, что целуются перед русскими танками?

— Совершенно точно. Вы могли бы стать первоклассным фотографом в области моды. Для

этого вам, разумеется, надо объединиться с манекенщицей. Скорее всего с такой, что тоже подыскивает работу. Вы могли бы сделать пробные фотографии для какой–нибудь фирмы. Конечно, потребуется время, чтобы пробиться. А пока я могу оказать вам одну услугу. Познакомить вас с редактором, который ведет рубрику «Наш сад». Возможно, им нужны фото кактусов, роз и всего такого прочего.

— Большое спасибо, — искренне сказала Тереза, чувствуя, что женщина, сидящая напротив, полна желания помочь ей.

Но тут же подумала: с какой стати ей фотографировать кактусы? В самом деле, она вовсе не хочет повторить то, с чем уже однажды столкнулась в Праге: с борьбой за место, за карьеру, за каждую напечатанную фотографию. Она никогда не была честолюбива из гордости. Она просто хотела спастись от мира матери. Да, для нее это было ясно как день: она делала фотографии с великим старанием, но все свое старание она могла бы приложить к любому другому занятию, поскольку фотография была лишь средством прорваться «дальше и выше» и жить рядом с Томашем.

Она сказала: — Видите ли, мой муж врач и обес-

печивает меня. Мне не обязательно заниматься фотографией.

Фотограф сказала: — Не понимаю, как вы можете бросить фотографию, делая такие превосходные снимки?

Конечно, фотография в дни вторжения — это было совсем другое. Эти снимки она делала не ради Томаша. Она делала их из одержимости. Причем не из одержимости фотографией, а из одержимости ненавистью. Но такая ситуация уже никогда не повторится. Впрочем, снимки, что она делала из одержимости, уже никому не нужны, ибо они не актуальны. Лишь кактусы — неизменно актуальная тема. Но кактусы не интересуют ее.

Она сказала: — Вы очень добры ко мне. Но лучше я останусь дома. Мне не обязательно работать.

Фотограф сказала: — И вас бы устроило сидеть дома?

Тереза сказала: — Пожалуй, больше, чем фотографировать кактусы.

Фотограф сказала: — Даже если вы фотографируете кактусы — это ваша жизнь. Если же вы живете только ради мужа — это не ваша жизнь.

Тереза сказала с неожиданным раздражением:

— Моя жизнь — это мой муж, а не кактусы.

Фотограф — тоже с раздражением: — Уж не хотите ли вы заверить меня, что вы счастливы?

Тереза сказала (с таким же раздражением): — Конечно, я счастлива!

Фотограф сказала: — Это может утверждать разве что очень… — Она не договорила, о чем подумала.

Тереза закончила ее мысль: — Вы хотите сказать: очень ограниченная женщина.

Фотограф овладела собой и сказала: — Нет, не ограниченная. Старомодная.

Тереза в задумчивости сказала: — Да, вы правы. То же самое говорит обо мне мой муж.

26

Но Томаш целые дни проводил в больнице, а она оставалась дома одна. Хорошо еще, был Каренин, и она могла с ним подолгу гулять! Возвращаясь домой, она садилась за учебники немецкого и французского. Но ей бывало грустно, и она с трудом сосредоточивалась. Часто вспоминалась речь Дубчека, с которой он выступал по радио после своего возвращения из Москвы. Она едва помнила, о чем он говорил, но до сих пор в ушах стоял его прерывистый голос. И она думала: чужие солдаты арестовали его, главу

самостоятельного государства, в его собственной стране, уволокли его и держали четыре дня где–то в Карпатах, намекая ему, что его постигнет та же участь, что и его венгерского предшественника Имре Надя двенадцать лет назад. Затем перевезли в Москву, велели выкупаться, побриться, одеться, завязать галстук и сообщили, что казнить его уже не собираются и он может продолжать считать себя главой государства. Его посадили за стол против Брежнева и заставили вести с ним переговоры.

Вернулся он униженным и обратился к униженному народу. Он был так унижен, что не мог говорить. Тереза никогда не забудет те ужасные паузы между фразами. Был ли он изнурен? Болен? Его накачали наркотиками? Или это было просто отчаяние? Даже если после Дубчека ничего не останется, эти долгие паузы, когда он не мог дышать, когда перед всем народом, приникшим к радиоприемникам, ловил ртом воздух, эти паузы останутся после него навсегда. В этих паузах был весь ужас, обрушившийся на их страну.

Шел седьмой день оккупации: она слушала его выступление в редакции одной газеты, превратившейся тогда в орган сопротивления. Все, кто слушал там Дубчека, в ту минуту его ненавидели.

Не могли простить ему компромисс, который он допустил; они чувствовали себя униженными его унижением, и его слабость их оскорбляла.

Вспоминая об этой минуте сейчас в Цюрихе, она уже не испытывала к Дубчеку презрения. Слово «слабость» уже не звучит для нее приговором. Когда человек сталкивается с превосходящей силой, он всегда слаб, даже если он такого атлетического сложения, как Дубчек. Та слабость, что казалась тогда им невыносимой, отвратительной и что выгнала их из страны, вдруг стала притягивать ее. Она стала осознавать, что принадлежит к слабым, к лагерю слабых, к стране слабых и что она должна быть верна им именно потому, что они слабы и ловят ртом воздух посреди фразы.

Ее увлекала их слабость, как головокружение. Увлекала ее, поскольку она сама чувствовала себя слабой. Она снова начала ревновать, и у нее уже снова стали дрожать руки, Томаш заметил это и сделал то, что было ей так знакомо: взял ее руки в свои и сжал, чтобы успокоить. Она вырвала их.

— Что с тобой? — спросил он.

— Ничего.

— Что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя?

— Я хочу, чтобы ты был старый. На десять лет старше. На двадцать лет старше!

Этим она как бы говорила ему: хочу, чтобы ты был слабый. Чтобы ты был такой же слабый, как я.

Каренин не одобрял переезда в Швейцарию. Каренин ненавидел перемены. Собачье время не движется по прямой, все дальше и дальше вперед, от одного события к другому. Оно совершается по кругу, подобно времени часовых стрелок, что также не бегут безрассудно куда–то вперед, а вращаются по циферблату, изо дня в день по той же дорожке. Стоило им в Праге купить новый стул или передвинуть вазон, как Каренин тотчас отмечал это с неудовольствием. Это нарушало его чувство времени. Это было, как если бы они дурачили стрелки, без конца изменяя цифры на циферблате.

И все–таки вскоре ему удалось и в цюрихской квартире восстановить старые порядки и ритуалы. Так же, как и в Праге, он вспрыгивал к ним поутру на кровать поздороваться, а затем сопровождал Терезу в магазин за покупками и требовал, как и в Праге, регулярных прогулок.

Он был курантами их жизни. В минуты безнадежности она говорила себе, что должна выдержать хотя бы ради него, поскольку он еще слабей, чем она, пожалуй, еще слабее, чем Дубчек

и ее покинутая родина.

Как–то раз, когда она вернулась с прогулки, зазвонил телефон. Тереза подняла трубку и спросила, кто звонит.

Голос был женский и на немецком спрашивал Томаша. Звучал он неприветливо, и Терезе показалось, что от него веет презрением.

Когда Тереза сказала, что Томаша нет дома и неизвестно, в котором часу он вернется, женщина на другом конце провода засмеялась и, не простившись, повесила трубку.

Тереза понимала, что ничего не случилось. Это могла быть сестра из больницы, пациентка, секретарша, бог знает кто. И все–таки она взволновалась и не могла ни на чем сосредоточиться. Она почувствовала вдруг, что потеряла даже те остатки сил, какие были у нее когда–то в Чехии: этот, казалось бы, столь незначительный эпизод она попросту уже не в состоянии вынести.

Быть на чужбине — значит идти по натянутому в пустом пространстве канату без той охранительной сетки, которую предоставляет человеку родная страна, где у него семья, друзья, сослуживцы, где он без труда может договориться на языке, знакомом с детства. В Праге Тереза зависела от Томаша только сердцем. Здесь она зависит от

него всем своим существом. Оставь он ее, что бы с ней стало? Неужто ей суждено прожить жизнь в страхе потерять его?

Она говорит себе: Их встреча с самого начала основывалась на ошибке. «Анна Каренина», которую она сжимала под мышкой, была фальшивым документом, которым она обманула Томаша. Они любят друг друга, и все–таки каждый из них превратил жизнь другого в ад. А то, что они любят друг друга, лишь доказывает, что изъян не в них самих, не в их поведении или неустойчивом чувстве, но в том, что они не подходят друг другу; он сильный, а она слабая. Она как Дубчек, который прерывает фразы полуминутными паузами, она как ее родина, которая заикается, ловит ртом воздух и не может говорить.

Но именно слабый должен суметь стать сильным и уйти, когда сильный слишком слаб для того, чтобы суметь причинить боль слабому.

Так Тереза говорила себе, прижимаясь к лохматой Карениновой голове:

— Не сердись, Каренин. Придется тебе еще раз сменить квартиру.

28

Тереза сидела, съежившись в уголке купе, тяжелый чемодан над головой, Каренин жался у

ног. Она думала о поваре из ресторана, в котором работала, когда жила с матерью. Он пользовался любым случаем, чтобы шлепнуть ее по заду, и всякий раз на людях предлагал ей с ним переспать. Странно было, что сейчас она думала именно о нем. Он был для нее поистине олицетворением того, что внушало ей омерзение. Но теперь она думала только о том, как найдет его и скажет: «Ты говорил, что хочешь со мной переспать. Вот я».

Она мечтала сделать нечто такое, что перечеркнуло бы дорогу назад. Она мечтала грубо изничтожить прошлое своих последних семи лет. Это было головокружение. Одурманивающая, непреодолимая тяга к падению.

Мы могли бы назвать головокружение опьянением слабостью. Человек осознает свою слабость и старается не противиться, а, напротив, поддаться ей. Опьяненный своей слабостью, он хочет быть еще слабее, он хочет упасть посреди площади, передо всеми, хочет быть внизу и еще ниже, чем внизу.

Она убеждала себя, что не останется в Праге и не будет больше заниматься фотографией. Вернется в маленький город, из которого когда–то позвал ее голос Томаша.

Но приехав в Прагу, она вынуждена была задер-

жаться там ненадолго, чтобы уладить кой–какие практические дела. Решила помедлить с отъездом.

На пятый день в квартире вдруг появился Томаш. Каренин долго прыгал, стараясь лизнуть его в лицо, и тем самым избавил их на какое–то время от необходимости объясняться друг с другом. Им казалось, словно они стоят посреди снежной пустыни и дрожат от холода.

Потом они подошли друг к другу, будто любовники, которые до сих пор еще не целовались.

Он спросил:

— Здесь все было в порядке?

— Да, — ответила она.

— Ты была в журнале?

— Я звонила туда.

— Ну и…?

— Ничего. Я ждала.

— Чего?

Она не ответила. Она не могла ему сказать, что ждала его.

29

Мы возвращаемся к моменту, о котором нам уже известно. Томаш был в отчаянии, и у него болел желудок. Уснул он лишь поздно ночью.

Однако вскоре проснулась Тереза. (Русские са-

молеты кружили над Прагой, и в их гуле нельзя было спать.) Ее первая мысль была: он вернулся ради нее. Ради нее он изменил свою судьбу. Теперь уже не он будет ответственен за нее, теперь она ответственна за него.

Эта ответственность казалась ей непосильной.

Но потом она вдруг вспомнила, что вчера вслед за тем, как он объявился в дверях квартиры, на пражском храме било шесть. Когда они впервые встретились, ее работа тоже кончилась в шесть. Она вышла из гостиницы и увидела его сидевшим напротив, на желтой скамейке, а на башне били колокола.

Нет, это было не суеверием, а чувством красоты, освободившим ее от тоски и наполнившим желанием жить. Птицы случайностей снова слетались ей на плечи. В глазах стояли слезы, и она была невыразимо счастлива, что слышит его дыхание рядом.

Часть третья. СЛОВА НЕПОНЯТЫЕ

1

Женева — город фонтанов, водоемов и парков, где когда–то на эстрадах играли оркестры. За деревьями прячется и университетское здание. Только что кончив утреннюю лекцию, Франц вышел на улицу. Из шлангов струилась на газон вода, и он был в прекрасном настроении: шел к своей возлюбленной. Она жила неподалеку от университета.

Он наведывался к ней часто, но всегда как внимательный друг и никогда как любовник. Если бы он занимался с нею любовью в ее мастерской, то в течение дня ходил бы от одной женщины к другой, от жены к любовнице и обратно, а поскольку в Женеве супруги спят на французский манер, то есть в общей кровати, это значило бы, что в течение немногих часов он перелезал бы из одной кровати в другую и тем самым, ему казалось, унизил бы и любовницу и жену, а в конечном счете себя самого.

Его чувство к женщине, в которую он влюбился несколько месяцев назад, было для него такой редкостью, что он стремился создать в своей

жизни независимое пространство, неприступную территорию чистоты. Его часто приглашали читать лекции в различных зарубежных университетах, и теперь он с жадностью принимал все предложения. Но поскольку их все же было недостаточно, он придумывал еще и несуществующие конгрессы и симпозиумы, дабы оправдаться перед женой в своих отлучках. Его любовница, свободно распоряжавшаяся своим временем, сопровождала его. Он предоставил ей возможность за короткий час повидать много европейских и американских городов.

— Через десять дней, если ты не возражаешь, мы можем поехать в Палермо, — сказал он.

— Предпочитаю Женеву, — ответила она. Она стояла у мольберта перед начатой картиной и разглядывала ее.

— Ты можешь жить и не узнать Палермо? — попытался он пошутить.

— Я знаю Палермо, — сказала она.

— Как так? — спросил он не без ревности.

— Моя знакомая прислала мне оттуда открытку. Я прилепила ее скотчем в уборной. Разве ты не заметил?

А потом рассказала ему историю: — В начале века жил один поэт. Был он очень стар, и секретарь

выводил его на прогулку. «Маэстро, — воскликнул тот однажды, — посмотрите вверх! Сегодня над городом пролетает первый аэроплан!» — «Я могу себе это представить», — сказал маэстро своему секретарю и не поднял глаз от земли. Видишь ли, я тоже могу представить Палермо. Там такие же отели и такие же машины, как во всех городах. В моей мастерской по крайней мере все время другие картины.

Франц погрустнел. Он настолько привык к сочетанию любовных утех с заграничными путешествиями, что в свое приглашение «поедем в Палермо!» вкладывал недвусмысленное эротическое содержание. Поэтому заявление «предпочитаю Женеву» имело для него лишь один смысл: его любовница уже не жаждет любви с ним.

Возможно ли, что он перед ней так пасует? У него же нет к тому ни малейшего основания! В самом деле, не он, а она была первой, кто вскоре после их знакомства стал движителем их эротической связи; он был красивый мужчина; он был в зените научной карьеры; он внушал даже страх коллегам своим высокомерием и упрямством, которые проявлял в специальных дискуссиях. Так отчего же всякий день он тревожится, что

любовница уйдет от него?

Я могу дать этому лишь единственное толкование: любовь для него была не продолжением его общественной жизни, а ее противоположным полюсом. Для него она означала мечту отдаться любимой женщине безоговорочно. Тот, кто сдается на милость другого, как солдат в плен, должен наперед отбросить любое оружие. А если у него нет никакой защиты против удара, ему трудно удержаться хотя бы от того, чтобы не спрашивать, когда обрушится этот удар. Вот почему можно сказать: для Франца любовь означала постоянное ожидание удара.

В то время как он отдавался своей тревоге, его возлюбленная отложила кисть и вышла в соседнюю комнату. Вернулась с бутылкой вина. Без слова открыла ее и наполнила две рюмки.

У него свалился камень с души, и он слегка посмеялся над собой. Слова «предпочитаю Женеву» вовсе не значат, что она не хочет близости с ним, а как раз наоборот: ей просто опостылело ограничивать минуты любви чужими городами.

Она подняла рюмку и выпила до дна. Франц тоже поднял рюмку и выпил. Он, разумеется, был страшно рад, что ее отказ от поездки в Палермо на самом деле оказался призывом к любовному

акту, но следом ему и немного взгрустнулось: его возлюбленная решила нарушить монастырский устав чистоты, что он внес в их отношения; она не поняла его томительного стремления защитить их любовь от банальности и решительно отграничить ее от его супружеского очага.

Отказываться от плотской близости с художницей в Женеве было, по сути, наказанием, на которое он обрек себя за то, что был женат на другой женщине. Он воспринимал это как некую вину или порок. И пусть эротика в его супружеской жизни не занимала ровно никакого места, супруги все же спали в одной кровати, пробуждались среди ночи от шумного дыхания друг друга и взаимно вдыхали запахи своих тел. Он, разумеется, предпочел бы спать один, однако общая постель оставалась символом супружества, а символы, как мы знаем, неприкосновенны.

Всякий раз, укладываясь возле супруги в постель, он думал о том, что его любовница в эту минуту представляет себе, как он ложится возле своей супруги в постель; и всякий раз при этой мысли ему становилось стыдно. Вот почему он стремился как можно больше отдалить в пространстве постель, где спал с супругой, от постели, где предавался фривольным утехам с

любовницей.

Художница снова налила вина, выпила, а потом молча, с какой–то странной безучастностью, будто Франца вовсе тут не было, стала медленно снимать блузку. Она вела себя, точно начинающая актриса, которой задано было показать этюд, убеждающий зрителей, что она одна в комнате и никто не видит ее.

Она осталась только в юбке и бюстгальтере. Затем (словно вдруг заметила, что в комнате она не одна) устремила на Франца долгий взгляд.

Этот взгляд привел его в замешательство; он не понял его. Между всеми любовниками быстро устанавливаются правила игры, которые они не осознают, но действие которых нельзя нарушать. Взгляд, устремленный на него в ту минуту, выры-вался из этих правил; он не имел ничего общего со взглядами и движениями, которые обычно предшествовали их любовной близости. В нем не было ни зова, ни кокетства, скорее некий вопрос. Однако Францу было совершенно неясно, о чем же этот взгляд вопрошает.

Потом она сняла юбку. Взяла Франца за руку и повернула его к большому зеркалу, что стояло совсем рядом прислоненным к стене. Она не отпускала его руки и продолжала смотреть в

зеркало этим долгим, пытливым взглядом то на себя, то на него.

Близ зеркала на полу стояла подставка, на которую был насажен черный мужской котелок. Она нагнулась к нему и надела на голову. Образ в зеркале мгновенно изменился: в нем теперь отражалась женщина в белье, красивая, недоступная, равнодушная, и на голове у нее был котелок, ужасающе не соответствующий всему ее виду. Она держала за руку мужчину в сером костюме и галстуке.

Он снова улыбнулся тому, насколько он не понимает своей любовницы. Она разделась не для того, чтобы позвать его заняться любовью, а для того, чтобы сыграть какую–то странную шутку, интимный хеппенинг для них двоих. Сейчас он уже понимающе и одобрительно улыбнулся.

Он ждал, что художница ответит на его улыбку улыбкой, но не дождался. Она не отпускала его руки и смотрела в зеркало попеременно то на себя, то на него.

Время хеппенинга перешло всякую грань. Францу показалось, что шутка (хотя он и был готов считать ее очаровательной) слишком затянулась. Он нежно взял котелок двумя пальцами, с улыбкой снял его с головы, художницы и поло-

жил обратно на подставку. Было так, словно он стер резинкой усы, которые шалунишка пририсовал на иконке Девы Марии.

Еще несколько минут она стояла как вкопанная и смотрела на себя в зеркало. Потом Франц осыпал ее нежными поцелуями и снова попросил поехать с ним на десять дней в Палермо. На этот раз она обещала ему без отговорок, и он ушел.

Франц снова был в отличном настроении. Женева, которую он всю жизнь проклинал как метрополию скуки, представлялась ему теперь прекрасной и полной приключений. Уже на улице он обернулся и взглянул на широкое окно мастерской. Стояла поздняя весна, жара, над всеми окнами были натянуты полосатые тенты. Франц дошел до парка, в дальнем конце которого возносились золотые купола православного храма, будто позолоченные пушечные ядра; казалось, невидимая сила задержала их там в миг падения и так и оставила висеть в воздухе.

Красиво было. Франц сошел вниз к набережной, чтобы сесть на городской катер и перебраться на северный берег озера, где он жил.

2

Сабина осталась одна. Все еще полуодетая, она снова подошла к зеркалу. Снова нахлобучила

котелок и долго вглядывалась в себя, удивляясь тому, что уже столько лет ее преследует одно утраченное мгновение.

Как–то раз, много лет назад, в ее пражскую мастерскую пришел Томаш, и его внимание привлек котелок. Он надел его и стал смотреть на себя в большое зеркало, что так же, как и здесь, стояло прислоненным к стене. Хотелось узнать, пошло ли бы ему быть мэром в прошлом столетии. Когда Сабина начала медленно раздеваться, он надел котелок ей на голову. Они стояли перед зеркалом (они всегда стояли перед ним, когда она раздевалась) и смотрели на свое отражение. Она была в одном белье, а на голове котелок. И вдруг осознала, что они оба встревожены образом, который видят в зеркале.

Как это могло случиться? Еще минуту назад котелок на ее голове выглядел не более чем шуткой. Неужто и вправду от смешного до тревожного один маленький шаг?

Вероятно. Когда в тот день она смотрела на себя в зеркало, то в первые мгновения не видела ничего, кроме забавного зрелища. Но вслед за тем комическое перекрылось тревожным: котелок уже означал не шутку, а насилие; насилие над Сабиной, над ее женским достоинством. Она видела

себя с обнаженными ногами, в тонких трусиках, сквозь которые просвечивал треугольник. Белье подчеркивало очарование ее женственности, а твердый мужской котелок эту женственность отрицал, насиловал, представлял в смешном виде. Томаш стоял возле нее одетым, из чего вытекало: суть того, что они оба видят, вовсе не потеха (тогда бы и ему полагалось быть в одном белье и котелке), а унижение. И вместо того чтобы унижение это отринуть, она гордо и вызывающе демонстрировала его, словно разрешала добровольно и принародно себя изнасиловать; и вдруг, не выдержав дольше, она увлекла за собой Томаша на пол. Котелок закатился под стол, а они заметались на ковре у самого зеркала.

Вернемся еще раз к котелку.

Во–первых, он был смутным воспоминанием о забытом дедушке, мэре маленького чешского городка в прошлом столетии.

Во–вторых, был памятью об отце. После похорон ее брат прибрал к рукам все имущество, оставшееся от родителей, и она из гордого протеста отказалась оспаривать свои права. Она с сарказмом объявила, что берет себе котелок, как единственное оставшееся от отца наследство.

В–третьих, котелок был реквизитом любовных

игр с Томашем.

В–четвертых, он был знаком ее оригинальности, которую она сознательно культивировала. Она не могла взять с собой в эмиграцию много вещей и если взяла эту объемную и непрактичную вещь, значит, должна была отказаться от других, более практичных.

В–пятых: за границей котелок стал объектом сентиментальности. Отправившись в Цюрих к Томашу, она взяла с собой котелок и надела его на голову, когда открывала ему дверь гостиничного номера. И случилось то, на что она не рассчитывала: котелок уже не смешил и не тревожил, а стал памятью об ушедшем времени. Они оба были растроганы. Они любили друг друга как никогда прежде: для фривольных игр не оставалось места, ибо их встреча была не продолжением эротической связи, когда всякий раз они придумывали новые маленькие распутства, а рекапитуляцией времени, песней об их общем прошлом, сентиментальным заключением несентиментальной истории, которая исчезала вдали.

Котелок стал мотивом музыкальной композиции, какой была Сабинина жизнь. Этот мотив вновь и вновь возвращался и всякий раз приобретал иное значение; все эти значения плыли

но котелку, как вода по речному руслу. И могу сказать, что это было Гераклитово русло: «В одну реку нельзя войти дважды!»; котелок был корытом, по которому всякий раз для Сабины текла иная река, иная семантическая река, один и тот же предмет всякий раз вызывал к жизни и рождал иное значение, но вместе с этим значением отзывались (как эхо, как шествие эха) все значения прошлые. Каждое новое переживание звучало все более богатым аккордом. Томаш и Сабина были в цюрихской гостинице растроганы видом котелка и любили друг друга, едва не обливаясь слезами, ибо этот черный предмет был не только воспоминанием об их фривольных играх, но и памятью о Сабинином отце и о дедушке, который жил в столетии без машин и самолетов.

Теперь, пожалуй, мы можем лучше понять пропасть, которая разделяла Сабину и Франца: он жадно слушал историю ее жизни, а она столь же жадно слушала его. Они точно понимали логический смысл произносимых слов, однако не слышали шума семантической реки, что протекала по этим словам.

Поэтому, когда она надела котелок, Франц смешался, словно кто–то обратился к нему на чужом языке. Он не видел в этом никакой пошло-

сти, никакой сентиментальности, это был лишь непонятный жест, который привел его в замешательство из–за отсутствия значения.

Покуда люди еще молоды и музыкальная композиция их жизни звучит всего лишь первыми тактами, они могут писать ее вместе и обмениваться мотивами (так, как Томаш и Сабина обменялись мотивом котелка), но когда они встречаются в более зрелом возрасте, их музыкальная композиция в основном завершена, и каждое слово, каждый предмет в композиции одного и другого означают нечто различное.

Проследи я за всеми разговорами между Сабиной и Францем, я мог бы составить из их непонимания большой словарь. Удовлетворимся, однако, кратким словарем.

3

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ НЕПОНЯТЫХ СЛОВ

часть первая

Женщина

Быть женщиной для Сабины — участь, какой она не выбирала. А то, чего мы не выбираем, нельзя считать ни нашей заслугой, ни нашим невезением. Сабина полагает, что уготованную участь надо принимать с должным смирением. Бунтовать против того, что ты родилась женщи-

ной, так же нелепо, как и кичиться этим.

Однажды, в одну из их первых встреч, Франц сказал ей с особым упором: «Сабина, вы женщина». Она не понимала, почему он сообщает ей об этом с торжественным выражением Христофора Колумба, только что узревшего берег Америки. Только позже она поняла, что слово «женщина», которое он подчеркнул особо, значит для него не определение одного из двух человеческих полов, а достоинство. Не каждая женщина достойна называться женщиной.

Но если Сабина для Франца женщина, что же тогда для него Мари–Клод, его законная жена? Более чем двадцать лет назад, по прошествии нескольких месяцев после их знакомства, она угрожала ему, что покончит с собой, если он покинет ее. Франца эта угроза очаровала. Сама Мари–Клод не так уж ему и нравилась, зато любовь ее представлялась ему восхитительной. Ему казалось, что он недостоин такой большой любви, и чувствовал себя обязанным низко ей поклониться.

Итак, он поклонился Марии–Клод до самой земли и женился на ней. И хотя она больше никогда не проявляла такой интенсивности чувств, как в минуту, когда угрожала ему самоубийством, в

нем глубоко засел живой императив: он не имеет права оскорблять ее и должен уважать в ней женщину.

Эта фраза любопытна. Он не сказал себе «уважать Марию–Клод», а сказал «уважать женщину в Марии–Клод».

Но если Мария–Клод — сама женщина, то кто же та, другая, которая прячется в ней и которую он должен уважать? Быть может, это платоновская идея женщины?

Нет. Это его мама. Ему бы и на ум никогда не пришло сказать, что в матери он уважает женщину. Он боготворил свою матушку, а не какую–то женщину внутри нее. Платоновская идея женщины и его мать были одно и то же.

Францу было двенадцать, когда ее внезапно покинул его отец. Мальчик понимал, что случилось непоправимое, но она окутала драму туманными и нежными словами, дабы не волновать его. В тот день они пошли вместе в город, но при выходе из дому Франц заметил на ногах матери разные туфли. Он растерялся, хотел сказать ей об этом, но испугался, что своим замечанием больно ранит ее. Он провел с нею в городе два часа и все это время не спускал глаз с ее ног. Тогда он впервые стал понимать, что такое страдание.

Верность и предательство

Он любил ее с детства до той самой минуты, пока не проводил на кладбище, любил ее и в воспоминаниях. Отсюда в нем возникло ощущение, что верность — первая из всех добродетелей; верность дает единство нашей жизни, в противном случае она распалась бы на тысячу минутных впечатлений, как на тысячу черепков.

Франц часто рассказывал Сабине о матери, пожалуй, даже с какой–то подсознательной расчетливостью: он предполагал, что Сабина будет очарована его способностью быть верным и тем скорее он завладеет ею.

Он не знал, что Сабину завораживала не верность, а предательство. Слово «верность» напоминало ей отца, провинциального пуританина, который удовольствия ради по воскресеньям рисовал закаты над лесом и розы в вазе. Благодаря ему она начала рисовать еще ребенком. Когда ей было четырнадцать, она влюбилась в мальчика такого же возраста. Папенька ужаснулся и на целый год запретил ей выходить из дому одной. Однажды он показал ей репродукции нескольких картин Пикассо и посмеялся над ними. Если ей запрещалось любить четырнадцатилетнего одноклассника, то она любила хотя бы кубизм.

И после окончания школы уехала в Прагу с радостным чувством, что может наконец предать свой отчий дом.

Предательство.

С раннего детства отец и господин учитель говорили нам, что это самое худшее, что мы только можем представить себе. Но что такое предательство? Предательство — это желание нарушить строй. Предательство — это значит нарушить строй и идти в неведомое. Сабина не знает ничего более прекрасного, чем идти в неведомое.

Она училась в Академии художеств, но не имела права писать, как Пикассо. Это было время, когда насильственно насаждался так называемый социалистический реализм, и в Академии штамповали портреты коммунистических деятелей страны. Ее жажда предать отца так и осталась неутоленной, ибо коммунизм был вторым отцом, столь же строгим и ограниченным, запрещавшим любовь (время было пуританское!) и Пикассо. Она вышла замуж за плохого актера пражского театра лишь потому, что он снискал славу дебошира и обоим отцам представлялся исчадием ада.

Потом умерла мама. На следующий день, после возвращения с похорон в Прагу, Сабина получила

телеграмму: отец с горя покончил с собой.

Ее замучили угрызения совести: Что было плохого в том, что отец рисовал вазы с розами и не любил Пикассо? Заслуживала ли такого осуждения его боязнь, что четырнадцатилетняя дочка придет домой с пузом? Так ли уж было смешно, что он не мог оставаться жить без своей половины?

И снова ею овладела жажда предательства: предать свое собственное предательство. Она сообщила мужу (видя в нем уже не скандалиста, а всего–навсего назойливого выпивоху), что уходит от него.

Но если мы предаем Б, ради которого мы предали А, это вовсе не значит, что мы тем самым умиротворяем А. Жизнь разведенной художницы ничуть не походила на жизнь преданных ею родителей. Первое предательство непоправимо. Оно вызывает цепную реакцию дальнейших предательств, из которых каждое все больше и больше отделяет нас от точки нашего исходного предательства.

Музыка

Для Франца это искусство, которое в наибольшей мере приближается к дионисийской красоте, понимаемой как опьянение. Человек не может

быть достаточно сильно опьянен романом или картиной, но может опьянеть от Бетховенской Девятой, от сонаты для двух фортепьяно и ударных инструментов Бартока или от пения «Битлз». Франц не делает различия между серьезной музыкой и музыкой развлекательной. Это различие кажется ему старомодным и ханжеским. Он любит рок и Моцарта в одинаковой степени.

Он считает музыку избавительницей: она избавляет его от одиночества, замкнутости, библиотечной пыли, открывает в его теле двери, сквозь которые душа выходит в мир, чтобы брататься с людьми. Он любит танцевать и сожалеет, что Сабина этой страсти не разделяет.

Они сидят вместе в ресторане и ужинают под шумную ритмичную музыку, рвущуюся из динамика.

Сабина говорит: — Заколдованный круг. Люди глохнут, потому что включают музыку все громче и громче. Но поскольку они глохнут, им ничего не остается, как включать ее еще на большую громкость.

— Ты не любишь музыку? — спрашивает Франц.

— Нет, — говорит Сабина. Затем добавляет: — Возможно, если бы жила в другое время… — и она

думает о времени, когда жил Иоганн Себастьян Бах и когда музыка походила на розы, расцветшие на огромной снежной пустыне молчания.

Шум под маской музыки преследует ее с ранней молодости. Ей, как студентке Академии художеств, приходилось все каникулы проводить на так называемых молодежных стройках. Студенты жили в общежитиях и ходили работать на строительство металлургического завода. Музыка гремела из репродукторов с пяти утра до девяти вечера. Ей хотелось плакать, но музыка была веселой, и негде было от нее скрыться ни в уборной, ни в кровати под одеялом: репродукторы были повсюду. Музыка была точно свора гончих псов, науськанных на нее.

Тогда она думала, что только в коммунистическом мире царствует это варварство музыки. За границей она обнаружила, что превращение музыки в шум — планетарный процесс, которым человечество вступает в историческую фазу тотальной мерзости. Тотальный характер мерзости проявился прежде всего как вездесущность акустической мерзости: машины, мотоциклы, электрогитары, дрели, громкоговорители, сирены. Вездесущность визуальной мерзости вскоре последует.

Они поужинали, поднялись в номер, занялись любовью, а уже потом на пороге забытья у Франца начали бродить в уме мысли, он вспомнил шумную музыку за ужином и подумал: «Шум имеет одно преимущество. В нем пропадают слова». И вдруг осознал, что с молодости, по сути, ничего другого не делает, кроме как говорит, пишет, читает лекции, придумывает фразы, ищет формулировки, исправляет их, и потому слова в конце концов перестают быть точными, их смысл размазывается, теряет содержание, и они, превращаясь в мусор, мякину, пыль, песок, блуждают в мозгу, вызывают головную боль, становятся его бессонницей, его болезнью. И в эти минуты он затосковал, неясно и сильно, по беспредельной музыке, по абсолютному шуму, прекрасному и веселому гаму, который все обоймет, зальет, оглушит и в котором навсегда исчезнет боль, тщета и ничтожность слов. Музыка — это отрицание фраз, музыка — это антислово! Он мечтал оставаться в долгом объятии с Сабиной, молчать, никогда больше не произносить ни единой фразы и дать слиться наслаждению с оргиастическим грохотом музыки. В этом блаженном воображаемом шуме он уснул.

Свет и тьма

Жить для Сабины значит — видеть. Видение ограничено двумя границами: сильным слепящим светом и полной тьмой. Тем, возможно, определяется и Сабинина неприязнь к какому–либо экстремизму. Крайности — это границы, за которыми кончается жизнь, и страсть к экстремизму, в искусстве и политике, суть замаскированная жажда смерти.

Слово «свет» вызывает у Франца представление не о пейзаже, на котором покоится мягкое сияние дня, а об источнике света как таковом: о солнце, лампочке, рефлекторе. В памяти Франца всплывают известные метафоры: солнце правды, ослепляющий свет разума и тому подобное.

Равно как свет, привлекает его и тьма. Он знает, что в наше время считается смешным гасить лампу перед тем, как заняться любовью, и поэтому оставляет гореть маленький ночник над постелью. Но в минуту, когда он проникает в Сабину, он закрывает глаза. Блаженство, которое наполняет его, требует тьмы. Эта тьма совершенная, чистая, без образов и видений, эта тьма не имеет конца, не имеет границ, эта тьма — бесконечность, которую каждый из нас носит в себе. (Да, кто ищет бесконечность, пусть закроет глаза!)

В минуту, когда Франц чувствует, как блажен-

ство разливается по его телу, он вытягивается и истаивает в бесконечности своей тьмы, он сам становится бесконечностью. Но чем больше укрепляется мужчина в своей внутренней тьме, тем больше мельчает его внешний облик. Мужчина с закрытыми глазами — лишь обломки мужчины. Вид Франца неприятен Сабине, и она, стараясь не глядеть на него, тоже закрывает глаза. Но эта тьма означает для нее не бесконечность, а простое несогласие с виденным, отрицание виденного, отказ видеть.

4

Сабина поддалась уговорам и решила навестить общество своих земляков. Снова обсуждался вопрос, надо ли было или не надо было бороться против русских с оружием в руках. Естественно, что здесь, в безопасности эмиграции, все утверждали, что бороться надо было. Сабина сказала: — Так отчего же вы не возвращаетесь туда бороться?

Этого нельзя ей было говорить. Мужчина с седоватыми завитыми волосами наставил па нее длинный указательный палец и сказал: — А вам лучше молчать. Вы все несете ответственность за то, что там произошло. И вы, в частности. Что вы сделали дома против коммунистического режи-

ма? Рисовали свои картины, и ни черта больше…

Оценка и проверка граждан есть главная и постоянная социальная деятельность в коммунистических странах. Требуется ли художнику разрешение на открытие выставки или гражданину виза для поездки на каникулы к морю, хочет ли футболист стать членом сборной команды, прежде всего должны быть собраны рекомендации и сведения о данном лице (от дворничихи, от сослуживцев, от полиции, от партийной организации, от профсоюза), а уже потом все они прочитываются, взвешиваются и подытоживаются специально предназначенными для этого дела чиновниками. Однако то, о чем свидетельствуют рекомендации, никоим образом не касается способности гражданина рисовать, играть в футбол или его здоровья, требующего отдыха у моря. Они касаются исключительно того, что называлось «политическим лицом гражданина» (то бишь того, что гражданин говорит, что думает, как ведет себя, как участвует в собраниях или первомайских демонстрациях). Поскольку все (каждодневное существование, продвижение по службе и каникулы) зависит от того, как будет гражданин оценен, каждый должен (хочет ли он играть в футбол за сборную команду, открыть ли

выставку картин или провести каникулы у моря) вести себя так, чтобы получить высший балл.

Именно об этом думала Сабина, слушая седоволосого человека. Его нимало не заботило, хорошо ли его земляки играют в футбол или рисуют (никого из чехов никогда не занимала ее живопись), а весь его интерес сводился к тому, выступали ли они против коммунистического режима активно или только пассивно, по–настоящему или просто для видимости, с самого начала или всего лишь сейчас.

Будучи художником, она любила вглядываться в человеческие лица и еще по Праге знала физиономии тех, чьим призванием было проверять и оценивать других. У них у всех указательный палец был несколько длиннее среднего, и они обычно целили его в того, с кем разговаривали. Кстати, и у президента Новотного, стоявшего у власти в Чехии четырнадцать лет — вплоть до 1968 года, — были такие же завитые парикмахером волосы и самый длинный среди обитателей Центральной Европы указательный палец.

Почтенный эмигрант, услышав из уст художницы, картины которой никогда не видал, что он похож на коммунистического президента Новотного, побагровел, побледнел, еще раз побагровел,

еще раз побледнел и, так и не сказав ни слова в ответ, погрузился в молчание. Вместе с ним молчали и все остальные, пока Сабина наконец не поднялась и не вышла из комнаты.

Она была очень расстроена, но уже внизу на тротуаре вдруг подумала: а почему, собственно, она должна встречаться с чехами? Что связывает ее с ними? Пейзаж? Если бы каждому из них случилось сказать, что он представляет себе под названием Чехия, образы, всплывавшие у них перед глазами, были бы совершенно различны и не творили бы никакого единства.

Быть может, культура? Но что это? Дворжак и Яначек? Несомненно. Но каково, если чеху не свойственно чувство музыки? И существо чешскости сразу расплывается.

Или великие мужи? Ян Гус? Никто из этих людей в комнате не прочел ни строчки из его книг. Единственное, что доступно было их дружному пониманию — это пламя, слава пламени, в котором сгорел он как еретик на костре, слава пепла, в который он обратился, так что суть чешскости для них, говорила себе Сабина, именно один пепел, ничего больше. Этих людей связывает лишь их поражение и укоризны, какими они осыпают друг друга.

Она быстро шла по улице. Больше, чем разрыв с эмигрантами, волновали ее теперь собственные мысли. Она сознавала, насколько они несправедливы. Ведь среди чехов были люди и не похожие на этого, с длинным указательным пальцем. Тишина растерянности, воцарившаяся вслед за ее словами, и отдаленно не означала, что все были против нее. Скорее всего, они были сбиты с толку той внезапной ненавистью, тем непониманием, жертвой которого здесь в эмиграции становятся все. Почему бы ей не пожалеть их? Почему она не видит их трогательными и покинутыми?

Мы знаем почему. Уже в ту минуту, когда она предала отца, жизнь открылась перед ней долгой дорогой предательств, и каждое новое предательство влекло ее как порок и как победа. Она не желает и не будет стоять в строю! Она отказывается стоять в строю — все время с одними и теми же людьми, с одними и теми же речами! Вот почему она так встревожена своей несправедливостью. Но эта тревога не вызывает в Сабине неприятного чувства, напротив, ей кажется, будто она одержала над чем–то победу и кто–то невидимый рукоплещет ей за это.

Но вослед этому опьянению отозвался страх: Где–то же должна оборваться эта дорога! Надо же

когда–нибудь перестать предавать! Она должна наконец остановиться!

Был вечер, она торопливо шла по перрону. Поезд в Амстердам был подан. Она нашла свой вагон. Открыла дверь купе, куда ее довел любезный проводник, и увидала Франца, сидящего на застланной полке. Он встал, чтобы поздороваться с ней, и она, обняв его, покрыла поцелуями.

Она испытывала непреодолимое желание сказать ему, точно самая банальная из всех женщин: Не отпускай меня, держи меня возле себя, укроти меня, сделай меня своей рабыней, будь сильным! Но это были слова, которые она не могла и не умела произнести.

Выпустив его из объятий, она только и сказала: — Я страшно рада, что я с тобой. — Это было самое большее, что она умела сказать при ее сдержанном нраве.

5

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ НЕПОНЯТЫХ СЛОВ

продолжение

Демонстрации

У людей во Франции или Италии с этим нет сложностей. Если родители принуждали их ходить в церковь, они мстят им тем, что вступают в партию (коммунистическую, маоистскую,

троцкистскую и так далее). Однако Сабину отец посылал сначала в церковь, а затем сам же со страху заставил ее вступить в коммунистический Союз молодежи.

Маршируя в колонне на Первое мая, она не умела держать шаг, и шедшая следом девушка прикрикивала на нее и нарочно наступала ей на пятки. Когда в колонне пели песни, она никогда не знала слов и лишь беззвучно открывала рот. Но студентки, заметив это, нажаловались на нее. Смолоду она ненавидела любые демонстрации.

Франц учился в Париже, а поскольку был исключительно одаренным студентом, научная карьера была ему обеспечена с двадцати лет. Он уже тогда знал, что проведет всю свою жизнь в просторах университетского кабинета, общественных библиотек и двух–трех аудиторий; этот воображаемый образ вызывал в нем ощущение удушья. Он мечтал выйти вон из своей жизни, как выходят из квартиры на улицу.

Вот почему он так любил, покуда жил в Париже, ходить на демонстрации. Как славно было что–то праздновать или что–то требовать, против чего–то протестовать, не быть одному, быть под открытым небом и быть с другими. Демонстрации, валившие по бульвару Сен–Жермен или от

площади Республики к Бастилии, его завораживали. Марширующая и кричащая толпа была для него образом Европы и ее истории. Европа — это Великий Поход. Поход От революции к революции, от боя к бою, вечно вперед.

Я мог бы сказать это иначе: Францу его жизнь среди книг казалась ненастоящей. Он мечтал о настоящей жизни, о близости идущих бок о бок с ним других людей, об их выкриках. Ему и в голову не приходило, что принимаемое им за ненастоящее (работа в одиночестве кабинета и библиотек) именно и есть его настоящая жизнь, тогда как демонстрации, представлявшиеся ему реальностью, не более чем театр, танец, торжество, иначе говоря: сон.

В студенческие годы Сабина жила в общежитии. Уже ранним утром первого мая всем полагалось отправляться на место сбора демонстрантов. А чтобы никому не повадно было отлынивать, студенты–активисты прочесывали опустевшее здание. Поэтому Сабина пряталась в туалете, и лишь когда все уходили, пробиралась в свою комнату. Наступала такая тишина, о какой она и не мечтала. Только издали доносилась походная музыка. Ей казалось, что она прячется в раковине, а издали шумит море враждебного мира.

Спустя год, другой, после того как покинула Чехию, она по чистой случайности оказалась в Париже как раз в годовщину русского вторжения. В городе проходила манифестация протеста, и она не могла устоять перед тем, чтобы не принять в ней участия. Молодые французы поднимали кулаки и выкрикивали лозунги против советского империализма. Эти лозунги нравились ей, но вдруг она с удивлением обнаружила, что не в состоянии выкрикивать их купно со всеми. Она смогла выдержать среди демонстрантов не больше нескольких минут.

Когда она поделилась своими переживаниями с французскими друзьями, они удивились: «Выходит, ты не хочешь бороться против оккупации твоей родины?» Ей хотелось сказать им, что за коммунизмом, фашизмом, за всеми оккупациями и вторжениями скрывается самое основное и всеобъемлющее зло; образом этого зла для нее навсегда стала марширующая демонстрация людей, вскидывающих руки и выкрикивающих в унисон одинаковые слоги. Но она знала, что не сумела бы это им объяснить. Смешавшись, она перевела разговор на другую тему.

Красота Нью–Йорка

Они бродили но Нью–Йорку часами; с каж-

дым шагом менялись картины, словно они шли извилистой тропой по увлекательной горной местности — преклонив колени посреди дороги, молился юноша, чуть в сторонке, опершись о дерево, дремала прекрасная негритянка, мужчина в черной паре, пересекая улицу, широкими жестами дирижировал невидимым оркестром, в фонтане била вода, а вокруг сидели строительные рабочие и обедали. Железные лесенки карабкались по фасадам безобразных домов красного кирпича, но дома были столь безобразны, что казались прекрасными; по соседству с ними стоял огромный стеклянный небоскреб, и за ним еще один небоскреб, на крыше которого был построен арабский дворец с башенками, галереями и позолоченными столбами.

Она вспомнила свои картины; на них тоже встречались вещи, не соотносившиеся друг с другом: стройка металлургического завода и позади нее керосиновая лампа; или другая лампа: ее старинный абажур из разрисованного стекла разбит на мелкие осколки, что возносятся над опустелым болотистым краем.

Франц сказал: — Европейская красота всегда носила преднамеренный характер. Там существовал эстетический замысел и долговременный

план, по которому человек на протяжении десятилетий возводил готический кафедральный собор или ренессансный город. Красота Нью–Йорка имеет совершенно другую основу. Это невольная красота. Она возникла без человеческого умысла, подобно сталактитовой пещере. Формы, сами по себе неприглядные, случайно, без плана попадают в такое немыслимое соседство, что озаряются волшебной поэзией.

Сабина сказала: — Невольная красота. Да. Можно было бы и по–другому сказать: красота по ошибке. Прежде чем красота совсем исчезнет из мира, еще какое–то время она просуществует по ошибке. Красота по ошибке — это последняя фаза в истории красоты.

И она вспомнила свою первую зрелую картину; она возникла потому, что на нее по ошибке скапнула красная краска. Да, ее картины были основаны на красоте ошибок, и Нью–Йорк был тайной и истинной родиной ее живописи.

Франц сказал: — Возможно, что невольная красота Нью–Йорка во много раз богаче и пестрее, чем слишком строгая и выстроенная красота человеческого проекта. Но это уже не европейская красота. Это чужой мир.

Так, стало быть, есть что–то, в чем они схо-

дятся?

Нет. И тут есть разница. Чуждость нью–йоркской красоты несказанно привлекает Сабину. Франца она завораживает, но и пугает; пробуждает в нем тоску по Европе.

Сабинина родина

Сабина понимает его неприязненность к Америке. Франц — олицетворение Европы: его мать родилась в Вене, отец был француз, сам же он — швейцарец.

Франц не перестает восхищаться Сабининой родиной. Когда она рассказывает ему о себе и о своих чешских друзьях, Франц слышит слова «тюрьма», «преследование», «танки на улицах», «эмиграция», «листовки», «запрещенная литература», «запрещенные выставки» и испытывает странную зависть, замешанную на ностальгии.

Он делится с Сабиной: — Один философ однажды написал обо мне, что все, что я говорю, бездоказательная спекуляция, и назвал меня «Сократом умопомрачающим». Я почувствовал себя страшно оскорбленным и ответил ему в яростном тоне. Представь себе! Этот эпизод был самым большим конфликтом, который я когда–либо пережил! Моя жизнь достигла тогда предела своих драматических возможностей! Мы с тобой

живем в разных измерениях. Ты вошла в мою жизнь, как Гулливер в страну лилипутов.

Сабина протестует. Конфликт, драма, трагедия, по ее мнению, ровно ничего не значат; в них нет никакой ценности, ничего, что заслуживало бы уважения или восторга. Единственное, что достойно зависти, это работа Франца, которой он мог заниматься в тишине и покое.

Франц качает головой: — Если общество богато, людям не приходится работать руками, они посвящают себя духовной деятельности. Чем дальше, тем больше университетов, чем дальше, тем больше студентов. Чтобы студенты могли закончить университет, придумываются темы дипломных работ. Тем беспредельное множество, поскольку все на свете может стать предметом исследования. Исписанные листы бумаги громоздятся в архивах, более печальных, чем кладбища, ибо в них никто не заходит даже в День поминовения усопших. Культура растворяется в несметном множестве продукции, в лавине букв, в безумии количества. Вот почему я тебе говорю, что одна запрещенная книга на твоей бывшей родине стоит несравнимо больше, чем миллиарды слов, которые изрыгают наши университеты.

В этом плане мы могли бы понять и слабость Франца ко всем революциям. Одно время он симпатизировал Кубе, потом Китаю, и лишь когда жестокость их режимов отвратила его, он меланхолически смирился с тем, что на его долю остается лишь море букв, которые ничего не весят и не имеют ничего общего с жизнью. Он стал профессором в Женеве (где не совершается никаких манифестаций) и в каком–то отречении (в одиночестве, без женщин и шествий) издал с заметным успехом сколько–то научных трудов. Затем в один прекрасный день явилась, как откровение, Сабина; она пришла из страны, где уже давно отцвели всякие революционные иллюзии, но где еще оставалось то, что больше всего в революциях его восхищало: жизнь в масштабности риска, мужества и опасности смерти. Сабина вернула ему веру в величие человеческого жребия. Она была для него тем прекраснее, что за ее фигурой высвечивалась мучительная драма ее страны.

Однако Сабина этой драмы не любила. Слова «тюрьма», «преследование», «запрещенные книги», «оккупация», «танки на улицах» для нее отвратительны, без малейшего следа романтики. Единственное слово, что отзывается в ней

ностальгическим воспоминанием о родине, это слово «кладбище».

Кладбище

Кладбища в Чехии подобны садам. Могилы, поросшие травой с яркими цветами. Скромные памятники, затерянные в зелени листьев. Когда смеркнется, кладбище вспыхивает множеством зажженных свечей, и кажется, будто мертвые устроили детский бал. Да, именно детский, ибо мертвые невинны как дети. И какой бы жестокой ни была жизнь, на кладбищах всегда царил мир. И в годы войны, и при Гитлере, и при Сталине, сквозь все оккупации. Когда Сабине бывало грустно, она садилась в машину и укатывала далеко за Прагу — побродить по одному из деревенских погостов, которые любила. Эти погосты на фоне голубых холмов были прекрасны, как колыбельная песня.

Для Франца кладбище было отвратительной свалкой костей и каменьев.

6

— Я никогда не стал бы водить машину. Страшно боюсь аварии. Даже если не разобьешься насмерть, покалечишься на всю жизнь! — сказал скульптор и непроизвольно схватился за указательный палец, который когда–то чуть не

отсек себе, отесывая деревянную статую. Палец сохранили ему поистине чудом.

— Выдумки! — сказала Мария–Клод громким голосом. Она была в великолепной форме. — Я попала в тяжелую аварию, но это было прекрасно. Мне нигде не было так хорошо, как в клинике! Я совершенно не могла спать и потому непрестанно, дни и ночи напролет, читала.

Все смотрели на нее с изумлением, которое явно ее радовало. У Франца ощущение неприязни (он знал, что после упомянутой аварии его жена была ужасно убита и без конца жаловалась) смешивалось со странным восхищением (ее способность преобразовывать все пережитое свидетельствовало о завидной жизнестойкости).

Она продолжала: — Там я начала делить книги на дневные и ночные. В самом деле, есть книги дня и книги, которые можно читать исключительно ночью.

Все изображали восторженное удивление, лишь один скульптор, держась за палец, сильно морщился от неприятного воспоминания.

Мария–Клод обратилась к нему: — В какую группу ты зачислил бы Стендаля?

Скульптор слушал ее вполуха и потому смущенно пожал плечами. Искусствовед, стоящий

возле него, заявил, что, на его взгляд, Стендаль — чтение дневное.

Мария–Клод покачала головой и громко объявила: — Как бы не так! Ты глубоко ошибаешься! Стендаль — ночной автор!

Франц участвовал в дискуссии о ночном и дневном искусстве с немалой рассеянностью, ибо занят был только одной мыслью: когда появится Сабина. Не день и не два они вместе раздумывали над тем, стоит ли ей принять приглашение на этот коктейль. Мария–Клод устроила его для всех живописцев и скульпторов, которые когда–либо выставлялись в ее частной галерее. С тех пор как Сабина познакомилась с Францем, она избегала его жены. Однако, опасаясь выдать себя, они в конце концов все же решили, что будет естественнее и менее подозрительно, если она придет.

Поглядывая украдкой в сторону передней, Франц непрерывно при этом слышал звучавший в другом конце салона голос своей восемнадцатилетней дочери Марии–Анн. Покинув группу, где царила жена, он подошел к кружку, в котором первенствовала дочь. Один сидел в кресле, другие стояли, Мария–Анн сидела на полу. Франц был уверен, что Мария–Клод в противоположном конце салона также не преминет вскоре усесться

на ковер. Садиться перед гостями на пол в то время было жестом, выражавшим естественность, непринужденность, прогрессивность, общительность и парижский бонтон. Страсть, с какой Мария–Анн садилась повсюду на пол, была такой истовой, что Франц нередко опасался, как бы она не плюхнулась на пол в магазине, куда ходила за сигаретами.

— Над чем вы сейчас работаете, Алан? — спросила Мария–Анн мужчину, у ног которого сидела.

Алан был столь наивен и искренен, что собрался было ответить дочери хозяйки галереи от чистого сердца. Он начал объяснять ей свою новую манеру письма, которая представляла собою сочетание фотографии и живописи. Не успел он произнести и трех фраз, как Мария–Анн принялась свистеть. Художник говорил медленно, сосредоточенно и свиста не слышал.

Франц шепнул: — Можешь мне сказать, почему ты свистишь?

— Потому что не люблю, когда говорят о политике, — ответила она громко.

В самом деле, двое мужчин из этой группки стояли и говорили о предстоящих во Франции выборах. Мария–Анн, чувствуя себя обязанной руководить увеселительной стороной вечера,

спросила их, собираются ли они на следующей неделе в театр слушать оперу Россини, которую дает итальянская оперная труппа. Меж тем живописец Алан подыскивал все более точные определения для своей новой манеры письма, и Францу совестно было за дочь. Чтобы заставить ее замолчать, он во всеуслышание объявил, что в опере ему бесконечно скучно.

— Ты ужасен, — сказала Мария–Анн, пытаясь с полу хлопнуть отца по животу. — Главный герой потрясающе хорош! Боже, до чего он хорош! Я видела его два раза и влюбилась по уши!

Франц отметил про себя, что его дочь страшно похожа на мать. Почему на него она не похожа? Но что поделаешь, не похожа, и баста. От Марии–Клод он слышал уже бессчетное число раз, что она влюблена в того или иного художника, певца, писателя, политика, а однажды даже в одного велогонщика. Разумеется, все это было лишь пустой болтовней ужинов и коктейлей, однако нередко при этом он вспоминал, что двадцать лет назад она то же самое говорила о нем и угрожала самоубийством.

Наконец, в салон вошла Сабина. Мария–Клод, увидев ее, направилась к ней. Дочь продолжала вести разговор о Россини, но Франц прислуши-

вался теперь лишь к тому, о чем говорили две женщины. После двух–трех приветственных фраз Мария–Клод взяла в руку керамическую подвеску, которая была у Сабины на шее, и излишне громко сказала:

— Что это у тебя? Безобразная подвеска!

Эта фраза привлекла внимание Франца. Она не была сказана воинственно, напротив, громкий смех призван был подчеркнуть, что непринятие подвески вовсе ничего не меняет в доброжелательстве, с которым Мария–Клод относится к художнице; и все же эта фраза выпадала из общего стиля, в каком Мария–Клод обычно вела разговор.

— Я сделала ее сама, — сказала Сабина.

— Право, она безобразна, — повторила Мария–Клод чрезвычайно громким голосом. — Тебе не стоит ее носить!

Франц понимал, что его жену нимало не занимает, действительно ли подвеска безобразна. Безобразным было прежде всего то, что она хотела видеть безобразным, а красивым — то, что она хотела видеть красивым. Украшения ее друзей априори были прекрасны. И даже найди она их некрасивыми, она скрыла бы это, ибо лесть давно сделалась ее второй натурой.

Почему же она решила, что подвеску, которую Сабина сама себе сделала, она вправе посчитать безобразной?

Францу стало вдруг совершенно ясно: Мария–Клод объявила Сабинину подвеску только потому безобразной, что могла себе это позволить.

Еще точнее: Мария–Клод объявила Сабинину подвеску безобразной, чтобы дать понять: она может себе позволить сказать Сабине, что ее подвеска безобразна.

Сабинина выставка год назад не имела большого успеха, и Мария–Клод не очень–то добивалась расположения Сабины. Напротив, у Сабины было основание добиваться благосклонности Марии–Клод. Однако на ее поведении это никак не отражалось.

Да, Францу ясно как день: Мария–Клод воспользовалась случаем дать понять Сабине и другим, каково между ними двумя истинное соотношение сил.

7

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ НЕПОНЯТЫХ СЛОВ

Окончание

Старинный собор в Амстердаме

С одной стороны улицы — дома, и за их большими окнами нижнего этажа, похожими на

витрины магазинов, маленькие комнатки проституток, что сидят в одном белье у самых стекол в креслицах, выстланных подушками. Они напоминают больших скучающих кошек.

Другую сторону улицы занимает огромный готический собор четырнадцатого века.

Между миром проституток и миром Божьим, как река меж двумя империями, разливается резкий запах мочи.

От старого готического стиля внутри собора остались лишь высокие голые белые стены, колонны, свод и окна. На стенах — ни одной картины, нигде ни одной статуи. Собор пуст, как спортивный зал. Лишь посреди него большим четырехугольником расставлены ряды стульев, окружающих миниатюрный помост со столом для проповедника. Позади стульев — деревянные кабины, ложи для богатых семейств горожан.

Эти стулья и ложи стоят здесь без учета формы стен и расположения колонн, словно возжелали выразить готической архитектуре свое равнодушие и презрение. Уже столетия назад кальвинистская вера превратила собор в обыкновенный ангар, единственным назначением которого стало оберегать молитву верующих от дождя и снега.

Франц был очарован: этим огромным залом прошел Великий Поход истории.

Сабина вспомнила, как после коммунистического переворота у нее на родине были национализированы все замки и превращены в ремесленные училища, в дома для престарелых или просто в коровники. В один такой коровник случилось ей заглянуть: в лепные стены были вбиты крюки с железными кругами, а к ним привязаны коровы, мечтательно глядевшие из окон в замковый парк, где бродили куры.

Франц сказал: — Эта пустота очаровывает меня. Люди нагромождают алтари, скульптуры, картины, стулья, кресла, ковры, книги, а потом приходит минута радостного облегчения, когда они сметают все это, как мусор со стола. Ты можешь представить себе Геркулесову метлу, которая вымела бы этот собор?

Сабина указала на деревянную ложу: — Бедные должны были стоять, а богатые сидели в ложах. Но существовало Нечто, что связывало банкира и бедняка: ненависть к красоте.

— Что такое красота? — сказал Франц, и перед его глазами всплыл недавний вернисаж, на который ему пришлось сопровождать свою жену. Бесконечная тщета речей и слов, тщета культуры,

тщета искусства.

Когда Сабина еще студенткой работала на молодежной стройке, бодрые марши, постоянно звучавшие из репродукторов, так травили ей душу, что однажды в воскресенье она села на мотоцикл и умчалась далеко в горы. Остановилась в незнакомой деревеньке, затерянной среди холмов. Приставила мотоцикл к стеке храма и вошла внутрь. Как раз служили мессу. Религия тогда преследовалась режимом, и большинство людей избегало ходить в церковь. На скамьях сидели одни старики и старушки, ибо режима они уже не боялись. Боялись только смерти.

Священник певучим голосом произносил фразу, а люди повторяли ее за ним хором. Это были литании. Одни и те же слова всякий раз возвращались, точно странник, который не может оторвать глаз от пейзажа, или как человек, который не в силах расстаться с жизнью. Она сидела сзади на скамье и то закрывала глаза, чтобы слышать лишь эту музыку слов, то снова их открывала: вверху она видела голубой свод и на нем большие золотые звезды. Она была очарована.

То, что она неожиданно встретила в храме, был не Бог, а красота. Притом она хорошо понимала,

что этот храм и эти литании были прекрасны не сами по себе, а именно в сочетании с молодежной стройкой, на которой она проводила дни в гуле песен. Месса была прекрасна потому, что явилась ей внезапно и тайно, как отверженный мир.

С той поры она знала, что красота — это отверженный мир. Мы можем встретить ее лишь тогда, когда гонители по ошибке забудут о ней. Красота спрятана за кулисой первомайского шествия. Если мы хотим найти ее, мы должны разорвать холст декорации.

— Впервые в жизни храм меня так завораживает, — сказал Франц. Однако восхищение пробудил в нем не дух протестантизма или аскетизма, а нечто другое, нечто совсем особое, о чем он не решался сказать Сабине. Ему казалось, что он слышит голос, который призывает его взять в руку Геркулесову метлу и вымести из своей жизни вернисажи Марии–Клод, певцов Марий–Анн, конгрессы и симпозиумы, пустые речи. пустые слова. Огромный пустой простор амстердамского собора явился ему как образ собственного освобождения.

Сила

В постели одного из многих отелей, где они отдавались любви, Сабина гладила руки Фран-

ца и говорила: — Поразительно, какие у тебя мускулы.

Франца порадовала ее похвала. Он встал с постели, взял тяжелый дубовый стул за ножку у самого пола и начал медленно поднимать кверху.

— Тебе бояться нечего, — сказал он, — я защищу тебя при любых обстоятельствах. Я когда–то участвовал в соревнованиях по дзюдо.

Ему удалось, распрямив руку, поднять стул над головой, и Сабина сказала: — Приятно видеть, что ты такой сильный.

Но про себя она добавила еще вот что: Франц сильный, но его сила устремлена лишь вовне. По отношению к людям, с которыми он живет, которых любит, он слаб. Слабость Франца называется добротой. Франц никогда не смог бы ничего приказать Сабине. Он никогда не потребовал бы от нее, как некогда Томаш, положить на пол зеркало и ходить по нему обнаженной. И не то чтобы ему недоставало чувственности, ему недостает силы приказывать. Существуют вещи, которые можно осуществить только насилием. Телесная любовь немыслима без насилия.

Сабина смотрела, как Франц ходит по комнате с высоко поднятым стулом, и это зрелище представлялось ей гротесковым; на нее нашла

странная грусть.

Франц поставил стул против Сабины, сел на него и сказал: — Мне совсем неплохо от того, что я сильный, но к чему в Женеве мои мускулы? Я ношу их как орнамент. Как павлиньи перья. Я ни с кем в жизни не дрался.

Сабина продолжала предаваться своим меланхолическим думам:

А что, если бы у нее был мужчина, который бы ей приказывал? Долго ли бы она его вынесла? И пяти минут было бы много! Стало быть, ее не устроит ни один мужчина. Ни сильный, ни слабый.

Сабина сказала: — Почему ты никогда не воспользуешься своей силой против меня?

— Потому что любить — значит отказаться от силы. — ответил Франц тихо.

Сабина поняла две вещи: во–первых, эта фраза прекрасна и правдива; во — вторых, этой фразой Франц дисквалифицирует себя в ее эротической жизни.

Жить в правде

Это формула, которую использовал Кафка то ли в своем дневнике, то ли в одном из писем. Франц уже не помнит где. Формула заинтересовала его. Что это, жить в правде? Определить

это через отрицание несложно: это значит не лгать, не прятаться, ничего не утаивать. С тех пор как Франц узнал Сабину, он живет во лжи. Он рассказывает жене о конгрессе в Амстердаме и о лекциях в Мадриде, которых и в помине не было, и боится пройтись с Сабиной по женевской улице. И ему даже нравится лгать и скрываться, поскольку он никогда прежде не делал этого. Он приятно возбужден, словно первый ученик в классе, набравшийся смелости хоть раз в жизни прогулять уроки.

Для Сабины «жить в правде», не лгать ни себе, ни другим, возможно лишь при условии, что мы живем без зрителей. В минуту, когда к нашему поведению кто–то приглядывается, мы волей–неволей приспосабливаемся к наблюдающим за нами глазам и уже все, что бы мы ни делали, перестает быть правдой. Иметь зрителей, думать о зрителях — значит жить во лжи. Сабина ни в грош не ставит литературу, где авторы обнажают всю подноготную своей жизни и жизни своих друзей. Человек, утрачивающий свое сокровенное, утрачивает все, думает Сабина. А человек, который избавляется от него добровольно, не иначе как монстр. Поэтому Сабина вовсе не страдает от того, что ей приходится утаивать свою

любовь. Напротив, лишь так она может «жить в правде».

Франц, напротив, уверен, что в разделении жизни на частную и общественную сферу заключен источник всяческой лжи: в частной жизни человек один, а в общественной — совсем другой. «Жить в правде» для него значит разрушить барьер между частным и общественным. Франц любит цитировать Андре Бретона, сказавшего, что он хотел бы жить в «стеклянном доме», где нет никаких тайн и куда дозволено заглянуть каждому.

Услыхав, как его жена объявила Сабине: «Безобразная подвеска!», он понял, что дальше жить во лжи он не может. В ту минуту ему, естественно, полагалось бы заступиться за Сабину. Но он не сделал этого лишь потому, что боялся выдать их тайную близость.

Назавтра после коктейля он предполагал уехать с Сабиной на два дня в Рим. В ушах у него все еще звучала фраза: «Безобразная подвеска!», заставившая его увидеть свою жену совсем в ином свете, чем в прошлые годы. Ее агрессивность, неуязвимая, шумная и темпераментная, снимала с его плеч бремя доброты, которое он терпеливо нес все двадцать три года супружества. Он вспом-

нил огромный внутренний простор старинного собора в Амстердаме и снова почувствовал особый, непостижимый восторг, какой пробуждала в нем его пустота.

Он упаковывал свой саквояж, когда в комнату к нему вошла Мария–Клод; рассказывая о вчерашних гостях, она категорично одобряла одни суждения, услышанные от них, и с издевкой отметала другие.

Франц долго смотрел на нее, а потом сказал: — В Риме не будет никакой конференции.

Она поняла не сразу: — Тогда зачем ты туда едешь?

Он сказал: — Уже девять месяцев, как у меня любовница. Я не хочу встречаться с нею в Женеве. Вот почему так часто разъезжаю. Я подумал, что ты должна об этом знать.

После первых произнесенных слов он испугался; изначальная смелость покинула его. Он отвел глаза, чтобы не видеть на лице Марии–Клод отчаяния, которое предполагал вызвать у нее своими словами.

После небольшой паузы раздалось: — Да, я тоже думаю, что мне надо об этом знать.

Голос звучал уверенно, и Франц поднял глаза: Мария–Клод не выглядела уничтоженной. Она

по–прежнему походила на ту женщину, которая вчера громким голосом сказала: «Безобразная подвеска!»

Она продолжала: — Коль уж ты набрался храбрости сообщить мне, что девять месяцев обманываешь меня, можешь сказать хотя бы с кем?

Он всегда убеждал себя, что не имеет права оскорбить Марию–Клод и должен уважать в ней женщину. Но куда девалась эта женщина в Марии–Клод? Иными словами, куда делся образ матери, который он связывал со своей женой? Мама, его грустная и израненная мама, у которой на ногах были разные туфли, ушла из Марии–Клод, а может, вовсе и не ушла из нее, ибо в ней никогда не была. Он осознал это с внезапной ненавистью.

— У меня нет никакой причины это утаивать, — сказал он.

Если ее не ранила его неверность, то наверняка ее ранит весть о том, кто ее соперница. И потому, глядя ей прямо в лицо, он стал говорить о Сабине.

Чуть позже он встретился с Сабиной на аэродроме. Самолет взмыл вверх, и ему с каждой минутой становилось легче. Он говорил себе, что

по истечении девяти месяцев он наконец снова живет в правде.

8

Сабине казалось, будто Франц грубо взломал двери ее интимности. Будто вдруг просунулась внутрь голова Марии–Клод, голова Мария–Анн, голова художника Алана и скульптора, постоянно сжимавшего палец, головы всех тех, кого она знала в Женеве. Вопреки своей воле она становится соперницей женщины, которая ее вовсе не занимает. Франц наконец разведется, и она займет место рядом с ним на широкой супружеской кровати. Все будут издали или вблизи наблюдать за этим, и ей придется на людях разыгрывать комедию; вместо того чтобы быть Сабиной, она будет вынуждена играть роль Сабины и еще придумывать, как играть эту роль. Обнародованная любовь тяжелеет, становится бременем. Сабина уже заранее съеживалась в ощущении этой воображаемой тяжести.

Они ужинали в римском ресторане и пили вино. Она была молчалива.

— Ты правда не сердишься? — спрашивал Франц.

Она уверила его, что не сердится. Она все еще была растеряна и не знала, радоваться ли ей или

нет. Вспомнила их встречу в спальном вагоне поезда на пути в Амстердам. Тогда ей хотелось пасть перед ним на колени и умолять его даже силой держать ее при себе и никуда не отпускать. Она мечтала, чтобы уж раз и навсегда кончилась эта опасная дорога предательства. Она мечтала остановиться.

Теперь она старалась вспомнить как можно явственнее свою тогдашнюю мечту, воскресить ее, опереться на нее. Тщетно. Ощущение неприязни было сильнее.

Возвращались они в отель вечерней улицей. Итальянцы вокруг шумели, кричали, жестикулировали, и потому они могли идти рядом без слов, даже не слыша своего молчания.

Потом Сабина долго умывалась в ванной, а Франц ждал ее под одеялом. По обыкновению горела маленькая лампочка.

Сабина пришла из ванной и погасила ее. Сделала она это впервые, и Францу полагалось бы заметить этот жест. Но он не обратил на него достаточного внимания, ибо свет не имел для него значения. Как мы знаем, он предпочитал заниматься любовью с закрытыми глазами.

Но именно эти закрытые глаза и заставили Сабину погасить лампочку. Ей уже ни на миг

больше не хотелось видеть этих опущенных век. В глазах, говорится, и душа как в окне видна. Тело Франца, что всегда металось на ней с закрытыми глазами, было для нее телом без души. Оно напоминало слепого кутенка, беспомощно попискивающего от жажды. Мускулистый Франц в соитии был точно огромный щенок, сосущий ее грудь. Да он и вправду держал во рту ее сосок, словно сосал молоко! Этот образ Франца, зрелого мужчины внизу и кормящегося грудью детеныша наверху, вызывал в ней чувство, будто она совокупляется с грудным младенцем, чувство, граничащее с омерзением. Нет, она уже никогда не захочет видеть, как он отчаянно бьется на ней, нет, она уже никогда не подставит своей груди, как сука щенку, сегодня это в последний раз, в последний раз — бесповоротно!

Она, конечно, понимала, что ее решение — верх несправедливости, что Франц самый лучший из всех мужчин, какие ей встречались в жизни: он интеллигентен, разбирается в ее живописи, красивый, добрый, но чем больше она сознавала это, тем больше тянуло ее изнасиловать эту интеллигентность, эту добросердечность, тянуло изнасиловать эту беспомощную силу.

Она любила его в эту ночь яростнее, чем когда–

либо прежде, ибо ее возбуждало сознание, что это в последний раз. Она любила его, но была уже где–то далеко отсюда. Она уже снова слышала, как вдали звучит золотой горн предательства, и знала, что это голос, перед которым ей не устоять. Ей казалось, что перед нею еще необозримый простор свободы, и его ширь возбуждала ее. Она любила Франца так исступленно, так дико, как никогда не любила его.

Франц всхлипывал на ее теле и был уверен, что все понимает: Сабина за ужином была молчалива и ни слова не сказала о его решении, зато сейчас она отвечает ему. Сейчас она выражает ему свою радость, свою страсть, свое согласие, свое желание навсегда остаться с ним.

Он казался себе всадником, скачущим на коне в великолепную пустоту, пустоту без супруги, без дочери, без домашних обязанностей, в великолепную пустоту, выметенную Геркулесовой метлой, в великолепную пустоту, которую заполонит своей любовью.

Каждый из них скакал на другом, как на коне, и оба мчались в дали своей мечты. Оба были опьянены предательством, которое освободило их. Франц скакал на Сабине и предавал свою жену, Сабина скакала на Франце и предавала Франца.

9

На протяжении более двадцати лет он видел в жене свою мать, существо слабое, нуждающееся в защите; этот образ слишком укоренился в нем, чтобы суметь избавиться от него за каких–то два дня. Возвращаясь домой, он мучился угрызениями совести, боялся, что после его отъезда жена впала в отчаяние и что он найдет ее истомленной печалью. Он робко открыл дверь и прошел в свою комнату. Постоял тихо, прислушался: да, она была дома. После минутного колебания он пошел по обыкновению поздороваться с ней.

В наигранном удивлении она подняла брови и сказала: — Ты пришел сюда?

«А куда я должен был идти?» — хотелось ему спросить (в удивлении неподдельном), но он не сказал ни слова.

Она продолжала: — Между нами все должно быть ясно. Я ничего не имею против того, чтобы ты переехал к ней, причем немедля.

Когда в день отъезда он во всем признался ей, у него не было никакого определенного плана действий. Он настроен был по возвращении домой обсудить все их дела в дружеской обстановке и тем смягчить нанесенную ей обиду. Он никак не рассчитывал на то, что Мария–Клод сама станет

холодно и упорно настаивать на его уходе.

Это, конечно, облегчало его положение, однако не избавляло от разочарования. Всю жизнь, боясь ранить ее, он добровольно подчинял себя дисциплине отупляющей моногамии, и сейчас, после двадцати лет, он вдруг обнаруживает, что его расчеты были совершенно не нужны и что он поступился другими женщинами лишь по нелепому недоразумению!

После обеда у него была лекция, а затем он пошел прямо к Сабине. Хотел попросить ее разрешить ему остаться у нее на ночь. Позвонил, по ему никто не открыл. Он зашел в кабачок напротив и долго смотрел на подъезд ее дома.

Был уже поздний вечер, и он не знал, что делать. Всю жизнь он спал с Марией–Клод в одной кровати. Если сейчас он вернется домой, куда ему лечь? Он, конечно, мог бы постелить себе на тахте в соседней комнате. Но не покажется ли этот жест чересчур вызывающим? Не будет ли это выглядеть проявлением враждебности? Он ведь хочет и впредь оставаться другом своей жены! Однако улечься рядом тоже было бы дикостью. Он уже мысленно слышал ее вопрос, почему он не отдает предпочтения Сабининому ложу. И он нашел номер в гостинице.

Назавтра он столь же тщетно звонил у Сабининых дверей в течение целого дня.

На третий день он зашел к консьержке. Не сумев ничего объяснить ему сама, она направила его к хозяйке, сдававшей Сабине мастерскую. Он позвонил ей и узнал, что Сабина еще позавчера выехала из мастерской.

Он наведывался еще несколько дней к Сабининому дому, надеясь застать ее там, пока однажды не нашел квартиру открытой, а в ней — трех мужчин в синих спецовках, которые грузили мебель и картины в большой фургон, стоявший перед домом.

Он спросил их, куда повезут мебель.

Они ответили, что у них есть строгий наказ держать адрес в секрете.

Он уж было хотел сунуть им несколько банкнот и все–таки узнать этот секрет, как внезапно почувствовал, что у него нет для этого сил. Печаль совершенно оглушила его. Он ничего не понимал, ничего не мог объяснить, он знал лишь одно: этот удар он ожидал с первой минуты, как встретил Сабину. Случилось то, что должно было случиться. Франц не защищался.

Он подыскал для себя маленькую квартирку в старом городе. В часы, когда, по его убеждению,

ни дочери, ни жены не было дома, он зашел в свою бывшую квартиру взять одежду и самые необходимые книги. Причем мучительно остерегался взять то, чего впоследствии могло бы недоставать Марии–Клод.

Однажды он увидел ее за окном кофейни. Она сидела там еще с двумя дамами, и ее лицо, давно изборожденное от необузданной мимики морщинами, было в состоянии крайнего возбуждения. Дамы слушали ее и не переставая смеялись. Франц не мог избавиться от впечатления, что она рассказывает о нем. Ей было несомненно известно, что Сабина исчезла из Женевы в то самое время, когда Франц решил соединиться с ней. Поистине смешная история! И надо ли было удивляться, что он стал предметом насмешек для приятельниц его жены.

Он вернулся в свою новую квартиру, куда каждый час доносился колокольный звон собора Сен Пьер. Как раз в тот день ему привезли из магазина стол. Он забыл о Марии–Клод и ее приятельницах. Забыл на время и о Сабине. Сел к столу. Радовался, что сам его выбрал. Все двадцать лет он жил среди мебели, которую не выбирал. Всем управляла Мария–Клод. Наконец–то он перестал чувствовать себя мальчиком и зажил по своему

усмотрению.

На следующий день, пригласив столяра, он заказал ему книжные полки, какие уже не одну неделю вычерчивал, рассчитывал и обдумывал, где поставить.

И он вдруг с изумлением обнаружил, что вовсе не так уж несчастен. Физическая близость с Сабиной оказалась для него менее важной, чем он предполагал. Много важнее был для него тот золотой, тот волшебный след, который она оставила в его жизни и который никому не удастся отнять. Прежде чем исчезнуть с его горизонта, она успела вложить ему в руку Геркулесову метлу, коей он вымел из своей жизни все, чего не любил. Неожиданное счастье, спокойствие, радость свободы и новой жизни — это был дар, который она поднесла ему.

Впрочем, Франц всегда отдавал предпочтение нереальному перед реальным. И насколько он чувствовал себя лучше в колонне демонстрантов (что, как я сказал, всего лишь театр и сон), чем за кафедрой, откуда читал лекции студентам, настолько он был счастливее с Сабиной, претворившейся в незримую богиню, чем с Сабиной, которая сопровождала его по свету и за любовь которой он постоянно опасался. Подарив ему

нежданную свободу мужчины, живущего в одиночестве, она тем самым окружила его и ореолом привлекательности. Он вдруг стал притягивать женщин; одна из его студенток влюбилась в него.

И так внезапно, в течение немыслимо короткого времени, совершенно изменился обиход его жизни. Еще недавно обитавший в большой буржуазной квартире со служанкой, дочерью и супругой, он теперь занимает маленькую квартирку в старом городе и чуть ли не каждый вечер проводит с молодой любовницей. Ему не нужно ездить с ней по гостиницам мира, он может любить ее в собственном доме, на собственной постели, в присутствии своих книг и своей пепельницы на ночном столике.

Девушка не была ни дурна, ни хороша собой, но зато настолько моложе Франца! И восхищалась им так же, как еще совсем недавно он восхищался Сабиной. Естественно, это отнюдь не тяготило его. И если замену Сабины очкастой студенткой он мог, пожалуй, считать неким падением, доброты его хватало на то, чтобы окружить новую любовницу нежностью и поистине отцовской любовью, кстати, не полностью удовлетворенной, ибо Мария–Анна вела себя не как дочь, а

скорее как вторая Мария–Клод.

Однажды он наведался к своей жене и сказал ей, что хотел бы снова жениться.

Мария–Клод покачала головой.

— Развод ничего не изменит! Ты ничего от этого не потеряешь! Я оставляю тебе все имущество!

— Имущество не волнует меня! — сказала она.

— А что же волнует тебя?

— Любовь, — улыбнулась она.

— Любовь? — удивился он.

— Любовь есть борьба, — продолжала улыбаться Мария–Клод. — Я буду бороться долго. До самого конца.

— Любовь — борьба? У меня нет ни малейшего желания бороться, — сказал Франц и ушел.

10

После четырех лет, проведенных в Женеве, Сабина поселилась в Париже, но не могла спастись от уныния. Если бы ее спросили, что произошло с ней, она не нашла бы для ответа слов.

Жизненную драму всегда можно выразить метафорой тяжести. Мы говорим: на нас навалилась тяжесть. Мы вынесем эту тяжесть или не вынесем, рухнем под нею или поборемся, проиграем или победим. Но что, в сущности, случилось с Сабиной? Ничего. Она покинула одного мужчи-

ну, поскольку хотела его покинуть. Преследовал он ее впоследствии? Мстил ей? Нет. Ее драма была не драмой тяжести, а легкости. На Сабину навалилась вовсе не тяжесть, а невыносимая легкость бытия.

До сих пор предательство наполняло ее возбуждением и радостью от того, что перед нею расстилается новая дорога и в конце ее — новый вираж предательства. Но что, если однажды эта дорога кончится? Можно предать родителей, мужа, любовь, родину, но когда уже нет ни родителей, ни мужа, ни любви, ни родины, что еще остается предать?

Сабина ощущает вокруг себя пустоту. А что, если именно эта пустота была целью всех ее предательств?

Естественно, до сих пор она не осознавала этого: цель, которую человек преследует, всегда скрыта. Девушка, мечтающая о замужестве, грезит о чем–то совершенно для нее неведомом. Молодой человек, жаждущий славы, не знает, что такое слава. То, что дает смысл нашим поступкам, всегда для нас нечто тотально неведомое. И Сабина также не знала, какая цель скрывается за ее жаждой предательств. Невыносимая легкость бытия — это ли цель? По отъезде из Женевы Сабина

значительно к ней приблизилась.

Она жила уже три года в Париже, когда получила письмо из Чехии. Писал ей сын Томаша. Каким–то образом узнав о ней, он нашел ее адрес и обратился к ней как к «самой близкой подруге» отца. Сообщил ей о смерти Томаша и Терезы. Писал, что в последние годы они жили в деревне, где Томаш работал водителем пикапа. Время от времени они вместе ездили в соседний город и останавливались там на ночь в дешевой гостинице. Дорога туда шла серпантином через взгорки, и пикап рухнул с высокого откоса. Их тела разнесло вдребезги. Полиция задним числом установила, что тормоза были катастрофически изношены.

Сабина не могла прийти в себя после этого известия. Последняя нить, которая еще связывала ее с прошлым, была оборвана.

По старой привычке ей захотелось для успокоения прогуляться по кладбищу. Ближайшим было Монпарнасское кладбище. Оно всё состояло из хрупких домишек — миниатюрных часовенок, возведенных над каждой могилой. Сабина понять не могла, почему мертвым хочется иметь над собой эту имитацию дворцов. Кладбище, по сути, было тщеславием, обращенным в камень. Вместо того чтобы после смерти стать разумнее,

его обитатели оказывались еще более безрассудными, чем при жизни. На памятниках они демонстрировали свою значимость. Здесь покоились не отцы, братья, сыновья или бабушки, а сановники и общественные деятели, обладатели званий, чинов и почестей; почтовый чиновник и тот выставлял напоказ свое положение, свое общественное значение — свое достоинство.

Бродя по кладбищу, она заметила в стороне от аллеи группу людей, собравшихся для похорон. Церемониймейстер держал полную охапку цветов и каждому провожавшему покойного давал по одному цветку. Дал и Сабине. Она присоединилась к процессии. Обогнув несколько памятников, все пошли к могиле, с которой был отвален надгробный камень. Сабина наклонилась над ней. Она была бездонно глубокой. Сабина бросила цветок, и он легкими кругами опустился на гроб. В Чехии таких глубоких могил не бывает. А в Париже могилы столь же глубоки, сколь высоки дома. Взгляд ее упал на камень, лежавший отваленным возле могилы. Камень наполнил ее ужасом; она поспешила домой.

Целый день мысль об этом камне не покидала ее. Почему он так ее ужаснул?

Она попыталась ответить себе: если могила

прикрыта камнем, мертвый уже никогда не сможет выбраться из нее.

Но мертвый из нее так или иначе не выберется! Стало быть, не все ли равно, прикрыт он землей или камнем?

Нет, не все равно: когда мы заваливаем могилу камнем, это значит, мы не хотим, чтобы мертвый вернулся. Тяжелый камень говорит мертвому: «Останься там, где ты есть!»

Сабина вспомнила могилу отца. Над его гробом земля, из земли растут цветы и клен, протягивающий к гробу свои корни; и можно представить себе, что по этим корням и цветам мертвый выбирается из могилы наружу. Если бы отец был прикрыт камнем, она никогда уже не смогла бы разговаривать с ним после его кончины, никогда не смогла бы услышать в кроне дерева его голос, который посылал ей прощение.

Как выглядит кладбище, где лежат Тереза с Томашем?

Она снова начала о них думать. Подчас они ездили в соседний городок и проводили там ночь. Эта деталь заинтересовала ее. Она свидетельствовала о том, что они были счастливы. Сабина вновь представила себе Томаша, как если бы он был одним из ее холстов: на переднем плане

Дон Жуан точно мнимая декорация, написанная художником–примитивистом; в трещине этой декорации виден Тристан. Томаш погиб как Тристан, но не как Дон Жуан. Сабинины родители умерли в одну и ту же неделю. Томаш с Терезой в одну и ту же секунду. Она неожиданно затосковала по Францу.

Когда она рассказывала ему о своих блужданиях по кладбищам, он передергивался от отвращения и называл кладбище свалкой костей и каменьев. В такие минуты между ними открывалась пропасть непонимания. Только здесь, на Монпарнасском кладбище, она поняла, что он имел в виду. Ей жаль, что она была нетерпима. Быть может, останься они вместе подольше, они постепенно начали бы понимать произнесенные ими слова. Их словари стыдливо и медленно приблизились бы друг к другу, как излишне робкие любовники, и музыка одного из них начала бы переплетаться с музыкой другого. Но уже поздно.

Да, поздно, и Сабина знает, что в Париже она не останется, что пойдет дальше, еще дальше, потому что умри она здесь, ее завалили бы камнем, а для женщины, нигде не находящей пристанища, невыносимо представить себе, что ее бегство будет навсегда остановлено.

11

Все друзья Франца знали о Марии–Клод, все знали и о его студентке в огромных очках. Только о Сабине никто не знал. Франц ошибался, думая, что о ней рассказывала его жена своим приятельницам в кофейне. Сабина была красивой женщиной, и Марии–Клод совсем не улыбалось, чтобы люди мысленно сравнивали их лица.

Боясь выдать их тайну, Франц ни разу не попросил у Сабины ни картины, ни рисунка, ни даже ее фотографии. И случилось так, что она исчезла из его мира бесследно. Не осталось ни одного осязаемого доказательства, что он провел с ней самый дивный год своей жизни.

Тем больше ему нравилось сохранять ей верность.

Когда он со своей молодой любовницей оказывается в комнате наедине, она нет–нет да и оторвется от книги и уставит пытливый взгляд на него.

— О чем ты думаешь? — спрашивает она.

Франц сидит в кресле, воздев глаза к потолку. Что бы он ни ответил ей, ясно одно: он думает о Сабине.

Когда он публикует статью в специальном журнале, его студентка — первый читатель, и ей

ужасно хочется поговорить с ним на эту тему. Но он думает о том, как отнеслась бы к статье Сабина. Все, что он делает, он делает ради Сабины и делает так, чтобы Сабине понравилось.

Это очень невинная измена, и она точно скроена по размеру Франца, который никогда не посмел бы обидеть свою очкастую студентку. Культ Сабины он лелеет в себе, скорее, как религию, чем как любовь.

Впрочем, из теологии этого вероисповедания вытекает, что его молодая любовница была ему послана именно Сабиной. Поэтому между его земной и неземной любовью царит абсолютный мир. И если таки неземная любовь содержит обязательно (несколько она неземная) значительную долю необъяснимого и непонятного (вспомним словарь непонятых слов, сей длинный список недопониманий!), его земная любовь основана на истинном понимании.

Студентка много моложе Сабины, музыкальная композиция ее жизни едва набросана, и она с благодарностью включает в нее мотивы, позаимствованные у Франца. Великий Поход — и ее вероисповедание. Музыка для нее, как и для него, дионисийское опьянение. Они часто ходят вместе танцевать. Они живут в правде, и все, что бы ни

делали, ни для кого не должно быть тайной. Они тянутся к обществу друзей, коллег, студентов и вовсе незнакомых людей, они любят посидеть с ними, выпить и поболтать. Они нередко отправляются на прогулки в Альпы. Франц нагибается, девушка вскакивает ему на спину, и он бегает с ней по лугам, выкрикивая вдобавок длинное немецкое стихотворение, какому в детстве его научила мама. Девушка смеется и, обхватив его за шею, восхищается его ногами, плечами и легкими.

И разве что смысл той особой симпатии, которую Франц питает к стране, оккупированной русской империей, от нее ускользает. В годовщину вторжения одно чешское общество устраивает в Женеве вечер воспоминаний. В зале мало народу. У оратора седые, завитые парикмахером волосы. Он произносит долгую речь, навевающую скуку и на тех немногих энтузиастов, которые пришли его послушать. Говорит он по–французски без ошибок, но с чудовищным акцентом. Время от времени, желая подчеркнуть свою мысль, он поднимает указательный палец, как бы угрожая присутствующим.

Очкастая девушка сидит рядом с Францем и превозмогает зев. Зато Франц блаженно улыба-

ется. Он смотрит на седовласого мужа, который симпатичен ему даже со своим диковинным указательным пальцем. Ему кажется, что этот мужчина — тайный посланник, ангел, что поддерживает связь между ним и его богиней. Он закрывает глаза, как закрывал их на Сабинином теле в пятнадцати европейских и одном американском отеле.

Часть четвертая. ДУША И ТЕЛО

1

Вернувшись в полвторого ночи, Тереза прошла в ванную, надела пижаму и легла возле Томаша. Он спал. Она наклонилась над его лицом и, целуя, уловила в его волосах странный запах. Принюхалась к ним еще и еще раз. Обнюхивая его, словно собака, она наконец поняла: это был запах женского лона.

В шесть часов зазвонил будильник. Начиналось время Каренина. Он просыпался немного раньше, чем они, но тревожить их не осмеливался. Терпеливо ждал звонка, дававшего ему право вспрыгнуть к ним на постель, ступать по их телам и тыкаться в них головой. Когда–то в прошлом они пытались сопротивляться ему и сбрасывали его с постели, но он был упрямее их и в конце концов отстоял свои права. Впрочем, в последнее время Терезе было даже приятно осознавать, что Каренин зовет ее войти в день. Для него минута пробуждения была настоящим счастьем: полный наивного и глупого удивления, что вновь живет на свете, он искренно радовался. Она же, напротив, просыпалась без удовольствия,

мечтая продлить ночь и не открывать глаз.

Сейчас Каренин стоял в передней и смотрел вверх на вешалку, где висел его ошейник с поводком. Тереза застегнула ему на шее ошейник, и они вместе отправились в магазин. Она купила молока, хлеба, масла и неизменный рогалик для него. Обратно он шел рядом с ней и нес рогалик во рту. Он гордо глядел по сторонам и, должно быть, испытывал большое удовлетворение, что привлекает внимание прохожих.

Дома он ложился с рогаликом на пороге комнаты и ждал, когда Томаш заметит его и, согнувшись в три погибели, начнет ворчать и делать вид, что хочет отнять у него рогалик. Это происходило каждый день: минут пять, по крайней мере, они гонялись по квартире, пока Каренин не залезал под стол и вмиг не уплетал свой рогалик.

Но на этот раз он тщетно добивался утренней церемонии. Перед Томашем на столе стоял маленький транзистор, и он весь обратился в слух.

2

По радио шла передача о чешской эмиграции. Это был монтаж тайно подслушанных частных разговоров, записанных каким–то чешским сексотом, что втерся в среду эмигрантов и затем с великой помпой вернулся в Прагу. Это была мало-

значащая болтовня, в которой время от времени проскакивало острое словцо об оккупационном режиме в Чехословакии, а также фразы, в каких один эмигрант обзывал другого идиотом или мошенником. Но в репортаже именно эти фразы занимали основное место: они призваны были доказать не только то, что люди дурно говорят о Советском Союзе (в Чехии это никого не поражало), но что они и поносят друг друга, не гнушаясь при этом самой грубой брани. Удивительно, люди сквернословят с утра до вечера, но если они слышат по радио, как выражается знакомый, уважаемый человек, как он после каждой фразы вставляет «иди в жопу», то чувствуют себя глубоко оскорбленными.

— Все началось с Прохазки, — сказал Томаш, вслушиваясь в передачу. Ян Прохазка, чешский романист, обладавший в свои сорок бычьей жизнестойкостью, еще до 1968 года взялся громогласно критиковать общественные порядки в стране. Он был одной из самых популярных фигур «Пражской весны», той самой головокружительной либерализации коммунизма, которая завершилась русским вторжением. Вскоре после вторжения все газеты затеяли травлю Прохазки, но чем больше науськивали на него людей, тем

больше люди любили его. Шел 1970 год, и по радио начали передавать целый цикл частных разговоров, которые Прохазка вел два года назад (то бишь весной 1968) с университетским профессором Вацлавом Черным. Тогда никто из них и думать не думал, что в профессорской квартире вмонтировано подслушивающее устройство и что за каждым их шагом уже давно установлена слежка! Прохазка всегда любил потешить своих друзей разного рода гиперболами и несуразностями, и сейчас эти несуразности определенными порциями звучали по радио. Тайная полиция, организовавшая передачу, делала особый упор на те фразы, в которых романист смеялся над своими друзьями — над Дубчеком, например. Люди, хоть сами и песочат своих друзей при всяком удобном случае, теперь возмущались любимым Прохазкой больше, чем тайной полицией.

Томаш выключил радио и сказал: — Тайная полиция существует повсюду на свете. Но чтобы передавать свои ленты публично по радио — такого, пожалуй, не существует нигде, кроме Чехии! Нет ничего равного этому!

— Как бы не так, — сказала Тереза, — когда мне было четырнадцать, я тайно писала дневник. Меня охватывал ужас при мысли, что он

может попасть кому–то в руки. Я прятала его на чердаке. Мама выследила. Однажды за обедом, когда мы все сидели, склонившись над супом, они вытащила его из кармана и сказала: «Ну–ка послушайте!» И стала читать, и вслед за каждой фразой прыскала со смеху. Все смеялись так, что даже есть не могли!

3

Он все пытался уговорить ее позволить ему завтракать одному, а самой продолжать спать. Тереза не поддавалась на уговоры. Томаш работал с семи до четырех, а она — с четырех до полуночи. Не завтракай она с ним, они могли бы общаться друг с другом только по воскресеньям. Поэтому она вставала одновременно с ним и лишь после его ухода, снова ложась, засыпала.

На этот раз она боялась уснуть, ибо в десять часов собралась сходить в сауну, что в деревянной купальне на Жофинском острове. Желающих было много, места мало, и можно было попасть туда разве что по знакомству. В кассе, к счастью, сидела жена профессора, выброшенного после 1968 года из университета. Профессор был другом бывшего пациента Томаша. Томаш сказал пациенту, пациент — профессору, профессор — жене, и Терезу всегда раз в неделю ждал отложенный

билет.

Тереза шла пешком. Она ненавидела трамваи, вечно битком набитые, где в объятиях, полных ненависти, теснились люди, оттаптывали друг другу ноги, срывали с пальто пуговицы и бранились на чем свет стоит.

Моросило. Поспешавшие прохожие раскрыли над головой зонтики, и на тротуарах сразу вдруг началась толчея. Своды зонтиков натыкались один на другой. Мужчины были вежливы и, проходя мимо Терезы, поднимали зонт высоко над головой, чтобы она смогла пройти под ним. Но женщины не уступали дороги. Они сурово смотрели перед собой, и каждая ждала, что встречная признает себя более слабой и посторонится. Встреча зонтов была испытанием сил. Тереза сначала уступала дорогу, но поняв, что ее вежливость остается без взаимности, сжала зонт в руке так же крепко, как и другие. Случалось, она резко налетала зонтом на встречный, но никто ни разу не сказал «извините». По большей части не раздавалось ни единого слова, раза два–три она услышала «корова!» и «пошла в задницу!».

Женщины, вооруженные зонтами, были молодыми и старыми, но самыми суровыми воительницами оказались как раз молодые.

Тереза вспомнила дни вторжения. Девушки в мини–юбках ходили с национальными флагами на шестах. Это было неким сексуальным покушением на солдат, обреченных на многолетнюю половую аскезу. Они, должно быть, чувствовали себя в Праге, как на планете, выдуманной писателями–фантастами, на планете невообразимо элегантных женщин, которые демонстративно выражали свое презрение, вышагивая на длинных красивых ногах, каких не увидишь в России последние пять или шесть столетий.

Тереза сделала тогда массу снимков этих молодых женщин на фоне танков. Она восхищалась ими! А сегодня те же самые женщины шли против нее, дерзкие и злые. Вместо флагов они держали зонты, но держали их с той же гордостью. Они готовы были бороться против чужой армии так же упорно, как и против зонта, не желающего уступить им дорогу.

4

Она дошла до Староместской площади со строгим Тынским храмом и барочными зданиями, поставленными неправильным четырехугольником. Старая ратуша четырнадцатого столетия, которая когда–то целиком занимала одну сторону площади, уже двадцать седьмой год пребыва-

ла в развалинах. Варшава, Дрезден, Берлин, Кельн, Будапешт были чудовищно разрушены последней войной, но их жители подняли их из руин, в основном бережно восстановив старые исторические кварталы. Пражане испытывали комплекс неполноценности перед этими городами. Единственным достопримечательным зданием, уничтоженным у них войной, была Староместская ратуша. И они решили оставить ее до скончания века в руинах, чтобы какому–нибудь поляку или немцу не вздумалось упрекнуть их, что они мало страдали. Перед знаменитыми руинами, которые должны были на вечные времена осудить войну, была сооружена из металлических брусьев трибуна на случай той или иной манифестации, куда коммунистическая партия гнала вчера или погонит завтра жителей Праги.

Тереза смотрела на разрушенную ратушу, и она вдруг напомнила ей мать: эту ее извращенную потребность выставлять напоказ свои руины, хвастаться своим безобразием, демонстрировать свое горе, обнажать культю ампутированной руки и принуждать весь мир смотреть на нее. В последнее время все напоминает ей мать. Ей кажется, что материн мир, из которого десять лет тому она вырвалась, возвращается к ней и со

всех сторон обступает ее. Потому–то утром она и рассказала о том, как мать, потешая семью, читала за обедом ее интимный дневник. Если частный разговор всенародно транслируется по радио, так может ли это означать что–либо иное, кроме того, что мир превратился в концлагерь?

Тереза пользовалась этим словом чуть ли не с детства, когда хотела выразить, какой представляется ей жизнь в ее семье. Концентрационный лагерь — это мир, где люди живут бок о бок постоянно, денно и нощно. Жестокости и насилие лишь второстепенная (и вовсе не обязательная) его черта. Концентрационный лагерь — это полное уничтожение личной жизни. Прохазка, который не мог поговорить со своим приятелем за рюмкой вина в безопасности интима, жил (даже не сознавая того — и это была его роковая ошибка!) в концлагере. Тереза жила в концлагере, когда находилась у матери. С той поры она знает, что концентрационный лагерь — не что–то исключительное, вызывающее удивление, напротив — это нечто данное, основное, это мир, в который мы рождаемся и откуда можем вырваться лишь при величайшем усилии.

5

На трех скамьях, расположенных террасами,

женщины сидели так плотно, что касались друг друга. Рядом с Терезой потела дама лет тридцати с очень красивым лицом. Под плечами у нее свисали две неимоверно большие груди, покачивавшиеся при малейшем движении. Дама встала, и Тереза обнаружила, что ее ягодицы подобны двум огромным торбам и не имеют к лицу никакого отношения.

Эта женщина, пожалуй, тоже часто стоит перед зеркалом, смотрит на свое тело и сквозь него пытается прозреть душу, как с детства к тому стремится Тереза. Возможно, и эта женщина когда–то наивно полагала, что может использовать тело как вывеску души. Но какой чудовищной должна быть душа, если она походит на это тело, на эту вешалку с четырьмя торбами?

Тереза поднялась и пошла под душ. Потом вышла наружу, под открытое небо. Беспрестанно моросил дождь. Она стояла на деревянном настиле над Влтавой, несколько квадратных метров которой были обнесены здесь высоким забором, защищавшим дам от взоров города. Посмотрев вниз, она увидала на речной глади лицо женщины, о которой только что думала.

Женщина улыбалась ей. У нее был тонкий нос, большие карие глаза и детский взгляд.

Женщина стала подниматься по лестнице, и под нежными чертами лица снова показались две торбы, что, покачиваясь, разбрызгивали вокруг себя мелкие капли холодной воды.

6

Тереза пошла одеться. Встала перед большим зеркалом. Нет, в ее теле не было ничего ужасного. Под плечами были не мешки, а довольно маленькие груди. Мать смеялась, что груди у нее не такие, каким положено быть, и Тереза страдала комплексами, от которых избавил ее только Томаш. Но если она готова была теперь смириться с их размером, то большие и слишком темные круги вокруг сосков убивали ее. Имей она возможность сама сотворить свое тело, она сделала бы соски незаметными, нежными, чтобы они легко пронзали свод груди и по цвету лишь чуть–чуть отличались от остальной кожи. Эта большая темно–красная мишень казалась ей будто нарисованной деревенским художником, который стремится создавать эротическое искусство для бедных.

Глядя на себя, она попыталась вообразить, что ее нос с каждым днем увеличивается на миллиметр. За сколько дней лицо стало бы неузнаваемым?

А если бы разные части тела стали увеличиваться или уменьшаться, и Тереза просто–напросто перестала бы походить на самое себя, это все еще была бы она, это все еще была бы Тереза?

Конечно. Даже сделайся Тереза совсем не похожей на Терезу, ее душа внутри оставалась бы той же самой и лишь в ужасе взирала на то, что происходит с телом.

Но какая же в таком случае взаимосвязь между Терезой и ее телом? Имеет ли ее тело вообще право зваться Терезой? А если она не имеет такого права, то к чему тогда относится имя? Лишь к чему–то нетелесному, нематериальному?

(Все это вопросы, что вертятся в голове у Терезы уже с детства. Ибо поистине серьезными вопросами бывают лишь те, которые может сформулировать и ребенок. Лишь самые наивные вопросы по–настоящему серьезны. Это вопросы, на которые нет ответа. Вопрос, на который нет ответа, — барьер, через который нельзя перешагнуть. Другими словами: именно теми вопросами, на которые нет ответа, ограничены людские возможности, очерчены пределы человеческого существования.)

Тереза оцепенело стоит перед зеркалом и смотрит на свое тело, словно на чужое; чужое и

все–таки предназначенное именно ей. Она питает к нему отвращение. Этому телу недостало сил, чтобы сделаться для Томаша единственным в его жизни. Это тело обмануло ее и предало. Сегодня всю ночь ей пришлось дышать запахом чужого женского лона, исходившим от его волос!

Она мечтает уволить свое тело, как прислугу. Остаться лишь одной душой с Томашем, а тело прогнать в мир: пусть там оно ведет себя так же, как и прочие женские тела с телами мужскими! Раз Терезино тело не смогло стать единственным для Томаша и проиграло самое крупное сражение ее жизни, то пусть убирается на все четыре стороны!

7

Вернувшись домой, она без аппетита пообедала в кухне. В полчетвертого взяла на поводок Каренина и отправилась с ним (опять же пешком) в свою гостиницу, где работала барменшей. Из еженедельника ее выгнали спустя месяц–другой после их возвращения из Цюриха, не простив ей, конечно, того, что целую неделю она фотографировала на пражских улицах русские танки. Место в гостинице получила она не без помощи друзей: кроме нее, нашли там прибежище еще несколько человек, выброшенных с работы. В

бухгалтерии сидел бывший профессор теологии, в бюро обслуживания — бывший посланник.

Она снова тревожилась за свои ноги. Еще работая в ресторане маленького городка, она с ужасом смотрела на икры своих сотоварок, изборожденные варикозными жилами. Это была болезнь всех официанток, вынужденных проводить жизнь на ходу, на бегу или стоймя с тяжким грузом в руках. И все же теперешняя работа была более сносная, чем когда–то в том маленьком городишке. До открытия бара ей, правда, приходилось таскать почти неподъемные ящики с пивом и минеральной водой, но зато потом она уже стояла за стойкой, наливала посетителям спиртное и меж тем мыла рюмки в маленькой раковине, установленной с краю бара. Каренин все это время терпеливо лежал у ее ног.

Было глубоко за полночь, когда она, подсчитав выручку, отнесла ее директору гостиницы, а затем зашла еще попрощаться с посланником, остававшимся на ночное дежурство. Позади бюро обслуживания была дверь в маленькую комнатку, где на узкой кушетке можно было даже вздремнуть. Над кушеткой в рамке висели фотографии: повсюду он был в обществе каких–то людей; они или улыбались в аппарат, или пожи-

мали ему руки, или сидели возле него за столом и что–то подписывали. Некоторые фотографии были украшены подписями с посвящением. На самом видном месте висела фотография, на которой рядом с головой посланника улыбалось лицо Джона Ф. Кеннеди.

На этот раз посланник разговаривал не с американским президентом, а с незнакомым мужчиной, лет шестидесяти, который, завидя Терезу, тотчас умолк.

— Это наш друг, — сказал посланник, — можешь спокойно продолжать. — Потом он обратился к Терезе: — Сегодня осудили его сына на пять лет.

Тереза узнала, что сын этого человека вместе с товарищами в первые дни оккупации держал под наблюдением вход в здание, где размещалась особая служба русской армии. Ему было ясно, что чехи, выходящие оттуда, были тайными агентами русской разведки. Он с товарищами выслеживал их, устанавливал номера их машин и сообщал о том сотрудникам подпольной чешской радиостанции, предупреждавшим, в свою очередь, население. Одного из таких предателей он вместе с товарищами избил.

Незнакомец сказал: — Эта фотография была единственным corpus delicti. Он отрицал все до

той минуты, пока ему не показали ее.

Он вынул из нагрудного кармана газетную вырезку: — Появилось это в «Тайме» осенью 1968–го.

На фотографии был молодой человек, сжимавший за горло другого человека, а вокруг толпились люди и смотрели. Под фотографией была надпись: Наказание коллаборанта.

Тереза вздохнула с облегчением. Нет, это не ее фотография.

Потом она шла с Карениным по ночной Праге и думала о тех днях, когда фотографировала танки. Безумцы, они считали, что рискуют ради отечества жизнью, а на деле, не ведая о том ни сном ни духом, работали на русский сыск.

Она пришла домой в половине второго. Томаш уже спал. Его волосы пахли женским лоном.

8

Что такое кокетство? Пожалуй, можно было бы сказать, что это такое поведение, цель которого дать понять другому, что сексуальное сближение с ним возможно, однако возможность эта никогда не должна представляться бесспорной. Иными словами, кокетство — это обещание соития без гарантии.

Тереза стоит за стойкой бара, и посетители,

которым она наливает спиртное, кокетничают с ней. Неприятен ли ей этот постоянный приток комплиментов, двусмысленностей, анекдотов, предложений, улыбок и взглядов? Отнюдь нет. Ее обуревает неодолимая жажда подставить свое тело (это чужое тело, которое она хочет выгнать в мир) под этот прибой.

Томаш постоянно убеждает ее, что любовь и физическая близость — вещи абсолютно разные. Она отказывалась это понимать. Теперь она окружена мужчинами, к которым не питает ни малейшей симпатии. Каково было бы спать с ними? Ей хочется попробовать это хотя бы в форме того негарантированного обещания, которое называется кокетством.

Дабы не ошибиться, Тереза не хочет за что–то мстить Томашу. Она просто хочет найти выход из тупика. Она знает, что стала ему в тягость: она слишком серьезно относится ко всему, изо всего делает трагедию, не умеет понять легкость и увлекательную бездумность физической любви. Она хотела бы научиться легкости! Она мечтает, чтобы кто–нибудь отучил ее быть старомодной!

Если для других женщин кокетство — вторая натура, малозначащая искушенность, для Терезы кокетство стало предметом серьезного

изучения, которое должно открыть ей, на что она способна. Но именно потому, что оно для нее так важно и серьезно, ее кокетству совершенно чужда легкость, оно натужно, деланно, преувеличенно. Равновесие между обещанием и его негарантированностью (именно здесь–то и коренится истинная виртуозность кокетства) у нее нарушено. Она обещает слишком усердно, не подчеркивая достаточно ясно негарантированность обещания. Иными словами, любому она кажется чрезвычайно доступной. Когда же мужчины требуют исполнения того, что представлялось им обещанным, они наталкиваются на резкое сопротивление, которое объясняют исключительно тем, что Тереза коварна и зла.

9

На свободный стульчик у стойки бара присел парень лет шестнадцати. Он отпустил две–три наглые фразы, что остались в разговоре, как остается неправильная линия в рисунке, какую нельзя ни продолжить, ни стереть. У вас красивые ноги, — сказал он ей.

Она отсекла: — Как вам удается увидеть это сквозь деревянную перегородку?

— Я видел вас на улице, — объяснил он, но она уже успела отвернуться от него и заняться другим

гостем. Парень потребовал налить ему коньяку. Она отказалась.

— Мне уже восемнадцать, — возразил он.

— В таком случае покажите удостоверение, — сказала Тереза.

— Не покажу, — сказал парень.

— Тогда пейте лимонад, — сказала Тереза.

Парень встал со стульчика у стойки и без слова ушел. Примерно через полчаса вернулся и снова подсел к бару. Его движения были размашистыми, и от него за версту несло алкоголем.

— Лимонаду, — потребовал он.

— Вы пьяны! — сказала Тереза.

Парень указал па печатное объявление, висевшее позади Терезы: Лицам до восемнадцати лет отпускать спиртное строго воспрещается.

— Вам запрещено отпускать мне спиртное, — сказал он и, широко размахнувшись, нацелил руку в Терезу, — но нигде не написано, что мне запрещено выпить!

— Где вы так набрались? — спросила Тереза.

— В кабаке напротив, — рассмеялся он и вновь потребовал лимонаду.

— Почему же вы там не остались?

— Потому что хочу на вас смотреть, — сказал парень. — Я люблю вас!

Когда он это говорил, его лицо странным образом исказилось. Тереза не понимала: он смеется над ней? заигрывает? шутит? или просто не знает, что говорит под пьяную лавочку?

Она поставила перед ним лимонад и занялась другими посетителями. Фраза «я люблю вас» словно бы исчерпала парня. Не говоря больше ни слова, он положил на стойку деньги и исчез, прежде чем Тереза обратила взгляд в его сторону.

Как только он ушел, отозвался небольшой человечек с плешью, опорожнивший уже третью рюмку водки: — Пани, вы не можете не знать, что несовершеннолетним запрещено отпускать спиртное.

— Никакого спиртного я ему не дала! Он получил лимонад!

— Я прекрасно видел, что вы влили ему в этот лимонад!

— Не выдумывайте! — крикнула Тереза.

— Еще рюмку, — потребовал плешивый и добавил: — Я уже давно за вами слежу!

— Вот и скажите спасибо, что можете смотреть на красивую женщину, и заткните–ка лучше рот! — отозвался высокий мужчина, за минуту до этого подошедший к стойке и наблюдавший

всю сцену.

— А вы не суйтесь, куда не надо! Не ваше дело! — не успокаивался плешивый.

— А вам какое до этого дело, объясните, пожалуйста? — спросил высокий.

Тереза налила плешивому человечку еще рюмку водки, он залпом выпил ее, заплатил и ушел.

— Спасибо, — сказала Тереза высокому мужчине.

— Не стоит, — сказал высокий мужчина и тоже ушел.

10

Несколькими днями позже он снова появился у стойки бара. Тереза улыбнулась ему как другу:
— Хочу вас еще раз поблагодарить. Этот плешивый часто ходит сюда. Ужасно противный.

— Забудьте о нем.

— Почему он хотел меня оскорбить?

— А, просто ничтожный пьянчужка. Еще раз очень прошу вас: забудьте о нем.

— Ну что ж, если вы просите, я так и сделаю.

Высокий мужчина, глядя ей в глаза, спросил:
— Обещаете мне?

— Обещаю.

— Рад слышать, что вы мне что–то обещаете, — сказал мужчина, продолжая смотреть ей в глаза.

Кокетство тут было явно налицо: поведение, которое должно дать понять другому, что сексуальное сближение с ним возможно, однако возможность эта остается негарантированной и чисто теоретической.

— Каким чудом в этом безобразнейшем пражском квартале может встретиться такая женщина, как вы?

И она: — А вы? Что вы делаете в этом безобразнейшем пражском квартале?

Он сказал, что живет поблизости, что он инженер и прошлый раз зашел сюда после работы чисто случайно.

11

Она смотрела на Томаша, но ее взгляд устремлен был не в его глаза, а сантиметров на десять выше, на его волосы, которые пахли чужим лоном.

Она говорила: «Томаш, я больше не могу вынести. Я знаю, что не должна жаловаться. С тех пор как ты вернулся ради меня в Прагу, я запретила себе ревновать. Я не хочу ревновать, но я недостаточно сильна, чтобы сопротивляться этому. Помоги мне, прошу тебя!»

Он взял ее под руку и повел в парк, куда несколько лет назад они часто ходили гулять. В парке

были голубые, желтые, красные скамейки. Они сели на одну из них, и Томаш сказал: «Я понимаю тебя. Я знаю, что ты хочешь. Я все устроил. Ты пойдешь сейчас на Петршин».

Ее вдруг охватила тревога: «На Петршин? Почему на Петршин?»

«Ты взойдешь на гору и все поймешь».

Ей страшно не хотелось идти. Ее тело было таким слабым, что она не могла подняться со скамейки. Но, не умея возражать Томашу, она с усилием встала.

Оглянулась. Он все еще сидел на скамейке и улыбался ей почти весело. Он сделал жест рукой, которым хотел побудить ее идти дальше.

12

Подойдя к подножию Петршина, этой зеленой, возвышающейся посреди Праги горы, Тереза с удивлением обнаружила, что там нет людей. А ведь обычно здесь непрерывно прохаживались толпы пражан. Как странно! Сердце ее сжалось от страха, но гора была такой тихой и тишина такой миротворной, что она не сопротивлялась и полностью вверила себя объятиям горы. Она поднималась вверх и, часто останавливаясь, оглядывалась: под ней было множество башен и мостов; святые грозили кулаками и возводили к

небесам каменные очи. Это был самый красивый город в мире.

Она дошла до самой вершины. За киосками с мороженым, открытками и печеньем (в них не было ни одного продавца) далеко простиралась лужайка, поросшая редкими деревами. На ней было несколько мужчин. По мере того как она приближалась к ним, она замедляла шаг. Мужчин было шестеро. Они стояли или очень медленно прохаживались, словно игроки на площадке для гольфа, что осматривают местность, взвешивают в руке клюшку и стараются взбодрить себя перед состязанием.

Она подошла к ним. Из шести человек она безошибочно выделила троих, которым была уготована та же роль, что и ей: вконец растерянные, они, казалось, хотят задать много разных вопросов, но, боясь быть назойливыми, молчат и лишь озирают все кругом пытливым взглядом.

Трое других излучали снисходительную любезность. В руке одного из них было ружье. Увидав Терезу, он с улыбкой сказал ей: «Да, ваше место здесь».

Она ответила кивком головы, ей было невыразимо страшно.

Мужчина добавил: «Чтобы не произошла ошиб-

ка, скажите, это по вашему желанию?»

Ей ничего не стоило сказать: «Нет, нет, это не по моему желанию», но разве она могла даже представить себе, что разочарует Томаша? Чем бы она оправдалась, вернувшись домой? И потому сказала: «Да. Конечно. Это по моему желанию!»

Мужчина с ружьем продолжал: «Вы должны понять, почему я спрашиваю. Мы делаем это лишь в том случае, когда полностью уверены, что люди, которые приходят к нам, определенно сами пожелали умереть. Мы только оказываем им услугу».

Он поглядел на Терезу испытующе, и ей снова пришлось уверить его:

«Нет, не опасайтесь. Я сама пожелала этого».

«Вы хотите быть первой в очереди?» — спросил он.

Чтобы хоть сколько–нибудь отдалить казнь, она сказала: «Нет, прошу вас, не надо. Если можно, я хочу быть самой последней».

«Как вам будет угодно», — сказал он и отошел к остальным. Двое его помощников были без оружия и присутствовали здесь лишь для того, чтобы окружать заботой тех, кто пришел умирать. Подхватив их под руки, они прогуливались с ними по лужайке. Травяное пространство бы-

ло обширным и простиралось в необозримые дали. Осужденным на казнь разрешали самим выбрать для себя дерево. Они останавливались, оглядывались и долго не могли решиться. Двое из них выбрали наконец для себя два платана, но третий шел все дальше и дальше, словно ни одно дерево не представлялось ему достаточно подходящим для его смерти. Помощник, нежно держа его под руку, терпеливо сопровождал его, пока тот наконец, уже не осмеливаясь идти дальше, не остановился у развесистого клена.

Помощники всем троим повязали глаза лентой; так на просторной лужайке оказалось трое мужчин, прижатых спиной к трем деревам: глаза каждого были повязаны лентой, а лица обращены к небу.

Мужчина с ружьем прицелился и выстрелил. Кроме пенья птиц, ничего не было слышно. Ружье было снабжено глушителем. Она лишь увидела, как человек, прижатый к клену, начал падать.

Не сходя с места, мужчина с ружьем повернулся в другую сторону, и человек, прижатый спиной к платану, в полной тишине тоже рухнул наземь; а чуть спустя (мужчина с ружьем снова сделал поворот на месте) упал на лужайку и третий осужденный на смерть.

13

Один из помощников молча подошел к Терезе, держа в руке синюю ленту.

Она поняла: он хочет завязать ей глаза. Она покачала головой и сказала: «Нет, я хочу все видеть».

Но вовсе не по этой причине Тереза отказала ему. В ней не было ничего от героев, готовых бесстрашно смотреть в глаза палачам. Она лишь хотела отдалить смерть. Ей казалось, что, как только ей завяжут глаза лентой, она сразу же очутится в преддверии смерти, откуда нет дороги назад.

Мужчина ни к чему не принуждал Терезу; взяв ее под руку, он пошел с ней по просторной лужайке, но она долго не могла выбрать дерево. Никто не торопил ее, но она знала, что ей все равно не уйти. Впереди нее стоял цветущий каштан, она подошла к нему. Опершись спиной о ствол, запрокинула голову: увидала пронизанную солнцем зелень и услыхала отдаленные звуки города, слабенькие и сладкие, словно он отзывался тысячами скрипок.

Мужчина поднял ружье.

Тереза чувствовала, что мужество покидает ее. Она пришла в отчаяние от своей слабости, но не

могла побороть ее. Она сказала: «Но это было не мое желание».

Он тут же опустил ствол ружья и сказал необыкновенно мягко:

«Если это было не ваше желание, мы не можем это сделать. У нас нет на это права».

И его голос был ласковым, словно он извинялся перед Терезой за то, что не может застрелить ее, раз она сама не желает этого. Эта ласковость разрывала ей сердце; она уткнулась лицом в кору дерева и расплакалась.

14

Все ее тело сотрясалось от плача, и она обнимала дерево, словно это было не дерево, а был ее отец, которого она потеряла, ее дедушка, которого она никогда не знала, ее прадедушка, ее прапрадедушка, какой–то ужасно старый человек, который пришел из отдаленнейших глубин времени, чтобы подставить ей свое лицо в подобии шершавой коры дерева.

Потом она повернулась. Трое мужчин были уже далеко — они бродили по лужайке, словно игроки в гольф, и ружье в руке одного из них действительно походило на клюшку.

Она спускалась вниз тропами Петршина, и душу ее сжимала тоска по тому мужчине, который

собирался ее застрелить и не сделал этого. О, как она мечтала о нем! Должен же кто–то помочь ей! Томаш не поможет. Томаш посылает ее на смерть. Помочь ей может кто–то другой!

Чем ближе она подходила к городу, тем больше тосковала по тому мужчине и тем больше боялась Томаша. Он не простит ей, что она не исполнила своего обещания. Он не простит ей, что она не была достаточно мужественна и предала его. Она уже пришла на улицу, где они жили, и знала, что минутой позже увидит его. И оттого на нее напал такой страх, что сжались внутренности и стало позывать на рвоту.

15

Инженер приглашал ее зайти к нему домой. Два раза она отказывалась, а на третий согласилась. Пообедала, как обычно, стоя на кухне и пошла. Не было еще двух.

Подходя к его дому, почувствовала, что ноги, помимо ее воли, сами замедляют шаг.

А потом ей вдруг подумалось, что это, в сущности, Томаш посылает ее к нему. Это ведь он без устали втолковывал ей, что любовь и сексуальность не имеют ничего общего, и сейчас она идет разве что проверить и подтвердить его слова. Она мысленно слышит его голос: «Я тебя понимаю. Я

знаю, что ты хочешь. Я все устроил. Взойдешь на самую вершину и все увидишь».

Да, она не делает ничего другого, кроме как исполняет приказы Томаша.

Она хочет зайти к инженеру лишь на минуту; только выпить чашечку кофе; только узнать, что это значит: дойти до самой грани неверности. Она хочет вытолкнуть свое тело на эту грань, оставить его там немного постоять, как у позорного столба, а потом, если инженер захочет его обнять, сказать, как сказала мужчине с ружьем на Петршине: «Но это не мое желание!»

И тогда мужчина опустит ствол ружья и скажет приветливым голосом:

«Если это не ваше желание, то с вами ничего не может случиться. У меня нет на это права».

И она повернется к стволу дерева и расплачется.

16

Это был окраинный многоквартирный дом, выстроенный в начале столетия в рабочем квартале Праги. Она вошла в подъезд с грязными, белеными стенами. Истертая каменная лестница с железными перилами привела ее на второй этаж. Там, у второй двери слева, без таблички и без звонка, она остановилась. Постучала.

Он открыл.

Вся квартира состояла из одного–единственного помещения, первые два метра которого были отгорожены занавеской и создавали некое подобие передней; в ней стояли стол с плиткой и холодильник. Пройдя за занавеску, она увидала удлиненный прямоугольник окна в конце узкой, вытянутой комнаты; с одной стороны были книжные полки, с другой — тахта и одно кресло.

— Квартира у меня крайне простая, — сказал инженер, — надеюсь, это вас не смущает.

— Нет, что вы, — сказала Тереза, глядя на стену, всю забранную книжными полками. У этого человека нет обыкновенного стола, но зато сотни книг. Это приятно удивило Терезу, и тревога, с которой она шла сюда, чуть затихла. С самого детства она считает книгу знаком тайного братства. Человек, у которого дома такая библиотека, не может ее обидеть.

Он спросил, что он может ей предложить. Вина?

Нет, нет, вина она не хочет. Уж если что–то, так кофе.

Он вышел за занавеску, она подошла к книжным полкам. Одна из книг заинтересовала ее. Это был перевод Софоклова «Эдипа». Удивительно,

что здесь эта книга! Много лет назад Томаш дал Терезе прочесть ее и долго о ней рассуждал. Затем он изложил свои размышления письменно и послал в газету, и эта статья перевернула вверх дном всю их жизнь. Но теперь, глядя на корешок этой книги, Тереза успокаивалась. Ей казалось, будто Томаш умышленно оставил здесь свой след, подавая ей знак, что все устроил он. Она вытащила книгу, раскрыла ее. Когда инженер вернется в комнату, она спросит его, почему у него эта книга, читал ли он ее и что о ней думает. Этой хитростью она переместит разговор с опасной территории чужой квартиры в сокровенный мир мыслей Томаша.

Потом она почувствовала на плече руку. Инженер взял у нее книжку, без слова положил на полку и повел ее к тахте.

Ей снова вспомнилась фраза, которую она сказала палачу с Петршина. Теперь она произнесла ее вслух: — Но это не мое желание!

Она верила, что эта волшебная формула тотчас изменит положение, однако в этой комнате слова утратили магическую силу. Мне даже кажется, они побудили мужчину к большей решительности: прижав Терезу к себе, он положил руку ей на грудь.

Удивительная вещь: это прикосновение сразу же избавило ее от страха. Этим прикосновением инженер указал на ее тело, и она осознала, что речь идет вовсе не о ней (о ее душе), а исключительно о ее теле. О теле, которое предало ее и которое она выгнала в мир к другим телам.

17

Он расстегнул ей пуговицу на блузке и дал понять, чтобы остальные расстегнула она сама. Но она не исполнила его указания. Она выгнала в мир свое тело, но не хотела нести за него никакой ответственности. Она не сопротивлялась, но и не помогала ему. Душа таким образом стремилась сказать, что хоть она и не согласна с происходящим, но решила оставаться нейтральной.

Он раздевал ее, и она была почти неподвижна. Когда он поцеловал ее, губы ее не ответили на его прикосновение. Но вскоре она вдруг почувствовала, что лоно ее увлажнилось; она испугалась.

Возбуждение, которое она испытывала, было тем сильнее, что возникло против ее желания. Душа уже тайно согласилась со всем происходящим, но сознавала и то, что это сильное возбуждение продлится лишь в том случае, если ее согласие останется невысказанным. Скажи она вслух свое «да», захоти добровольно участвовать

в любовной игре, возбуждение ослабнет. Ибо душу возбуждало как раз то, что тело действует вопреки ее желанию, предает ее, и она смотрит на это предательство со стороны.

Потом он стянул с нее трусики, и Тереза осталась совершенно голой. Душа видела голое тело в объятиях чужого мужчины, и это представлялось ей таким же невероятным, как если бы она разглядывала планету Марс с близкого расстояния. В освещении этой невероятности тело впервые утратило для души свою банальность; душа впервые смотрела на него очарованно; на передний план выступила вся его особенность, неповторимость, непохожесть. Оно было уже не самым обычным среди всех прочих тел (каким она видела его до сих пор), а самым необычным. Душа не могла оторвать взгляд от родимого пятна, круглого, коричневого, помещенного прямо над ворсистостью лобка; это пятно казалось ей не чем иным, как печатью, которую она сама (душа) поставила на тело, и в кощунственной близости этой святой печати двигался теперь чужой член.

А потом, взглянув в лицо инженера, Тереза осознала, что никогда не давала согласия на то, чтобы тело, на котором ее душа поставила свой знак, оказалось в объятиях кого–то, кого она не

знает и не хочет знать. Ее наполнила одурманивающая ненависть. Она собрала во рту слюну, чтобы плюнуть в лицо этому чужаку. Но тот следил за ней так же жадно, как и она за ним; он заметил ее ярость, и движения его участились. Тереза чувствовала, как к ней издалека приближается оргазм, и начала кричать «нет, нет, нет»; она противилась его наступлению, а поскольку противилась, задержанное наслаждение долго разливалось по ее телу, не находя для себя выхода; оно распространялось по ней, точно морфий, впрыснутый в вену. Она металась в его объятиях, била вокруг себя руками и плевала ему в лицо.

18

Унитазы в современных ванных поднимаются от пола, словно белые цветы водяной лилии. Архитекторы делают все возможное, чтобы тело забыло о своем убожестве и человек не знал, что происходит с отбросами его утробы, когда над ними зашумит вода, резко спущенная из резервуара. Канализационные трубы, хоть и протягивают свои щупальца в наши квартиры, тщательно сокрыты от наших взоров, и мы даже понятия не имеем о невидимой Венеции экскрементов, над которой воздвигнуты наши ванные, спальни, танцевальные залы и парламенты.

Уборная старого окраинного дома в пражском рабочем квартале была менее ханжеской; от пола, покрытого серым кафелем, унитаз поднимался широко и убого. Его форма не походила на цветок водяной лилии, а выглядела тем, чем была: расширенной оконечностью трубы. На нем не было даже деревянного сидения, и Терезе пришлось сесть на холодящую эмалированную жесть.

Она сидела на унитазе, и жажда опростать внутренности, внезапно овладевшая ею, была жаждой дойти до конца унижения, стать телом по возможности больше и полнее, тем самым телом, чье назначение, как говаривала мать, лишь в том, чтобы переваривать и выделять. Тереза опрастывает свои внутренности, объятая ощущением бесконечной печали и одиночества. Нет ничего более жалкого, чем ее нагое тело, сидящее на расширенной оконечности сточной трубы.

Ее душа утратила любопытство зрителя, свое злорадство и гордыню: она уже снова была где-то глубоко в теле, в самых дальних уголках его нутра, и отчаянно ждала, не позовет ли ее кто выйти наружу.

19

Она встала с унитаза, спустила воду и вошла в переднюю. Душа дрожала в теле, в ее голом

и отвергнутом теле. Она все еще ощущала на заднем проходе прикосновение бумаги, которой вытерлась.

И тут произошло нечто незабываемое: она вдруг ужасно захотела пойти к нему в комнату и услышать его голос, его слова к ней. Обратись он к ней тихим, глубоким голосом, душа осмелилась бы выйти на поверхность тела, и Тереза бы заплакала. Она обняла бы его так, как во сне обнимала широкий ствол каштана.

Она стояла в передней и старалась перебороть это безмерное желание расплакаться перед ним. Она знала, что если не совладает с собой, произойдет то, чего бы ей не хотелось. Она влюбится в него.

В эту минуту из комнаты донесся его голос. Когда она услыхала этот голос сам по себе (не видя при этом высокой фигуры его обладателя), он поразил ее: был тонкий и пронзительный. Как она прежде не осознала этого?

Пожалуй, лишь это впечатление от его голоса, неожиданное и неприятное, помогло ей отогнать соблазн. Она вошла в комнату, нагнулась к брошенной одежде, быстро оделась и ушла.

20

Она возвращалась из магазина с Карениным,

который нес во рту свой рогалик. Было холодное утро, легкий мороз. Шли они мимо поселка, где на просторных площадках между домами жители устроили маленькие огородики и садочки. Каренин вдруг остановился и уставился в том направлении. Она тоже поглядела туда, но ничего особенного не обнаружила. Каренин потащил ее за собой; она послушно пошла. И только тогда заметила над мерзлой землей пустой грядки черную головку вороны с большим клювом. Головка без тела слегка двигалась, а из клюва изредка вырывался печальный, хриплый звук.

Каренин был так растревожен, что выронил рогалик. Опасаясь, как бы он не причинил вреда вороне, Тереза привязала его к дереву. Затем опустилась на колени и попыталась раскопать утоптанную вокруг заживо погребенной птицы землю. Нелегко было. Она до крови сломала ноготь.

В эту минуту неподалеку от нее упал камень. Она обернулась и заметила за углом дома двух мальчиков лет девяти–десяти. Она встала. Увидев ее движение и собаку у дерева, мальчики убежали.

Она снова опустилась на колени и снова стала разгребать землю, пока наконец не вытащила

ворону из ее могилы. Но птица была хромая: не могла ни ходить, ни взлететь. Тереза завернула ее в красную косынку, повязанную на шее, и прижала к себе левой рукой; правой — отвязала от дерева Каренина. Ей пришлось употребить немало сил, чтобы усмирить его и заставить идти рядом.

В дверь она позвонила, не имея возможности найти в кармане ключ: обе руки были заняты. Томаш открыл. Она отдала ему поводок с Карениным и, проговорив только: «Подержи его!», понесла ворону в ванную. Положила ее на пол под умывальник. Ворона билась, но не могла сдвинуться с места. Из нее текла какая–то густая желтая жидкость. Тереза постелила под умывальником старые тряпки, чтобы она не стыла на холодном кафеле. Птица отчаянно махала сломанным крылом, и ее клюв укоризной торчал вверх.

21

Она сидела на краю ванны и не могла отвести глаз от умирающей птицы. В ее сиротской покинутости она видела образ собственной доли и не раз повторяла: во всем мире у меня нет никого, кроме Томаша.

Убедила ли ее история с инженером, что слу-

чайные авантюры не имеют ничего общего с любовью? Что они легки и ничего не весят? Стало ли ей спокойнее?

Ничуть.

Перед ее мысленным взором возникает сцена: она вышла из уборной, и ее тело в передней стояло нагим и отвергнутым. Душа дрожала, испуганно затаившись в глубинах нутра. Если бы в ту минуту мужчина, который был в комнате, окликнул ее душу, она бы расплакалась, она бы упала ему в объятия.

Она представила себе, что вместо нее в передней возле уборной стоит какая–нибудь любовница Томаша, а вместо инженера в комнате находится Томаш. Он говорит девушке одно–единственное слово, и та в слезах обнимает его.

Тереза знает, что такой бывает минута, когда рождается любовь: женщина не может устоять перед голосом, который вызывает наружу ее испуганную душу; мужчина не может устоять перед женщиной, чья душа чутко откликается на его голос. Томаш нигде не застрахован от приманок любви, и Тереза опасается за него ежечасно, ежеминутно.

Какое у нее есть оружие? Только ее верность. Она предложила ему ее сразу, с самого начала, с

первого дня, словно сознавала, что ничего другого не может ему дать. Их любовь удивительно асимметричная архитектура: она держится на абсолютной незыблемости ее верности, как гигантский дворец на одном столбе.

Вскорости ворона уже не двигала крыльями и лишь время от времени вздрагивала пораненной, сломанной лапкой. Терезе не хотелось покидать ее, словно она бодрствовала у постели умирающей сестры. Наконец она все–таки вышла в кухню, чтобы наскоро пообедать.

Когда вернулась, ворона была мертва.

22

В первый год любви Тереза при соитии кричала, и этот крик, как я уже сказал, стремился ослепить и оглушить сознание. С течением времени она кричала меньше, но ее душа была по–прежнему ослеплена любовью и ничего не видела. Лишь плотские утехи с инженером при полном отсутствии любви помогли ее душе прозреть.

Тереза вновь была в сауне. Она стояла перед зеркалом, смотрела на себя и пыталась воскресить в памяти сцену телесной любви в квартире инженера. То, что помнилось ей, к любовнику совсем не относилось. Откровенно говоря, она бы даже не смогла его описать, она, пожалуй, и

не заметила, как выглядел он голый. То, что она помнила (и на что сейчас, возбужденная, смотрела в зеркале), было ее собственное тело; ее лобок и круглое родимое пятно над ним. Эта родинка, что до сих пор была для нее лишь чисто прозаическим дефектом кожи, теперь будоражила ее мысли. Ей хотелось снова видеть ее в невообразимом соседстве с чужим мужским членом.

Не могу не подчеркнуть еще раз: ей не хотелось видеть член чужого мужчины. Ей хотелось видеть свое межножье в соседстве с чужой мужской плотью. Она не тосковала по телу любовника. Она тосковала по собственному телу, нежданно явленному, самому близкому и самому постороннему и более всего возбуждающему.

Она смотрела на свое тело, усыпанное мелкими каплями, оставшимися на нем после душа, и думала о том, что в ближайшие дни инженер опять зайдет к ней в бар. Она хотела, чтобы он пришел, хотела, чтобы он позвал ее к себе! О, как она мечтала об этом!

23

Каждый день она тревожилась, что инженер объявится у бара и что она не в силах будет сказать «нет». Но по мере того как проходили дни, опасение, что он придет, вытеснялось страхом,

что он не придет.

Прошел месяц, но инженер не объявился. Терезе казалось это необъяснимым. Обманутая мечта отошла на задний план и сменилась беспокойством: почему он не пришел?

Она обслуживала посетителей. Среди них снова был тот плешивый, который обвинил ее, что она наливает спиртное несовершеннолетним. Он шумно рассказывал скабрезный анекдот, точно такой же, какой она уже раз сто слышала от пьянчуг, которым когда–то подносила пиво в маленьком городке. Ей казалось, что материнский мир возвращается к ней, и она весьма нелюбезно оборвала плешивого.

Тот оскорбился:

— А вы мне не указывайте. Скажите спасибо, что мы вас еще терпим за этой стойкой.

— Кто мы? Кто это мы?

— Мы, — сказал мужчина и заказал себе еще водки. — И запомните — я не потерплю от вас никаких оскорблений!

Потом он указал на Терезину шею, обмотанную ожерельем из дешевого жемчуга, и крикнул: — Откуда у вас этот жемчуг? Уж не хотите ли вы сказать, что вам его подарил ваш муж? Мойщик окон! Где ему взять на такие подарки? Это вам

клиенты дают, не так ли? За что же они вам это дают?

— Замолчите сию же минуту, — прошипела Тереза.

Мужчина, пытаясь пальцами схватить ожерелье, крикнул:

— Зарубите себе на носу — проституция у нас запрещена!

Каренин поднялся, оперся передними лапами о стол и зарычал.

24

Посланник сказал:

— Это был сексот.

— Сексот вел бы себя, скорей всего, неприметно, — возразила Тереза. — Что ж это за секретная полиция, если она перестала быть секретной!

Посланник сел на кушетку и, подложив ноги под себя, принял позу, освоенную на занятиях йогой. Над ним в рамке улыбался Кеннеди, по–особому освящая его слова.

— Дорогая Терезочка, — сказал он по–отцовски, — у сексотов бывает несколько ролей. Первая — классическая. Они слушают, что люди говорят между собой, и докладывают о том своим шефам.

Вторая роль — устрашение. Они дают нам по-

нять, что мы в их руках; они хотят заставить нас бояться. Именно этого добивался ваш плешивый.

Третья роль сводится к тому, что они норовят создать ситуации, которые скомпрометировали бы нас. Прошло время, когда они силились обвинить нас в антигосударственных кознях; это снискало бы нам лишь еще большую симпатию. Они, скорее, постараются найти у нас в кармане гашиш или доказать нам, что мы растлили двенадцатилетнюю девочку. За девочкой, что подтвердит это, дело не станет.

Терезе опять вспомнился инженер. Почему он так и не появился больше?

Посланник продолжал:

— Им нужно заманить людей в ловушку, чтобы использовать их в своих целях, а уж затем с их помощью расставить следующие ловушки для следующих лиц, и так исподволь втянуть весь народ в единую организацию осведомителей.

Тереза не думала уже ни о чем другом: да, инженера подослали к ней фараоны. Кто был тот странный парень, что напился в кабаке напротив и объяснялся ей в любви? Плешивый стукач из–за него налетел на нее, а инженер заступился. Все трое играли свою роль в заранее подготовленном

сценарии, целью которого было расположить ее к мужчине, призванному ее соблазнить.

Как же это ей сразу не пришло в голову? Ведь та квартира была очень странной и совсем не вязалась с этим человеком! Мог ли этот элегантно одетый инженер жить в такой убогой квартире? Да и инженер ли это был? Будь он инженером, разве мог бы он освободиться от работы в два часа дня? И разве читал бы инженер Софокла? Нет, эта библиотека отнюдь не инженера! Все помещение походило, скорее, на конфискованную квартиру арестованного интеллектуала. Когда ей было десять лет и арестовали ее отца, точно так же конфисковали их квартиру со всей библиотекой. Бог весть, в каких целях использовали затем эту квартиру.

Теперь, выходит, понятно, почему он больше ни разу не появился. Он выполнил свое задание. Какое? Пьяный стукач невольно выдал его, когда крикнул: «Зарубите себе на носу — проституция у нас запрещена!» Этот мнимый инженер засвидетельствует, что она переспала с ним и просила у него денег! Они будут угрожать ей скандалом, если она откажется доносить на людей, которые пьют у ее стойки!

— Не беспокойтесь, в вашей истории нет ниче-

го опасного, — успокаивал ее посланник.

— Может, и так, — сказала она сдавленным голосом, уходя с Карениным в ночные улицы Праги.

25

Люди по большей части убегают от своих страданий в будущее. На дороге времени они проводят воображаемую черту, за которой их нынешнее страдание перестанет существовать. Но Тереза подобной черты не видит перед собой. Утешение может прийти к ней, только если она кинет взгляд в прошлое. Снова было воскресенье. Они сели в машину и поехали далеко за Прагу.

Томаш был за рулем, Тереза рядом с ним, а Каренин, сидя сзади, то и дело тянулся к ним и лизал им уши. Через два часа они доехали до маленького курортного городишка, где лет шесть назад провели несколько дней. Думали заночевать там.

Они остановили машину на площади и вышли. Ничего не изменилось. Напротив была гостиница, в которой они когда–то жили. Перед ней — та же старая липа. Влево от гостиницы тянулась старая деревянная колоннада, а в конце ее бил в мраморную чашу источник, к которому, как и в прошлый раз, склонялись люди со стаканчиками

в руках.

Томаш снова указал на гостиницу. И все–таки что–то изменилось! Когда–то она называлась «Гранд», теперь на ней была надпись «Байкал». На углу здания была табличка: Московская площадь. Затем они прошлись по всем знакомым улицам, просматривая их новые названия: Сталинградская улица, Ленинградская улица, Ростовская улица. Новосибирская улица, Киевская улица. Одесская улица; были там санаторий «Чайковский», санаторий «Толстой» и санаторий «Римский–Корсаков»; были там отель «Суворов», кинотеатр «Горький» и кафе «Пушкин». Все названия были взяты из русской географии или русской истории.

Тереза вспомнила первый день вторжения. Люди во всех городах снимали таблички с названиями улиц и убирали с дорог указатели, на которых были написаны названия городов. Страна в одну ночь стала безымянной. В течение семи дней русская армия блуждала по местности и не знала, где находится. Офицеры искали здания редакций, телевидения, радио, чтобы захватить их, но не могли найти. И к кому бы они ни обращались с вопросом, те пожимали плечами или указывали ложные адреса, ложное направление.

Спустя время вдруг начинаешь понимать, что эта анонимность для страны не была безопасной. Улицы и дома уже не вернулись к своим исконным названиям. Так один чешский курортный городок неожиданно стал некой маленькой иллюзорной Россией, и прошлое, которое Тереза приехала искать сюда, оказалось конфискованным. Им было противно остаться там на ночь.

26

Они возвращались к машине молча. Она думала о том, что все вещи и люди предстают взору переодетыми. Старый чешский город прикрылся русскими именами. Чехи, фотографировавшие вторжение, на самом деле работали для секретной полиции. На лице человека, посылавшего ее умирать, была маска Томаша. Стукач выступал под именем инженера, и инженер хотел играть роль мужчины с Петршина. Знамение книги в его квартире было фальшивым и имело целью совратить ее с пути истинного.

Вспомнив о книге, которую тогда держала в руках, она вдруг осознала что–то и залилась краской: Как это было? Инженер сказал, что принесет кофе. Она подошла к книжной полке и вытащила оттуда Софоклова «Эдипа». Инженер вернулся. Но без кофе!

Вновь и вновь она возвращалась к этой сцене: Как долго его не было, когда он ушел за кофе? По меньшей мере минуту, может, две, а то и три. И что он делал в этой крохотной передней? Был в уборной? Тереза пытается вспомнить, слышала ли она, как хлопнула дверь или как зашумела спущенная вода? Нет, шум воды она определенно не слышала, это она бы помнила. Да и дверь тоже не хлопала, в этом она почти уверена. Что же он делал в передней?

И вдруг все прояснилось перед ней. Если ее хотят заманить в ловушку, одного свидетельства инженера им недостаточно. Им требуется доказательство, какое нельзя было бы опровергнуть. В течение этого подозрительно долгого времени инженер наверняка устанавливал в передней камеру. Или, что еще правдоподобнее, впустил в квартиру кого–то с фотоаппаратом, и тот, прячась за занавеской, фотографировал их.

Еще сколько–то недель назад она смеялась над Прохазкой, не понимавшим, что живет в концентрационном лагере, где не существует ничего интимного. А она что? Выскользнув из–под материнского крова, она по простоте душевной полагала, что раз и навсегда станет хозяином своей личной жизни. Но материнский кров про-

стирается надо всем миром и повсюду настигает ее. Терезе никогда не избавиться от него.

Они спускались по лестнице между садами к площади, где оставили машину.

— Что с тобой? — спросил Томаш. Прежде чем она успела ответить, кто–то поздоровался с Томашем.

27

Это был пятидесятилетний крестьянин с обветренным лицом, которого Томаш когда–то оперировал. С тех пор его ежегодно посылали на этот курорт для лечения. Он пригласил Томаша и Терезу на стаканчик вина. Поскольку в Чехии собакам вход в общественные места запрещен, Терезе пришлось отвести Каренина в машину, а мужчины тем временем расположились в кофейне. Когда Тереза присоединилась к ним, крестьянин говорил: — У нас полный покой. Два года тому меня даже избрали председателем кооператива.

— Поздравляю, — сказал Томаш.

— Ясное дело, деревня. Люди оттуда бегут. Те, что наверху, должны радоваться, что кто–то еще хочет оставаться в деревне. С работы нас гнать им ни к чему.

— Это было бы для нас идеальное место, — ска-

зала Тереза.

— Скучали бы вы там, пани. Нету там ничего. Право слово, ничегошеньки нету.

Тереза не отрывала глаз от обветренного лица земледельца: до чего мил был ей этот человек! После столь долгого времени ей снова кто–то был мил! Перед глазами всплыл образ сельской жизни: деревня с колокольней, поле, лес, заяц, бегущий по борозде, охотник в зеленой шляпе. Она никогда не жила в деревне. Этот образ запал к ней в душу по рассказам. Или по книгам. Или его запечатлели в ее подсознании какие–то далекие предки. Но он виделся ей таким же ясным и четким, как фотография прабабушки в семейном альбоме или старинная гравюра.

— У вас есть еще какие–то жалобы? — спросил Томаш.

— Иной раз болит здесь. — Крестьянин коснулся того места на шее, где череп срастается с позвоночником.

Не сходя со стула, Томаш ощупал место, на которое жаловался бывший пациент, а затем выслушал его самого. Потом сказал:

— К сожалению, я уже не имею права выписывать лекарства. Но своему лечащему врачу скажите, что говорили со мной и я посовето-

вал вам употреблять вот это. — Он вытащил из бумажника блокнот, вырвал из него листок и большими буквами написал на нем название лекарства.

28

Они возвращались в Прагу.

Тереза думала о фотографии, на которой инженер обнимает ее нагое тело. Она пыталась успокоить себя: даже если и существует такая фотография, Томаш никогда не увидит ее. Фотография имеет для них какую–то цену до тех пор, пока они могут с ее помощью шантажировать Терезу. Но как только они отошлют эту фотографию Томашу, она утратит для них всякий смысл.

Но что, если полиция со временем придет к выводу, что Тереза не представляет для нее никакого интереса? В таком случае фотография станет в их руках простой забавой, и уже никто не помешает кому–то из них, хотя бы шутки ради, вложить ее в конверт и послать Томашу.

А что будет, если Томаш получит такую фотографию? Выгонит ее? Может, и нет. Скорей всего, нет. Но хрупкое строение их любви окончательно рухнет. Ибо это строение держится на ее верности, как на единственном столбе, а любови — они как империи: если погибнет идея, на которой они

были основаны, рухнут и они.

Перед ее взором был образ: заяц, бегущий по борозде; охотник в зеленой шляпе и колокольня над лесом.

Она хотела сказать Томашу, что хорошо бы им уехать из Праги. Уехать прочь от детей, зарывающих живьем в землю ворон, прочь от сексотов, прочь от девиц, вооруженных зонтиками. Она хотела сказать ему, что хорошо бы им уехать в деревню. Что это единственная спасительная дорога.

Она повернула к нему голову. Но Томаш молчал и смотрел на шоссе перед собой. Она не смогла преодолеть барьер молчания, который разделял их. Ей было так же, как тогда, когда она спустилась с Петршина. Она чувствовала тяжесть, и ее позывало на рвоту. Томаш пугал ее. Он был для нее слишком сильный, а она слишком слабой. Он подавал ей приказы, которых она не понимала. Она старалась исполнить их, но у нее не получалось.

Она хотела вернуться снова на Петршин и попросить мужчину с ружьем разрешить ей завязать лентой глаза и опереться о ствол каштана. Ей хотелось умереть.

Она проснулась и обнаружила, что одна дома.

Она вышла на улицу и направилась к набережной. Хотелось поглядеть на Влтаву. Хотелось стоять на берегу и долго смотреть на волны, потому что вид текущей воды успокаивает и лечит. Река течет из века в век, и человеческие истории совершаются на берегу. Совершаются, чтобы назавтра же быть забытыми, а реке продолжать свое течение.

Опершись о парапет, она смотрела на воду. Это была окраина Праги. Влтава уже оставила позади великолепие Градчан и соборов и была словно актриса после спектакля, усталая и задумчивая. Текла она меж грязных берегов, огороженных заборами и стенами, за которыми виднелись фабрики и опустелые спортплощадки.

Она долго смотрела на воду, казавшуюся здесь более печальной и темной, и вдруг посреди реки увидела какой–то предмет, красный предмет, да, это была скамейка. Деревянная скамейка на металлических ножках, каких полно в пражских парках. Она медленно плыла по середине реки. А за ней еще одна скамейка. И еще и еще, и только сейчас Тереза увидела, что по течению плывут скамейки из города, из пражских парков, их много и становится все больше и больше, они плывут

по Влтаве, как осенью листья, унесенные водой из лесов, они красные, желтые, голубые.

Она оглянулась назад, словно хотела спросить прохожих, что все это значит. Почему уплывают по воде скамейки из пражских парков? Но все они шли мимо нее равнодушно, нисколько не заботясь, что какая–то река течет из века в век по их бренному городу.

Она снова загляделась на реку. Ей было бесконечно грустно. Она понимала: то, что она видит, это разлука.

А когда большинство скамеек исчезло из виду, появилось еще несколько запоздалых, одна желтая, а потом еще одна, голубая, последняя.

Часть пятая. ЛЕГКОСТЬ И ТЯЖЕСТЬ

1

Когда Тереза нежданно приехала к Томашу в Прагу, он занялся с нею любовью, как я уже писал в первой части романа, еще в тот же день, вернее, в тот же час, а вслед за тем у нее подскочила температура. Она лежала на его постели, и он стоял над ней в непреодолимом ощущении, что это дитя, которое положили в корзинку и пустили к нему по течению.

Образ подкидыша стал поэтому дорог ему, и он часто раздумывал о старых мифах, где он встречался. Это был, вероятно, и скрытый повод, отчего он однажды взял в руки Софоклова «Эдипа».

История Эдипа хорошо известна: пастух, найдя подброшенного младенца, отнес его своему царю Полибу, и тот воспитал его. Уже будучи взрослым юношей, Эдип повстречал на горной тропе повозку, в которой ехал незнакомый вельможа. Между ними вспыхнула ссора, и Эдип вельможу убил. Спустя время он стал супругом царицы Иокасты и властителем Фив. Он и предположить не мог, что человек, которого он убил когда–то в горах, был его отец, а женщина, с которой он сожи-

тельствует, его мать. Между тем рок обрушился на его подданных и стал терзать их смертными недугами. Когда же Эдип понял, что именно он повинен в их страданиях, он застежками от платья выколол себе глаза и слепым ушел из Фив.

2

От тех, кто считает коммунистические режимы в Центральной Европе исключительно делом рук преступников, ускользает основная истина: преступные режимы были созданы не преступниками, а энтузиастами, убежденными, что открыли единственную дорогу в рай. И эту дорогу они так доблестно защищали, что обрекли на смерть многих людей. Однако со временем выяснилось, что никакого рая нет и в помине, и так энтузиасты оказались убийцами.

Тогда все с криком обрушились на коммунистов: Вы ответственны за беды страны (она оскудела и опустела), за утрату ее самостоятельности (она подпала под власть России), за казни безвинных!

А те, обвиняемые, отвечали: Мы не знали! Мы были обмануты! Мы верили! Но в глубине своей души мы неповинны!

Итак, спор в конце концов свелся к единственному вопросу: В самом ли деле они не знали или

всего лишь прикидываются, что не знали?

Томаш вникал в этот спор (как, впрочем, и весь десятимиллионный чешский народ) и приходил к мысли, что, несомненно, были люди не столь уж несведущие (не могли же они не знать об ужасах, что творились и продолжают твориться в послереволюционной России). Однако вполне вероятно и то, что большинство коммунистов действительно были в полном неведении.

И он сказал себе: Не суть важно, знали они или не знали; основной вопрос ставится иначе — можно ли считать человека неповинным лишь на том основании, что он не знает? Разве глупец, сидящий на троне, освобожден от всякой ответственности лишь потому, что он глупец?

Попробуем допустить, что чешский прокурор, требующий в начале пятидесятых годов смерти для безвинного, был обманут русской секретной службой и правительством своей страны. Но сегодня, когда мы уже знаем, сколь абсурдны были обвинения и сколь невинны казненные, вправе ли тот самый прокурор защищать безгрешность своей души и бить себя в грудь, восклицая: Моя совесть чиста, я не знал! я верил! Разве в его «я не знал! я верил!» не сокрыта непоправимая вина?

И тогда Томаш вновь вспомнил историю Эдипа:

Эдип не знал, что он сожительствует с собственной матерью, и все–таки, познав правду, не почувствовал себя безвинным. Он не смог вынести зрелища горя, порожденного его неведением, выколол себе глаза и слепым ушел из Фив.

Слыша, как коммунисты во весь голос защищают свою внутреннюю чистоту, Томаш размышлял: Виною вашего неведения эта страна, возможно, на века потеряла свободу, а вы кричите, что не чувствуете за собой вины? Как же вы можете смотреть на дело рук ваших? Как вас не ужасает это? Да есть ли у вас глаза, чтобы видеть? Будь вы зрячими, вам следовало бы ослепить себя и уйти из Фив!

Это сравнение так увлекло Томаша, что он нередко использовал его в разговорах с друзьями, и с течением времени его формулировки становились все более точными и изысканными.

В те годы он, как и прочие интеллектуалы, читал еженедельник, издаваемый Союзом чешских писателей тиражом до 300 000 экземпляров. Достигший довольно заметной независимости внутри режима, еженедельник освещал темы, каких иные публичные издания касаться не осмеливались. Писательская пресса, естественно, не обходила вопроса и о том, кто и насколько

повинен в судебных убийствах на политических процессах, отметивших начало коммунистического правления.

Во всех этих спорах постоянно повторялся один и тот же вопрос: Знали они или не знали? Поскольку Томашу этот вопрос представлялся второстепенным, он однажды решил письменно изложить свои размышления об Эдипе и послать их в еженедельник. Спустя месяц получил ответ — его приглашали в редакцию. Когда он явился туда, его встретил редактор, маленький ростом, но прямой, словно аршин проглотил, и предложил ему изменить порядок слов в одной фразе. Вскоре текст был действительно опубликован на предпоследней странице, в рубрике «Письма читателей».

Но Томаш этому ничуть не обрадовался. В редакции сочли нужным пригласить его лишь затем, чтобы заручиться его согласием на изменение порядка слов в одной фразе, тогда как впоследствии, уже без его ведома, текст сократили настолько, что все его рассуждения свелись к основному тезису (причем достаточно схематичному и агрессивному) и полностью ему разонравились.

Произошло это весной 1968 года. У власти тогда

был Александр Дубчек, а рядом с ним те коммунисты, которые чувствовали себя виноватыми и готовы были сделать все, чтобы свою вину искупить. Однако иные коммунисты — те, что кричали о своей невиновности, — боялись суда разгневанного народа. И потому что ни день отправлялись жаловаться русскому послу и просить у него поддержки. Когда вышло в свет письмо Томаша, они кричали: Посмотрите, как далеко дело зашло! Они уже публично пишут, что нам надо выколоть глаза!

Двумя–тремя месяцами позже русские решили, что свободные дискуссии в их губернии недозволительны, и в течение одной ночи их войска захватили родину Томаша.

3

Вернувшись из Цюриха, Томаш по–прежнему стал работать в своей клинике. Но вскоре его пригласил к себе главный врач.

— Вы прекрасно знаете, пан коллега, — сказал ему тот, — что вы никакой не писатель, не журналист, не спаситель народа, а врач и ученый. Я не хочу терять вас и сделаю все, чтобы сохранить вас в клинике; но лишь с тем условием, что вы откажетесь от своей статьи об Эдипе! Она вам очень дорога?

— По правде сказать, пан доктор, я никогда ни к чему не относился с таким безразличием, — ответил Томаш, вспомнив, как на треть урезали его текст.

— Вы, конечно, понимаете, о чем речь, — заметил главный врач. Томаш понимал: на весах лежали две вещи — на одной чаше его честь (опиравшаяся на то, что он не станет отрекаться от своих слов), на другой — все, что он привык считать смыслом своей жизни (работу ученого и врача).

Главный врач продолжал: — В их требовании — публично отречься от сказанного — есть нечто средневековое. Что такое вообще «отречься»? Может ли кто–нибудь заявить, что мысль, высказанная им ранее, больше недействительна? В нынешнее время мысль можно опровергнуть, но не отречься от нее. Отречься от мысли, пан коллега, — нечто невозможное, чисто словесное, формальное, магическое, и, стало быть, я не вижу причины, почему бы вам не сделать того, чего от вас требуют. В обществе, управляемом террором, любые заявления лишены вескости, они вынужденные, и обязанность каждого порядочного человека не принимать их всерьез, пропускать мимо ушей. Повторяю, пан коллега, в моих инте-

ресах и в интересах ваших пациентов, чтобы вы продолжили свою работу.

— Вы, пожалуй, правы, — сказал Томаш и скорчил огорченную физиономию.

— В чем же дело? — Главврач пытался отгадать его мысли.

— Боюсь, мне будет стыдно.

— Стыдно? Перед кем? Неужто вы такого высокого мнения о ваших коллегах, что обеспокоены тем, как они отнесутся к вам?

— Нет, я вовсе не такого высокого о них мнения, — ответил Томаш.

— Впрочем, — добавил главный врач, — меня заверили, что ни о каком публичном выступлении и речи нет. Обыкновенные бюрократы. Им нужно, чтобы где–то в их досье было свидетельство, что вы не противник режима. Чтобы тем самым они смогли защитить себя, если кто–то станет их обвинять, что они оставили вас на прежней работе. Мне обещали, что ваше заявление не получит огласки. Они отнюдь не намерены публиковать его.

— Ну что ж, дайте мне неделю на размышление, — завершил Томаш их разговор.

4

Томаш считался лучшим хирургом клиники.

Поговаривали даже, что главный врач, приближавшийся к пенсионному возрасту, вскоре уступит ему свое место. Когда разнесся слух, что вышестоящие органы требуют от Томаша покаянного заявления, никто не сомневался, что он подчинится.

И эта уверенность поразила его в первую очередь: хотя он никому не давал повода сомневаться в его честности, люди охотнее делали ставку на его пороки, чем на его добродетели.

С другой стороны, поражала их реакция на его всего лишь предполагаемое решение. Я мог бы разделить ее на два основных типа.

Первый тип реакции исходил от тех, которые сами (они или их близкие) вынуждены были в свое время от чего–то отречься, выразить свое согласие с оккупационным режимом или готовы были пойти на это (пусть даже без удовольствия; никто не шел на это с охотой).

Эти люди улыбались ему особой улыбкой, какой он никогда не замечал ранее: робкой улыбкой заговорщицкого согласия. Она была подобна улыбке двух мужчин, встретившихся в борделе: им чуточку стыдно, но одновременно и радостно оттого, что их стыд взаимен; между ними возникают узы некоего братства.

Они улыбались ему с тем большим удовольствием, что он никогда не слыл конформистом. Его предполагаемое согласие с предложением главного врача было своего рода доказательством, что малодушие постепенно и определенно становится нормой поведения и в скором времени перестанет восприниматься тем, чем есть на самом деле. Эти люди никогда не были его друзьями. И Томаш с испугом представлял себе, что сделай он заявление, о котором его просил главный врач, они непременно зазовут его на стаканчик вина и станут набиваться в приятели.

Второй тип реакции касался тех, которые сами (они или их близкие), подвергаясь преследованиям, отказывались идти на какой–либо компромисс с оккупационными властями или которые были убеждены, что никогда бы не пошли на него, хотя пока еще никто от них никакого компромисса (или заявления) и не требовал (возможно, потому, что они были слишком молоды, чтобы успеть влипнуть в какую–нибудь передрягу).

Один из них, весьма даровитый молодой врач С., спросил Томаша:

— Ну как, ты им уже написал?

— Прости, что ты имеешь в виду? — спросил

Томаш.

— Ну ясно, твое отречение, — сказал С. Говорил он без всякой злобы. Даже улыбался. Но опять–таки это была уже совершенно иная улыбка, из некоего пухлого гербария улыбок: улыбка удовлетворенного нравственного превосходства.

Томаш сказал: — Послушай–ка, что ты знаешь о моем отречении? Ты читал его?

— Нет, — сказал С. — Так чего же ты мелешь? — спросил Томаш.

С. по–прежнему удовлетворенно улыбался: — Видишь ли, мы все отлично знаем, как оно водится. Такое заявление пишется в форме письма директору или министру или бог весть еще кому, а тот обещает, что письмо опубликовано не будет — пусть его автор не чувствует себя униженным. Не так ли?

Томаш, пожав плечами, продолжал слушать.

— Заявление преспокойненько покоится в столе у адресата, но написавший его знает, что в любой момент оно может быть обнародовано. И потому уже боится пикнуть, покритиковать что–нибудь или против чего–то выступить, он знает, что в таком случае его заявление будет опубликовано и его доброе имя в глазах всех опорочено. Но в конечном счете это вполне терпимый метод.

Можно представить себе и худший.

— Да, на редкость терпимый метод, — сказал Томаш. — Но любопытно, откуда ты взял, что я уже согласился им воспользоваться?

Коллега пожал плечами, но улыбка так и не сошла с его лица.

Томаша поразило еще одно странное наблюдение: Все улыбались ему, все хотели, чтобы он написал покаянное заявление, тем самым он всем доставил бы радость! Люди с первым типом реакции порадовались бы тому, что инфляция малодушия делает их поведение общепринятым и возвращает им утраченную честь. А люди со вторым типом реакции привыкли считать свою собственную добродетель особой привилегией, от которой не желают отказываться. И потому к трусу питают тайную любовь: без него их мужество стало бы обычным и напрасным усилием, каким уже никто не восхищался бы.

Томаш не мог выносить эти улыбки, ему казалось, что он видит их повсюду, даже на лицах прохожих на улице. Он лишился сна. С чего бы это? Разве он придает этим людям такое значение? Вовсе нет. Зная им цену, он и сам на себя злится, что их взгляды столь тревожат его. В этом нет никакой логики. Возможно ли, что он

так зависит от мнения людей, которых так мало уважает?

Его глубокое недоверие к людям (его сомнения в их праве решать его судьбу и выносить ему приговор) повлияло, пожалуй, в свое время и на выбор профессии, исключающей необходимость подвергаться суду публики. Человек, избравший, к примеру, стезю политика, добровольно отдает себя на суд публики, наивно и искренно веруя, что заслужит ее признание.

Возможное разочарование толпы лишь подстегивает его активность, подобно тому, как Томаша воодушевляла сложность диагноза.

Врач (в отличие от политика или актера) подвержен суду разве что своих пациентов или самых ближайших коллег, а следовательно, суду в четырех стенах, с глазу на глаз. Взгляды тех, кто судит его, он мог бы тотчас отпарировать собственным взглядом, объясниться или защититься. Но сейчас Томаш оказался в положении (впервые в жизни), когда устремленных на него взглядов было куда больше, чем он способен был уловить. Он не мог ответить им ни собственным взглядом, ни словом. Он был отдан на их произвол. О нем говорили в клинике и вне клиники (в то время нервозная Прага делилась вестями

о том, кто не оправдал надежд, кто предал, кто стал коллаборационистом, с непостижимой быстротой африканского тамтама), он знал об этом, но был бессилен с этим бороться. Он и сам поражался, насколько это было ему нестерпимо и в какое смятение повергло его. Интерес всех этих людей к нему был омерзителен, как давка или прикосновения тех, кто в наших страшных снах срывает с нас одежду.

Он пришел к главному врачу и сказал, что ничего не напишет.

Главный врач пожал ему руку гораздо сильнее, чем когда бы то ни было, и сказал, что предвидел его решение.

— Пан доктор, пожалуй, вы могли бы оставить меня в клинике и без такого заявления, — сказал Томаш, желая намекнуть главному врачу, что для этого достаточно было бы всем коллегам пригрозить уходом с работы, если его, Томаша, вынудят покинуть клинику.

Но никому из коллег и в голову не пришло пригрозить своим уходом с работы, и он некоторое время спустя (главврач пожал ему руку еще сильнее, чем в предыдущий раз; на ней еще долго синели следы) вынужден был проститься с клиникой.

5

Поначалу он оказался в деревенской больнице, километрах в восьмидесяти от Праги. Добирался от туда ежедневно поездом и возвращался смертельно усталым. Год спустя ему посчастливилось найти место более выгодное — хотя и более зависимое — в пригородной амбулатории. Здесь он уже не мог заниматься хирургией и практиковал как врач–терапевт. Приемная была всегда, переполнена пациентами, и потому каждому из них он способен был уделить не более пяти минут; он прописывал аспирин, выписывал больничные листы работающим и, считая себя уже скорее чиновником, чем врачом, посылал их на обследование к специалистам.

Однажды в конце приема к нему зашел человек лет пятидесяти; умеренная полнота сообщала ему достоинство. Он представился сотрудником министерства внутренних дел и пригласил Томаша в кабачок напротив.

Он заказал бутылку вина, но Томаш запротестовал: — Я на машине. Если меня остановят фараоны и обнаружат, что я выпил, прощай мои водительские права.

Человек из министерства внутренних дел улыбнулся: — Случись что, вам достаточно сослаться

на меня, — и подал Томашу свою визитную карточку, где была его фамилия (разумеется, вымышленная) и министерский номер телефона.

Затем он долго распространялся о том, как он ценит Томаша и как все в министерстве сожалеют, что такой блестящий хирург вынужден теперь прописывать аспирин в пригородной амбулатории. Всякими околичностями он давал Томашу понять, что спецслужба, хоть об этом и не говорится вслух, не согласна с чересчур жесткими методами, какими специалисты изгоняются со своих рабочих мест.

Поскольку Томашу уже давно никто не пел хвалы, он внимательно слушал этого толстячка и не переставал удивляться, как тот правильно и до мельчайших подробностей осведомлен о его профессиональных достоинствах. До чего мы беззащитны против лести! Томаш не мог устоять и не отнестись к словам человека из министерства на полном серьезе.

Но причиной тому было не только самолюбие. Более важную роль сыграла тут неопытность. Когда вы сидите лицом к лицу с кем–то, кто весьма любезен, учтив, вежлив, очень трудно непрестанно сознавать, что во всем, что он говорит, нет ничего от правды, ничего от искренности.

Неверие (постоянное и систематическое, без тени колебания) требует колоссального усилия и тренировки, иными словами, частых полицейских допросов. Такой тренировки у Томаша не было.

Человек из министерства продолжал: — Мы знаем, пан доктор, что в Цюрихе у вас было блестящее положение. И мы очень ценим, что вы вернулись. С вашей стороны это благородный шаг. Вы знали, что ваше место здесь. — И затем, словно в чем–то упрекая Томаша, добавил: — Но ваше место у операционного стола!

— Не могу не согласиться с вами, — сказал Томаш.

Наступила короткая пауза, после которой человек из министерства проговорил опечаленным голосом: — Однако скажите мне, пан доктор, вы действительно думаете, что коммунистам надо выколоть глаза? Не кажется ли вам странным, что это говорите вы, именно тот, кто уже стольким людям вернул здоровье?

— Это же полнейшая чушь, — защищался Томаш. Прочтите внимательно, что я написал.

— Я читал, — сказал человек из министерства внутренних дел голосом, которому положено было звучать очень грустно.

— По–вашему, выходит, я написал, что комму-

нистам надо выколоть глаза?

— Так поняли все, — сказал человек из министерства, и голос его прозвучал еще печальнее.

— Если бы вы прочли мой текст целиком, в том виде, в каком я его написал, вам этого не показалось бы. Он вышел несколько сокращенным.

— Как это? — напряг слух человек из министерства. — Они опубликовали ваш текст не в том виде, в каком вы его написали?

— Его сократили.

— Значительно?

— Примерно на треть.

Человек из министерства, похоже, был искренно огорчен: — Это, конечно, не было честной игрой с их стороны. Томаш пожал плечами.

— Вы должны были протестовать! Потребовать немедленного исправления текста!

— Вскоре за тем пришли русские. У нас у всех были другие заботы, — сказал Томаш.

— Зачем же людям думать о вас, что вы, врач, хотите, чтобы людей ослепили?

— Послушайте, эта моя статейка была напечатана где–то в самом конце журнала, среди писем. Ее никто особенно и не приметил. Разве что русское посольство, которому она пришлась очень кстати.

— Зачем вы так, пан доктор! Я лично беседовал со многими людьми, которые говорили о вашей статье и поражались, как вы могли такое написать. Но теперь, когда вы мне объяснили, что статья вышла в ином виде, чем вы ее написали, многое для меня прояснилось. Это они предложили вам ее написать?

— Нет, — сказал Томаш, — я сам ее послал им.

— Вы знакомы с этими людьми?

— С какими?

— С теми, что напечатали вашу статью.

— Нет.

— Вы никогда не разговаривали с ними?

— Однажды меня вызвали в редакцию. Зачем?

— По поводу статьи.

— И с кем же вы разговаривали?

— С каким–то редактором.

— Как его звали?

Только сейчас Томаш понял, что его допрашивают. Ему представилось вдруг, что каждым своим словом он подставляет кого–то под удар. Он, конечно, знал имя редактора, но не назвал его: — Нет, я не знаю.

— Однако, пан доктор, — сказал толстяк тоном, исполненным возмущения по поводу явной неискренности Томаша, — он же представился вам!

Ну не трагикомично ли, что именно наше хорошее воспитание становится союзником секретной полиции! Мы не умеем лгать. Императив «говори правду!», сызмальства внушаемый нам мамой и папой, срабатывает так автоматически, что мы стыдимся за свою ложь даже перед фараоном, нас допрашивающим. Для нас куда как проще спорить с ним, оскорблять его (что, кстати, абсолютно бессмысленно), чем лгать ему в глаза (а ведь это и есть то единственное, что нам полагается делать).

Когда человек из министерства упрекнул его в неискренности, Томаш почувствовал себя до некоторой степени виноватым: ему пришлось преодолеть в себе какой–то барьер, чтобы продолжать отстаивать свою ложь.

— Возможно, он и представился мне, — сказал Томаш, — но поскольку его имя ничего не говорило мне, оно тут же вылетело из головы.

— Как он выглядел?

Редактор, разговаривавший тогда с ним, был мал ростом, светловолос и стрижен ежиком. Томаш постарался наделить его чертами прямо противоположными: — Высокий. С длинными черными волосами.

— Так, так, — сказал чиновник из министер-

ства, — и с большой бородой!

— Вот именно, — сказал Томаш.

— Сутуловатый.

— Да, да, еще раз согласился Томаш и понял, что лишь сейчас человек из министерства установил, о ком идет речь. Томаш не только донес на какого–то редактора, но его донос ко всему еще и ложен.

— Но почему он позвал вас? О чем вы говорили?

— Им хотелось изменить порядок слов в предложении.

Это прозвучало не более как смешной отговоркой. Человек из министерства вновь возмущенно заудивлялся, что Томаш не хочет сказать ему правду: — Послушайте, пан доктор, минутой раньше вы утверждали, что ваш текст сократили на треть, а теперь говорите, что с вами беседовали об изменении порядка слов! Где же, однако, логика?!

Томашу сразу стало легче отвечать на вопросы, благо то, что он говорил сейчас, было сущей правдой. — Логики никакой, но это именно так, — смеялся он. — Меня попросили разрешить им изменить порядок слов в одной фразе, а затем треть статьи вообще выбросили.

Человек из министерства снова покачал головой, словно не мог взять в толк такого безнравственного поведения, и сказал: — Эти люди отнеслись к вам весьма некорректно.

Он допил стакан вина и заключил: — Пан доктор, вы стали жертвой шантажа. Было бы жаль, если бы из–за этого пострадали вы и ваши пациенты. Мы, пан доктор, прекрасно осведомлены о ваших достоинствах. Посмотрим, что можно будет сделать для вас.

Прощаясь, он сердечно потряс Томашу руку.

Затем, выйдя из кабачка, каждый пошел к своей машине.

6

После этой встречи Томаш впал в ужасную хандру. Как он мог допустить столь непринужденный тон разговора? Уж коль он сразу не отказался беседовать с полицейским агентом (ибо не был готов к такой ситуации и не знал, что дозволяет ему закон, а что нет), то по крайней мере не должен был пить с ним в кабаке вино, словно они были на дружеской ноге. А если бы его увидел тот, кто знает этого человека? Он обязательно решил бы, что Томаш сотрудничает с полицией! И зачем он вообще сказал ему, что его статью сократили? Зачем он без всякой надобности сообщил ему об

этом? Он был чрезвычайно недоволен собой.

Две недели спустя человек из министерства пришел снова. Как и в прошлый раз, он намеревался пойти в кабачок, но Томаш попросил его остаться в приемной.

— Я понимаю вас, пан доктор, — улыбаясь, сказал он. Эта фраза привлекла внимание Томаша. Человек из министерства произнес ее как шахматист, который дает понять противнику, что тот допустил ошибку в предыдущем ходу.

Они сидели друг против друга, разделенные письменным столом Томаша. Минут через десять, в течение которых разговор вертелся вокруг свирепствовавшей в то время эпидемии гриппа, человек из министерства сказал:

— Мы много думали о вашем деле, пан доктор. Если бы речь шла только о вас, все было бы проще. Но приходится считаться с общественным мнением. Преднамеренно или нет, но своей статьей вы подлили масла в антикоммунистическую истерию. Не скрою, нам было даже предложено привлечь вас к суду за вашу статью. Это предусмотрено законом. Публичное подстрекательство к насилию.

Человек из министерства помолчал, пристально глядя Томашу в глаза. Томаш пожал плечами.

Тот опять перешел на успокоительный тон: — Мы отклонили это предложение. Какова бы ни была ваша ответственность в этом деле, в интересах общества вы должны работать там, где ваши способности могут найти для себя наиболее полное применение. Ваш главный врач очень ценит вас. У нас есть и отзывы ваших пациентов. Вы блестящий специалист, пан доктор! Кто может требовать от врача, чтобы он разбирался еще в политике? Вы дали себя обвести вокруг пальца. Пора все расставить по своим местам. Вот почему мы решили предложить вам текст заявления, который, по нашему общему мнению, вы могли бы предоставить в распоряжение прессы. А уж наше дело позаботиться о том, чтобы он был вовремя опубликован, — и он протянул Томашу бумагу.

Томаш прочел, что там было написано, и пришел в ужас. Это было несравнимо хуже того, что требовал от него два года назад главный врач. Это было уже не просто отречение от статьи об Эдипе, здесь содержались фразы о любви к Советскому Союзу, о верности коммунистической партии, было здесь и осуждение интеллектуалов, стремившихся якобы ввергнуть страну в пучину гражданской войны, но самое страшное — здесь был донос на редакторов писательского

журнала, в том числе и на высокого сутуловатого редактора (Томаш с ним никогда не встречался и знал его лишь по фамилии и фотографиям), которые преднамеренно злоупотребили его статьей, придав ей иной смысл и превратив ее в контрреволюционную прокламацию; они были, дескать, слишком трусливы, чтобы написать такую статью собственноручно, и потому решили спрятаться за спину наивного доктора.

Человек из министерства увидел страх в глазах Томаша. Он нагнулся и по–дружески хлопнул его под столом по колену: — Пан доктор, это не более как предложение! Вы подумайте, и если захотите изменить ту или иную формулировку, само собой, мы сможем обо всем договориться. В конце концов это ваш текст!

Томаш тут же протянул бумагу агенту полиции, словно боялся лишнюю секунду держать ее в руках. Словно подумал, что на этой бумаге когда–нибудь станут искать отпечатки его пальцев.

Вместо того чтобы взять бумагу, человек из министерства в наигранном удивлении воздел руки (подобным жестом римский папа благословляет с балкона толпу): — Помилуйте, пан доктор, зачем же вы это мне возвращаете? Оставьте у себя. Подумайте об этом на досуге дома.

Качая головой, Томаш терпеливо держал бумагу в протянутой руке. Наконец человек из министерства перестал изображать из себя благословляющего папу и взял–таки бумагу назад.

Томаш намеревался сказать ему достаточно резко, что никакого текста он никогда не напишет и не подпишет, но в последнюю минуту переменил тон. И сказал вполне мирно: — Как–никак грамоте я обучен. С какой стати мне подписывать то, чего я сам не написал?

— Хорошо, пан доктор, мы можем избрать иную последовательность. Сперва вы сами напишете, а уж затем мы вместе с вами посмотрим. То, что вы сейчас прочли, может служить вам хотя бы образцом.

Почему Томаш с ходу, решительно не отверг предложения полицейского агента?

В голове у него мелькнула мысль: помимо того что подобные заявления призваны деморализовать весь народ целиком (в этом, вероятно, заключается генеральная русская стратегия), в его случае полиция, должно быть, преследует и некую конкретную цель; возможно, готовится процесс над редакторами еженедельника, в котором Томаш опубликовал свою статью. Если так, то заявление Томаша может быть использовано

как доказательство, необходимое для судебного разбирательства и для той грязной кампании, какую развяжут в прессе против редакторов. Откажись он сейчас от заявления принципиально и энергично, он подставит себя под удар: полиция распорядится опубликовать подготовленный текст за его поддельной подписью. И никогда никакая газета не поместит его опровержения! Уже никому на свете он не докажет, что не писал и не подписывал ничего подобного! Он давно понял, что люди испытывают слишком большое удовольствие при виде ближнего в моральном унижении, чтобы позволить ему испортить это удовольствие каким–то объяснением.

Оставив полиции надежду, что он напишет собственный текст, Томаш тем самым выиграл время. Он сразу же, на другой день, подал заявление об уходе, предполагая (правильно!), что с той минуты, как он спустится на самую нижнюю ступеньку общественного положения (куда, впрочем, спустились тысячи интеллектуалов из разных областей), полиция утратит над ним власть и начисто перестанет им интересоваться. В таком случае они уже никакой текст от его имени не смогут опубликовать по той простой причине, что это выглядело бы совершенно

неправдоподобно. Позорные публичные заявления связаны всегда с продвижением по службе, но никак не с падением подписантов.

Надо заметить, врачи в Чехии — государственные служащие, и государство вольно действовать по своему усмотрению: освобождать их от должности или нет. Чиновник, с которым Томаш говорил о своем уходе, знал его имя и высоко ценил его качества. Он попытался уговорить Томаша остаться на прежнем месте, и Томаш вдруг усомнился в правильности принятого решения. Однако он чувствовал себя уже связанным с ним какой–то невысказанной клятвой верности и настоял на своем. Так он стал мойщиком окон.

7

Уезжая несколько лет тому из Цюриха в Прагу, Томаш тихо говорил себе «Es muss sein!» и думал о своей любви к Терезе. Но уже в тот же день, как только пересек границу, он стал сомневаться, так ли это должно было быть. А ночью, лежа рядом со спящей Терезой, он вдруг осознал, что к ней привела его лишь цепь происшедших с ним семь лет назад смешных случайностей (ишиас его шефа был в начале цепи) и что именно они возвратили его в клетку, из которой ему уже не уйти.

Значит ли это, что никакого «Es muss sein!»,

никакой великой необходимости в его жизни не было?

Мне думается, она все–таки была. Но то была не любовь, а профессия. К медицине привела его не случайность, не рассудочные соображения, а глубокая внутренняя устремленность.

Коль скоро можно делить людей по каким–то категориям, то прежде всего по тем глубоким пристрастиям, что в течение всей жизни нацеливают их на ту или иную деятельность. Каждый француз неповторим. Но все актеры во всем мире похожи друг на друга — и в Париже, и в Праге, и в любом провинциальном театре. Актер — это тот, кто сызмальства и на всю жизнь соглашается выставлять себя на обозрение анонимной публики. Без этого исходного согласия, которое никак не связано с талантом, которое гораздо глубже, чем талант, нельзя стать актером. Под стать тому и врач; он также соглашается всю жизнь заниматься человеческими телами и всем тем, что из этого следует. Это исходное согласие (а вовсе не талант и не умение) дает ему возможность войти на первом курсе в прозекторскую, а спустя шесть лет стать врачом.

Хирургия доводит основной императив профессии медика до самой крайней грани, где

человеческое уже соприкасается с божественным. Если вы сильно трахнете кого–нибудь дубинкой по башке, он рухнет и испустит дух навсегда. Но ведь однажды он все равно испустил бы дух. Такое убийство лишь несколько опережает то, что чуть позже Бог обстряпал бы сам. Бог, надо полагать, считался с убийством, но не рассчитывал на хирургию. Он и думать не думал, что кто–то дерзнет сунуть руку в нутро механизма, который он сотворил, тщательно завернул в кожу, запечатал и сокрыл от глаз человеческих. Когда Томаш впервые приставил скальпель к коже спящего под наркозом мужчины, а потом энергичным жестом проткнул эту кожу и распорол ее ровной и точной линией (словно это был лоскут неживой материи, пальто, юбка, занавес), он испытал мимолетное, но ошеломляющее ощущение святотатства. И именно это увлекало его. Это было тем глубоко укоренившимся в нем «Es muss sein!», к которому привела его вовсе не случайность, вовсе не ишиас главврача — ничего внешнего.

Но как же случилось, что он так быстро, решительно и легко освободился от чего–то, столь глубоко сидящего в нем?

Он ответил бы нам, что сделал это во избежание

того, чтобы полиция злоупотребила его именем. Но, откровенно говоря, даже если это теоретически и возможно (и такие случаи имели место), мне представляется маловероятным, чтобы полиция распорядилась опубликовать подложное заявление за его подписью.

Человек, естественно, волен бояться и той опасности, что маловероятна. Допустим. Допустим также, что он злился на самого себя, на свою неловкость и хотел избежать дальнейших столкновений с полицией, которые усилили бы в нем ощущение беспомощности. И допустим даже, что он так или иначе потерял бы свою профессию, ибо механическая работа в амбулатории, где он прописывал аспирин, и отдаленно не соответствовала его представлениям о медицине. Но несмотря на все, поспешность его решения представляется мне странной. Не скрывается ли за ней нечто другое, более глубокое, что ускользнуло от его отвлеченных рассуждений?

8

Хотя Томаш благодаря Терезе и полюбил Бетховена, в музыке он особенно не разбирался, и я не уверен, знал ли он подлинную историю знаменитого Бетховенского мотива «Muss es sein? Es muss sein!».

А было так: некий господин Дембшер задолжал Бетховену пятьдесят флоринов, и композитор, у которого вечно не было ни гроша за душой, напомнил ему о них. «Muss es sein?» — вздохнул опечаленно господин Дембшер, и Бетховен бурно рассмеялся: «Es muss sein!» — и тотчас эти слова и их мелодию положил на ноты и сочинил на этот реалистический мотив небольшой канон для четырех голосов: три голоса поют: «Es muss sein, es muss sein, ja, ja, ja!» (это должно быть, это должно быть, да, да, да), а четвертый голос вступает: «Heraus mit dem Beutel!» (Вытащи–ка портмоне!).

Тот же мотив годом позже стал основой четвертой части его последнего квартета, опус 135. Тогда Бетховен уже не думал о портмоне Дембшера. Слова «Es muss sein!» звучали для него все более и более торжественно, словно их изрекала сама Судьба. В языке Канта даже «Добрый день!», сказанное соответствующим образом, может обрести подобие метафизического тезиса. Немецкий — язык тяжелых слов. И «Es muss sein!» стало уже вовсе не шуткой, а «der schwer gefasste Entschluss» (тяжко принятым решением).

Итак, Бетховен легковесное вдохновение превратил в серьезный квартет, шутку в метафизическую правду. Это любопытный пример

превращения легкого в тяжелое (или же, согласно Парменидy: пример превращения позитивного в негативное). Как ни удивительно, такое превращение нас не поражает. Напротив, нас огорчило бы, преврати Бетховен серьезность своего квартета в легкую шутку четырехголосного канона о портмоне Дембшера. И тем не менее, в таком случае он поступил бы поистине в духе Парменида: превратил бы тяжелое в легкое, то бишь негативное в позитивное! Вначале (как незавершенный эскиз) была бы великая метафизическая правда, а в конце (как завершенное сочинение) была бы легковесная шутка! Однако нам уже не дано мыслить так, как мыслил Парменид!

Мне кажется, то агрессивное, торжественно строгое «Es muss sein!» втайне уже давно раздражало Томаша, и в нем жила глубокая мечта, следуя духу Парменида, превратить тяжелое в легкое. Вспомним о том, как он в одночасье отказался от встреч со своей первой женой и сыном или с каким чувством облегчения воспринял разрыв с родителями. Было ли это нечто иное, чем резкий и недостаточно осознанный жест, которым он отбросил все, что представлялось ему тяжелой обязанностью, его «Es muss sein!»?

Тогда, конечно, это было внешнее «Es muss

sein!», определенное общественными условностями, в то время как «Es muss sein!» его любви к медицине шло изнутри. Тем хуже. Внутренний императив еще сильнее и потому тем настойчивее зовет к бунту.

Быть хирургом — значит вспарывать поверхность вещей и смотреть, что сокрыто внутри. Возможно, именно поэтому у Томаша и возникло желание узнать, что же таится по ту сторону «Es muss sein!»; иными словами: что останется от жизни, если человек сбросит с себя то, что до сих пор считал своим призванием.

И тем не менее, когда он, пре�ставившись благожелательной заведующей пражского предприятия «Мойка витрин и окон», воочию увидел результат своего решения во всей реальности и неотвратимости, ему стало страшновато. В таком состоянии он прожил первые дни своей новой работы. Но как только преодолел (пожалуй, за неделю) обескураживающую непривычность своего преображения, понял вдруг, что вступил в пору долгих каникул.

Он делал вещи, на которые ему было плевать, и это было прекрасно. Он внезапно понял счастье людей (до сих пор он всегда их жалел), занимающихся профессиями, к которым не принуждает

их никакое внутреннее «Es muss sein!» и о которых, покинув свое рабочее место, они могут тотчас забыть. Никогда прежде он не знал этого благостного безразличия. Когда, бывало, что–то не вполне удавалось ему на операционном столе, он приходил в отчаяние и не мог уснуть. Зачастую он терял даже вкус к женщинам. «Es muss sein!» его профессии было своего рода вурдалаком, высасывавшим у него кровь.

Теперь он ходил по Праге с шестом для мытья витрин и не без удивления обнаруживал, что чувствует себя на десять лет моложе. Продавщицы больших магазинов величали его «пан доктор» (пражский тамтам действовал отлично) и спрашивали его советов касательно своих насморков, больных поясниц и нерегулярных менструаций. Они смотрели на него чуть ли не со стыдом, когда он, полив стекла водой и насадив щетку на шест, начинал мыть витрину. О, если бы они только могли бросить покупателей в магазине и, отобрав у него из рук шест, вымыть за него стекла!

Томаша приглашали, в основном, большие магазины, но предприятие часто посылало его и к частным лицам. Массовое преследование чешских интеллектуалов еще тогда возбуждало в людях некую эйфорию солидарности. Быв-

шие пациенты Томаша, узнав, что он моет окна, звонили к нему на предприятие и приглашали именно его. Затем встречали его с бутылкой шампанского или сливовицы и, записав ему в квитанцию тринадцать вымытых окон, два часа толковали с ним и пили за его здоровье. И Томаш уходил в следующую квартиру или магазин в великолепном расположении духа. Семьи русских офицеров размещались по стране, по радио неслись угрожающие речи чиновников министерства внутренних дел, сменивших изгнанных редакторов, а он бродил в подпитии по Праге, и ему казалось, что он идет с одного праздника на другой. Это были его долгие каникулы.

Он возвращался назад во времена своего холостяцкого житья. То есть из его жизни вдруг совсем исчезла Тереза. Встречался он с ней только ночью, когда она приходила из ресторана, и он едва пробуждался от полусна, а утром, когда уже она с трудом открывала глаза, торопился на работу. В его распоряжении вдруг оказалось шестнадцать часов, столь неожиданно обретенный простор свободы. А простор свободы с ранней молодости для Томаша значил: женщины.

9

Когда друзья, случалось, спрашивали его,

сколько у него было в жизни женщин, он отвечал уклончиво, но если они наседали на него, он говорил:

«Ну что ж, их могло быть сотни две». Иные завистники считали, что он преувеличивает. Он защищался: «Разве это так много? Мои связи с женщинами длятся лет двадцать пять. Разделите две сотни на двадцать пять, и у вас получится каких–нибудь восемь новых женщин в год. Не так уж это и много».

Однако с тех пор как он стал жить с Терезой, его эротическая активность наталкивалась на организационные трудности; ей он мог отвести лишь узкую полоску времени (между операционным залом и домом), которое, как бы интенсивно он его ни использовал (подобно земледельцу, ревностно возделывающему свою делянку в горах), не идет, однако, ни в какое сравнение с простором в шестнадцать часов, нежданно ему подаренным. (Я говорю шестнадцать часов, поскольку и те восемь часов, когда он мыл окна, были наполнены узнаванием новых продавщиц, служащих, домашних хозяек, каждая из которых могла стать объектом его эротического интереса.)

Что он искал в них? Что его влекло к ним? Разве любовный акт — не вечное повторение одного

и того же?

Отнюдь нет. Всегда остается маленькая доля невообразимого. Когда он видел женщину в платье, он, конечно, умел приблизительно вообразить себе, как она будет выглядеть обнаженной (здесь его опыт медика дополнял опыт любовника), но между приблизительностью воображения и точностью реальности всегда оставался маленький зазор невообразимого, не дававшего ему покоя. Погоня за невообразимым не кончается, однако, открытием наготы, но продолжается дальше: как женщина будет вести себя, когда он разденет ее? Что будет говорить, когда он будет обладать ею? В какой Тональности будут звучать ее вздохи? Какой гримасой исказятся ее черты в минуту экстаза?

Своеобразие «я» скрыто как раз в том, что есть в человеке невообразимого. Представить себе мы можем лишь то, что у всех людей одинаково, что общо. Индивидуальное «я» — лишь то, что отличается от общего, иначе говоря, то, что нельзя предугадать и вычислить, что необходимо лишь обнажить, открыть, завоевать.

Томаш, который последние десять лет своей врачебной практики занимался исключительно человеческим мозгом, знает, что нет ничего более

труднопостижимого, чем «я». Между Гитлером и Эйнштейном, между Брежневым и Солженицыным гораздо больше сходства, чем различия. Если это выразить числами, то можно было бы сказать, что между ними одна миллионная доля непохожего и девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять миллионных сходного.

Томаш одержим страстью открывать и овладевать этой одной миллионной долей, и ему кажется, что в этом — смысл его одержимости женщинами. Он одержим не женщинами, он одержим тем, что в каждой из них есть невообразимого, иными словами, он одержим той миллионной долей непохожего, которая отличает одну женщину от других.

(Здесь, пожалуй, соприкасались его страсть хирурга со страстью бабника. Он не выпускал из руки воображаемого скальпеля, даже когда бывал с любовницами. Он мечтал овладеть чем–то, что запрятано глубоко в них и ради чего необходимо разъять их поверхность.)

Мы можем, конечно, по праву спросить, почему он искал эту миллионную долю непохожего именно в сексе? Разве он не мог найти ее, допустим, в походке, в кулинарных причудах либо

в художественных увлечениях той или иной женщины?

Несомненно, миллионная доля непохожести присутствует во всех сферах человеческой жизни, однако в любой из них она общедоступна, ее не нужно открывать, она не требует скальпеля. Одна женщина на десерт предпочитает сыр пирожному, другая не выносит цветной капусты, и хоть каждая из них тем самым демонстрирует свою оригинальность, эта оригинальность тотчас обнаруживает свою полную пустоту и никчемность и убеждает нас в том, что нет никакого смысла примечать ее и искать в ней какую–то ценность.

Исключительно в сексуальности миллионная доля несхожести являет собой нечто редкостное, ибо недоступна публике и должна быть завоевана. Еще полвека назад для такого завоевания требовалась уйма времени (недели, а то и месяцы!), и стоимость завоеванного была пропорциональна времени, затраченного на это завоевание. Однако и сейчас, хотя время, необходимое для завоевания, неизмеримо сократилось, сексуальность все еще продолжает оставаться металлической шкатулкой, в которой сокрыто таинство женского «я».

Итак, то была не жажда наслаждения (на-

слаждение приходило сверх всего, как некая премия), а жажда овладеть миром (разъять своим скальпелем распростертое тело мира); именно она увлекала Томаша в погоню за женщинами.

10

Среди мужчин, гоняющихся за множеством женщин, мы можем легко различить две категории. Одни ищут во всех женщинах свой особый, субъективный и всегда один и тот же сон о женщине. Другие движимы желанием овладеть безграничным разнообразием объективного женского мира.

Одержимость первых — лирическая: они ищут в женщинах самих себя, свой идеал, но их всякий раз постигает разочарование, ибо идеал, как известно, нельзя найти никогда. Разочарование, которое гонит их от женщины к женщине, привносит в их непостоянство некое романтическое оправдание, и потому многие сентиментальные дамы способны даже умиляться над их упорной полигамностью.

Вторая одержимость — эпическая, и женщины не находят в ней ничего трогательного: мужчина не проецирует на женщин никакого своего субъективного идеала; поэтому его занимает все и ничто не может разочаровать. Именно эта

неспособность быть разочарованным и несет в себе нечто предосудительное. В представлении людей одержимость эпического бабника не знает искупления (искупления разочарованием).

Поскольку лирический бабник преследует все время один и тот же тип женщин, никто даже не замечает, что он сменяет любовниц; друзья постоянно ставят его в затруднительное положение тем, что не могут различить его подруг и все время называют их одним и тем же именем.

Эпические бабники (и к ним, конечно, относится Томаш) в своей погоне за познанием все больше отдаляются от банальной женской красоты, коей быстро пресыщаются, и неотвратимо кончают как собиратели диковин. Они знают за собой этот грех, немного стыдятся его и, дабы не смущать друзей, не показываются с любовницами на людях.

Томаш уже около двух лет работал мойщиком окон, когда однажды его пригласила к себе новая заказчица. Ее причудливость привлекла его тотчас, как только он увидел ее в открытой двери квартиры, но причудливость эта была деликатной, неброской, ограниченной рамками приятной банальности (увлеченность Томаша диковинами не имела ничего общего с увлечен-

ностью Феллини монстрами). Женщина была чрезвычайно высокой, заметно выше его, и лицо ее с тонким и очень длинным носом было до такой степени необычным, что ее нельзя было назвать красивой (никто с этим не согласился бы!), хотя и некрасивой (во всяком случае, в глазах Томаша) она не была. В брюках и белой блузе она производила впечатление удивительного сочетания нежного мальчика, жирафа и аиста.

Женщина смотрела на него долгим, внимательным, пытливым взглядом, не лишенным и проблеска умной иронии.

— Пойдемте дальше, пан доктор, — сказала она.

Он понял, что женщина знает, кто он. Однако, не желая показывать это, он спросил:

— Куда можно налить воды?

Она открыла дверь ванной. Перед ним были умывальник, ванна, унитаз; перед ванной, умывальником и унитазом лежали маленькие розовые коврики.

Женщина, похожая на жирафа и аиста, улыбалась, глаза ее щурились, и потому все, что она говорила, казалось исполненным тайного смысла или иронии.

— Ванная полностью в вашем распоряжении,

пан доктор, — сказала она. — Можете в ней делать все что угодно.

— И выкупаться могу? — спросил Томаш.

— Вы любите купаться? — ответила она вопросом.

Он наполнил ведро теплой водой и вернулся в гостиную.

— Откуда прикажете начать?

— Это зависит только от вас, — пожала она плечами.

— Я мог бы посмотреть окна в остальных комнатах?

— Вы хотите познакомиться с моей квартирой? — улыбнулась она, словно мытье окон было просто его прихотью, не имевшей к ней никакого отношения.

Он вошел в соседнюю комнату. Это была спальня с одним большим окном, двумя придвинутыми вплотную кроватями и картиной, изображавшей осенний пейзаж с березами и заходящим солнцем.

Когда он вернулся, на столе стояла открытая бутылка вина и две рюмки.

— Не хотите ли взбодриться перед нелегкой работой? — спросила она.

— С удовольствием, — сказал Томаш и сел.

— Для вас, должно быть, это любопытное занятие, бывать во многих домах, — сказала она.

— Да, в этом что–то есть, — сказал Томаш.

— Везде вас ждут женщины, мужья которых на работе.

— Гораздо чаще бабушки и свекрови, — сказал Томаш.

— А вы не тоскуете по вашей настоящей работе?

— Скажите мне лучше, откуда вы знаете о моей работе?

— Ваше предприятие хвастается вами, — сказала женщина, похожая на аиста.

— Все еще? — удивился Томаш.

— Когда я туда позвонила и попросила прислать кого–нибудь вымыть окна, мне предложили вас. Сказали, что вы известный хирург, которого выгнали из больницы. Меня, конечно, это заинтересовало.

— Вы ужасно любопытная, — сказал он.

— Это заметно по мне?

— Да, по вашему взгляду.

— А как я смотрю?

— Щурите глаза. И все время задаете вопросы.

— Вы не любите отвечать?

Благодаря ей разговор с самого начала приоб-

рел игривое очарование.

Ничто из того, что она говорила, не касалось окружающего мира, все слова были обращены исключительно к ним одним. А поскольку главной темой разговора сразу стали он и она, не было ничего естественнее, как дополнить слова прикосновениями: Томаш, говоря о ее щурящихся глазах, не преминул погладить ее. А она принялась каждый его жест повторять своим жестом и делала это не полуосознанно, а скорее с какой–то нарочитой последовательностью, словно играла в игру «что сделаете вы мне, то и я сделаю вам». Так они сидели друг против друга, и руки одного касались тела другого.

И только когда Томаш попытался коснуться ее лона. она воспротивилась. Ему трудно было определить, насколько серьезно это сопротивление, но в любом случае прошло уже достаточно времени — через десять минут ему полагалось быть у следующего клиента.

Он встал и объяснил ей, что должен уйти. Лицо у нее горело.

— Позвольте подписать вам заказ, — сказала она.

— Но я же ничего не сделал, — возразил он.

— Это моя вина, — сказала она и затем добавила

тихим, медленным, невинным голосом: — Мне придется снова попросить вас зайти и докончить то, что по моей вине вы не смогли даже начать.

Когда Томаш отказался дать ей подписать бланк, она сказала ласково, словно просила его о какой–то услуге:

— Прошу вас, дайте мне. — А потом добавила, щуря глаза: — Плачу же не я, а мой муж. И платят не вам, а государственному предприятию. Эта сделка нас вовсе не касается.

11

Странная несоразмерность женщины, похожей на жирафа и аиста, возбуждала его и в воспоминаниях о ней: сочетание кокетства с неловкостью; откровенное сексуальное влечение, сопровождаемое иронической улыбкой; вульгарная ординарность квартиры и неординарность ее хозяйки. Какой она будет, когда они займутся любовью? Но как ни пытался он вообразить себе это, ничего не получалось. Несколько дней он ни о чем другом и думать не мог.

Когда она пригласила его во второй раз, бутылка вина и две рюмки уже ждали на столе. Однако сейчас все шло очень быстро. Вскоре они стояли друг против друга в спальне (на картине с березами заходило солнце) и целовались. Он

сказал ей свое обычное «разденьтесь!», но она, вместо того чтобы подчиниться, попросила его: «Нет, сначала вы!»

Для него это было столь непривычным, что привело его в смущение. Она стала расстегивать ему брюки. Он еще раз, другой приказал ей (с комическим неуспехом) «разденьтесь», однако ему ничего не оставалось, как пойти на компромисс: следуя правилам игры, которые она в прошлый раз ему навязала («что сделаете вы мне, то и я сделаю вам»), она сняла с него брюки, а он с нее — юбку, затем она сняла с него рубашку, а он с нее — блузку, и так до тех пор, пока они не оказались друг перед другом совсем голыми. Его рука была на ее влажном межножье, а затем он продвинул пальцы дальше, к заднему проходу, к месту, которое особенно любил на теле всех женщин. У этой дамы он был необычайно выпуклым, упорно вызывая представление о долгом пищеварительном тракте, что кончался здесь, слегка выпирая. Ощупывая этот крепкий, здоровый кружок, этот самый прекрасный из всех перстней на свете, на медицинском языке именуемый «сфинктер», он неожиданно почувствовал и ее пальцы на своем собственном теле, в том же месте. Она повторяла все его движения с точностью зеркала.

Как я сказал, он познал сотни две женщин (а с тех пор, как мыл окна, их число заметно увеличилось), и все–таки с ним никогда не случалось, чтобы перед ним стояла женщина, выше его ростом, щурясь смотрела на него и ощупывала его анус. Дабы преодолеть смущение, он резко толкнул ее на кровать.

Его движение, столь стремительное, застигло ее врасплох. Ее высокая фигура стала падать навзничь, лицо, покрытое алыми пятнами, выражало испуг человека, потерявшего равновесие. Стоя перед ней, он подхватил ее под колени и поднял чуть раздвинутые ноги вверх — они вдруг стали походить на воздетые руки солдата, сдающегося в страхе перед нацеленным на него оружием.

Неловкость в сочетании с усердием, усердие в сочетании с неловкостью необыкновенно распалили Томаша. Они любили друг друга очень долго. При этом он неотрывно глядел в ее лицо, покрытое алыми пятнами, и искал в нем испуганное выражение женщины, которой подставили ногу, и она падает, это неподражаемое выражение, что минутой раньше вогнало ему в голову кровь возбуждения.

Потом он пошел умыться в ванную. Она провожала его туда, обстоятельно объясняя, где мыло,

где губка и как пустить горячую воду. Ему было странно, почему она так подробно растолковывает ему вещи столь простые. В конце концов он сказал, что все понимает, и намекнул, что хочет остаться в ванной один.

Она сказала просительно: «Не разрешите ли мне присутствовать при вашем туалете?»

Наконец ему удалось выставить ее из ванной. Он умывался, мочился в умывальник (известная привычка чешских врачей), но ему все время казалось, что она нетерпеливо снует перед дверью и раздумывает, как ей проникнуть внутрь. Когда он закрыл воду и в квартире наступила полная тишина, у него возникло ощущение, что она откуда–то наблюдает за ним. Он был почти уверен, что в двери ванной просверлена дырка и она прижимает к ней свой красивый прищуренный глаз.

Он уходил от нее в великолепном настроении. Он старался удержать в памяти самую суть этой женщины, вывести из своих воспоминаний некую химическую формулу, которой можно было бы определить ее исключительность (миллионную долю непохожести). Наконец он пришел к формуле, состоявшей из трех показателей:

1) неловкость в сочетании с усердием;

2) испуганное лицо того, кто потерял равновесие и падает;

3) ноги, поднятые вверх, точно руки солдата, который сдается перед нацеленным на него оружием.

Повторяя это, он наполнялся счастливым ощущением, что снова овладел какой–то частицей мира; что со своим воображаемым скальпелем вырезал полоску материи из бесконечного полотна вселенной.

12

Примерно в то же время с ним случилась такая история: он несколько раз встретился с молодой девушкой в квартире, которую предоставлял ему ежедневно, до самой полуночи, один его старый приятель. Однажды, спустя месяц, другой, девушка напомнила ему об одной их встрече: они якобы занимались любовью на ковре, меж тем как на дворе вспыхивали молнии и гремел гром. Они любили друг друга в течение всей грозы, и это было незабываемо прекрасно!

Томаш тогда почти испугался: да, он помнил, что любил ее на ковре (в квартире приятеля был лишь узкий диван, казавшийся Томашу неудобным), но о грозе напрочь забыл! Удивительное дело: он мог вспомнить каждую из тех несколь-

ких встреч с этой девушкой, явственно помнил даже способ, каким они любили друг друга (она отказалась отдаться ему сзади), помнил слова, какие она произнесла во время соития (она непрестанно просила, чтобы он крепко сжимал ее бедра, и не хотела, чтобы он смотрел на нее), помнил даже фасон ее белья, а вот гроза совершенно стерлась в его памяти.

Из всех его любовных историй память сохраняла лишь крутую и узкую трассу сексуального завоевания: первую словесную атаку, первое прикосновение, первую непристойность, которую он сказал ей, а она — ему, все те мелкие извращения, к которым он постепенно склонял ее, и те, что она отвергла. Все остальное из памяти было (почти с какой–то педантичностью) вычеркнуто. Он забывал даже место, где впервые увидел ту или иную женщину, ибо это мгновение предшествовало его сексуальному штурму.

Девушка говорила о грозе, мечтательно улыбалась, а он смотрел на нее с удивлением и чуть не сгорал от стыда: она переживала нечто прекрасное, а он был далек от ее чувствований. В двояком способе, каким их память отзывалась на вечернюю грозу, заключалась вся разница между любовью и нелюбовью.

Словом «нелюбовь» я вовсе не хочу сказать, что к этой девушке Томаш относился цинично, что в ней, как говорится, он не видел ничего, кроме сексуального объекта; напротив, он по–дружески любил ее, ценил ее характер и утонченность и готов был прийти к ней на помощь, если бы ей таковая понадобилась. Это не он относился к ней плохо, плохо относилась к ней его память, которая сама, без его участия, исключила ее из сферы любви.

Похоже, будто в мозгу существует совершенно особая область, которую можно было бы назвать поэтической памятью и которая отмечает то, что очаровало нас, тронуло, что сделало нашу жизнь прекрасной. С тех пор как он узнал Терезу, уже ни одна женщина не имела права запечатлеть в этой части мозга даже самый мимолетный след.

Тереза деспотически завладела его поэтической памятью и замела в ней следы иных женщин. Это было несправедливо, ибо, к примеру, девушка, которую он познавал на ковре, была ничуть не менее достойна поэзии, чем Тереза. Она кричала: «Закрой глаза, стисни мне бедра, держи меня крепко!»; она не могла вынести, что у Томаша в минуты любовной близости открыты глаза, сосредоточенные и наблюдающие, и что его тело,

слегка приподнятое над ней, не прижимается к ее коже. Она не хотела, чтобы он изучал ее. Она хотела увлечь его в поток очарования, в который нельзя вступить иначе, чем с закрытыми глазами. Поэтому она и отказалась стать на четвереньки: в такой позе их тела и вовсе не соприкасались бы, и он смотрел бы на нее чуть не с полуметрового расстояния. Она ненавидела это расстояние. Ей хотелось слиться с Томашем. И потому, упорно глядя ему в глаза, она твердила, что не испытала наслаждения, хотя ковер был явно орошен ее оргазмом. «Я не ищу наслаждения, — говорила она, — я ищу счастья, а наслаждение без счастья — не наслаждение». Иными словами, она стучалась в ворота его поэтической памяти. Но ворота были заперты. В его поэтической памяти для нее не было места. Место для нее было разве что на ковре.

Его приключение с Терезой началось как раз там, где приключения с иными женщинами кончались. Оно разыгрывалось на другой стороне императива, который побуждал его завоевывать женщин. В Терезе он не хотел ничего открывать. Он получил ее открытой. Он сблизился с нею раньше, чем успел взять в руки свой воображаемый скальпель, которым вспарывал

распростертое тело мира. Еще раньше, чем он успел спросить себя, какой она будет, когда они займутся любовью, он уже любил ее.

История любви началась лишь потом: у Терезы поднялась температура, и он не смог отослать ее домой, как, бывало, отсылал других женщин. Он стоял на коленях у постели, где она спала, и ему вдруг подумалось, что кто–то пустил ее к нему по воде в корзинке. Я уже сказал, что метафоры опасны. Любовь начинается с метафоры. Иными словами: любовь начинается в ту минуту, когда женщина своим первым словом впишется в нашу поэтическую память.

13

Несколько дней назад Тереза снова запала ему в душу: как обычно, она вернулась утром домой с молоком, и когда он открыл дверь, она стояла и прижимала к груди ворону, завернутую в красную косынку. Так в охапке держат цыганки своих детей. Он никогда не забудет этого: огромный, печальный клюв вороны возле ее лица.

Она нашла ее зарытой в землю. Так когда–то поступали казаки с пленными недругами. «Это сделали дети», — сказала она, и в этой фразе была не только простая констатация, но и неожиданная брезгливость к людям. Он вспомнил, как

недавно она сказала ему: «Я становлюсь благодарной тебе, что ты никогда не хотел иметь детей».

Вчера она жаловалась ему, что в баре к ней приставал какой–то мужчина. Он тянул руку к ее дешевенькому ожерелью и твердил, что она заработала его не иначе как проституцией. Она была очень встревожена этим. Больше, чем полагалось бы, подумал Томаш. И вдруг ужаснулся, как мало виделся с ней в последние два года и как редко доводилось ему сжимать в ладонях ее руки, унимая их дрожь.

С такими мыслями он отправился утром в контору. Служащая, распределявшая на весь день наряды для мойщиков, сказала ему, что некий частный заказчик упорно настаивал на том, чтобы окна в его квартире вымыл именно Томаш. По этому адресу он пошел с неохотой, опасаясь, что его снова пригласила к себе какая–то женщина. Погруженный в мысли о Терезе, он не испытывал ни малейшей потребности в очередном приключении.

Когда открылась дверь, Томаш облегченно вздохнул, увидев перед собой высокую сутуловатую мужскую фигуру. У мужчины была большая борода, и он кого–то напоминал Томашу.

— Пойдемте, пан доктор, — сказал он с улыбкой

и повел Томаша в комнату.

В комнате стоял молодой человек. Краска заливала ему лицо. Он смотрел на Томаша, пытаясь улыбаться.

— Вас двоих, пожалуй, не надо представлять друг другу, — сказал мужчина.

— Не надо, — сказал Томаш и, не отвечая улыбкой на улыбку, протянул молодому человеку руку. Это был его сын.

Только тогда представился ему и мужчина с большой бородой.

— Я ведь понял, что вы кого–то напоминаете мне! — сказал Томаш. — Еще бы! Разумеется, я знаю вас. По имени.

Они сели в кресла по разные стороны низкого журнального столика. Томаш вдруг осознал, что оба сидевших напротив него человека являются его же невольными творениями. Сына принудила его создать первая жена, а черты этого высокого мужчины он по принуждению нарисовал полицейскому агенту, который его допрашивал.

Чтобы отогнать эти мысли, он сказал: — Так с какого же окна мне начинать?

Мужчины напротив от души рассмеялись.

Да, было ясно, что ни о каком мытье окон речь не идет. Его позвали не мыть окна, его заманили

в ловушку. Он никогда и словом не перемолвился с сыном и только сегодня впервые пожал ему руку. Он знал его лишь по виду и не хотел знать иначе. Он не желал ничего о нем знать и хотел, чтобы это желание было обоюдным.

— Прекрасный плакат, не правда ли? — кивнул редактор на большой обрамленный рисунок, висевший на стене против Томаша.

Только сейчас Томаш оглядел комнату. На стенах были любопытные картины, много фотографий и плакатов. Рисунок, на который указал редактор, был напечатан в 1969 году в одном из последних номеров еженедельника, прежде чем русские запретили его. Это была имитация известного плаката времен гражданской войны 1918 года в России, который призывал к набору в Красную Армию: солдат с красной звездой на шлеме чрезвычайно строгим взглядом смотрит вам в глаза и протягивает руку с нацеленным на вас указательным пальцем. Изначальный русский текст гласил: «Ты записался добровольцем?» Этот текст был заменен чешским текстом: «Ты подписал две тысячи слов?»

Отличная шутка! «Две тысячи слов» был первым знаменитым манифестом весны 1968 года, призывавшим к радикальной демократизации

коммунистического режима. Его подписала масса интеллектуалов, затем приходили и подписывали простые люди; в конце концов подписей оказалось такое множество, что впоследствии их так и не смогли подсчитать. Когда в Чехию вторглась советская армия и начались политические чистки, один из вопросов, задаваемых гражданам, был: «Ты тоже подписал две тысячи слов?» Кто признавался в своей подписи, того без разговоров вышвыривали с работы.

— Прекрасный рисунок. Помню его, — сказал Томаш.

— Надеюсь, этот красноармеец не слушает, о чем мы говорим, — с улыбкой сказал редактор.

А потом добавил уже серьезным тоном: — Для полной ясности, пан доктор. Это не моя квартира. Это квартира приятеля. Стало быть, нет полной уверенности, что полиция подслушивает нас в эту минуту. Это можно лишь предполагать. Пригласи я вас к себе, сомневаться не приходилось бы.

Затем он снова перешел на более легкий тон: — Но я исхожу из того, что нам нечего утаивать. Впрочем, представьте себе, какое везение ждет чешских историков в будущем! Они найдут в полицейских архивах записанную на

магнитофонную пленку жизнь всех чешских интеллектуалов! Знаете, сколько усилий требуется от историка литературы представить себе in conkreto сексуальную жизнь, допустим, Вольтера, или Бальзака, или Толстого? Относительно чешских писателей не будет никаких сомнений. Все записано. Каждый вздох.

Потом он повернулся к воображаемым микрофонам в стене и сказал громче:

— Господа, как обычно в подобных обстоятельствах, я хочу поддержать вас в вашей работе и поблагодарить от своего имени и от имени будущих историков.

Все трое посмеялись немного, а затем редактор стал рассказывать, как был запрещен его еженедельник, что делает рисовальщик, придумавший эту карикатуру, и каково приходится другим чешским художникам, философам, писателям. После русского вторжения все они были выброшены с работы и сделались мойщиками окон, сторожами автостоянок, ночными вахтерами, истопниками общественных зданий и в лучшем случае, не без протекции, таксистами.

Все, что говорил редактор, было достаточно интересно, но Томаш не в силах был сосредоточиться. Он думал о своем сыне. Припомнил, что

вот уже в течение нескольких месяцев встречает его на улице и, видимо, не случайно. Его поразило, что сейчас он видит его в обществе преследуемого редактора. Первая жена Томаша была ортодоксальной коммунисткой, и Томаш полагал, что сын, естественно, находится под ее влиянием. Он ведь ничего не знал о нем. Конечно, он смог бы сейчас прямо спросить сына, каковы его отношения с матерью, но такой вопрос в присутствии чужого человека представлялся ему бестактным.

Наконец редактор перешел к существу дела. Он сказал, что все больше и больше людей попадают за решетку лишь по той причине, что отстаивают собственные взгляды, и в заключение объявил:
— Вот почему мы пришли к выводу, что надо действовать.

— Как же вы собираетесь действовать? — спросил Томаш. Тут вступил в разговор его сын. Томаш впервые услышал, как он говорит. И с удивлением обнаружил, что сын заикается.

— У нас есть сведения, что политзаключенные содержатся в тяжелых условиях. Состояние некоторых из них поистине катастрофическое. Поэтому мы решили обратиться с петицией, которую могли бы подписать самые известные

чешские интеллектуалы, чьи имена еще имеют кой–какой вес.

Впрочем, нет, он не заикался, скорее лишь слегка запинался, что замедляло поток его речи, и потому каждое произнесенное им слово помимо его воли как бы подчеркивалось и удлинялось. Он явно осознавал это, и его щеки, за минуту до этого побледневшие, теперь вновь стали красными.

— Вы хотите получить от меня совет, к кому обратиться в моей области? — спросил Томаш.

— Нет, — засмеялся редактор. — Нам не нужен ваш совет. Нам нужна ваша подпись!

Он снова почувствовал себя польщенным! Он снова обрадовался, что кто–то еще не забыл, что он хирург! И если сопротивлялся, то лишь из скромности: — Помилуйте! То, что меня вышвырнули с работы, еще не Доказательство, что я признанный врач!

— Мы не забыли, что вы написали в наш еженедельник! — улыбнулся Томашу редактор.

С каким–то восторгом, который, возможно, ускользнул от Томаша, сын вздохнул: — Конечно!

Томаш сказал: — Я не уверен, что мое имя на некой петиции может помочь политзаключенным. Не лучше ли было бы взять подписи у тех,

кто до сих пор еще не в опале и сохранил хоть минимальное влияние на предержащие власти?

Редактор засмеялся: — Разумеется, лучше!

Сын Томаша тоже засмеялся; это был смех человека, который уже многое понял на своем веку: — Одно плохо — те никогда ее не подпишут!

Редактор продолжал: — Это вовсе не значит, что мы не ходим к ним за подписью! Мы не так обходительны, чтобы избавить их от неловкости, — смеялся он. — Послушали бы вы их отговорки! Потрясающие!

Сын одобрительно смеялся.

Редактор продолжал: — Естественно, они в один голос твердят, что целиком с нами согласны, только, дескать, желательно все делать иначе: тактичнее, разумнее, деликатнее. Они до дрожи боятся подписать петицию и в то же время не хотят, чтобы мы думали о них плохо, если они не подпишут.

Сын и редактор снова дружно рассмеялись.

Редактор подал Томашу лист бумаги с коротеньким текстом, в котором довольно уважительным тоном была изложена президенту просьба амнистировать политзаключенных.

Томаш пытался быстро сообразить: амнистировать политзаключенных? Но будут ли они

амнистированы лишь на том основании, что люди, отвергнутые режимом (стало быть, новые потенциальные политзаключенные), просят об этом президента? Такая петиция скорее приведет к тому, что политзаключенные амнистированы не будут, даже если их сейчас и захотели бы вдруг амнистировать!

Его раздумья оборвал сын: — Речь идет главным образом о том, чтобы дать понять, что в этой стране есть еще горстка людей, которые не испытывают страха. И, кроме того, показать, кто по какую сторону баррикады. Отделить плевелы от пшеницы.

Томаш подумал: Что ж, справедливо, однако какое это имеет отношение к политзаключенным? Речь идет или о том, чтобы добиться их амнистирования, или же о том, чтобы отделить плевелы от пшеницы. Это совсем разные вещи.

— Вы колеблетесь, пан доктор? — спросил редактор.

Да. Он колебался. Но боялся об этом сказать. Против него на стене был изображен солдат, который грозил ему пальцем и спрашивал: «Ты еще не решился вступить в Красную Армию?» Или: «Ты еще не подписал две тысячи слов?» Или: «Ты тоже подписал две тысячи слов?» Или: «Ты

не хочешь подписать петицию об амнистии?» Но о чем бы солдат ни спрашивал, он угрожал.

Редактор только что высказал свое мнение о людях, которые, хоть и соглашаются с требованием амнистии для политзаключенных, приводят тысячи доводов против того, чтобы подписать петицию. Однако такие рассуждения, на его взгляд, не более чем отговорки, за которыми скрывается трусость. Что Томашу оставалось сказать?

Он вдруг рассмеялся, оборвав установившуюся тишину, и указал на рисунок на стене: — Этот солдат, угрожая мне, спрашивает, подпишу я или нет. Под его взглядом тяжело думается!

Все трое немного посмеялись.

Затем Томаш сказал: — Хорошо. Подумаю. Мы могли бы увидеться где–нибудь в ближайшие дни?

— Я всегда рад видеть вас, — сказал редактор, — но что касается этой петиции — время не терпит. Мы хотим завтра вручить ее президенту.

— Завтра? — Томаш вдруг вспомнил, как толстяк–полицейский протянул ему бумагу с составленным текстом, содержащим донос как раз на этого высокого редактора с большой бородой. Все принуждают его подписывать тексты, которых он сам не писал.

Сын сказал: — Тут и раздумывать не о чем.

Слова были агрессивны, но тон почти умоляющий. Они сейчас смотрели друг другу в глаза, и Томаш заметил, как сын, сосредоточивая взгляд, чуть приподнимает левый уголок верхней губы. Эту гримасу он знал по собственному лицу, она появлялась, когда он внимательно разглядывал себя в зеркале, проверяя, хорошо ли выбрит. И сейчас он не мог удержаться от какого–то тошнотворного ощущения, увидев эту гримасу на чужом лице.

Когда родители живут с детьми с их младенчества, они привыкают к такой схожести, она представляется им чем–то банальным и, временами подмечая ее, они могут даже забавляться ею. Но Томаш разговаривал со своим сыном впервые в жизни! И сидеть против собственного искривленного рта было ему непривычно!

Представьте себе: вам ампутировали руку и пересадили ее на другого человека. И вот этот человек сидит против вас и жестикулирует этой рукой под самым вашим носом! Вы смотрели бы на эту руку, как на пугало. И хоть это была бы ваша собственная, столь родная вам рука, вас обуял бы ужас при мысли, что она коснется вас!

Сын продолжал: — Ты все–таки на стороне тех,

кого преследуют!

Все это время Томаш думал о том, будет ли сын обращаться к нему на «ты» или на «вы». До сих пор сын строил фразы так, чтобы уйти от этого выбора. Сейчас он наконец решился. Он говорил ему «ты», и Томаш вдруг понял, что в этой сцене речь идет не об амнистии политзаключенных, а о сыне: если он подпишет, их судьбы соединятся, и Томашу придется в большей или меньшей степени сблизиться с ним. Если не подпишет, их отношения по–прежнему останутся на нуле, но на сей раз уже не по его воле, а по воле сына, который отречется от отца из–за его трусости.

Томаш был в ситуации шахматиста, у которого не осталось ни одного хода, каким он мог бы избежать поражения, и он вынужден признать себя побежденным. Подпишет он петицию или нет — какая разница. Это ничего не изменит ни в его судьбе, ни в судьбе политзаключенных.

— Дайте–ка сюда, — сказал он и взял бумагу.

14

Словно желая отблагодарить его за такое решение, редактор сказал:

— Об Эдипе вы написали превосходно.

Сын подал ему авторучку и добавил:

— Некоторые мысли имели силу разорвавшей-

ся бомбы.

Похвала, высказанная редактором, его порадовала, но метафора, которую использовал сын, показалась ему преувеличенной и неуместной. Он сказал:

— К сожалению, эта бомба угодила только в меня. Из–за этой статьи я не могу оперировать своих больных.

Это прозвучало холодно и почти враждебно.

Стремясь, видимо, приглушить этот небольшой диссонанс, редактор сказал (и это похоже было на извинение): — Но ваша статья помогла многим людям!

Уже с детства под словами «помогать людям» Томаш представлял себе лишь единственную форму деятельности: врачевание. Но может ли какая–то статья помочь людям? В чем эти двое хотят его убедить? Они свели всю его жизнь к одной маленькой мысли об Эдипе, да, собственно, к чему–то еще более малому: к одному примитивному «нет!», которое он бросил в лицо режима.

Он сказал (и голос его звучал столь же холодно, хотя он и не осознавал этого): — Я не знаю, действительно ли моя статья помогла кому–то. Но как хирург я спас нескольким людям жизнь.

Снова наступила минутная тишина. Ее нару-

шил сын: — Мысли тоже могут спасти людям жизнь.

Глядя на свои собственные губы на лице сына, Томашу подумалось: до чего же странно видеть, как твои губы заикаются.

— Одна вещь в твоей статье была замечательной, — продолжал сын, и было заметно, с каким усилием он говорит. — Твоя бескомпромиссность. Ясное ощущение, что такое добро и что такое зло. Мы перестаем различать это. Нам уже неведомо, что значит чувствовать себя виноватым. Коммунисты отговариваются тем, что их обманул Сталин. Убийца оправдывается тем, что его не любила мать и что он подвержен фрустрации. А ты вдруг взял и сказал: не существует никакого оправдания. Никто не был в глубине души своей более невинен, чем Эдип. И все–таки он сам себя наказал, когда увидел, что совершил.

Томаш с трудом оторвал взгляд от своего рта на сыновьем лице и попытался смотреть на редактора. Он был раздражен и горел желанием поспорить с ними. Он сказал: — Видите ли, все это недоразумение. Границы между добром и злом невероятно стерты. Наказывать кого–то, кто не ведал, что творил, не что иное, как варварство. Миф об Эдипе прекрасен. Но трактовать его так…

— Он хотел еще что–то сказать, но вдруг подумал, что комната, возможно, прослушивается. Его ничуть не тревожила честолюбивая мечта быть цитируемым историками будущих веков. Он лишь опасался, что его может цитировать полиция. Разве не требовала она от него именно отречения от собственной статьи? Тягостно было даже подумать, что полиция могла это услышать теперь из его уст. Он знал: все, что человек в этой стране говорит, рано или поздно может быть передано по радио. Он умолк.

— Что вас заставило так изменить свои взгляды? — спросил редактор.

— Я скорее задаюсь вопросом, что заставило меня написать эту статью… — сказал Томаш и тотчас вспомнил: она приплыла к его постели, точно дитя, пущенное в корзинке по волнам. Да, поэтому он и брал в руки эту книгу: он возвращался к легендам о Ромуле, о Моисее, об Эдипе. И вот она уже снова с ним. Он видел се перед собой, прижимающей к своей груди завернутую в красную косынку ворону. Этот образ принес ему утешение. Он словно явился сказать, что Тереза жива, что сейчас она в том же городе, что и он, и что все остальное не имеет никакого значения.

Редактор нарушил молчание. — Я понимаю вас,

пан доктор. Мне также чужда идея наказания. Однако мы не требуем наказания, — улыбнулся он, — мы требуем отмены наказания.

— Я знаю, — сказал Томаш. Он уже смирился с тем, что в ближайшие минуты он сделает нечто, что, быть может, благородно, но наверняка абсолютно бессмысленно (поскольку политзаключенным это не поможет), а лично ему неприятно (поскольку все это происходит в навязанной ему обстановке).

Сын добавил (почти просительно): — Твоя обязанность подписать это!

Обязанность? Сын будет напоминать ему о его обязанности? Это было самым худшим словом, какое кто–либо мог ему сказать! Снова перед глазами возник образ Терезы, держащей в объятиях ворону. Он вспомнил, что вчера в баре приставал к ней шпик. Снова у нее трясутся руки. Она постарела. Кроме нее, для него ничего не имеет значения. Она, рожденная шестью случайностями, она, цветок, распустившийся из ишиаса главврача, она по другую сторону всех «Es muss sein!», она — то единственное, что ему дорого.

Почему он еще раздумывает, должен ли он или не должен подписывать? Существует лишь единый критерий всех его решений: он не должен

делать ничего из того, что могло бы ей навредить. Томаш не может спасти политзаключенных, но может сделать Терезу счастливой. И даже это ему не удается. Но подпиши он петицию, почти наверняка к ней еще чаще будут наведываться шпики и еще сильнее будут трястись у нее руки.

Он сказал:

— Гораздо важнее вырыть из земли закопанную ворону, чем посылать петицию президенту.

Он знал, что фраза невразумительна, но тем больше она ему нравилась. Он переживал минуты какого–то внезапного и неожиданного опьянения.

Это было такое же черное опьянение, какое он испытывал, когда однажды торжественно сообщил своей жене, что не хочет больше видеть ни ее, ни своего сына. Это было такое же черное опьянение, какое он испытывал, когда опускал в ящик письмо, в котором навсегда отрекался от профессии врача. Он вовсе не был уверен, что поступает правильно, но был уверен, что поступает так, как хочет поступать.

Он сказал:

— Не сердитесь. Я не подпишу.

15

Несколькими днями позже он уже смог прочи-

тать о петиции во всех газетах.

Нигде, конечно, не упоминалось о том, что это было вежливое прошение, ходатайствующее об освобождении политзаключенных. Ни одна газета не процитировала ни единой фразы из этого короткого текста. Напротив, пространно, неясно и угрожающе говорилось о каком–то антигосударственном воззвании, которое должно было стать основой для новой борьбы против социализма. Перечислялись те, кто подписал текст, и их имена сопровождались клеветой и нападками, от которых у Томаша мороз подирал по коже.

Несомненно, это было можно предвидеть. В то время любое общественное выступление (собрание, петиция, митинг на улице), не организованное коммунистической партией, автоматически считалось противозаконным, и над теми, кто принимал в нем участие, нависала угроза. Это знали все. Но, пожалуй, тем больше он досадовал на себя, что не подписал петиции. Почему, собственно, он не подписал ее? Теперь он даже не может отчетливо вспомнить, чем было вызвано его решение.

И вновь я вижу его в той же позе, в какой он предстал передо мной в самом начале романа. Он стоит у окна и смотрит поверх двора на стены

супротивных домов.

Это образ, из которого он родился. Как я уже сказал, герои рождаются не как живые люди из тела матери, а из одной ситуации, фразы, метафоры; в них, словно в ореховой скорлупе, заключена некая основная человеческая возможность, которую, как полагает автор, никто еще не открыл или о которой никто ничего существенного не сказал.

Но разве не правда, что автору не дано говорить ни о чем ином, кроме как о самом себе?

Смотреть беспомощно поверх двора и не знать, что делать; слышать настойчивое урчание собственного живота в минуту любовного возбуждения; предавать и не уметь остановиться на прекрасном пути предательств; поднимать кулак в толпе Великого Похода; щеголять своим остроумием перед тайными микрофонами полиции — все эти ситуации я познал и пережил сам, и все–таки ни из одной из них не вырос персонаж, которым являюсь я сам со своим curriculum vitae [3] . Герои моего романа — мои собственные возможности, которым не дано было осуществиться. Поэтому я всех их в равной мере люблю и все

---

[3] Примечания: 3
Путем жизни (лат.)

они в равной мере меня ужасают; каждый из них преступил границу, которую я сам лишь обходил. Именно эта преступаемая граница (граница, за которой кончается мое «я») меня и притягивает. Только за ней начинается таинство, о котором вопрошает роман. Роман — не вероисповедание автора, а исследование того, что есть человеческая жизнь в западне, в которую претворился мир. Но довольно. Вернемся к Томашу.

Он один в квартире и смотрит поверх двора на грязную стену супротивного дома. Он тоскует по тому высокому мужчине с большой бородой и по его друзьям, которых он не знал и к которым не принадлежал. У него такое ощущение, будто он встретил на перроне красивую незнакомку, но прежде чем он успевает окликнуть ее, она садится в спальный вагон поезда, уходящего в Стамбул или Лиссабон.

Затем он попытался снова обдумать, как было бы правильнее поступить. И хотя он старался устранить все, что относилось к области чувств (восхищение, какое он испытывал перед редактором, и раздражение, какое в нем вызывал сын), он по–прежнему не был уверен, должен ли был подписать текст, который ему предложили.

Правильно ли поднять свой голос в защиту

того, кому затыкают рот? Несомненно.

Но с другой стороны: Почему газеты отвели столько места этой петиции? Печать (тотально манипулируемая государством) вполне могла все это дело с петицией замолчать, и никто бы о ней не узнал. Если же она о ней говорит, стало быть, правителям страны она пришлась весьма кстати! Она свалилась на них, точно манна небесная, и теперь они смогут развязать и оправдать новую мощную волну репрессий.

Как же в таком случае правильнее было поступить? Подписывать или не подписывать?

Возможна и иная формулировка вопроса: Лучше ли кричать и тем ускорить свой конец? Или молчать и тем оплатить более медленное умирание?

Существует ли вообще ответ на эти вопросы?

И вновь приходит к нему мысль, которая нам уже известна: Человеческая жизнь свершается лишь однажды, и потому мы никогда не сможем определить, какое из наших решений было правильным, а какое — ложным. В данной ситуации мы могли решить только один–единственный раз, и нам не дано никакой второй, третьей, четвертой жизни, чтобы иметь возможность сопоставить различные решения.

В этом смысле история подобна индивидуальной жизни. История чехов лишь одна. В один прекрасный день она кончится так же, как и Томашева жизнь, и ее уже нельзя будет повторить во второй раз.

В 1618 году чешские сословия, собравшись с духом и решив защищать свои религиозные свободы, обрушили свой гнев на императора, сидевшего на троне в Вене, и выкинули из окна Пражского града двух высоких чиновников. Так началась Тридцатилетняя война, которая привела почти к полному уничтожению чешского народа. Должны ли были тогда чехи проявить больше осторожности, чем смелости? Ответ кажется простым, однако его нет.

Триста двадцать лет спустя, в 1938 году, после мюнхенской конференции, весь мир решил принести их страну в жертву Гитлеру. Должны ли были они попытаться бороться в одиночку против восьмикратно превосходящих их сил противника? В отличие от 1618 года чехи тогда проявили больше осторожности, чем смелости. С их капитуляции началась вторая мировая война, которая привела к окончательной потере свободы их народа на много десятилетий, а то и столетий. Должны ли были они проявить тогда

больше смелости, чем осторожности? Что они должны были делать?

Если бы история чехов могла повторяться, несомненно, было бы полезно всякий раз испробовать ту, иную, возможность, а потом сравнить оба результата. Без такого опыта все рассуждения суть лишь игра гипотез.

Einmal ist keinmal. Единожды — все равно что никогда. История чехов во второй раз уже не повторится, равно как и история Европы. История чехов и Европы является двумя набросками, которые нарисовала роковая неискушенность человечества. История столь же легка, как и отдельная человеческая жизнь, невыносимо легка, легка, как пух, как вздымающаяся пыль, как то, чего завтра уже и в помине не будет.

С какой–то ностальгией, даже чуть ли не с любовью Томаш еще раз вспомнил высокого сутуловатого редактора. Этот человек поступал так, будто история была не наброском, а уже готовой картиной. Он поступал так, словно все, что происходит, должно повторяться в вечном возвращении бессчетное число раз, и был уверен, что в своих поступках никогда не узнает сомнений. Он был убежден в своей правоте и считал это знаком отнюдь не ограниченности, а добро-

детели. Этот человек жил в иной истории, чем Томаш: в истории, которая не была (или которая не знала того, что была) всего лишь наброском.

16

Несколькими днями позже ему пришла в голову мысль, которую я привожу здесь в дополнение к предыдущей главе: во вселенной существует планета, где все люди рождаются во второй раз. При этом они полностью осознают свою жизнь, проведенную на Земле, и весь приобретенный там опыт.

И существует, возможно, еще одна планета, где все мы рождаемся на свет в третий раз уже с опытом двух предыдущих жизней.

И, быть может, существуют еще и еще другие планеты, где человечество всегда рождается на одну ступень (на одну жизнь) более зрелым.

Это Томашева версия вечного возвращения.

Здесь на Земле (на планете номер один, на планете неискушенности) мы можем, конечно, лишь весьма туманно домыслить, что стало бы с человеком на последующих планетах. Мудрее ли был бы человек? Под силу ли ему зрелость вообще? Может ли человек достичь ее повторением?

Лишь в перспективе этой утопии можно было бы с полным обоснованием пользоваться поняти-

ями «пессимизм» и «оптимизм»: оптимист — тот, кто полагает, что на планете номер пять история человечества будет менее кровавой. Пессимист — тот, кто так не думает.

17

Знаменитый роман Жюля Верна, который Томаш любил еще в детстве, назывался «Два года каникул», и действительно, два года — максимальный срок для каникул. Мойщиком окон Томаш был уже третий год.

Как раз в эти дни он осознал (отчасти грустя, отчасти тихо смеясь над собой), что он устал физически (каждый день у него был один, а то и два любовных турнира), что, даже не теряя вкуса к женщинам, он овладевает ими в напряжении последних сил. (Добавлю: не сексуальных, а именно физических сил; трудности возникали у него не с половым членом, а с дыханием, и в этом было что–то комическое.)

Как–то раз он пытался организовать на после обеда свидание, но не сумел дозвониться ни к одной женщине, и день грозил остаться пустым. Раз десять, например, он названивал одной девушке, на редкость очаровательной студентке театральной школы, чье тело с такой равномерностью загорело где–то на нудистских пляжах Югосла-

вии, что казалось, ее там медленно вращал на вертеле необычайно точный механизм.

Он безуспешно звонил ей из всех магазинов, в которых мыл окна, но когда, закончив к четырем работу, возвращался в контору отдать подписанные заказы, его вдруг на улице в центре Праги остановила незнакомая женщина. Улыбаясь, она сказала: «Пан доктор, куда вы пропали? Я совсем потеряла вас из виду!»

Томаш стал усиленно вспоминать, откуда он знает эту женщину. Может, бывшая пациентка? Она вела себя так, словно они были задушевными друзьями. И он старался так строить свои ответы, чтобы она не заметила его забывчивости. Он стал уж было подумывать о том, как затащить ее в квартиру приятеля, ключ от которой был у него в кармане, как вдруг по ее случайному замечанию понял, что именно ей, этой чудесно загорелой начинающей актрисе, он сегодня столь упорно названивал.

Этот эпизод позабавил его, но и напугал: да, он изнурен не только физически, но и психически; два года каникул не могут продолжаться до бесконечности.

18

Каникулы без операционного стола были од-

новременно и каникулами без Терезы: шесть дней в неделю они лишь мельком виделись и только по воскресеньям бывали вместе. И хотя оба они страстно желали друг друга, каждому из них приходилось проделывать долгий путь к сближению — не меньший, чем в тот вечер, когда он вернулся к ней из Цюриха. Любовный акт приносил им наслаждение, но вовсе не утешение. Она уже больше не кричала, и в минуты оргазма ее лицо, казалось, выражает боль и странную отрешенность. Лишь каждую ночь во сне они бывали связаны узами нежности. Они держались за руки, и она забывала о пропасти (пропасть дневного света), которая их разделяла. Но этих ночей было недостаточно, чтобы он смог защитить ее и позаботиться о ней. Когда он утром видел ее, у него от страха сжималось сердце: она выглядела плохо, нездорово.

Однажды в воскресенье она попросила его поехать на машине куда–нибудь под Прагу. Они доехали до курортного городка, улицы которого были переименованы на русский лад, и встретили бывшего пациента Томаша. Эта встреча огорчила его. Вдруг снова кто–то заговорил с ним как с врачом, и он почувствовал, как издалека возвращается к нему его прошлая жизнь со своей

приятной размеренностью: обследования больных, их полные доверия взгляды, которые, хотя он как бы старался не замечать, в действительности радовали его и которых теперь так ему недоставало.

Потом они ехали на машине домой, и Томаш думал о том, что их возвращение из Цюриха в Прагу было роковой ошибкой. Он судорожно впивался глазами в дорогу, стараясь не смотреть на Терезу. Он был полон злобы к ней. Ее присутствие рядом с ним представлялось ему во всей своей невыносимой случайности. Почему она здесь возле него? Кто положил ее в корзинку и пустил по воде? И почему пустил именно на берег его постели? И почему именно ее, а не какую–то другую женщину?

На протяжении всей дороги ни один из них не обронил ни слова.

Вернувшись домой, они молча поужинали.

Молчание лежало между ними как страдание. С каждой минутой оно становилось все тягостнее. Чтобы избавиться от него, они быстро пошли спать. Но среди ночи он разбудил ее: она плакала.

— Меня похоронили, — рассказывала она ему. — Меня уже давно похоронили. Ты ходил ко

мне каждую неделю. Ты всегда стучал в могилу, и я выходила оттуда. Глаза у меня были полны земли.

Ты говорил: «Ты же так ничего не видишь» — и вынимал из глаз землю.

А я тебе говорила: «Я все равно не вижу. У меня ведь вместо глаз дыры».

А потом однажды ты уехал надолго, и я знала, что ты с какой–то чужой женщиной. Проходили недели, а ты не появлялся. Я боялась тебя пропустить и поэтому совсем не спала. Наконец ты снова постучал в могилу, но я была так обессилена целым месяцем бессонных ночей, что долго не могла к тебе выйти. Когда наконец мне это удалось, я увидела, что ты разочарован. Ты сказал, что я плохо выгляжу. Я чувствовала, что я страшно не нравлюсь тебе: у меня впалые щеки и резкие движения.

Я извинялась перед тобой: «Не сердись, я ведь не спала все это время».

И ты сказал притворным, успокоительным голосом: «Вот видишь. Тебе надо отдохнуть. Хорошо бы тебе взять на месяц отпуск».

А я прекрасно понимала, что ты имеешь в виду под этим отпуском. Я знала, что целый месяц ты не захочешь меня видеть, поскольку будешь с

какой–то другой женщиной. Ты ушел, а я спустилась вниз в могилу, зная точно, что снова не буду целый месяц спать, боясь пропустить тебя, и что когда ты придешь спустя месяц, я стану еще безобразнее, чем сегодня, и ты еще больше во мне разочаруешься.

Он никогда не слышал ничего более мучительного, чем этот рассказ.

Он сжимал Терезу в своих объятиях и, чувствуя, как она дрожит всем телом, думал о том, что ему не под силу вынести свою любовь.

Пусть земной шар содрогался бы от взрывов бомб, пусть его родину что ни день разоряли бы другие орды, а всех жителей с соседней улицы волокли бы на казнь — все это легче было бы ему вынести, чем решиться на признание. Печаль же, скрытая в одном Терезином сне, была для него непереносима.

Он старался погрузиться в глубины сна, о котором она ему рассказала. Он представлял себе, как он гладит ее по лицу и незаметно для нее выбирает землю из глазных впадин. Потом он слышал, как она говорит ему эти невообразимо мучительные слова: «Я все равно не вижу. Вместо глаз у меня дыры».

Сердце сжималось у него так, что казалось,

вот–вот разорвется. Тереза снова спала, но он не мог уснуть. Он представлял себе ее смерть. Она мертва, и снятся ей ужасные сны; но поскольку она мертва, он не может ее разбудить. Да, это смерть: Тереза спит, снятся ей ужасные сны, и он не может ее разбудить.

19

За те пять лет, что прошли со времени вторжения русской армии на родину Томаша, Прага неузнаваемо изменилась: он встречал на улицах других людей, чем когда–то. Половина его знакомых эмигрировала, а из той половины, что осталась, еще половина умерла. Этот факт не будет зафиксирован ни одним историком: годы после русского вторжения были периодом похорон; частота смертей была несравнимо выше, чем когда–либо прежде. Я не говорю лишь о случаях (скорее редких), когда люди были затравлены до смерти, подобно писателю Яну Прохазке. Спустя две недели после того как радио стало ежедневно передавать его частные разговоры, он слег в больницу. Раковая опухоль, которая, вероятно, еще раньше дремала в его теле, внезапно расцвела, как роза. Оперировали его в присутствии полиции; но узнав, что романист приговорен к смерти, она тотчас потеряла к нему интерес

и оставила его умирать на руках жены. Однако умирали и те, кого никто не преследовал открыто. Безнадежность, что овладела страной, проникала через души к телам и сокрушала их. Некоторые в отчаянии спасались от благосклонности режима, пытавшегося одарить их почестями и тем самым принудить встать на сторону новых правителей. Так, спасаясь от любви партии, умер поэт Франтишек Грубин. Министр культуры, от которого он отчаянно скрывался, настиг его уже лежавшим в гробу. Он произнес над поэтом речь о его любви к Советскому Союзу. Возможно, этой нелепостью он хотел воскресить Грубина. Но мир был столь омерзителен, что никому не хотелось вставать из мертвых.

Томаш пошел в крематорий, чтобы присутствовать на похоронах известного биолога, изгнанного из университета и Академии наук. На извещении о смерти не был указан даже час погребения, ибо власти боялись, что сей обряд может вылиться в демонстрацию; лишь в последнюю минуту близкие узнали, что он будет кремирован в полседьмого утра.

Войдя в зал крематория, Томаш не сразу осознал, что происходит: зал был освещен, словно съемочная площадка. Он огляделся и обнаружил,

что в трех местах размещены камеры. Нет, это было не телевидение, это была полиция, которая снимала похороны, чтобы доподлинно знать всех участников. Старый коллега мертвого ученого, все еще член Академии наук, имел смелость говорить у гроба. Он и не предполагал, что с этого дня станет киноактером.

Когда обряд кончился и все уже успели выразить соболезнование семье покойного, Томаш увидел в уголке зала группку людей, а среди них — высокого сутуловатого редактора. Он снова остро почувствовал, как его тянет к этим людям, которые ничего не боятся и, несомненно, связаны между собою большой дружбой. Он направился к редактору, улыбнулся, хотел поздороваться, но тот сказал: — Осторожно, пан доктор, вам лучше не подходить.

Фраза была непростой. Томаш мог истолковать ее как искреннее дружеское предупреждение («Будьте осторожны, нас фотографируют, если заговорите с нами, возможно, одним допросом у вас будет больше») или же она могла быть сказана с иронией («Если вам не хватило смелости подписать петицию, будьте последовательны и не общайтесь с нами!»). Но какое бы из этих значений не было истинным, Томаш послушался и

удалился. У него было ощущение, будто он видит красивую женщину, входящую в спальный вагон экспресса дальнего следования, и в минуту, когда он собирается выразить ей свое восхищение, она подносит палец к губам и не позволяет ему говорить.

20

В тот же день, после обеда, у него произошла еще одна занятная встреча. Он мыл витрину большого обувного магазина, когда рядом с ним остановился молодой человек. Наклонившись к витрине, тот стал разглядывать ценники.

— Подорожало, — сказал Томаш, не переставая собирать своим инструментом струи воды, стекавшие по стеклу.

Молодой человек обернулся. Им оказался коллега Томаша по клинике, которого я обозначил буквой С., тот самый, что когда–то с насмешкой негодовал из–за того, что Томаш якобы написал покаянное заявление. Томаш обрадовался встрече (той простой наивной радостью, которую приносят нам события неожиданные), но уловил во взгляде коллеги (еще до того, как С. успел овладеть собой) неприятное изумление.

— Как поживаешь? — спросил С.

Прежде чем Томаш сумел ответить, он заметил,

что С. устыдился своего вопроса. В самом деле, не глупо ли врачу, продолжающему практиковать, спрашивать «Как поживаешь?» врача, моющего витрины.

Чтобы избавить его от смущения, Томаш ответил как можно веселее:

— «Превосходно!», но тотчас почувствовал, что это «превосходно» против его воли (и как раз потому, что он старался произнести это весело) прозвучало с горькой иронией.

И он поспешил добавить: — Что нового в клинике?

С. ответил: — Ничего. Все нормально.

И этот ответ, при всей его нейтральности, был совершенно неуместным, и оба это знали, как знали и то, что оба это знают: как это «все нормально», когда один из них моет витрины?

— А главный врач? — спросил Томаш.

— Ты с ним не видишься? — спросил С.

— Нет, — сказал Томаш.

Это была правда: с тех пор как Томаш покинул клинику, он ни разу не виделся с главным врачом, несмотря на то что когда–то они тесно сотрудничали и даже склонны были считать себя друзьями. И как бы Томаш ни старался произнести свое «нет», оно заключало в себе нечто

печальное, и он почувствовал, что С. сердится, что задал ему этот вопрос, ибо сам С., подобно главному врачу, ни разу не поинтересовался, как Томаш живет и не нуждается ли в чем.

Разговор между двумя бывшими коллегами явно не клеился, хотя оба и сожалели об этом, а Томаш — в особенности. Он не таил обиды на своих коллег за то, что они забыли о нем. И сейчас охотно объяснил бы это молодому человеку. Если бы он мог сказать ему:

«Не смущайся! Все в полном порядке, и вполне нормально, что наши пути разошлись! Не переживай зря! Я рад тебя видеть!», но он и это боялся сказать, ибо все, что говорил до сих пор, звучало иначе, чем хотелось ему. и даже в этой искренней фразе коллега мог бы заподозрить агрессивную иронию.

— Не сердись, — сказал наконец С., — ужасно спешу, — и он протянул Томашу руку. — Позвоню тебе.

В ту пору когда коллеги смотрели на него свысока за его предполагаемую трусость, все улыбались ему. Сейчас, когда они уже не могут презирать его, когда вынуждены даже уважать его, они избегают встречи с ним.

Впрочем, и бывшие пациенты уже больше не

приглашали к себе Томаша и не угощали его шампанским. Положение деклассированных интеллектуалов перестало быть исключительным; оно стало чем–то постоянным и неприятным на взгляд.

21

Он пришел домой, лег и уснул раньше обычного. Но примерно час спустя проснулся от боли в желудке. Это был его старый недуг, который всегда давал о себе знать в минуты депрессии. Он отворил аптечку и чертыхнулся. Никаких лекарств там не было. Он напрочь забыл запастись ими. Он попытался подавить приступ волевым усилием, и ему даже удалось это, однако снова уснуть уже не мог. Когда Тереза в половине второго ночи вернулась домой, ему захотелось потолковать с ней. Он стал рассказывать о похоронах и о том, как редактор отказался говорить с ним; рассказал и о встрече с коллегой С.

— Прага стала омерзительна, — сказала Тереза.

— Да, стала, — сказал Томаш.

Чуть погодя Тереза тихо сказала:

— Самое лучшее было бы уехать отсюда.

— Наверное, — сказал Томаш, — но некуда ехать. Он сидел на кровати в пижаме, она подсела к нему и обняла сбоку за плечи.

Она сказала:

— В деревню.

— В деревню? — удивился он.

— Там мы были бы одни. Там ты не встречался бы ни с редактором, ни со своими бывшими коллегами. Там другие люди и там природа, которая осталась такой же, какой была всегда.

Томаш снова почувствовал слабые боли в желудке; он вдруг ощутил себя старым, и ему стало казаться, что он уже ни о чем не мечтает, кроме покоя и тишины.

— Может, ты и права, — сказал он с трудом; боли не давали ему свободно дышать.

Тереза продолжала:

— У нас был бы там домик и маленький сад. По крайней мере, Каренину было бы где вволю побегать.

— Пожалуй, — сказал Томаш.

Он представил себе, что будет, если они и впрямь уедут из Праги. В деревне трудно будет каждую неделю находить другую женщину. И его эротическим авантюрам там наверняка придет конец.

— В деревне, правда, ты скучал бы со мной, — сказала Тереза, словно читая его мысли.

Боли снова усилились. Он не мог говорить. Ему

подумалось, что его погоня за женщинами тоже своего рода «Es muss sein!», императив, который порабощал его. Он мечтал о каникулах. Но о каникулах полноценных, то есть об отдыхе от всех императивов, от всех «Es muss sein!». Если он смог отдохнуть (и навсегда) от операционного стола больницы, почему бы ему не отдохнуть от того операционного стола мира, на котором он открывал воображаемым скальпелем шкатулку, где женщины скрывали иллюзорную миллионную долю своей непохожести?

— У тебя желудок болит! — только сейчас догадалась Тереза. Он подтвердил.

— Ты сделал укол?

Он покачал головой:

— Забыл достать лекарства.

Она сердилась на него за невнимание к себе и гладила его по лбу, слегка увлажненному от боли.

— Сейчас немного легче, — сказал он.

— Ложись, — сказала она и прикрыла его одеялом. Потом ушла в ванную, а спустя немного легла рядом с ним.

Он повернул к ней на подушке голову и ужаснулся: печаль, которую излучали ее глаза, была непереносима.

Он сказал:

— Тереза, скажи мне. Что с тобой? В последнее время с тобой что–то происходит. Я это чувствую. Я знаю.

Она покачала головой: — Нет, со мной ничего.

— Не отпирайся!

— Все то же самое, — сказала она.

«Все то же самое» означало ее ревность и его измены.

Томаш продолжал упорствовать:

— Нет, Тереза. На этот раз что–то другое. Так плохо тебе еще никогда не было.

Тереза сказала:

— Ну, хорошо, скажу. Ступай вымой волосы.

Он не понял ее.

Она сказала грустно, без всякой враждебности, почти нежно:

— Твои волосы уже несколько месяцев невозможно пахнут. Пахнут срамным местом какой–то женщины. Я не хотела говорить тебе об этом. Но уже много ночей я дышу срамом твоей любовницы.

Как только она сказала это, у него тут же снова заболел желудок. Он пришел в отчаяние. Он же так тщательно моется! Он без конца трет себя губкой, все тело, руки, лицо, чтобы нигде не

оставалось и следа чужого запаха. Он избегает пахучего мыла в чужих ванных, повсюду носит только свое, простое. А вот о волосах забыл! Нет, ему даже в голову не пришло подумать о волосах!

И он вспомнил женщину, которая садится ему на лицо и хочет, чтобы он любил ее лицом и теменем. Сейчас он ненавидел ее! Что за идиотские выдумки! Он видел, что отрицать что–либо бесполезно и что ему остается лишь, глупо улыбаясь, отправиться в ванную и вымыть голову.

Она снова погладила его по лбу:

— Лежи. Это уже не имеет значения. Я привыкла.

У него болел желудок, и он мечтал о покое и тишине.

Он сказал:

— Я напишу больному, которого мы встретили на курорте. Ты знаешь тот край, где его деревня?

— Нет, не знаю, — сказала Тереза.

Томашу трудно было говорить. Его хватило лишь произнести: — Лес… холмы…

— Хорошо, так и сделаем. Уедем отсюда. Но теперь помолчи, — и она продолжала гладить его по лбу. Они лежали друг возле друга и уже ни о чем не говорили. Боль постепенно отпускала его.

Скоро оба уснули.

22

Посреди ночи он проснулся и с удивлением вспомнил, что снились ему одни эротические сны. Ясно помнил он только последний: в бассейне на спине плавала огромная голая женщина, по крайней мере раз в пять больше его самого, и ее живот был сплошь — от межножья до пупка — покрыт густыми волосами. Он смотрел на нее с настила бассейна и испытывал сильнейшее возбуждение.

Однако мог ли он испытывать возбуждение, в то время как боли в желудке столь изнурили его тело? И мог ли он возбудиться от вида женщины, которая наяву наверняка вызвала бы в нем лишь отвращение?

Он подумал: В часовом механизме головы друг против друга вращаются два зубчатых колесика. На одном из них видения, на другом — реакция тела. Зубец, на котором изображено видение нагой женщины, касается противоположного зуба, на который нанесен императив эрекции. Если по какому–то недоразумению колесики сдвинутся и колесико возбуждения войдет в контакт с зубцом, на котором нарисован образ летящей ласточки, наш половой член станет вытягиваться при виде

ласточки.

Кстати сказать, Томаш знаком был с работой одного своего коллеги, изучавшего человеческий сон, в которой утверждалось, что у мужчины при любом сне наступает эрекция. Это значит, что соединение эрекции и голой женщины есть один из тысячи способов, каким Создатель мог завести часовой механизм в голове мужчины.

Но что общего со всем этим имеет любовь? Ничего. Если каким–то образом сдвинется колесико в голове Томаша и он возбудится от одного вида ласточки, на его любви к Терезе это никак не отразится.

Если возбуждение — механизм, которым забавлялся наш Создатель, то любовь, напротив, принадлежит только нам, с ее помощью мы ускользаем от Создателя. Любовь — это наша свобода. Любовь лежит по ту сторону «Es muss sein!».

Но даже это не полная правда. Хотя любовь есть нечто иное, чем часовой механизм секса, которым забавлялся Создатель, она все же связана с этим механизмом. Она связана с ним так же, как и нежная нагая женщина с маятником огромных часов.

Томаш думает: Связать любовь с сексом — это

была одна из самых причудливых идей Создателя.

А потом он подумал еще вот о чем: Единственный способ, каким можно было бы защитить любовь от нелепости секса, — это завести часы в нашей голове по–другому и возбуждаться при виде ласточки.

С этой сладостной мыслью он засыпал. И на пороге полного забытья в этой волшебной стране сумбурных представлений он вдруг обрел уверенность, что неожиданно нашел решение всех загадок, ключ к тайне, новую утопию, рай: мир, где человек возбуждается при виде ласточки и где он, Томаш, может любить Терезу, не терзаясь агрессивной нелепостью секса.

Он уснул.

23

Там было несколько полуголых женщин, они вились вокруг него, но он чувствовал себя усталым. Чтобы спастись от них, он открыл дверь в соседнюю комнату. На диване, прямо перед собой, он увидел девушку. Она тоже была полуголая, в одних трусиках. Она лежала на боку, опершись о локоть, и смотрела на него с улыбкой, будто знала, что он придет.

Он приблизился к ней, переполненный ощуще-

нием бесконечного счастья, что наконец нашел ее и что может быть с нею. Он сел рядом и стал что–то говорить ей, а она что–то говорила ему. Она излучала спокойствие. Жесты ее руки были медленными и плавными. Он всю жизнь мечтал об этих покойных движениях. Именно этого женского покоя ему недоставало всю жизнь.

Однако в эту минуту началось скольжение из сна в явь. Он очутился в той no man's land , ничейной земле, где человек уже не спит и еще не бодрствует. Ужасаясь, что девушка исчезает из виду, он говорил себе: Господи, я не имею права ее потерять! Он отчаянно пытался припомнить, кто эта девушка, где он, собственно, встретил ее, что пережил с ней. Возможно ли, что он забыл это, когда так хорошо знает ее? Он обещал себе рано утром ей позвонить. Но как только подумал об этом, испугался, поняв, что позвонить ей не сможет, потому что забыл ее имя. Но как он мог забыть имя той, которую так хорошо знает? Потом он уже почти совсем проснулся, открыл глаза и спрашивал себя: где я? да, я в Праге, но эта девушка, из Праги ли она вообще? не встречал ли я ее где–то еще? не из Швейцарии ли она? Прошла еще минута, прежде чем он осознал, что не знает этой девушки, что она не из Швейцарии, не из

Праги, это девушка из сна и ниоткуда больше.

Он был этим так удручен, что сел на постели. Тереза глубоко дышала возле него. Он думал о том, что эта девушка из сновидения не похожа ни на одну из женщин, которых он встречал в жизни. Девушка, которая казалась ему ближайшей знакомой , была как раз совсем незнакомой . Но именно по ней он всегда тосковал. Если бы существовал какой–то его собственный Рай, то в этом Раю он должен был бы жить вместе с ней. Эта женщина из сновидения «Es muss sein!» его любви.

Он вспомнил знаменитый миф из Платонова «Мира»: люди сначала были андрогинами, и Бог разделил их на две половинки, которые с тех пор блуждают по свету и ищут друг друга. Любовь — это мечта найти затерянную половину нас самих.

Допустим, что это так; что у каждого из нас где–то на свете есть партнер, который некогда составлял с нами одно тело. И второй половиной Томаша была как раз та девушка, которая снилась ему. Однако человеку не дано найти вторую половину самого себя. Вместо этого Томашу посылают по воде в корзинке Терезу. Но что случится, если когда–нибудь он и вправду

познает женщину, которая была ему суждена, познает вторую половину самого себя? Кому он отдаст предпочтение? Женщине из корзинки или женщине из Платонова мифа?

Он представил себе, что живет в идеальном мире с девушкой из сновидения. Мимо открытых окон их особняка идет Тереза. Она одна, она останавливается на тротуаре и смотрит на него оттуда бесконечно печальным взглядом. И этого взгляда он не выдерживает. Он уже снова ощущает ее боль в своем собственном сердце! Он уже снова во власти сочувствия и погружается на дно ее души. Он выпрыгивает из окна на улицу, но она с печалью велит ему остаться там, где он чувствует себя счастливым; и у нее вес те же резкие, неровные движения, что всегда мешали и не нравились ему. Он хватает эти нервные руки и, чтобы успокоить их, сжимает в своих ладонях. И он знает, что в любую минуту он оставит дом своего счастья, что в любую минуту оставит свой Рай, где живет с девушкой из сновиденья, что предаст «Es muss sein!» своей любви ради того, чтобы уйти с Терезой, женщиной, рожденной из шести смешных случайностей.

Он все еще сидел на кровати и смотрел на женщину, которая лежала рядом и во сне сжимала

его руку. Он испытывал к ней невыразимую любовь. Ее сон, должно быть, в эту минуту был очень хрупким, потому что она открыла глаза и испуганно уставилась на него,

— Куда ты смотришь? — спросила она.

Он знал, что надо не будить ее, а усыпить снова; поэтому он старался ответить так, чтобы его слова сотворили в ее воображении образ нового сна.

— Я смотрю на звезды, — сказал он.

— Не лги, что ты смотришь на звезды. Ты смотришь вниз.

— Потому что мы в самолете. Звезды под нами, — ответил Томаш.

— А–а, в самолете, — сказала Тереза. Она еще крепче сжала Томашеву руку и снова уснула. Томаш знал, что сейчас Тереза смотрит вниз в круглое окошечко самолета, который летит высоко над звездами.

Часть шестая. ВЕЛИКИЙ ПОХОД

1

Лишь в 1980 году мы смогли прочесть в «Санди тайме», как умер сын Сталина, Яков. Взятый в плен во время второй мировой войны, он был помещен в немецкий лагерь вместе с английскими офицерами. У них был общий сортир. Сын Сталина обычно оставлял его после себя загаженным. Англичанам не по нутру было видеть сортир, измазанный говном, хотя это и было говно сына самого могущественного тогда человека в мире. Они попрекнули его. Он оскорбился. Они продолжали попрекать его и принуждали чистить сортир. Яков возмутился, рассорился с ними, затеял драку. В конце концов попросил у начальника лагеря выслушать его. Хотел, чтобы тот рассудил их. Но спесивый немец не пожелал говорить о говне. Сын Сталина не смог снести унижения. Исторгая в небо страшную русскую брань, он бросился к заряженной электрическим током колючей проволоке, ограждавшей лагерь. И угодил прямо в цель. Его тело, которому уже никогда больше не суждено было загадить англичанам сортир, так и осталось висеть на проволочном

заграждении.

2

Сыну Сталина пришлось нелегко. Отец произвел его на свет с женщиной, которую затем, по всем свидетельствам, застрелил. Молодой Сталин, таким образом, был сыном Божьим (ибо его отец был почитаем как Бог), но одновременно был и отвержен им. Люди боялись его вдвойне: он мог навредить им своей властью (он был все–таки сыном Сталина), равно как и своей благосклонностью (вместо отверженного сына отец мог покарать его друзей).

Отверженность и привилегированность, счастье и несчастье — никто другой не почувствовал на себе конкретнее, чем Яков, как взаимозаменимы эти противоположности и как короток шаг от полюса к полюсу человеческого существования.

Затем, в самом начале войны, его взяли в плен немцы, и в лагере другие пленные, принадлежавшие к народу, который был ему всегда органически противен своей непостижимой замкнутостью, обвинили его в нечистоплотности. Мог ли он, кто нес на своих плечах драму наивысшего порядка (он был сыном Божьим и одновременно падшим ангелом), быть теперь судим отнюдь не за нечто возвышенное (ка-

сающееся Бога и ангелов), а за говно? И ужели расстояние от самой высшей драмы до самой низшей столь головокружительно близко?

Головокружительно близко? Разве близость может вызвать головокружение?

Может. Когда северный полюс вплотную приблизится к южному, земной шар исчезнет, и человек окажется в пустоте, что закружит ему голову и поманит кинуться вниз.

Если отверженность и привилегия — одно и то же, если нет разницы между возвышенным и низменным, если сын Божий может быть судим за говно, то человеческое существование утрачивает свои размеры и становится невыносимо легким. Когда сын Сталина побежал к заряженной электрическим током проволоке, чтобы бросить на нее свое тело, это проволочное заграждение было той чашей весов, что жалобно торчала высоко в небе, поднятая бесконечной легкостью мира, утратившего свои размеры.

Сын Сталина отдал жизнь из–за говна. Но смерть из–за говна не лишена смысла. Немцы, которые жертвовали жизнью ради того, чтобы расширить территорию своей империи дальше на восток, русские, которые умирали ради того, чтобы могущество их отечества простерлось

дальше на запад, — да, эти умирали ради нелепости, их смерть была лишена смысла и всеобщей законности. Напротив, смерть сына Сталина посреди всеобщей нелепости войны была единственной метафизической смертью.

3

Когда я был маленький и рассматривал Ветхий Завет, изданный для детей с гравюрами Гюстава Доре, я видел там Господа Бога на облаке. Это был старый человек с глазами, носом, с длинной бородой, и я говорил себе: если у него имеется рот, то он должен есть. А если он ест, то у него должны быть кишки. Но эта мысль тотчас пугала меня, ибо я, хоть и был ребенком из семьи скорее неверующей, все же чувствовал, что представление Божьих кишок — святотатство.

Непроизвольно, без всякой теологической подготовки, я, стало быть, уже ребенком понимал несовместимость испражнений и Бога, а отсюда и сомнительность основного тезиса христианской антропологии, согласно которой человек был сотворен по образу и подобию Божьему. Либо одно, либо другое: либо человек сотворен по образу Божьему, и тогда у Бога есть кишки, либо у Бога нет кишок, и человек не подобен ему.

Древние гностики чувствовали это так же хо-

рошо, как и я в свои пять лет. Уже во втором веке великий мастер гностики Валентин, пытаясь разрешить этот проклятый вопрос, утверждал, что Иисус «ел, пил, но не испражнялся».

Говно — более сложная теологическая проблема, чем зло. Бог дал человеку свободу, и мы можем в конце концов допустить, что он не ответственен за человеческие преступления. Однако ответственность за говно в полной мере несет лишь тот, кто человека создал.

4

Святой Иероним в четвертом столетии напрочь отметал мысль, что Адам с Евой в Раю совокуплялись. Напротив, Иоанн Скот Эриугена, величайший теолог девятого столетия, такую мысль допускал. Однако представлял себе, что половой член у Адама мог подниматься примерно так, как поднимается рука или нога, то есть когда он хотел и как хотел. Не станем искать за этим воображаемым образом извечный сон мужчины, одержимого страхом импотенции. Мысль Скота Эриугены наполнена иным содержанием. Если можно поднять фаллос по простому приказу мозга, то возбуждение, выходит, вещь на свете ненужная. Фаллос поднимается не потому, что мы возбуждены, а потому, что мы приказываем

ему это. Великому теологу несовместимым с Раем представлялось не совокупление и связанное с ним наслаждение. Несовместимым с Раем было возбуждение. Запомним это четко: в Раю существовало наслаждение, но не возбуждение.

В рассуждении Скота Эриугены мы можем найти ключ к некоему теологическому оправданию (иначе сказать — теодицее) говна. Пока человеку дозволено было оставаться в Раю, он либо (подобно Иисусу в понятиях Валентина) не испражнялся, либо (что представляется более правдоподобным) испражнения не воспринимались как нечто отвратительное. Тогда, когда Бог изгнал человека из Рая, он дал ему познать отвращение. Человек начал скрывать то, чего стыдится, но, сняв покров, был тотчас ослеплен великим сиянием. Так, вслед за познанием отвращения, он познал и возбуждение. Без говна (в прямом и переносном смысле слова) не было бы сексуальной любви такой, какой мы ее знаем: сопровождаемой сердцебиением и ослеплением рассудка.

В третьей части романа я рассказывал о том, как полуобнаженная Сабина в котелке на голове стояла возле одетого Томаша. Кое о чем я тогда умолчал. Когда она смотрела на себя в зеркало,

возбужденная видом собственной комичности, ей вдруг представилось, что вот так, с котелком на голове, Томаш посадит ее на унитаз, и она перед ним опорожнится. В эту минуту у нее забилось сердце, замутилось сознание, она увлекла Томаша на ковер и сразу же зашлась криком наслаждения.

5

Спор между теми, кто утверждает, что мир был сотворен Богом, и теми, кто убежден, что он возник сам по себе, упирается в нечто, превышающее границы нашего разумения и опыта. Гораздо реальнее различие между теми, кто сомневается в бытии, какое было дано человеку (пусть уж как угодно и кем угодно), и теми, кто безоговорочно принимает его.

За всеми европейскими вероисповеданиями, религиозными и политическими, стоит первая глава книги Бытия, из которой явствует, что мир был сотворен справедливо, что бытие прекрасно, а посему нам должно размножаться. Назовем эту основную веру категорическим согласием с бытием.

Если еще до недавнего времени слово «говно» обозначалось в книгах отточием, происходило это не из нравственных соображений. Мы же не

станем утверждать, что говно безнравственно! Несогласие с говном чисто метафизического свойства. Минуты выделения фекалий — каждодневное доказательство неприемлемости Создания. Одно из двух: или говно приемлемо (и тогда мы не запираемся в уборной!), или мы созданы неприемлемым способом.

Из этого следует, что эстетическим идеалом категорического согласия с бытием есть мир, в котором говно отвергнуто и все ведут себя так, словно его не существует вовсе. Этот эстетический идеал называется кич.

«Кич» — немецкое слово, которое родилось в середине сентиментального девятнадцатого столетия и распространилось затем во всех языках. Однако частое употребление стерло его первоначальный метафизический смысл: кич есть абсолютное отрицание говна в дословном и переносном смысле слова; кич исключает из своего поля зрения все, что в человеческом существовании по сути своей неприемлемо.

6

Первый Сабинин бунт против коммунизма носил не этический, а эстетический характер. Но отвращала ее не столько уродливость коммунистического мира (уничтоженные замки,

превращенные в коровники), сколько та маска красоты, которую он надевал на себя, иными словами, коммунистический кич. Модель этого кича — праздник, именуемый Первомаем.

Она видела первомайские демонстрации в годы, когда люди еще были полны энтузиазма или еще старательно изображали его. Женщины, одетые в красные, белые, голубые блузы, составляли всевозможные фигуры, хорошо различимые с балконов и из окон: пятиконечные звезды, сердца, буквы. Между отдельными частями колонны шли маленькие оркестры, играющие марши. Когда колонны приближались к трибуне, даже самые скучающие лица освещались улыбкой, словно хотели доказать, что они радуются положенным образом или, точнее: положенным образом соглашаются. И речь шла не о простом политическом согласии с коммунизмом, а о согласии с бытием как таковым. Праздник Первого мая черпал вдохновение из глубокого колодца категорического согласия с бытием. Неписаный, невысказанный лозунг демонстрации был не «Да здравствует коммунизм!», а «Да здравствует жизнь!». Сила и коварство коммунистической политики коренились в том, что она присвоила этот лозунг себе. Именно эта идиотическая

тавтология («Да здравствует жизнь!») вовлекала в коммунистическую демонстрацию даже тех, кому тезисы коммунизма были полностью безразличны.

7

Десятью годами позже (она жила уже в Америке) приятель ее друзей, один американский сенатор, вез ее в своем огромном автомобиле. На заднем сиденье жались друг к дружке его четверо детей. Сенатор остановился; дети вышли и побежали по широкому газону к зданию стадиона, где был искусственный каток. Сидя за рулем и мечтательно глядя вслед четырем бегущим фигуркам, сенатор обратился к Сабине:

— Посмотрите на них… — Описав рукой круг, который должен был охватить стадион, газон и детей, он добавил: — Это я называю счастьем.

За этими словами была не только радость от того, что дети бегают и трава растет; здесь было и проявление глубокого понимания в отношении женщины, явившейся из страны коммунизма, где, по убеждению сенатора, трава не растет и дети не бегают.

А Сабина как раз в эти минуты представляла себе этого сенатора на трибуне пражской площади. Улыбка на его лице была совершенно такой

же, какую коммунистические государственные деятели посылали с высоты своей трибуны гражданам, точно так же улыбающимся в колоннах внизу.

8

Откуда этот сенатор знал, что дети означают счастье? Разве он заглядывал им в души? А что, если в ту минуту, когда они скрылись из виду, трое из них набросились на четвертого и стали его бить?

У сенатора был лишь один аргумент в пользу такого утверждения: свое чувство. Там, где говорит сердце, разуму возражать не пристало. В империи кича властвует диктатура сердца.

Чувство, которое порождает кич, должно быть, без сомнения, таким, чтобы его могло разделить великое множество. Кич поэтому не может строиться на необычной ситуации, он держится на основных образах, запечатленных в людской памяти: неблагодарная дочь, заброшенный отец, дети, бегущие по газону, преданная родина, воспоминание о первой любви.

Кич вызывает две слезы растроганности, набегающие одна за другой. Первая слеза говорит: Как это прекрасно — дети, бегущие по газону!

Вторая слеза говорит: Как это прекрасно уми-

литься вместе со всем человечеством при виде детей, бегущих по газону! Лишь эта вторая слеза делает кич кичем.

Братство всех людей на земле можно будет основать только на киче.

9

Никто не знает этого лучше, чем политики. Когда рядом случается фотоаппарат, они тотчас бегут к близстоящему ребенку, чтобы поднять его повыше и чмокнуть в лицо. Кич суть эстетический идеал всех политиков, всех политических партий и движений.

В обществе, где существуют различные политические направления и тем самым их влияние взаимно исключается или ограничивается, мы можем еще кое–как спастись от инквизиции кича; личность может сохранить свою индивидуальность, художник — создать неожиданные произведения. Однако там, где одно политическое движение обладает неограниченной властью, мы мгновенно оказываемся в империи тоталитарного кича.

Если я говорю «тоталитарного», это значит, что все, нарушающее кич, исторгается из жизни: любое проявление индивидуализма (ибо всякое различие — плевок, брошенный в лицо улыбаю-

щегося братства), любое сомнение (ибо тот, кто начнет сомневаться в пустяке, кончит сомнением в жизни как таковой), ирония (ибо в империи кича ко всему нужно относиться предельно серьезно) и даже мать, покинувшая семью, или мужчина, предпочитающий мужчин женщинам и тем угрожающий священному лозунгу «любите друг друга и размножайтесь».

С этой точки зрения мы можем считать так называемый Гулаг некой гигиенической ямой, куда тоталитарный кич бросает отходы.

10

Первое десятилетие после второй мировой войны было временем чудовищного сталинского террора. Именно тогда из–за сущей чепухи арестовали Терезиного отца и десятилетнюю девочку выгнали на улицу. В те же годы двадцатилетняя Сабина училась в Академии изобразительных искусств. Профессор марксизма объяснял ей и ее сокурсникам известный тезис социалистического искусства: советское общество шагнуло так далеко, что основной конфликт в нем уже не между хорошим и плохим, а между хорошим и лучшим. Говно (то есть все, что по сути своей неприемлемо) могло существовать, стало быть, только «на другой стороне» (хотя бы в Америке)

и лишь оттуда, извне, как нечто чужеродное (хотя бы в подобии шпионов) проникать в мир «хороших и лучших».

В самом деле, советские фильмы, запрудившие именно в те жесточайшие годы кинематографы всех коммунистических стран, были пронизаны несказанной невинностью. Любовное недоразумение — вот самый острый конфликт, который мог произойти между двумя русскими: он считал, что она его уже не любит, а она о нем думала то же самое. Под конец они падали друг другу в объятия и обливались слезами счастья.

Общепринятая трактовка этих фильмов сегодня такова: они высвечивали коммунистический идеал, в то время как коммунистическая реальность была хуже.

Сабина против такой трактовки восставала. Когда она представляла себе, что мир советских кичей должен стать реальностью и она должна будет жить в ней, ее мороз подирал по коже. Она без малейшего колебания предпочла бы жизнь в реальном коммунистическом режиме даже при всех преследованиях и очередях за мясом. В реальном коммунистическом мире можно жить. В мире же осуществленного коммунистического идеала, в мире улыбающихся идиотов, с которы-

ми она не могла бы и словом перемолвиться, она в одну неделю умерла бы от ужаса.

Мне кажется, что чувство, вызываемое в Сабине советским кичем, было сродни ужасу, который испытывала Тереза во сне, когда маршировала с голыми женщинами вокруг бассейна и вынуждена была петь веселые песни. Под гладью воды всплывали трупы. Ни одной женщине Тереза не могла сказать слова, задать вопроса. В ответ она услышала бы лишь следующий куплет песни. Ни одной из них она не могла даже подмигнуть украдкой. Они тотчас бы указали на нее мужчине, стоявшему в корзине над бассейном, чтобы он застрелил ее.

Терезин сон обнажает истинную функцию кича: кич — это ширма, прикрывающая смерть.

11

В империи тоталитарного кича ответы даны заранее и исключают любой вопрос. Из этого следует, что подлинным противником тоталитарного кича является человек, который задает вопросы. Вопрос словно нож, разрезающий полотно нарисованной декорации, чтобы можно было заглянуть, что скрывается за ней. Так, впрочем, когда–то Сабина объяснила Терезе смысл своих картин: впереди доступная ложь, а за ней

проступает недоступная правда.

Однако те, кто борется против так называемых тоталитарных режимов, едва ли могут бороться вопросами и сомнениями. Им тоже нужны уверенность и простые истины, которые были бы доступны как можно большему числу людей и вызывали бы коллективные слезы.

Однажды некая политическая организация устроила Сабине в Германии выставку. Когда Сабина взяла в руки каталог, первое, что она увидела, была ее фотография с нарисованной поверх нее колючей проволокой. Внутри была помещена ее биография — ни дать ни взять жизнеописание мучеников и святых: она страдала, она боролась против несправедливости, она вынуждена была покинуть истерзанную родину, она продолжает бороться. «Своими картинами она борется за свободу» — была последняя фраза этого текста.

Она протестовала, но ее не поняли.

Разве не правда, что при коммунистическом режиме современное искусство преследуется?

Она раздраженно сказала: «Мой враг не коммунизм, а кич!»

С тех пор она стала окутывать свою биографию мистификациями и, оказавшись позже в Америке, постаралась даже утаить, что она чешка.

Это была отчаянная мечта спастись от кича, в который люди хотели превратить ее жизнь.

12

Она стояла перед мольбертом с незаконченным холстом. Позади нее сидел в кресле старик и следил за каждым мазком ее кисти.

Взглянув наконец на часы, он сказал:

— Пожалуй, нам пора.

Она отложила палитру и пошла в ванную умыться. Старик встал с кресла и, наклонившись, взял прислоненную к столу палку. Двери мастерской выходили прямо на лужайку. Смеркалось. В двадцати метрах напротив стоял белый деревянный дом с освещенными на первом этаже окнами. Эти два окна, бросавшие свет в угасающий день, растрогали Сабину.

Всю жизнь она твердит, что кич — ее злейший враг. Но разве она сама не носит его в душе? Ее кич — это образ родного очага, спокойного, сладостного, гармоничного, где надо всем витает дух доброй матери и мудрого отца. Этот образ родился в ней после смерти родителей. Чем меньше ее жизнь походила на этот сладостный сон, тем чувствительнее она была к его чарам и не раз умилялась до слез, когда ей случалось видеть сентиментальный фильм, в котором неблагодар-

ная дочь обнимала покинутого отца и окна дома, где обитало счастливое семейство, лили свет в угасающий день.

Со стариком Сабина познакомилась в Нью–Йорке. Он был богат, любил картины и жил с женой, того же возраста, на загородной вилле. Напротив виллы стояла старая конюшня. Он оборудовал ее под мастерскую, пригласил туда Сабину и целыми днями следил за движениями ее кисти.

Сейчас они все вместе ужинают. Старушка называет Сабину «моя доченька!», но по всем признакам как раз наоборот: Сабина здесь как мать с двумя детьми, что виснут на ней, восхищаются ею и готовы слушаться ее, только захоти она ими командовать.

Что же, выходит, на пороге старости Сабина нашла родителей, из рук которых когда–то, еще девушкой, выскользнула? Или она нашла наконец детей, которых у нее самой никогда не было?

Она прекрасно понимала, что это иллюзия. Ее пребывание у стариков не что иное, как короткая остановка. Старик серьезно болен, и его жена, как только останется без него, уедет к сыну в Канаду. Сабинина дорога предательств продолжится, и в невыносимую легкость бытия время

от времени из глубины души ее будет изливаться сентиментальная песня о двух светящихся окнах, за которыми обитает счастливое семейство.

Эта песня умиляет ее, но Сабина к своему умилению не относится серьезно. Она слишком хорошо знает, что эта песня — красивая ложь. В ту минуту когда кич осознается как ложь, он оказывается в контексте не–кича. Теряя свою авторитарную силу, он становится трогательным, как любая иная человеческая слабость. Ибо никто из нас не представляет собой сверхчеловека, чтобы полностью избежать кича. И как бы мы ни презирали кич, он неотделим от человеческой участи.

13

Источник кича — категорическое согласие с бытием.

Но что есть основа бытия? Бог? Человек? Борьба? Любовь? Мужчина? Женщина?

Поскольку взгляды на этот счет разные, то существуют и разные кичи: католический, протестантский, иудейский, коммунистический, фашистский, демократический, феминистский, европейский, американский, национальный, интернациональный.

Со времен Французской революции Европа раскололась на две половины: одних стали называть

левыми, других — правыми. Однако определять одних или других какими–то теоретическими принципами, от которых бы они отталкивались, почти невозможно. И ничего удивительного: политические движения строятся не на рациональных подходах, а на представлениях, образах, словах, архетипах, которые все вместе создают тот или иной политический кич.

Образ Великого Похода, которым дает себя опьянить Франц, — политический кич, связывающий левые силы всех времен и направлений. Великий Поход — это блистательная дорога вперед, дорога к братству, к равенству, к справедливости, к счастью, она простирается все вперед и вперед, невзирая ни на какие преграды, ибо преграды не могут не быть, коли поход должен быть Великим Походом.

Диктатура пролетариата или демократия? Отрицание потребительского общества или требование расширенного производства? Гильотина или отмена смертной казни? Все это вовсе не имеет значения. То, что левого делает левым, есть не та или иная теория, а его способность претворить какую угодно теорию в составную часть кича, называемого Великим Походом.

Франц, разумеется, не приверженец кича. Образ Великого Похода играет в его жизни примерно ту же роль, что и сентиментальная песня о двух освещенных окнах в жизни Сабины. За какую же политическую партию Франц голосует? Боюсь, что он не голосует вовсе и в день выборов предпочитает отправляться в горы. Это, впрочем, не означает, что Великий Поход не тревожит больше его воображения. Как приятно мечтать о том, что мы часть марширующей веками колонны, и Франц не перестает видеть этот прекрасный сон.

Однажды ему позвонили друзья из Парижа. Они сообщили, что организуют поход в Камбоджу, и пригласили его присоединиться к ним.

Камбоджа к тому времени пережила гражданскую войну, американские бомбардировки, бесноватость отечественных коммунистов, сокративших народ страны на одну пятую, и наконец оккупацию соседним Вьетнамом, который сам в те годы был уже не чем иным, как орудием в руках России. В Камбодже свирепствовал голод, и люди умирали из–за отсутствия медицинской помощи. Международная организация врачей много раз обращалась с требованием разрешить ей въезд в страну, но вьетнамцы не соглашались. Тогда группа видных западных интеллектуалов

решила пешком отправиться к камбоджийским границам и этим великим спектаклем, разыгранным на глазах у всего мира, добиться того, чтобы врачам был наконец разрешен вход на оккупированную территорию.

Друг, позвонивший Францу, был одним из тех, с которыми он вместе когда–то маршировал по парижским улицам. Сперва он пришел в восторг от приглашения, но затем взгляд его упал на студентку в больших очках. Она сидела напротив в кресле, и ее глаза за круглыми стеклами казались еще больше. Франц чувствовал, что эти глаза просят его никуда не уезжать. И потому, извинившись, отказался.

Но как только повесил трубку, тотчас пожалел о своем решении. В самом деле, он пошел навстречу своей земной возлюбленной, но пренебрег небесной любовью. Разве Камбоджа не то же самое, что и Сабинина родина? Страна, оккупированная соседней коммунистической армией! Страна, на которую опустился кулак России! Францу вдруг представилось, что ею полузабытый друг звонил ему по тайному Сабининому указанию.

Небесные создания все видят и все знают. Прими он участие в этом походе, Сабина бы смотрела на него и радовалась. Она поняла бы, что он

остался ей верен.

— Ты очень рассердишься, если я все–таки туда поеду? — спросил он свою очкастую девицу, которая сожалела о каждом дне, проведенном без него, но не решалась ему об этом сказать.

Несколькими днями позже он сидел в большом самолете на парижском аэродроме вместе с двадцатью врачами и примерно пятьюдесятью интеллектуалами (профессорами, писателями, депутатами, певцами, актерами и мэрами); их всех сопровождали четыреста журналистов и фотографов.

15

Самолет приземлился в Бангкоке. Четыреста семьдесят врачей, интеллектуалов и журналистов направились в большой зал интернационального отеля, где их уже поджидали другие врачи, артисты, певцы, профессора–лингвисты, а с ними еще несколько сот журналистов с блокнотами, магнитофонами, фотоаппаратами и кинокамерами. В зале на сцене стоял продолговатый стол, а за ним сидело примерно двадцать американцев, уже приступивших к руководству собранием.

Французские интеллектуалы, с которыми Франц вошел в зал, почувствовали себя обойден-

ными и униженными. Поход в Камбоджу был их идеей, а тут вдруг объявились американцы и мало того, что с завидной естественностью стали всем верховодить, они еще и говорят по–английски, нисколько не заботясь о том, что иной француз или датчанин может не понимать их. Поскольку датчане давно забыли, что когда–то составляли нацию, французы были единственными из всех европейцев, кто решился выразить свой протест. Причем они были настолько принципиальны, что даже отказались протестовать по–английски и обратились к восседавшим на сцене американцам на родном языке. Американцы, не понимая ни слова, реагировали на их выступление лишь вежливыми и утвердительными улыбками. В конце концов французам ничего не оставалось, как выразить свое несогласие по–английски: «Почему собрание проходит исключительно на английском языке, тогда как в зале присутствуют и французы?»

Американцы были крайне изумлены столь странным возражением, но, не переставая улыбаться, согласились с тем, чтобы все выступления давались на двух языках. Прежде чем продолжить собрание, пришлось долго искать переводчика. Теперь каждая фраза звучала по–английски и по–

французски, так что собрание стало в два, если не более, раза дольше, ибо все французы, зная английский, прерывали переводчика, поправляли его и спорили с ним по каждому слову.

Собрание достигло своего апогея, когда на сцену взошла известная американская актриса. Ради нее в зал ввалилась большая толпа фотографов и операторов, и каждый слог, который она изрекала, сопровождался щелчком аппарата. Актриса говорила о страдающих детях, о варварстве коммунистической диктатуры, о праве человека на безопасность, об угрозе, нависшей над традиционными ценностями цивилизованного общества, о неприкосновенной свободе человеческой личности и о президенте Картере, который глубоко опечален тем, что творится в Камбодже. Последние слова она произнесла сквозь рыдания.

В эту минуту встал молодой французский врач с рыжими усами и начал выкрикивать:

— Мы здесь для того, чтобы идти лечить умирающих людей! Мы здесь не ради славы президента Картера! Мы не допустим, чтобы это стало обычным трюком американской пропаганды. Мы пришли сюда не протестовать против коммунизма, а лечить больных!

К усатому врачу в момент присоединились и

другие французы. Напуганный переводчик уже не решался переводить то, что они говорили. И потому двадцать американцев снова смотрели на них с улыбкой, полной симпатии, и многие утвердительно кивали головой. Один даже поднял вверх кулак, поскольку знал, что европейцы любят поднимать свои кулаки в минуты коллективной эйфории.

16

Но возможно ли, чтобы левые интеллектуалы (ибо врач с рыжими усами был именно таковым) готовы были выступить против интересов той или иной коммунистической страны? Ведь коммунизм всегда рассматривался как часть левого движения.

Когда преступления страны, именуемой Советским Союзом, стали слишком скандальными, перед левыми открылась двоякая возможность: либо плюнуть на свою прошлую жизнь и перестать маршировать, либо считать (с большими или меньшими сомнениями) Советский Союз одним из препятствий Великого Похода и маршировать далее.

Я уже сказал: то, что левого делает левым, есть кич Великого Похода. Идентичность кича обусловливается не политической стратегией,

а образами, метафорами, словами. Стало быть, можно нарушить обыкновение и маршировать против интересов той или иной коммунистической страны, но нельзя заменить одно слово другими словами. Можно грозить кулаком вьетнамской армии, но нельзя выкрикнуть в ее адрес «Позор коммунизму!». Ибо «Позор коммунизму!» — лозунг врагов Великого Похода; и тот, кто не хочет потерять свое лицо, должен остаться верным чистоте собственного кича.

Я говорю это лишь затем, чтобы объяснить недоразумение между французским врачом и американской актрисой, которая в своем эгоцентризме полагала, что стала жертвой зависти или женофобии. На самом же деле француз проявил тонкое эстетическое чутье: слова «президент Картер», «наши традиционные ценности», «варварство коммунизма» принадлежали словарю американского кича и не имели ничего общего с кичем Великого Похода.

17

На следующий день утром все сели в автобусы и поехали через весь Таиланд к камбоджийским границам. Вечером они добрались до маленькой деревушки, где было снято несколько домиков, стоявших на сваях. Река, грозящая наводнения-

ми, заставляла людей жить наверху, тогда как внизу, между сваями, теснились поросята. Франц спал в комнате с еще четырьмя профессорами. В его сон снизу врывалось хрюканье кабанов, сбоку — храп известного математика.

Утром все снова расселись по автобусам. Уже за два километра до границы проезд был запрещен. К пограничному переходу отсюда вела узкая дорога, охраняемая войсками. Здесь автобусы остановились. Выйдя, французы тотчас обнаружили, что американцы снова их опередили: построившись в ряды, они уже успели стать во главе колонны. Наступил самый тяжкий момент. Снова был призван переводчик, и разгорелась долгая перепалка. Наконец пришли к соглашению: во главе колонны стал один американец, один француз и камбоджийская переводчица. За ними двинулись врачи и лишь потом все остальные; американская актриса оказалась в самом хвосте.

Дорога была узкой, а по сторонам — минное поле. Они поминутно натыкались на заграждение: два бетонных блока и между ними тесный проход. Пришлось идти гуськом.

Метрах в пяти перед Францем шел известный немецкий поэт и поп–певец, написавший уже

девятьсот тридцать песен за мир и против войны. Он нес на длинном древке белый флаг, который прекрасно сочетался с его черной бородой и усами и выделял его из толпы.

Вдоль длинной колонны туда–сюда сновали фотографы и кинооператоры. Щелкая и жужжа своими аппаратами, они убегали вперед, останавливались, отступали на шаг–другой, приседали на корточки и, опять распрямившись, неслись далее. Они то и дело окликали по имени какую–нибудь знаменитость мужского или женского пола, и когда та невольно оборачивалась в их сторону, нажимали на спуск.

18

Что–то неотвратимое висело в воздухе. Люди, замедляя шаг, оглядывались назад.

Американская актриса, оттесненная в хвост колонны, не пожелала более сносить унижение и решила пойти в атаку. Она бросилась вперед. Это было похоже на пятикилометровый забег, когда бегун, до поры до времени экономивший силы и остававшийся в конце пелетона, вдруг вырывается вперед и опережает всех участников соревнования.

Мужчины, растерянно улыбаясь, отступали, дабы обеспечить прославленной бегунье победу,

но женщины кричали:

— Встаньте в строй! Это вам не парад кинозвезд!

Актриса не дала себя запугать и продолжала бежать вперед вместе с пятью фотографами и двумя кинооператорами.

Вдруг одна француженка, профессорша–лингвистка, схватила актрису за запястье и сказала ей (на чудовищном английском):

— Это колонна врачей, которые намерены лечить смертельно больных камбоджийцев, а не спектакль для кинозвезд!

Актрисе недоставало сил вырвать свое запястье, зажатое в руке профессорши–лингвистки.

Она сказала (на прекрасном английском):

— Не порите чушь! Я участвовала уже в сотне таких шествий! Самое главное, чтобы были видны звезды! Это наша работа! Это наш моральный долг!

— Говно, — сказала профессорша–лингвистка (на отличном французском).

Американская актриса поняла ее и расплакалась.

— Прошу, не двигайся, — крикнул ей кинооператор и опустился перед ней на колени. Актриса долгим взглядом уставилась в его объектив, и по

ее щекам скатывались слезы.

19

Наконец профессорша–лингвистка отпустила запястье американской актрисы. В тот же миг ее окликнул немецкий певец с черной бородой.

Американская актриса никогда о нем не слыхала, но поскольку в минуту унижения стала более чуткой к проявлениям симпатии, чем обычно, подбежала к нему. Певец перебросил древко флага в левую руку, а правой обхватил ее за плечи.

Вокруг актрисы и певца продолжали прыгать фотографы и операторы. Известный американский фотограф старался поймать видоискателем оба их лица вместе с флагом, но ничего не выходило: древко было слишком длинным. Он задом отбежал на рисовое поле. И случайно наступил на мину. Раздался взрыв, и его тело, разорванное в клочья, разлетелось во все стороны, обдавая душем крови европейских интеллектуалов.

Певец и актриса были так потрясены, что не могли сдвинуться с места. Наконец оба подняли глаза к флагу. Он был забрызган кровью, и вид его снова наполнил их ужасом. Затем они еще раз–другой робко поглядели вверх и стали улыбаться. Их постепенно заливала особая и доселе не изведанная гордость, что флаг, который они несут,

освящен кровью. Они снова двинулись в поход.

20

Границу обозначала маленькая речка, но ее не было видно, поскольку вдоль нее тянулась длинная стена высотой в полтора метра, завалена мешками с песком для защиты таиландских стрелков. В одном месте стена обрывалась, там через речку был перекинут мост. На другой стороне реки были вьетнамские части, также невидимые: их позиции были отлично замаскированы. Но сомнений не оставалось: кто бы ни вступил на мост, невидимые вьетнамцы тотчас бы открыли огонь.

Участники шествия, приблизившись к стене, стали приподниматься на цыпочки. Франц, припав к щели между двумя мешками, тоже попытался что–то увидеть. Но не успел: его сразу же оттеснил один из фотографов, чувствовавший себя в большем праве занять это место.

Франц оглянулся. В могучей кроне одинокого дерева, как стая огромных ворон, сидело семь фотографов, вперив взгляд в другой берег.

В эту минуту переводчица, которая шла во главе колонны, приставила ко рту широкую трубу и на кхмерском языке прокричала тем, кто был на другой стороне реки: Здесь врачи; они

просят разрешить им вступить на территорию Камбоджи и оказать там медицинскую помощь; их намерения не имеют ничего общего с политическим вмешательством; ими руководит лишь беспокойство за жизни людей.

С другой стороны реки отозвалась невообразимая тишина. Тишина настолько абсолютная, что на всех напала тоска. Эту тишину нарушало лишь щелканье фотоаппаратов, походившее на пение какого–то заморского насекомого.

У Франца вдруг возникло ощущение, что Великий Поход приблизился к концу. Вокруг Европы границы тишины смыкаются, и пространство, на котором совершается Великий Поход, всего лишь маленький помост посреди планеты. Толпы, что некогда теснились вокруг помоста, уже давно рассеялись, и Великий Поход продолжается в одиночестве и без зрителей. Да, говорит себе Франц, Великий Поход продолжается, невзирая на равнодушие мира, но становится нервозным и чахоточным: вчера против американцев, оккупирующих Вьетнам, сегодня против Вьетнама, оккупирующего Камбоджу, вчера за Израиль, сегодня за палестинцев, вчера за Кубу, завтра против Кубы, но всегда против Америки; во все времена против бойни и во все времена в под-

держку другой бойни; Европа марширует, и для того, чтобы поспеть за ритмом событий и ни одно не пропустить, ее шаг чем дальше, тем больше ускоряется, и Великий Поход становится походом подпрыгивающих, спешащих людей, а сцена — все сокращается, пока в один прекрасный день не стянется в ничтожную безразмерную точку.

21

Переводчица во второй раз прокричала свое обращение в рупор. И в ответ снова отозвалась невообразимая и беспредельно равнодушная тишина.

Франц огляделся. Это молчание на другой стороне реки хлестнуло всех по лицу, как пощечина. И певец с белым флагом, и американская актриса были подавлены, растеряны и, похоже, не знали, что делать дальше.

Франц вдруг понял, что все они смешны, он и другие, но осознание этого вовсе не отделяло его от них, не наполняло иронией, напротив, именно сейчас он испытывал к ним бесконечную любовь, какую мы испытываем к людям осужденным. Да, Великий Поход близится к концу, но разве это повод для Франца предать его? Разве его собственная жизнь также не близится к концу? Надо ли смеяться над эксгибиционизмом тех, кто

сопровождал мужественных врачей к границе? Что могут делать все эти люди, кроме как разыгрывать спектакль? Есть ли у них лучший выбор?

Франц прав. Я не могу не вспомнить редактора, организовавшего кампанию по сбору подписей в защиту политзаключенных в Праге. Он прекрасно понимал, что эта кампания заключенным не принесет пользы. Его истинной целью было не освободить заключенных, а показать, что есть еще люди, которые не испытывают страха. То, что он делал, был спектакль. По у него не было иной возможности. У него не было выбора между поступком и театральным действом. У него был выбор: или разыграть спектакль, или бездействовать. Существуют ситуации, когда люди обречены разыгрывать спектакль. Их борьба с молчаливой силой (с молчаливой силой на другой стороне реки, с полицией, превращенной в молчаливые микрофоны в стене) есть борьба театральной труппы, которая отважилась сразиться с армией.

Франц увидел, как его приятель из Сорбонны поднял кулак и стал грозить тишине на другой стороне реки.

22

Переводчица в третий раз прокричала в рупор свое обращение.

Тишина, которая снова ответила ей, вдруг обратила тоску Франца в дикое бешенство. Он стоял чуть в стороне от моста, разделявшего Таиланд и Камбоджу, и вдруг загорелся неодолимым желанием взбежать на него, огласить небо ужасной бранью и умереть в бесконечном гудении пуль.

Это внезапное желание Франца кое о чем напоминает нам; да, оно напоминает нам о сыне Сталина, который бросился на заряженную электрическим током проволоку, чтобы покончить с собой, когда не стало сил смотреть, как полюсы человеческого существования вплотную приблизились друг к другу, и потому уже не было разницы между возвышенным и низким, между ангелом и мухой, между Богом и говном.

Франц не мог смириться с мыслью, что слава Великого Похода равноценна комичному тщеславию марширующих в нем, что блистательный шум европейской истории умирает в беспредельной тишине, и потому уже нет разницы между историей и молчанием. В эту минуту он хотел положить на весы свою собственную жизнь, чтобы доказать, что Великий Поход весит больше, чем говно.

Человеку, однако, не дано доказать ничего такого. На одной чаше весов было говно, на другую

— сын Сталина налег всей своей тяжестью, и весы не покачнулись.

Вместо того чтобы дать себя застрелить, Франц опустил голову и пошел со всеми остальными, гуськом направлявшимися к автобусам.

23

Нам всем нужно, чтобы на нас кто–то смотрел. Нас можно было бы разделить на четыре категории согласно тому, под какого рода взглядом мы хотим жить.

Первая категория мечтает о взгляде бесконечного множества анонимных глаз, иными словами — о взгляде публики. Это случай немецкого певца, американской актрисы, а также редактора с большой бородой. Он привык к своим читателям, и когда однажды русские закрыли его еженедельник, у него возникло ощущение, будто он очутился во стократно разреженном воздухе. Никто не мог заменить ему взгляд незнакомых глаз. Ему казалось, он задохнется. Но в один прекрасный день он понял, что на каждом шагу его преследует полиция, что прослушивают его телефонные разговоры и даже тайно фотографируют на улице. Анонимные глаза вдруг стали повсюду сопровождать его, и он снова мог дышать! Он был счастлив! Он театрально обращал свои речи

к микрофонам в стене. В полиции он обрел утраченную публику.

Вторую категорию составляют те, кому жизненно необходимы взгляды многих знакомых глаз. Это неутомимые устроители коктейлей и ужинов. Они счастливее людей первой категории, ибо те, когда теряют публику, испытывают ощущение, будто в зале их жизни погасли лампы. Почти с каждым из них такое случается раньше или позже. Люди второй категории, напротив, уж каким–никаким нужным взглядом сумеют разжиться всегда. К ним относится Мария–Клод и ее дочь.

Затем существует третья категория: это те, кому нужно быть на глазах любимого человека. Их положение столь же небезопасно, как и положение людей первой категории. Однажды глаза любимого человека закроются, и в зале наступит тьма. К таким людям относятся Тереза и Томаш.

И есть еще четвертая, редчайшая, категория; эти живут под воображаемым взглядом отсутствующих людей. Это мечтатели. Например, Франц. Он ехал к камбоджийским границам исключительно ради Сабины. Автобус трясется по таиландской дороге, а он чувствует, как в него впивается ее долгий взгляд.

К той же категории относится и сын Томаша. Назову его Шимон. (Он обрадуется, что у него, как и у отца, библейское имя[4].) Глаза, о которых он мечтает, это глаза Томаша. После того как он ввязался в кампанию по сбору подписей, его выгнали из университета. Девушка, с которой он встречался, была племянницей деревенского приходского священника. Он женился на ней, стал трактористом в кооперативе, верующим католиком и отцом. Потом от кого–то узнал, что Томаш тоже живет в деревне, и возрадовался: судьба расположила их жизни в симметрии! Это вдохновило его написать письмо. Ответа он не ждал. Хотел только, чтобы Томаш окинул его жизнь своим взглядом.

24

Франц и Шимон — мечтатели этого романа. В отличие от Франца Шимон никогда не любил матери. С детства он искал отца. Он готов был поверить, что несправедливость, причиненная отцу, предваряет и объясняет несправедливость, какую отец допускает по отношению к нему. Он никогда не держал зла на отца, поскольку не хотел стать союзником матери, неустанно

---

[4] Примечания: 4
Томаш — библ. Фома; Шимон — библ. Симон.

очернявшей его.

Он жил с ней до восемнадцати лет, а после получения аттестата зрелости уехал учиться в Прагу. В ту пору Томаш уже мыл окна. Шимон нередко поджидал его на улице, чтобы разыграть случайную встречу. Но отец так ни разу и не остановился потолковать с ним.

И если Шимон примкнул к бывшему редактору с большой бородой, то лишь по той причине, что его судьба напоминала ему судьбу отца. Редактор никогда не слышал имени Томаша. Статья об Эдипе была забыта, и редактор узнал о ней только от Шимона, который попросил его пойти и уговорить Томаша подписать петицию. Редактор согласился лишь потому, что хотел доставить радость парню, которого любил.

Когда бы Шимон ни вспоминал об этой встрече, он стыдился своего тогдашнего волнения. Отцу он явно не нравился. Зато отец нравился ему. Он помнил каждое его слово и со временем все больше убеждался, что отец был прав. Особенно врезалась ему в память фраза: «Наказывать тех, кто не ведал, что творил, это варварство». Когда дядя его невесты сунул ему в руку Библию, его внимание приковали слова Иисуса: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают». Он знал, что

его отец неверующий, но в подобии обеих фраз видел тайное знамение: отец соглашается с той дорогой, которую он выбрал.

Он жил в деревне примерно третий год, когда получил письмо от Томаша, в котором тот звал его в гости. Встреча была радушной, Шимон чувствовал себя свободно и совсем не заикался. Пожалуй, он даже не осознал, что они не очень-то и поняли друг друга. Месяца через четыре ему пришла телеграмма. Томаш и его жена погибли, раздавленные грузовиком.

В то время он узнал о женщине, которая когда-то была любовницей отца и жила во Франции. Он нашел ее адрес. Поскольку отчаянно нуждался в воображаемом глазе, который продолжал бы следить за его жизнью, он от случая к случаю писал ей длинные письма.

25

От этого грустного деревенского письмописца Сабина будет получать их до конца жизни. Многие из них останутся непрочитанными, ибо страна, откуда они приходят, интересует ее все меньше и меньше.

Старик умер, и Сабина переселилась в Калифорнию. Еще дальше на Запад, еще дальше от Чехии.

Она удачно продает свои картины и Америку любит. Но лишь поверхностно. Мир, что под поверхностью, ей чужд. Там у нее нет ни дедушки, ни бабушки. Она боится, что ее запрут в гроб и опустят в американскую землю.

Вот почему она однажды написала завещание, в котором потребовала, чтобы ее мертвое тело было сожжено и пепел развеян. Тереза и Томаш умерли под знаком тяжести. Сабина хочет, умереть под знаком легкости. Она станет легче воздуха. По Парменидy, это есть превращение негативного в позитивное.

26

Автобус остановился перед отелем в Бангкоке. Уже никому не хотелось устраивать собрание. Люди группками разошлись по городу, одни отправились осматривать храмы, другие — в бордель. Приятель из Сорбонны предлагал Францу провести с ним вечер, но Франц предпочел остаться один.

Смеркалось, когда он вышел на улицу. Не переставая он думал о Сабине и чувствовал на себе ее долгий взгляд, который всегда вызывал в нем неуверенность: он никогда не знал, чем на самом деле полны мысли Сабины. И на этот раз ее взгляд привел его в смущение. Уж не смеется ли она над

ним? Не считает ли культ, который он создал из нее, полным безумием? Не хочет ли она сказать ему, что пора наконец стать взрослым и целиком посвятить себя возлюбленной, которую она сама же ему и послала?

Он представил себе лицо в больших круглых очках. И понял, как он счастлив со своей студенткой. Поездка в Камбоджу показалась ему вдруг смешной и бессмысленной. Зачем он вообще ехал сюда? Теперь он это знает. Он ехал сюда, чтобы наконец понять, что вовсе не демонстрации, вовсе не Сабина, а эта очкастая девушка и есть его настоящая жизнь, единственная настоящая жизнь! Он ехал сюда, чтобы понять, что действительность больше, чем сон, много больше, чем сон!

Вдруг из сумрака вынырнула какая–то фигура и что–то сказала ему на непонятном языке. Он смотрел на незнакомца с каким–то сочувственным недоумением, пока тот кланялся, улыбался и о чем–то с упорством тараторил. Что он ему говорит? Похоже — куда–то зовет. Незнакомец взял его за руку и повел. Францу подумалось, что кому–то понадобилась его помощь. Может, он все же не впустую приехал сюда? Может, он все же призван кому–то помочь здесь?

А потом вдруг возле этого неумолкающего человека оказались еще двое, и один из них по–английски попросил у него денег.

В эту минуту очкастая девушка улетучилась из его мыслей, и на него снова смотрела Сабина, нереальная Сабина со своей великой судьбой, Сабина, перед которой он чувствовал себя таким маленьким. Ее глаза взирали на него гневно и недовольно: Он снова дал себя одурачить? Снова кто–то пользуется его идиотской добротой?

Он резко вырвался от мужчины, державшего его за рукав. Он знал, что Сабина всегда восхищалась его силой. Он схватил руку, которую протягивал к нему другой мужчина. Крепко сжал ее и отличным приемом дзюдо враз перебросил его через себя.

Теперь Франц был доволен собой. Сабинины глаза все еще пронизывали его. Она уже никогда не увидит его униженным! Она уже никогда не увидит его уступчивым! Он уже никогда не будет мягким и сентиментальным!

Его охватила почти веселая ненависть к этим людям, что хотели посмеяться над его наивностью. Он стоял, слегка пригнувшись и не спуская ни с одного из них глаз. Но вдруг что–то тяжело ударило его по голове, и он упал. Он еще смутно

успел осознать, что его куда–то несут. Потом он стал падать в пустоту. Вдруг — резкий толчок, и он потерял сознание.

Очнулся он в женевской больнице. Над его койкой склонялась Мария–Клод. Он хотел сказать ей, что не в силах видеть ее здесь. Он хотел, чтобы немедленно известили о нем студентку в больших очках. Он думал только о ней. Он хотел кричать, что, кроме нее, не вынесет никого рядом. Но вдруг в ужасе понял, что не может говорить. Он смотрел на Марию–Клод с бесконечной ненавистью и пытался отвернуться к стене. Но не мог пошевельнуть телом. Может, хотя бы голову отвернуть? Но и головой не мог двинуть. Он закрыл глаза, чтобы не видеть ее.

27

Мертвый Франц наконец принадлежит своей законной жене так, как никогда прежде не принадлежал ей. Мария–Клод вершит всем: она взялась за организацию похорон, рассылает извещения о смерти, покупает венки, шьет себе черное платье, а на самом деле — платье свадебное. Да, только мужнины похороны для жены ее истинная свадьба; завершение жизненного пути; награда за все страдания.

Пастор, кстати, это прекрасно понимает и над

могилой говорит о верной супружеской любви, какой суждено было пройти многими испытаниями, чтобы до конца жизни остаться для покойного надежной гаванью, куда он мог в последнюю минуту вернуться. И коллега Франца, которого Мария–Клод попросила взять слово над гробом, прежде всего воздал должное мужественной жене покойного.

Где–то сзади, поддерживаемая подругами, стояла девушка в больших очках. Множество проглоченных таблеток и подавленные рыдания вызвали у нее судороги еще до окончания похоронного обряда. Схватившись за живот, она согнулась в три погибели, и подругам пришлось увести ее с кладбища.

28

Получив от председателя кооператива телеграмму, он сразу же вскочил на мотоцикл и приехал. Занялся похоронами. На памятнике под отцовским именем велел поместить эпитафию: Он хотел Царствия Божия на земле .

Он хорошо знает, что отец никогда не определил бы свою жизнь такими словами. Но он уверен, что эпитафия точно выражает именно то, что отец хотел. Царствие Божие на земле значит справедливость. Томаш мечтал о мире, где цар-

ствовала бы справедливость. Разве нет у Шимона права выразить жизнь отца своим собственным словарем? Это же извечное право всех близких покойного!

Возвращение после долгого блуждания — написано на памятнике над гробом Франца. Эпитафию можно толковать как религиозный символ: блуждание в земной юдоли, возвращение в объятия Божии. Но посвященные знают, что фраза одновременно имеет и свой, совершенно светский, смысл. Мария–Клод, впрочем, говорит об этом каждый день: Франц, дорогой, добрый Франц, он не выдержал кризиса своих пятидесяти лет. Попал в лапы этой жалкой девицы! Ведь ее даже красивой не назовешь! (Ох уж мне эти огромные очки, за которыми ее почти не видно!) Но пятидесятилетний (мы все это знаем!) душу продаст за толику молодого тела. И лишь его собственная жена знает, как он страдал от этого! Для него это были настоящие нравственные муки! Ведь Франц в глубине души был честным и добрым. А как иначе объяснить эту бессмысленную, отчаянную поездку куда–то в Азию? Он отправился туда за своей смертью. Да, Мария–Клод это знает совершенно точно: Франц сознательно искал смерти. В последние дни, когда умирал и не чувствовал

необходимости лгать, он не хотел никого видеть, кроме нее. Он не мог говорить, но какая благодарность была в его взгляде. Одними глазами он просил у нее прощения. И она простила ему.

29

Что осталось от людей, умиравших в Камбодже?

Одна большая фотография американской актрисы, которая держит на руках желтого ребенка.

Что осталось от Томаша?

Эпитафия: Он хотел Царствия Божия на земле.

Что осталось от Бетховена?

Хмурый, с неправдоподобной гривой человек, вытягивающий глухим голосом: «Es muss sein!»

Что осталось от Франца?

Эпитафия: Возвращение после долгого блуждания.

И так далее, и так далее. Прежде чем нас предадут забвению, мы будем обращены в кич. Кич — пересадочная станция между бытием и забвением.

Часть седьмая. УЛЫБКА КАРЕНИНА

1

Из окна открывался вид на косогор, поросший кривыми телами яблонь. Над косогором лес закрывал горизонт, и кривая холма убегала в дали. Под вечер, когда па бледном небе показывалась белая луна, Тереза выходила на порог. Луна, висящая на все еще не стемневшем небе, напоминала ей лампу, которую поутру забыли погасить и которая целый день светила в комнате мертвых.

Кривые яблони росли на косогоре, и ни одна из них не могла сдвинуться с места, куда вросла корнями, так же как ни Тереза, ни Томаш уже никогда не смогут покинуть эту деревню. Они продали машину, телевизор, радио, чтобы купить здесь маленький домик у крестьянина, который переселялся в город.

Жизнь в деревне была единственной возможностью бегства: при постоянном недостатке людей жилья здесь было более чем достаточно. И ни у кого не возникло желания копаться в политическом прошлом тех, кто готов был пойти работать в поле или в лес; им никто не завидовал.

Тереза была счастлива, что они покинули город

с пьяными посетителями бара и неизвестными женщинами, оставлявшими в Томашевых волосах запах своего лона. Полиция перестала интересоваться ими, а эпизод с инженером сливался у нее теперь в нечто единое со сценой на Петршине, и она уже едва различала, где сон, а где явь. (Впрочем, был ли инженер в самом деле на службе у тайной полиции? Может, был, а может, и нет. Мужчины, что пользуются для встреч чужими квартирами и предпочитают не заниматься любовью с одной и той же женщиной более раза, не столь уж редки.)

Итак, Тереза была счастлива, она испытывала ощущение, что наконец достигла цели: они с Томашем вместе и они одни. Одни? Я должен выразиться точнее: «одни» означало лишь, что они прервали всякие связи со своими прежними друзьями и знакомыми. Они перерезали свою жизнь, словно это был кусок ленты. Однако они чувствовали себя достаточно хорошо в обществе сельчан, с которыми вместе работали и подчас наведывались друг к другу в гости.

В тот день, когда в курортном городке с русскими названиями улиц Тереза узнала председателя здешнего кооператива, она вдруг обнаружила в себе образ деревни, запечатленный в ней книж-

ными воспоминаниями или ее предками. Это был мир соборности, в котором все — одна великая семья, связанная общими интересами и привычками: ежевоскресное богослужение в церкви, трактир, где сходятся мужики без женщин, и зал в том же трактире, где по субботам играет оркестрик и вся деревня танцует.

Но при коммунизме деревня уже совсем не похожа на этот стародавний образ. Церковь была в соседнем селе, и никто туда не ходил, трактиры превратились в конторы, мужикам негде было собираться и пить пиво, молодым негде танцевать. Отмечать церковные праздники воспрещалось, государственные — никого не занимали. Кинотеатр был в городе в двадцати километрах. И вот после рабочего дня, наполненного в минуту отдыха веселым перекрикиванием и болтовней, люди запирались в четырех стенах домишек, обставленных современной мебелью, от которой несло безвкусием как сквозняком, и глядели в светящийся экран телевизора. Они уже не приглашали друг друга в гости, разве что, бывало, заскакивали на два–три слова к соседу перед ужином. Все мечтали лишь об одном: уехать в город. Деревня не предлагала ничего такого, что походило бы на мало–мальски привлекательную

жизнь.

И, пожалуй, именно потому, что в деревне никто не хотел осесть навсегда, государство утратило над нею власть. Земледелец, которому уже не принадлежит земля и он лишь рабочий, возделывающий поле, не дорожит ни родным краем, ни своей работой, ему нечего терять, не за что бояться. Однако благодаря этому равнодушию деревня сохранила заметную самостоятельность и свободу. Председателя здешнего кооператива не назначили со стороны (как назначаются директора в городах). Он был избран крестьянами, он был одним из них.

Поскольку все хотели покинуть деревню, Тереза и Томаш оказались в исключительном положении: они приехали сюда по доброй воле. И если деревенские использовали любую возможность, чтобы хоть на день выбраться в какой–нибудь окрестный город, Тереза и Томаш мечтали только об одном: быть там, где они были, и потому за короткое время узнали сельчан лучше, чем те — друг друга.

Особенно подружились они с председателем кооператива. У него была жена, четверо детей и свинья, которую он муштровал, точно собаку. Свинью звали Мефисто, и была она гордостью и

забавой всей деревни.

Чистенькая и розовая, она выполняла команды хозяина и ходила на своих копытцах, словно толстозадая женщина на высоких каблуках.

Увидев Мефисто впервые, Каренин взбудоражился, долго вертелся вокруг нее и обнюхивал. Но вскоре подружился с ней и предпочитал ее деревенским псам, которые ничего, кроме его презрения, не заслуживали: привязанные у своих будок, они лаяли глупо, непрестанно и без всякого повода. Каренин по достоинству оценил такое редкостное существо, и я не ошибусь, если скажу, что своей дружбой со свиньей весьма дорожил.

Председатель кооператива был рад, что сумел помочь своему бывшему хирургу, хотя и огорчался при этом, что не в силах сделать для него больше. Томаш стал водителем пикапа, на котором развозил на поля земледельцев и сельскохозяйственный инвентарь.

У кооператива было четыре больших коровника и небольшой хлев с сорока телками. Терезе было поручено обихаживать их и дважды в день выгонять на пастбище. Поскольку ближние и легкодоступные луга предназначались под косьбу, Терезе приходилось ходить со стадом на окрестные холмы. Телки постепенно объедали траву

на все более дальних пастбищах, и Тереза таким образом обошла с ними за год всю округу. И как когда–то в своем маленьком городе, она всегда брала с собой какую–нибудь книгу, на лугах открывала ее и читала.

Каренин неизменно сопровождал ее. Он научился лаять на молодых коровок, когда они, не в меру развеселившись, норовили отбиться от стада. Он делал это с очевидной радостью, и из них троих был явно самым счастливым. Никогда прежде его должность «стража курантов» не была столь почитаема, как здесь. В деревне ни для какой импровизации не оставалось возможности: время, в котором жили теперь Тереза и Томаш, приближалось к регулярности его времени.

Однажды после обеда (когда у Терезы и Томаша выдавался час свободного времени) они втроем пошли прогуляться по косогору позади своего дома.

— Не нравится мне, как он бегает, — сказала Тереза. Каренин припадал на заднюю ногу. Томаш нагнулся к нему и, ощупав лапу, обнаружил на ляжке небольшой желвак.

На следующий день он посадил его рядом с собой на сиденье пикапа и отправился в соседнюю деревню к ветеринару. Неделю спустя снова

заехал к нему и вернулся домой с известием, что у Каренина рак.

Тремя днями позже Томаш в присутствии ветеринара оперировал Каренина. Когда он привез пса домой, тот еще не очнулся после наркоза. Он лежал возле их постели на ковре с открытыми глазами и стонал. На ляжке, выбритой догола, был виден шов с шестью защипами.

Наконец Каренин попытался подняться. Не смог. Тереза страшно испугалась, что он уже никогда не сможет ходить.

— Не волнуйся, — сказал Томаш, — он все еще одурманен наркозом. Тереза попыталась поднять пса, но он цапнул ее. Такого еще не бывало, чтобы он хотел ее укусить!

— Он не понимает, кто ты, — сказал Томаш, — не узнает тебя. Они подняли его к себе на постель, где он быстро уснул. Уснули и они. Было три часа ночи, когда он вдруг разбудил их. Вертел хвостом, вскарабкивался на них и ластился к ним буйно и ненасытно.

И такого никогда не случалось! Он прежде никогда не будил их, а всегда ждал, пока кто–нибудь проснется, и только потом вскакивал на кровать.

Но на этот раз, придя в полное сознание среди ночи, не мог сдержать себя! Кто знает, с какими

призраками он боролся! И вдруг увидел, что он дома, узнал своих близких и во что бы то ни стало захотел поделиться с ними своей несказанной радостью, радостью возвращения и возрождения.

2

В начале книги Бытия сказано, что Бог сотворил человека, дабы дать ему власть над птицами, рыбами и всякими животными, пресмыкающимися по земле. Конечно, Бытие написал человек, а вовсе не лошадь. Нет никакой уверенности, что Бог действительно дал человеку власть над другими созданиями. Скорее, похоже на то, что человек выдумал Бога, чтобы власть над коровой и лошадью, узурпированную им, превратить в дело священное. Да, право убить оленя или корову — единственное, на чем братски сходится все человечество даже в период самых кровавых войн.

И право это представляется нам естественным лишь по той причине, что, на вершине иерархии находимся мы. Но достаточно было бы вступить в игру кому–то третьему, допустим, гостю с иной планеты, чей Бог сказал бы: «Ты будешь владычествовать над тварями всех остальных планет», как вся бесспорность «Бытия» стала бы сразу сомнительной. Человек, запряженный в повозку марсианином или запеченный на вертеле суще-

ствами с Млечного Пути, возможно, и вспомнил бы тогда о телячьей отбивной, которую привык резать на тарелке, и принес бы корове свои (запоздалые!) извинения.

Тереза идет за стадом телок, гонит их перед собой и то и дело какую приструнивает, потому что молодые коровки резвятся и убегают с дороги в поля. Каренин сопровождает ее. Вот уже два года, как он ежедневно ходит с ней на пастьбу. Его всегда ужасно забавляло, что он может быть с телками строгим, облаивать их и ругать. (Его Бог доверил ему власть над коровами, и он очень гордился этим). Но сейчас Каренин двигался с огромным трудом, прыгая на трех лапах; на четвертой у него — кровоточащая рана. Тереза поминутно к нему нагибается и гладит по спине. Уже две недели спустя после операции выяснилось, что опухоль продолжает расти и что Каренину будет все хуже и хуже.

Дорогой они встречают соседку, в резиновых сапогах поспешающую в коровник. Соседка останавливается: «Что это ваш песик? Вроде хромает!» Тереза говорит: «У него рак. Он обречен» — и чувствует, как сжимается горло и нет сил говорить. Соседка, видя Терезины слезы, чуть ли не возмущается: «Господи, не хватает вам только

реветь из–за пса!» Говорит она это беззлобно, она добрая женщина, просто хочет по–своему утешить Терезу. Тереза знает это, впрочем, она здесь, в деревне, уже довольно давно, чтобы понять: люби крестьяне каждого кролика так, как она любит Каренина, они ни одного не смогли бы забить и вскорости умерли бы с голоду вместе со своими животными. И все–таки ей кажется, слова соседки звучат недружелюбно. «Я понимаю», — говорит она покорно, но быстро поворачивается к ней спиной и продолжает путь. В своей любви к собаке она чувствует себя одинокой. С печальной улыбкой она говорит себе, что должна скрывать ее больше, чем скрывала бы измену. Любовь к собаке возмущает людей. Узнай соседка, что Тереза неверна Томашу, она в знак тайного согласия разве что весело шлепнула бы ее по спине.

Итак, идет Тереза дальше со своими телочками, что трутся друг о друга боками, и думает о том, какие это премилые животные. Спокойные, бесхитростные, подчас ребячливо веселые, они похожи на толстых пятидесятилетних баб, которые делают вид, что им четырнадцать. Нет ничего трогательнее, чем коровы, когда они играют. Тереза смотрит на них с симпатией и говорит себе (эта мысль уже в течение двух лет неот-

ступно к ней возвращается), что человечество паразитирует на коровах, как солитер на человеке: оно присосалось к их вымени, словно пиявки. Человек — паразит коровы, так бы определил человека в своем учебнике зоологии нечеловек.

Конечно, это определение мы можем считать простой шуткой и принять его со снисходительной улыбкой. Но когда Тереза серьезно задумывается над ним, почва уходит у нее из–под ног: ее мысли становятся опасными и отдаляют ее от человечества. Уже в «Бытии» сказано, что Бог дал человеку власть над животными, но мы можем понять это и так, что Он лишь вверил их его попечению. Человек был не собственником планеты, а всего только ее управителем, которому однажды придется отвечать за свое управление. Декарт сделал решительный шаг вперед: он понимает человека как «господина и хозяина природы». Но явно есть некая глубокая зависимость между этим шагом и тем фактом, что именно он окончательно отказал животным в душе: человек — господин и хозяин, тогда как животное, по утверждению Декарта, не более чем автомат, оживленная машина, «machina animata». Если животное стонет, это не стон, а скрип плохо работающего механизма. Когда

колесо телеги скрипит, это не значит, что телега страдает, а значит, что она просто не смазана. Точно так мы должны воспринимать и плач животного и не огорчаться из–за собаки, когда в виварии ее заживо потрошат.

Телочки пасутся на лугу, Тереза сидит на пеньке, а Каренин жмется к ней, положив голову на ее колени. И Тереза вспоминает, как однажды, лет десять назад, она прочла в газете коротенькое (в две строчки) сообщение о том, что в одном русском городе перестреляли всех собак. Это сообщение, неприметное и на вид незначительное, заставило ее впервые содрогнуться перед этой слишком большой соседней страной.

Это сообщение было предвестием всего, что пришло потом. В первые годы после русского вторжения еще нельзя было говорить о терроре. Поскольку практически весь народ противостоял оккупационному режиму, русским должно было среди чехов найти какие–то исключения и продвинуть их к власти. Но где искать таких людей, когда вера в коммунизм и любовь к России были мертвы? Искали среди тех, кто жаждал за что–то мстить жизни. Их агрессивность нужно было взращивать, объединять и удерживать в боевой готовности. И поначалу — направить на цель

временную. Такой целью оказались животные.

Газеты стали тогда печатать целые циклы статей и организовывать письма читателей. В них требовали, например, истребить в городах голубей. И голуби таки были истреблены. Но главный удар был направлен против собак. Люди еще не пришли в себя после катастрофы оккупации, а газеты, радио и телевидение уже не трубили ни о чем другом, кроме как о собаках: они пакостят тротуары и парки и тем угрожают здоровью детей, проку от них никакого, а кормить изволь… Такой начался психоз, что Тереза стала тревожиться, как бы науськанный сброд не отыгрался па Каренине. Накопленная (и на животных отточенная) злоба лишь позже ударила по своей истинной цели: по людям. Пошли увольнения с работы, аресты, судебные процессы. Животные наконец смогли вздохнуть с облегчением.

Тереза все время гладит Каренина по голове, тихо покоящейся на ее коленях. И про себя говорит, пожалуй, так: Нет никакой заслуги в том, чтобы хорошо относиться к другому человеку. Тереза должна быть порядочной по отношению к односельчанам, а иначе она не могла бы и жить в деревне. И даже к Томашу она обязана относиться любовно, потому как Томаш ей нужен.

Нам никогда не удастся установить с полной уверенностью, насколько наше отношение к другим людям является результатом наших чувств — любви, неприязни, добросердечности или злобы — и насколько оно предопределено равновесием сил между нами и ими.

Истинная доброта человека во всей ее чистоте и свободе может проявиться лишь по отношению к тому, кто не обладает никакой силой. Подлинное нравственное испытание человечества, то наиглавнейшее испытание (спрятанное так глубоко, что ускользает от нашего взора) коренится в его отношении к тем, кто отдан ему во власть: к животным. И здесь человек терпит полный крах, настолько полный, что именно из него вытекают и все остальные.

Одна из телок приблизилась к Терезе, остановилась и долго смотрела на нее большими коричневыми глазами. Тереза знала ее и называла Марке–той. Тереза с радостью дала бы имена всем своим телкам, но не могла. Их было слишком много. Когда–то давно, а точнее, сорок лет назад у всех коров в этой деревне были имена. (А поскольку имя есть знак души, могу сказать, что, вопреки Декарту, душа у них была.) Но потом деревни превратили в большие кооперативные

фабрики, и коровы проживали уже всю свою жизнь на двух метрах коровника. С тех пор у них нет имен, и они стали «machinae animatae». Мир согласился с Декартом.

У меня все время перед глазами Тереза: она сидит на пеньке, гладит Каренина по голове и думает о крахе человечества. В эту минуту вспоминается мне другая картина. Ницше выходит из своего отеля в Турине и видит перед собой лошадь и кучера, который бьет ее кнутом. Ницше приближается к лошади, на глазах у кучера обнимает ее за шею и плачет.

Это произошло в 1889 году, когда Ницше тоже был уже далек от мира людей. Иными словами: как раз тогда проявился его душевный недуг. Но именно поэтому, мне думается, его жест носит далеко идущий смысл. Ницше пришел попросить у лошади прощения за Декарта. Его помешательство (то есть разлад с человечеством) началось в ту самую минуту, когда он заплакал над лошадью.

И это тот Ницше, которого я люблю так же, как люблю Терезу, на чьих коленях покоится голова смертельно больного пса. Я вижу их рядом: оба сходят с дороги, по которой человечество, «господин и хозяин природы», маршем шествует

вперед.

3

Каренин родил два рогалика и одну пчелу. Пораженный, он не спускал глаз со своего странного потомства. Рогалики вели себя смирно, но пчела шаталась как пьяная, а потом взлетела и скрылась из виду.

Это был сон, который снился Терезе. Пробудившись, она тотчас рассказала его Томашу, и они оба старались найти в нем какое–то утешение; этот сон обратил Каренинову болезнь в беременность, а драму рождения в нечто одновременно смешное и нежное: в два рогалика и одну пчелу.

Ее вновь охватила нелогичная надежда. Она встала, оделась. И здесь, в деревне, ее день начинался с того, что она шла в магазин купить молока, хлеба, рогаликов. Но когда она позвала с собой Каренина, он едва поднял голову. Это впервые он отказался участвовать в обряде, которого прежде сам безоговорочно добивался.

Итак, Тереза пошла одна. «А где ж Каренин?» — спросила продавщица, заранее приготовившая для него рогалик. На этот раз Тереза уносила его в своей кошелке сама. Еще в дверях она вытащила рогалик и показала Каренину. Думала, он подойдет и возьмет его. Но Каренин лежал, не

двигаясь.

Томаш заметил, как расстроена Тереза. Он взял рогалик в рот и встал против Каренина на четвереньки. Потом медленно начал приближаться к нему.

Каренин смотрел на него, в его глазах, казалось, сверкнул какой–то проблеск интереса, но он не поднялся. Томаш вплотную приблизил лицо к его морде. Даже не двинув телом, Каренин взял в пасть конец рогалика, торчавший изо рта Томаша. Томаш отпустил рогалик, чтобы он весь достался псу.

Затем, все еще на четвереньках, он попятился, изогнул спину и начал ворчать, делая вид, что собирается бороться за рогалик. И пес ответил хозяину ворчанием. Наконец! Это было именно то, чего они ждали! Каренину захотелось играть! Каренину еще хочется жить!

Это ворчание было улыбкой Каренина, и им хотелось, чтобы эта улыбка длилась как можно дольше. Поэтому Томаш снова подполз к нему на четвереньках и схватил зубами кусок рогалика, который торчал из его пасти. Их головы были теперь совсем рядом, Томаш чувствовал запах песьего дыхания, и его лицо щекотали длинные шерстинки, что росли вокруг морды Каренина.

Пес еще раз заворчал и дернул пасть. У каждого в зубах осталось по половинке рогалика. Тут Каренин допустил старую тактическую ошибку: он бросил свой кусок рогалика и попытался цапнуть ту часть, что была во рту хозяина. И как случалось всегда, он забыл, что Томаш не собака и что у него есть руки. Томаш, не выпуская рогалика изо рта, поднял с полу брошенную половинку.

— Томаш, — крикнула Тереза, — не отбирай же у него весь рогалик!

Томаш бросил обе половинки на пол перед Карениным, который быстро проглотил одну, а вторую демонстративно долго держал в пасти, похваляясь перед супругами своей победой.

Они смотрели на него и снова говорили себе, что Каренин улыбается и что покуда он улыбается, у него все еще есть повод жить, хотя он и обречен на смерть.

Впрочем, на следующий день им показалось, что состояние его улучшилось. Они пообедали. После обеда у них оставался часок свободного времени, и обычно они с Карениным отправлялись гулять. Он знал это и всегда беспокойно носился вокруг них. Но на этот раз, когда Тереза взяла в руку поводок и ошейник, он лишь долго смотрел на них и не шевелился. Они стояли против него и

старались быть (при нем и ради него) веселыми, чтобы хоть немного взбодрить его. Только чуть погодя, словно смилостивившись над ними, он прискакал к ним на трех ногах и дал надеть на себя ошейник.

— Тереза, — сказал Томаш, — я знаю, как ты с некоторых пор ненавидишь фотоаппарат. Но сегодня возьми его с собой.

Тереза послушалась. Она открыла шкаф, чтобы найти в нем засунутый куда–то и забытый аппарат, и Томаш добавил: — Когда–нибудь эти фотографии немало порадуют нас. Каренин был частью нашей жизни.

— Как это был ? — вскричала Тереза, словно ее ужалила змея. Аппарат лежал перед ней на дне ящика, но она не нагибалась к нему: — Не возьму его. Не хочу думать, что Каренина не будет. Ты говоришь о нем уже в прошедшем времени!

— Не сердись, — сказал Томаш.

— Я не сержусь, — сказала Тереза спокойно. — Я и сама не раз ловила себя на том, что думаю о нем в прошедшем времени. Уже не раз одергивала себя. И именно поэтому не возьму аппарат.

Они шли по дороге и не разговаривали. Не говорить — это был единственный способ не думать о Каренине в прошедшем времени. Они

не спускали с него глаз и постоянно были с ним. Ждали, когда он улыбнется. Но он не улыбался, просто шел рядом и все время на трех ногах.

— Он это делает только ради нас, — сказала Тереза. — Ему не хотелось гулять. Пошел только, чтобы доставить нам радость.

То, что она сказала, было печально, и все–таки, даже не сознавая того, они были счастливы. И были счастливы совсем не вопреки печали, а благодаря печали. Они держались за руки, и перед глазами у них был один и тот же образ: образ хромающего пса, который являл собою десять лет их жизни.

Они прошли еще сколько–то. Потом, к их большому огорчению, Каренин остановился и повернул обратно. Пришлось возвращаться.

В тот же день, а может, на следующий Тереза, неожиданно войдя в комнату к Томашу, застала его за чтением письма. Услышав стук двери, Томаш отодвинул письмо в сторону, к другим бумагам. Она заметила это. А при уходе не ускользнуло от нее и то, как он украдкой засовывает письмо в карман. Однако про конверт он забыл. Оставшись дома одна, она разглядела его. Адрес был написан незнакомой рукой, очень изящной и, похоже, женской.

Когда они позднее увиделись, она как бы невзначай спросила его, пришла ли почта.

— Нет, — сказал Томаш, и Терезу охватило отчаяние, отчаяние тем более сильное, что она уже отвыкла от него. Нет, она не думает, что у Томаша здесь есть какая–то тайная любовница. Это практически невозможно. Она знает о каждой его свободной минуте. Но вполне вероятно, что у него осталась какая–то женщина в Праге, о которой он думает и которая волнует его, хотя уже и не может оставить запах своего лона в его волосах. Тереза не думает, что Томаш способен покинуть ее ради этой женщины, но ей кажется, что счастье двух последних лет их жизни в деревне снова обесценено ложью.

К ней возвращается старая мысль: ее дом не Томаш, а Каренин. Кто будет заводить куранты их дней, когда его здесь не станет?

Уносясь мыслями в будущее, в будущее без Каренина, Тереза чувствовала себя в нем одинокой.

Каренин лежал в уголке и стонал. Тереза пошла в сад. Она осмотрела траву меж двумя яблонями и представила себе, что там они похоронят Каренина. Она врылась каблуком в землю и прочертила им в траве прямоугольник. На этом месте будет его могила.

— Ты что делаешь? — спросил ее Томаш, заставший ее за этим занятием так же врасплох, как и она его за чтением письма двумя–тремя часами раньше.

Она не ответила. Он заметил, что у нее после долгого времени снова дрожат руки. Он взял их в свои. Она вырвалась.

— Это могила для Каренина?

Она не ответила.

Ее молчание раздражало его. Он вскипел:

— Ты упрекаешь меня, что я думаю о нем в прошедшем времени! А что ты сама делаешь? Ты хочешь уже его похоронить!

Она повернулась и пошла в дом.

Томаш ушел в свою комнату, хлопнув за собой дверью.

Тереза открыла дверь и сказала:

— Ты думаешь только о себе, но хотя бы сейчас ты подумал бы и о нем. Он спал, а ты разбудил его. Он опять начнет стонать.

Она понимала, что несправедлива (пес не спал), что ведет себя как самая вульгарная баба, которая хочет ранить и знает как.

Томаш на цыпочках вошел в комнату, где лежал Каренин. Но она не хотела оставлять его с псом. Они оба склонились над ним, она с одной,

он с другой стороны. Но в этом общем движении не было примирения. Напротив. Каждый из них был сам по себе. Тереза со своим псом, Томаш со своим.

Я боюсь, что вот так, разделенные, каждый сам по себе, они останутся с ним до его последнего часа.

4

Почему для Терезы так важно слово «идиллия»?

Воспитанные на мифологии Ветхого Завета, мы могли бы сказать, что идиллия есть образ, который сохранился в нас как воспоминание о Рае: жизнь в Раю не походила на бег по прямой, что ведет нас в неведомое, она не была приключением. Она двигалась по кругу среди знакомых вещей. Ее однообразие было не скукой, а счастьем.

Покуда человек жил в деревне, на природе, окруженный домашними животными, в объятиях времен года и их повторения, с ним постоянно оставался хотя бы отблеск этой райской идиллии. Поэтому Тереза, встретившись в курортном городе с председателем кооператива, вдруг увидела перед глазами образ деревни (деревни, в какой никогда не жила и какую не знала) и была очарована. Было так, словно она смотрела назад, в

направлении Рая.

Адам в Раю, наклонившись над источником, не знал еще, что то, что он видит, он сам. Он не понимал бы Терезы, когда она еще девушкой, стоя перед зеркалом, старалась разглядеть сквозь тело свою душу. Адам был как Каренин. Тереза часто забавлялась тем, что подводила пса к зеркалу. Он не узнавал своего отражения и относился к нему с полным безразличием и невниманием.

Сравнение Каренина с Адамом приводит меня к мысли, что в Раю человек не был еще человеком. Точнее сказать: человек не был еще выброшен на дорогу человека. Мы же давно выброшены на нее и летим сквозь пустоту времени, совершаемого по прямой. Но в нас постоянно присутствует тонкая нить, которая связывает нас с далеким мглистым Раем, где Адам склоняется над источником, и, нисколько не похожий на Нарцисса, не осознает даже, что это бледное желтое пятно, появившееся на водной глади, и есть он сам. Тоска по Раю — это мечта человека не быть человеком.

Еще ребенком, натыкаясь на материны вкладыши, запачканные менструальной кровью, Тереза всегда испытывала отвращение и ненавидела мать за то, что ей не хватало стыда скрывать их. Но у Каренина, который на самом деле был сукой,

тоже случалась менструация. Она приходила раз в полгода и продолжалась две недели. Чтобы он не пачкал квартиру, Тереза клала ему между ног большой кусок ваты и надевала старые трусы, ловко привязывая их длинной лентой к телу. И все эти две недели она не переставала смеяться над его экипировкой.

Отчего же получалось, что менструация собаки вызывала в ней веселую нежность, тогда как собственная менструация была ей омерзительна? Ответ представляется мне несложным: собака никогда не была изгнана из Рая. Каренин ничего не знал о дуализме тела и души, как и не знал, что такое омерзение. Поэтому Терезе с ним так хорошо и спокойно. (И поэтому так опасно превратить животное в «machina animata», а корову в автомат для производства молока: Человек таким образом перерезает нить, которая связывала его с Раем, и в его полете сквозь пустоту времени уже ничто не в состоянии будет ни остановить его, ни утешить.)

Из туманной путаницы этих идей возникает кощунственная мысль, от какой Тереза не может избавиться: Любовь, которая соединяет ее с Карениным, лучше, чем та, что существует между нею и Томашем. Лучше, отнюдь не больше. Тереза

не хочет обвинять ни Томаша, ни себя, не хочет утверждать, что они могли бы любить друг друга больше . Скорее, ей кажется, человеческие пары созданы так, что их любовь a priori худшего сорта, чем может быть (по крайней мере в ее лучших примерах) любовь между человеком и собакой, это, вероятно, не запланированное Создателем чудачество в человеческой истории.

Такая любовь бескорыстна: Тереза от Каренина ничего не хочет. Даже ответной любви от него не требует. Она никогда не задавалась вопросами, которые мучат человеческие пары: он любит меня? любил ли он кого–нибудь больше меня? он больше меня любит, чем я его? Возможно, все эти вопросы, которые обращают к любви, измеряют ее, изучают, проверяют, допытывают, чуть ли не в зачатке и убивают ее. Возможно, мы не способны любить именно потому, что жаждем быть любимыми, то есть хотим чего–то (любви) от другого, вместо того чтобы отдавать ему себя без всякой корысти, довольствуясь лишь его присутствием.

И вот что: Тереза приняла Каренина таким, каким он был, она не хотела переделывать его по своему подобию, она наперед согласилась с его собачьим миром, она не пыталась отнять его у него, не ревновала его к каким–то тайным

уловкам. Она воспитывала его не для того, чтобы переделать (как муж хочет переделать жену, а жена — мужа), а лишь для того, чтобы обучить его элементарному языку, который позволил бы им понимать друг друга и вместе жить.

И еще одно: любовь к собаке — чувство добровольное, никто не принуждает Терезу любить Каренина. (Она снова думает о матери и сожалеет обо всем, что произошло между ними: будь мать одной из незнакомых женщин в деревне, ее веселая грубость, возможно, казалась бы ей симпатичной! Ах, была бы мать чужой женщиной! С детства Тереза стыдилась того, что мать оккупировала черты ее лица и конфисковала ее «я». Но самое худшее, что извечный приказ «люби отца и мать!» принудил ее согласиться с этой оккупацией и эту агрессию называть любовью! Мать неповинна в том, что Тереза разошлась с ней. Она разошлась с ней не потому, что мать была такой, какой была, а потому, что была матерью.)

Но самое главное: Ни один человек не может принести другому дар идиллии. Это под силу только животному, благо оно не было изгнано из Рая. Любовь между человеком и собакой — идиллическая любовь. В ней нет конфликтов, душераздирающих сцен, в ней нет развития.

Каренин окружил Терезу и Томаша своей жизнью, основанной на повторении, и ожидал от них того же.

Если бы Каренин был человеком, а не собакой, он наверняка давно бы сказал Терезе: «Послушай, мне уже надоело каждый день носить во рту рогалик. Не можешь ли ты придумать для меня чего–нибудь новенького?» В этой фразе заключено всяческое осуждение человека. Человеческое время не обращается по кругу, а бежит по прямой вперед. И в этом причина, по которой человек не может быть счастлив, ибо счастье есть жажда повторения.

Да, счастье — жажда повторения, говорит себе Тереза. Когда председатель кооператива отправляется после работы прогулять своего Мефисто и встречает Терезу, он никогда не упускает случая сказать: «Тереза, почему он не появился в моей жизни раньше? Мы бы вместе за девчатами бегали! Какая ж бабенка устоит перед двумя хряками!» Он выдрессировал своего кабанчика так, что после этих слов тот начинал хрюкать. Тереза смеялась, хотя уже за минуту до этого знала, что скажет председатель. Шутка в повторении не утрачивала своего очарования. Напротив. В контексте идиллии даже юмор подчинен сладкому

закону повторения.

5

У собаки по сравнению с людьми нет особых преимуществ, но одно из них стоит многого: эвтаназия в ее случае законом не возбраняется; животное имеет право на милосердную смерть. Каренин ходил на трех ногах и все больше и больше времени проводил в закутке. Стонал. Супруги, Тереза и Томаш, были заодно в том, что нельзя заставлять его понапрасну страдать. Однако, соглашаясь с этим в принципе, они не могли избавиться от томительной неуверенности: как отгадать мгновение, когда страдание уже излишне? Как определить минуту, когда жить уже не имеет смысла?

Не был бы хоть Томаш врачом! Тогда можно было бы спрятаться за кого–то третьего. Можно было бы пойти к ветеринару и попросить его сделать собаке инъекцию.

Как это страшно — взять на себя роль смерти! Томаш долго настаивал на том. что сам он никакой инъекции делать Каренину не станет, а позовет ветеринара. Но потом вдруг понял, что может предоставить псу привилегию, которая не доступна ни одному человеку: смерть придет к нему в образе тех, кого он любил.

Каренин стонал всю ночь. Утром, ощупав его, Томаш сказал Терезе:

— Ждать больше не будем.

Было утро, вскоре оба должны были уйти из дому. Тереза вошла в комнату посмотреть на Каренина. До сих пор он лежал безучастно (даже не обращая внимания на то, что Томаш осматривал его ногу), но сейчас, услышав, что открывается дверь, поднял голову и посмотрел на Терезу.

Она не могла вынести этот взгляд, чуть ли не испугалась его. Так Каренин никогда не смотрел на Томаша, так он смотрел только на нее. Но никогда с таким напряжением, как на этот раз. Это не был отчаянный или грустный взгляд, нет. Это был взгляд страшной, невыносимой доверчивости. Этот взгляд выражал собою жадный вопрос. Всю жизнь Каренин ждал Терезиного ответа и сейчас сообщал ей (гораздо настойчивее, чем когда — либо), что он по–прежнему готов узнать от нее правду. (Все, что исходит от Терезы, для него — правда: и когда она говорит ему «садись!» или «ложись!» — это тоже правды, с которыми он полностью соглашается и которые дают его жизни смысл.)

Этот взгляд ужасной доверчивости был совсем коротким. Минутой позже он снова положил

голову на лапы. Тереза знала, что вот так на нее уже никто не посмотрит.

Они никогда не давали ему сладостей, но два–три дня назад Тереза купила для него несколько плиток шоколаду. Сейчас она развернула их, вынула из фольги, разломала и положила рядом. Подставила к ним и миску с водой, чтобы у него было все, когда он останется на какое–то время один. Взгляд, которым он только что посмотрел на нее, словно бы утомил его. Он уже не поднял головы, хотя весь был обложен шоколадом.

Она легла к нему на пол и обняла его. Он очень медленно и устало обнюхал ее и раз, другой лизнул. Она приняла это облизывание с закрытыми глазами, точно хотела навсегда запомнить его. Она повернула голову, чтобы он лизнул ее и в другую щеку.

Потом ей пришлось уйти к своим телкам. Вернулась она только после обеда. Томаша дома не было. Каренин лежал, все еще окруженный шоколадными плитками, и, хоть слышал, что она пришла, головы не поднял. Его больная нога отекла, и опухоль лопнула в новом месте. Под шерстью появилась светло–красная (не похожая на кровь) капелька.

Она снова легла к нему на пол. Обняла его од-

ной рукой и закрыла глаза. Потом услышала, что кто–то стучится в дверь. Раздалось: «Пан доктор, пан доктор, здесь кабанчик и его председатель!» Она не в силах была ни с кем говорить. Не шевельнулась, не открыла глаз. Послышалось опять: «Пан доктор, хряки пришли!» — и затем снова воцарилась тишина.

Томаш появился только через полчаса. Он молча прошел прямо в кухню и стал готовить инъекцию. Когда он вошел в комнату, Тереза уже стояла, а Каренин с трудом поднимался с полу. Увидев Томаша, он слегка вильнул хвостом.

— Посмотри, — сказала Тереза, — он все еще улыбается!

Она сказала эту фразу с мольбой, словно хотела ею еще попросить о небольшой оттяжке, но не настаивала на этом.

Тереза медленно постелила на тахте простыню. Простыня была белая, усеянная маленькими лиловыми цветочками. Впрочем, все уже было у нее подготовлено и продумано, словно смерть Каренина она представляла себе за много дней наперед. (Ах, как это ужасно, мы, собственно, заранее мечтаем о смерти тех, кого любим!)

У Каренина уже не было сил вспрыгнуть на тахту. Они обхватили его и вместе подняли.

Тереза положила его на бок, Томаш осмотрел его ногу. Искал место, где вена выступала бы явственнее всего. В этом месте он ножницами выстриг шерсть.

Тереза стояла на коленях у тахты и держала голову Каренина у самого своего лица.

Томаш попросил ее как можно крепче сжать заднюю ногу над веной, слишком тонкой для того, чтобы ввести иглу. Тереза держала лапу Каренина, не отстраняя лица от его головы. Она не переставала тихо разговаривать с ним, и он не думал ни о чем, кроме нее. Ему не было страшно. Он еще два раза лизнул ее в лицо. А она шептала ему:

— Не бойся, не бойся, там у тебя ничего не будет болеть, там тебе будут сниться белки и зайцы, там будут коровки, и Мефисто там будет, не бойся…

Томаш ввел иглу в вену и нажал поршень. Каренин чуть дернул ногой, задышал учащенно, а через несколько секунд дыхание внезапно оборвалось. Тереза стояла на коленях у тахты и прижималась лицом к его голове.

Потом им снова пришлось уйти на работу, а пес остался лежать на тахте на белой простыне в лиловых цветочках.

Вечером они вернулись. Томаш пошел в сад.

Нашел между двумя яблонями четыре линии прямоугольника, который несколькими днями раньше прочертила там каблуком Тереза. Стал копать, точно придерживаясь предписанного размера. Хотел, чтобы все было так, как желала Тереза.

Она осталась дома с Карениным. Боялась, как бы не похоронили его живым. Она приложила ухо к его носу, и ей показалось, что она слышит слабенькое дыхание. Чуть отойдя, увидела, что его грудь слегка вздымается.

(Нет, это она слышала собственное дыхание, приводившее в незаметное движение ее тело, и потому у нее создалось впечатление, что двигается грудь собаки.)

Она нашла в сумке зеркальце и приставила его к носу Каренина. Зеркальце было таким захватанным, что ей почудилось, будто оно запотело от его дыхания.

— Томаш, он жив! — закричала она, когда Томаш в грязных ботинках вернулся из сада.

Он наклонился к нему и покачал головой.

Каждый из них взял с разных концов простыню, на которой лежал пес. Тереза у ног, Томаш у головы. Они подняли его и понесли в сад. Он с лужицей пришел в нашу жизнь и с лужицей

ушел из нее, подумала Тереза и порадовалась, что чувствует в руках эту влажность, последний песий поклон.

Они донесли его до яблонь и опустили в яму. Тереза наклонилась над ней и расправила простыню так, чтобы она покрывала его целиком. Ей казалось невыносимым, чтобы земля, которой сейчас забросают Каренина, упала на его голое тело.

Потом она ушла в дом и возвратилась с ошейником, поводком и горстью шоколада, так и остававшимся с утра нетронутым на полу. Все это она бросила к нему в яму.

Возле ямы была куча свежевырытой земли. Томаш взял в руку лопату.

Тереза вспомнила свой сон: Карелии родил два рогалика и одну пчелу. Эта фраза прозвучала вдруг как эпитафия. Она представила себе здесь между двумя яблонями памятник с надписью: «Здесь лежит Каренин. Он родил два рогалика и одну пчелу».

В саду был полумрак, время между днем и вечером, на небе стояла бледная луна, лампа, забытая в комнате мертвых.

В заляпанных грязью ботинках они относили заступ и лопату в чулан, где были уложены ору-

дия: грабли, кирки, мотыги.

6

Он сидел в своей комнате, где обычно читал книгу. В такие минуты Тереза подходила сзади, склонялась к нему, прижималась щекой к его лицу. Проделав сегодня то же самое, она увидела, что Томаш смотрит вовсе не в книгу. Перед ним лежало письмо, и, хоть оно состояло из пяти напечатанных на машинке строк, он не сводил с него неподвижного взгляда.

«Что это?» — спросила Тереза, охваченная тревогой.

Не поворачивая головы, Томаш взял письмо и подал ей. В письме говорилось, что еще тем же днем он обязан прибыть в соседний город на аэродром.

Наконец он повернулся к Терезе, и она прочла в его глазах тот же ужас, что испытывала и она.

«Я поеду с тобой», — сказала она.

Он покачал головой: «Они вызывают только меня».

«Нет, я поеду с тобой», — повторяла она.

Поехали они на Томашевом пикапе. За минуту оказались на взлетном поле. Стоял туман. Сквозь него едва вырисовывались несколько самолетов. Они ходили от одного к другому, но все были с

запертыми дверями и недоступны. Наконец у одного из них вход наверху оказался открытым, к нему вела приставная лестница. Они взошли по пей, в двери появился стюард и пригласил их пройти внутрь. Самолет был маленький, от силы — пассажиров на тридцать, и совершенно пустой. Они вошли в проход между креслами, все время держась друг за друга и не проявляя особого интереса к окружающему. Сели на два кресла рядом, и Тереза положила голову на плечо Томаша. Первоначальный ужас рассеивался, вытесняясь грустью.

Ужас — это шок, минута полного ослепления. Ужас лишен даже малейшего следа красоты. Мы не видим ничего, кроме резкого света неведомого события, какое ждет нас впереди. Грусть, напротив, предполагает то, что мы знаем. Томаш и Тереза знали, что их ожидает. Свет ужаса утратил свою резкость, и мир купался в голубом нежном сиянии, в котором все вокруг становилось красивее, чем было раньше.

Читая письмо, Тереза не испытывала к Томашу никакой любви, она просто знала, что ни на минуту не смеет покинуть его: ужас подавил все остальные чувства и ощущения. Теперь, когда она прижималась к нему (самолет плыл в тучах),

испуг прошел, и она внимала своей любви, осознавая, что эта любовь без границ и без меры.

Наконец, самолет приземлился. Они встали и пошли к двери, которую открыл стюард. По–прежнему обнимая друг друга за талию, они остановились наверху перед трапом. Внизу увидели трех мужчин в масках на лицах и с ружьями в руках. Колебания были напрасны, выхода не было. Они стали медленно спускаться и как только ступили на площадку аэродрома, один из мужчин поднял ружье и прицелился. Никакого выстрела не последовало, но Тереза почувствовала, как Томаш, только что прижимавшийся к ней и обнимавший ее за талию, падает наземь.

Она привлекла его к себе, но удержать не смогла: он упал на бетон посадочной площадки. Она склонилась над ним. Ей хотелось кинуться на него и прикрыть его своим телом, но тут произошло нечто поразительное: у нее на глазах его тело стало быстро уменьшаться. Это было так невообразимо, что она оторопела и застыла как вкопанная. Томашево тело становилось все меньше и меньше, вот оно уже совсем не походило на Томаша, от него осталось что–то ужасно маленькое, и это маленькое начало двигаться и, ударившись в бегство, помчалось по летному

полю.

Мужчина, что выстрелил, снял маску и приветливо улыбнулся Терезе. Потом повернулся и побежал за этой маленькой вещицей, которая сновала туда–сюда, словно увертывалась от кого–то и отчаянно искала укрытия. Мужчина гонялся за ней, пока не бросился вдруг на землю: погоня на этом прекратилась.

Потом он встал и направился к Терезе. В руках у него было какое–то маленькое существо, дрожавшее от страха. Им оказался заяц. Мужчина протянул его Терезе. В эту минуту испуг и грусть отпустили ее, и она почувствовала себя счастливой, что держит зверушку в объятиях, что эта зверушка ее и она может прижимать ее к телу. От счастья она расплакалась. Она плакала и плакала, не видя ничего сквозь слезы, и уносила зайчика домой с ощущением, что теперь она у самой цели, что она там, где хотела быть, там, откуда уже не убегают.

Она шла по пражским улицам и без труда отыскала свой дом. Она жила там с мамой и папой, когда была маленькой. Но ни мамы, ни папы там не было. Встретили ее там лишь два старых человека, которых она никогда не видела, но знала, что это прадедушка и прабабушка. У обоих

лица были морщинистые, как кора деревьев, и Тереза обрадовалась, что будет жить с ними. Но теперь ей хотелось побыть совсем одной со своей зверушкой. Она безошибочно нашла комнату, в которой жила с пяти лет, когда родители решили, что она уже достойна иметь свою детскую.

Там были тахта, столик и стул. На столике стояла зажженная лампа, что ждала ее все это время. На лампе сидела бабочка с раскрытыми крыльями, на которых были нарисованы два больших глаза. Тереза знала, что она у цели. Она легла на тахту и прижала зайчика к лицу.

7

Он сидел у стола, где обычно читал книги. Перед ним лежал открытый конверт с письмом. Он говорил Терезе:

— Я время от времени получаю письма, о которых не хотел тебе говорить. Пишет мне сын. Я всегда стремился, чтобы моя и его жизнь никогда не пересекались. А посмотри, как судьба отомстила мне. Уже несколько лет, как его выгнали из университета. Он тракторист в какой–то деревне. Хоть наши жизни и не соприкоснулись, но шли в одном направлении, как две параллельные прямые.

— А почему ты не хотел говорить об этих пись-

мах? — спросила Тереза, почувствовав в себе великое облегчение.

— Не знаю. Было как–то неприятно.

— Он часто пишет тебе?

— Время от времени.

— И о чем?

— О себе.

— И это интересно?

— Вполне. Мать, как ты знаешь, была ярая коммунистка. Он давно разошелся с ней. Подружился с людьми, которые оказались в том же положении, что и мы. Все они тянулись к политической деятельности. Некоторые из них сейчас арестованы. Но он и с ними порвал. Смотрит теперь на них со стороны, как на «вечных революционеров».

— Значит, он смирился с режимом?

— Вовсе нет. Он верует в Бога и полагает, что в этом — ключ ко всему. Мы все, дескать, должны в своей каждодневной жизни держаться норм, данных религией, и режим вообще не принимать во внимание. Полностью игнорировать. Веруя в Бога, мы способны, на его взгляд, в любых обстоятельствах личным поведением сотворить то, что он называет «царствием Божиим на земле». Он объясняет мне, что церковь в нашей стране — единственное добровольное сообщество лю-

дей, которое ускользает от контроля государства. Любопытно, то ли он примкнул к церкви, чтобы легче было сопротивляться режиму, то ли действительно верует в Бога.

— Так спроси его об этом!

Томаш продолжал:

— Я всегда восхищался верующими. Думал, что у них какой–то особый дар сверхчувственного восприятия, в котором мне отказано. Что–то вроде ясновидцев. Но теперь вижу по своему сыну, что верить довольно просто. Когда ему было плохо, за него вступились католики, и этого ему оказалось достаточно, чтобы обратиться к вере. Может, он решил верить из благодарности. Человек принимает решения на удивление просто.

— Ты ни разу не ответил ему на письма?

— Он не дал мне обратного адреса.

Но затем добавил:

— На почтовом штемпеле, правда, есть название деревни. Можно было бы послать письмо на адрес тамошнего кооператива.

Терезе стало стыдно перед Томашем за свои подозрения, и она постаралась искупить вину торопливой мягкостью к его сыну:

— Почему ты ему не напишешь? Почему не позовешь?

— Он похож на меня, — сказал Томаш. — Когда говорит, кривит верхнюю губу точно так же, как я. Видеть, как мой рот говорит о Господе Боге, для меня было бы крайне странно.

Тереза рассмеялась.

Томаш посмеялся вместе с ней.

Тереза сказала:

— Не будь ребячливым, Томаш! Это такая старая история. Ты и твоя первая жена. Что мне до этого? Что у меня с этим общего? Почему тебе надо обижать кого–то только потому, что в молодости у тебя был дурной вкус?

— Сказать откровенно, встреча с ним пугает меня. Это главная причина, почему я не стремлюсь к ней. Не знаю, чем вызвано было такое упрямое нежелание видеться с ним. Подчас придешь к какому–то решению, даже сам не понимая как, а потом это решение существует уже в силу собственной инерции. И год от года его труднее изменить.

— Позови его, — сказала Тереза.

В тот день, возвращаясь из коровника после обеда домой, она услыхала с дороги голоса. Подойдя ближе, увидела пикап Томаша. Согнувшись, он отвинчивал колесо. Несколько мужчин толпились вокруг, глазели и ждали, покуда Томаш

управится с починкой.

Тереза стояла и не могла отвести взгляд: Томаш казался старым. У него поседели волосы, и неловкость, с какой он работал, была не неловкостью врача, ставшего шофером, а неловкостью человека уже немолодого.

Она вспомнила свой недавний разговор с председателем. Он говорил ей, что машина Томаша в чудовищном состоянии. Говорил это в шутку, вовсе не жаловался, скорее выглядел озабоченным. «Томаш лучше разбирается в том, что внутри тела, чем в том, что внутри мотора», — смеясь сказал он. Потом признался, что уже не раз и не два просил у властей разрешить Томашу снова врачебную практику в здешнем районе. Однако убедился, что полиция этого никогда не позволит.

Она отошла за ствол дерева, чтобы никто из этих людей у машины не увидел ее, и продолжала смотреть на Томаша. Сердце ее сжималось от укоров: из–за нее он покинул Прагу. И даже здесь она не дает ему покоя, еще над умирающим Карениным мучила его тайными подозрениями.

Она всегда мысленно упрекала его, что он недостаточно ее любит. Свою собственную любовь она считала чем–то, что исключает всякое сомнение,

а его любовь — простой снисходительностью.

Теперь она видит, что была несправедлива: Если бы она и впрямь любила Томаша великой любовью, она должна была бы остаться с ним за границей! Там Томаш был бы счастлив, там перед ним открылась бы новая жизнь! А она уехала и бросила его там! Правда, она была тогда убеждена, что делает это из великодушия, не желая быть ему в тягость. Но не было ли это великодушие просто–напросто уверткой? В действительности же она знала, что он вернется к ней! Она увлекала его за собой все ниже и ниже, подобно вилам, что заманивают сельчан в болота и топят там. Воспользовавшись минутой, когда у него болел желудок, она вынудила у него обещание уехать вместе в деревню! Какой коварной она умела быть! Она заманивала его за собой, словно вновь и вновь хотела проверить, любит ли он ее, она заманивала его так долго, пока он не оказался здесь: седой и усталый, с искореженными руками, которые уже никогда не смогут держать скальпель.

Они очутились там, откуда уже никуда не уйти. Куда они могут уйти? За границу их не выпустят. В Прагу нет возврата, никакой работы им там не дадут. А перебраться в другую деревню — какой

толк?

Бог мои, неужто и вправду надо было дойти до самого края, чтобы поверить, что он любит ее?

Наконец ему удалось надеть колесо. Он сел за руль, мужчины вскочили в кузов, раздался шум мотора.

Придя домой, Тереза решила принять ванну. Она лежала в горячей воде и размышляла о том, что всю жизнь пользовалась своей слабостью во вред Томашу. Мы все склонны считать силу виновником, а слабость — невинной жертвой. Но Тереза сейчас понимает: в их жизни все было наоборот! И ее сны, словно зная о единственной слабости этого сильного человека, выставляли перед ним напоказ ее страдания, чтобы принудить его пасовать! Терезина слабость была агрессивной и принуждала его постоянно капитулировать, пока наконец он перестал быть сильным и превратился в зайчика на ее руках! Она непрерывно думала о своем сне.

Она встала из ванны и пошла надеть свое самое красивое платье. Ей хотелось понравиться Томашу, доставить ему радость.

Она едва успела застегнуть последнюю пуговицу, как Томаш шумно ввалился в дом вместе с председателем и необычайно бледным молодым

крестьянином.

— Быстро, — кричал Томаш, — крепкой водки!

Тереза бросилась и принесла бутылку сливовицы. Налила рюмку, и молодой человек залпом выпил ее.

Меж тем она узнала, что произошло: парень на работе вывихнул руку в плече и выл от боли; никто не знал, чем помочь ему, и потому позвали Томаша, который одним движением вправил руку в сустав.

Парень опрокинул в себя еще одну рюмку и сказал Томашу:

— Твоя хозяйка сегодня чертовски хороша!

— Балда, — сказал председатель, — пани Тереза всегда хороша!

— Что она всегда хороша, дело известное, — сказал парень, — но сегодня она и одета отлично. На вас еще никогда не было этого платья. Вы куда–то собираетесь?

— Нет, не собираюсь. Надела его ради Томаша.

— Доктор, красиво живешь, — смеялся председатель. — Моей старухе и на ум не придет ради меня расфуфыриться.

— Вот потому–то ты и ходишь гулять со свиньей, а не с женой, — сказал парень и сам долго смеялся.

— А как поживает Мефисто? — спросил Томаш. — Я не видел его по меньшей мере… — он задумался, — по меньшей мере целый час!

— Скучает обо мне, — сказал председатель.

— Смотрю на вас в этом платье, и хочется с вами потанцевать, — сказал парень Терезе. — Пан доктор, отпустили бы вы ее со мной танцевать?

— Поедемте все потанцуем, — сказала Тереза.

— Ты поехал бы? — спросил молодой человек Томаша.

— А куда? — спросил Томаш.

Молодой человек назвал соседний город, где в гостинице был бар с танцевальной площадкой.

— Поедешь с нами! — повелительным тоном сказал он председателю, а поскольку опрокинул в себя уже три рюмочки сливовицы, добавил: — А коли Мефисто скучает, возьмем и его с собой! Привезем туда двух кабанчиков! Все бабоньки обомлеют от страсти, как увидят эту парочку!

— Если не будете стыдиться Мефисто, так я еду с вами, — сказал председатель, и все они сели в пикап Томаша. Томаш — за руль, возле него Тереза, а мужчины расположились позади них, прихватив с собой початую бутылку сливовицы. Уже за деревней председатель вспомнил, что они забыли про Мефисто. Крикнул Томашу, чтобы

вернулись.

— Не надо, одного кабана хватит, — сказал парень, и председатель успокоился.

Смеркалось. Дорога вела серпантином вверх.

Они доехали до города и остановились перед гостиницей. Тереза с Томашем никогда здесь не были. Они спустились по лестнице в полуподвальный этаж, где был бар со стойкой, площадка для танцев и несколько столиков. Человек лет шестидесяти играл на фортепьяно, и такого же возраста дама — на скрипке. Играли сорокалетней давности шлягеры. На площадке танцевало пар пять.

Молодой человек огляделся и сказал:

— Тут ни одной нет для меня, — и тотчас пригласил танцевать Терезу.

Председатель сел с Томашем за свободный столик и заказал бутылку вина.

— Мне нельзя! Я за рулем! — напомнил ему Томаш.

— Ерунда, — сказал председатель, — останемся тут ночевать, — и пошел заказать два номера.

Когда Тереза с молодым человеком вернулась к столику, ее тут же пригласил танцевать председатель, а уж потом наконец она пошла с Томашем.

Танцуя, она сказала ему:

— Томаш, все зло в твоей жизни исходит от меня. Ради меня ты попал даже сюда. Так низко, что ниже уже и некуда.

Томаш сказал ей:

— Что ты дуришь? О каком «низко ” ты говоришь?

— Останься мы в Цюрихе, ты оперировал бы больных.

— А ты была бы фотографом.

— Нелепое сравнение, — сказала Тереза. — Твоя работа для тебя значила все, тогда как я могу делать что угодно, мне это совершенно безразлично. Я не потеряла абсолютно ничего. Ты же потерял все.

— Тереза, — сказал Томаш. — ты разве не заметила, что я здесь счастлив?

— Твоим призванием была хирургия, сказала она.

— Тереза, призвание чушь. У меня нет никакого призвания. Ни у кого нет никакого призвания. И это огромное облегчение — обнаружить, что ты свободен, что у тебя нет призвания.

В искренности его голоса сомневаться было нельзя. Припомнилась сцена, которую она наблюдала сегодня после обеда: он чинил машину и казался таким старым. Она достигла желанной

цели: она же всегда мечтала, чтобы он был старым. Снова вспомнился ей зайчик, которого она прижимала к лицу в своей детской.

Что значит стать зайчиком? Это значит потерять всякую силу. Это значит, что ни один из них уже не сильнее другого.

Они двигались танцевальными шагами под звуки фортепьяно и скрипки. Тереза склонила голову на его плечо. Точно так на его плече лежала ее голова, когда они вместе были в самолете, уносившем их сквозь туман. Она испытывала сейчас такое же удивительное счастье и такую же удивительную грусть, как и тогда. Грусть означала: мы на последней остановке. Счастье означало: мы вместе. Грусть была формой, счастье — содержанием. Счастье наполняло пространство грусти.

Они вернулись к столу. Она еще два раза танцевала с председателем и один раз с молодым человеком, который был уже так пьян, что упал с ней на танцевальной площадке.

Потом они все поднялись наверх и разошлись по своим номерам.

Томаш повернул ключ и зажег люстру. Она увидела две придвинутые вплотную кровати, у одной из них ночной столик с лампой, из–под абажура которой выпорхнула спугнутая све-

том большая ночная бабочка и закружила по комнате. Снизу чуть слышно доносились звуки фортепьяно и скрипки.

Вальс на прощание

День первый

1

Наступает осень, деревья желтеют, краснеют, буреют; небольшой курортный городок в живописной долине словно объят пожаром. Вдоль колоннады, наклоняясь к источникам, расхаживают женщины. Все они бесплодны и лелеют надежду здесь, на водах, избавиться от своего недуга.

Мужчин среди пациентов значительно меньше, но мелькают и они, ибо курорт творит не только гинекологические чудеса, но якобы укрепляет и сердце. И все же — на одного пациента здесь приходится не менее девяти пациенток, что доводит до бешенства незамужнюю молодую женщину, медсестру Ружену, обслуживающую в бассейне бесплодных дам.

Ружена родилась здесь, здесь у нее родители, и кто знает, посчастливится ли ей когда–нибудь вырваться из этого городка, кишмя кишащего женщинами!

Понедельник, рабочий день на исходе. Обернуть еще нескольких толстух в простыни, уложить их на кушетки, обтереть им лицо, улыб-

нуться, и дело с концом.

— Ну что, позвонишь? — спрашивают Ружену ее сослуживицы; одна из них рыхлая тридцатипятилетняя, вторая — худая и помоложе.

— А почему бы и нет? — говорит Ружена.

— Главное — не волноваться, — подбадривает ее тридцатипятилетняя и ведет за кабинки, где пациентки переодеваются; там у сестер свой шкаф, столик и телефон.

— Позвони ему домой, — говорит худая не без злорадства, и все три разражаются смехом.

Когда смех утихает, Ружена говорит:

— Я знаю только телефон его театрика.

2

Разговор был ужасным. Услыхав в трубке ее голос, он испугался.

Он всегда опасался женщин, хотя ни одна из них этому не верила, принимая его слова разве что за кокетливую шутку.

— Как поживаешь? — спросил он.

— Не очень хорошо, — ответила она.

— А в чем дело?

— Мне нужно поговорить с тобой, — патетическим тоном сказала она.

Именно этот патетический тон он ждал уже несколько лет.

— Да, — произнес он упавшим голосом. Она повторила:

— Мне очень нужно поговорить с тобой.

— Что случилось?

— Я уже не та, какой ты узнал меня. У него перехватило дыхание. Лишь минутой позже он снова спросил:

— А что такое?

— Уже шесть недель, как у меня задержка. Превозмогая себя, он сказал:

— Может, ничего особенного. Иногда такое случается, это еще ничего не значит.

— Нет, на этот раз именно так.

— Невероятно. Это просто исключено. Во всяком случае я тут ни при чем. Она оскорбилась:

— За кого ты меня принимаешь, скажи на милость!

Он боялся ее оскорбить, потому что вообще боялся ее:

— Я не собираюсь тебя оскорблять, что за глупость, зачем мне тебя оскорблять, я говорю лишь потому, что со мной это не могло случиться, тебе нечего бояться, это просто исключено, физиологически исключено.

— Что ж, не сердись, — сказала она очень оскорбленным тоном. — Прости, что побеспоко-

ила тебя.

— Нет, нет, что ты! — Он испугался, что она повесит трубку. — Это правильно, что ты позвонила! Само собой, я помогу тебе. Конечно, все можно уладить.

— В каком смысле — уладить? Он смешался, не осмеливаясь назвать вещи своими именами:

— Ну так… уладить.

— То, что ты имеешь в виду, не получится. Выкинь это из головы. Даже если испорчу себе жизнь, все равно не сделаю этого.

Его снова бросило в жар, но на сей раз он попытался чуть надавить на нее:

— Зачем же ты мне звонишь, если не хочешь говорить об этом? Ты хочешь посоветоваться со мной или сама уже все решила?

— Хочу посоветоваться.

— Я приеду к тебе.

— Когда?

— Я дам тебе знать.

— Хорошо.

— А пока будь здорова.

— Ты тоже.

Повесив трубку, он вернулся в зал, где репетировал со своим оркестром.

— Господа, репетиция окончена, — сказал он. —

Сегодня у меня нет больше сил.

3

Она положила трубку, пылая от возмущения. Ее оскорбило то, как Клима принял ее известие. Впрочем, она чувствовала себя оскорбленной уже задолго до этого.

Они познакомились два месяца назад, когда знаменитый трубач концертировал на курорте со своим оркестром. После концерта был кутеж, на который пригласили и ее. Трубач, отдав ей предпочтение перед остальными девушками, провел с нею ночь.

С тех пор он как в воду канул. Она послала ему две открытки, но он так и не ответил ей. Однажды она, оказавшись в столице, позвонила в его театрик, где, по ее сведениям, он репетировал с оркестром. Человек, отозвавшийся в трубке, попросил ее назвать свое имя и сказал, что попытается найти Климу. Вернувшись минутой позже к телефону, он сообщил, что репетиция закончилась и пан трубач уже ушел. Решив, что он скрывается от нее, она рассердилась тем больше, что уже тогда стала опасаться беременности.

— Надо же, физиологически исключено! Здорово сказано — физиологически исключено! Интересно, что он скажет, когда родится ребе-

нок!

Обе сослуживицы горячо поддакивали ей. Уже в тот день, когда в насыщенном испарениями зале она сообщила им, что прошлой ночью провела неописуемые минуты со знаменитым трубачом, он сделался достоянием всех ее сотоварок. Его призрак витал в зале, где они попеременно дежурили, и всякий раз, когда там–сям звучало его имя, они усмехались про себя, словно речь шла о ком–то, с кем они были близко знакомы. А узнав, что Ружена беременна, и вовсе преисполнились странной радости, ибо с этой минуты он стал уже неотделим от них, физически присутствуя в недрах ее тела.

— Ну ладно, ладно, успокойся, девушка, — похлопала ее по спине тридцатипятилетняя. — У меня кое–что есть для тебя. — Она тут же раскрыла перед Руженой номер иллюстрированного журнала, весьма замусоленный и захватанный. — На–ка, взгляни!

Все три женщины уставились на фотографию молодой красивой брюнетки, стоящей на сцене с микрофоном у рта.

Ружена попыталась на этих нескольких сантиметрах снимка вычислить свою судьбу.

— Я и не знала, что она такая молодая, — сказа-

ла она с опаской в голосе.

— Э, брось! — рассмеялась тридцатипятилетняя. — Этому снимку лет десять будет. Она с ним одного возраста. Куда ей до тебя!

4

На протяжении всего телефонного разговора Климу не оставляла мысль, что это ужасное известие он уже давно ожидал. Не потому, что у него был разумный повод думать, что во время этого рокового кутежа он сделал Ружене ребенка (напротив, он был уверен, что она облыжно обвинила его), но такое известие он ждал уже много лет, еще задолго до того, как познакомился с Руженой.

Ему шел двадцать первый год, когда одна влюбленная блондинка решила сказаться беременной и тем самым заставить его жениться на ней. Для него это были ужасные недели, завершившиеся желудочными спазмами и полным изнеможением. С тех пор он знает, что беременность — это удар, который может прийти откуда угодно и когда угодно, удар, от которого нет громоотвода и о котором извещают патетическим тоном по телефону (да, и в тот раз блондинка сообщила ему эту злополучную новость сперва по телефону). Событие, случившееся в его ранней молодости,

стало причиной того, что впоследствии он всегда сближался с женщинами с чувством страха (однако достаточно пылко) и после каждой любовной встречи боялся печальных последствий. Пусть он и утешался тем, что вероятность такой напасти при всей его осторожности составляет едва ли не одну тысячную процента, но он страшился и этой одной тысячной.

Однажды, соблазненный свободным вечером, он позвонил девушке, с которой не встречался два месяца. Узнав его по голосу, она воскликнула: «Господи, это ты! Я не могла дождаться твоего звонка! Мне было так нужно, чтобы ты позвонил!» — И говорила она это так многозначительно, с такой патетикой, что сердце у него сжалось от знакомого страха, и он всем существом почувствовал, что настала минута, которой он опасался. Но, полный решимости взглянуть правде в лицо незамедлительно, он пошел в наступление: «А почему ты говоришь это таким трагическим голосом?» — «У меня вчера умерла мама», — ответила она ему, и он вздохнул с облегчением, хотя знал, что чаша сия все равно не минет его.

5

— Стоп! Что все это значит? — сказал ударник, и

Клима наконец опамятовался. Он увидел вокруг себя озабоченные лица своих музыкантов и рассказал им о случившемся. Ребята, отложив свои инструменты, попытались помочь ему советами.

Первый совет был радикальным: гитарист, восемнадцатилетний паренек, заявил, что такую девушку, которая звонила их дирижеру и трубачу, нужно гнать в три шеи.

— Скажи ей, пусть делает что хочет. Ребенок не твой, так что это не твоя забота. А если ей будет угодно, анализ крови поможет доказать, от кого она залетела.

Клима заметил, что анализ крови по большей части ничего не доказывает и во внимание принимается лишь обвинение женщины.

Гитарист ответил, что до анализа крови дело не дойдет. Отвергнутая таким манером девушка сделает все возможное, чтобы не навлекать на себя лишние неприятности, а поняв, что обвиненный мужчина не трусливый тюфяк, постарается избавиться от ребенка за свой счет.

— А если бы и родила его, весь оркестр на суде присягнет, что в то время мы все с ней переспали. Пусть среди нас ищут папеньку!

Но Клима сказал:

— Знаю, что вы пошли бы и на это. Однако до

тех пор я сто раз спятил бы от неуверенности и страха. В этом деле трусливее меня нет никого под солнцем, и мне нужно обрести почву под ногами как можно скорее.

Все согласились. Подход гитариста в принципе неплох, но он не для каждого. Во–первых, он не для того, у кого шалят нервы. А во–вторых, он не годится для человека известного и богатого, ради которого женщины идут даже на самый безумный риск. И потому музыканты пришли к выводу, что вместо резкого разрыва с девушкой необходимо склонить ее к аборту силой убеждения. Но какие избрать доводы? Вырисовывались три основных метода:

Первый метод взывал к сострадательному девичьему сердцу: Клима поговорит с медсестрой, как с лучшей своей приятельницей; доверится ей во всем; скажет, что его жена серьезно больна и что не перенесет, если узнает, что ее муж прижил ребенка с другой женщиной; что и сам он, Клима, ни нравственно, ни психически не выдержит такой ситуации; и что поэтому он просит медсестру сжалиться над ним.

Возражение против этого метода было принципиальным. Нельзя строить всю стратегию на чем–то столь зыбком и негарантированном, как

сентиментальная доброта медсестры. Если сердце у девушки не столь доброе и сострадательное, этот прием обернется против Климы. Девушка почувствует себя оскорбленной чрезмерным вниманием, которое он, ее избранник, отец ее ребенка, проявляет к другой женщине, и будет вести себя еще круче.

Второй метод взывал к благоразумию девушки. Клима постарается объяснить ей, что у него нет и никогда не будет уверенности, что ребенок действительно его. Он знаком с медсестрой всего по одной встрече и толком ничего не знает о ней. Он даже не имеет понятия, встречается ли она еще с кем–то. Нет, нет, он вовсе не допускает мысли, что она пытается умышленно обмануть его, но не станет же она уверять его, что не встречается с другими мужчинами! Да если бы она и утверждала это, может ли Клима быть уверен, что она говорит правду? И благоразумно ли произвести на свет ребенка, отец которого никогда не будет уверен в своем отцовстве? И может ли Клима оставить свою жену ради ребенка, не будучи уверен, чей он? И неужели Ружена хочет, чтобы ребенку никогда не дозволено было узнать своего отца?

Но и против второго метода возражения были

весьма существенные. Контрабасист (самый старший в оркестре) заявил, что рассчитывать на здравый смысл девушки еще безрассуднее, чем рассчитывать на ее сострадание. Логика аргументации бьет мимо цели: девичье сердце содрогнется при мысли, что любимый человек не верит в правдивость ее слов. Это лишь вынудит ее еще упрямее, с плаксивой напористостью цепляться за свои слова и намерения.

Наконец, имелся еще третий метод: Клима поклянется забеременевшей девушке, что любил и любит ее. О том, что она могла зачать от кого–то другого, не должно быть и речи. Клима, напротив, обрушит на нее потоки доверия, любви и нежности. Пообещает ей все вплоть до развода. Нарисует ей их прекрасное будущее. А затем ради этого будущего попросит ее одуматься и прервать беременность. Объяснит ей, что появление ребенка было бы преждевременным и омрачило бы первую, самую светлую пору их любви.

Этим доводам недоставало того, чего в предыдущих было с избытком: логики. Можно ли поверить, что Клима настолько влюблен в медсестру, если два месяца избегал ее? Но контрабасист утверждал, что влюбленные всегда ведут себя нелогично и проще простого каким–то образом

объяснить это девушке. Под конец все сошлись на том, что третий метод, по–видимому, самый подходящий, ибо обращен к влюбленности девушки — в данной ситуации это представляется единственной относительной истиной.

6

Они вышли из театрика, на углу простились, но гитарист решил проводить Климу до самого дома. Он был единственный, кто не согласился с предложенным планом. Ему казалось, что план не достоин их дирижера, которого он боготворил.

— Если идешь к женщине, возьми с собой плетку, — цитировал он Ницше, из чьих трудов знал только эту фразу.

— Дорогой мой, — вздохнул Клима, — плетку для меня взяла она.

Гитарист предложил Климе поехать с ним на его машине в этот курортный городишко, каким–то фокусом выманить девушку на шоссе и наехать на нее.

— Кто мне докажет, что она не сама угодила под колеса.

Гитарист был самым младшим в оркестре, любил Климу, и Климу тронули его слова.

— Ты очень славный, — сказал он ему.

И гитарист, покраснев от возбуждения, стал раз-

рабатывать план до мельчайших подробностей.

— Ты очень славный, но так дело не пойдет, — сказал Клима.

— Ты еще колеблешься? Она свинья!

— Ты правда очень славный, но так дело не пойдет, — повторил Клима и простился с ним.

7

Оставшись в одиночестве, он призадумался над предложением парня и над тем, почему отверг его. Произошло это не потому, что он был благороднее гитариста, а лишь потому, что был трусливее. Страх, что ему могут пришить соучастие в убийстве, был ничуть не меньше страха, что его объявят отцом ребенка. Он представил себе наезжающую на Ружену машину, представил ее, лежащую на шоссе в луже крови, и его на миг охватило блаженное чувство облегчения. Но он знал, сколь бессмысленно предаваться игре воображения. Сейчас его серьезно заботило другое. Он думал о жене. Боже правый, завтра же у нее день рождения!

Было около шести, время, когда закрываются магазины. Он быстро забежал в цветочный и купил огромный букет роз. И невольно представил себе, каким ужасным будет этот день рождения. Ему придется притворяться, что всеми чувствами

и мыслями он с ней, придется уделять ей внимание, быть с ней нежным, развлекать ее, смеяться с ней и в то же время неустанно думать о каком–то чужом, далеком животе. Он старательно будет говорить ласковые слова, но мысль его будет далеко–далеко, заключенная во мраке чужого чрева, как в одиночной камере.

Он понял, что провести этот день рождения дома было бы свыше его сил, и посему решил не откладывая отправиться к Ружене.

Конечно, и эта идея не представлялась ему заманчивой. Горный курорт дохнул на него безлюдьем пустыни. Он никого не знал там. Кроме, пожалуй, одного американского пациента, который вел себя, как некогда богатые мещане в маленьких городках: после концерта закатил пир в своих апартаментах для всего их оркестра. Он потчевал ребят знаменитыми напитками и женским персоналом курорта, тем самым косвенно содействуя тому, что Клима связался с Руженой. Ах, если бы хоть этот человек, проявивший к нему тогда столь безграничную симпатию, был еще на курорте! Клима мысленно обратился к его образу как к спасению, ибо в минуты, какие переживал он, нет ничего более желанного для мужчины, чем дружеское понимание другого мужчины.

Он снова вернулся в театрик и заглянул к привратнику. Заказал междугородний телефонный разговор. Вскоре услышал в трубке ее голос. Сказал, что приедет к ней завтра. Ни словом не обмолвился о новости, какую она сообщила ему несколькими часами раньше. Он говорил с ней так, словно они были беззаботными любовниками.

Он спросил вскользь:

— Американец еще на курорте?

— Да, здесь, — сказала Ружена. У него отлегло от сердца, и он уже чуть веселее повторил, что никак не дождется их встречи.

— Как ты одета? — спросил он затем.

— Почему ты спрашиваешь?

Он уже много лет успешно пользовался этим трюком, флиртуя с женщинами по телефону.

— Хочу знать, как ты одета сейчас. Хочу вообразить тебя.

— Я в красном платье.

— Красное наверняка тебе очень к лицу.

— Возможно, — сказала она.

— А под ним?

Она засмеялась.

Да, каждая женщина всегда смеется, когда он об этом спрашивает.

— Какие на тебе трусики?

— Тоже красные.

— Не дождусь, когда тебя в них увижу, — сказал он и простился. Ему казалось, что он нашел правильный тон. На минуту стало легче, но только на минуту. Он почувствовал, что не способен ни о чем думать, кроме Ружены, и что сегодняшние разговоры с женой придется свести к минимуму. Он остановился у кассы кинотеатра, где показывали американский вестерн, и купил два билета.

8

Хотя красота Камилы Климовой затмевала ее болезненность, больной она все–таки была.

По причине слабого здоровья несколько лет назад ей пришлось расстаться с певческой карьерой, в свое время приведшей ее в объятия нынешнего супруга.

Красивую молодую женщину, привыкшую к поклонению, внезапно обдало вонью больничной карболки. Ей казалось, что между ее миром и миром мужа простираются теперь горные цепи.

Когда в такие минуты Клима видел ее печальное лицо, у него разрывалось сердце, и он протягивал к ней (поверх этих вымышленных гор) руки, полные любви. Камила поняла, что в ее печали — нежданная сила, которая влечет

Климу, умиляет его и доводит до слез. И потому неудивительно, что она стала (возможно, даже неосознанно, но тем чаще) прибегать к этому внезапно найденному инструменту. Ведь только в минуты, когда он любовался ее болезненным лицом, она могла быть более или менее уверена, что в его мыслях не соперничает с ней никакая другая женщина.

Ибо эта красавица боялась соперниц и замечала их повсюду. Они никогда и нигде не ускользали от нее. Она умела обнаружить их в тоне его голоса, которым Клима здоровался с ней. Умела почувствовать их по запаху его одежды. Недавно она нашла на его столе клочок бумаги, оторванный от края газеты, где его рукой была проставлена дата. Разумеется, речь могла идти о самых разных вещах: о репетиции оркестра, о встрече с продюсером, но она в течение месяца думала лишь о том, с какой женщиной в условленный день встретится Клима, и весь месяц плохо спала.

Но если ее так ужасал коварный мир женщин, то почему за утешением она не могла отправиться в мир мужчин?

Трудно. Ревность обладает удивительной способностью высвечивать яркими лучами лишь одного–единственного мужчину, а толпы всех

прочих оставлять в кромешной тьме. Мысль пани Климовой способна была устремляться исключительно в направлении этих мучительных лучей, и ее муж стал для нее единственным мужчиной на свете.

Сейчас она услыхала поворот ключа в замочной скважине и увидала трубача с букетом роз.

В первую минуту она ощутила радость, но следом отозвались сомнения: почему он принес букет уже сегодня, когда день ее рождения только завтра? Что это значит?

— Завтра тебя здесь не будет? — приветствовала она его вопросом.

9

То, что он принес розы уже сегодня, еще вовсе не означало, что завтра его здесь не будет. Но ее подозрительные щупальца, никогда не дремлющие, вечно ревнивые, способны были далеко вперед улавливать каждое потаенное намерение мужа. Всякий раз, когда Клима осознавал существование этих страшных щупальцев, которые оголяли его, выслеживали и разоблачали, его охватывало безнадежное чувство усталости. Он ненавидел их, убежденный, что если его браку что–то и угрожает, так это только они. Он всегда считал (и в этом смысле совесть его была воин-

ственно чистой), что если иной раз и обманывает жену, то исключительно из желания пощадить ее, оградить от ненужных волнений, и что своей подозрительностью она лишь обрекает себя на муки.

Он смотрел на ее лицо и читал на нем подозрение, печаль и дурное настроение. Его охватило желание хлопнуть букетом об пол, но он овладел собой, зная, что в ближайшем будущем ему придется сдерживать себя и в куда более сложных ситуациях.

— Ты недовольна, что я принес цветы уже сегодня? — сказал он, и жена, почувствовав в голосе мужа раздражение, поблагодарила его и пошла наполнить вазу водой.

— Чертов социализм, — высказался чуть погодя Клима.

— В каком смысле?

— Да вот, пожалуйста. Нас без конца заставляют выступать за спасибо. То во имя борьбы с империализмом, то по случаю годовщины революции или дня рождения какого–нибудь руководящего босса, и, если я хочу, чтобы наш оркестр не разогнали, приходится со всем соглашаться. Не представляешь, как сегодня я озверел.

— А что случилось? — спросила она без всякого

интереса.

— На репетицию к нам заявилась одна референтка из национального комитета и давай нас поучать, что мы должны играть и что не должны, а под конец обязала нас дать даровой концерт для Союза молодежи. Но самое скверное, что завтра целый день я должен торчать на одной идиотской конференции, где нам преподадут урок, какая музыка лучше всего содействует строительству социализма. Загубленный день, начисто загубленный! И главное, это день твоего рождения!

— Не станут же тебя там держать до поздней ночи!

— Нет, конечно. Но представляешь, в каком настроении я вернусь. Поэтому я хотел спокойно провести с тобой часок–другой сегодня вечером, сказал он и взял жену за руки.

— Ты хороший, — сказала Камила, и Клима понял по ее голосу, что она не верит ни единому слову из того, что он говорил о завтрашней конференции. Но она не осмеливалась выразить ему свое недоверие, зная, что оно доводит его до бешенства. Хотя Клима уже давно не надеялся на ее доверие вне зависимости от того, говорил он правду или ложь, он всегда подозревал ее в том, что она подозревает его. Но ему ничего не

оставалось, как продолжать говорить так, будто он верит, что она верит ему, а она (с печальным и чужим лицом) задавала ему вопросы о завтрашней конференции, делая вид, что не сомневается в ее существовании.

Потом она ушла в кухню приготовить ужин. Пересолила его. Она всегда готовила с удовольствием и превосходно (жизнь не избаловала ее и не отучила от хозяйских забот), и Клима знал, что если на сей раз ужин не удался ей, то лишь потому, что она страдала. Он представил себе болезненно резкое движение, каким она сыпанула в пищу лишку соли, и сердце у него сжалось. Ему казалось, что в пересоленных кусках он постигает вкус ее слез и глотает свою собственную провинность. Он знал, что Камилу терзает ревность, знал, что она опять не будет спать ночью, и потому был полон желания гладить ее, целовать, убаюкивать, но тут же осознавал, что все это пустое, ибо ее щупальца в этой нежности обнаружили бы только его нечистую совесть.

Наконец они пошли в кино. Герой картины, с завидной уверенностью избегавший вероломных ловушек, некоторым образом приободрял Климу. Он представлял себя на его месте, и подчас ему казалось, что уговорить Ружену сделать аборт

— сущая малость, с которой он благодаря своему обаянию и своей счастливой звезде играючи справится.

Потом они легли рядом в широкую кровать. Он смотрел на нее. Она лежала на спине, голова была вжата в подушку, подбородок слегка вздернут, глаза устремлены в потолок, и в этой напряженной вытянутости ее тела (она всегда напоминала ему струну, он говорил ей, что у нее «душа струны») он вдруг в одно мгновение увидел всю ее сущность. Да, иногда случалось (это были волшебные минуты), что он вдруг в ее единственном жесте или движении провидел всю историю ее тела и души. Это были минуты не только какого–то абсолютного ясновидения, но и абсолютного умиления; ведь эта женщина любила его, еще когда он ровно ничего не значил, была готова ради него пожертвовать всем, вслепую угадывала все его мысли, и потому он мог говорить с ней об Армстронге и Стравинском, о разных глупостях и печалях, она была самым близким человеком на свете… Сейчас он вдруг представил себе это сладкое тело, это сладкое лицо мертвыми и понял, что ни дня не прожил бы без нее. Он знал, что способен оберегать ее до последнего вздоха, способен отдать за нее жизнь.

Но это ощущение исступленной любви было лишь мгновенным проблеском, ибо его мозг был целиком обуян тревогой и страхом. Он лежал рядом с Камилой, знал, что бесконечно любит ее, но мыслями был не с ней. Он гладил ее по лицу, словно гладил ее из необозримой, простершейся на многие сотни километров дали.

День второй

1

Было около девяти утра, на окраине курорта (дальше проезд был запрещен) остановился элегантный белый автомобиль, и из него вышел Клима.

По центру курорта тянулся длинный парк с редкими деревьями, газоном, посыпанными песком дорожками и разноцветными скамейками. С обеих сторон парк обрамляли курортные здания, среди них и дом Маркса, где жила медсестра Ружена и где в ее маленькой комнатушке трубач провел два роковых ночных часа. Напротив дома Маркса по другую сторону парка стояло самое красивое здание курорта в модернистском стиле начала века, украшенное богатой лепниной и мозаикой, венчающей широкий портал. Ему единственному выпала честь сохранить неизменным свое первоначальное название Ричмонд.

— Здесь еще живет пан Бертлеф? — спросил Клима привратника; получив утвердительный ответ, он вбежал по красному ковру на второй этаж и постучал в дверь.

Войдя, он увидел Бертлефа, направлявшегося к

нему в пижаме. Клима извинился за свое внезапное вторжение, но Бертлеф прервал его:

— Друг мой! Не извиняйтесь! Вы подарили мне величайшую радость, какой в эти утренние часы здесь меня никто не удостаивал!

Он пожал Климе руку и продолжал:

— В этой стране люди не ценят утра. Через силу просыпаются под звон будильника, который разбивает их сон, как удар топора, и тотчас предаются печальной суете. Скажите мне, каким может быть день, начатый столь насильственным актом! Что должно происходить с людьми, которые вседневно с помощью будильника получают небольшой электрический шок! Они изо дня в день привыкают к насилию и изо дня в день отучаются от наслаждения. Поверьте мне, характер людей формируют их утра.

Бертлеф нежно обнял Климу за плечи и, усадив в кресло, сказал:

— А я так упоительно люблю эти утренние часы бездействия, по которым, как по мосту, украшенном скульптурами, перехожу из ночи в день, из сна в бдение. Это часть дня, когда я был бы несказанно благодарен за маленькое чудо, за неожиданную встречу, какая убедила бы меня, что сны моей ночи сбываются и что

между авантюрами сна и авантюрами яви не зияет пропасть.

Трубач наблюдал, как Бертлеф в пижаме ходит по комнате, приглаживая рукой поседевшие волосы, и отмечал про себя, что в звучной речи Бертлефа ощутим неистребимый американский акцент, а в выборе слов — забавная старомодность, легко объяснимая тем, что на своей исконной родине он никогда не жил и родной язык слышал лишь в семейном исполнении.

— И никто, друг мой, — склонился он к Климе с доверительной улыбкой, никто в этом курортном городишке не способен понять меня и пойти мне навстречу. Даже медицинские сестры, в основном доступные, неприязненно хмурятся, стоит мне предложить им провести со мной несколько веселых минут за завтраком, и потому я вынужден переносить все свидания на вечер, когда чувствую себя немного усталым.

Затем, подойдя к столику с телефоном, он спросил:

— Когда вы приехали?

— Утром, — сказал Клима. — На машине.

— Несомненно, вы голодны, — сказал Бертлеф и поднял трубку. Заказал завтрак на двоих: — Четыре яйца всмятку, сыр, масло, рогалики, молоко,

ветчину, чай.

Тем временем Клима обвел взглядом комнату. Большой круглый стол, стулья, кресла, зеркало, два дивана, дверь в ванную и другие соседние помещения, где, помнилось, была небольшая спальня. Здесь, в этих великолепных покоях, все и началось. Здесь сидели подвыпившие ребята из его оркестра; дабы развлечь их, богатый американец позвал нескольких медсестер.

— Да, — сказал Бертлеф, — этой картины, на которую вы смотрите, здесь тогда не было.

Только сейчас трубач заметил картину, на которой был изображен бородатый человек со странным голубым диском вокруг головы, в руках он держал кисть и палитру. Картина выглядела неумело написанной, но трубач знал, что многие картины, выглядевшие неумело написанными, стали знаменитыми.

— Кто это рисовал?

— Я, — ответил Бертлеф.

— Не знал, что вы рисуете.

— Рисую с превеликим удовольствием.

— А кто это?

— Святой Лазарь.

— Разве Лазарь был художник?

— Это не библейский Лазарь, а святой Лазарь,

монах, живший в девятом веке в Константинополе. Это мой патрон.

— Вот как, — сказал трубач.

— Это был необычайный святой. Его мучили не язычники за то, что он веровал в Христа, а злобные христиане, ибо он любил рисовать. Вероятно, вы знаете, что в восьмом и девятом веке в греческой церкви царил жесткий аскетизм, нетерпимый к любым светским радостям. И живопись, и скульптура воспринимались как нечто порочно сибаритское. Император Теофил повелел уничтожить тысячи прекрасных картин, а моему обожаемому Лазарю запретил рисовать. Но Лазарь знал, что своими картинами он прославляет Бога, и не сдавался. Теофил держал его в темнице, подвергал пыткам, требуя, чтобы Лазарь отрекся от кисти, но Бог был к нему милостив и дал ему силу выдержать страшные муки.

— Красивая легенда, — учтиво сказал трубач.

— Превосходная. Но вы определенно пришли ко мне по другому поводу, а вовсе не для того, чтобы посмотреть на мои иконки.

Раздался стук в дверь, вошел официант с большим подносом. Поставив его на стол, он накрыл для обоих мужчин завтрак.

Бертлеф, пригласив трубача к столу, сказал:

— Завтрак не настолько пышный, чтобы помешать нам продолжить беседу. Выкладывайте, что вас тревожит!

И трубач, разжевывая пищу, стал излагать свою историю, вынуждавшую Бертлефа неоднократно прерывать его наводящими вопросами.

2

Прежде всего он попытался выяснить, почему Клима не ответил сестре Ружене ни на одну из ее открыток, скрывался от нее и сам ни разу не сделал какого–либо дружеского жеста, который продолжил бы их любовную ночь тихим, умиротворяющим отголоском.

Клима признался, что вел себя нелепо и недостойно. Однако переломить себя не мог. Всякое дальнейшее общение с этой девушкой претило ему.

— Соблазнить женщину, — хмуро сказал Бертлеф, — умеет каждый дурак. Но по умению расстаться с ней познается истинно зрелый мужчина.

— Верно, — с грустью согласился трубач, — но это отвращение, эта непреодолимая антипатия во мне сильнее любого благого порыва.

— Скажите пожалуйста, — удивился Бертлеф, — вы женоненавистник?

— Ходит такая молва.

— Но откуда это у вас? Вы не выглядите ни импотентом, ни гомосексуалистом!

— Я и вправду не импотент и не гомосексуалист. Это кое–что похуже, меланхолично обронил трубач. — Я люблю свою собственную жену. Это моя эротическая тайна, которая для большинства людей совершенно непостижима.

Это признание было настолько трогательным, что оба мужчины ненадолго умолкли. Затем трубач заговорил снова:

— Этого никто не понимает, и менее всех моя жена. Она думает, что любовь выражается лишь в том, что для вас не существует других женщин. Это форменная чушь! Меня постоянно влечет к той или иной чужой женщине, но стоит мне овладеть ею, какая–то мощная пружина отбрасывает меня от нее назад к Камиле. Иногда мне кажется, что я ищу других женщин только ради этой пружины, ради этого броска и восхитительного полета (полного нежности, желания и смирения) к собственной жене, которую с каждой новой изменой люблю все больше.

— Получается, сестра Ружена была для вас лишь утверждением в моногамной любви.

— Да, — сказал трубач. — И весьма приятным

утверждением. Ибо сестра Ружена обладает особым очарованием, когда видишь ее впервые, однако ее очарование с немалой для тебя пользой в течение двух часов целиком исчерпывает себя; тебя уже ничто не влечет к продолжению этой связи, и пружина мощно отбрасывает тебя в прекрасный обратный полет.

— Милый друг, я вряд ли мог бы доказать на другом примере успешнее, чем на вашем, сколь грешна преувеличенная любовь.

— Я полагал, что любовь к жене — единственное, что есть во мне хорошего.

— И вы ошибались. Ваша преувеличенная любовь к жене является не искупительным противовесом вашего бессердечия, а его источником. Поскольку ваша жена для вас все, остальные женщины для вас ничто, или, попросту говоря, потаскухи. Но это великое кощунство и великое неуважение к творениям Божьим. Милый друг, этот тип любви не что иное как ересь.

3

Бертлеф отодвинул в сторону пустую чашку, встал из–за стола и ушел в ванную, откуда до Климы донесся звук текущей воды, а минутой позже голос Бертлефа:

— Вы полагаете, что человеку дано право

умерщвлять зачатого ребенка?

Уже увидев изображенного бородача с нимбом, Клима несколько смутился. Он помнил Бертлефа добродушным бонвиваном, и ему вовсе не приходило на ум, что он человек верующий. И сейчас у него сжалось сердце — он испугался, что услышит нравоучения и его единственный оазис в пустыне этого городка покроется песком. Приглушенным голосом он спросил:

— Вы относитесь к тем, кто называет это убийством?

Бертлеф ответил не сразу. Затем вышел из ванной одетым в повседневный костюм и тщательно причесанным.

— Убийство — слово, слишком отдающее электрическим стулом, — сказал он. — Речь о другом. Видите ли, я думаю, что жизнь надо принимать во всех ее проявлениях. Это первая заповедь еще до Десятословия. Все события в руках Божьих. И мы ничего не ведаем об их завтрашней судьбе, иными словами, я хочу сказать, что принимать жизнь во всех ее проявлениях означает принимать непредвиденное. А ребенок — это концентрация непредвиденного. Ребенок — сама непредвиденность. Вам не дано знать, что из него получится, что он принесет вам, и именно

потому вы должны принять его. Иначе вы живете лишь вполовину, живете как человек, не умеющий плавать и плещущийся у берега, тогда как настоящее море только там, где оно глубоко.

Трубач намекнул, что ребенок не его.

— Допустим, — сказал Бертлеф. — Но искренне признайтесь и в том, что вы столь же настойчиво уговаривали бы Ружену сделать аборт, будь ребенок ваш. Вы делали бы это ради своей жены и грешной любви, какую к ней питаете.

— Да, признаюсь, — сказал трубач, — я уговаривал бы ее сделать аборт при любых обстоятельствах.

Бертлеф стоял, прислонясь к косяку двери, ведущей в ванную, и улыбался.

— Я понимаю вас и не собираюсь переубеждать. Я слишком стар для того, чтобы стремиться исправить мир. Я сказал вам, что думаю, и все тут.

Я останусь вашим другом, хотя вы и будете поступать вопреки моим убеждениям, и постараюсь помочь вам даже при моем несогласии с вами.

Трубач взглянул на Бертлефа, изрекшего последнюю фразу бархатным голосом мудрого проповедника. Он казался ему величественным. Похоже было, что все сказанное Бертлефом может стать легендой, притчей, примером, главой

из некоего современного Евангелия. Трубачу хотелось (мы поймем его, он был взволнован и склонен к преувеличенным жестам) отвесить ему глубокий поклон.

— Я помогу вам по мере возможностей, — продолжал Бертлеф. — Сейчас мы зайдем к моему другу главному врачу Шкрете, который ради вас позаботится о медицинской стороне дела. Однако скажите мне, как вы хотите принудить Ружену к решению, которому она противится?

4

Трубач изложил свой план, и Бертлеф сказал: — Это напоминает мне историю, случившуюся со мной во времена моей авантюрной молодости, когда я работал в порту докером. Завтрак нам разносила девушка с необычайно добрым сердцем, не умевшая никому ни в чем отказать. Но за такую доброту сердца (и тела) мужчины, как правило, платили скорее грубостью, чем благодарностью, так что я был единственным, кто относился к ней с почтительной нежностью, хотя как раз у меня с ней ничего и не было. Моя нежность привела к тому, что она влюбилась в меня. Если бы я в конце концов не переспал с ней, я унизил бы ее и причинил бы ей боль. Но случилось это один–единственный раз, и я тут

же объяснил ей, что по–прежнему сохраню к ней самое нежное чувство, но любовниками мы не будем. Она расплакалась, убежала, перестала со мной здороваться и еще откровеннее стала отдаваться другим. Спустя два месяца она объявила мне, что беременна от меня.

— Значит, вы были в таком же положении! — воскликнул трубач.

— О, друг мой, — сказал Бертлеф, — неужто вы не знаете, что происходящее с вами — история всех мужчин на свете?

— И как же вы поступили?

— Я вел себя так же, как собираетесь вести себя вы, с одной только разницей. Вы собираетесь разыгрывать перед Руженой любовь, тогда как я действительно любил ту несчастную девушку, всеми униженную и обиженную, которая впервые познала со мной, что такое нежность, и не хочет лишиться ее. Я понимал, что она любит меня, и не мог сердиться за то, что она проявляет эту любовь так, как умеет, пользуясь теми средствами, какие ей подсказывает ее невинная подлость. И вот что я сказал ей: «Я знаю, что забеременела ты от кого–то другого. Но знаю и то, что эту ложь ты употребила во имя любви, и за эту любовь я хочу отплатить тебе любовью. Мне все

равно, от кого у тебя ребенок, но если ты хочешь, я женюсь на тебе».

— Сущее безумие!

— И все же, возможно, более плодотворное, чем ваши продуманные действия. Когда я еще несколько раз повторил этой шлюшке, что люблю ее и женюсь на ней даже с ребенком, она расплакалась и призналась, что обманула меня. Сказала, что именно моя доброта позволила ей понять, что она недостойна меня и никогда не сможет стать моей женой.

Трубач задумчиво молчал, а Бертлеф добавил:

— Я был бы рад, если бы эта история могла послужить вам своего рода притчей. Не пытайтесь разыгрывать перед Руженой любовь, а постарайтесь действительно полюбить ее. Постарайтесь пожалеть ее. И даже если она обманула вас, постарайтесь в этом обмане увидеть ее способ любви. Я уверен, что она не устоит перед силой вашей доброты и сама все устроит так, чтобы не причинить вам вреда.

Слова Бертлефа произвели на трубача сильное впечатление. Но когда он более явственно представил себе облик Ружены, то понял, что путь любви, указанный Бертлефом, проторить ему не дано; что это путь святых, а не простых

смертных.

5

Ружена сидела за столиком в большом зале, где вдоль стен были кушетки, на которых отдыхали после водных процедур женщины. Она взяла у двух вошедших пациенток курортные карты, отметила в них дату, выдала ключи от раздевалок, полотенце и длинную простыню. Затем, взглянув на часы, направилась (в одном белом халате на голом теле, так как в облицованных кафелем залах стоял густой горячий пар) в задний зал к бассейну, где в чудодейственной родниковой воде барахталось десятка два голых женщин. Трех она окликнула по имени и объявила им, что время, отведенное для купания, истекло. Дамы послушно выскочили из бассейна, затрясли большими грудями, с которых стекала вода, и, подпрыгивая, последовали за Руженой в переднее помещение. Там дамы улеглись на свободные кушетки, и Ружена одну за другой обернула в простыню, вытерла им кончиком материи глаза и набросила на них еще по теплому одеялу. Дамы улыбались Ружене, но она не отвечала им улыбкой.

Мало приятного родиться в маленьком городке, куда ежегодно наезжает десять тысяч женщин, но где почти не бывает ни одного молодого муж-

чины; уже в пятнадцать лет женщина способна здесь точно предугадать все эротические возможности, отпущенные ей до конца дней, если она не сменит места проживания. Но сменить место проживания? Здравница, в которой она работала, очень неохотно расставалась со своими служащими, да и родители Ружены приходили в неистовство при любом намеке на переселение.

Нет, эта девушка, пусть и старалась вполне добросовестно выполнять свои обязанности, отнюдь не пылала любовью к пациенткам. Приведем три причины: Зависть: они приехали сюда от мужей, от любовников, из мира бессчетных возможностей, недоступных ей, хотя у нее и грудь красивее, и ноги длиннее, и лицо правильнее.

Кроме зависти, нетерпение: они являлись сюда со своими далекими судьбами, а она была здесь без судьбы, в прошлом году такая же, как и в нынешнем; ее бесило, что отпущенное ей время в этом маленьком поселке протекает без событий, и она, несмотря на свою молодость, постоянно думала о том, что жизнь ускользнет от нее раньше, чем она вообще начнет ее проживать.

И в–третьих: она испытывала инстинктивное отвращение к этому скопищу, обесценивавшему отдельно взятую женщину. Ее обступала печаль-

ная инфляция женских грудей, среди которых даже такие красивые груди, как у нее, утрачивали ценность.

По–прежнему не улыбаясь, она уже успела закутать последнюю из трех дам, когда в зал заглянула ее худая сослуживица и крикнула ей:

— Тебя к телефону!

Вид у нее был столь торжественный, что Ружена сразу поняла, кто звонит. Зардевшись, она зашла за кабинки, подняла трубку и назвала свое имя.

Клима поздоровался и спросил, когда у нее найдется для него время.

— Я кончаю в три, — ответила она, — в четыре мы можем встретиться.

Затем стали договариваться о месте встречи. Ружена предложила самый большой на курорте винный погребок, открытый в течение всего дня.

Худая сослуживица, стоявшая рядом с Руженой и не сводившая глаз с ее губ, утвердительно кивнула. Но трубач возразил, сказав, что предпочел бы встретиться с Руженой в более уединенном месте, и предложил ей выехать на его машине за пределы курорта.

— Лишнее. Куда нам еще ехать, — сказала Ру-

жена.

— Будем одни.

— Если ты стыдишься меня, незачем вообще сюда приезжать, — сказала Ружена, и ее сослуживица вновь утвердительно кивнула.

— Я не это имел в виду, — сказал Клима. — Ну что ж, буду ждать тебя в четыре у винного погребка.

— Отлично, — сказала худая, когда Ружена повесила трубку. — Он хотел бы увидеться с тобой где–нибудь тайком, но ты должна стремиться к тому, чтобы вас видело как можно больше народу.

Ружена постоянно пребывала в сильном возбуждении, а перед свиданием особенно нервничала. Сейчас ей было трудно даже представить себе Климу. Как он выглядит? Как улыбается, как ведет себя? От их единственной встречи у нее осталось очень смутное воспоминание. Сослуживицы тогда очень подробно расспрашивали ее о трубаче: какой он, что говорит, как выглядит раздетым и как умеет любить. Но она не могла ни о чем говорить и лишь повторяла, что это было «как сон».

И это была не пустая фраза. Мужчина, с которым она провела два часа в постели, сошел к ней

с афиш. Его фотография на время обрела трехмерную материальность, температуру и вес, но затем снова стала нематериальным и бесцветным образом, размноженным в несчетных экземплярах и потому еще более абстрактным и нереальным.

Да, именно потому, что он тогда так быстро ускользнул от нее в свой графический знак, в ней осталось неприятное ощущение его совершенства. Она не могла уцепиться ни за одну деталь, которая бы принизила его и приблизила. Когда он был далеко, она была полна решительной воинственности, но теперь, в предчувствии его близости, утратила смелость.

— Держись, — сказала ей худая. — Буду болеть за тебя.

6

Когда Клима закончил разговор с Руженой, Бертлеф взял его под руку и повел к дому Маркса, где практиковал и жил доктор Шкрета. В приемной сидели несколько женщин, но Бертлеф решительно постучал четырьмя короткими ударами в дверь кабинета. Спустя минуту вышел высокий мужчина в белом халате и очках над объемистым носом. Ожидавшим приема женщинам он сказал: «Простите, одну минуту», и повел обоих мужчин в коридор, а оттуда в свою

квартиру, расположенную этажом выше.

— Как поживаете, маэстро? — обратился он к трубачу, когда все трое уселись. — Когда мы вас снова увидим здесь с концертом?

— Никогда в жизни, — ответил Клима. — Этот курорт приносит мне одни неприятности.

Бертлеф объяснил доктору Шкрете, что приключилось с трубачом, и трубач вслед за этим сказал:

— Я хотел попросить вас помочь мне. Прежде всего я хотел бы знать, действительно ли она беременна. Может, просто задержка. Или она вешает мне лапшу на уши. Когда–то давно такую штуку проделала со мной одна девушка. Кстати, тоже блондинка.

— Вам не стоит связываться с блондинками, — сказал доктор Шкрета.

— Да, — согласился Клима. — Блондинки — мое несчастье. Пан главврач, это было чудовищно. Я умолял ее пойти провериться у врача. Но на ранней стадии беременности ничего с точностью определить нельзя. Поэтому я хотел, чтобы ей сделали анализ на мышах. Мочу вводят в мышь, и если у нее набухают яичники…

— …значит, дама беременна, — дополнил его доктор Шкрета.

— Она понесла в бутылочке утреннюю мочу, я сопровождал ее, но у самой поликлиники бутылочку уронила на тротуар. Я кинулся к этим осколкам в надежде сохранить хоть несколько капель! Я вел себя так, словно она уронила чашу Грааля! Она разбила ее нарочно, потому что знала, что не беременна, и хотела как можно дольше продлить мои муки.

— Типичное поведение блондинок, — невозмутимо сказал доктор Шкрета.

— Вы полагаете, что блондинки отличаются от брюнеток? — сказал Бертлеф, в ком опытность Шкреты по части женщин вызывала некоторые сомнения.

— Разумеется, — сказал доктор Шкрета. — Светлые и темные волосы — два полюса человеческого характера. Темные волосы означают мужественность, смелость, искренность и активность, тогда как светлые символизируют женственность, нежность, беспомощность и пассивность. Блондинка, стало быть, вдвойне женщина. Принцесса должна быть белокурой. Поэтому женщины, желая быть в высшей степени женщинами, красят волосы в блондинистый, но никак не в черный цвет.

— Было бы весьма любопытно знать, каким

образом пигменты оказывают влияние на человеческую душу, — с сомнением сказал Бертлеф.

— Речь не о пигментах. Блондинка непроизвольно уподобляется своим волосам. Еще в большей мере это происходит тогда, когда блондинка на самом деле перекрашенная брюнетка. Она хочет быть верной своему цвету и прикидывается созданием хрупким, куколкой для игры, требуя по отношению к себе нежности и услужливости, деликатности и алиментов; не умея ничего делать своими руками, внешне она сама утонченность, а внутри хамство. Если бы темные волосы стали всемирной модой, на свете жилось бы значительно лучше. Это была бы самая полезная социальная реформа, какая когда–либо осуществлялась.

— Так что Ружена тоже, вполне вероятно, просто дурачит меня. — Клима пытался извлечь из слов Шкреты хоть какую–то надежду.

— Нет. Позавчера я осмотрел ее. Она беременна, — сказал доктор Шкрета.

Бертлеф заметил позеленевшее лицо трубача и сказал:

— Пан доктор, вы, однако, председатель комиссии, разрешающей аборты.

— Да, — сказал Шкрета. — В пятницу у нас за-

седание.

— Превосходно, — сказал Бертлеф. — И надо бы поторопиться с этим, ибо наш друг может не вынести напряжения. Я знаю, что в этой стране аборты разрешаются с трудом.

— С величайшим трудом, — сказал доктор Шкрета. — У меня в комиссии две бабы, представляющие народовластие; они страшны как война и потому на дух не переносят всех наших посетительниц. А знаете ли вы, кто на свете самые ярые женоненавистники? Женщины. Друзья мои, ни один мужчина, даже пан Клима, которому уже две женщины пришили свою беременность, не испытывает к ним такой ненависти, какую испытывают они к себе подобным. Как вы думаете, ради чего женщины вообще домогаются нас? Ради того лишь, чтобы уязвить и унизить своих сотоварок. Создатель вложил в сердца женщин ненависть к другим женщинам, ибо хотел, чтобы род людской размножался.

— Я постараюсь немедля простить вам ваши слова, — сказал Бертлеф, так как хочу вернуться к делу нашего друга. В этой комиссии как–никак ваше слово решающее, и эти страшные бабы примут вашу сторону.

— Да, там мое слово решающее, но я все равно

хочу бросить это занятие. Оно не приносит мне ни гроша. Маэстро, сколько вы зарабатываете за один концерт?

Сумма, названная Климой, явно произвела на доктора Шкрету впечатление.

— Нередко прихожу к мысли, что я мог бы подрабатывать музыкой, сказал он. — Я вполне сносно играю на барабане.

— Вы играете на барабане? — с подчеркнутой заинтересованностью спросил трубач.

— Да, — сказал доктор Шкрета. — У нас в клубе рояль и барабан. В свободное время я играю на барабане.

— Великолепно, — воскликнул трубач, благодарный за возможность польстить главному врачу.

— Но у меня здесь нет партнеров, чтобы организовать настоящий оркестр. Разве что аптекарь довольно прилично играет на рояле. Раз–другой мы пробовали сыграться. Знаете что? — задумался он. — Когда Ружена придет на комиссию…

— О, только бы пришла! — вздохнул Клима. Доктор Шкрета махнул рукой:

— Туда все с радостью приходят. Но на комиссии требуется и присутствие отца, так что вам придется явиться вместе с ней. А чтобы вам не

приезжать сюда только ради этакой ерунды, вы могли бы приехать накануне, и мы вечером дали бы концерт. Труба, рояль, барабан. Tres faciunt orchestrum[5]. Если на афише будет ваше имя, аншлаг обеспечен. Как вы к этому относитесь?

Клима всегда был даже слишком требователен к профессиональному совершенству своих выступлений, и предложение главного врача еще вчера показалось бы ему просто–напросто абсурдным. Сегодня же его не волновало ничего, кроме чрева одной–единственной медсестры, и потому на вопрос главного врача он ответил учтивым восторгом:

— Это было бы великолепно!

— В самом деле? Вы за?

— Разумеется.

— А что вы думаете по этому поводу? — обратился Шкрета к Бертлефу.

— Что это замечательная идея. Не представляю, однако, как за неполных два дня вы успеете подготовиться.

Вместо ответа Шкрета встал и подошел к телефону. Набрал какой–то номер, но там никто не отозвался.

---

[5] Примечания: 5
Трое составляют оркестр *(лат.)*.

— Самое главное — немедленно сделать афиши, но наша секретарша, должно быть, обедает, — сказал он. — Освободить зал проще простого. Общество народного образования организует там в четверг лекцию по борьбе с алкоголизмом, которую должен прочесть мой коллега. Он будет счастлив, если я попрошу его сказаться больным и отменить ее. А вам придется приехать уже в четверг в полдень, чтобы нам немного порепетировать и посмотреть, как у нас получается. Или это не обязательно?

— Нет, нет, — сказал Клима. — Обязательно. Перед концертом надо немного сыграться.

— Я тоже так считаю, — согласился Шкрета. — Мы выбрали бы самый эффектный репертуар. Я отлично исполняю на барабане «Сент–Луис Блюз» и «Святые маршируют». У меня подготовлено и несколько сольных номеров, любопытно, что вы на это скажете. Кстати, что вы делаете сегодня после обеда? Не хотите ли попробовать?

— К сожалению, сегодня после обеда мне предстоит уговаривать Ружену пойти на кюретаж.

Шкрета махнул рукой:

— Плюньте на это. Она пойдет на это и без уговоров.

— Пан главный врач, — просительно сказал

Клима, — лучше в четверг.

— Я тоже думаю, что вам лучше подождать до четверга, — поддержал трубача Бертлеф. — Наш друг сегодня, пожалуй, не в силах сосредоточиться. Кроме того, по–моему, он не взял с собой трубы.

— И в самом деле, — согласился Шкрета и повел приятелей в ресторан напротив. Однако на улице их догнала медсестра Шкреты и настойчиво стала просить пана главного врача вернуться в кабинет. Доктор Шкрета извинился перед приятелями и послушно поплелся вслед за сестрой к своим бесплодным пациенткам.

7

В свою маленькую комнатушку в доме Маркса Ружена переехала примерно полгода назад от своих родителей, проживавших в недалеком поселке. Она надеялась, что самостоятельное житье сулит ей невесть какие радости, но за это время поняла, что комнатушкой и свободой пользуется не столь успешно и разнообразно, как мечталось ей прежде.

Вернувшись с работы после трех часов дня, она была неприятно поражена тем, что дома ее ждет, развалившись на диване, отец. Его приход был некстати: она хотела сосредоточенно заняться

своим туалетом, причесаться и тщательно выбрать то, что наденет.

— Что ты здесь делаешь? — спросила она его раздраженно, досадуя на привратника, который знал ее отца и готов был когда угодно в ее отсутствие открыть ему комнату.

— Выпала свободная минута, — сказал отец. — Сегодня у нас здесь учения.

Ее отец был членом добровольной дружины общественного порядка. Врачи посмеивались над стариками, которые с повязками на рукавах важно расхаживали по улицам, и поэтому Ружена стыдилась отцовской деятельности.

— Охота тебе, — проворчала она.

— Скажи спасибо, что твой папка никогда не бездельничал и не собирается бездельничать. Мы, пенсионеры, еще покажем вам, молодым, на что горазды!

Ружена решила дать отцу высказаться, а самой тем временем продуманно выбрать платье. Она открыла шкаф.

— Хотелось бы знать, на что вы горазды, — сказала она.

— На многое. Это курорт мирового значения, девочка. А как все тут выглядит! Детвора носится по газонам!

— О, Господи! — выдохнула Ружена, роясь в платьях. Ни одно из них ей не нравилось.

— Если б только детвора, а то собак тьма! Национальный комитет давно постановил, чтоб собак водили на поводке и в наморднике! Да здесь никому дела до этого нет, каждый чудит, как хочет. Ты только погляди, что там в парке!

Ружена вынула одно платье и стала раздеваться за полуоткрытой дверцей шкафа.

— Все обоссали! Даже песок на детской площадке! А теперь представь, что какой–нибудь ребенок играючи выронит в этот песок намазанный ломоть хлеба. А потом удивляешься, откуда столько болезней! Ты погляди–ка!

Отец подошел к окну:

— Только в эту минуту там свободно бегают четыре собаки.

Ружена вышла из–за дверцы шкафа и посмотрела на себя в зеркало. Но дома у нее было только маленькое стенное зеркало, в котором она видела себя едва ли до пояса.

— Это тебя вроде не волнует, так, что ли? — спросил отец.

— Почему же, волнует, — сказала Ружена, чуть отступая на цыпочках от зеркала, чтобы рассмотреть, как в этом платье выглядят ее ноги, — но ты

не сердись, я тороплюсь, мне срочно надо уйти.

— Я уважаю исключительно полицейских овчарок или охотничьих собак, сказал отец. — Но не понимаю людей, которые держат собак в квартире. Женщины скоро перестанут рожать и в колясках будут возить пуделей!

Ружена была недовольна образом, возвращенным ей зеркалом. Она снова подошла к шкафу и стала выбирать платье, которое было бы ей больше к лицу.

— Мы постановили, что собаку можно держать в квартире только с согласия всех остальных жильцов дома на общем собрании. Кроме того, мы повысим налоги на собак.

— Да, у тебя забот невпроворот, — сказала Ружена, мысленно радуясь, что уже не должна жить в родительском доме. С детства отец отталкивал ее своими нотациями и указами. Она мечтала о мире, где люди говорят другим языком, нежели он.

— Нечего насмешничать. Собаки и впрямь очень серьезная проблема, и так думаю не только я, но и самые высокопоставленные лица. Верно, они забыли спросить тебя, что важно, а что нет. Ты, конечно, сказала бы, что на свете нет ничего важнее твоего платья, — сказал он, заметив, что дочь, снова спрятавшись за дверцу шкафа,

переодевается.

— Разумеется, платье важнее твоих собак, — отрезала она и опять встала на цыпочках перед зеркалом. И опять себе не понравилась. Но недовольство самой собой в ней постепенно перерастало в строптивость: она с ехидством подумала, что трубач будет рад принять ее и в этом дешевеньком платьице, и эта мысль доставила ей особое удовольствие.

— Это, прежде всего, вопрос гигиены, — продолжал отец. — Наши города никогда не будут чистыми, пока собаки гадят на тротуарах. Кроме того, речь идет о морали. Куда годится, чтобы люди баловали собак в своих жилищах.

Случилось то, что Ружена даже не осознавала: ее строптивость загадочно и незаметно сливалась с возмущением отца. Она уже не испытывала к нему прежней острой неприязни, напротив, черпала в его гневных речах энергию.

— Дома мы никогда никаких собак не держали и обходились без них, сказал отец.

Она смотрелась в зеркало и чувствовала, что беременность наделяет ее небывалым преимуществом. Нравится она себе или нет, трубач приехал к ней и прелюбезно приглашает ее в винный погребок. Кстати (она посмотрела на часы), он

уже сейчас ждет ее.

— Но мы наведем здесь порядок, девочка. Ты еще увидишь! — засмеялся отец, и она сказала ему уже спокойно, едва ли не с улыбкой:

— Хорошо, папа. Но теперь мне пора идти.

— И мне. Сразу продолжим учения.

Они вместе вышли из дома Маркса и тут же простились. Ружена медленно побрела к винному погребку.

8

Клима никогда не мог целиком вжиться в светскую роль популярного, всем известного артиста, и в период личных неурядиц воспринимал ее как крайнее неудобство и бремя. Когда он вошел в вестибюль ресторана и увидел на стене против гардероба свою большую фотографию на афише, висевшей там еще со времени последнего концерта, его охватило чувство тоски. Он вел девушку в зал, а сам невольно определял, кто из гостей узнает его. Он боялся глаз, ему казалось, что отовсюду они следят за ним, контролируют его, требуя от него определенного вида и поведения. Он поймал на себе несколько любопытных взглядов. Стараясь не замечать их, он направился к столику в конце зала, откуда в большое окно видны были кроны парка.

Они сели, он улыбнулся Ружене, погладил ее по руке и сказал, что платье идет ей. Она скромно возразила ему, но он настаивал на своем и пытался какое–то время не уклоняться от темы ее очарования. Сказал, что поражен ее внешностью. Что все два месяца думал о ней, однако все художественные усилия его воспоминаний создали образ, далекий от реальности. И удивительно: хотя он и думал о ней, изнывая от желания, ее настоящий облик превосходит тот, воображаемый.

Ружена заметила, что два месяца трубач вообще не давал о себе знать, и потому просто не верится, что он так много думал о ней.

К этому замечанию он хорошо подготовился. Устало махнув рукой, он сказал, что ей трудно будет даже представить себе, как ужасно он провел эти два месяца. Девушка спросила, что же случилось с ним, но он не захотел вдаваться в подробности. Сказал лишь, что пережил удар великой неблагодарности и остался в полном одиночестве, без друзей, без единого близкого человека. Он несколько опасался, как бы Ружена не стала расспрашивать о подробностях его переживаний, ибо он легко мог запутаться во лжи. Опасения, правда, были напрасными. Хотя Ружену и впечатлили слова Климы о том, что он

пережил дурной период, и она с удовлетворением приняла их как оправдание его двухмесячного молчания, собственное содержание его страданий оставляло ее совершенно равнодушной. В его грустных месяцах важна была для нее лишь сама грусть.

— Я много думала о тебе и была бы рада помочь, — сказала она.

— Мне так тошен был весь мир, что я боялся попасться кому–либо на глаза. Грустный собеседник — плохой собеседник.

— Мне тоже было грустно, — сказала она.

— Я знаю. — Он гладил ее по руке.

— Я уже давно поняла, что жду от тебя ребенка. А ты не отзывался. Но ребенка я все равно бы оставила, даже если бы ты и не приехал ко мне, даже если бы никогда не захотел меня видеть. Я говорила себе: даже если останусь совсем одна, у меня будет хотя бы твой ребенок. Я никогда бы не дала его уничтожить. Нет, никогда…

В эту минуту Клима потерял дар речи, ибо все его мысли сковал тихий ужас.

К счастью, официант, лениво обслуживавший гостей, остановился наконец возле их столика и спросил, что им угодно.

— Коньяк, — вздохнул трубач и тотчас попра-

вился: — Два коньяка.

И вновь наступила тишина, и Ружена вновь прошептала:

— Ни за что на свете я не дала бы его уничтожить.

— Не говори так, — наконец пришел в себя Клима. — Это же не только твое дело. Это касается не только женщины. Это касается обоих. И в этом деле оба должны быть заодно. Иначе все может плохо кончиться.

Договорив это, он тотчас смекнул, что именно сейчас он косвенно признал свое отцовство и что с этой минуты ему придется говорить с Руженой уже только на основании такого признания. Хотя он знал, что действует по плану, что это лишь уступка, которую он учитывал заранее, он все же испугался своих слов.

Но тут над ним склонился официант с двумя рюмками коньяка.

— Так вы пан трубач Клима!

— Да, — сказал Клима.

— Девушки на кухне узнали вас. Это же вы на этой афише?

— Да, — сказал Клима.

— Вы кумир всех женщин от двенадцати до семидесяти! — сказал официант и обратился к

Ружене: — Все бабы глаза тебе от зависти повыцарапают! Удаляясь, он несколько раз обернулся с назойливо–доверительной улыбкой. Ружена снова повторяла:

— Я никогда не смогла бы его уничтожить. И когда–нибудь ты тоже будешь рад, что он есть у тебя. Я ведь ничего от тебя не хочу. Надеюсь, ты не думаешь, что я чего–то хочу от тебя. На этот счет будь совершенно спокоен. Это только мое дело, и пусть тебя ничего не тревожит.

Может ли что–нибудь больше взволновать мужчину, чем такие успокаивающие слова? Клима вдруг почувствовал, что он бессилен что–либо спасти и что самое лучшее от всего отступиться. Он молчал, Ружена тоже молчала, так что сказанные ею слова продолжали расти в тишине, и трубач чувствовал себя перед ними все более беспомощным и несчастным.

Но вдруг в мыслях всплыл образ жены. Нет, у него нет права отступать. И он, продвинув руку по мраморной столешнице, взял пальцы Ружены, стиснул их и сказал:

— Забудь пока о ребенке. Ребенок вовсе не самое главное. Думаешь, нам с тобой не о чем больше говорить? Думаешь, я приехал к тебе только ради ребенка?

Ружена пожала плечами.

— Главное, что мне без тебя было грустно. Виделись мы так мало. И при этом не проходило дня, чтобы я не вспоминал о тебе.

Он замолчал, и Ружена сказала:

— Целых два месяца ты вообще не отзывался, а я тебе два раза писала.

— Не сердись на меня, — сказал трубач. — Я умышленно не отвечал на твои письма. Не хотел. Боялся того, что творится во мне. Сопротивлялся любви. Хотел написать тебе длинное письмо, исписал не один лист бумаги, но в конце концов выбросил все. Никогда не случалось, чтобы я так был влюблен, и я ужаснулся этого. И почему бы мне не признаться? Я хотел проверить, не минутной ли очарованностью было мое чувство. И я сказал себе: если я и второй месяц буду так одержим ею, значит, то, что я испытываю к ней, отнюдь не мираж, а реальность.

— А что ты сейчас думаешь? — тихо сказала Ружена. — Это всего лишь мираж?

После этой Руженины фразы трубач понял, что задуманный план начинает у него вытанцовываться. Поэтому он, так и не отпуская руки девушки, продолжал говорить дальше, все свободнее и свободнее: в эту минуту, когда он сидит

напротив нее, он понимает, что излишне подвергать свое чувство дальнейшему испытанию, все ясно и так. О ребенке он не хочет говорить, потому что для него главное — Ружена, а не ее ребенок. Значение этого нерожденного ребенка прежде всего в том, что он позвал его к Ружене. Да, этот ребенок, который в ней, позвал его сюда на воды и дал ему возможность постичь, как он любит Ружену, а посему (он поднял рюмку коньяка) он хочет выпить за этого ребенка.

Конечно, он тут же испугался, до какого чудовищного тоста довело его столь вдохновенное красноречие. Но слова уже слетели с уст. Ружена подняла рюмку и прошептала:

— Да. За нашего ребенка, — и выпила коньяк.

Трубач быстро постарался замять этот неудачный тост и снова заявил, что вспоминал Ружену ежедневно, ежечасно.

Она сказала, что в столице трубач несомненно окружен более интересными женщинами, чем она.

Он ответил ей, что по горло сыт их неестественностью и самонадеянностью и всех их променял бы на Ружену, жалеет только, что она работает так далеко от него. А не хотела бы она перебраться в столицу?

Она ответила, что в столице жить было бы лучше. Но там нелегко устроиться на работу.

Снисходительно улыбнувшись, он сказал, что в столичных больницах у него много знакомых и найти для нее работу ему было бы несложно.

Держа Ружену за руку, он еще долго говорил в том же духе и даже не заметил, как к ним подошла незнакомая девочка. Нимало не смущаясь тем, что прерывает их разговор, она восторженно сказала:

— Вы пан Клима! Сразу узнала вас! Я хочу, чтоб вы вот тут поставили свое имя!

Клима покрылся краской. Он осознал, что Держит Ружену за руку и объясняется ей в любви в общественном месте на глазах у всех присутствующих. Ему показалось, что он сидит здесь, точно на сцене амфитеатра, и весь мир, превращенный в забавляющуюся публику, со злорадным смехом наблюдает за его борьбой не на жизнь, а на смерть.

Девочка подала ему четвертушку бумажного листа, и Клима хотел было поскорей расписаться, однако ни у нее, ни у него не оказалось при себе ручки.

— У тебя нет ручки? — прошептал он Ружене, именно прошептал, поскольку не хотел, чтобы

было слышно, как он обращается к Ружене на «ты». Правда, он тут же сообразил, что «тыкание» гораздо менее интимная вещь, чем то, что он держит Ружену за руку, и потому свой вопрос повторил уже громче: — У тебя нет ручки?

Но Ружена отрицательно покачала головой, и девочка вернулась к своему столику, где сидела в компании нескольких юношей и девушек; тут же, воспользовавшись случаем, они гурьбой повалили к Климе. Подали ему ручку и, вырывая из маленького блокнота по листочку, протягивали их для автографа.

С точки зрения намеченного плана все было в порядке. Чем больше людей оказывалось свидетелями их близости, тем скорее Ружена могла поверить в то, что она любима. Однако вопреки разуму иррациональность страха повергла трубача в панику. Он подумал было, что Ружена со всеми договорилась. В его воображении возникла туманная картина того, как все эти люди дают свидетельские показания о его отцовстве: «Да, мы их видели, они сидели друг против друга, как любовники, он гладил ее по руке и влюбленно смотрел ей в глаза…»

Страхи трубача еще усиливались его тщеславием; он не считал Ружену достаточно красивой,

чтобы позволить себе держать ее за руку. Но он недооценивал ее: она была гораздо красивей, чем казалась ему в эту минуту. Подобно тому, как влюбленность делает любимую женщину еще красивей, страх перед вселяющей опасение женщиной непомерно преувеличивает каждый ее изъян.

Наконец все отошли от них, и Клима сказал:

— Это заведение мне не очень–то по душе. Прокатиться не хочешь?

Его машина вызывала в ней любопытство, и она согласилась. Клима расплатился, и они вышли из винного погребка. Напротив был небольшой парк с широкой аллеей, посыпанной желтым песком. Лицом к винному погребку стояло в ряд человек десять. Все это были пожилые мужчины, на рукавах измятой одежды у каждого была красная повязка, и все держали в руках длинные палки.

Клима замер:

— Что это?

Но Ружена сказала:

— Да ничего, покажи мне, где твоя машина, — и быстро увлекла его за собой.

Но Клима был не в состоянии оторвать глаз от этих людей. Он никак не мог взять в толк, к чему

эти длинные жерди с проволочными петлями на конце. Эти люди походили на фонарщиков, зажигающих газовые лампы, на рыбаков, отлавливающих летающих рыб, на ополченцев, вооруженных таинственным оружием.

Он смотрел на них, и вдруг показалось, что один улыбается ему. Он испугался этого, скорей испугался самого себя, решив, что у него галлюцинация и что он во всех людях видит кого–то, кто преследует его и выслеживает. И потому, ускорив шаг, поспешил за Руженой на стоянку.

9

— Я хотел бы уехать с тобой куда–нибудь далеко, — сказал он. Одной рукой он обнимал Ружену за плечи, другой — держал руль. — Куда–нибудь далеко на юг. По длинному шоссе, идущему вдоль побережья. Ты была в Италии?

— Нет.

— Тогда обещай поехать туда со мной.

— А ты не фантазируешь?

Ружена сказала это лишь из скромности, но трубач вдруг испугался, что ее «а ты не фантазируешь» относится ко всей его демагогии, которую она раскусила.

— Да, фантазирую. У меня всегда фантазерские идеи. Уж такой я. Но в отличие от других я свои

фантазерские идеи осуществляю. Поверь, нет ничего более прекрасного, чем осуществлять фантазерские идеи. Я хотел бы, чтобы моя жизнь была сплошным фантазерством. Хотел бы, чтобы мы уже никогда не вернулись на этот курорт, чтобы ехали все дальше и дальше, пока не приедем к морю. Я устроился бы там в каком–нибудь оркестре, и мы ездили бы с тобой из одного приморского местечка в другой.

Он остановил машину там, где открывался чудесный вид на окрестности. Они вышли. Он предложил ей пройтись по лесу. Спустя какое–то время они сели на деревянную лавочку, сохранившуюся еще с той поры, когда здесь меньше проезжало машин и прогулки по лесу пользовались большим успехом. Обнимая ее за плечи, он сказал печальным голосом:

— Все думают, что у меня куда как веселая жизнь. Но это величайшая ошибка. На самом деле я ужасно несчастен. Не только эти последние месяцы, а уже долгие годы.

Если слова трубача о поездке в Италию показались ей фантазерством (из ее страны мало кто мог свободно выезжать за границу) и она испытывала к ним смутное недоверие, печаль, которой дышали его последние фразы, имела для

нее сладостный запах. Она вдыхала его, словно аромат свиного жаркого.

— Как ты можешь быть несчастным?

— Могу ли я быть несчастным… — печально повторил трубач.

— У тебя слава, шикарная машина, деньги, красивая жена…

— Красивая, пожалуй, но… — сказал трубач горестно.

— Знаю, — сказала Ружена. — Но она уже не молода. Ей столько же, сколько тебе, да?

Трубач понял, что Ружена подробно информирована о его жене, и рассердился. Однако продолжал:

— Да, ей столько же, сколько мне.

— Подумаешь. Ты совсем не старый. Выглядишь как мальчишка, — сказала Ружена.

— Но мужчине нужна более молодая женщина, — сказал Клима. — А артисту тем более.

Мне нужна молодость, ты даже не представляешь, Ружена, как я люблю в тебе твою молодость. Иной раз мне кажется, что я больше не выдержу. У меня безумное желание освободиться. Начать все сначала и по–другому. Ружена, твой вчерашний звонок… У меня было такое чувство, что это указание, посланное мне судьбой.

— Правда? — сказала она тихо.

— А почему, думаешь, я тут же позвонил тебе снова? Я почувствовал, что не должен ничего откладывать. Что должен видеть тебя сию же минуту… — Он замолчал и долгим взглядом посмотрел ей в глаза: — Ты любишь меня?

— Люблю. А ты?

— Я ужасно тебя люблю, — сказал он.

— Я тоже.

Он наклонился и прижал свои губы к ее рту. Это был чистый рот, молодой рот с красиво очерченными мягкими губами и вычищенными зубами, все в нем было в порядке, ведь два месяца тому его тянуло целовать ее рот. Но именно потому, что тогда тянуло целовать этот рот, он воспринимал его сквозь пелену желания и ничего не знал о его истинной сути: язык во рту походил на пламя, а слюна была пьянящим напитком. Теперь рот, уже не манивший его, стал вдруг реальным (всего–навсего!) ртом, тем самым хлопотливым отверстием, сквозь которое в девушку вошли уже центнеры кнедликов, картошки и супов, на зубах виднелись маленькие пломбочки, а слюна была не пьянящим напитком, а лишь родной сестрой плевка. Рот трубача был полон ее языка, словно это был какой–то несъедобный кусок, который

нельзя ни проглотить, ни выплюнуть.

Наконец поцелуй кончился, они поднялись и пошли дальше. Ружена была почти счастлива, однако сознавала, что повод, по которому она звонила трубачу и принудила его приехать, так и остался в их разговоре странно обойденным. Впрочем, она и не собиралась о нем распространяться. Напротив, то, о чем они говорили сейчас, она считала более приятным и важным. Но ей хотелось, чтобы этот обойденный повод все–таки присутствовал в их встрече, пусть очень деликатно, неброско, скромно. И потому, когда Клима вслед за бесконечными любовными признаниями заявил, что сделает все возможное, чтобы жить с Руженой, она обронила:

— Ты очень хороший, но нам надо думать и о том, что я уже не одна.

— Да, — сказал Клима, сознавая, что сейчас настал момент, которого он непрестанно боялся: самое уязвимое место в его демагогии.

— Да, ты права, — сказал он. — Ты не одна, но это вовсе не главное. Я хочу быть с тобой потому, что люблю тебя, а не потому, что ты беременна.

— Понимаю, — вздохнула Ружена.

— Нет ничего более тягостного, чем брак, который возникает лишь из–за того, что по ошибке

был зачат ребенок. Впрочем, дорогая, если говорить откровенно, я хочу, чтобы ты снова стала такой, как прежде. Чтобы мы снова были только вдвоем и никого третьего между нами не было. Ты понимаешь меня?

— Ну нет, так не получится, я не могу, я никогда не смогла бы… сопротивлялась Ружена.

Она говорила так не потому, что была действительно до глубины души убеждена в этом. Чувство уверенности, которое позавчера вселил в нее доктор Шкрета, было столь свежим, что она еще не знала, как быть с ним. Она не придерживалась никакого точно рассчитанного плана, она была лишь переполнена сознанием своей беременности и воспринимала ее как великое событие и еще более как шанс и возможность, которая так легко уже не представится. Она чувствовала себя пешкой, которая только что дошла до края шахматной доски и стала королевой. Она сладостно ощущала свою неожиданную и дотоле неизведанную силу. Она видела, что по ее призыву вещи приходят в движение, что знаменитый трубач приезжает к ней из столицы, катает ее на роскошной машине, объясняется ей в любви. Она не могла сомневаться в том, что между ее беременностью и этой внезапной силой суще-

ствует определенная связь. И если она не хотела отказаться от этой силы, то не могла отказаться и от беременности.

Поэтому трубач продолжал толкать свой тяжкий камень в гору:

— Дорогая, я не мечтаю о семье. Я мечтаю о любви, а ребенок превращает всякую любовь в семью. В скуку. В заботы. В тоску. И всякую любовницу в мать. Ты для меня не мать. Ты любовница, и я не хочу ни с кем делить тебя. Даже с ребенком.

Это были прекрасные слова, Ружена с удовольствием слушала их, но по–прежнему качала головой:

— Нет, я не смогла бы. Это все–таки твой ребенок. Я не смогла бы уничтожить твоего ребенка.

Не находя уже никаких новых аргументов, он повторял одни и те же слова и боялся, как бы она не уловила их неискренность.

— Но тебе уже тридцать, — сказала она. — Разве ты никогда не мечтал о ребенке?

Он и вправду не мечтал о ребенке. Он так любил Камилу, что ребенок рядом с ней мешал бы ему. Все, что он минуту назад говорил Ружене, было не пустой выдумкой. Точно такие же фразы он уже много лет искренно и прямодушно говорил своей жене.

— Ты уже шесть лет женат, а детей у вас нет. Я была так счастлива, что могу подарить тебе ребенка.

Он чувствовал, как все оборачивается против него. Не представляя себе безграничности его любви к Камиле, Ружена все сводила лишь к ее бесплодию, и это толкало девушку на дерзкую смелость.

Уже холодало, солнце клонилось к горизонту, время убегало, а он еще и еще раз повторял то, что уже сказал ей, а она повторяла свое «нет, нет, я бы не смогла». Он чувствовал, что зашел в тупик, не знал, за что ухватиться, и ему казалось, что он проигрывает. Он так нервничал, что забывал держать ее за руку, забывал целовать ее и насыщать голос нежностью. С испугом осознав это, он попытался взбодриться. Он остановился, улыбнулся и обнял ее. Это было объятие усталости. Он прижимал ее к себе, приникнув головой к ее лицу, и так, по сути опираясь на нее, отдыхал, переводил дух, ибо ему казалось, что перед ним дальняя дорога, на которую у него нет больше сил.

Но и Ружена была на исходе сил. И ей уже не хватало никаких аргументов, и она чувствовала, что ее жалкое «нет» нельзя до бесконечности повторять мужчине, которого хочешь завоевать.

Объятие длилось долго, и когда Клима выпустил ее из рук, она, склонив голову, смиренно проговорила:

— Тогда подскажи мне, что я должна делать.

Клима не поверил своим ушам. Это пришло внезапно, нежданно и принесло неизмеримое облегчение. Столь неизмеримое, что ему пришлось всячески сдерживать себя, чтобы не выказать этого. Он погладил девушку по лицу и сказал, что главный врач Шкрета — его добрый знакомый и что будет достаточно, если Ружена через три дня предстанет перед комиссией. Он пойдет с ней. Она ничего не должна бояться.

Ружена не возражала, и он снова вошел во вкус своей роли. Он обнимал ее за плечи и, поминутно останавливаясь, целовал ее (радость была так велика, что поцелуй снова был окутан туманной пеленой). Он опять завел речь о том, что Ружена сможет перебраться в столицу. И даже вновь заговорил о поездке к морю.

А потом солнце спряталось за горизонт, на лес упали сумерки, и над макушками елей взошла круглая луна. Они направились к машине. Но когда подходили к шоссе, оказались в свете прожектора. Сперва им показалось, что мимо проезжает машина с зажженными фарами, но

потом стало ясно, что свет неотступно преследует их. Он исходил от мотоцикла, припаркованного на противоположной стороне шоссе; на мотоцикле сидел человек, наблюдавший за ними.

— Пожалуйста, пойдем быстрее, — сказала Ружена.

Когда они приблизились к машине, человек, сидевший на мотоцикле, слез с него и пошел к ним навстречу. Трубач видел лишь темный силуэт, ибо фары мотоцикла освещали мужчину сзади, а его и Ружену спереди.

— Иди сюда! — бросился мужчина к Ружене. — Давай поговорим! Нам есть что сказать друг другу! О многом надо поговорить! — кричал он возмущенно и растерянно.

Трубач тоже был возмущен и растерян, но, не подозревая истинной подоплеки происходящего, был задет лишь наглой неучтивостью незнакомца:

— Девушка со мной, а не с вами, — воскликнул он.

— А к вам у меня особый разговор! — кричал незнакомец трубачу. Думаете, если знаменитость, так вам все дозволено! Думаете, можете дурить ее! Можете морочить ей голову! Вам это запросто! Будь я на вашем месте, я бы тоже сумел!

Ружена воспользовалась минутой, когда мотоциклист повернулся к трубачу, и проскользнула в машину. Мотоциклист подскочил к машине. Но окно было закрыто, и девушка включила радио. Раздалась громкая музыка. Затем в машину проскользнул и трубач и захлопнул за собой дверь. Оглушительно гремела музыка. Сквозь стекло они видели лишь силуэт мужчины, кричавшего что–то и жестикулировавшего руками.

— Ненормальный какой–то, он все время меня преследует, — сказала Ружена. — Пожалуйста, поезжай быстрей!

10

Он припарковал машину, подвел Ружену к дому Маркса, поцеловал ее, и когда она скрылась за дверью, почувствовал такую усталость, словно не спал четыре ночи подряд. Был уже поздний вечер, он хотел есть, но казалось, нет сил сесть за руль и вести машину. Затосковав вдруг по утешительным словам Бертлефа, он взял наперерез через парк к Ричмонду.

Когда он подошел к подъезду, в глаза ему бросилась большая афиша, на которую падал свет уличного фонаря. На ней крупными неровными буквами было написано его имя, и под ним, буквами помельче, имя Шкреты и аптекаря–пианиста.

Афиша была изготовлена ручным способом и сопровождалась любительским изображением золотой трубы.

Скорость, с которой доктор Шкрета разрекламировал концерт, трубач счел добрым предзнаменованием, ибо, по всей вероятности, свидетельствовала о его надежности. Трубач вбежал по лестнице вверх и постучал в дверь Бертлефа.

Ни звука.

Он снова постучал, и снова ему ответила тишина.

Прежде чем он успел подумать о несвоевременности своего прихода (американец славился своими обширными связями с женщинами), его рука уже нажала на ручку. Дверь была не заперта. Трубач шагнул в комнату и замер. Он ничего не видел. Не видел ничего, кроме сияния, разливавшегося из угла комнаты. Сияние было особенным; оно не походило ни на белое дневное освещение, ни на желтый свет электрической лампы. Это был голубоватый свет, заливавший всю комнату.

Но в эту минуту запоздалая мысль трубача уже настигла его опрометчивую руку и подсказала ему, что он допускает нечто бестактное, вторгаясь

незваным гостем в столь поздний час в чужую комнату. Он ужаснулся своей невоспитанности, снова отступил в коридор и поспешно закрыл за собой дверь.

Однако он был настолько растерян, что не ушел, а остался стоять у двери, стараясь осмыслить странное сияние.

Он было подумал, что американец, раздевшись в комнате догола, купается в ультрафиолетовых лучах горного солнца. Но тут открылась дверь, и появился Бертлеф. Голым он не был, на нем был тот же костюм, надетый утром. Улыбаясь трубачу, он сказал:

— Рад, что вы еще раз зашли. Милости прошу!

Трубач настороженно вошел в комнату, но она была освещена обычной, свисавшей с потолка люстрой.

— Боюсь, что побеспокоил вас! — сказал трубач.

— Да полноте! — ответил Бертлеф и кивнул на окно, откуда за минуту до этого, как показалось трубачу, исходило голубоватое сияние. — Я предавался размышлениям. Ничего больше.

— Когда я вошел, простите мое неожиданное вторжение, я видел здесь совершенно необыкновенное сияние.

— Сияние? — Бертлеф рассмеялся: — Вам не следует так относиться к этой беременности. Из–за нее у вас галлюцинации.

— Может, это было вызвано тем, что я вошел сюда из темного коридора.

— Возможно, — сказал Бертлеф. — Но рассказывайте, чем все кончилось.

Трубач принялся рассказывать, но Бертлеф вскоре прервал его:

— Вы голодны?

Трубач кивнул. Бертлеф вынул из шкафа пакет печенья и банку с ветчиной, которую тут же открыл.

И Клима продолжил свой рассказ, жадно глотая ужин и вопросительно глядя на Бертлефа.

— Полагаю, что все хорошо кончится, — успокоил его Бертлеф.

— А как вы думаете, что это был за человек, который ждал нас у машины? Бертлеф пожал плечами:

— Не знаю. Да имеет ли это сейчас какое–либо значение!

— В самом деле. Лучше подумать о том, как объяснить Камиле, почему эта конференция так затянулась.

Было довольно поздно. Подкрепившись и успо-

коившись, трубач сел в машину и покатил в столицу. Большая круглая луна освещала ему путь.

День третий

1

Среда, утро, и проснувшийся курорт вновь бурлит жизнью. Струи воды изливаются в ванны, массажисты упираются ладонями в обнаженные спины, а к стоянке только что подкатила легковая машина. Но не роскошный лимузин, что вчера был припаркован на том же месте, а обыкновенная машина, какой владеют большинство граждан этой страны. За рулем сидел мужчина лет сорока пяти. На заднем сиденье громоздилось несколько чемоданов.

Мужчина вышел, запер дверь, заплатил сторожу стоянки пять крон и направился к дому Маркса; по его коридорам подошел к двери, на которой была табличка с именем доктора Шкреты. Он вошел в приемную и постучал в дверь кабинета. Выглянула сестричка, мужчина представился ей, и минуту спустя появился доктор Шкрета.

— Якуб! Когда ты приехал?

— Только что!

— Потрясающе! Надо о многом поговорить!.. Знаешь что… — сказал он после короткого раздумья: — Сейчас я уйти не могу. Пойдем со мной в

кабинет. Дам тебе халат!

Якуб не был врачом и никогда не переступал порога гинекологического кабинета. Но доктор Шкрета уже схватил его под руку и ввел в белоснежное помещение, где на смотровом кресле лежала обнаженная женщина с раздвинутыми ногами.

— Дайте господину доктору халат, — сказал доктор Шкрета санитарке; та открыла шкаф и подала Якубу белую докторскую хламиду.

— Поди–ка взгляни. Я хотел, чтобы ты подтвердил мой диагноз, подозвал он Якуба к женщине, которая была явно польщена тем, что тайна ее яичников, не способных, несмотря на все усилия, произвести на свет ни одного потомка, будет разгадана двумя светилами.

Доктор Шкрета снова взялся прощупывать внутренности пациентки и изрек два–три латинских слова, в ответ на которые Якуб утвердительно промычал. Затем доктор спросил:

— Сколько ты здесь пробудешь?

— День.

— День? Это страшно мало, мы ни о чем не успеем поговорить!

— Когда вы здесь нажимаете, мне больно, — сказала женщина с поднятыми ногами.

— Здесь должно немножко болеть, это нормально, — сказал Якуб, чтобы позабавить приятеля.

— Да, пан доктор прав, — сказал Шкрета, — это нормально. Все в порядке. Я пропишу вам курс инъекций. Будете приходить сюда к сестре в шесть утра ежедневно. Оденьтесь, пожалуйста.

— Я приехал, в сущности, проститься с тобой, — сказал Якуб.

— Как это проститься?

— Уезжаю за границу. Мне разрешили выехать.

Женщина, меж тем одевшись простилась с доктором Шкретой и его коллегой.

— Вот это новость! Не ожидал! — удивился Шкрета. — Отошлю всех баб по домам, раз ты приехал проститься со мной.

— Пан доктор, — вмешалась в разговор сестра. — Вчера вы тоже всех отослали. К концу недели у нас будет большой недобор!

— Что ж, пригласите следующую, — сказал доктор Шкрета и вздохнул.

Сестричка пригласила следующую больную, и приятели, окинув ее беглым взглядом, отметили про себя, что она куда привлекательнее предыдущей. Доктор Шкрета поинтересовался, как она чувствует себя после ванн, и предложил

ей раздеться.

— Чертовски долго тянулось, пока мне оформляли паспорт, — сказал Якуб. — Но, получив его, уже через два дня я был готов к отъезду. Не хотелось даже ни с кем прощаться.

— Тем приятнее, что ты заехал сюда, — сказал доктор Шкрета и предложил молодой женщине взобраться на смотровое кресло. Затем натянул резиновую перчатку и запустил руку в ее утробу.

— Мне хотелось видеть только тебя и Ольгу. Надеюсь, она в порядке.

— Можешь не беспокоиться, — сказал Шкрета, но по его голосу чувствовалось, что он отвечает Якубу машинально. Он был целиком поглощен пациенткой: — Нам придется прибегнуть к небольшому оперативному вмешательству, — сказал он. — Не волнуйтесь, это абсолютно не больно. — Он подошел к застекленному шкафу и вынул шприц, на который вместо иглы был насажен короткий пластмассовый наконечник.

— Что это? — спросил Якуб.

— За эти долгие годы я разработал некоторые новые, весьма продуктивные методы. Можно считать эгоизмом с моей стороны, но пока они остаются тайной.

— Значит, я не должна бояться? — голосом

скорее кокетливым, чем испуганным, спросила женщина, лежавшая с раздвинутыми ногами.

— Ничуть, — ответил доктор Шкрета и опустил шприц в пробирку, с которой обращался чрезвычайно бережно. Потом подошел к женщине, сунул шприц ей в межножье и нажал на поршень. — Больно было?

— Нет, — сказала она.

— Я приехал еще и затем, чтобы отдать тебе таблетку, — сказал Якуб.

Но доктор Шкрета не обратил особого внимания на его фразу. Он по–прежнему был поглощен своей пациенткой. Оглядев ее с головы до ног, он с серьезным, вдумчивым выражением на лице сказал:

— С вашими данными было бы действительно обидно не иметь детей. У вас красивые длинные ноги, хорошо поставленный таз, прекрасная грудная клетка и очень приятные черты лица.

Затем он коснулся лица женщины, ощупал ее подбородок и сказал:

— Отличная челюсть, все очень хорошо смоделировано.

Ощупал он и ее бедро:

— У вас исключительно крепкие кости. Они просто светятся из–под ваших мышц.

Доктор еще минуту–другую любовался своей пациенткой, обследуя ее тело; она не возражала, не смеялась игриво, ибо серьезная заинтересованность доктора отодвигала его прикосновения далеко за грань какой–либо порочности.

Наконец кивком он велел ей одеться и обратился к приятелю:

— Что ты сказал?

— Что приехал отдать тебе таблетку.

— Какую таблетку?

Женщина оделась и спросила:

— Значит, вы, пан доктор, думаете, что я могу надеяться?

— Я целиком удовлетворен, — сказал доктор Шкрета. — Думаю, дела пойдут хорошо, и мы оба, вы и я, можем рассчитывать на успех.

Поблагодарив, женщина удалилась из кабинета, и Якуб сказал:

— Ты когда–то дал мне таблетку, какую никто другой дать мне не хотел. Поскольку я уезжаю, она, думается, мне уже никогда не понадобится, и я решил тебе ее вернуть.

— Оставь у себя. Такая пилюлька может быть одинаково полезна как здесь, так и в другом месте.

— Нет, нет. Эта таблетка принадлежит этой

стране. Я хочу оставить этой стране все, что принадлежит ей, — сказал Якуб.

— Пан доктор, я приглашу следующую пациентку, — сказала сестра.

— Отправьте этих дамочек домой, — сказал доктор Шкрета. — Сегодня я уже достаточно поработал. Увидите, что эта последняя молодуха непременно родит. Для одного дня немало, не правда ли?

Сестра смотрела на доктора Шкрету с обожанием, но при этом без особого послушания.

Доктор понял ее взгляд:

— Хорошо, не отправляйте их никуда и скажите, что я через полчаса вернусь.

— Пан доктор, вчера тоже было «на полчаса», а мне пришлось гоняться за вами по улице.

— Не беспокойтесь, сестричка, через полчаса я вернусь, — сказал доктор Шкрета и попросил Якуба снять халат. Затем вывел его из здания и наперерез через парк направился с ним к Ричмонду.

2

Они поднялись на второй этаж и по длинному красному ковру прошли в самый конец коридора. Там доктор Шкрета открыл дверь в маленькую, но приятную комнату.

— Молодец, — сказал Якуб. — Ты всегда находишь здесь для меня какое–нибудь пристанище.

— Теперь у меня в этом конце коридора комнаты для моих подопечных. Рядом с тобой прекрасные угловые апартаменты, которые в прежние времена занимали министры и фабриканты. Там я поселил своего самого редкостного пациента, богатого американца, чей род ведет начало из этих мест. Отчасти он и мой ДРУГ.

— А где живет Ольга?

— В доме Маркса, как и я. Ей там неплохо, не беспокойся.

— Главное, что ты принял ее. Как у нее дела?

— Обычные трудности женщины с лабильной нервной системой.

— Я же писал тебе, какая у нее была жизнь.

— Большинство женщин ездят на этот курорт, чтобы вылечиться от бесплодия. Что же касается твоей протеже, то было бы лучше, если бы она не отличалась особыми способностями к деторождению. Ты видел ее обнаженной?

— Упаси Боже, что ты!

— Ну так посмотри на нее! Сисенки маленькие и свисают на грудной клетке, точно две сливы. Все ребра видны. Мой совет на будущее: больше внимания обращай на грудную клетку. Правиль-

ная грудная клетка должна быть агрессивной, устремленной вовне, она должна расширяться, словно желая поглотить как можно больше пространства. Но в противовес этому существуют и грудные клетки, что пребывают в обороне, отступают перед окружающим миром и подобны смирительной рубашке, которая все больше затягивается вокруг человека, пока наконец не задушит его. Вот и у нее такая грудная клетка. Скажи ей, пусть тебе покажет ее.

— Этого я ей не скажу.

— Боишься, что, увидев ее, не захочешь больше считать ее своей протеже…

— Напротив, — сказал Якуб, — боюсь, что мне станет ее еще жальче.

— Друг мой, — сказал Шкрета, — этот американец весьма любопытный человек. Якуб спросил:

— Где мне найти ее?

— Кого?

— Ольгу.

— Сейчас ее не найдешь. Она на процедурах. По утрам ей предписано быть в бассейне.

— Не хотелось бы разминуться с ней. Позвонить ей нельзя?

Доктор Шкрета поднял трубку, набрал номер, не переставая при этом разговаривать с приятелем:

— Я тебе представлю его, а ты его прощупай. Ты знаменитый психолог. Ты раскусишь его. У меня на него кое–какие виды.

— Какие? — спросил Якуб, но доктор Шкрета уже говорил в трубку:

— Сестра Ружена? Как у вас дела?.. Ничего особенного, такие тошноты в вашем состоянии совершенно естественны. Я хотел бы спросить у вас, нет ли сейчас в бассейне моей пациентки, той, что живет рядом с вами… Да? Тогда передайте ей, что к ней приехал гость из столицы, пусть никуда не уходит… В двенадцать он будет ждать ее у входа в водолечебницу.

Шкрета повесил трубку.

— Ты слышал. В поддень встретишься с ней. Черт подери, о чем мы с тобой говорили?

— Об этом американце.

— Да, — сказал Шкрета. — Весьма занятный малый. Я вылечил его жену. Они не могли иметь детей.

— А он что лечит здесь?

— Сердце.

— Ты говорил, что у тебя на него какие–то виды.

— Как только не приходится вертеться врачу в этой стране, дабы жить на достойном уровне! —

вскипел Шкрета. — Завтра приезжает сюда с концертом знаменитый трубач Клима. Я буду играть на барабане!

Якуб отнесся к словам Шкреты не очень серьезно, однако изобразил удивление:

— Как? Ты играешь на барабане?

— Представь себе, дружище. Что делать, коли я теперь человек семейный!

— Да что ты? — на сей раз искренно удивился Якуб. — Семейный? Ты, значит, женился.

— Вот именно, — сказал Шкрета.

— На Зузи?

Зузи была курортным врачом. Шкрета уже долгие годы был с ней в близких отношениях, но пока ему удавалось в последнюю минуту увиливать от женитьбы.

— Да, на Зузи, — сказал Шкрета. — Ты же знаешь, что мы с ней каждое воскресенье поднимались на смотровую площадку…

— Значит, ты все–таки женился, — тоскливо сказал Якуб.

— Так вот, всякий раз, когда мы поднимались наверх, Зузи уговаривала меня жениться на ней. А я бывал так измотан этим восхождением, что чувствовал себя стариком и ни на что, кроме женитьбы, не годным. Но под конец я таки

овладевал собой, и уже при спуске ко мне возвращалась бодрость и желание жениться исчезало. А однажды Зузи пошла обходным путем, и это восхождение так затянулось, что я согласился на свадьбу еще задолго до его конца. А сейчас мы ждем ребенка, и мне приходится думать о деньгах. Этот американец, надо сказать, рисует еще и иконки. Они могли бы принести немалые деньги. Что ты скажешь на это?

— Ты считаешь, что иконки пользуются большим спросом?

— Колоссальным! Друг мой, поставить здесь у церкви в храмовый праздник ларек и продавать иконки по сотне — считай, мы набили карман! Я бы продавал их и половину прибыли отдавал ему.

— А он что на это?

— У этого малого денег куры не клюют, и ни на какую коммерцию подбить его невозможно! — сказал Шкрета и чертыхнулся.

3

Ольга прекрасно видела, что с края бассейна машет ей сестра Ружена, но продолжала плавать, как бы не замечая этого.

Эти две женщины недолюбливали друг друга. Доктор Шкрета поселил Ольгу в комнате,

соседствовавшей с Руженой. Ружена имела привычку включать радио на полную громкость, тогда как Ольга вожделела тишины. Не раз она стучала в стену, но медсестра в ответ лишь усиливала звук.

Ружена терпеливо махала до тех пор, пока ей не удалось передать пациентке, что в двенадцать часов к ней пожалует гость из столицы.

Ольга сразу поняла, что это Якуб, и ее охватила бесконечная радость. Но тут же следом она удивилась своей радости: почему я так радуюсь, узнав о его приезде?

А надо сказать, что Ольга относилась к тому типу современных женщин, которые умеют раздваиваться: одно существо в них переживает различные чувства, другое — наблюдает.

Но и Ольга наблюдающая испытывала радость. Она прекрасно сознавала, что столь дикая радость Ольги переживающей несоразмерна событию, но поскольку была злорадной, то испытывала удовольствие именно от этой несоразмерности. Ее забавляла мысль о том, как испугался бы Якуб, узнай он об остроте ее радости.

Стрелка на часах, висевших над бассейном, показывала без четверти двенадцать. Ольга представляла себе, какой вид сделал бы Якуб, если бы

она бросилась ему на шею и страстно поцеловала его. Она подплыла к краю бассейна, вышла и направилась в раздевалку. Было немного досадно, что она не знала о его приезде еще утром. Она постаралась бы приодеться. Серое, неинтересное платьице, которое сейчас было на ней, портило настроение.

Случалось, да вот хоть минутой раньше, когда плавала в бассейне, она забывала о своей внешности. Но теперь она стояла перед маленьким зеркальцем в кабинке и видела себя в сером платьице. Еще две–три минуты назад идея броситься Якубу на шею и страстно поцеловать его вызывала у нее злорадную улыбку. Но эта идея осенила ее в бассейне, где она плавала, не ощущая тела, претворившись в одну лишь свободную мысль. Теперь, наделенная вдруг телом и одеждой, она была бесконечно далека от этого веселого образа и снова осознавала себя именно такой, какой ее всегда, к несчастью, видит Якуб: девушкой, нуждающейся в помощи.

Если бы Ольга была чуточку глупее, она, быть может, считала бы себя вполне красивой. Но она была умна, и потому казалась себе гораздо непригляднее, чем была на самом деле, ибо, по правде говоря, она не была красивой, но не была

и уродливой, и любой мужчина со средними эстетическими запросами охотно провел бы с нею ночь.

Но поскольку Ольга любила раздваиваться, то и сейчас ее наблюдающая половина одергивала переживающую: что особенного в том, как она выглядит? Почему она терзается, глядя на себя в зеркало? Неужто она и вправду не более как предмет мужского внимания? Лишь товар, который сам себя несет на рынок? Неужто она не может быть независимой от своей внешности хотя бы в той мере, в какой независим от нее любой мужчина?

Она вышла из курортного здания и увидела его лицо, осветившееся добродушной нежностью. Она знала, что вместо рукопожатия он погладит ее по голове, как хорошую дочку. Конечно, он так и сделал.

— Куда пойдем обедать? — спросил он.

Она предложила ему поесть в столовой для пациентов: за ее столом свободное место.

Огромное помещение было забито столами и обедающими. Якуб и Ольга, усевшись, долго ждали, пока официантка нальет им в глубокие тарелки супа. За их столом сидели еще двое, которые завязали с Якубом разговор, сразу же

зачислив в дружную семью пациентов. И потому Якубу лишь в редкие минуты посреди разговора удавалось спросить Ольгу о каких–то обыденных вещах: довольна ли она столом, врачами, процедурами. На вопрос, как она живет, Ольга ответила, что у нее ужасная соседка, и кивком указала на один из ближних столов, за которым сидела Ружена.

Затем соседи по столу попрощались и ушли, а Якуб, глядя на Ружену, сказал:

— У Гегеля есть весьма любопытное размышление о так называемом греческом профиле, чья красота, по его мнению, основана на том, что нос соединен со лбом одной линией, чем подчеркивается верхняя половина головы вместилище разума и духа. Глядя на твою соседку, я вижу, что все ее лицо, напротив, сконцентрировано вокруг рта. Посмотри, как она увлеченно жует и при этом громко разговаривает! Акцент, падающий на нижнюю, чувственную часть лица, внушал бы Гегелю отвращение, хотя эта девушка, не вызывающая, впрочем, у меня симпатии, достаточно красива.

— Тебе так кажется? — спросила Ольга, и в ее голосе прозвучало неудовольствие. Поэтому Якуб быстро сказал:

— Я боялся бы ее рта, как бы он не изжевал меня.

И добавил еще:

— Ты больше бы устраивала Гегеля. Доминантой на твоем лице выступает лоб, который мгновенно сообщает каждому о твоем уме.

— Такие размышления меня ужасно бесят, — резко сказала Ольга. — Из них всегда вытекает, что лицо человека — оттиск его души. Но это же абсолютная чепуха. Свою душу я представляю с большим подбородком и чувственными губами, тогда как у меня и подбородок и рот маленькие. Если бы я никогда не видела себя в зеркале, но должна была бы описать свою внешность в соответствии с тем, какой я себя вижу изнутри, эта внешность ничуть не походила бы на мою реальную. Я нечто совершенно другое, чем кажусь на первый взгляд!

4

Трудно найти слово, которым можно было бы определить отношение Якуба к Ольге, дочери его друга, казненного, когда ей было семь лет. Якуб уже тогда решил взять под свое покровительство осиротевшую девочку. Детей у него не было, и ему казалось заманчивым приобщиться к некоему необязательному отцовству. В шутку он называл

ее своей воспитанницей.

Сейчас они сидели в ее комнате. Ольга включила плитку, поставила на нее кружку с водой, и Якуб почувствовал себя неспособным открыть ей причину своего визита. Всякий раз, когда он собирался сказать ей, что приехал проститься, его охватывал страх, что эта новость прозвучит слишком патетически и что между ними возникнет атмосфера неуместной сентиментальности. Он уже давно подозревал, что Ольга тайно любит его.

Ольга взяла из шкафа две чашки, насыпала в них молотый кофе и залила кипятком. Помешивая кофе, Якуб вдруг услышал, как Ольга сказала:

— Якуб, скажи, пожалуйста, каким на самом деле был мой отец?

— Почему ты спрашиваешь об этом?

— Действительно на его совести не было ничего дурного?

— Что за ерунда вдруг пришла тебе в голову? — удивился Якуб. Отец Ольги уже некоторое время назад был публично реабилитирован и объявлен невинно пострадавшим. В его невиновности никто не сомневался.

— Я так не думаю, — сказала Ольга. — Я предполагала как раз обратное.

— Не понимаю тебя, — сказал Якуб.

— Я часто думала, не совершил ли он по отношению к кому–то другому именно то, что другие совершили по отношению к нему. Те, что приговорили его к виселице, были точно такими же, как и он. У них была та же вера, они были такими же фанатиками. Они были убеждены, что любое, хоть сколько–нибудь отличное воззрение смертельно угрожает революции, и потому были подозрительны. Они послали его на смерть во имя того святого, что было свято и для него. Так почему же он не способен был поступать с другими так же, как они поступили с ним?

— Время ужасающе быстротечно, и чем отдаленнее прошлое, тем оно непонятнее, — задумчиво сказал Якуб. — Что ты знаешь о своем отце, кроме нескольких писем, нескольких страниц его дневника, который милостиво вернули тебе, и немногих воспоминаний его друзей?

— Почему ты увиливаешь? — напирала на него Ольга. — Я задала тебе совершенно ясный вопрос. Мой отец был таким же, как и те, что послали его на смерть?

— По–видимому, да, — пожав плечами, сказал Якуб.

— Почему же тогда и он не мог допустить такие

же жестокости?

— Если взглянуть на вещи теоретически, — очень медленно отвечал Якуб, — теоретически он мог поступать с другими так же, как другие поступили с ним. Нет на свете человека, который не способен был бы с относительно легкой душой послать своего ближнего на смерть. По крайней мере я ни одного такого не встретил. Если люди когда–нибудь изменятся в этом плане, то утратят свое первенствующее человеческое свойство. Это будут уже не люди, а какой–то иной вид существ.

— Вы мне чрезвычайно нравитесь! — воскликнула Ольга, как бы обращаясь к великому множеству таких, как Якуб. — В силу того, что вы всех людей почитаете убийцами, ваши собственные убийства перестают быть преступлением и становятся лишь неотъемлемым знаком людского рода.

— Большинство людей вращается в идиллическом круге между домом и работой, — сказал Якуб. — Они живут в безопасном пространстве добра и зла. Их искренне ужасает вид человека, совершающего убийство. Но достаточно вывести их из этого тишайшего пространства, и они становятся убийцами, даже не ведая как. Существуют испытания и соблазны, которые лишь

изредка случаются в истории. И никто не может им противостоять. Впрочем, совершенно бесполезно говорить об этом. Какое имеет для тебя значение, что теоретически способен был сделать твой отец, если все равно это никак нельзя доказать. Тебя скорее должно занимать, что он сделал и чего не сделал. И в этом смысле у него была чистая совесть.

— Ты в этом полностью уверен?

— Полностью. Никто не знает о нем больше меня.

— Я действительно рада слышать от тебя такое, — сказала Ольга. — То, о чем я спрашиваю, пришло мне в голову не случайно. Уже долгое время я получаю анонимные письма. Мне пишут, что я не вправе изображать из себя дочь мученика, поскольку мой отец до того, как его казнили, сам отправил в тюрьму много неповинных людей, виноватых лишь в том, что они думали о мире иначе, чем он.

— Чепуха, — сказал Якуб.

— В этих письмах его изображают яростным фанатиком и жестоким человеком. Письма пусть анонимные и злые, но не примитивные. Мысль в них выражена без преувеличения, по существу и точно, так что я почти поверила им.

— Это все та же месть, — сказал Якуб. — Расскажу тебе кое–что. Когда твоего отца посадили, тюрьмы были переполнены теми, кого загнал туда первый натиск революции. Заключенные узнали в нем известного коммунистического лидера, набросились на него при первом же удобном случае и избили до полусмерти. Надзиратели наблюдали за этим со злобной ухмылкой.

— Я знаю, — сказала Ольга, и Яков понял, что говорит ей то, о чем она уже много раз слышала. Он уже давно дал себе слово не говорить о подобных вещах, но его всякий раз прорывало. Кто пережил автоаварию, тот столь же тщетно запрещает себе вспоминать о ней.

— Я знаю, — повторила Ольга. — Но эти люди не удивляют меня. Их сажали без суда, зачастую без малейшего повода. И вдруг они воочию увидели одного из тех, кто был повинен в их несчастье.

— В ту минуту, когда твой отец надел тюремную робу, он стал одним из них. Бессмысленно было избивать его, тем паче на глазах у надзирателей. Это было не что иное, как трусливая месть. Нет большей подлости, как топтать беззащитного. И эти письма, что ты получаешь, плод все той же мести, которая, как я вижу, сильнее времени.

— И все–таки послушай, Якуб! Их было сотни

тысяч в тюрьмах! Тысячи, что никогда уже не вернулись! Но ни один виновник не был наказан! Ведь эта жажда мести всего лишь неудовлетворенная жажда справедливости!

— Мстить дочери за отца — здесь нет ничего общего со справедливостью. Только вспомни: из–за него ты лишилась дома, уехала из города, не имела права учиться. Из–за мертвого отца, которого ты толком даже не знала! И из–за него же теперь снова подвергаешься преследованиям со стороны тех, других! Поделюсь с тобой самым печальным открытием в моей жизни: те, что стали жертвами, были ничуть не лучше тех, кто принес их в жертву. Их роли представляются мне взаимозаменяемыми. Ты можешь усмотреть в этом уловку, с помощью которой человек хочет уйти от ответственности, взвалив ее на плечи Творца, замыслившего человека таким, какой он есть. И, возможно, хорошо, что ты так думаешь. Ибо прийти к тому, что нет различия между виноватым и жертвой, значит утратить всякую надежду. И называется это адом, моя девочка.

5

Обеим сослуживицам не терпелось узнать, чем кончилось вчерашнее свидание Ружены. Но в этот день они дежурили в другом конце водоле-

чебницы и, встретившись с ней лишь около трех, засыпали ее вопросами.

Ружена, немного поколебавшись, неуверенно сказала:

— Он говорил, что любит меня и что женится на мне.

— Ну вот видишь! Я же говорила тебе! — сказала худая. — А он разведется?

— Сказал, что да.

— Придется, — сказала тридцатипятилетняя весело. — Ребенок есть ребенок. А его жена бездетная.

И тут Ружену прорвало:

— Он говорил, что возьмет меня в Прагу. Устроит меня там на работу. Говорил, что поедем в Италию в отпуск. Но сейчас начинать нашу жизнь с ребенка он не хочет, и он прав. Эти первые годы самые прекрасные, а если у нас будут дети, мы не сможем жить друг для друга.

Тридцатипятилетняя опешила:

— Ты, что же, хочешь избавиться от ребенка? Ружена кивнула.

— Ты с ума сошла! — прикрикнула на нее худая.

— Он обвел тебя вокруг пальца, — сказала тридцатипятилетняя. — В ту минуту, когда ты

освободишься от ребенка, он плюнет на тебя!

— Почему это плюнет?

— Давай поспорим! — сказала худая.

— А если он любит меня?

— Откуда ты знаешь, что он любит тебя? — сказала тридцатипятилетняя.

— Говорил так.

— А почему тогда целых два месяца не отзывался?

— Боялся любви, — сказала Ружена.

— Что, что?

— Как бы это тебе объяснить? Испугался того, что влюбился в меня.

— И потому не отзывался?

— Хотел проверить, может ли забыть меня. Неужели это трудно понять?

— Ну, ну, — продолжала тридцатипятилетняя. — И когда узнал, что обрюхатил тебя, сразу понял, что забыть тебя не в силах.

— Говорил, даже рад, что я в положении. Но не из–за ребеночка, а потому, что я дала о себе знать. Он понял, что любит меня.

— Господи, какая ты идиотка! — сказала худая.

— Почему же это я идиотка?

— Потому что ребенок — единственное, что есть у тебя, — сказала тридцатипятилетняя. —

Если этого ребенка выкинешь, у тебя ничего не останется и он на тебя плюнет.

— Мне нужно, чтобы он хотел меня ради меня самой, а не ради ребенка.

— Прости меня, но что ты о себе понимаешь? Почему это ему хотеть тебя ради тебя самой?

Они еще долго возбужденно беседовали, и обе женщины не уставали повторять Ружене, что ребенок ее единственный козырь, от которого она не смеет отступаться.

— Я бы никогда не избавилась от ребенка. Это я тебе говорю. Никогда, понимаешь, никогда, — твердила худая.

И вдруг почувствовав себя маленькой девочкой, Ружена сказала (это была та самая фраза, которая вчера вернула Климе вкус к жизни):

— Тогда подскажите мне, что я должна делать!

— Отстаивать свой интерес, — сказала тридцатипятилетняя, затем, открыв ящик в своем шкафчике, вынула стеклянный тюбик с таблетками. — На, возьми! Ты ужасно взвинчена. Это успокоит тебя.

Ружена положила в рот таблетку и проглотила ее.

— Оставь тюбик у себя. Там написано три раза в день, но ты принимай, только когда тебе надо

будет успокоиться. Не натвори в расстройстве какой глупости. Помни, это стреляный малый. Прошел огонь и воду! Но на этот раз ему так легко не отвертеться!

И Ружена уже опять не знала, что ей делать. Еще минуту назад ей казалось, что все решено, но доводы ее сослуживиц звучали так убедительно, что ее вновь охватили сомнения. Взбудораженная, она стала спускаться по лестнице водолечебницы.

В вестибюле к ней бросился паренек, лицо у него горело.

Она насупилась.

— Я говорила тебе, что здесь меня нельзя ждать. А после вчерашнего вообще не понимаю, как у тебя хватает нахальства.

— Прости меня, не сердись! — в отчаянии воскликнул молодой человек.

— Тссс! — осадила она его. — Будешь мне здесь еще устраивать сцены! сказала она, торопясь уйти.

— Если не хочешь сцен, так не убегай от меня!

Что было делать? Вокруг сновали пациенты, поминутно мелькали белые халаты. Ружене не хотелось привлекать к себе внимание, и потому она остановилась и постаралась принять непри-

нужденный вид.

— Ну что тебе? — прошептала она.

— Ничего. Я просто хотел попросить прощения. Мне правда неприятно, что я натворил. Но прошу тебя, поклянись, что у тебя с ним ничего нет.

— Я тебе уже сказала, что у меня с ним ничего нет.

— А ты поклянись.

— Не будь ребенком. Я не стану клясться из–за таких глупостей.

— Потому что у тебя с ним что–то было.

— Я тебе сказала, что нет. А если не веришь, то нам не о чем разговаривать. Это просто мой знакомый. Разве у меня нет права иметь своих знакомых? Я уважаю его. И рада, что знакома с ним.

— Я понимаю. И не упрекаю ни в чем, — говорил молодой человек.

— Завтра у него здесь концерт. Надеюсь, ты не станешь шпионить за мной.

— Если дашь мне слово, что у тебя с ним ничего нет.

— Я уже сказала тебе, что ниже моего достоинства давать честное слово из–за таких пустяков. Но если еще раз будешь шпионить за мной, то даю тебе честное слово, что больше ко мне уже

никогда не придешь.

— Ружена, но если я люблю тебя, — горестно сказал молодой человек.

— Я тоже, — деловито сказала Ружена, — но из–за этого я не устраиваю тебе сцен на шоссе.

— Потому что ты не любишь меня. Ты стыдишься меня.

— Не пори чушь, — сказала Ружена.

— Я не смею нигде с тобой появиться, никуда пойти с тобой…

— Тссс! — осадила она его вновь, потому что он опять повысил голос. Отец убил бы меня. Я же тебе сказала, как он следит за мной. Но сейчас мне правда пора, не сердись.

Молодой человек схватил ее за руку:

— Подожди минутку!

Ружена в отчаянии возвела глаза к потолку.

Молодой человек сказал:

— Если бы мы поженились, все было бы по–другому. Он бы уже ничего не посмел говорить. У нас была бы семья.

— Я не хочу иметь семью, — резко сказала Ружена. — Я бы руки на себя наложила, если бы пришлось родить ребенка.

— Почему?

— Потому. Я не желаю никакого ребенка.

— Я люблю тебя, Ружена, — снова повторил молодой человек. А Ружена сказала:

— И поэтому хочешь довести меня до самоубийства, да!

— До самоубийства? — удивился он.

— Да! До самоубийства!

— Ружена, — сказал молодой человек.

— Доведешь меня! Это я тебе говорю! Точно доведешь меня до этого!

— Можно, я приду вечером? — покорно спросил он.

— Нет, сегодня нельзя, — сказала Ружена. А потом смекнула, что лучше успокоить его, и добавила уже мягче: — Можешь как–нибудь позвонить мне, Франта. Но после воскресенья. — И она повернулась, чтобы уйти.

— Подожди, — сказал молодой человек. — Я тут принес кое–что. Ради прощения, — и он протянул ей сверток.

Она взяла его и быстро вышла на улицу.

6

— Доктор Шкрета и вправду чудак или он таким притворяется? — спросила Ольга Якуба.

— Я думаю об этом с тех пор, как знаю его, — ответил Якуб.

— Чудакам живется неплохо, если им удается

заставить людей уважать свое чудачество, — сказала Ольга. — Доктор Шкрета чудовищно рассеян. Посреди разговора забывает о том, о чем говорил. Иной раз заболтается на улице и приходит в кабинет на два часа позже положенного. Но при этом никто не осмеливается сердиться на него, ибо пан доктор — официально признанный чудак и лишь хам мог бы отказать ему в праве на чудачество.

— Каким бы чудаком он ни был, надеюсь, он лечит тебя неплохо.

— Вроде бы так, но нам всем кажется, что врачебная практика для него дело второстепенное, то, что отвлекает его от куда более важных замыслов. Завтра, к примеру, он будет играть на барабане.

— Постой, — остановил Ольгу Якуб. — Это действительно так?

— Похоже на то. По всему курорту расклеены афишки, что завтра здесь состоится концерт знаменитого трубача Климы, а вместе с ним будет играть на барабане пан главный врач Шкрета.

— Невообразимо, — сказал Якуб. — Вообще–то меня не удивляет, что Шкрета вздумал играть на барабане. Шкрета — самый большой мечтатель, какого я знаю. Но мне ни разу не довелось убедиться, чтобы какая–нибудь его мечта осуще-

ствилась. Познакомились мы еще в студенческие годы, и у Шкреты было мало денег. У него всегда их было мало, и он всегда мечтал их как–то заработать. Однажды у него созрел план завести суку вельш–терьера — кто–то сказал ему, что ее щенки стоят по четыре тысячи каждый. Он мгновенно подсчитал все: собака рожает дважды в год по пять щенков. Дважды пять десять, десять раз по четыре тысячи — сорок тысяч ежегодно. Он все отлично продумал. С немалым трудом нашел ход к заведующему студенческой столовой, пообещавшему ему ежедневно давать объедки. Двум сокурсницам он написал по диплому в качестве вознаграждения за их будущие прогулки с собакой. Он жил в общежитии, где было запрещено держать собак, и потому каждую неделю покупал управительнице букет роз, пока наконец она не пообещала сделать для него исключение. Месяца два он готовил условия для своей собаки, но мыто все знали, что ее никогда у него не будет. Чтобы купить ее, нужны были четыре тысячи, но никто не хотел дать ему их взаймы. Никто не относился к нему серьезно. Все считали его неисправимым мечтателем, пусть необычайно ловким и предприимчивым, но разве что в царстве грез.

— Все это очень забавно, и все–таки мне не по-

нятна твоя странная любовь к нему. На него ведь и положиться нельзя. Он никуда не приходит вовремя, а назавтра забывает то, о чем договорился сегодня.

— Не совсем так. Когда–то он мне очень помог. Собственно, никто не помог мне в жизни так, как он.

Якуб запустил пальцы в нагрудный карман пиджака и вытащил оттуда свернутую тонкую бумажку. Развернул — в бумажке лежала голубая таблетка.

— Что это?

— Яд.

С минуту Якуб наслаждался вопросительным молчанием девушки, затем сказал:

— Он у меня более пятнадцати лет. Пока отматывал срок в тюрьме, я кое–что понял. Человек должен быть уверен хотя бы в одном: что он хозяин своей смерти и может выбрать для нее время и способ. Если у тебя есть такая уверенность, ты способен многое выдержать. Ты всегда знаешь, что можешь спастись от них, как только выберешь такую минуту.

— Он был у тебя и в тюрьме?

— К сожалению, нет, но я достал его тотчас по возвращении.

— Но тогда он был тебе уже не нужен!

— В этой стране человек никогда не знает, когда он может ему понадобиться. И потом, это для меня дело принципа. Человек должен получить яд в день своего совершеннолетия. Он должен быть вручен ему на торжественной церемонии. Но не для того, чтобы соблазнять его самоубийством. Напротив, чтобы жить с большим спокойствием и большей уверенностью. Чтобы жить с сознанием, что он хозяин своей жизни и смерти.

— А как ты его достал?

— Шкрета на первых порах работал биологом в лаборатории. Сначала я обратился к другому человеку, но тот счел своим моральным долгом отказать мне. Шкрета же изготовил таблетку сам, нимало не колеблясь.

— Возможно, потому, что он чудак.

— Возможно. Но главное потому, что понимал меня. Он знал, что я никакой не истерик, склонный любоваться собой в суицидных комедиях. И сегодня я хочу отдать ему эту таблетку. Больше она мне не понадобится.

— Тебе уже не грозят никакие опасности?

— Завтра утром я навсегда покидаю эту страну. Я получил приглашение в университет, и наши власти позволили мне выехать.

Наконец все было сказано. Якуб посмотрел на Ольгу — она улыбалась. Схватив его за руку, сказала:

— Правда? Великолепно! Желаю тебе всего–всего!

Ольга проявила такую же бескорыстную радость, какую проявил бы он, узнав, что она уезжает за границу, где ее ждет удача. Это удивило его, поскольку он всегда опасался, что она привязана к нему слишком сентиментальной любовью. Сейчас он радовался, что это не так, хотя и был, как ни странно, несколько уязвлен этим.

Ольгу столь сильно захватило известие Якуба, что она забыла даже о голубой таблетке, лежавшей перед ними в скомканной шелковистой бумажке, и Якуб стал подробно излагать ей все обстоятельства своей будущей деятельности.

— Я страшно рада, что тебе удалось это. Здесь ты уже до конца жизни личность подозрительная. Тебе даже твоей настоящей работой не разрешили заниматься. И при этом постоянно толкуют о любви к родине. Как можно любить страну, где ты лишен права работать? Скажу тебе, что не испытываю никакой любви к отечеству. Это плохо с моей стороны?

— Не знаю, — ответил Якуб. — В самом деле, не

знаю. Правда лишь в том, что лично я достаточно дорожил этой страной.

— Возможно, это и плохо, — продолжала Ольга, — но я не чувствую себя чем–то обязанной ей. Что здесь может меня обязывать?

— И печальные воспоминания человека обязывают.

— К чему обязывают? Чтобы он оставался в той же стране, где родился? Не понимаю, как можно говорить о свободе, не сбросив с себя этого бремени? Ведь дерево не чувствует себя дома там, где не может расти. У дерева дом там, где для него есть влага.

— А у тебя здесь достаточно влаги?

— В общем, да. Когда мне наконец разрешили учиться, я обрела все, чего мне недоставало. Я буду заниматься своим естествознанием и ни о чем другом не хочу знать. Не я выдумала здешние условия и не я за них в ответе. Кстати, когда ты уезжаешь?

— Завтра.

— Так скоро? — Она взяла его за руку. — Пожалуйста, раз уж ты такой хороший, что приехал со мной проститься, не торопись так.

Все было иначе, чем он ожидал. Она вела себя не как девушка, тайно влюбленная в него, и не

как воспитанница, питающая к нему дочерние бесплотные чувства. Она держала его за руку, нежно и многозначительно смотрела ему в глаза и повторяла:

— Не торопись! Что за радость знать, что ты приехал сюда лишь затем, чтобы сказать мне «прощай»!

Якуб слегка растерялся:

— Увидим, — сказал он. — Шкрета тоже уговаривает меня задержаться.

— Конечно, ты должен задержаться. У нас друг для друга так мало времени. Сейчас мне надо опять идти на процедуру… — Она задумалась, потом объявила, что никуда не пойдет, раз здесь Якуб.

— Нет, нет, тебе надо идти. Нельзя пренебрегать лечением, — сказал Якуб. — Я провожу тебя.

— Правда? — спросила счастливым голосом Ольга. Затем, открыв шкаф, стала что–то искать в нем.

На столе в развернутой бумажке лежала голубая таблетка, и Ольга, единственный человек, которому он доверительно рассказал о ее существовании, стояла спиной к ней, склонившись к раскрытому шкафу. У Якуба мелькнула мысль, что эта голубая таблетка — драма его жизни,

драма одинокая, почти забытая и, по всей вероятности, неинтересная. И он подумал, что уже пришла пора избавиться от этой неинтересной драмы, быстро попрощаться с ней и оставить ее в прошлом. Он снова завернул таблетку в бумажку и сунул ее в кармашек пиджака.

Ольга вытащила из шкафа сумку, положила в нее полотенце, закрыла шкаф и сказала Якубу:

— Пойдем.

7

Ружена сидела на скамейке в парке уже невесть сколько времени и не могла сдвинуться, должно быть, потому, что и мысли ее недвижно застыли на одном месте.

Еще вчера она верила в то, что говорил ей трубач. Верила не только потому, что это было приятно, но и потому, что так было проще: она со спокойной совестью могла отказаться от дальнейшей борьбы, на которую не находила сил. Но когда сослуживицы высмеяли ее, она опять перестала ему верить и думала о нем с ненавистью, ибо в глубине души опасалась, что у нее нет достаточно хитрости и упорства, чтобы завладеть им.

Она без малейшего интереса надорвала бумагу свертка, который дал ей Франтишек. В нем была

голубая материя, и Ружена поняла, что получила в подарок ночную рубашку; ночную рубашку, в которой он хотел бы каждый день ее видеть; каждый день, и много дней, и все дни ее жизни. Она смотрела на голубую материю, и ей казалось, что голубое пятно расплывается, расширяется, превращается в трясину, в трясину доброты и преданности, в трясину рабской любви, которая в конце концов поглотит ее.

Кого она ненавидела больше? Того, кто отвергал ее, или того, кто ее домогался?

Так она сидела, словно пригвожденная к скамейке двойной ненавистью, и даже не осознавала, что происходит вокруг. У тротуара остановился маленький автобус, а за ним крытый зеленый фургон, из которого до слуха Ружены доносились завывание и лай собак. Дверь автобуса отворилась, и вышел пожилой мужчина с красной повязкой на рукаве. Ружена смотрела тупо, не соображая даже, на что она смотрит.

Мужчина прокричал внутрь автобуса какую–то команду, и из двери вышел еще один старик, на рукаве которого была такая же красная повязка, а в руке длинный трехметровый шест с проволочной петлей на конце. Следом за ним выпрыгнули и другие мужчины и выстроились в ряд перед ав-

тобусом. Все это были пожилые люди, на рукавах у всех были красные повязки, и все они держали в руках длинные шесты с проволочной петлей на конце.

Мужчина, который выпрыгнул из машины первым, был без шеста, он отдавал команды, а пожилые господа, точно дружина странных копьеносцев, всякий раз вытягивались по стойке «смирно». Затем мужчина выкрикнул еще одну команду, и отряд стариков бросился в парк. Там они разбежались в разные стороны: кто по дороге, а кто прямиком по газонам. В парке прогуливались курортники, бегали дети, но сейчас все замерли на месте и с удивлением глядели на стариков, кинувшихся в атаку с занесенными шестами.

Ружена также очнулась от сковывавших ее мыслей и стала наблюдать за тем, что происходит. В одном из стариков она узнала отца и смотрела на него с неудовольствием, хотя и без удивления.

У березы посреди газона носилась дворняжка. Один из стариков бросился к ней, и она, остановившись, недоуменно уставилась на него. Старик вытянул вперед шест, пытаясь накинуть на ее голову проволочную петлю. Но шест был длин-

ным, старческие руки слабыми, и ему никак не удавалось поймать собаку. Проволочная петля неуверенно качалась над головой дворняжки, и та с любопытством следила за ней.

На помощь старику с другой стороны подбежал еще один, у которого руки были сильнее, и дворняжка в конце концов оказалась в проволочном ошейнике. Старик дернул шестом, проволока впилась в мохнатую шею, и собака завыла. Оба пенсионера рассмеялись и потащили ее по газону к припаркованным машинам. Открыв большую дверь фургона, из которого вырвалась мощная волна собачьего лая, старики забросили туда дворняжку.

Ружена воспринимала все, что видела, лишь как часть собственной истории — она была несчастной женщиной меж двух миров: мир Климы отвергал ее, а мир Франтишека, из которого она пыталась бежать (мир банальности и скуки, мир неудач и капитуляций), пришел за ней в виде этого отряда захватчиков, словно они хотели уволочь ее одной из таких проволочных петель.

На песчаной дорожке стоял мальчик лет одиннадцати и отчаянно звал свою собачку, забредшую в кустарник. Однако вместо собаки к мальчику подбежал с шестом отец Ружены. Маль-

чик мгновенно умолк. Он уже боялся позвать собаку, понимая, что старик с шестом поймает ее. Мальчик побежал по дорожке дальше, чтобы спастись от старика, но тот бросился следом. Сейчас они бежали рядком. Руженин отец с шестом и мальчик, всхлипывавший на бегу. Потом мальчик повернул и побежал вспять. Отец Ружены тоже повернул. И они снова побежали рядком.

Затем из кустарника вынырнула такса. Отец Ружены протянул к ней шест, но песик увернулся и бросился к мальчику. Он поднял его и прижал к груди. Но на помощь отцу Ружены прибежали другие старики и вырвали таксу из объятий мальчика. Мальчик плакал, кричал, отбивался от стариков, но они скрутили ему руки и зажали рот, так как его крики привлекали внимание прохожих — те оглядывались, но боялись вмешаться.

Ружене уже наскучило смотреть на отца и его сотоварищей. Но куда идти? Дома лежал недочитанный детектив, который не захватывал ее, в кино показывали фильм, который она видела, а в холле Ричмонда всегда был включен телевизор. Она предпочла телевизор. Встала со скамейки и под гиканье стариков, все еще долетавшее до нее отовсюду, снова остро осознала содержимое своей утробы, и оно показалось ей священным.

Оно изменяло и возвышало ее. Отделяло от тех безумцев, что гонялись за собаками. Мелькнула неясная мысль о том, что она не должна сдаваться, не должна капитулировать, потому что носит в животе свою единственную надежду, свой единственный билет в будущее.

Дойдя до конца парка, она заметила Якуба. Он стоял на тротуаре перед Ричмондом и наблюдал за сценой в парке. Она видела его один раз, сегодня за обедом, но забыла о нем. Пациентка, на время ставшая ее соседкой и стучавшая ей в стену всякий раз, когда она чуть громче включала радио, была ей ужасно несимпатична, и Ружена с явной неприязнью воспринимала все, что было связано с ней.

Лицо этого человека ей не нравилось. Оно казалось ироничным, а Ружена иронию ненавидела. Ей всегда казалось, что ирония (любая ирония), точно вооруженный страж, стоит в воротах ее будущего, испытующе оглядывает ее и отрицательно качает головой. Она выпрямилась и прошла мимо Якуба, стараясь уязвить его дерзостью своей груди и гордостью своего живота. И этот человек вдруг сказал (она наблюдала за ним лишь краешком глаза) ласковым, спокойным голосом:

— Поди сюда… ну поди ко мне…

В первую минуту она не поняла, почему он зовет ее. Смутила ласковость в его голосе, и она не знала, как ему ответить. Но, оглянувшись, увидела, что за ней идет толстый боксер с человечьей уродливой мордой.

Голос Якуба приманил собаку. Якуб взял ее за ошейник:

— Пойдем со мной, не то тебе не сдобровать.

Пес поднял к Якубу доверчивую морду — из пасти высовывался язык, трепеща как веселый флажок.

Это была минута унижения, смешного, ничтожного и все–таки явственного: он не заметил ни ее дерзости, ни ее гордости. Она думала, что он обращается к ней, а он обращался к собаке. Ружена прошла мимо него и остановилась на лестнице у входа в Ричмонд.

К Якубу из парка ринулись два старика с шестами. Она смотрела на это со злорадством и, сама того не сознавая, приняла сторону стариков.

Якуб повел собаку за ошейник к входу в здание, а старик кричал:

— Немедленно отпустите собаку! И второй старик:

— Именем закона!

Не обращая внимания на стариков, Якуб продолжал идти, но один шест сзади скользнул вдоль его тела, и над головой боксера неуверенно закачалась проволочная петля. Якуб схватил конец шеста и отбросил его в сторону.

Тут же подбежал третий старик и крикнул:

— Это нарушение официального указа! Я вызову полицию!

А второй старик высоким голосом вопил:

— Он бегал по парку! Он бегал по детской площадке! Беззаконие! Он ссал детям на песок! Кто вам дороже: дети или собаки?

Ружена наблюдала всю эту сцену с высоты лестницы, и гордость, которую она минуту назад ощущала только в своем животе, разливалась сейчас по всему телу и наполняла ее строптивой силой. Якуб с собакой поднимался к ней по лестнице, и она сказала:

— Собакам сюда вход запрещен!

Якуб ответил ей мирным тоном, но она уже не могла пойти на попятную. Расставив ноги, она загородила собой широкую дверь Ричмонда и повторила:

— Этот дом для пациентов, а не для собак! Собакам сюда вход запрещен!

— А не хотите ли вы, барышня, взять в руки

шест с петлей? — сказал Якуб, протискиваясь с боксером в дверь.

Ружена почуяла во фразе Якуба ненавистную иронию, загонявшую ее назад туда, откуда она вышла, туда, где не хочет быть. Злоба затуманила ей зрение. Она схватила собаку за ошейник, теперь они держали ее оба. Якуб тянул ее внутрь здания, а она не пускала. Якуб взял руку Ружены за запястье и отбросил ее с ошейника так резко, что девушка пошатнулась.

— Вы предпочли бы возить в колясках собак вместо детей! — крикнула она ему вслед.

Якуб оглянулся — их взгляды схлестнулись, полные внезапной и обнаженной ненависти.

8

Боксер с любопытством похаживал по комнате, ничуть не подозревая, какой избежал опасности. Якуб лег на диван и стал думать, как быть с ним. Пес нравился ему, был добрым и веселым. Беззаботность, с какой он в течение нескольких минут освоился в чужой комнате и подружился с чужим человеком, была даже сомнительной и граничила с глупостью. Обнюхав все углы комнаты, боксер вскочил к Якубу на диван и улегся рядом. Якуб удивился такому проявлению дружбы, но принял его беспрекословно. Он положил

руку собаке на спину и стал наслаждаться теплом звериного тела. Он всегда любил собак. Они были близкими, привязчивыми, преданными и при этом совершенно непонятными. Человек никогда не узнает, что по сути творится в голове и в сердце этих доверчивых и веселых посланцев чужой и непостижимой для него природы.

Он потрепал пса по спине и вспомнил сцену, свидетелем которой был минуту назад. Старики с длинными шестами сливались в его сознании с тюремными надзирателями, следователями и доносчиками, приглядывающими за тем, не заводит ли сосед в магазине политические разговоры. Что толкало людей к их прискорбной деятельности? Злоба? Бесспорно, но и жажда порядка. Ибо жажда порядка — это желание превратить человеческий мир в мир неорганический, где все налажено, все действует, подчиняясь надличностному уставу. Жажда порядка есть одновременно и жажда смерти, ибо жизнь извечное нарушение порядка. Или можно сказать иначе: жажда порядка являет собой добродетельный предлог, с помощью которого ненависть к людям прощает себе свои бесчинства.

Затем он вспомнил светловолосую девушку, не желавшую пропустить его с собакой в Ричмонд, и

почувствовал к ней болезненную неприязнь. Старики с шестами не вызывали в нем отвращения, тех он хорошо знал, тех учитывал, никогда не сомневаясь в том, что они существуют и должны существовать и что всегда будут его преследовать. Но эта девушка… вот где был источник его вечного поражения. Красивая, она появилась на сцене отнюдь не в виде преследователя, а как зритель, полностью поглощенный зрелищем и отождествившийся с теми, кто преследует. Якуб всегда приходил в ужас от того, что такие зрители безоглядно готовы придержать для палача жертву. Ибо палач с течением времени стал по–соседски близкой фигурой, тогда как от преследуемого попахивает чем–то аристократическим. Душа толпы, которая когда–то, возможно, отождествлялась с преследуемыми убогими, теперь отождествляется с убогостью преследователей. Ибо охота на человека в нашем веке стала охотой на привилегированных: на тех, кто читает книги или имеет собаку.

Он чувствовал под рукой теплое собачье тело и говорил себе, что эта светловолосая девушка явилась затем, чтобы таинственным намеком оповестить его, что в этой стране он никогда не будет любим и что она, посланец народа, всегда

с готовностью придержит его для тех, кто станет протягивать к нему шест с проволочной петлей. Он обнял пса и привлек к себе. Мелькнула мысль, что он не может бросить его здесь на произвол судьбы, что должен увезти его из этой страны, как память о преследованиях, как одного из тех, кто уцелел. И он представил, что прячет здесь у себя этого веселого песика, словно гонимого, убегающего от полиции человека; это рассмешило его.

Раздался стук в дверь, и в комнату вошел Шкрета:

— Наконец–то ты дома. Ищу тебя целый день. Где ты бродишь?

— Я был с Ольгой, а потом… — Он хотел было рассказать ему историю с собакой, но Шкрета прервал его:

— Я это и предполагал. Так тратить время, когда надо обсудить столько вещей. Я уже сказал Бертлефу, что ты здесь, и попросил его пригласить нас к себе.

В эту минуту пес спрыгнул с дивана, подошел к доктору, встал на задние лапы, а передние положил ему на грудь. Шкрета потрепал пса по шее и, как бы ничему не удивляясь, сказал:

— Ну ладно, Бобеш, ладно, ты хороший…

— Его зовут Бобеш?

— Да, Бобеш, — подтвердил Шкрета и объяснил, что пес принадлежит владельцам лесного трактира неподалеку от курорта; пса тут знает каждый, он частенько сюда захаживает.

Пес понял, что речь идет о нем, и обрадовался. Виляя хвостом, он норовил лизнуть Шкрету в лицо.

Доктор Шкрета сказал:

— Ты отличный психолог. Сегодня ты должен как следует прощупать его. А то я не знаю, как и подступиться к нему. У меня на него большие виды.

— В смысле этих иконок?

— Иконки — ерунда, — сказал Шкрета. — Речь идет о более важных делах. Хочу, чтобы он усыновил меня.

— Усыновил?

— Вот именно. Для меня это дело жизни. Если стану его сыном, автоматически получу американское гражданство.

— Ты хочешь эмигрировать?

— Нет. Я провожу здесь серьезные опыты и не хочу их прерывать. Об этом тоже собираюсь сегодня потолковать с тобой, потому что для них ты мне понадобишься. Но с американским паспортом я смогу свободно передвигаться по всему

миру. Иначе простому человеку отсюда никуда не выбраться. А я мечтаю побывать в Исландии.

— Почему именно в Исландии?

— Нигде лучше не ловятся лососи, — сказал Шкрета и продолжал: Сложность заключается лишь в том, что Бертлеф не настолько старше меня, чтобы быть моим отцом. Придется объяснить ему, что юридический статус приемного отца — нечто совершенно иное, чем статус отца настоящего, и что теоретически он мог бы меня усыновить, даже будь он моложе меня. Он, пожалуй, поймет меня, но у него очень молодая жена. Моя пациентка. Послезавтра она приезжает сюда. Я послал Зузи в столицу, чтобы встретить ее в аэропорту.

— Зузи знает о твоем плане?

— Конечно. Я попросил ее любой ценой расположить к себе свою будущую свекровь.

— А как американец относится к этому? Что он говорит?

— В том–то и вся загвоздка. Этот малый ни до чего не может додуматься сам. Поэтому мне нужно, чтобы ты прощупал его и посоветовал, как мне к нему подкатиться.

Шкрета, взглянув на часы, заявил, что Бертлеф уже ждет их.

— А как быть с Бобешом?

— Но как получилось, что он у тебя?

Якуб рассказал приятелю, как спас собаке жизнь, но тот был погружен в свои мысли и слушал его вполуха. Когда Якуб кончил, Шкрета сказал:

— Пани трактирщица — моя пациентка. Два года назад она родила прекрасного ребятенка. Бобеша они очень любят, и тебе придется завтра отвести его к ним. А пока дадим ему снотворное, чтобы он не докучал нам.

Он вытащил из кармана тюбик с таблетками. Притянул к себе пса, открыл ему пасть и вбросил таблетку в горло.

— Через минуту он сладко уснет, — сказал Шкрета и вышел с Якубом из комнаты.

9

Бертлеф приветствовал обоих гостей. Якуб, оглядев помещение, подошел к картине, на которой был изображен бородатый святой.

— Я слышал, что вы рисуете, — сказал он Бертлефу.

— Да, — ответил Бертлеф. — Это святой Лазарь, мой патрон.

— Почему вы сделали сияние голубым? — удивился Якуб.

— Мне приятно, что вы об этом спрашиваете. Люди обычно смотрят на картину и совершенно не вникают в то, что видят. Сияние я сделал голубым, потому что оно на самом деле голубое.

Якуб вновь удивился, а Бертлеф продолжал:

— Люди, привязанные к Богу особенно сильной любовью, вознаграждены святой радостью, которая разливается по их душам и исходит из них наружу. Свет этой божественной радости спокойный и тихий и имеет цвет небесной лазури.

— Постойте, — прервал его Якуб, — вы полагаете, что сияние — нечто большее, чем только изобразительный символ?

— Несомненно, — сказал Бертлеф. — Однако не стоит представлять себе, что головы святых источают его непрерывно и что святые ходят по свету, как марширующие фонари. Ничуть не бывало. Лишь в определенные минуты большой внутренней радости из них изливается голубоватое сияние. В первые века после смерти Иисуса, когда было много святых и много тех, кто знал их близко, в цвете сияния никто не сомневался — на всех картинах и фресках того времени вы увидите его голубым. Лишь с пятого столетия художники начинают изображать его другими цветами, скажем, оранжевым или желтым. В период готики

оно уже исключительно золотое. Это было более декоративно и лучше выражало мирскую мощь и славу церкви. Но настоящее сияние походило на это ничуть не больше, чем тогдашняя церковь на первоначальное христианство.

— Я этого не знал, — сказал Якуб. Бертлеф, подойдя тем временем к шкафчику с алкогольными напитками, стал обсуждать с гостями, какой бутылке отдать предпочтение. Наливая затем в три рюмки коньяку, он обратился к доктору Шкрете:

— Надеюсь, вы не забудете о том незадачливом отце. Для меня это очень важно.

Шкрета заверил Бертлефа, что все благополучно кончится, и Якуб спросил, о чем речь. Получив объяснение (надо оценить благородный такт обоих мужчин: даже Якубу они не назвали имени отца), он проявил к незнакомцу, зачавшему ребенка, большое сочувствие:

— Кто из нас не пережил подобных мук! Это одно из великих испытаний. Тех, кто не выстоит в нем и станет отцом вопреки своей воле, ждет пожизненный крах. Впоследствии они становятся злобными, как все проигравшие люди, и желают такой же участи всем остальным.

— Друг мой! — воскликнул Бертлеф. — И это вы говорите счастливому отцу! Если вы задержитесь

здесь еще дня на два, на три, вы увидите моего прекрасного сына и откажетесь от того, что вы только что сказали.

— Не откажусь, — возразил Якуб, — ибо вы стали отцом не вопреки своей воле!

— Слава Всевышнему, нет. Я отец по воле своей и по воле доктора Шкреты.

Доктор Шкрета удовлетворенно подтвердил его слова и заметил, что у него иной взгляд на отцовство, чем у Якуба, о чем, кстати, свидетельствует и беременность его дорогой Зузи.

— Единственное, — добавил он, — что вселяет в меня некоторый скепсис в отношении деторождения, так это неразумный выбор родителей. Уму непостижимо, как это уроды отваживаются размножаться. Они, верно, думают, что бремя уродства станет легче, если им поделиться с потомством.

Бертлеф назвал точку зрения Шкреты эстетическим расизмом:

— Нельзя забывать, что не только Сократ был уродом, но и многие знаменитые любовницы не отличались телесным совершенством. Эстетический расизм едва ли не всегда является проявлением неопытности. Те, что не слишком глубоко проникли в мир любовных радостей, мо-

гут судить о женщинах лишь по внешнему виду. Но те, что по–настоящему познали их, понимают, что глаза способны приоткрыть лишь малую толику того, чем женщина может одарить нас. Когда Бог призвал человечество любить и размножаться, он принимал во внимание, пан доктор, и уродливых, и красивых. Впрочем, я убежден, что эстетический критерий от дьявола, а не от Бога. В раю уродство и красота не различались.

Затем в дискуссию вмешался Якуб и сказал, что в его нежелании размножаться эстетические доводы не играют никакой роли:

— Я мог бы привести с десяток доводов, почему не следует становиться отцом.

— Говорите, мне любопытно, — сказал Бертлеф.

— Прежде всего я не люблю материнства, — сказал Якуб и задумался. Нынешний век разоблачил все мифы. Детство давно уже не являет собой пору невинности. Фрейд обнаружил сексуальность у младенцев и поведал нам все об Эдипе. Одна Иокаста по–прежнему окутана тайной, и никто не решается сорвать с нее этот покров. Материнство — последнее и наибольшее табу, но в нем скрывается и наибольшее проклятие. Нет сильнее привязанности, нежели привязанность

матери к ребенку. Но эта привязанность навсегда калечит душу ребенка и с взрослением сына уготавливает матери самую жестокую любовную муку, какая существует. Я утверждаю, что материнство — проклятие, и не хочу его множить.

— Далее, — сказал Бертлеф.

— Есть еще и другие причины, по которым я не хочу умножать число матерей, — сказал Якуб в некотором смущении. — Я люблю женское тело и испытываю отвращение, представляя себе, как любимая грудь превращается в мешок для молока.

— Далее, — сказал Бертлеф.

— Пан доктор, несомненно, подтвердит нам, что к женщинам, лежащим в клинике после аборта, врачи и сестры относятся значительно хуже, чем к роженицам, и не скрывают от них некоторого презрения, хотя и сами, по крайней мере раз в жизни, не обходятся без подобной операции. Однако это в них сильнее любых рассуждений, ибо культ размножения продиктован самой природой. Поэтому не ищите в призывах к увеличению популяции разумных аргументов. Вы полагаете, что в церковной морали, благословляющей размножение, слышится глас Христа или что посредством коммунистической пропаганды

деторождения с вами разговаривает Маркс? Из–за стремления к сохранению рода человечество вскоре задохнется на своей маленькой планете. Но призывы к увеличению популяции раздаются по–прежнему, и публика умильно льет слезы при виде кормящей матери или ухмыляющегося младенца. У меня это вызывает отвращение. Стоит представить себя склоненным с тупой улыбкой над коляской, подобно миллионам прочих энтузиастов, мороз по коже подирает.

— Далее, — сказал Бертлеф.

— И, конечно, нельзя не думать и о том, в какой мир ты посылаешь ребенка. В скором времени его отберет у меня школа и станет вбивать ему в голову всяческие бредни, против которых я сам тщетно боролся всю жизнь. Прикажете мне смотреть, как из моего отпрыска вырастает болван–конформист? Или привить ему свой образ мыслей и затем смотреть, как он несчастен, ибо вовлечен в те же конфликты, что и я?

— Далее, — сказал Бертлеф.

— И, конечно, нельзя не думать и о себе. В этой стране дети наказуемы за непослушание родителей, а родители — за непослушание детей. Сколько молодых людей были выброшены из школ потому, что их родители попали в неми-

лость! А сколько родителей смирились со своей трусостью до конца дней, лишь бы не навредить детям! Кто здесь хочет сохранить хотя бы частицу свободы, не должен иметь детей, — сказал Якуб и замолчал.

— Вам остается привести еще пять доводов, чтобы завершить ваши десять заповедей, — сказал Бертлеф.

— Последний довод настолько значителен, что он стоит всех пяти, сказал Якуб. — Родить ребенка — значит выразить свое абсолютное согласие с человеком. Если у меня появился ребенок, то тем самым я как бы сказал: я родился, познал жизнь и убедился, что она настолько хороша, что заслуживает повторения.

— А для вас жизнь не была хороша? — спросил Бертлеф.

Якуб, стремясь быть точным, осторожно ответил:

— Знаю лишь, что я никогда не мог бы с полной убежденностью сказать: человек — замечательное творение, и его следует умножать.

— Это оттого, что ты познал жизнь лишь с одной, причем наихудшей, стороны, — сказал доктор Шкрета. — Ты никогда не умел жить. Ты всегда считал, что твой долг быть, как говорится,

у первоисточника, в самом эпицентре событий. А что представляли собой эти твои события? Политику. Но политика — это наименее существенная и наименее ценная сторона жизни. Политика — это грязная пена на реке, тогда как настоящая жизнь реки разыгрывается гораздо глубже. Детородные способности женщины изучаются тысячелетиями. Это надежная и солидная история. И ей совершенно плевать, какое нынче правительство у кормила. Я, натягивающий резиновую перчатку и исследующий нутро женщины, куда больше в эпицентре жизни, чем ты, чуть было не лишившийся ее в своих постоянных заботах о благе народа.

Вместо того, чтобы защищаться, Якуб согласился с упреками друга, и поощренный таким образом доктор Шкрета продолжал:

— Архимед своими кругами, Микеланджело куском камня, Пастер своими опытами — единственно они изменяли жизнь людей и творили подлинную историю, тогда как политики… — Шкрета, помолчав, презрительно махнул рукой.

— Что «тогда как политики»? — спросил Якуб и затем возразил: — А я вот что скажу тебе. Если наука и искусство — действительно подлинная арена истории, то политика, по сути, закрытая

научная лаборатория, где производятся невиданные эксперименты над человеком. Подопытных людишек сбрасывают там в трюмы, затем вновь извлекают на сцену, прельщая их аплодисментами и устрашая петлей, предавая и принуждая к предательству. В этой лаборатории я работал лаборантом, но не раз бывал в ней и жертвой вивисекции. Бесспорно, я не создал никаких ценностей (равно как и никто из тех, кто работал там со мной), но я узнал лучше других, что такое человек.

— Я понимаю вас, — сказал Бертлеф, — и знаю эту лабораторию, хотя сам никогда не был в ней лаборантом, а всегда был лишь морской свинкой. Война настигла меня в Германии. Женщина, которую я любил, выдала меня гестапо. К ней пришли и показали мою фотографию, на которой я был в объятиях другой женщины. Ее это ранило, а как вам известно, любовь нередко обретает форму ненависти. Я отправился в тюрьму с таким чувством, что меня туда привела любовь. Разве это не прекрасно — очутиться в лапах гестапо и сознавать, что это, по сути, привилегия человека, которого слишком сильно любят?

Якуб ответил:

— Что меня особенно отвращало в человеке,

так это то, как его жестокость, низость и ограниченность умеют напяливать на себя лирическую маску. Она послала вас на смерть, воспринимая это как трепетное проявление раненой любви. А вы шли на виселицу ради ограниченной бабенки, исполненный сознания, что играете роль в трагедии, написанной для вас Шекспиром.

— После войны она со слезами пришла ко мне, — продолжал Бертлеф, словно не слыша замечания Якуба. — Я сказал ей: «Тебе нечего бояться. Бертлеф никогда не мстит».

— Видите ли, — сказал Якуб, — я часто думаю о царе Ироде. Вы знаете эту историю. Он якобы узнал, что родился будущий иудейский царь, и из страха лишиться трона приказал истребить всех младенцев. Я представляю себе Ирода иначе, хотя знаю, что это лишь игра воображения. По моему мнению, Ирод был образованный, умный и очень благородный царь, проработавший долго в лаборатории политики и понявший, что такое жизнь и что такое человек. Ирод понял, что человека не следовало создавать. Кстати, его сомнения не были уж так неуместны и грешны. Если я не ошибаюсь, Господь тоже усомнился в человеке и увлекся мыслью перечеркнуть свое творение.

— Да, — подтвердил Бертлеф, — об этом сказано

в шестой главе «Бытия»: «Истреблю с лица земли человеков, которых Я сотворил… ибо Я раскаялся, что создал их».

— Но, возможно, это была лишь минута слабости Господа, ибо в конце концов он позволил Ною сохранить себя в своем ковчеге и начать историю человечества сызнова. Можем ли мы быть уверены, что Бог никогда не сожалел о своей слабости? Но сожалел он или не сожалел, делать было нечего. Бог не может ставить себя в смешное положение, постоянно меняя свои решения. А что если это был именно Он, кто вложил свою мысль в голову Ирода? Можем ли мы исключить это?

Бертлеф, пожав плечами, ничего не ответил.

— Ирод был царь. Он отвечал не только за себя. Он не мог сказать себе, как я: пусть другие поступают, как хотят, я же размножаться не буду. Ирод был царь и знал, что обязан решать не только за себя, но и за других, и он принял решение за весь род людской: человек плодиться не будет. И так началось избиение младенцев. Случилось это не по столь низкому поводу, какой приписывает ему традиция. Иродом двигало самое что ни на есть благородное стремление: высвободить наконец мир из когтей человека.

— Ваше толкование Ирода мне вполне нра-

вится, — сказал Бертлеф. Нравится настолько, что отныне я буду представлять себе избиение младенцев так же, как вы. Но не забывайте, что именно в то время, когда Ирод решил, что человечество должно прекратить свое существование, в Вифлееме родился мальчик, который избежал его ножа. И этот мальчик вырос и сказал людям, что существует лишь одно–единственное, ради чего стоит жить: любить друг друга. Возможно, Ирод был более образован и опытен. Иисус, по существу, был юноша и многого о жизни не знал. Возможно, все его учение объясняется лишь его молодостью и неопытностью. Если хотите, его наивностью. И все–таки за ним была правда.

— Правда? Кто доказал эту правду? — воинственно откликнулся Якуб.

— Никто, — сказал Бертлеф. — Ее никто не доказал и не докажет. Иисус так любил своего Отца, что не мог допустить, будто Его творение было неудачным. Иисуса к этому вела любовь, а вовсе не рассудок. Поэтому спор между ним и Иродом может разрешить только наше сердце. Стоит ли быть человеком или нет? В пользу этого у меня нет доказательств, но я верю Иисусу, что стоит. — Тут он с улыбкой кивнул в сторону Шкреты. — Поэтому я и послал сюда свою жену

полечиться у доктора Шкреты, который в моих глазах один из святых учеников Иисусовых, ибо он творит чудеса и пробуждает к жизни дремлющие чрева женщин. Пью его здоровье!

10

Якуб всегда относился к Ольге с отцовской серьезностью, и в шутку любил называть себя «стариком». Но она знала, что у него немало женщин, к которым он относится иначе, и завидовала им. А сегодня впервые у нее мелькнула мысль, что в Якубе и вправду есть что–то от старика. От его отношения к ней веяло какой–то затхлостью — молодежь чутко улавливает этот исходящий от старшего поколения запах.

Старые люди отличаются тем, что любят похвастаться былыми страданиями, превращая их в экспонаты музея, куда приглашают посетителей (ах, эти печальные музеи так редко посещаются!). Ольга поняла, что она главный живой экспонат музея Якуба и его бескорыстно–благородное отношение к ней рассчитано на то, чтобы доводить до слез посетителей.

Сегодня она познакомилась и с самым драгоценным неживым экспонатом музея: с голубой таблеткой. Когда он сегодня разворачивал ее перед ней, она, к своему удивлению, не почув-

ствовала никакой растроганности. Хотя она и понимала, что в тяжкие минуты жизни Якуб думал о самоубийстве, пафос, с которым он сообщал об этом, показался ей смешным. Смешной показалась и осторожность, с какой он разворачивал таблетку из шелковистой бумаги, словно это был драгоценный алмаз. Не понимала она и того, почему он хочет вернуть яд доктору Шкрете в день своего отъезда и вместе с тем провозглашает, что каждый взрослый человек должен быть хозяином своей смерти при любых обстоятельствах. Будто за границей Якуб не может заболеть раком и в не меньшей мере нуждаться в яде! Однако для Якуба таблетка была не простым ядом, а символическим реквизитом, который сейчас в каком–то сакральном ритуале он должен отдать жрецу. Это было смешно.

Возвращаясь с водных процедур, она шла в сторону Ричмонда. Несмотря на все эти ехидные мысли, она радовалась приезду Якуба. У нее было страстное желание осквернить музей Якуба и вести себя в нем не как экспонат, а как женщина. Поэтому она была несколько разочарована, найдя на двери записку, предлагавшую ей зайти за ним в соседнюю комнату, где он ждет ее с Бертлефом и Шкретой. Присутствие посторонних людей лиша-

ло ее смелости уже хотя бы потому, что Бертлефа она не знала, а доктор Шкрета обычно относился к ней с любезным, но очевидным небрежением.

Бертлеф, однако, быстро избавил ее от робости: представившись ей с низким поклоном, он выбранил доктора Шкрету за то, что тот до сих пор не изволил познакомить его со столь интересной женщиной.

Шкрета ответил, что опекать девушку поручил ему Якуб и что он умышленно не представил ее Бертлефу, зная, что ни одна женщина не способна устоять перед ним.

Бертлеф принял это оправдание с веселым довольством. Затем поднял трубку и заказал в ресторане ужин.

— Уму непостижимо, — сказал доктор Шкрета, — как в этом захолустье, где ни в одном трактире не получишь приличного ужина, нашему другу удается жить с таким комфортом.

Бертлеф запустил руку в открытую сигарочницу, стоявшую возле телефона и наполненную серебряными пятидесятицентовыми монетами.

— Человек не должен скупиться… — улыбнулся он.

Якуб заметил, что впервые видит человека, столь вдохновенно верящего в Бога и умеющего

при этом жить в такой роскоши.

— Вероятно, это потому, что вы никогда не видели истинного христианина. Слово «Евангелие», как вам известно, означает радостную весть. Радоваться жизни — важнейший завет Христа.

Ольге показалось, что настала минута вмешаться в разговор:

— Если положиться на то, что нам говорили учителя, то христиане видели в земной жизни лишь юдоль скорби и надеялись, что настоящая жизнь наступит только после смерти.

— Милая барышня, — сказал Бертлеф, — не верьте учителям.

— А все святые, — не сдавалась Ольга, — только и занимались тем, что отрекались от жизни. Вместо того, чтобы любить, они истязали себя, вместо того, чтобы подобно нам беседовать, они уходили в пустыни, а вместо того, чтобы по телефону заказывать ужин, жевали корешки.

— Вы совсем не понимаете святых, барышня. Это были люди, бесконечно привязанные к наслаждениям жизни, но достигавшие их иными путями. Как вы думаете, что является высшим наслаждением для человека? Вы можете предполагать что угодно, но все равно не дойдете до истины, ибо вы не достаточно искренни. Это

не упрек, ибо для искренности необходимо самопознание, а для самопознания — время. Но может ли быть искренней девушка, которая так излучает молодость, как вы? Она не может быть искренней, поскольку не познала себя самое. Но если бы познала себя, она должна была бы согласиться со мной, что наивысшее наслаждение для человека — это быть предметом восхищения. Вы так не думаете?

Ольга ответила, что знает лучшие наслаждения.

— Нет, едва ли, — сказал Бертлеф. — Возьмите, например, вашего бегуна, которого знает здесь каждый ребенок, того, что выиграл три олимпиады подряд. Вы считаете, он отрекался от жизни? А ведь он, несомненно, вместо бесед, любви и пиршеств должен был без устали бегать вокруг спортивной площадки. Его тренировки были очень похожи на то, чем занимались наши великие святые. Святой Макарий Александрийский, когда жил в пустыне, систематически наполнял корзину песком, взваливал ее на спину и затем долгими днями ходил с ней по бескрайним просторам до полного изнеможения. Но, вероятно, для вашего бегуна, как и для Макария Александрийского, существовало какое–то величайшее

вознаграждение, которое намного превышало всяческую надсаду. Представляете ли вы, что такое слышать овации огромного олимпийского амфитеатра? Нет большей радости! Святой Макарий прекрасно знал, почему он носит на спине корзину с песком. Слава о его рекордных путях–дорогах по пустыне вскоре облетела весь христианский мир. А святой Макарий был сродни вашему бегуну. Этот тоже сперва одержал победу в забеге на пять тысяч метров, потом на десять тысяч, а уж когда дальше дело не пошло, поставил рекорд в марафоне. Жажда всеобщего восхищения неутолима. Святой Макарий неузнанным явился в Табеннскую обитель и попросил принять его в члены общины. Когда пришло время сорокадневного поста, настал его звездный час. Если все постились сидя, он все сорок дней простоял! Это был триумф, какой вам и не снится! А вспомните святого Симеона Столпника! Он выстроил в пустыне столп, на котором была маленькая площадочка. На ней нельзя было сидеть — только стоять. И он стоял там всю жизнь, и весь христианский мир восхищался этим невероятным рекордом, которым человек как бы перешагивает границы человеческих возможностей. Святой Симеон Столпник

это Гагарин третьего столетия. Можете ли вы представить себе блаженство, переполнившее Геновефу Парижскую, когда она услышала от галльских купцов, что святой Симеон Столпник знает о ней и благословляет ее со своего столпа? А почему, думаете, он стремился поставить рекорд? Уж не потому ли, что жизнь и люди для него ничего не значили? Не будьте наивной! Отцы церкви очень хорошо знали, что святой Симеон Столпник честолюбец, и подвергли его испытанию. От имени духовных властей приказали ему слезть со столпа и перестать состязаться. Это был удар для святого Симеона Столпника! Но он был настолько мудр или хитер, что послушался. Отцы церкви не возражали против его рекордов, они хотели лишь удостовериться, что его тщеславие не превышает его послушания. И увидев, с какой печалью он слезает со столпа, тотчас повелели ему вернуться наверх, так что святой Симеон получил право умереть на своем столпе под сенью всеобщей любви и восхищения.

Ольга внимательно слушала, а при последних словах рассмеялась.

— Эта невероятная жажда всеобщего восхищения вовсе не смешна, а трогательна. Тот, кто жаждет быть предметом восхищения, льнет к лю-

дям, чувствует себя связанным с ними, не может жить без них. Святой Симеон Столпник один–одинешенек на одном квадратном метре столпа. И все–таки он со всем миром! В своем воображении он видит миллионы глаз, устремленных к нему! Он присутствует в миллионах голов и радуется тому. Это великий пример любви к людям и любви к жизни. Вам трудно даже представить себе, милая барышня, насколько все еще жив во всех нас Симеон Столпник. И как до сих пор он творит лучшее, что есть в наших существах.

Раздался стук в дверь, и в комнату вошел официант, толкавший перед собой тележку, заставленную закусками. Застелив стол скатерью, он стал накрывать ужин. Бертлеф, зачерпнув в сигарочнице пригоршню монет, насыпал их ему в карман. Затем все приступили к еде, а официант, стоя у них за спиной, подливал им вина и подавал блюдо за блюдом.

Бертлеф, как истый гурман, комментировал вкус отдельных кушаний, и Шкрета заметил, что он уже не помнит, когда ел с таким аппетитом.

— В последний раз, наверное, еще когда мне готовила мама, но я был тогда совсем маленький. С пяти лет я сирота. Мир, окружавший меня, был чужим, чужой мне казалась и кухня. Любовь к

еде вырастает из любви к людям.

— Это правда, — сказал Бертлеф, подцепив вилкой кусок говядины.

— Одинокому ребенку кусок в горло не лезет. Поверьте, мне до сих пор больно, что у меня нет ни отца, ни матери. Поверьте, что я и сейчас, уже будучи немолодым, отдал бы все за то, чтобы иметь отца.

— Вы переоцениваете семейные узы, — сказал Бертлеф. — Все люди — ваши ближние. Не забывайте, что говорил Иисус, когда хотели отослать его к матери и братьям. Он указал на своих учеников и сказал: Здесь матерь Моя и братья Мои.

— И все же святая церковь, — попытался возразить доктор Шкрета, отнюдь не склонна была разрушать семью или заменять ее свободным сообществом всех и вся.

— Святая церковь вовсе не то же самое, что Христос. И святой Павел, если позволите сказать, в моих глазах не только продолжатель, но и фальсификатор Иисуса. Взять хотя бы его внезапное превращение из Савла в Павла! Разве мы не знаем достаточно страстных фанатиков, сменивших в течение ночи одну веру на другую? Пусть никто не говорит мне, что это фанатики, ведомые любовью! Это моралисты, талдычащие

свои десять заповедей. Но Иисус не был моралистом. Вспомните, что он говорил, когда его упрекали в том, что он не соблюдал Субботы. Суббота для человека, а не человек для Субботы. Иисус любил женщин! А можете ли вы представить святого Павла любовником? Святой Павел осудил бы меня, поскольку я люблю женщин. А вот Иисус — нет. Не вижу ничего дурного в том, чтобы любить женщин, много женщин и быть любимым женщинами, многими женщинами. — Бертлеф улыбался в счастливом самолюбовании: — Друзья, у меня была нелегкая жизнь, и я не раз смотрел смерти в лицо. Но в одном отношении Бог был ко мне щедр. У меня было не счесть женщин, и они любили меня.

Гости справились с ужином, и официант стал собирать со стола, когда вновь раздался стук в дверь. Стук был слабенький и робкий, словно нуждался в поощрении.

Бертлеф сказал:

— Входите.

Дверь открылась, и вошел ребенок — девочка лет пяти в белом платьице с воланчиками, опоясанная широкой белой лентой, завязанной на спине большим бантом, концы которого похожи были на крылья. В руке она сжимала стебель

большого георгина. Увидев в комнате множество людей, не сводивших с нее пораженного взгляда, она остановилась, не осмеливаясь идти дальше.

Но Бертлеф привстал и, просияв, сказал:

— Не бойся, ангел мой, и поди сюда!

И девочка, увидев улыбку Бертлефа и как бы ухватившись за нее, рассмеялась и подбежала к нему. Бертлеф взял у нее цветок и поцеловал в лоб.

Сидевшие за столом и официант с удивлением наблюдали за этой сценой. Ребенок с большим белым бантом на спине действительно походил на маленького ангела. А Бертлеф стоял сейчас, склонившись с георгином в руке, и напоминал барочные статуи святых, украшающие провинциальные площади.

— Дорогие друзья, — обратился он к присутствующим, — мне было приятно с вами и, надеюсь, вам со мной также. Я с радостью остался бы с вами до глубокой ночи, но, как изволите видеть, не могу. Этот прекрасный ангел зовет меня к той, что ждет меня. Я же вам говорил, что жизнь меня не баловала, но женщины любили меня.

Бертлеф, прижимая одной рукой георгин к груди, а другой — касаясь плеча девочки, поклонился своим собеседникам. Ольге он казался комично

театральным, она радовалась, что он уходит и она наконец останется наедине с Якубом.

Бертлеф повернулся и пошел с девочкой к двери. Но, прежде чем уйти, он нагнулся к сигарочнице и насыпал себе в карман большую пригоршню серебряных монет.

11

Официант, собрав на тележку пустые тарелки, вышел из комнаты, и Ольга сказала:

— Кто эта девочка?

— Я никогда не видел ее, — сказал Шкрета.

— В самом деле, она похожа на маленького ангела, — сказал Якуб.

— Ангел, который подыскивает ему любовниц? — засмеялась Ольга.

— Да, ангел — сводник и сват. Именно так и должен был бы выглядеть его личный ангел.

— Не знаю, был ли это ангел, — сказал Шкрета, — но удивительно, что эту девочку я никогда здесь не видел, хотя знаю едва ли не каждого.

— Тогда существует тому одно объяснение, — улыбнулся Якуб. — Она была из другого мира.

— Был ли это ангел или дочка здешней горничной, за одно ручаюсь, сказала Ольга, — ни к какой женщине он не пошел! Это ужасно самовлюбленный человек, который только и делает,

что выставляется!

— Мне нравится он, — сказал Якуб.

— Возможно, — сказала Ольга, — и все–таки я настаиваю на том, что на свете нет большего себялюбца, чем он. Я готова держать пари, что за час до нашего прихода он дал какой–то девочке пригоршню пятидесятицентовых монет и попросил ее прийти сюда с цветком в такое–то время. Религиозные люди умеют великолепно инсценировать всякие чудеса.

— Я был бы рад, окажись вы правы, — сказал доктор Шкрета. — Дело в том, что господин Бертлеф очень болен, и каждая ночь любви — для него большой риск.

— Как видите, я была права. Все эти намеки на женщин — сплошное пустословие!

— Милая барышня, — сказал доктор Шкрета, — я его врач и друг, и все–таки в этом я не уверен. Не поручусь.

— А он действительно так болен? — спросил Якуб.

— А почему, думаешь, он уже почти год живет на этом курорте, а его молодая жена, которую он обожает, лишь изредка прилетает к нему сюда?

— А здесь без него стало вдруг грустно, — сказал Якуб.

И в самом деле, все трое почувствовали себя внезапно осиротевшими, и им уже не захотелось больше оставаться в чужих апартаментах.

Шкрета встал со стула:

— Давай проводим барышню Ольгу домой и еще чуть пройдемся. Надо еще о многом потолковать.

— Мне пока не хочется спать! — запротестовала Ольга.

— Вам пора. Приказываю вам как врач, — сказал Шкрета строго.

Они вышли из Ричмонда и двинулись через парк. По дороге Ольга нашла возможность шепнуть Якубу:

— Я хотела быть сегодня вечером с тобой…

Но Якуб лишь пожал плечами, ибо Шкрета очень твердо настаивал на своем. Они проводили девушку к дому Маркса, и Якуб в присутствии друга даже не погладил ее, как обычно, по голове. Антипатия доктора к грудям, похожим на сливы, смущала его. Ольгино лицо выражало разочарование, и он пожалел, что обидел ее.

— Так что ты об этом думаешь? — спросил Шкрета, когда остался наедине с другом на парковой дорожке. — Ты слышал, как я сказал, что мне нужен отец. И камень надо мной зарыдал

бы. А он завел речь о святом Павле. Неужто он и вправду не может догадаться? Уже два года толкую ему о том, что я сирота, и расхваливаю ему преимущества американского паспорта. Тысячу раз я как бы вскользь намекал на разные случаи усыновления. Эти намеки, по моим расчетам, давно должны были подсказать ему идею усыновления.

— Он слишком прислушивается к самому себе, — сказал Якуб.

— Именно так, — подтвердил Шкрета.

— Если он серьезно болен, то удивляться нечему, — сказал Якуб и добавил: — Если, конечно, дела его так плохи, как ты говорил.

— Еще хуже того, — сказал Шкрета. — Полгода назад он перенес тяжелейший инфаркт и с тех пор не может позволить себе никаких дальних путешествий и живет здесь затворником. Жизнь его висит на волоске. И он это знает.

— Как видишь, — серьезно сказал Якуб, — тебе стоило бы давно понять, что метод намеков неудачен, ибо они выливаются лишь в раздумья относительно собственной персоны. Тебе следовало бы свою просьбу высказать ему без околичностей. Он несомненно пошел бы тебе навстречу. Это доставляет ему удовольствие, ибо

отвечает его представлениям о себе самом. Он хочет приносить людям радость.

— Ты гений! — воскликнул Шкрета и задумался. — Это просто как Колумбово яйцо и совершенно точно! А я–то, дурак, потерял два года жизни потому лишь, что не мог до конца разобраться в нем! Потерял два года в напрасных церемониях! И это твоя вина, ты должен был давно мне посоветовать!

— Ты должен был давно спросить меня.

— Ты уже два года не заезжал ко мне! Друзья шли по ночному парку, вдыхая свежий аромат ранней осени.

— Если я выбрал его в отцы, то, вероятно, заслуживаю, чтобы он выбрал меня в сыновья! — сказал Шкрета.

Якуб согласился с ним.

— Вся беда в том, — сказал Шкрета после долгого задумчивого молчания, — что ты окружен идиотами! Разве я могу у кого–нибудь в этом городе спросить совета? Интеллигентный человек рождается в абсолютном изгнании. В силу своей профессии я только и занят этой мыслью: человечество плодит невероятное количество идиотов. Чем глупее индивид, тем сильнее у него желание размножаться. Полноценные личности

производят на свет не более одного ребенка, а лучшие из них, вроде тебя, приходят к решению вообще не плодиться. Это катастрофа. А я постоянно мечтаю о мире, в котором человек рождался бы не в чужой среде, а в среде своих братьев.

Якуб слушал речи Шкреты и, похоже было, не находил в них ничего особенно увлекательного. Шкрета продолжал говорить:

— Не считай это словоблудием! Я не политик, я врач, и слово «брат» имеет для меня конкретный смысл. Братья — те, у кого по крайней мере один общий родитель. Все сыновья Соломона, хотя и появились на свет от сотни разных матерей, были братьями. Это, наверное, было превосходно! Что ты думаешь на этот счет?

Якуб, вдыхая свежий воздух, не знал, что и сказать.

— Конечно, — продолжал Шкрета, — очень трудно заставить людей при совокуплении думать об интересах потомства. Но не в этом дело. В нашем веке необходимо по–иному решить проблему разумного деторождения. Человек не может до бесконечности смешивать любовь с размножением.

С этой мыслью Якуб согласился.

— Тебя прежде всего, конечно, волнует вопрос,

как освободить любовь от размножения, — сказал Шкрета. — Что до меня, то речь скорее о том, как освободить размножение от любви. Я хотел посвятить тебя в свой проект. У меня в пробирке мое семя.

Тут наконец Якуб напряг внимание.

— Что ты скажешь по этому поводу?

— Превосходно! — сказал Якуб.

— Великолепно! — сказал Шкрета. — Так я вылечил уже многих женщин от бесплодия. Учти, многие женщины не имеют детей лишь потому, что бесплодны мужья. У меня богатая клиентура со всей республики, кроме того, в последние четыре года я занимаюсь и гинекологическим обследованием женщин нашего города. Подойти со шприцем к пробирке, а затем ввести в пациентку животворящую материю — сущий пустяк.

— И сколько же у тебя детей?

— Занимаюсь этим уже несколько лет, но у меня весьма приблизительный учет. Случается, что я не могу быть уверенным в своем отцовстве, ибо иногда пациентки, так сказать, изменяют мне со своими мужьями. Или разъезжаются по своим городам, и я даже не знаю, успешным ли было мое лечение. Более точные сведения у меня о здешних пациентках.

Шкрета замолчал, а Якуб погрузился в задумчивое умиление. Проект Шкреты очаровал его и растрогал, ибо он вновь узнавал в нем своего старинного друга и неисправимого мечтателя:

— Наверное, прекрасно иметь детей от стольких женщин… — сказал он.

— И все братья, — добавил Шкрета, и они снова двинулись в путь.

Они шли, дышали благоуханным воздухом и молчали. Затем Шкрета сказал:

— Знаешь, я часто говорю себе: хоть многое нам в этой стране и не нравится, мы все равно несем за нее ответственность. Меня страшно бесит, что я не могу свободно разъезжать по миру, но свое отечество я никогда не покинул бы. И никогда не оклеветал бы его. Пришлось бы сперва оклеветать самого себя. Что сделал каждый из нас, чтобы оно стало лучше? Что сделал каждый из нас, чтобы здесь можно было жить? Чтобы эта страна стала такой, где мы чувствовали бы себя дома? Но дома… — Шкрета понизил и смягчил голос: — Дома человек чувствует себя только среди своих. А поскольку ты сказал, что уезжаешь, я решил сделать тебя участником моего проекта. У меня есть для тебя пробирка. Ты будешь где–то на чужбине, а здесь будут рождаться твои дети.

И спустя десять, двадцать лет ты увидишь, какая это будет замечательная страна.

На небе стояла круглая луна (она простоит там до последней ночи нашей истории, и потому мы по праву можем назвать ее лунной историей). Доктор Шкрета проводил Якуба к Ричмонду.

— Завтра тебе еще нельзя уезжать… — сказал он.

— Я должен. Меня ждут, — сказал Якуб, но чувствовал, что его можно переубедить.

— Ерунда, — сказал Шкрета. — Я рад, что тебе мой проект нравится. Завтра мы обсудим его до мельчайших подробностей.

День четвертый

1

Когда утром пани Климова уходила из дому, ее муж еще лежал в постели.

— Не пора ли и тебе выехать? — спросила она.

— К чему спешить? Успею повозиться с этими идиотами, — ответил он и, зевнув, перевернулся на другой бок.

Позавчера он сообщил ей, что на этой утомительной конференции его обязали взять шефство над любительскими ансамблями, и потому в четверг вечером ему предстоит концертировать в одном горном курорте вместе с каким–то врачом и аптекарем, играющими джаз. Рассказывая, он чертыхался, но пани Климова, глядя ему в лицо, прекрасно понимала, что за этой бранью нет искренной злости, поскольку никакого концерта не будет, и Клима выдумал его лишь затем, чтобы выкроить время для какой–то любовной интрижки. Она читала по его лицу все; он ничего не мог утаить от нее. И когда он с проклятиями повернулся на другой бок, она вмиг поняла, что сделал он это не из–за того, что хотел спать, а чтобы скрыть от нее лицо и не дать ей разглядеть

его выражение.

Потом она ушла в театр. Когда несколько лет назад болезнь лишила ее огней рампы, он нашел ей в театре место служащей. Это было неплохо: она ежедневно встречалась там с интересными людьми и могла свободно распоряжаться рабочим временем. Подсев к столу, она попыталась составить несколько деловых писем, но не могла ни на чем сосредоточиться.

Ничто не овладевает так человеком, как ревность. Когда год назад у Камилы умерла мать, это было, конечно, несчастьем куда большим, чем какая–то авантюра трубача. И все–таки смерть матери в Камиле вызывала меньшую боль, хотя мать она бесконечно любила. Та боль была милосердно многоцветна: в ней переплетались скорбь, печаль, растроганность, угрызения совести (достаточно ли она заботилась о ней? не забывала ли о ней?) и тихая улыбка. Та боль была милосердно рассредоточена: мысли, отталкиваясь от гроба усопшей, убегали в воспоминания, в детство Камилы и даже дальше — в детство матери, убегали во многие практические заботы, убегали в будущее, которое было открыто перед ней, и в нем, как утешение (да, это были несколько исключительных дней, когда он стал для нее

утешением) присутствовал Клима.

Однако боль ревности не перемещалась в пространстве, она, как бурав, вращалась вокруг единственной точки. Здесь не было никакого рассредоточения. Если смерть матери открывала двери будущего (другого, более одинокого, но вместе с тем и более зрелого), то боль, вызванная изменой мужа, не открывала никакого будущего, Все концентрировалось в едином (неизменно присутствующем) образе неверного тела, в едином (неизменно присутствующем) укоре. Когда умерла мать, она могла слушать музыку, могла даже читать; когда она ревновала, она вообще ничего не могла делать.

Еще вчера ее осенило поехать в этот курортный городок и убедиться, что подозрительный концерт действительно состоится, но потом она отвергла эту мысль, ибо знала, что ее ревность вызывает у Климы отвращение и что не стоит перед ним ее обнажать. Однако ревность работала в ней как заведенный мотор, и она не могла удержаться, чтобы не поднять телефонной трубки и не набрать номер справочной вокзала. Извинившись, она сказала, что звонит на вокзал без определенной цели, просто потому, что не может сосредоточиться на составлении деловых писем.

Узнав, что поезд отходит в одиннадцать утра, она представила себе, как идет по незнакомым улицам, ищет афишу с именем мужа, как в дирекции курорта наводит справки о концерте, на котором должен выступать ее муж, как узнает, что никакого концерта нет и в помине и как потом бродит, несчастная и обманутая, в пустом чужом городе. И еще представила, как на следующий день Клима станет рассказывать ей про концерт, а она — расспрашивать его о подробностях. Она будет смотреть ему в лицо, слушать его небылицы и пить с горьким наслаждением ядовитое зелье его лжи.

Но следом она попрекнула себя за неразумность своего поведения. Она не должна проводить дни и недели в постоянной слежке за ним и в своих ревнивых фантазиях. Она боится потерять его, но именно этот страх и приведет к тому, что она однажды потеряет его!

Но другой голос тотчас откликнулся в ней с лукавой наивностью: она ведь не едет шпионить за ним! Ведь Клима сказал, что будет играть на концерте, и она верит ему! Именно потому, что устала ревновать, она относится к его словам серьезно и без подозрительности! Он же сказал, что едет туда с неохотой и что приходит в ужас,

представляя себе весь этот унылый день и вечер. Значит, она едет к нему лишь затем, чтобы сделать ему приятный сюрприз! Когда в конце выступления Клима станет брезгливо кланяться и изнывать душой, представляя себе тягостный обратный путь, она проберется к сцене, он увидит ее, и они счастливо рассмеются!

Она отдала директору вымученные с таким трудом письма. Ее любили в театре. Ценили за то, что она, жена прославленного музыканта, умеет быть скромной и доброжелательной. Печаль, подчас исходившая от нее, обезоруживала их. И разве директор мог бы ей отказать? Она обещала ему вернуться в пятницу после обеда и тогда, оставшись в театре до самого вечера, закончить всю недоделанную работу.

2

Было десять утра, и Ольга, как обычно, взяла у Ружены большую белую простыню и ключ. Потом пошла в кабинку, разделась, накинула на себя простыню на манер античной тоги, закрыла кабинку, ключ отдала Ружене и направилась в соседний зал, где был бассейн. Перебросив простыню через перила, она сошла по ступенькам в воду, где уже барахталось множество женщин. Бассейн был небольшим. Но Ольга, убежденная,

что плавание необходимо для ее здоровья, попыталась сделать несколько взмахов руками. Вода взволновалась, и брызги влетели в неумолкающий рот одной из дам.

— Вы что, с ума сошли? — крикнула та Ольге очень раздраженно. — Этот бассейн не для плавания!

Женщины сидели вдоль стен бассейна, точно большие лягушки. Ольга боялась их. Все они были старше ее, толще, на них было больше жира и кожи. Она покорно уселась между ними и хмуро уставилась в одну точку.

Вдруг она увидала в дверях зала невысокого молодого человека в джинсах и рваном свитере.

— Что там делает этот парень? — закричала она.

Все женщины повернулись в направлении Ольгиного взгляда и стали смеяться и визжать.

В зал вошла Ружена и объявила:

— К нам пришли кинорепортеры и хотят вас снимать для хроники.

Женщины в бассейне вновь рассмеялись.

— Что еще за выдумки! — запротестовала Ольга.

— Это с разрешения курортной администрации!

— Какое мне дело до администрации! — кричала Ольга. — Меня никто не спрашивал!

Молодой человек в рваном свитере (на шее у него болтался аппарат для измерения интенсивности света) подошел к бассейну и вперился в Ольгу с улыбкой, показавшейся ей скабрезной.

— Девушка, тысячи людей обалдеют, когда увидят вас на экране!

Женщины ответили новым взрывом смеха, а Ольга, прикрыв ладонями груди (а это, как мы знаем, не составляло труда, ибо они походили на две сливы), спряталась за чужими спинами.

К бассейну подошли еще двое мужчин, и тот, что был повыше, сказал:

— Прошу вас, ведите себя совершенно естественно, будто нас здесь вовсе нет.

Ольга протянула руку к перилам, где висела ее простыня. Обернулась в нее еще в бассейне и по ступенькам поднялась на кафельный пол зала; простыня была мокрой, с нее стекала вода.

— Эй, куда вас несет, мать его за ногу! — крикнул молодой человек в рваном свитере.

— Вам предписано еще четверть часа находиться в бассейне! — кричала ей вслед Ружена.

— Она стесняется! — смеялся за ее спиной весь бассейн.

— А то еще откусят кусочек от ее красоты! — сказала Ружена.

— Принцесса! — раздался голос в бассейне.

— Кто не хочет сниматься, естественно, может уйти! — сказал спокойным тоном высокий мужчина в джинсах.

— А чего нам стесняться! Мы ведь красивые! — громогласно заявила одна толстая дама, и гладь бассейна заволновалась от смеха.

— Но эта девушка не должна уходить! Ей положено быть здесь еще четверть часа! — возмущалась Ружена, глядя вслед Ольге, которая упрямо шла в раздевалку.

3

Нельзя сердиться на Ружену за то, что она не в духе. И все же почему ее так возмутило, что Ольга не хотела сниматься? Почему она целиком слилась с толпой толстых теток, встретивших приход мужчин веселым визгом?

И почему эти толстые тетки так весело визжали? Не потому же, верно, что хотели покрасоваться перед молодыми людьми и соблазнить их?

Вовсе нет. Их показное бесстыдство было как раз порождено сознанием, что никакой соблазнительной красотой они не обладают. Они были полны неприязни к женской молодости и стре-

мились выставить свои сексуально непригодные тела, как едкую издевку над женской наготой. Безобразием своих тел они хотели мстительно подорвать славу женской красоты, ибо знали, что отвратительные и прекрасные тела в конце концов одинаковы и что отвратительное тело бросает тень на прекрасное, шепча мужчине на ухо:

— Смотри, это подлинная суть того тела, что околдовывает тебя! Смотри, эти большие приплюснутые груди — то же самое, что и те перси, которые ты боготворишь!

Веселое бесстыдство толстых баб в бассейне было некрофильской пляской над скоротечностью молодости, и было тем веселее, что в бассейне в качестве жертвы присутствовала молодая девушка. Жест Ольги, обернувшейся в простыню, они восприняли как саботаж своего злобного обряда и разъярились.

Однако Ружена не была ни толстой, ни старой, она была даже красивее Ольги! Так почему же она тогда не встала на ее сторону?

Если бы Ружена решилась на аборт и верила, что ее ждет счастливая любовь с Климой, она все воспринимала бы иначе. Любовь мужчины выделяет женщину из толпы, и Ружена, бла-

женствуя, чувствовала бы свою неповторимую индивидуальность. Она видела бы в толстых бабах недругов, а в Ольге — свою сестру. Она благоволила бы к ней, как благоволит одна красота к другой, одно счастье к другому, одна любовь к любви другой.

Но прошлой ночью Ружена очень плохо спала и поняла, что не может верить в любовь Климы, и потому все, что выделяло ее из толпы, представилось ей обманом. Единственное, что было у нее, — это распускающийся росток в животе, охраняемый обществом и традицией. Единственное, что было у нее, — это пресловутая все–общность женского удела, которая обещала ей вступиться за нее.

А эти женщины в бассейне — они как раз и воплощали женственность в ее всеобщности: женственность вечного деторождения, кормления, увядания, женственность, смеющуюся над тем быстротечным мгновением, когда женщина верит, что она любима, и чувствует себя созданием неповторимым.

Между женщиной, верящей в свою исключительность, и женщинами, облачившимися в убор всеобщего женского удела, не может быть примирения. После бессонной ночи, полной

раздумий, Ружена встала (бедный трубач!) на сторону последних.

4

Якуб сидел за рулем, а рядом, по соседству, — Бобеш, который поминутно поворачивал к нему голову и облизывал его. За последними низкими домиками курортного местечка высилась многоэтажка — год назад ее здесь еще не было. Она стояла среди зеленого пейзажа, точно веник в вазоне, и казалась Якубу отвратительной. Он погладил Бобеша, удовлетворенно смотревшего на пейзаж, и подумал, что Господь был милостив к собакам, не вложив в их головки чувства красоты.

Пес снова лизнул Якуба (верно, чувствовал, что Якуб все время думает о нем), и Якубу пришло на ум, что его отечество будет развиваться не в лучшую и не в худшую, а во все более смешную сторону: здесь он когда–то пережил охоту на людей, а вчера стал свидетелем охоты на собак, словно это был один и тот же спектакль, только с другими исполнителями. Вместо следователей и охранников в нем выступали пенсионеры, а вместо заключенных политиков боксер, дворняжка и такса.

Он вспомнил, как несколько лет назад его сто-

личные соседи у двери квартиры нашли своего кота, у которого в оба глаза были вбиты гвозди, вырезан язык и связаны лапки. Дети с их улицы играли во взрослых. Якуб снова погладил Бобеша по голове и припарковал машину у трактира.

Выходя из машины, Якуб предполагал, что пес радостно бросится к двери своего дома. Но вместо этого Бобеш стал прыгать на Якуба, приглашая его поиграть. Вдруг раздалось «Бобеш!» — и пес побежал к женщине, стоявшей на завалинке.

— Ты неисправимый бродяжка, — сказала она и, извиняясь, спросила Якуба, долго ли ему пришлось возиться с Бобешом.

Когда он ответил ей, что провел с ним ночь, а сейчас привез на машине, женщина осыпала его шумными благодарностями и сразу же пригласила в дом. Она усадила его в особое помещение, где, по всей вероятности, устраивались банкеты для узкого круга, и побежала звать мужа.

Вскоре она вернулась в сопровождении молодого человека, который, подсев к Якубу, протянул ему руку:

— Вы, несомненно, прекрасный человек, если приехали сюда только ради Бобеша. Он ужасный балбес и вечно бродяжничает. Но мы его любим. Не откажите пообедать с нами!

— С удовольствием, — сказал Якуб, и женщина поспешила в кухню. Тем временем Якуб рассказал, как он спас Бобеша от удавки пенсионеров.

— Вот подонки! — вскричал молодой человек и следом — в сторону кухни: — Вера! Поди сюда! Ты слышала, что эти подонки вытворяют?

Вера вошла в комнату с подносом, на котором дымился суп. Она села, и Якубу снова пришлось рассказать вчерашнюю историю. Пес сидел под столом, позволяя чесать себя за ушами.

Когда Якуб покончил с супом, молодой человек принес из кухни свинину с кнедликами.

Якуб сидел у окна, ему было хорошо. Молодой человек проклинал тех внизу (Якуба очаровывало, что трактирщик свое заведение считает местом наверху, Олимпом, точкой, откуда все видно на расстоянии и с высоты птичьего полета), а его жена привела за руку двухлетнего мальчика:

— Поблагодари дядю, он привез тебе Бобешка.

Мальчик пробормотал несколько невнятных слов и засмеялся, глядя на Якуба. Снаружи светило солнце, и желтеющая листва миролюбиво склонялась к окнам. Стояла тишина. Трактир был высоко над миром, и в нем царил покой.

Хотя Якуб и не горел желанием размножаться,

детей он любил.

— У вас симпатичный мальчуган, — сказал он.

— Потешный, — сказала женщина. — Не пойму, в кого он такой носастый.

Якубу вспомнился нос его друга, и он сказал:

— Доктор Шкрета говорил мне, что вы у него лечились.

— Вы знаете пана доктора? — радостно спросил молодой человек.

— Это мой товарищ, — ответил Якуб.

— Мы ему страшно благодарны, — сказала молодая мамочка, и Якуб подумал, что этот ребенок, вероятно, одна из удач евгенического проекта Шкреты.

— Это не врач, а чародей, — с восхищением сказал молодой человек.

Якуба осенила мысль, что эти трое здесь в этом по–вифлеемски тихом уголке не что иное как святое семейство и что их дитя происходит не от отца человеческого, а от Бога — Шкреты.

Носатый мальчик снова пробубнил несколько невнятных слов, и молодой отец любовно посмотрел на него.

— Откуда тебе знать, — сказал он своей жене, — кто из твоих далеких предков был носачом.

Якуб рассмеялся. Ибо на ум ему пришел стран-

ный вопрос: пользовался ли доктор Шкрета шприцем, чтобы оплодотворить свою дорогую Зузи?

— Разве я не прав? — засмеялся молодой отец.

— Несомненно правы, — сказал Якуб. — Великое утешение в том, что мы уже давно будем почивать в могиле, а по свету станет расхаживать наш нос.

Все засмеялись, и мысль, что Шкрета может быть отцом мальчика, представилась теперь Якубу всего лишь забавной выдумкой.

5

Франтишек получил деньги от хозяйки, которой починил холодильник, вышел на улицу, сел на свой безотказный мотоцикл и поехал на окраину городка в районное монтажное управление сдать дневную выручку. Было немногим более двух, когда он полностью освободился. Он снова завел мотоцикл и двинул к курорту. На стоянке увидел белый лимузин. Припарковал мотоцикл рядом и колоннадой, прошел к клубу, предполагая, что именно там может быть трубач.

Не дерзость и не воинственность вели его туда. Он уже и не думал устраивать сцены. Напротив, готов был целиком переломить себя, смириться, подчиниться. Говорил себе, что любовь его так

велика, что ради нее он способен согласиться на все. Так же, как сказочный принц выдерживает ради принцессы любые испытания и трудности, борется с драконом и переплывает океан, так и он готов на бесконечное унижение, мыслимое разве что в сказках.

Отчего же он так безропотен? Почему бы не поискать ему другую девушку, каких на этом горном курорте столь заманчивый переизбыток?

Франтишек моложе Ружены, то бишь на свое несчастье он очень молод. Лишь повзрослев, он познает недолговечность сущего и поймет, что за горизонтом одной женщины сразу же открывается горизонт других женщин. Однако Франтишеку пока неведомо, что такое время. С детства он живет в мире, пребывающем в неизменности, он живет в какой–то неподвижной вечности, у него один и тот же отец, одна и та же мать и одна Ружена, которая сделала его мужчиной, которая возвышается над ним как небосвод, единственно возможный небосвод. Он не в силах представить себе жизнь без нее.

Вчера он послушно обещал не шпионить за ней и даже решил сегодня избегать ее. Он убеждал себя, что его интересует один трубач, и если он выследит только его, то не нарушит своего обеща-

ния. Он, конечно, понимал, что это лишь увертка и что Ружена осудила бы его поведение, но этот позыв был в нем сильнее любого рассуждения или умысла. Это было столь же неотвратимо, как наркомания: он должен был видеть его; он должен был видеть его, видеть снова, не торопясь и вблизи. Он должен был заглянуть в лицо своей пытки. Он должен был посмотреть на его тело, чье слияние с телом Ружены казалось ему невероятным и немыслимым. Он должен был посмотреть на него, чтобы попытаться определить глазами, совместимы их тела или нет.

На сцене уже играли: доктор Шкрета был за барабаном, какой–то маленький человечек — за роялем, а Клима — с трубой. На стульях в зале сидело несколько молодых парней, джазовых фанатов, проникших сюда, чтобы понаблюдать за репетицией. И Франтишеку нечего было опасаться, что для кого–то станет очевидной причина его прихода. Он был уверен, что трубач, ослепленный фарами его мотоцикла, не разглядел в среду его лица, а другие о его отношениях с Руженой благодаря ее же осмотрительности вряд ли что знают.

Трубач прервал свою партию и подсел к роялю, чтобы проиграть для маленького человечка один пассаж в более подходящем ритме. А Франти-

шек сидел в конце зала, постепенно становясь тенью, которая в этот день ни на миг не покинет трубача.

6

Он возвращался из загородного трактира, и ему было жалко, что рядом уже не сидит веселый пес, который поминутно облизывал бы ему лицо. И он тут же подумал о том, какое это чудо, что в течение всех сорока пяти лет своей жизни он сохранил свободным место рядом с собой, и теперь может покинуть эту страну легко, без багажа, ничем не обремененный, один, с обманчивым и все же прекрасным ощущением молодости, словно студент, который только сейчас строит планы на будущее.

Он стремился полностью проникнуться сознанием, что покидает родину. Он стремился воссоздать в памяти свою прошлую жизнь. Стремился увидеть ее в образе просторного края, на который он оглядывается с печалью, края головокружительно далекого. Не получалось. То, что он сумел мысленно увидеть позади себя, было мелким, сплюснутым, словно закрытая гармоника. Он с усилием восстанавливал лишь обрывки воспоминаний, которые смогли бы выстроиться в некую иллюзию прожитой судьбы.

Он оглядывал деревья вокруг. Листья были зелеными, красными, желтыми и коричневыми. Леса, казалось, занялись пожаром. Он подумал, что уезжает в дни, когда горят леса, и это прекрасное и безжалостное пламя пожирает его жизнь и воспоминания. Должен ли он страдать из–за того, что не страдает? Должен ли он испытывать тоску из–за того, что не испытывает тоски?

Да, тоски он не испытывал, но и торопиться не хотелось. По договоренности с зарубежными друзьями ему полагалось бы уже в эти минуты пересечь границу, но он чувствовал, что его вновь одолевает какая–то раздумчивая леность, которая в кругу его знакомых пользовалась комичной известностью, ибо он предавался ей именно тогда, когда от него требовались решительные и определенные действия. Он знал, что до последней минуты будет декларировать, что должен уехать еще сегодня, но понимал и то, что с самого утра делает все, чтобы оттянуть свой отъезд из этого милого курортного городка, куда многие годы приезжал к своему другу, порой после больших перерывов, но всегда с удовольствием.

Он припарковал машину (да, рядом с белым лимузином трубача и красным мотоциклом Франтишека) и вошел в винный погребок, где

через полчаса должен был встретиться с Ольгой. Ему приглянулся столик в дальнем углу у окна, откуда были видны пламенеющие деревья парка, но, к сожалению, там сидел мужчина лет тридцати. Якуб сел за соседний стол. Отсюда не было видно деревьев, однако его внимание приковал вид этого человека, который заметно нервничал, непрерывно постукивая ногой об пол и не отрывая глаз от входа.

7

Наконец она вошла. Клима вскочил со стула, подошел к ней и повел ее к столику у окна. Он улыбался ей, словно этой улыбкой хотел сказать, что уговор их в силе, что оба они спокойны, уравновешенны и доверяют друг другу. Он искал в выражении лица девушки одобрительный ответ на свою улыбку, но такового не обнаружил. Это обеспокоило его. Он боялся говорить о том, о чем думал, и завел с девушкой незначащий разговор, который должен был создать непринужденную обстановку. Но его слова разбивались о ее молчание, как об утес.

И вдруг она прервала его:

— Я передумала. Это было бы преступлением. Ты, наверное, мог бы такое сделать, а я нет.

У трубача оборвалось сердце. Он безмолвно

смотрел на Ружену, не зная, что и сказать ей. Чувствовал лишь отчаянную усталость. А Ружена все повторяла:

— Это было бы преступлением.

Он смотрел на нее, и она казалась ему нереальной. Эта женщина, облик которой он не мог даже воссоздать на расстоянии, представлялась ему теперь его пожизненной карой. (Как и все мы, Клима также считал реальным лишь то, что входит в нашу жизнь изнутри, постепенно, органически, а то, что приходит извне, неожиданно и случайно, он воспринимал как вторжение нереального. К сожалению, нет ничего более реального, чем это нереальное.)

Затем около их столика появился официант, узнавший позавчера трубача. Он принес на подносе две рюмки коньяка и добродушно сказал:

— Верно, я по глазам читаю ваше желание. А Ружене сказал то же, что и в прошлый раз:

— Гляди в оба! Все девчата готовы глаза тебе выцарапать! — и сам же от души засмеялся.

Весь во власти своего ужаса, Клима не обращал внимания на болтовню официанта. Глотнув коньяку, он наклонился к Ружене:

— Прошу тебя! Мы же договорились. Мы все объяснили друг другу. Почему ты внезапно из-

менила решение? Ты ведь согласилась с тем, что первые годы нам лучше посвятить друг другу. Ружена! Мы же делаем это ради нашей любви и ради того, чтобы у нас был ребенок, которого мы оба по–настоящему захотим.

8

Якуб вмиг узнал медсестру, которая вчера хотела бросить Бобеша старикам на расправу. Не спуская с нее глаз, он пытался понять, о чем она беседует с мужчиной. Не разбирая ни единого слова, он лишь чувствовал напряженность их разговора.

Вскоре стало заметно, что мужчину придавила какая–то новость. Прошла минута, другая, пока он снова обрел способность говорить. По его выражению можно было понять, что он в чем–то убеждает девушку и о чем–то просит. Но девушка чопорно молчала.

Якубу показалось, что на карту поставлена чья–то жизнь. В этой светловолосой девушке он все время видел образ той, которая готова придержать для палача жертву, и ни на миг не сомневался, что мужчина на стороне жизни, а она на стороне смерти. Мужчина хочет сохранить чью–то жизнь, просит о помощи, а блондинка отказывает, и кто–то должен из–за нее умереть.

А потом он увидел, что мужчина перестал настаивать, что он улыбается и даже гладит девушку по лицу. Может, договорились? Вовсе нет. Лицо под желтыми волосами было непримиримо устремлено в свои дали, минуя взгляд мужчины.

Якуб не в состоянии был отвести взор от этой девушки, которую со вчерашнего дня воспринимал лишь как пособницу палачей. Ее лицо было красивым и пустым. Достаточно красивым, чтобы привлечь мужчину, но и достаточно пустым, чтобы в нем затерялись все его слезные просьбы. Лицо было еще и гордым, и Якубу подумалось, что оно гордится не своей красотой, а именно своей пустотой.

Якубу казалось, что в этом лице встретились тысячи других лиц, которые он хорошо знал. Ему казалось, что вся его жизнь была не чем иным, как непрестанным диалогом с этим лицом. Когда он пытался что–то объяснить ему, оно обиженно отворачивалось, на его доводы отвечало разговором о чем–то другом, когда он улыбался ему, оно упрекало его в легкомыслии, когда о чем–то просил, обвиняло его в высокомерии, — лицо, которое ничего не понимало и решало все, лицо пустое, как бесплодная степь, и гордое своей пустотой.

У Якуба мелькнула мысль, что сегодня в последний раз он смотрит на это лицо, чтобы уже завтра навсегда покинуть пределы его царства.

9

Ружена тоже заметила Якуба и узнала его. Она чувствовала на себе его пристальный взгляд, это нервировало ее. Ей казалось, что она в окружении двух тайно объединившихся мужчин, в окружении двух взглядов, нацеленных на нее, точно два дула.

Клима повторял свои доводы, а она не знала, что отвечать. Она ведь постаралась уверить себя, что там, где речь идет о будущем ребенке, рассудку нет места, и право голоса принадлежит лишь чувствам. Она молча отвернула лицо от взглядов обоих мужчин и уставилась в окно. Определенная сосредоточенность при этом рождала в ней оскорбленное чувство непонятой возлюбленной и матери, и оно всходило в ее душе, будто тесто для кнедликов. Не умея выразить его словами, она дала ему излиться из глаз, устремленных в какую–то одну точку парка напротив.

Но именно там, куда Ружена тупо смотрела, она вдруг разглядела знакомую фигуру и испугалась. Сейчас она уже не слышала, что говорит ей Клима. Это был уже третий взгляд, чье дуло было

направлено на нее, и он был самым опасным. Ведь Ружена поначалу была не совсем уверена, кто стал причиной ее будущего материнства. В расчет принимался скорее тот, кто сейчас тайно следил за ней, неудачно спрятавшись за деревом в парке. Конечно, эти сомнения были только поначалу, позднее она все больше склонялась к тому, что трубач виноват в ее беременности, пока наконец твердо не решила, что это он и никто другой. Постараемся понять: она вовсе не хотела ложно приписывать ему свою беременность. Своим решением она избрала не ложь, а правду. Она решила, что так было на самом деле.

Впрочем, материнство — вещь настолько священная, что ей казалось невозможным, чтобы причиной его был тот, кого она едва ли не презирала. И вовсе не логические соображения, а какое–то сверхрассудочное озарение убеждало ее, что зачать она могла лишь от того, кто ей нравился, кто вызывал в ней интерес, кем она восхищалась. А когда она услыхала в телефонную трубку, что тот, кого она избрала в отцы своего ребенка, потрясен, испуган и противится своему отцовскому предназначению, все было окончательно решено, ибо в ту минуту она уже не только уверилась в своей правде, но была готова

броситься за нее в огонь и в воду.

Помолчав, Клима погладил Ружену по лицу. Очнувшись от своих мыслей, она увидела его улыбку. Хорошо бы, сказал он, опять поехать им на машине за город, ибо этот столик в кабачке разделяет их, точно холодная стена.

Она испугалась. Франтишек все еще стоял за деревом в парке и смотрел в окно винного погребка. Что, если он снова налетит на них, как только они выйдут на улицу? Что, если снова устроит скандал, как в среду?

— Получите за два коньяка, — сказал Клима официанту.

Она вынула из сумки стеклянный тюбик.

Трубач подал официанту банкнот и широким жестом отказался от сдачи.

Ружена открыла тюбик, стряхнула на ладонь таблетку и проглотила ее.

Когда она закрывала тюбик, трубач, повернувшись к ней снова, заглянул ей в глаза. Он протянул руки к ее рукам, и она, выпустив из ладони тюбик, покорилась ласке его пальцев.

— Пойдем, — сказал он, и Ружена встала. Она приметила взгляд Якуба, пристальный и неприветливый, и отвела глаза.

Когда они вышли на улицу, она тревожно по-

смотрела в парк, однако Франтишека там уже не было.

10

Якуб встал, взял бокал недопитого вина и пересел за освободившийся столик. Полюбовавшись из окна красноватыми деревьями парка, он опять подумал, что это пожар, в который он бросает все свои прожитые сорок пять лет. Затем его взгляд соскользнул на доску стола, и он увидел рядом с пепельницей забытый стеклянный тоненький тюбик. Взял его, осмотрел: на нем было написано название незнакомого лекарства и чернилами приписано: 3 раза в день. Таблетки в тюбике были голубого цвета. Это показалось ему странным.

Он проводил последние часы на родине, и потому все мелкие события приобретали особенное значение, превращаясь в аллегорический театр. Есть ли некий смысл в том, подумал он, что именно сегодня кто–то оставляет для меня на столе тюбик голубых таблеток? И почему мне оставляет его именно эта женщина, Преемница политических гонений и Пособница палачей? Хочет ли она мне тем самым сказать, что потребность в голубых таблетках еще не иссякла? Или напоминанием о яде хочет выразить мне свою неискоренимую ненависть? Или хочет мне

сказать, что мой отъезд из этой страны такая же покорность судьбе, как и готовность проглотить голубую таблетку, которую я ношу в кармашке?

Он вынул сложенную бумажку, развернул ее. Сейчас, когда он посмотрел на свою таблетку, ему показалось, что она все–таки немного темнее пилюлек в забытом тюбике. Открыв его, он вытряхнул одну таблетку на ладонь. Да, она немного темнее и меньше. Затем он вложил обе таблетки в тюбик. Когда же скользнул сейчас по ним беглым взглядом, никакого различия не обнаружил. Поверх невинных таблеток, предназначенных, вероятно, для самых обыкновенных лечебных целей, легла замаскированная смерть.

В эту минуту к столу подошла Ольга. Он быстро закрыл тюбик крышечкой, положил возле пепельницы и встал, чтобы встретить приятельницу.

— Я только что видела знаменитого трубача Климу! Возможно ли? выпалила она, усаживаясь напротив Якуба. — Он шел под руку с этой мерзкой бабой! Что я сегодня пережила из–за нее в бассейне!

Тут она запнулась, поскольку Ружена, внезапно возникнув у их столика, сказала:

— Я здесь забыла таблетки.

Прежде чем Якуб успел ей ответить, она увидела лежавший возле пепельницы тюбик и протянула к нему руку.

Но он, оказавшись проворнее, опередил ее.

— Отдайте! — потребовала Ружена.

— Я хочу попросить вас кое о чем, — сказал Якуб. — Я могу взять одну таблетку?

— Перестаньте, пожалуйста, у меня нет времени…

— Я принимаю точно такие же лекарства…

— Я не походная аптека, — сказала Ружена.

Якуб хотел открыть крышечку тюбика, но прежде чем успел это сделать, Ружена попыталась выхватить тюбик. Якуб мгновенно сжал его в кулаке.

— Что вы делаете! Отдайте мне таблетки! — крикнула она.

Якуб, глядя ей в глаза, стал медленно разжимать ладонь.

11

Под стук колес перед ней ясно обнажалась тщета ее поездки. Она ведь совершенно убеждена, что ее мужа нет на курорте. Так почему она туда едет? Едет четыре часа на поезде, чтобы только убедиться в том, в чем она и так не сомневалась, и потом уехать обратно? Однако то, что гнало

ее в путь, не было осмысленной целью. То был мотор, который работал в ней на полную мощность, и его нельзя было остановить. (Да, в эти минуты Франтишек и Камила были выпущены в пространство нашей истории, как две ракеты, управляемые на расстоянии слепой — впрочем, что же это за управление? — ревностью.)

Связь столицы с горным курортом далеко не из лучших, и пани Климовой пришлось трижды пересаживаться, прежде чем она в конце концов вышла, усталая, на идиллической станции, залепленной рекламами, рекомендующими здешние лечебные источники и чудодейственные грязи. От станции к курорту она шла тополиной аллеей, и в начале колоннады в глаза ей бросилась нарисованная от руки афиша, на которой красными буквами было выведено имя ее мужа. Потрясенная, она остановилась перед ней и под именем мужа прочла еще два мужских имени. Трудно было даже поверить: Клима, значит, не обманывал ее! Все было так, как он сказал ей. В первые мгновения она ощутила неизмеримую радость, чувство давно утраченного доверия.

Но радость длилась недолго, ибо тут же следом Камила осознала, что сам факт концерта вовсе еще не служит доказательством супружеской

верности. Он согласился выступить на этом западном курорте наверняка лишь потому, что хотел здесь встретиться с женщиной. И тут она поняла, что все гораздо хуже, чем она предполагала, и что она оказалась в ловушке:

Она ехала сюда, чтобы убедиться, что мужа здесь нет, и тем самым (вновь, в который уж раз!) косвенно уличить его в измене. Но теперь положение изменилось: она уличит его не во лжи, а в неверности (причем совершенно прямо и явно). Хочется ей или нет, но она увидит постороннюю женщину, с которой Клима проводит сегодняшний день. От этой мысли у нее едва не подкосились ноги. Хотя она и была уверена, что знает все, но до сих пор ничего (ни одной его любовницы) не видела. Впрочем, по правде говоря, она совсем ничего не знала, а лишь предполагала, что знает, и этому предположению придавала весомость истины. Она верила в его измены, как христианин в существование Божье. Однако христианин верит в Бога в полной уверенности, что никогда не узрит Его. И она, представив себе, что сегодня увидит Климу с посторонней женщиной, испытала такой же ужас, какой испытал бы христианин, позвони ему Бог и сообщи, что придет к нему пообедать.

Тревога сковала все ее тело. Но вдруг она услыхала, как кто–то окликнул ее по имени. Она обернулась и увидала трех молодых мужчин, стоявших в центре колоннады. Они были в джинсах и свитерах и отличались своим богемным видом от скучной тщательности, с какой одеты были остальные курортники, прогуливавшиеся вдоль колоннады. Они улыбались ей.

— Привет! — крикнула она им. Это были киношники, друзья, которых она знала еще с той поры, когда выступала с микрофоном на подмостках.

Самый высокий из них, режиссер, тотчас взял ее под руку:

— Как чудесно было бы вообразить, что ты приехала сюда к нам и ради нас…

— А ты приехала всего лишь к своему мужу… — грустно сказал его помощник.

— Какая жалость! — сказал режиссер. — Самую красивую женщину стольного града некий трубач держит в клетке, и потому уже годы ее нигде не видать…

— Мать его за ногу! — сказал оператор (молодой человек в рваном свитере). — Пошли обмоем это дело!

Они думали, что расточают свои восторженные

речи перед ослепительной королевой, которая тотчас равнодушно бросит их в плетеную корзинку, полную других ненужных даров. А она между тем принимала их слова с благодарностью, словно девушка–хромоножка, поддержанная благожелательной рукой.

12

Ольга говорила, а Якуб думал о том, что отдал незнакомой женщине яд, который она может проглотить в любую минуту.

Произошло это внезапно, быстрее, чем он успел осознать. Произошло это помимо его сознания.

Ольга без умолку говорила, а Якуб мысленно оправдывал себя тем, что не хотел давать тюбик этой женщине и что она сама вынудила его сделать это.

Но как бы он ни убеждал себя, он знал, что это пустая отговорка. У него была тысяча возможностей не подчиниться медсестре. Ее наглости он мог противопоставить собственную наглость и, спокойно сбросив верхнюю таблетку на ладонь, сунуть ее в карман.

А если у него не нашлось достаточно выдержки и он не сделал необходимого, он мог в конце концов броситься за ней следом и признаться, что в тюбике яд. В этом не было ничего сложного:

просто объяснить, как все произошло.

А он меж тем сидит и смотрит на Ольгу, которая говорит что–то. Нет, он все–таки должен подняться и побежать за медицинской сестрой. Еще есть время. И он обязан сделать все, чтобы сохранить ей жизнь. Так почему же он сидит и не двигается с места?

Ольга говорила, а он удивлялся тому, что сидит и не двигается с места.

Да, надо подняться и пойти поискать ее. Но как сказать Ольге, что он должен уйти? Надо ли поделиться с ней тем, что произошло? Нет, он не может с ней поделиться. Что, если медсестра проглотит лекарство раньше, чем он догонит ее? Разве Ольга должна знать, что он убийца? Но если он и догонит медсестру вовремя, как ему оправдаться перед Ольгой, что он так долго колебался? Как ей объяснить, что он вообще отдал тюбик этой женщине? Ведь уже сейчас, только из–за этих коротких мгновений, что он сидит здесь и бездействует, любой наблюдатель сочтет его убийцей!

Нет, он не может поделиться с Ольгой, но что сказать ей? Как объяснить, что он сейчас вдруг встанет из–за стола и куда–то побежит?

Но разве сколько–нибудь важно, что он ей ска-

жет? Какие глупости приходят ему все время на ум! Перед лицом жизни и смерти какое имеет значение, что подумает Ольга?

Он знал, что его рассуждения насквозь порочны и что каждая минута промедления повышает опасность, в какой оказалась медсестра. А впрочем, и сейчас уже поздно. За то время, пока он здесь медлит, она с молодым человеком уже так далеко ушла от винного погребка, что он и не ведает, в какую сторону бежать, чтобы найти ее. Откуда ему знать, куда они пошли. В какую сторону податься за ними?

Но он тотчас осознал, что и это всего–навсего новая отговорка. Найти ее было бы трудно, но возможно. Еще не поздно что–то сделать, но делать нужно немедленно, пока не стало поздно!

— С самого утра день был для меня неудачным, — сказала Ольга. — Я проспала, опоздала на завтрак, меня не хотели кормить, в бассейне были эти дурацкие киношники. А я так мечтала, чтобы сегодняшний день был чудесным, коль я вижу тебя в последний раз. Ты даже не знаешь, как для меня это важно. Якуб, знаешь ли ты вообще, как для меня это важно?

Она перегнулась через стол и взяла его за руки.

— Не волнуйся, нет причин, чтобы этот день

был для тебя неудачным, сказал он ей с усилием, поскольку вообще не мог на ней сосредоточиться. Какой–то голос без устали напоминал ему, что у медсестры в сумке яд и что от него зависит, жить ей или умереть. Этот голос был назойливо постоянным, но при этом удивительно слабым, словно доносился из глубочайших глубин.

13

Клима ехал с Руженой по лесной дороге и убеждался, что на сей раз прогулка на роскошной машине не приносит ему желанного успеха. Ему не удавалось преодолеть ожесточенную неприступность Ружены, и потому он надолго умолк. Когда молчание сделалось слишком тягостным, он сказал:

— Ты придешь на концерт?

— Не знаю, — ответила она.

— Приходи, — сказал он, и вечерний концерт стал поводом для разговора, который на время отвлек их от пререканий. Клима старался в шутливом тоне рассказывать о главном враче, играющем на барабане, а решающий поединок с Руженой вознамерился отложить на вечер.

— Надеюсь, ты подождешь меня после концерта, — сказал он. — Как и в тот раз, когда я играл здесь… Только выговорив последние слова, он

осознал их смысл. «Как и в тот раз» означает, что после концерта они должны были бы заняться любовью. Боже правый, почему он вообще не принимал в расчет такую возможность?

Странно, но до этой минуты ему совершенно не приходило на ум, что он мог бы спать с ней. Ее беременность тихо и незаметно отодвинула ее во внесексуальное пространство страха. Хотя он и положил себе быть с ней нежным, целовать и гладить ее и старался вести себя именно так, однако все, что он ни делал, было только жестом, пустым знаком, при полном отсутствии всякой телесной заинтересованности.

Думая об этом сейчас, он пришел к мысли, что именно эта его незаинтересованность была самой большой ошибкой, какую он допустил в эти дни. Да, теперь это стало ему совершенно ясно (и он сердился на своих друзей–советчиков, упустивших этот момент): непременно нужно переспать с ней! Ведь эта внезапная отчужденность, которой окуталась девушка и сквозь которую он не в силах пробиться, вызвана именно тем, что их тела остаются далекими. Отвергая ребенка, цветок ее утробы, он тем самым оскорбительно отвергает и ее зачавшее тело. И потому тем больший интерес он должен был бы проявить к ее

незачавшему телу. Он должен был бы противопоставить ее родящее тело телу неродящему и в нем найти своего союзника.

Когда он все так осмыслил, в нем вновь ожила надежда. Он сжал плечо Ружены и наклонился к ней:

— Наши споры разрывают мне сердце. Уверяю тебя, все как–то уладится. Главное, что мы вместе. Эту ночь у нас никто не посмеет отнять, и она будет так же прекрасна, как и та, последняя.

Одной рукой он держал руль, другой — обнимал ее за плечи, и вдруг ему показалось, что где–то далеко в его глубинах просыпается влечение к ее голой коже, и он наполнился радостью: ведь только это влечение способно было предоставить ему единый общий язык, на котором он мог с ней договориться.

— А где мы встретимся? — спросила она.

Клима тут же осознал, что весь курорт станет свидетелем того, с кем он уходит после концерта. Но выбора не было:

— Как только концерт кончится, приходи ко мне за кулисы.

14

В то время как Клима поспешал в клуб, чтобы еще раз прорепетировать «Сент–Луис Блюз» и

«Святые маршируют», Ружена пытливо оглядывалась по сторонам. Еще минуту назад, когда ехала в машине, она несколько раз в зеркале заднего обзора видела, как он издали следует за ними на мотоцикле. Но сейчас его нигде не было.

Она ощущала себя затравленным зверем, за которым охотится время. Она понимала, что до завтрашнего дня ей надо знать, что она хочет, но сейчас она не знала ничего. Во всем мире не было ни одной души, которой бы она верила. Семья была ей чужой. Франтишек любил ее, но именно поэтому она и не доверяла ему (как лань не доверяет охотнику). Климе не доверяла она, как не доверяет охотник лани. Хотя она и была дружна со своими сослуживицами, но и им она не верила до конца (как охотник не доверяет другим охотникам). Она шла по жизни одна, а в последнее время с каким–то странным дружком, которого носила в утробе, о котором одни говорили, что это ее величайшее счастье, а другие — прямо противоположное, и к которому она сама вовсе не имела никакого отношения.

Она ничего не знала. Ее переполняло незнание. Она была само незнание. Не знала даже, куда идет.

Она шла мимо ресторана «Славия», самого

ужасного заведения на курорте, грязного кабака, куда захаживали местные жители выпить пива и поплевать на пол. Когда–то, верно, это заведение было лучшим в округе, и с той поры сохранились здесь в маленьком палисаднике три деревянных, выкрашенных красной краской (но уже облупившейся) стола со стульями — память о буржуазных радостях эстрадных оркестров, танцевальных праздников и дамских зонтиков, прислоненных к стульям. Но что знала о тех временах Ружена, шедшая по жизни лишь узким мостиком настоящего без всякой исторической памяти?

Она не могла видеть тень розового зонтика, отброшенную сюда из временной дали, а видела лишь трех мужчин в джинсах, одну красивую женщину и бутылку вина посреди пустого стола. Один из мужчин окликнул ее. Она повернулась и узнала оператора в рваном свитере.

— Идите к нам, — крикнул он ей. Она послушалась.

— Эта очаровательная девушка дала нам сегодня возможность отснять короткий порнографический фильм, — представил оператор Ружену женщине, которая протянула ей руку и невнятно пробормотала свое имя.

Ружена села возле оператора, он поставил пе-

ред ней бокал и наполнил его вином.

Ружена была благодарна, что что–то происходит. Что ей не нужно думать, куда идти и что делать. Что ей не нужно решать, оставить или не оставить ребенка.

15

Наконец он все же пересилил себя. Расплатившись с официантом, сказал Ольге, что пока расстается с ней и что встретятся они только перед концертом.

Ольга спросила, что он собирается делать, и у него вдруг возникло скверное ощущение того, что его допрашивают. Он ответил, что должен встретиться со Шкретой.

— Хорошо, — сказала она, — но это же не продлится так долго. Я пойду переоденусь, а в шесть часов буду ждать тебя опять здесь. Приглашаю тебя на ужин.

Якуб проводил Ольгу к дому Маркса. Когда она исчезла в коридоре, что вел к комнатам, он наклонился к привратнику:

— Скажите, пожалуйста, сестра Ружена дома?

— Нет, — сказал привратник. — Ключ висит здесь.

— Мне необходимо поговорить с ней, — сказал Якуб, — не знаете, где я мог бы найти ее?

— Не знаю.

— Недавно я видел ее с трубачом, сегодня вечером он дает здесь концерт.

— Да, я тоже слыхал, что между ними что–то есть, — сказал привратник. — Он наверняка репетирует сейчас в клубе.

Доктор Шкрета, сидевший на сцене за барабанами, увидел в дверях зала Якуба и поднял в знак приветствия палочку. Якуб, улыбнувшись ему, оглядел ряды стульев, где сидело с десяток фанатов (да, Франтишек, превратившись в тень Климы, тоже был среди них). Якуб сел на стул и стал ждать, не появится ли в зале медсестра.

Куда бы еще пойти поискать ее, раздумывал он. Она могла быть сейчас в самых разных местах, о которых он и понятия не имел. Может, спросить трубача? Но как спросить его? А вдруг с ней уже что–то случилось? Якуб только сейчас осознал, что ее возможная смерть будет совершенно необъяснима и убийца, убивший без мотива, не будет раскрыт. Так должен ли он привлекать к себе внимание? Должен ли он оставлять какие–то следы и возбуждать подозрение?

Но он тут же упрекнул себя. Имеет ли он право рассуждать так трусливо, если в опасности человеческая жизнь? Воспользовавшись перерывом

между двумя номерами, он с заднего входа прошел на сцену. Доктор Шкрета радостно обернулся к нему, но он, приложив палец к губам, тихо попросил Шкрету выяснить у трубача, где сейчас может находиться медсестра, с которой тот час назад сидел в винном погребке.

— Что у вас у всех за дела с ней? — пробормотал Шкрета недовольно. Где Ружена? — крикнул он трубачу, но трубач, залившись краской, ответил, что не знает.

— Тогда ничего не поделаешь, — сказал в свое оправдание Якуб. Продолжайте играть.

— Нравится тебе наш оркестр? — спросил его доктор Шкрета.

— Потрясающе, — сказал Якуб и, сойдя со сцены, снова сел в один из рядов. Он знал, что все время ведет себя исключительно гнусно. Если бы ему и вправду важна была ее жизнь, он должен был бы забить тревогу и поднять всех на ноги, чтобы ее тотчас нашли. Но он пошел искать ее лишь затем, чтобы оправдаться перед собственной совестью.

Вновь в памяти возникло мгновение, когда он подал ей тюбик с ядом. В самом ли деле это произошло быстрее, чем он успел осознать? В самом ли деле все произошло помимо его сознания?

Якуб знал, что это неправда. Сознание его не

спало. Он снова представил себе это лицо под желтыми волосами и понял: то, что он подал ей тюбик с ядом, было вовсе не случайностью (вовсе не сном его сознания), а его давней мечтой, которая уже долгие годы ждала случая и была так вожделенна, что в конце концов сама призвала его.

Он передернулся от ужаса и вышел из ряда. Снова побежал к дому Маркса. Но Ружены там все еще не было.

16

Какая идиллия, какое отдохновение! Какой перерыв в драме! Какой упоительный день с тремя фавнами!

Обе преследующие трубача женщины, обе его напасти сидят друг против друга, обе пьют из одной бутылки вино и обе одинаково счастливы, что они здесь и что не должны хотя бы какое–то время думать о нем. Какое трогательное единение, какое взаимопонимание!

Камила смотрит на этих трех молодых людей, к кругу которых она когда–то принадлежала. Она смотрит на них, словно перед ней негатив ее сегодняшней жизни. Погруженная в заботы, она видит перед собой полную беззаботность, привязанная к единственному мужчине, она видит

перед собой трех фавнов, являющих бесконечное многообразие мужского племени.

Разговоры фавнов устремлены к очевидной цели: провести с двумя женщинам ночь, ночь впятером. Цель эта иллюзорная, ибо они знают, что муж Камилы здесь, но цель эта настолько заманчива, что они устремлены к ней, несмотря на ее недосягаемость.

Камила знает, к какой они устремлены цели, и отдается этой устремленности тем увлеченнее, что это лишь воображение, лишь игра, лишь искушение грез. Она смеется в ответ на двусмысленные речи, ободряюще шутит с незнакомой собеседницей и была бы непрочь, чтобы этот перерыв в драме длился как можно дольше, чтобы ей еще долго не пришлось видеть свою соперницу и не смотреть правде в глаза.

Еще одна бутылка вина, все веселы, все опьянены, но даже не столько вином, сколько этим странным настроением, этой жаждой продлить мгновение, которое вот–вот улетучится.

Камила чувствует, что под столом к ее ноге прижалась икра режиссера. Она вполне осознает это, но ногу не отставляет. Такое прикосновение устанавливает между ними двусмысленную кокетливую связь, но вместе с тем оно могло

возникнуть и случайно и было столь малозначащим, что его не обязательно осознавать. Иными словами, это прикосновение помещено точно на грани невинного и бесстыдного. Камила не хочет перейти эту грань, но она радуется, что может задержаться на ней (на этой тонкой территории нечаянной свободы), и возрадуется еще больше, если эта волшебная линия продвинется дальше — еще к другим словесным намекам и другим прикосновениям и играм. Хранимая двусмысленной невинностью этой передвигающейся черты, она мечтает унестись в необозримое, все дальше и дальше.

Если красота Камилы, слегка раздражающая своей ослепительностью, вынуждает режиссера вести наступление неспешно, с оглядкой, то банальное очарование Ружены позволяет оператору действовать нахрапом и прямолинейно. Он обнимает ее за талию и лапает за грудь.

Камила смотрит на это. Как давно она не видела вблизи чужие непристойные жесты! Она смотрит на мужскую ладонь, которая прикрывает грудь девушки, мнет ее, теребит и гладит сквозь платье. Она смотрит на лицо Ружены, неподвижное, чувственное, покорное, инертное. Рука гладит грудь, время сладостно ускользает, и Камила

чувствует, как к ее другой ноге прижалось колено помощника режиссера.

И тогда она говорит:

— Мне хотелось бы прокутить сегодня всю ночь.

— Черт бы побрал твоего трубача! — сказал режиссер.

— Черт бы его побрал! — повторил помощник режиссера.

17

В эту минуту она узнала ее. Да, это именно то лицо, которое подруги показывали ей на фотографии! Она быстро сбросила руку оператора.

— Ты что дурака валяешь! — запротестовал он.

Он снова попытался ее обнять, но снова был отвергнут.

— Вы что себе позволяете! — прикрикнула она на него.

Режиссер и его помощник засмеялись.

— Вы это серьезно? — спросил ее помощник режиссера.

— Конечно серьезно, — ответила она строго. Помощник режиссера, посмотрев на часы, сказал оператору:

— Сейчас ровно шесть. Перелом в ситуации возник потому, что наша приятельница каждый

четный час ведет себя пристойно. Поэтому тебе придется подождать до семи.

Снова раздался смех. От унижения Ружена покрылась краской. Она была застигнута врасплох: чужая рука лежала на ее груди. Застигнута тогда, когда с ней делали все, что хотели. Застигнута своей самой главной соперницей в тот момент, когда все смеялись над ней.

Режиссер сказал оператору:

— Пожалуй, тебе надо было попросить девушку в виде исключения считать шестой час нечетным.

— Ты полагаешь, что теоретически возможно считать шесть числом нечетным?

— Да, — изрек режиссер. — Эвклид в своих знаменитых «Началах» говорит об этом буквально вот что: «При некоторых необычных и весьма таинственных обстоятельствах отдельные четные числа ведут себя как нечетные». Я считаю, что мы стоим именно перед лицом таких таинственных обстоятельств.

— Стало быть, Ружена, вы согласны с тем, чтобы мы считали этот шестой час нечетным?

Ружена молчала.

— Ты согласна? — склонился к ней оператор.

— Барышня молчит, — сказал помощник ре-

жиссера, — выходит, мы должны решить, считать ли ее молчание знаком согласия или отрицания.

— Проголосуем, — сказал режиссер.

— Правильно, — сказал его помощник. — Кто считает, что Ружена согласна с тем, что шесть в данном случае число нечетное? Камила! Ты голосуешь первая!

— Думаю, что Ружена с этим безусловно согласна! — сказала Камила.

— А ты что, режиссер?

— Я убежден, — сказал режиссер своим мягким голосом, — что барышня Ружена будет считать шесть нечетным числом.

— Оператор слишком заинтересован, поэтому воздерживается от голосования. Я голосую «за», — сказал помощник режиссера. — Таким образом, тремя голосами мы решили, что молчание Ружены означает ее согласие. Из этого следует, что ты, пан оператор, должен не мешкая снова взяться за дело… Оператор, склонившись к Ружене, обнял ее таким манером, что опять коснулся ее груди. Ружена оттолкнула его куда резче прежнего и крикнула:

— Убери свои грязные лапы!

— Ружена, разве он виноват, что вы ему так нравитесь. Мы все были в таком прекрасном

настроении… — обронила Камила.

Еще за минуту до этого Ружена была абсолютно пассивна и покорялась ходу вещей — будь что будет, — словно хотела распознать свою судьбу по случайностям, происходившим с ней. Она позволила бы подчинить себя, совратить или подбить на что угодно, лишь бы только это означало выход из тупика, в котором она очутилась.

Однако случайность, к которой Ружена просительно обращала взор, неожиданно оказалась враждебной к ней, и она, униженная перед соперницей и всеми осмеянная, осознала, что у нее лишь единственная надежная опора, единственное утешение и спасение — плод во чреве своем. Вся ее душа (вновь и вновь!) опускалась вниз, вовнутрь, в глубины тела, и она утверждалась в мысли, что с тем, кто спокойно расцветает в ней, она никогда не посмеет разъединиться. В нем — ее тайный козырь, который возносит ее высоко над их смехом и грязными руками. Ей ужасно хотелось сказать им, выкрикнуть им это в лицо, отомстить им за их насмешки, а ей — за ее снисходительную любезность.

Только бы сохранить спокойствие, говорила она себе, опуская руку в сумку за тюбиком. Она вынула его, но тут же почувствовала, как чья–то

рука крепко сжала ее запястье.

18

Никто не заметил, как он подошел. Он вдруг оказался здесь, и Ружена, повернув к нему голову, увидела его улыбку.

Он все еще держал ее за руку; она чувствовала тиски его пальцев и подчинилась ему: тюбик упал обратно на дно сумки.

— Уважаемые, позвольте мне присоединиться к вам. Меня зовут Бертлеф.

Никто из присутствующих мужчин не испытал восторга от прихода незваного господина, никто не представился ему, а Ружена была не столь искушенной в светских манерах, чтобы суметь представить его другим.

— Вижу, что мое появление несколько испортило вам настроение, — сказал Бертлеф; он принес стоявший поодаль стул, поставил его на свободное место во главе стола и таким образом оказался напротив всей компании; справа от него сидела Ружена. — Извините меня, — продолжал он. — У меня уж такая странная привычка — я не прихожу, а предстаю взору.

— В таком случае разрешите нам, — сказал помощник режиссера, — считать вас всего лишь привидением и не уделять вам внимания.

— С удовольствием разрешаю вам, — сказал Бертлеф с изящным поклоном. Однако боюсь, что при всем моем желании вам это не удастся.

Он оглянулся на освещенную дверь распивочной и похлопал в ладоши.

— Кто, собственно, вас сюда приглашал, шеф? — сказал оператор.

— Вы хотите дать мне понять, что я здесь нежелателен? Мы могли бы с Руженой тотчас уйти, но привычка есть привычка. Я всегда под вечер сажусь за этот стол и пью здесь вино. — Он посмотрел на этикетку стоявшей на столе бутылки. — Разумеется, получше того, что вы пьете сейчас.

— Хотелось бы знать, где в этом кабаке можно найти что–нибудь получше, — сказал помощник режиссера.

— Сдается мне, шеф, что вы слишком выпендриваетесь, — добавил оператор, желая высмеять незваного гостя. — В определенном возрасте, конечно, человеку ничего не остается, как выпендриваться.

— Ошибаетесь, — сказал Бертлеф, как бы пропуская мимо ушей оскорбительную реплику оператора, — в этом трактире спрятаны вина получше, чем в иных самых дорогих отелях.

В эту минуту он уже протягивал руку трактирщику, который до сих пор здесь почти не показывался, но теперь кланялся Бертлефу и спрашивал:

— Мне накрыть на всех?

— Разумеется, — ответил Бертлеф и обратился к остальным: — Дамы и господа, приглашаю вас отведать со мной вина, вкус которого я уже не раз здесь испробовал и нашел его великолепным. Вы согласны?

Никто не ответил Бертлефу, а трактирщик сказал:

— В отношении блюд и напитков могу посоветовать уважаемому обществу полностью положиться на пана Бертлефа.

— Друг мой, — сказал Бертлеф трактирщику, — принесите две бутылки и большое блюдо с сырами. — Потом он снова обратился к присутствующим: — Ваше смущение напрасно. Друзья Ружены — мои друзья.

Из распивочной прибежал мальчик лет двенадцати, принес поднос с рюмками, тарелками и скатеркой. Поставил поднос на соседний столик и, перегибаясь через плечи гостей, стал собирать недопитые бокалы. Вместе с полупустой бутылкой перенес их на тот же столик, куда прежде

поставил поднос, и салфеткой принялся старательно обметать явно нечистый стол, чтобы застелить его белоснежной скатертью. Затем, снова собрав с соседнего столика недопитые бокалы, хотел было расставить их перед гостями.

— Старые рюмки и бутылку с недопитой бурдой на стол не ставьте, сказал Бертлеф мальчику. — Отец принесет вино получше.

Оператор возразил:

— Шеф, не могли бы вы оказать нам любезность и разрешить нам пить то, что мы хотим?

— Как вам угодно, господа, — сказал Бертлеф. — Я против того, чтобы навязывать людям счастье. Каждый имеет право на свое скверное вино, на свою глупость и на свою грязь под ногтями. Знаете что, юноша, поставьте перед каждым гостем его прежнюю рюмку и чистый пустой бокал. Мои гости вольны будут выбрать между вином, взращенным туманами, и вином, рожденным солнцем.

И в самом деле, перед каждым гостем сразу же оказались по две рюмки, одна пустая, другая с недопитым вином. К столу подошел трактирщик с двумя бутылками, одну из них он зажал между колен и мощным рывком вытащил пробку. Затем немного вина налил в бокал Бертлефа. Бертлеф

поднес бокал ко рту, попробовал и обратился к трактирщику:

— Отличное. Урожая двадцать третьего года?

— Двадцать второго, — сказал трактирщик.

— Наливайте, — сказал Бертлеф, и трактирщик, обойдя с бутылкой стол, наполнил все пустые бокалы.

Бертлеф поднял бокал:

— Друзья мои, отведайте этого вина. У него вкус прошлого. Отведайте его, и пусть вам покажется, будто вы высасываете из длинной мозговой кости одно давно забытое лето. Я хотел бы с помощью тоста соединить прошлое с настоящим, и солнце двадцать второго года с солнцем этой минуты. И солнце это — Ружена, простая девушка, даже не ведающая, что она королева. Она сияет на фоне этого курорта, словно драгоценный камень на платье нищего. Она здесь словно луна на блеклом дневном небосводе. Она здесь словно бабочка, порхающая на снегу.

Оператор с трудом заставил себя рассмеяться:

— Не перехлестываете ли вы, шеф?

— Нет, не перехлестываю, — сказал Бертлеф и повернулся к оператору. Это кажется только вам, потому что вы всегда живете ниже уровня всего сущего, вы горькая трава, вы антропоморфный

уксус! Вы полны кислот, которые булькают в вас, точно в сосуде алхимика! Вы отдали бы жизнь за то, чтобы обнаружить вокруг себя мерзость, какую носите внутри себя! Только так вы можете ненадолго почувствовать какое–то согласие между собой и миром. Ибо мир, который прекрасен, страшен для вас, он мучит вас и постоянно исторгает вас из своей среды. До чего невыносимо: грязь под ногтями и красивая женщина рядом! А потому сначала надо облить женщину грязью, а уж потом радоваться ее присутствию. Это так, господа! Я рад, что вы прячете руки под стол, вероятно, я был прав, когда говорил о ваших ногтях.

— А я кладу на ваше пижонство, я же не шут вроде вас, при белом воротничке и галстуке, — отрубил оператор.

— Ваши грязные ногти и рваный свитер не являют собою ничего нового под солнцем, — сказал Бертлеф. — Когда–то очень давно один киникийский философ хвастливо прогуливался по Афинам в рваном плаще, стремясь вызвать у всех восхищение своим равнодушием к условностям. Сократ, встретив его, сказал: «Сквозь дыру в твоем плаще я вижу твое тщеславие». И ваша грязь, господа, самодовольна, а ваше самодовольство грязно.

Ружена не могла опомниться от дурманящей неожиданности. Человек, которого она знала лишь мельком как пациента, пришел к ней на помощь, словно упал с небес. Она была околдована изысканной естественностью его поведения и той жесткой уверенностью, с какой он сразил дерзость оператора.

— Я вижу, вы утратили дар речи, — сказал Бертлеф оператору после недолгой паузы, — но поверьте, я вовсе не хотел вас оскорбить. Я почитатель спокойствия, а не распрей, и ежели меня слишком увлекло красноречие, прошу извинения. Я хочу лишь, чтобы вы испробовали это вино и выпили со мной за Ружену, ради которой я и пришел сюда.

Бертлеф снова поднял бокал, но никто не присоединился к нему.

— Пан трактирщик, — . сказал Бертлеф, — выпейте же вы с нами!

— Такое вино я завсегда готов, — сказал трактирщик, взял с соседнего стола пустой бокал и наполнил его. — Пан Бертлеф толк в винах знает. Он уж давненько учуял мой подвал, точно ласточка, что чует свое гнездо издали.

Бертлеф рассмеялся довольным смехом польщенного человека.

— Так выпьете с нами за Ружену? — сказал он.

— За Ружену? — спросил трактирщик.

— Да, за Ружену! — Бертлеф взглядом указал на свою соседку. — Надеюсь, она нравится вам так же, как и мне?

— С вами, пан Бертлеф, бывают только красивые женщины. Мне и глядеть не надо на барышню: раз сидит рядом с вами — значит, точно красивая.

Бертлеф снова рассмеялся довольным смехом, трактирщик смеялся вместе с ним, и, к удивлению всех, присоединилась к ним и Камила, которую с самого начала забавлял приход Бертлефа. Этот смех был неожиданным, но при этом странно и необъяснимо заразительным. К Камиле из галантной солидарности присоединился и режиссер, к режиссеру — его помощник и, наконец, даже Ружена, нырнувшая в этот многоголосый смех, будто в блаженное объятие. За весь этот день она рассмеялась впервые. Первая разрядка, первый вздох облегчения. Она смеялась громче всех и не могла насытиться этим смехом.

Бертлеф все еще держал бокал поднятым:

— За Ружену!

Поднял бокал и трактирщик, подняла бокал и Камила, и режиссер, и его помощник, и все

повторяли вслед за Бертлефом:

— За Ружену!

Оператор и тот поднял свой бокал и, не говоря ни слова, выпил.

Режиссер отхлебнул глоток и сказал:

— А это вино и вправду знатное!

— Я же говорил вам! — смеялся трактирщик. Между тем мальчик поставил на стол большое блюдо с сырами, и Бертлеф сказал:

— Угощайтесь, сыры отменные!

— Скажите на милость, — удивился режиссер, — откуда здесь такой выбор сыров, мне кажется, что я во Франции.

И тут вдруг напряжение как рукой сняло, настроение поднялось, все разговорились, стали накладывать на свои тарелки сыры, удивляясь, откуда у трактирщика такой выбор (в стране, где так скудно с сырами), и подливать себе вина.

И когда все уже были на верху блаженства, Бертлеф встал и отвесил поклон:

— Мне было очень приятно в вашем обществе, благодарю вас. У моего друга доктора Шкреты сегодня вечером концерт, и мы с Руженой хотим послушать его.

19

Ружена с Бертлефом исчезли в легкой пелене

опускавшихся сумерек, и первоначальное вдохновение, уносившее компанию за столом к воображаемому острову распутства, безвозвратно улетучилось. Всеми овладело уныние.

Камила чувствовала себя так, будто очнулась от сна, в который хотела быть все еще погруженной. Мелькнула мысль, что ей вовсе незачем идти на концерт. Что для нее самой было бы фантастическим сюрпризом вдруг сейчас обнаружить, что приехала она сюда не ради того, чтобы выслеживать мужа, а чтобы пережить авантюру. Что было бы прекрасно остаться с тремя киношниками до утра и затем тайно уехать домой. Что–то подсказывало ей, что именно так она и должна поступить; что это был бы правильный шаг; освобождение; оздоровление и пробуждение от колдовства.

Но она была уже слишком трезва. Все чары исчезли. Она была уже сама с собой, со своим прошлым, со своей тяжелой головой, набитой прежними трезвыми мыслями. Она была бы счастлива продлить этот короткий сон хоть на несколько часов, но она знала, что этот сон, поблекнув, уже рассеивается, как утренний туман.

— Мне тоже надо идти, — сказала она.

Они пытались уговорить ее остаться, но пони-

мали, что у них уже нет в достатке ни уверенности в себе, ни сил удержать ее.

— Мать его за ногу, — сказал оператор, — что это был за мужик?

Они хотели было расспросить о нем трактирщика, но с той минуты, как Бертлеф удалился, на них опять никто не обращал внимания. Из распивочной доносился гвалт подвыпивших гостей, а они сидели здесь покинутые у недопитого вина и недоеденных сыров.

— Кто бы он ни был, но он испортил нам пирушку. Одну даму увел, а вторая бросает нас сама. Давайте проводим Камилу.

— Нет, — сказала Камила. — Останьтесь. Я пойду туда одна.

Она была уже не с ними. Ей уже мешало их присутствие. Ревность пришла за ней, точно смерть. Камила была теперь только в ее власти, и кроме ревности для нее ничего больше не существовало. Она встала и пошла в ту сторону, в какую минутой раньше ушли Бертлеф с Руженой. Издали до нее еще донеслось, как оператор сказал:

— Мать его за ногу…

20

Перед началом концерта Якуб и Ольга прошли в артистическую позади сцены, чтобы пожать

доктору Шкрете руку, затем спустились в зал. Ольга намеревалась после перерыва уйти, чтобы оставшийся вечер провести наедине с Якубом. Якуб считал, что это рассердит друга, но Ольга твердила, что он и не заметит их преждевременного ухода.

Зал был почти полон, в их ряду было всего лишь два свободных места.

— Эта женщина сегодня преследует меня, как тень, — наклонившись к Якубу, сказала Ольга, когда они усаживались.

Якуб, оглянувшись, увидел, что рядом с Ольгой сидит Бертлеф, а возле него медсестра, у которой в сумке был яд. На мгновение у него замерло сердце, но наученный за всю свою жизнь скрывать то, что творится в душе, он сказал совершенно спокойно:

— Ну–ну, мы оказались в ряду контрамарок, которые Шкрета раздал своим знакомым. Стало быть, он знает, в каком ряду мы сидим, и заметит, если уйдем.

— Скажешь ему, что впереди плохая акустика и потому после перерыва мы пересели в задний ряд, — сказала Ольга.

Тут на сцену поднялся Клима с золотой трубой в руке, и зал зааплодировал. Когда за ним вышел

доктор Шкрета, аплодисменты еще усилились и по залу прокатилась волна оглушительного шума. Доктор Шкрета скромно стоял позади трубача, давая понять неловким движением руки, что главная фигура концерта, конечно, гость из столицы. Публика чутко восприняла весьма трогательную неловкость жеста и ответила на нее еще более бурными аплодисментами. Откуда–то сзади донеслось:

— Да здравствует доктор Шкрета!

Пианист, самый неприметный из всех троих и привлекающий к себе наименьшее внимание публики, опустился на стульчик у рояля, Шкрета подсел к импозантной ударной установке, а трубач легким ритмичным шагом стал похаживать от пианиста к Шкрете и обратно.

Аплодисменты стихли, пианист ударил по клавишам, начав свое сольное вступление, но Якуб заметил, что его друг чем–то обеспокоен и растерянно оглядывается. Трубач, также заметив озабоченность доктора, подошел к нему. Шкрета что–то шепнул трубачу, и они оба нагнулись к полу. С минуту внимательно осматривали его, а потом трубач поднял палочку, упавшую к ногам пианиста, и протянул ее Шкрете.

Публика, внимательно следившая за сценой,

разразилась новым взрывом аплодисментов, и пианист, сочтя их похвалой своему вступлению, продолжал играть и при этом с благодарностью кланяться.

Ольга, схватив Якуба за руку, прошептала: — Чудесно! Настолько чудесно, что мне кажется, с этого момента кончается мое сегодняшнее невезение!

Наконец в звуки рояля вплелись труба и барабан. Клима трубил, неустанно передвигаясь мелкими ритмичными шажками, а доктор Шкрета восседал за своими барабанами, как величественный невозмутимый Будда.

И Якуб представил себе: в то время как доктор Шкрета на сцене бьет в барабаны, и публика хлопает и кричит, медсестра вдруг вспоминает о лекарстве, проглатывает таблетку, корчится в судорогах и замертво падает на стул.

И тут ему стало ясно, почему эта девушка получила билет в тот же ряд, что и он: эта сегодняшняя случайная встреча в винном погребке была искушением, испытанием. Произошла она лишь затем, чтобы он, как в зеркале, увидел свой образ — образ того, кто подает ближнему яд. Но тот, кто его испытывает (Бог, в которого он не верит), не алчет ни кровавой жертвы, ни крови невинных.

Испытание должно завершиться не смертью, а лишь его, Якуба, самопознанием, которое избавит его от недозволенной нравственной гордыни. И сейчас медсестра сидит в одном ряду с ним именно затем, чтобы он мог еще в последнюю минуту спасти ее. И именно потому рядом с ней человек, с которым он вчера подружился и который поможет ему.

Да, он дождется первой же возможности, скорее всего паузы между двумя номерами, и обратится к Бертлефу с просьбой выйти втроем в коридор. Там он как–то объяснит все, и это невообразимое безумие кончится.

Музыканты доиграли первую композицию, раздались аплодисменты, медсестра сказала «извините» и в сопровождении Бертлефа стала выбираться из ряда. Якуб хотел было встать и идти за ними, но Ольга удержала его за руку:

— Нет, пожалуйста, не сейчас. Подожди до перерыва.

Все произошло быстрее, чем он успел осознать. Музыканты играли уже следующую композицию, и Якуб понял, что тот, кто испытывает его, посадил Ружену рядом с ним вовсе не для того, чтобы спасти его, Якуба, совесть, а чтобы вне всяких сомнений подтвердить его проигрыш и

его осуждение.

Трубач продолжал дуть в трубу, доктор Шкрета возвышался, словно великий Будда барабанов, а Якуб сидел и не двигался с места. В эти минуты он не видел ни трубача, ни доктора Шкрету, он видел лишь одного себя, как он сидит и не двигается с места, и от этого чудовищного образа он не мог оторвать взор.

21

Когда Клима услыхал громкий звук своей любимой трубы, ему показалось, что это только он один звучит и заполняет все пространство зала. Он чувствовал себя непобедимым и сильным. Ружена сидела в почетном ряду обладателей контрамарок рядом с Бертлефом (даже в этом он усматривал случайный добрый знак), и вся атмосфера вечера была пленительной. Публика слушала с удовольствием, в отличном настроении, мягко нашептывавшем ему, что все хорошо кончится. Когда раздались первые аплодисменты, Клима изящным жестом указал на доктора Шкрету, ставшего ему в этот вечер невесть почему милым и близким. Доктор, восседая за барабанами, поклонился.

Однако, посмотрев в зал во время второй композиции, он вдруг обнаружил, что стул, на котором

сидела Ружена, пуст. Это испугало его. С этой минуты он играл неспокойно, обшаривал глазами весь зал, стул за стулом, проверял каждое место, но не находил ее. Мелькнула мысль, что она ушла преднамеренно, чтобы избежать его дальнейших уговоров и не пойти на комиссию. Где искать ее после концерта? И что, если он даже найдет ее?

Он чувствовал, что играет плохо, механически, думая совсем о другом. Но публика, не способная распознать дурное настроение трубача, была довольна, и с каждой новой композицией овации усиливались.

Он успокаивал себя тем, что она, возможно, ушла в туалет. Ей стало плохо, как это часто бывает во время беременности. Когда ее отсутствие затянулось чуть ли не на полчаса, он решил, что она для чего–то вернулась домой, а потом снова появится на своем стуле. Но кончился перерыв, концерт шел к завершению, а ее стул был по–прежнему пуст. Может, она не решается войти в зал посреди концерта? И появится лишь с последними аплодисментами?

Но вот уже раздались последние аплодисменты, а Ружена не появлялась; Клима чувствовал, что силы покидают его. Публика повскакивала со своих мест и кричала бис. Повернувшись к

доктору Шкрете, Клима покачал головой в знак того, что играть больше не хочет. Но он натолкнулся на два горящих глаза, жаждавших одного: барабанить, барабанить и барабанить, хоть всю ночь напролет.

Публика, посчитав отказ Климы бисировать лишь неотъемлемым кокетством звезды, стала аплодировать еще громче. Но тут к сцене протиснулась молодая красивая женщина, и Клима, увидев ее, почувствовал, что вот–вот рухнет, потеряет сознание и уже никогда не придет в себя.

Улыбаясь ему, она говорила (ее голоса он не слышал, но прочел слова по губам):

— Ну сыграй! Сыграй еще!

Клима поднял трубу в знак того, что будет играть. Публика разом стихла.

Оба музыканта, просияв, стали повторять последнюю композицию. А Климе было так, словно он играл в похоронном оркестре, шагая за собственным гробом. Он играл, зная, что все потеряно, что теперь ему остается лишь закрыть глаза, сложить руки и позволить судьбе переехать его своими колесами.

22

На столике в апартаментах Бертлефа стояло несколько бутылок, украшенных изысканны-

ми этикетками с иностранными названиями. Ружена была несведущей в дорогих напитках и попросила виски лишь потому, что ничего другого не смогла бы назвать.

Ее мысль между тем стремилась проникнуть сквозь пелену опьянения и разобраться в ситуации. Несколько раз она спросила его, как он сегодня разыскал ее, хотя, по сути, они даже не знакомы.

— Я хочу это знать, — повторяла она, — хочу знать, почему вы вспомнили обо мне.

— Я хотел сделать это уже давно, — ответил Бертлеф, не переставая глядеть ей в глаза.

— Но почему вы сделали это именно сегодня?

— Потому что всему свое время. И друг пришел сегодня.

Слова эти звучали загадочно, но Ружена чувствовала, что они искренни. Ее положение сегодня стало и вправду столь невыносимо безысходным, что должно было что–то произойти.

— Да, — задумчиво сказала она, — сегодня был особенный день.

— Вы же сами знаете, что я пришел вовремя, — сказал Бертлеф бархатным голосом.

Ружену охватило неясное и бесконечно сладкое чувство облегчения: если Бертлеф появился

именно сегодня, значит, все, что происходит, предрешено кем–то, и она может свободно вздохнуть и отдаться этой высшей силе.

— Да, вы пришли и впрямь вовремя, — сказала она.

— Я знаю.

И все–таки здесь было что–то, чего она не понимала:

— Но почему? Почему вы пришли ко мне?

— Потому что я люблю вас. Слово «люблю» прозвучало совсем тихо, но комната внезапно наполнилась им. И ее голос стал тихим:

— Вы меня любите?

— Да, я люблю вас.

И Франтишек и Клима уже говорили ей это слово, но только сегодня она осознала его таким, каково оно на самом деле, когда приходит нежданно–негаданно и совсем обнаженным. Оно вошло сюда, словно чудо. Оно было совершенно необъяснимым, но казалось ей тем реальнее, ибо основные вещи на свете существуют вне всяких объяснений и поводов — они сами себе причина.

— Правда? — спросила она. И ее голос, обычно слишком громкий, сейчас звучал шепотом.

— Правда.

— Я ведь совершенно обыкновенная девушка.

— Нет, вы необыкновенная.
— Обыкновенная.
— Вы красивая.
— Нет, некрасивая.
— Вы нежная.
— Нет, — качала она головой.
— От вас исходит ласка и доброта.
— Нет, нет, нет, — качала она головой.
— Я знаю, какая вы. Я знаю это лучше вас.
— Вы ничего не знаете.
— Знаю.

Доверие, излучаемое глазами Бертлефа, было точно чудодейственная купель, и Ружена мечтала только о том, чтобы этот взгляд омывал ее и ласкал как можно дольше.

— Я правда такая?
— Правда. Я это знаю.

Это было прекрасно до головокружения: она чувствовала, что в его глазах она была тонкой, нежной, чистой: она чувствовала себя благородной, как королева. Вдруг ощутила себя будто сотканой из меда и душистых трав. Она стала для самой себя до влюбленности приятной. (Боже, ведь с ней никогда не случалось такого: быть для самой себя так сладостно приятной!)

— Но вы же правда меня не знаете, — неустанно

повторяла она.

— Я знаю вас давно. Я давно смотрю на вас, но вы о том и не ведаете. Я знаю вас наизусть, — говорил он, пальцами касаясь ее лица. — Ваш нос, вашу улыбку, едва обозначенную, ваши волосы…

А потом он начал расстегивать ей платье, она не сопротивлялась, только смотрела в его глаза, завороженная взглядом, который обступал ее как вода, сладкая вода. Она сидела против него с обнаженной грудью, наливавшейся под его взором, и жаждала, чтобы он смотрел на нее и осыпал восторгами. Все ее тело повернулось к его глазам, как подсолнух к солнцу.

23

Они сидели в комнате Якуба, Ольга что–то рассказывала, а Якуб убеждал себя, что пока есть еще время. Он может еще раз пойти в дом Маркса и, если девушки там не застанет, побеспокоить Бертлефа в соседних апартаментах и спросить о ней.

Ольга рассказывала что–то, а он мысленно переживал тягостную сцену: запинаясь, он что–то объясняет сестре, чем–то оправдывается, извиняется и старается выманить у нее таблетку. Но потом, словно устав от своего воображения, которым мучился вот уже несколько часов, вдруг

почувствовал, как им овладевает необоримое равнодушие.

Но его равнодушие не было плодом усталости, оно было осознанным и воинственным.

Якуб осознал, что ему совершенно безразлично, будет ли жить это существо с желтыми волосами, и что стремление спасти его было бы не более чем лицемерием и недостойной комедией. Что этим, собственно, он обманывал бы того, кто его испытывает. Ибо тот, кто его испытывает (Бог, который не существует), хочет узнать, каков Якуб на самом деле, а не каким притворяется. И Якуб решил быть перед ним честным; быть тем, кем он есть на самом деле.

Они сидели в креслах друг против друга, между ними был маленький столик. И Якуб видел, как Ольга наклоняется к нему через столик, и слышал ее голос:

— Я хотела бы поцеловать тебя. Возможно ли, мы так давно знаем друг друга и еще ни разу не поцеловались?

24

На лице у Камилы, пробравшейся к мужу в артистическую, была напряженная улыбка, на душе — тревога. Она ужасалась при мысли, что придется взглянуть в реальное лицо его любов-

ницы. Но никакой любовницы там не было. Хотя там и сновало несколько девушек, клянчивших у Климы автограф, она поняла (глаз у нее был наметанный), что ни одна из них не знает его лично.

И все–таки она была уверена, что любовница наверняка где–то здесь. Она определила это по лицу Климы, бледному и растерянному. Он улыбался своей жене так же неестественно, как и она — ему.

С поклонами представились ей доктор Шкрета, аптекарь и еще несколько человек, по всей вероятности врачей и их жен. Кто–то предложил пойти в единственный местный ночной бар, расположенный напротив. Клима стал возражать, ссылаясь на усталость. У пани Климовой мелькнула мысль, что любовница ждет в баре, и потому Клима отказывается идти туда. Но поскольку несчастье притягивало ее как магнит, она попросила его доставить ей удовольствие и перебороть усталость.

Однако и в баре не было женщины, какую она могла бы заподозрить в связи с ним. Они сели за большой стол. Доктор Шкрета был многословен и расточал Климе комплименты. Аптекарь был полон робкого счастья, не склонного высказываться. Пани Климова старалась быть оживленно

говорливой и общительной.

— Пан доктор, вы меня потрясли, — говорила она Шкрете, — и вы тоже, пан аптекарь. И вся атмосфера была искренней, веселой, беззаботной, в тысячу раз лучше, чем на концертах в столице.

Даже не глядя на мужа, она ни на миг не переставала следить за ним. Она чувствовала, с каким величайшим напряжением он скрывает свою нервозность и изредка старается вставить словечко, чтобы незаметно было, что он думает совсем о другом. Ей было ясно, что она в чем–то помешала ему, причем в чем–то значительном. Если бы дело касалось обычной авантюры (Клима постоянно клялся ей, что не способен влюбиться ни в одну женщину), он не впал бы в такую глубокую ипохондрию. И даже не увидев его любовницы, она не сомневалась, что видит его влюбленность (влюбленность мучительную и отчаянную), и это зрелище было для нее еще более невыносимым.

— Что с вами, пан Клима? — неожиданно спросил аптекарь, который был чем скромнее, тем любезнее и внимательнее.

— Ничего, ничего, я в полном порядке, — испугался Клима. — Голова немного болит.

— Не угодно ли таблетку?

— Нет, нет, — покачал головой трубач. — Но

простите меня, если мы все–таки покинем вас чуть раньше, Я в самом деле ужасно устал.

25

Как получилось, что у нее наконец хватило смелости?

Уже в ту минуту, как она подсела к Якубу в винном погребке, он показался ей не таким, как обычно. Был замкнут, хотя и приветлив, рассеян, хотя и уступчиво послушен, его мысли где–то витали, хотя он и исполнял все ее желания. Именно его рассеянность (она приписывала ее его скорому отъезду) была ей приятна: она бросала слова в его отсутствующее лицо, словно стремила их в такую даль, где ее было не слышно. Поэтому она могла говорить то, чего не говорила ему никогда.

Сейчас, когда она предложила ему поцеловаться, ей показалось, что она встревожила его и напугала. Но и это не остановило ее, напротив, это было ей тоже приятно: наконец–то она почувствовала себя той смелой и вызывающей женщиной, какой всегда мечтала быть, женщиной, что владеет ситуацией, придает ей нужное направление, с интересом наблюдает за партнером и повергает его в смущение.

Неотрывно глядя ему в глаза, она с улыбкой сказала:

— Но не здесь. Было бы смешно целоваться, перегибаясь через стол. Пойдем.

Она подала ему руку, подвела к дивану, наслаждаясь изобретательностью, элегантностью и спокойной самостоятельностью своих действий. Целуя его, она проявила страстность, какая до сих пор была ей неведома. Однако это была не спонтанно возникшая страстность тела, с которой нельзя совладать, это была страстность мозга, страстность сознательная и нарочитая. Она жаждала сорвать с Якуба одеяние его отцовской роли, жаждала шокировать его и при этом возбудить себя видом его смущения, жаждала изнасиловать его, наблюдая при этом, как она насилует его, жаждала узнать, каков вкус его языка, и почувствовать, как его отцовские руки постепенно осмеливаются покрывать ее ласками.

Она расстегнула пуговицу у него на пиджаке и сама сняла его.

26

В течение всего концерта он не сводил с него глаз, а потом замешался среди поклонников, поваливших за кулисы, чтобы попросить артистов нацарапать им на память автографы. Но Ружены там не было. Потом он наблюдал за группой людей, что повели трубача в местный бар. Он

вошел с ними внутрь, убежденный, что Ружена уже ждет там трубача. Но он ошибся. Он снова вернулся на улицу и долго подстерегал ее перед входом.

Внезапно его пронизала боль. Из бара вышел трубач, а к нему прижималась женская фигура. Он было решил, что это Ружена, но это была не она.

Он провожал их до самого Ричмонда, за дверьми которого эта пара исчезла.

Через парк он быстро устремился к дому Маркса. Вошел и спросил привратника, дома ли Ружена. Ее не было.

Он побежал назад к Ричмонду, опасаясь, что Ружена тем временем уже прошла к Климе в комнату. Стал прохаживаться по аллее парка, не отрывая глаз от входа. Он не понимал, что происходит. В голове проносилось множество домыслов, но все они не имели значения. Значение имело лишь то, что он стоит здесь на страже и что будет стоять на страже до тех пор, пока кого–то из них не увидит.

Почему? Имело ли это смысл? Не лучше ли было пойти домой и лечь спать?

Он уверял себя, что должен наконец узнать всю правду.

Но в самом ли деле он хотел узнать правду? В самом ли деле он уж так хотел убедиться, что Ружена спит с Климой? Не хотел ли он скорее дождаться какого–то доказательства ее невиновности? Но разве он при своей подозрительности поверил бы тому или иному доказательству?

Он не знал, почему он ждет. Он знал лишь, что ждать будет здесь долго, хоть всю ночь, хоть много ночей. Ибо для того, кто ревнует, время летит невероятно быстро. Ревность заполняет мозг до предела, как никакой умственный труд. В голове не остается ни секунды свободного времени. Кто ревнует, тому не ведома скука.

Франтишек ходил по короткому отрезку дороги длиной не более сотни метров, откуда видно было парадное Ричмонда. Так он будет ходить всю ночь, когда все уже уснут, так он будет ходить до утра следующего дня.

Но почему он хотя бы не сядет? Напротив Ричмонда есть же скамейки!

Сесть он не может. Ревность точно сильная зубная боль. При ней ничего нельзя делать, сидеть и то невозможно. Можно только ходить. Взад и вперед.

27

Они шли тем же путем, что и Бертлеф с Руже-

ной и Якуб с Ольгой: по лестнице на второй этаж, а затем по красному плюшевому ковру в конец коридора, завершавшегося большими дверями в апартаменты Бертлефа. Справа от них была дверь к Якубу, слева — комната, которую доктор Шкрета снял для Климы.

Когда он открыл дверь и включил свет, то заметил быстрый, пытливый взгляд, которым Камила окинула комнату: он знал, что она ищет здесь следы женщины. Ему знаком был этот взгляд. Он знал о ней все. Знал, что нежность, с какой она обращается к нему, неискренна. Знал, что она приехала шпионить за ним, и знал, что будет делать вид, будто приехала утешить его. Знал он и то, что она прекрасно видит его подавленность и убеждена, что расстроила какие–то его любовные планы.

— Дорогой, тебя правда не огорчает, что я приехала? — сказала она. И он:

— А как это может меня огорчать?

— Я боялась, что тебе будет грустно.

— Да, без тебя мне было бы здесь грустно. Я обрадовался, когда увидел, как ты аплодируешь у сцены.

— Ты какой–то усталый. Может, что–то гнетет тебя?

— Нет, нет, ничего не гнетет. Я просто устал.

— Ты грустный потому, что был здесь среди одних мужчин, и это тебя подавляет. Но сейчас ты с красивой женщиной. Разве я не красивая женщина?

— Конечно красивая, — сказал Клима, и это были первые искренние слова, произнесенные за весь день. Камила была божественно хороша, и Клима чувствовал безмерную боль, что этой красоте грозит смертельная опасность. Но сейчас эта красота, улыбаясь ему, начала раздеваться. Он смотрел на ее обнажавшееся тело, словно прощался с ним. Грудь, эта прекрасная грудь, чистая и девственная, тонкая талия, чресла, с которых только что соскользнули трусики. Он смотрел на нее горестно, как на воспоминание. Как сквозь стекло. Как в неоглядную даль. Ее красота была такой далекой, что он не испытывал ни малейшего возбуждения. И все–таки он впивался в нее вожделенным взором. Он пил эту наготу, будто осужденный на казнь пьет свою последнюю чашу. Он пил эту наготу, как пьем мы утраченное прошлое и утраченную жизнь. Камила подошла к нему:

— Ну что? Ты будешь в костюме? Ничего не оставалось, как раздеться, и было ему бесконечно

грустно.

— Ты не смеешь чувствовать себя усталым, раз я к тебе приехала. Я хочу тебя.

Он знал, что это неправда. Он знал, что у Камилы нет ни малейшего желания отдаваться любви и что она принудила себя к этим вызывающим действиям лишь потому, что видит его печаль и приписывает ее страсти к другой женщине. Он знал (Боже, как он знал ее!), что своим любовным призывом она жаждет проверить, сколь глубоко захвачен он мыслями о другой, и затем терзать себя его печалью.

— Я в самом деле устал, — сказал он. Она обняла его и подвела к кровати.

— Увидишь, как я вылечу тебя от усталости, — сказала она и начала играть с его обнаженным телом.

Он лежал, словно на операционном столе. Он знал, что всякое усилие жены будет напрасным. Его тело съеживалось, отступая внутрь себя и не обнаруживая ни следа возбуждения. Камила влажными губами скользила по его телу, и он знал, что она горит желанием мучить себя и его, и ненавидел ее. Он ненавидел ее всей безмерностью своей любви: она одна своей ревностью, своей слежкой, своим недоверием, лишь она

одна своим сегодняшним приездом добилась того, что все потеряно, что их союз заминирован зарядом, подложенным в чужое чрево, зарядом, который через семь месяцев взорвется и разнесет все вокруг. Лишь она своим безотчетным страхом за их любовь разрушила все.

Она коснулась губами его межножья, и он почувствовал, как его скипетр под ее ласками съеживается, как ускользает от нее, как становится все меньше и боязливее. И он знал, что Камила в нежелании его тела видит безмерность его любви к другой женщине. Он знал, что она страшно страдает и чем больше страдает сама, тем больше будет терзать его и скользить влажными губами по его беспомощному телу.

28

Меньше всего в жизни он хотел заниматься любовью с этой девушкой. Он мечтал приносить ей радость и изливать на нее всю свою доброту, но эта доброта не только не должна была иметь ничего общего с любовным влечением, а прямотаки исключала его, желая оставаться чистой, бескорыстной и не связанной ни с каким удовольствием.

Но что сейчас ему было делать? Ради незапятнанности своей доброты отказать Ольге? Нет,

это невозможно. Его отказ ранил бы Ольгу и, верно, надолго оставил бы след в ее душе. Он понимал, что чашу доброты он должен испить до самого дна.

И вот она уже стояла перед ним нагая, и он лишь убеждал себя, что ее лицо благородно и мило. Но как мало значило это утешение, когда он смотрел на ее лицо вместе с телом, походившим на длинный и тонкий стебель, на который посажен непомерно большой волосатый цветок.

Впрочем, какой бы ни была Ольга, Якуб знал, что выхода нет. Он чувствовал, что его тело (это рабское тело) вновь изготовилось поднять свое услужливое копье. Ему, правда, казалось, будто его возбуждение разыгрывается в ком–то другом, далеко, вне его души, будто он возбудился помимо воли и втайне презирает это возбуждение. Его душа, далекая от его тела, терзалась мыслью о яде в чужой сумке и лишь с сожалением отмечала, сколь слепо и безоглядно отдается тело своим ничтожным прихотям.

И в голове пронеслось мгновенное воспоминание: ему было лет десять, когда он узнал, как рождаются дети, и с той поры этот образ преследовал его тем навязчивее, чем подробнее с годами он постигал конкретную сущность жен-

ской плоти. Он потом часто представлял свое рождение; представлял, как его тельце проходит по тесному влажному тоннелю, как его рот и нос забиты удивительной слизью, как весь он измазан и отмечен ею. Да, эта женская слизь отметила его, чтобы затем пожизненно обладать над ним таинственной властью, чтобы иметь право притягивать его к себе в любую минуту и управлять диковинными механизмами его тела. К такому рабству он всегда испытывал неприязнь и противился ему хотя бы тем, что не отдавал своей души женщинам, что сохранял свою свободу и одиночество, отводя власти слизи лишь ограниченные часы своей жизни. Да, возможно, потому он так и любил Ольгу, что она была для него за гранью секса; он был уверен, что своим телом она никогда не напомнит ему о постыдном способе его рождения.

Он с усилием отогнал эти мысли; ситуация на диване развивалась так, что он с минуты на минуту должен был проникнуть в ее тело, но мысли о гадком мешали ему. Он сказал себе: эта открывающаяся ему женщина единственная в его жизни, к кому его влечет чистое и бескорыстное чувство, и сейчас он займется с нею любовью только ради того, чтобы осчастливить ее и одарить радостью,

помочь ей стать уверенной в себе и веселой.

А потом он изумился самому себе: он качался на ней, словно на волнах доброты. Он чувствовал себя счастливым, ему было хорошо. Его душа покорно согласилась с действиями его тела, словно любовный акт был не чем иным, как телесным проявлением благодетельной любви, чистого чувства к ближнему. Тут уж ничего не мешало, тут ничего не звучало фальшиво. Они сплелись друг с другом в тесном объятии, и их дыхание сливалось воедино.

Это были прекрасные и долгие минуты, а потом Ольга шепнула ему на ухо скабрезное слово. Она прошептала его раз, другой, а потом снова и снова, возбуждаясь сама этим словом.

И тут вдруг волны доброты расступились, и Якуб с девушкой оказался посреди пустыни.

Нет, случалось, отдаваясь любви, он не противился скабрезностям. Они будили в нем чувственность и жесткость. Так женщины становились приятно чужими его душе и приятно желанными его телу.

Но скабрезное слово в устах Ольги вмиг разрушило всю сладостную иллюзию. Оно пробудило его ото сна. Облако доброты рассеялось, и он вдруг обнаружил в своих объятиях Ольгу такой, какой

за минуту до этого видел: с большим цветком головы, под которым дрожит тонкий стебель тела. Это трогательное существо вело себя вызывающе, точно потаскушка, но не переставало при этом быть трогательным, и потому скабрезные слова звучали комично и печально.

Но Якуб знал, что ничем не смеет обнаружить это, что должен выдержать, испить горькую чашу доброты до дна, поскольку это бессмысленное объятие его единственный добрый поступок, его единственное искупление (его ни на минуту не оставляла мысль о яде в чужой сумке), его единственное спасение.

29

Словно большая жемчужина в двух створках раковины, роскошные апартаменты Бертлефа зажаты с обеих сторон менее роскошными комнатами, в которых живут Якуб и Клима. Но в обеих крайних комнатах уже давно тишина и покой, тогда как Ружена в объятиях Бертлефа простанывает свой последний оргазм.

А потом она тихо лежит рядом с ним, и он гладит ее по лицу. Минуту спустя она начинает рыдать. Плачет долго, уткнувшись головой в его грудь.

Бертлеф гладит ее, как маленькую девочку,

и она в самом деле чувствует себя маленькой. Маленькой, как никогда прежде (она никогда так не пряталась на чьей–то груди), но и большой, как никогда прежде (она никогда не испытывала стольких оргазмов, как сегодня). И плач порывистыми всхлипами возносит ее к чувству блаженства, какого она также до сих пор еще не познала.

Где сейчас Клима и где Франтишек? Они где–то в далеких туманах, их фигуры, удаляющиеся к горизонту, легче пуха. И где же ее упорное желание завладеть одним и избавиться от другого? Где ее судорожные приступы злости, ее оскорбленное молчание, в какое она сегодня с утра замкнулась?

Она лежит, все еще всхлипывая, а он гладит ее по лицу и говорит, что ей надо уснуть, что в соседней комнате у него своя спальня. И Ружена, открыв глаза, смотрит на Бертлефа: нагой, он идет в ванную (слышно, как течет вода), потом возвращается, открывает шкаф, вынимает оттуда одеяло и нежно прикрывает ее тело.

Ружена видит на его икрах варикозные вены. Когда он наклонялся к ней, она заметила, что его волнистые с проседью волосы поредели и сквозь них просвечивает кожа. Да, Бертлефу шестьдесят,

а то и шестьдесят пять, но для Ружены это не имеет значения. Напротив, его возраст успокаивает ее, его возраст бросает ослепительный свет на ее молодость, до сих пор серую и невыразительную, и потому она чувствует себя полной жизни и почти в самом начале пути. Сейчас в его присутствии она вдруг понимает, что еще долго будет молодой и ей никуда не надо спешить. Бертлеф снова подсаживается к ней, гладит ее, и она чувствует себя защищенной не только успокаивающими ласками его пальцев, но и утешительным объятием его лет.

А потом он внезапно исчезает, в голове ее проносятся сумбурные образы первого неглубокого сна. Она снова пробуждается, и ей кажется, что вся комната залита странным голубым сиянием. Что это за удивительное сияние, которого она никогда прежде не видела? Может, сюда сошла луна, окутанная голубоватой пеленой? Или она спит с открытыми глазами?

Бертлеф улыбается ей и непрестанно гладит по лицу.

И она окончательно закрывает глаза, уносимая сном.

День пятый

1

Было еще темно, когда Клима пробудился от тревожного сна. Он хотел застать Ружену дома до ее ухода на работу. Но как объяснить Камиле, что ему надо куда–то уйти еще до рассвета?

Он взглянул на часы: было пять. Чтобы не разминуться с Руженой, уже сейчас нужно встать, но какую придумать отговорку? От волнения сильно стучало сердце, однако делать было нечего — он встал и начал одеваться, тихо, чтобы не разбудить Камилу. Он уже застегивал пиджак, когда услышал ее голос. Высокий голосок, говорящий со сна:

— Ты куда?

Он подошел к кровати и нежно поцеловал ее в губы:

— Спи, я сейчас вернусь.

— Я пойду с тобой, — сказала Камила, но тотчас снова уснула.

Клима быстро вышел за дверь.

2

Возможно ли? Он все еще ходит взад и вперед?

Да. Но сейчас он остановился, увидев в воротах

Ричмонда Климу. Спрятался, потом припустил за ним к дому Маркса. Прошел мимо привратницкой (привратник спал) и притаился за углом коридора, где была комната Ружены. Увидел, как трубач стучится в ее дверь. Но ему никто не открывал. Клима постучал еще раз, другой, повернулся и пошел прочь.

Франтишек выбежал за ним. Трубач по длинной улице шел в сторону водолечебницы, где у Ружены через полчаса начиналась смена. Он снова вбежал в дом Маркса, постучал в ее дверь и громко зашептал в замочную скважину:

— Это я! Франта! Меня нечего бояться! Мне ты можешь открыть!

Никто не ответил.

Когда Франтишек выходил, привратник уже проснулся.

— Ружена дома? — спросил он.

— Со вчера ее тут не было, — сказал привратник.

Франтишек вышел на улицу. Вдалеке увидел Климу, входящего в курортное здание.

3

Ружена всегда просыпалась в половине шестого. И сегодня, когда так чудесно нисходил к ней сон, она не спала ни на минуту дольше. Она

встала, оделась и на цыпочках вошла в соседнюю комнату.

Бертлеф лежал на боку, глубоко дышал, и волосы, тщательно причесанные днем, сейчас растрепались и обнажали кожу на черепе. Во сне его лицо казалось более серым и старым. На ночном столике стояло несколько пузырьков с лекарствами, напомнивших Ружене больницу. Но это не мешало ей. Она смотрела на него и чувствовала, как к глазам подступают слезы. Она не знала вечера более прекрасного, чем вчерашний. У нее было странное желание встать перед ним на колени. Она не сделала этого, лишь нагнулась и нежно поцеловала его в лоб.

А на улице, уже приближаясь к водолечебнице, увидела шедшего ей навстречу Франтишека.

Еще вчера эта встреча встревожила бы ее. Хотя она и любила трубача, Франтишек значил для нее многое. Он составлял с Климой нерасторжимую пару. Один означал обыденность, другой — мечту, один хотел ее, другой не хотел, от одного она стремилась избавиться, по другому тосковала. Один определял смысл существования другого. Даже решив, что беременна от Климы, она не вычеркнула Франтишека из своей жизни; напротив, Франтишек оставался постоянным поводом

для такого решения. Она стояла между ними, как между двумя полюсами своей жизни; они создавали север и юг ее планеты, и никакой другой она не знала.

Но сегодня утром она неожиданно поняла, что это не единственная планета, на которой можно жить. Она поняла, что можно существовать без Климы и без Франтишека, что незачем спешить, что времени достаточно, что можно позволить умным и зрелым мужчинам вывести ее из этой заколдованной территории, где так быстро приходит старость.

— Где ты была ночью? — накинулся на нее Франтишек.

— А тебе что до этого!

— Я был у тебя. Тебя не было дома.

— Тебе нет дела, где я была, — сказала Ружена и, не останавливаясь, прошла к воротам водолечебницы. — И не ходи ко мне. Не хочу, чтобы ты ходил ко мне.

Франтишек остался один перед водолечебницей, а поскольку после целой ночи хождения болели ноги, он сел на лавочку, откуда удобно было наблюдать за входом.

Ружена вбежала по лестнице на второй этаж, вошла в просторную приемную, вдоль стен устав-

ленную скамьями и креслами для пациентов. Перед дверью в ее отделение сидел Клима.

— Ружена! — Он встал и смотрел на нее отчаянными глазами. — Прошу тебя. Ну прошу, образумься, и пойдем туда вместе.

Его страх был обнаженным, очищенным от всякой любовной демагогии, к которой он так упорно стремился все эти дни.

Ружена сказала:

— Ты хочешь избавиться от меня. Он испугался:

— Я вовсе не хочу избавиться от тебя. Наоборот. Все это ради того, чтобы мы могли еще больше любить друг друга.

— Не лги, — сказала Ружена.

— Ружена, прошу тебя! Будет ужасно, если ты не пойдешь!

— Кто сказал, что я не пойду? У нас еще три часа впереди. Ведь сейчас только шесть. Ступай к своей жене и выспись как следует!

Она закрыла за собой дверь, надела белый халат и сказала тридцатипятилетней:

— У меня к тебе просьба. В девять мне придется уйти. Не могла бы ты побыть здесь часок вместо меня?

— Значит, ты поддалась на его уговоры, — ска-

зала сослуживица укоризненно.

— Нет, не поддалась. Я влюбилась, — сказала Ружена.

4

Якуб подошел к окну, открыл его. Он думал о голубой таблетке и не мог поверить, что вчера действительно дал ее посторонней женщине. Он смотрел на голубизну неба и дышал свежим воздухом осеннего утра. Мир, который он видел в окне, был нормальным, спокойным, естественным. Вчерашнее приключение с медсестрой вдруг представилось ему бессмысленным и неправдоподобным.

Подняв телефонную трубку, он набрал номер водолечебницы. Сказал, что хотел бы поговорить с сестрой Руженой из женского отделения. Ждал довольно долго. Потом раздался женский голос. Он повторил свою просьбу. Голос ответил, что сестра Ружена сейчас занята в бассейне и подойти к телефону не может. Он поблагодарил и повесил трубку.

О, какое он почувствовал облегчение: медсестра жива! Таблетки из тюбика принимают три раза в день, она должна была принять их вчера вечером и сегодня утром и, значит, его таблетку уже давно проглотила. Вдруг все перед ним про-

яснилось: голубая таблетка, которую он носил в кармане как гарантию своей свободы, была обманом. Его друг преподнес ему таблетку иллюзии.

Боже правый, как случилось, что до сих пор это не осенило его? Он снова припомнил тот давнишний день, когда он попросил друзей достать ему яд. Он вернулся как раз тогда из тюрьмы и сейчас, по истечении стольких лет, понимает, что каждый из них счел его просьбу всего лишь театральным жестом, каким он хотел уже задним числом обратить внимание на пережитые муки. Но Шкрета без колебаний пообещал выполнить его просьбу и действительно через несколько дней принес ему блестящую голубую таблетку. Да и зачем было ему колебаться и в чем–то разубеждать его? Он поступил гораздо мудрее тех, кто отверг его просьбу. Он дал ему безобидную иллюзию покоя и уверенности и тем самым еще и купил его на всю жизнь.

Как же это ни разу не приходило ему в голову? Он тогда несколько удивился, что Шкрета дал ему яд в виде обыкновенной, фабричным способом изготовленной пилюльки. Он знал, правда, что Шкрета как биохимик имеет доступ к ядам, но не мог понять, как ему удалось подобраться к фабричным автоматам, штампующим таблетки.

Да он особенно и не задумывался над этим. И хотя все на свете подвергал сомнению, в таблетку верил как в Евангелие.

Сейчас, в минуты бесконечного облегчения, он был, конечно, благодарен другу за его обман. Он был счастлив, что медсестра жива и что вся вчерашняя бессмысленная история обернулась всего лишь кошмаром и дурным сном. Но ничто на свете не длится слишком долго, и вслед за слабеющими волнами чувства успокоенности зазвучал тоненький голосок сожаления:

Как это смешно! Таблетка в кармане сообщала каждому его шагу театральный пафос и дала ему возможность сотворить из своей жизни возвышенный миф! Он был убежден, что носит в шелковистой бумажке смерть, а на самом деле там затаился лишь тихий смех Шкреты.

Якуб понимал, что его друг в конечном счете действовал правильно, но все–таки ему казалось, что тот самый Шкрета, которого он так любил, превратился вдруг в обыкновенного эскулапа, каких тринадцать на дюжину. Той естественностью, с какой тогда Шкрета, нимало не колеблясь, вручил ему яд, он полностью исключал себя из того круга людей, которых Якуб знал. В его поведении было нечто невообразимое. Он поступал

не так, как поступают люди с себе подобными. Он был далек от мысли, что Якуб может воспользоваться ядом в приступе истерии или депрессии. Он обращался с ним как с человеком, полностью владеющим своей судьбой и не подверженным человеческим слабостям. Они действовали вместе, как два бога, вынужденных жить среди людей, — и это было прекрасно. Это было незабываемо. И вдруг все исчезло.

Якуб смотрел на голубизну неба и говорил себе: «Он подарил мне сегодня облегчение и покой. И вместе с тем отобрал у меня самого себя, моего Шкрету».

5

Клима был сладко опьянен согласием Ружены, но даже самая большая награда не выманила бы его из этой приемной. Вчерашнее необъяснимое исчезновение Ружены угрожающе запечатлелось в его памяти. Он принял решение терпеливо ждать ее здесь, чтобы никто не сумел разубедить ее, увести или похитить.

Мимо него сновали пациентки и входили в дверь, за которой исчезла Ружена; одни оставались там, другие снова выходили в коридор и, усевшись в расставленные вдоль стен кресла, не сводили вопросительного взгляда с Климы,

ибо в приемную женского отделения мужчинам хода не было.

Из одной двери выглянула толстая женщина в белом халате; она долго смотрела на него, а затем подошла и спросила, не ждет ли он Ружену. Покраснев, он утвердительно кивнул.

— Вам незачем ждать. До девяти у вас есть время, — сказала она с назойливой доверительностью, и Климе показалось, что все женщины вокруг слышат это и знают, о чем идет речь.

Было примерно без четверти девять, когда на пороге показалась Ружена, одетая в обычное платье. Он присоединился к ней, и они молча вышли на улицу. Оба были погружены в свои мысли и потому не заметили, что Франтишек, скрываясь за порослью парка, идет за ними следом.

6

Якубу остается лишь проститься с Ольгой и Шкретой, но прежде хочется еще пройтись (напоследок) по парку и ностальгически полюбоваться деревьями, похожими на языки пламени.

Он вышел в коридор в ту самую минуту, когда за собой закрывала дверь противоположной комнаты молодая женщина — ее высокая фигура привлекла его внимание. Когда она повернула к нему лицо, он изумился его красоте.

— Вы знакомая доктора Шкреты? — спросил он.

Женщина приветливо улыбнулась:

— Откуда вы знаете?

— Вы вышли из комнаты, которую доктор Шкрета использует для своих друзей, — сказал Якуб и представился.

— Очень приятно. Я Климова. Пан доктор поселил здесь моего мужа. Я как раз ищу его. Он, наверное, с паном доктором. Не подскажете, где я могла бы найти их?

Якуб смотрел в лицо молодой женщины с неутолимым наслаждением, и у него мелькнула мысль (снова!), что, поскольку он здесь последний день, каждое событие приобретает особый смысл и становится символическим посланием.

Но что говорит ему это послание?

— Я могу проводить вас к доктору Шкрете, — сказал он.

— Я была бы вам очень благодарна, — ответила она.

Да, что говорит ему это послание?

Прежде всего, что это только послание, и ничего больше. Через два часа Якуб уедет, и это прекрасное создание исчезнет для него навсегда. Эта женщина пришла явить ему образ отречения.

Он встретил ее лишь затем, чтобы понять, что она никогда не будет принадлежать ему. Он встретил ее как образ всего того, что он, уезжая, теряет.

— Удивительно, — сказал он. — Сегодня я буду беседовать с доктором Шкретой, верно, в последний раз в жизни.

Но послание, которое приносит ему эта женщина, говорит о чем–то большем. Оно пришло в последнюю минуту возвестить ему о красоте. Да, о красоте, и Якуб едва ли не с испугом осознал, что, по существу, он не имел о ней никакого понятия, что пренебрегал ею и никогда ради нее не жил. Красота этой женщины завораживала его. У него вдруг возникло ощущение, что во всех его решениях всегда была какая–то погрешность. Что он забывал учитывать нечто важное в жизни. Ему показалось, что, знай он эту женщину, его решения были бы иными.

— Почему это вы будете беседовать с ним в последний раз?

— Я уезжаю за границу. И надолго.

Нет, не то чтобы у него никогда не было красивых женщин, но к их очарованию он относился как к чему–то сопутствующему. То, что толкало его к женщинам, было жаждой мести, тоской, неудовлетворенностью, а подчас жалостью и

состраданием, женский мир сливался у него с горькой драмой этой страны, где он был преследователем и преследуемым и где пережил много раздоров и мало идиллий. Но эта женщина вдруг предстала перед ним отделенная от всего этого, отделенная от его жизни, она пришла откуда–то извне, она явила себя, явила себя не только как красивая женщина, но и как красота сама по себе и сообщила ему, что и здесь можно было жить иначе и во имя чего–то другого, что красота больше справедливости, что красота больше правды, что она реальнее ее, бесспорнее и даже доступнее, что красота надо всем прочим и что в эту минуту она потеряна для него навсегда. Что она пришла явить ему себя в последнюю минуту лишь затем, чтобы он не думал, что познал все и прожил здесь свою жизнь, исчерпав до дна ее возможности.

— Завидую вам, — сказала она.

Они шли вместе по парку, небо было голубым, кусты — желтыми и красными, и Якубу снова представилось, что это образ огня, в котором сгорают его прошлые истории, воспоминания и обстоятельства.

— Вам нечему завидовать. В эту минуту мне кажется, что я не должен был бы никуда уезжать.

— Почему? В последнюю минуту вам здесь

понравилось?

— Вы мне понравились. Вы мне ужасно понравились. Вы невероятно красивы.

Он высказал это, даже не ведая как, и тут же мелькнула мысль, что он может говорить ей все, ибо через несколько часов его здесь не будет и его слова не возымеют никаких последствий ни для него, ни для нее. Эта нежданно обретенная свобода опьяняла его.

— Я жил как слепой. Как слепой. Впервые сегодня я понял, что существует красота. И что я проворонил ее.

Она сливалась у него с музыкой и картинами, с тем царством, в которое он никогда не вступал, она сливалась у него с разноцветными деревьями вокруг, и он уже не видел в них ни посланий, ни смыслов (образ огня или сгорания), а прозрел лишь экстаз красоты, загадочно пробужденный касанием ее стоп, ударом ее голоса.

— Я сделал бы все для того, чтобы завоевать вас. Я хотел бы все бросить и прожить всю свою жизнь иначе — лишь ради вас и для вас. Но я не могу, поскольку в эту минуту меня, по существу, здесь уже нет. Я должен был уехать еще вчера, а сегодня я здесь лишь в качестве собственного опоздания.

Ах да, только сейчас он понял, почему он должен был встретить ее. Эта встреча произошла за пределами его жизни, где–то по другую сторону его судьбы, на обороте его биографии. Но тем раскованнее он говорил с ней, пока наконец не почувствовал, что все равно не сможет сказать ей то, что хотел бы.

Он коснулся ее руки и указал:

— Здесь принимает доктор Шкрета. Поднимитесь на второй этаж.

Пани Климова долго смотрела на Якуба, и он впивал ее взгляд, влажный и мягкий, как даль. Он еще раз коснулся ее руки, повернулся и пошел прочь.

А оглянувшись, увидел, что пани Климова стоит и смотрит ему вслед. Он оглянулся еще несколько раз, а она все стояла и смотрела ему вслед.

7

В приемной сидело примерно двадцать женщин, заметно нервничавших; Ружене и Климе уже негде было сесть. Напротив них на стене висели плакаты, с помощью картинок и лозунгов призывавшие женщин не делать абортов.

«Мамочка, почему ты не хочешь меня?» — было написано большими буквами на плакате, с

которого улыбался младенец в одеяльце; под младенцем такими же буквами было напечатано стихотворение про то, как нерожденное дитя просит маму не выскабливать его и за это сулит ей море радостей: «В чьих ты, мамочка, объятиях умрешь, если, нерожденного, меня убьешь?»

На других плакатах были увеличенные фотографии смеющихся матерей, сжимающих ручки колясок, и фотографии писающих мальчиков. (Климе пришло в голову, что писающий мальчик — неопровержимый аргумент в пользу деторождения. Он вспомнил, как однажды в кинохронике был показан писающий мальчик и как весь зал зашелестел счастливыми женскими вздохами.)

После некоторого ожидания Клима постучал в дверь; вышла сестричка, и Клима назвал имя доктора Шкреты. Через какое–то время доктор появился и, протянув Климе бланк, попросил заполнить его и потом терпеливо подождать.

Клима прижал бланк к стене и стал заполнять отдельные графы: имя, дату рождения, место рождения. Ружена подсказывала ему. Затем дошла очередь до графы, где стояло: имя отца. Он смешался. Ужасно было видеть черным по белому это постыдное звание и приписывать к нему свое имя.

Ружена, глядя на руку Климы, заметила, как она дрожит. Это доставило ей удовольствие.

— Ну пиши, — сказала она.

— Кого я тут должен вписать? — прошептал Клима.

Сейчас он казался ей трусливым и испуганным, она презирала его. Всего боится, боится ответственности, боится даже собственной подписи на официальном бланке.

— Извини, но, по–моему, совершенно ясно, кого ты там должен вписать, сказала она.

— Я думал, что это не имеет значения, — сказал Клима.

Даже потеряв к нему интерес, она все–таки в душе была глубоко убеждена в том, что этот трус виноват перед ней; ей было приятно его наказывать:

— Если тебе угодно врать, то вряд ли со мной договоришься.

Когда он вписал в графу свое имя, она присовокупила со вздохом:

— Все равно еще не знаю, как поступлю…

— В каком смысле?

Она смотрела в его испуганное лицо:

— Пока из меня его не вынули, я могу еще и передумать.

8

Она сидела в кресле, положив ноги на стол, и смотрела в детектив, купленный на случай курортной скуки. Но читала она весьма рассеянно, так как в голову ей поминутно лезли ситуации и слова минувшего вечера. Вчера ей нравилось все, но более всего — она сама. Наконец она была такой, какой мечтала быть всегда; никоим образом не жертвой мужских помыслов, а единственным творцом своей судьбы. Она решительно отбросила роль воспитанницы, отведенную ей Якубом, и, наоборот, сама сотворила его по своему желанию.

Она казалась себе элегантной, независимой и смелой. Она сидела и смотрела на свои ноги, положенные на стол, туго обтянутые белыми джинсами, и когда раздался стук в дверь, весело крикнула:

— Входи, я жду тебя!

Якуб вошел, вид у него был опечаленный.

— Привет! — сказала она, все еще не спуская со стола ноги.

Ей показалось, что Якуб смущен, это доставило ей удовольствие. Потом она подошла к нему и чмокнула в щеку.

— Останешься на немного?

— Нет, — сказал Якуб грустным голосом. — На этот раз я действительно прощаюсь с тобой. Уезжаю. Решил напоследок еще раз проводить тебя до водолечебницы.

— Отлично, — весело сказала Ольга, — можем пройтись.

9

Якубу, целиком захваченному образом прекрасной пани Климовой, пришлось преодолеть определенную неприязнь, чтобы прийти проститься с Ольгой, оставившей в его душе после вчерашней встречи ощущение растерянности и грязи. Но он никогда не дал бы ей это понять. Он заставил себя держаться с ней с исключительным тактом, чтобы она и заподозрить не могла, сколь мало наслаждения и радости получил он от их вчерашней любовной близости — пусть она сохранит об этом самые лучшие воспоминания. Он делал серьезный вид, ничего не значащие фразы бросал с печальным придыханием, слегка касался ее руки, временами гладил по волосам, а когда она засматривала ему в глаза, отвечал грустным взглядом.

По дороге она предложила ему еще заскочить куда–нибудь на бокал вина, но Якуб, тяготясь этой последней их встречей, старался по возмож-

ности сократить ее.

— Прощание — слишком печальная вещь, я не хочу продлевать его, сказал он.

Перед входом в курортное здание он взял ее за обе руки и заглянул в самую глубину глаз.

Ольга сказала:

— Якуб, ты молодец, что приехал. Вчера был потрясающий вечер. Я рада, что ты наконец перестал играть роль папеньки и стал Якубом. Было по–настоящему здорово. Правда, здорово?

Якуб понял, что до нее ничего не доходит. Неужто эта утонченная девушка воспринимает их вчерашнюю близость всего лишь как пустую забаву? Неужто ее толкнула к нему чувственность, лишенная чувства? Неужто радостное воспоминание об единственном любовном вечере перевесило печаль прощания на всю оставшуюся жизнь?

Он поцеловал ее. Она пожелала ему счастливого пути и повернулась к широким воротам водолечебницы.

10

Он ходил часа два перед зданием поликлиники, теряя терпение. И хотя без конца убеждал себя, что не смеет устраивать сцены, он чувствовал, как самообладание покидает его.

Он вошел в поликлинику. Курортный городок был невелик, и здесь все его знали. Он спросил привратника, не видел ли он, как вошла внутрь Ружена. Привратник утвердительно кивнул и сказал, что она поднялась на лифте. Поскольку лифт ходил только на четвертый этаж, а на нижние этажи люди поднимались пешком, он решил ограничить свои поиски лишь двумя коридорами в самой верхней части здания. Он прошел первым коридором, где были канцелярии (он был пуст), а во второй коридор (где помещалось гинекологическое отделение) вошел с чувством неловкости, ибо мужчинам вход туда был заказан. Увидел санитарку, знакомую на вид. Спросил о Ружене. Она кивнула на дверь в конце коридора. Дверь была открыта, и возле нее стояло несколько мужчин и женщин. Франтишек вошел внутрь, там сидели еще несколько женщин, но ни трубача, ни Ружены не было.

— Вы не видели здесь девушку, такую блондинку?

Женщина указала на закрытую дверь:

— Они там.

«Мамочка, почему ты не хочешь меня?» — прочел Франтишек, а на других плакатах увидел писающих мальчиков и младенцев. Он стал осо-

знавать, о чем идет речь.

11

В помещении стоял продолговатый стол. С одной стороны сидели Клима с Руженой, против них восседал доктор Шкрета, а рядом с ним — две коренастые женщины.

Доктор Шкрета посмотрел на обоих заявителей и неприязненно покачал головой:

— Мне грустно смотреть на вас. Вы знаете, какие мы здесь прилагаем усилия, чтобы вернуть несчастным бесплодным женщинам способность иметь детей? А вы, люди молодые, здоровые и рослые, добровольно избавляетесь от самого ценного в жизни. Я настоятельно обращаю ваше внимание на то, что наша комиссия создана не для содействия абортам, а для их упорядочения.

Обе женщины утвердительно замурлыкали, а доктор Шкрета продолжал наставлять обоих заявителей. У Климы громко стучало сердце. Хотя он и понимал, что доктор Шкрета адресует свои речи вовсе не ему, а двум членам комиссии, которые всей мощью своих материнских животов ненавидели молодых, не желающих рожать женщин, но он до ужаса боялся, что эти слова собьют с толку Ружену. Разве минуту назад она не сказала ему, что все еще не приняла оконча-

тельного решения?

— Ради чего вы собираетесь жить? — продолжал доктор Шкрета. — Жизнь без детей что дерево без листвы. Будь моя воля, я запретил бы аборты. Разве вас не пугает, что год от года популяция сокращается? И это у нас, где забота о матери и ребенке возведена на такой уровень, как нигде в мире! У нас, где никто не должен бояться за свое будущее!

Обе женщины опять утвердительно замурлыкали, а доктор Шкрета гнул свое:

— Товарищ женат и теперь боится взять на себя все последствия безответственной сексуальной связи. Однако вам следовало бы думать об этом раньше, товарищ!

Доктор Шкрета чуть помолчал и снова обратился к Климе:

— У вас нет детей. Вы действительно не можете ради этого зачатого ребенка развестись со своей женой?

— Не могу, — сказал Клима.

— Я знаю, — вздохнул доктор Шкрета. — Я получил сведения от психиатра, что пани Климова страдает суицидным синдромом. Рождение ребенка создало бы угрозу ее жизни, разрушило бы этот брак, а сестра Ружена стала бы матерью–

одиночкой. Что прикажете делать, — вздохнул еще раз доктор Шкрета и пододвинул бланк к членам комиссии — обе дамы тоже вздохнули и в надлежащей графе поставили свои подписи.

— Явитесь для оперативного вмешательства на будущей неделе в понедельник, к восьми часам утра, — сказал доктор Шкрета Ружене и дал понять, что она может уйти.

— А вы останьтесь здесь, — обратилась одна из толстух к Климе. Когда Ружена ушла, женщина сказала: — Пресечение беременности не такая уж безобидная вещь, как вам кажется. Происходит большая потеря крови. Своей безответственностью вы отняли у женщины кровь и потому извольте, справедливости ради, отдать свою. — Она подсунула Климе какой–то бланк и сказала: — Распишитесь здесь.

Смущенный Клима послушно расписался.

— Это заявление от добровольных доноров. Вы можете зайти в соседний кабинет, сестра возьмет у вас кровь.

12

Ружена прошла приемную с опущенными глазами и увидала Франтишека уже в коридоре, когда он окликнул ее.

— Где ты была?

Испугавшись свирепого выражения его лица, она ускорила шаг.

— Я спрашиваю, где ты была?

— Тебе–то что!

— Я знаю, где ты была.

— Если знаешь, не спрашивай.

Они спускались по лестнице, Ружена очень спешила, стараясь уйти от Франтишека и разговора с ним.

— Это была абортная комиссия.

Ружена молчала. Они вышли на улицу.

— Это была абортная комиссия. Я знаю. И ты хочешь избавиться от ребенка.

— Сделаю то, что захочу.

— Нет, не сделаешь того, что захочешь. Это меня тоже касается.

Ружена торопилась, чуть ли не бежала. Франтишек бежал за ней. Когда они были уже у ворот водолечебницы, она сказала:

— Только посмей идти за мной. Я уже на работе. Не мешай мне работать.

Франтишек был взбешен:

— Посмей мне только что–нибудь сказать!

— У тебя нет никакого права!

— Это у тебя не было никакого права!

Ружена вбежала в здание, Франтишек — за

ней.

13

Якуб был счастлив, что все уже позади и ему остается последнее: проститься со Шкретой. Он медленно пошел от курортного здания к дому Маркса.

Издали навстречу ему по широкой аллее шла пани учительница, а за ней ребятишек двадцать из детского сада. У пани учительницы в руке был длинный красный шнур, и все дети, следовавшие за ней гуськом, держались за него. Дети шли медленно, и учительница, указывая на кусты и деревья, перечисляла их названия. Якуб остановился, он плохо разбирался в естествознании и всякий раз забывал, что клен называется кленом, а граб — грабом.

— Это липа, — указала учительница на пожелтевшее раскидистое дерево.

Якуб оглядел детей. Все они были в синих курточках и красных шапочках и выглядели родными братьями. Он присмотрелся к их лицам, и ему показалось, что не только одеждой, но и лицами они похожи друг на друга. По крайней мере у семерых из них он обнаружил приметно большие носы и широкие губы. Они были похожи на доктора Шкрету.

Он вспомнил носатого ребенка хозяев трактира. Неужто евгеническая мечта Шкреты была не только игрой фантазии? Неужто в этом крае и вправду родятся дети великого отца Шкреты?

Якубу стало смешно. Все эти дети выглядят одинаково, потому что все дети на свете похожи друг на друга. Но потом снова мелькнула мысль: а что, если доктор Шкрета и вправду осуществляет свой удивительный проект? И почему не могут осуществляться удивительные проекты?

— А там что, дети?

— Береза! — ответил маленький Шкрета; да, это был вылитый Шкрета; у него был не только большой нос, но и очечки, и носовой выговор, делающий речь друга Якуба столь трогательно смешной.

— Молодец, Ольджих! — сказала учительница.

Якубу представилось, что через десять, двадцать лет эту страну будут населять тысячи Шкрет. И вновь его охватило странное чувство, что он жил в своем отечестве и не знал, что в нем творится. Жил, как говорится, в эпицентре всех свершений. Переживал каждое актуальное событие. Вмешивался в политику, едва не лишился из–за нее жизни, и пусть потом был вышвырнут

в никуда, все равно не переставал мучиться ее проблемами.

Он всегда считал, что слушает сердце, стучащее в груди страны. Но кто знает, что он, собственно, слышал! Сердце ли это было? Не был ли это старый будильник, что отсчитывал совершенно ложное время? Не являлись ли все эти политические схватки лишь блуждающими огоньками, призванными отвлечь его от того, что было действительно важным?

Учительница повела детей дальше по широкой аллее парка, а Якуб чувствовал, как образ красивой женщины все больше овладевает им. Воспоминание об этой красавице вновь и вновь рождало в нем неотвязный вопрос: а что, если он жил совсем в ином мире, чем полагал? Что, если он видел все в превратном свете? Что, если красота значит больше, чем правда, и что, если в самом деле ангел принес два дня назад Бертлефу георгин?

— А там что? — услышал он голос учительницы.

И маленький очкарик Шкрета ответил:

— Клен.

14

Ружена, вбегая по лестнице, старалась не огля-

дываться. Она захлопнула за собой дверь своего отделения и сразу же пошла в раздевалку. Надела на голое тело халат курортной сестры и облегченно вздохнула. Стычка с Франтишеком растревожила ее, но при этом странным образом и успокоила. Она чувствовала, что теперь они оба, и Франтишек и Клима, чужие ей и далекие.

Она вышла из кабины в зал, где на кушетках вдоль стен лежали после купания женщины.

За столиком у двери сидела тридцатипятилетняя.

— Ну что, разрешили? — холодно спросила она.

— Да. Спасибо тебе, — сказала Ружена, уже подавая новой пациентке ключ и большую простыню.

Как только тридцатипятилетняя отошла, приоткрылась дверь, и протиснулась голова Франтишека.

— Неправда, что это только твое дело. Это нас обоих касается. Мое решение тоже важно!

— Прошу тебя, сгинь! — зашипела она. — Это женское отделение, мужчинам здесь делать нечего! Уходи сию же минуту, не то я прикажу тебя вывести!

Франтишек весь пылал от возбуждения, а угро-

за Ружены и вовсе так взбесила его, что он вошел в зал и захлопнул за собой дверь.

— Мне плевать, что ты сделаешь! Мне совершенно плевать! — кричал он.

— Я тебе говорю: мотай сию же минуту!

— Я вывел вас на чистую воду! Этот мужик все обстряпал! Трубач! За всем этим сплошная туфта и блат! Он провернул это дельце у доктора, потому что они вчера играли вместе! Но я все вижу, я не дам убить моего ребенка! Я отец, и мое слово тоже кое–что значит. И я запрещаю тебе убивать моего ребенка!

Франтишек кричал, и женщины, лежавшие на кушетках под одеялами, с любопытством поднимали головы.

И Ружена была донельзя взвинчена: Франтишек кричал, а она не знала, как приглушить вспыхнувшую ссору.

— Вовсе это не твой ребенок, — сказала она. — Ты все выдумал. Это вовсе не твой ребенок!

— Что, что?! — закричал Франтишек и сделал еще два шага внутрь помещения, чтобы обойти столик и подступиться к Ружене. — Как это не мой ребенок? Кому, как не мне, знать это? А я знаю!

Из соседнего зала, где был бассейн, вошла голая и мокрая женщина, которую Ружена должна бы-

ла уложить и укутать. Она испуганно смотрела на Франтишека — он стоял в нескольких метрах от нее и не сводил с нее невидящего взгляда.

На минуту Ружена оказалась свободной; она подошла к женщине, набросила на нее простыню и повела к кушетке.

— Что здесь делает этот парень? — спросила женщина, оглядываясь на Франтишека.

— Сумасшедший! Этот парень сошел с ума, и я не знаю, как его отсюда выпроводить. Просто ума не приложу, что делать с этим психом! — говорила Ружена, укутывая женщину в теплое одеяло.

— Послушайте, сударь! — крикнула ему другая пациентка с кушетки. — Вам здесь нечего делать! Проваливайте отсюда!

— Мне здесь есть что делать! — упрямо сказал Франтишек, не двигаясь с места.

Когда Ружена снова подошла к нему, его лицо было уже не красным, а бледным; он уже не кричал, а говорил тихо и решительно:

— Я вот что тебе скажу. Если ты дашь выковырять ребенка, меня здесь тоже не будет. Если убьешь ребенка, на твоей совести будут две жизни.

Ружена глубоко вздохнула и посмотрела на стол. Там лежала сумка с тюбиком голубых табле-

ток. Она стряхнула одну на ладонь и проглотила.

А голос Франтишека уже не кричал, а умолял:

— Прошу тебя, Ружена. Прошу тебя. Я не могу жить без тебя. Я покончу с собой.

В это мгновение Ружена почувствовала дикую резь внутри, и Франтишек увидел ее лицо, искаженное болью, не похожее на себя, увидел ее глаза, широко раскрытые, но незрячие, увидел, как ее тело корчится, извивается, и как она, сжав руками живот, падает на пол.

15

Ольга плескалась в бассейне и вдруг услышала… Собственно, что она услышала? Она не понимала, что она слышит. Но зал охватила паника. Женщины, что были рядом с ней, выбирались из бассейна и устремляли взгляды в соседнее помещение, которое как бы всасывало в себя все вокруг. Ольга тоже оказалась в этом неудержимом потоке и, бездумно подчиняясь тревожному любопытству, шла за остальными.

В соседнем помещении у двери она увидала толпу женщин. Они стояли спиной к ней, голые и мокрые, и, выставив зады, наклонялись к полу. Против них стоял молодой человек.

И все остальные голые женщины старались протиснуться к этой группе; Ольга тоже протис-

нулась туда и увидела сестру Ружену: она лежала на полу и не шевелилась. Молодой человек вдруг опустился на колени и закричал:

— Я убил ее! Это я ее убил! Я убийца!

С женщин стекала вода. Одна из них нагнулась к лежавшей Ружене и попыталась нащупать пульс. Но это был напрасный жест, ибо здесь царила смерть, и в ней уже никто не сомневался. Голые, мокрые тела женщин нетерпеливо напирали друг на друга, чтобы увидеть смерть вблизи, чтобы заглянуть ей в доверительно знакомое лицо.

Франтишек стоял на коленях. Он обнимал и целовал Ружену.

Вокруг толпились женщины, Франтишек обводил их глазами и все повторял:

— Я убил ее! Арестуйте меня!

Одна из женщин сказала: «Ну делайте что–нибудь!», а другая выбежала в коридор и стала звать на помощь. Примчались обе сослуживицы Ружены, а за ними врач в белом халате.

Только сейчас Ольга осознала, что она голая и что протискивается сквозь толпу других голых женщин перед чужим молодым человеком и чужим врачом, и ситуация показалась ей смешной. Но она понимала, что это уже ничего не

изменит и что она все равно по–прежнему будет протискиваться вперед, чтобы посмотреть в лицо притягивавшей ее смерти.

Врач держал распростертую Ружену за руку, тщетно пытаясь прощупать пульс. А Франтишек твердил свое:

— Я убил ее. Вызовите полицию. Арестуйте меня.

16

Якуб встретил друга, когда тот возвращался из поликлиники в свой кабинет в доме Маркса. Он похвалил его за вчерашнюю игру на барабане и извинился, что не подождал его после концерта.

— Меня это очень расстроило. Ты здесь последний день и весь вечер мотаешься черт знает где. А нам надо было многое обсудить. И хуже всего, что ты наверняка был с этой замухрышкой. Ясно дело, благодарность — чувство ужасное.

— При чем тут благодарность? За что мне благодарить ее?

— Ты же писал мне, что ее отец много для тебя сделал.

В этот день у доктора Шкреты не было приемных часов, и гинекологическое кресло бездейственно возвышалось в задней части кабинета. Оба приятеля сели в кресла друг против друга.

— А, пустое, — продолжал Якуб разговор. — Я хотел, чтобы ты принял ее здесь, и думал, что будет проще сказать, как я обязан ее отцу. Но все было совершенно иначе. Коли я подо всем подвожу здесь черту, то скажу тебе и об этом. Я загремел тогда в тюрьму при полном согласии ее отца. Ее отец послал меня на смерть. А через полгода пошел на смерть сам, тогда как мне посчастливилось уцелеть.

— Выходит, это дочь негодяя, — сказал доктор Шкрета.

Якуб пожал плечами:

— Он поверил, что я враг революции. Все стали утверждать это, и он поверил.

— А почему ты мне сказал, что это твой друг?

— Мы были друзьями. Тем большей своей заслугой он считал то, что голосовал за мой арест. Таким образом он доказал, что идеалы для него превыше дружбы. Объявил меня предателем революции, он был уверен, что он подавил в себе личный интерес во имя чего–то высшего, и счел это величайшим подвигом своей жизни.

— И это для тебя повод любить эту уродину?

— У нее нет ничего общего с этим. Она невиновна.

— Таких невиновных девушек пруд пруди. Если

ты выбрал именно ее среди прочих, то вероятно потому, что она дочь своего отца.

Якуб пожал плечами, а доктор Шкрета продолжал:

— В тебе есть что–то извращенное, как и в нем. Мне думается, что и ты считаешь свою привязанность к этой девушке величайшим подвигом своей жизни. Ты поборол в себе естественную ненависть, подавил естественную неприязнь, чтобы самому себе доказать свое благородство. Это красиво, но вместе с тем неестественно и совершенно излишне.

— Это не так, — возразил Якуб. — Я не хотел ничего подавлять в себе и не стремился к благородству. Мне просто стало жалко ее. Сразу же, как только я увидел ее. Еще ребенком ее выгнали из родного дома, она жила с матерью в какой–то горной деревеньке, люди боялись общаться с ними. Она долго не имела права учиться, хотя это одаренная девушка. Ужасно преследовать детей из–за родителей! И мне прикажешь ненавидеть ее из–за ее отца? Мне стало жалко ее. Мне стало жалко ее потому, что казнили ее отца, мне стало жалко ее потому, что ее отец послал на смерть своего товарища.

Зазвонил телефон. Шкрета поднял трубку и с

минуту слушал. Явно нервничая, он сказал:

— Сейчас я занят. Мое присутствие необходимо там?

Минуту стояла тишина, потом он сказал:

— Хорошо. Я иду.

Повесил трубку и чертыхнулся.

— Если тебя куда–то вызывают, можешь идти. Мне все равно пора ехать, сказал Якуб и поднялся с кресла.

— Черт побери, — выбранился Шкрета. — Так мы ничего и не обсудили. А собирались поговорить. Прервали нить моих мыслей. А было это нечто важное. С утра об этом думаю. Не знаешь, о чем я думал?

— Нет, — сказал Якуб.

— Проклятие, мне надо сейчас бежать в водолечебницу…

— Значит, самое время проститься. Посреди разговора, — сказал Якуб и пожал приятелю руку.

17

Тело мертвой Ружены лежало в маленьком помещении, предназначенном для ночного дежурства врачей. Здесь сновало уже несколько официальных лиц, среди которых был инспектор уголовного розыска, успевший уже допросить Франтишека и записать его показания. Франти-

шек снова настаивал на своем аресте.

— Эту таблетку дали ей вы? — спросил инспектор.

— Нет, я не давал.

— Тогда перестаньте твердить, что вы убили ее.

— Она мне постоянно говорила, что покончит с собой, — сказал Франтишек.

— Почему она говорила, что покончит с собой?

— Говорила, что покончит с собой, если я буду все время приставать к ней. Говорила, что не хочет ребенка. Что скорее руки на себя наложит, чем родит ребенка.

В помещение вошел доктор Шкрета. Он по–дружески поздоровался с инспектором, потом подошел к мертвой. Приподняв веко, проверил цвет конъюнктивы.

— Пан главврач, эта сестра была вашей подчиненной, не так ли? — сказал инспектор.

— Именно так.

— Допускаете ли вы, что она могла воспользоваться каким–нибудь ядом, свободно применяемым в вашей здешней практике?

Шкрета снова повернулся к мертвой Ружене и попросил сообщить ему подробности ее смерти. Вслед за этим сказал:

— Нет. Это не похоже ни на один медикамент, ни на одно вещество, какое она могла бы достать в наших кабинетах. Это безусловно какой–нибудь алкалоид. Какой, установит вскрытие.

— Как она могла его получить?

— Затрудняюсь сказать.

— Пока все покрыто мраком неизвестности, — сказал инспектор. — В том числе и мотив. Вот этот молодой человек показал, что у нее должен был родиться от него ребенок, которого она хотела уничтожить.

— Он принудил ее к этому! — кричал Франтишек.

— Кто? — спросил инспектор.

— Трубач! Он хотел отбить ее у меня и принудил ее избавиться от моего ребенка! Я следил за ними! Он был с ней на комиссии.

— Я могу подтвердить это, — сказал доктор Шкрета. — Мы сегодня действительно рассматривали заявление этой сестры на предмет аборта.

— Трубач был там с ней?

— Да, — сказал Шкрета. — Наша сестра объявила его отцом своего ребенка.

— Это вранье! Это мой ребенок! — кричал Франтишек.

— В этом никто не сомневается, — сказал док-

тор Шкрета. — Однако нашей сестре необходимо было объявить отцом человека женатого, чтобы комиссия согласилась с пресечением беременности.

— Выходит, вы знали, что это вранье! — кричал Франтишек на доктора Шкрету.

— По закону решающим является утверждение женщины. Если сестра Ружена объявила нам, что носит в себе плод пана Климы, и он, кстати, утверждал то же самое, то никто из нас не имел права возражать против этого.

— Но вы не верили, что пан Клима — отец ребенка? — спросил инспектор.

— Нет.

— А что привело вас к такому заключению?

— Пан Клима посетил наш курорт всего лишь два раза, и то мимоходом. Поэтому маловероятно, что между ним и нашей сестрой могли завязаться интимные отношения. Наш курорт слишком мал, чтобы такая новость не дошла до меня. Отцовство пана Климы было с наибольшей вероятностью камуфляжем, к которому сестра Ружена склонила его, чтобы комиссия разрешила аборт. Этот молодой человек, конечно, возражал бы против аборта.

Но Франтишек уже не слышал, что говорил

Шкрета. Он стоял здесь, но ничего не видел. Он слышал лишь слова Ружены «доведешь меня до самоубийства, точно доведешь меня до самоубийства», знал, что он причина ее гибели, и все–таки не понимал почему и не мог ничего объяснить. Он стоял здесь, словно дикарь перед чудом, стоял здесь словно перед чем–то сверхъестественным, сделавшись вдруг глухим и слепым, ибо разум отказывался воспринять непостижимое, обрушившееся на него. (Несчастный Франтишек, ты пройдешь по жизни, так и не поняв ничего, зная лишь, что твоя любовь убила женщину, которую ты любил, ты пройдешь по жизни с этим чувством, как с тайной метой ужаса, как прокаженный, который приносит любимым необъяснимые беды, ты пройдешь по жизни, как вестник несчастья.)

Он стоял бледный, недвижный, точно каменное изваяние, и не заметил даже, как в помещение взволнованно вошел еще один человек; он подошел к мертвой, долго смотрел на нее, потом погладил по волосам.

Доктор Шкрета прошептал:

— Самоубийство. Яд.

Вошедший резко повернул голову:

— Самоубийство? Голову даю на отсечение, что

эта женщина не покончила с собой. А если она и проглотила яд, то это точно было убийство.

Инспектор удивленно смотрел на вошедшего. Это был Бертлеф — его глаза пылали гневным огнем.

18

Якуб повернул ключ, и машина тронулась. Он проехал последние курортные особняки и очутился на широком просторе. До границы было всего часа четыре езды, не хотелось торопиться. Сознание, что этой дорогой он едет в последний раз, преображало весь край, принявший вдруг редкостный и необычный вид. Ему казалось, что он не узнает его, что вокруг все другое, чем представлялось прежде, но, к сожалению, он уже не может здесь задержаться.

И одновременно он тут же возражал себе, понимая, что никакая отсрочка отъезда, пусть на день или на годы, не изменит того, что мучит его сейчас: этот край он не познал бы ни на йоту ближе, чем знал до сих пор. И он должен смириться с тем, что покидает его, так и не познав до конца, не исчерпав всей его прелести. Что покидает его как должник и как кредитор со счетами, взаимно не оплаченными.

И снова вспомнилась ему девушка, которой он

вложил в тюбик фальшивый яд, и он подумал, что его карьера убийцы была самой короткой из всех карьер, которые выпали ему на долю. Я был убийцей часов восемнадцать, улыбнулся он своим мыслям.

Но потом возразил себе: нет, неправда, что он был убийцей всего лишь короткое время. Он убийца и останется им до самой смерти. Ибо вовсе не важно, была или не была голубая таблетка ядом, важно то, что он считал ее ядом и что, несмотря на это, дал ее незнакомой женщине и даже не пошевелил пальцем, чтобы спасти ее.

И сейчас он задумался над этим уже с беззаботностью человека, понявшего, что его поступок оказался в плоскости чистого эксперимента.

Его убийство было особенным. Это убийство не имело мотивов. Оно не ставило своей целью добиться какой–либо выгоды для самого убийцы. Стало быть, какой был в нем смысл? Его смысл, по всей вероятности, был в том, чтобы он узнал, что он убийца.

Убийство как эксперимент, как акт самопознания — это он уже знал; это Раскольников. Тот убивал, чтобы ответить себе на вопрос, имеет ли человек право убить неполноценного человека и способен ли он перенести это убийство; этим

убийством он спрашивал себя о себе.

Да, здесь есть нечто, сближающее его с Раскольниковым: нецелесообразность убийства, его теоретический характер. Но здесь есть и различие: Раскольников задавался вопросом, имеет ли право способный человек ради своего интереса пожертвовать неполноценной жизнью. Но когда Якуб подавал медсестре тюбик с ядом, у него не было подобных мыслей. Якуба не занимал вопрос, имеет ли человек право принести в жертву чью–либо жизнь. Напротив, Якуб убежден, что человек не имеет такого права. Якуб жил в мире, где люди жертвовали жизнями других во имя абстрактных идей. Якуб знал лица (беззастенчиво невинные или печально трусливые) тех людей, что, извиняясь, все же старательно приводят в исполнение над своими близкими приговор, в жестокости которого не сомневаются. Якуб хорошо знал эти лица и ненавидел их. А еще Якуб знал, что каждый человек желает кому–то смерти, и от убийства его удерживают лишь две вещи: страх наказания и физическая сложность убиения, как такового. Якуб знал, что если бы каждый человек имел возможность убивать тайно и на расстоянии, род людской за несколько минут иссяк бы. Поэтому эксперимент Раскольникова

он не мог не считать совершенно напрасным.

Почему же в таком случае он дал медсестре яд? Была ли это всего лишь простая случайность? Ведь Раскольников свое убийство тщательно продумывал и подготавливал, тогда как он, Якуб, действовал в мгновенном порыве! Однако Якуб знал, что и он уже много лет непроизвольно готовился к своему убийству и что то мгновение, когда он подал Ружене яд, было щелью, в которую вклинилась, точно лом, вся его прошлая жизнь, его всяческое разочарование в людях.

Раскольников, убивший топором старуху–процентщицу, сознавал, что перешагивает страшный порог; что преступает закон Божий; он знал, что старуха — ничтожная тварь, но одновременно и тварь Божия. Якуб не испытывал страха Раскольникова. Для него люди не были Божьими тварями. Он любил мягкость и благородство, но убедился, что эти свойства вовсе не человеческие. Якуб хорошо знал людей и потому не любил их. Он был благороден, и потому дал им яд.

Стало быть, на убийство подвигло меня благородство, сказал он себе, и это показалось ему смешным и печальным.

Раскольников, убивший старуху–процентщицу, не в силах был совладать со страшной бурей

угрызений совести. Тогда как Якуб, глубоко убежденный, что человек не имеет права приносить в жертву чужие жизни, вовсе не испытывает угрызений совести.

Он стремился представить себе медсестру действительно мертвой и прислушивался, овладевает ли им ощущение вины. Нет, ничего похожего не наступало, и Якуб продолжал спокойно и с удовольствием ехать по приветливой и нежной земле, прощавшейся с ним навсегда.

Раскольников переживал совершенное убийство как трагедию и падал под бременем своего поступка. А Якуб изумляется тому, сколь легок его поступок, как он ничего не весит, как он ничуть не обременяет его. И он размышляет над тем, не больше ли ужаса в этой легкости, чем в истерических метаниях русского героя.

Он ехал медленно, и разве что окрестный пейзаж порой отвлекал его от этих мыслей. Он говорил себе, что вся история с таблеткой была всего лишь игрой, игрой без последствий, как и вся его жизнь в этой стране, в которой он не оставил никакого следа, никаких корней, никакой бороздки и которую покидает сейчас, словно пронесшийся над ней ветерок.

Облегченный на четверть литра крови, Клима ждал доктора Шкрету в его приемной с большим нетерпением. Ему не хотелось уезжать из города, не простившись с ним и не попросив его слегка приглядывать за Руженой. Ее слова «пока из меня его не вынули, я могу еще и передумать» звучали в нем непрестанно и приводили в ужас. Он боялся, что теперь, когда он уедет, Ружена останется без его воздействия и в последнюю минуту может изменить свое решение.

Наконец доктор Шкрета появился. Клима, бросившись к нему, стал прощаться и благодарить за его прекрасный аккомпанемент на барабанах.

— Отличный был концерт, — сказал доктор Шкрета, — вы превосходно играли. Я ни о чем так не мечтаю, как о возможности повторить его. Надо будет подумать, как организовать такие концерты на других курортах.

— Да, конечно, играть с вами было одно удовольствие! — горячо отозвался трубач; затем добавил: — У меня к вам небольшая просьба. Хорошо бы чуть приглядывать за Руженой. Боюсь, как бы не взбрело ей что–нибудь в голову. От женщин всего можно ждать.

— Ей уже ничего не взбредет в голову, не беспокойтесь! — сказал доктор Шкрета. — Ружена

мертва.

На мгновение Клима остолбенел, и доктору Шкрете пришлось объяснить, что произошло. Потом он сказал:

— Это самоубийство, но выглядит оно довольно загадочно. Кое–кто мог бы и придраться к тому, что она рассчиталась с жизнью через час после того, как была с вами на комиссии. Нет, нет, не пугайтесь! — Он схватил трубача за руку, видя, как тот побледнел. — Наша сестра, к счастью, встречалась с одним молодым монтером, который убежден, что ребенок его. Я заявил, что у вас с нашей сестрой ничего не было и что она просто упросила вас взять ребенка на себя, поскольку не состоящим в браке комиссия разрешения на аборт не дает. Так что не спутайте карты, если вас будут об этом спрашивать. Нервы у вас шалят, это сразу видно, и очень жаль. Вам надо успокоиться, ведь у нас впереди немало концертов.

Клима не мог найти слов. Полный благодарности, он кланялся доктору Шкрете и много раз жал ему руку. Камила ждала его в Ричмонде. Клима без слов обнял ее и стал целовать. Он целовал каждое местечко на ее лице, а потом, опустившись на колени, обцеловал поверх платья ее всю — до самых колен.

— Что случилось с тобой?

— Ничего. Я страшно счастлив, что ты у меня есть. Я страшно счастлив, что ты есть.

Они собрали свои сумки и пошли к машине. Сославшись на усталость, он попросил ее сесть за руль.

Ехали молча. Клима был совершенно изнурен, однако чувствовал небывалое облегчение. В нем, правда, еще просыпался страх, когда он думал о том, что его могут подвергнуть допросу. Боялся, что Камила все–таки что–то узнает. Но он снова повторял про себя то, что говорил ему доктор Шкрета. Даже если и станут его допрашивать, он должен взять на себя невинную (и в этой стране довольно обычную) роль джентльмена, который услуги ради выдает себя за отца. За это никто не смог бы его осудить, даже Камила, узнай она об этом случайно.

Он посмотрел на нее. Ее красота заполняла небольшое пространство машины, как крепкий запах духов. Он говорил себе, что хотел бы до конца дней вдыхать только этот аромат. А потом ему почудилось, что он слышит отдаленный тихий звук трубы, на которой играет он сам, и он пообещал себе всю жизнь играть только на радость этой женщине, единственной и самой дорогой.

Всякий раз, садясь за руль, она чувствовала себя более сильной и самостоятельной. Но сейчас уверенность давал ей не только руль, ее давали и слова незнакомца, встреченного в коридоре. Она не могла забыть их. Не могла забыть и его лица, куда более мужественного, чем гладкое лицо супруга. Камиле подумалось, что она, собственно, никогда и не знала настоящего мужчины.

Она скосила взгляд на усталое лицо трубача, по которому то и дело пробегала необъяснимо счастливая улыбка, в то время как его рука не переставала любовно гладить ее по плечу.

Эта чрезмерная нежность не радовала и не трогала Камилу. Ее необъяснимость лишний раз убеждала, что у трубача есть свои тайны, своя личная жизнь, какую он скрывает от нее, в какую не впускает. Но сейчас это разбудило в ней не боль, а равнодушие.

Что говорил этот человек? Что уезжает навсегда. Тихая затяжная тоска сжала ей сердце. Тоска не только по этому человеку, а по утраченной возможности. И не только по этой конкретной возможности, а по возможности, как таковой. Она затосковала по всем возможностям, которые не заметила, упустила, от которых увернулась, и

даже по тем, которых никогда не было.

Этот человек сказал ей, что провел всю жизнь, точно слепой, не подозревая даже, что существует красота. Она поняла его. Ведь и с ней произошло похожее. И она жила в ослеплении, не видя ничего, кроме одной фигуры, высвеченной резким прожектором ревности. А если бы этот прожектор вдруг перестал светить? В рассеянном дневном освещении появились бы тысячи других фигур, и мужчина, который до этого казался ей единственным в мире, стал бы одним из многих.

Она сжимала руль, чувствуя себя уверенной и красивой, и ее осенила еще одна мысль: а, впрочем, любовь ли привязывает ее к Климе, или всего лишь страх потерять его? И если этот страх с самого начала был тревожной формой любви, то не улетучилась ли со временем любовь (усталая и измученная) из этой формы? Не остался ли в конце концов один страх, страх без любви? И что останется, если исчезнет и этот страх?

Трубач рядом с ней снова необъяснимо улыбнулся.

Она взглянула на него и подумала, что, если перестанет ревновать, не останется ничего. Она мчалась на большой скорости, и ей представилось, что где–то впереди на дороге жизни

прочерчена линия, которая обозначит разрыв с трубачом. И эта мысль впервые не пробудила в ней ни тревоги, ни страха.

21

Ольга, войдя в апартаменты Бертлефа, извинилась:

— Не сердитесь, что врываюсь без предупреждения. Но я так ужасно нервничаю, что не могу оставаться одна. Я правда не помешаю?

В комнате сидели Бертлеф, доктор Шкрета и инспектор, который ответил Ольге:

— Нет, не помешаете. Мы говорим о случившемся уже вполне неофициально.

— Пан инспектор — мой старинный друг, — объяснил Ольге доктор Шкрета.

— Скажите, прошу вас, почему она это сделала? — спросила Ольга.

— Она ссорилась с молодым человеком, с которым встречалась, — сказал инспектор, — а посреди этой размолвки достала что–то из сумки и проглотила. Больше ничего мы не знаем, и боюсь, не узнаем.

— Пан инспектор, — настоятельно сказал Бертлеф, — прошу вас обратить внимание на то, что я сказал вам для протокола. Я провел с Руженой в этой комнате ее последнюю ночь. Это главное,

что, возможно, я недостаточно подчеркнул. Ночь была прекрасной, и Ружена чувствовала себя бесконечно счастливой. Эта неприметная девушка как нельзя больше нуждалась в том, чтобы разорвать обруч, которым сковывало ее безучастное и неприветливое окружение, и она сразу же стала ослепительным созданием, полным любви, нежности и великодушия, созданием, каким вы и вообразить ее не могли. Говорю вам: в течение вчерашней ночи я распахнул перед ней дверь в другую жизнь, и именно вчера ей захотелось жить. Однако кто–то следом пересек мне дорогу… — в неожиданной задумчивости сказал Бертлеф и тихо добавил: Верно, в это вмешались силы ада.

— Могущество ада не по зубам криминальной полиции, — сказал инспектор.

Бертлеф, пропустив его иронию мимо ушей, продолжал:

— Самоубийство — полнейшая нелепица, поймите это, прошу вас! Не могла же она убить себя именно тогда, когда наконец почувствовала желание жить! Повторяю вам, я не считаю возможным обвинять ее в самоубийстве.

— Милейший, — сказал инспектор, — в самоубийстве никто не обвиняет ее хотя бы потому,

что самоубийство не считается какой–либо виной. Самоубийство вне законов правосудия. Это не наше дело.

— Да, — сказал Бертлеф, — для вас самоубийство не является виной, ибо жизнь для вас не представляет собой ценности. Но я, пан инспектор, не знаю большего греха. Самоубийство — куда больший грех, чем убийство. Убивать можно из мести или корыстолюбия, но и корыстолюбие есть проявление некой извращенной любви к жизни. Самоубийством же мы с издевкой бросаем свою жизнь к ногам Бога. Самоубийство — это плевок, залепленный в лицо Создателя. Говорю вам, я сделаю все, чтобы доказать невиновность девушки. Если вы утверждаете, что она покончила с собой, то объясните почему? Какой мотив вы обнаружили?

— Мотивы самоубийства — всегда тайна, — сказал инспектор, — да и заниматься их поиском не входит в мои обязанности. Не сердитесь на меня за то, что я исполняю сугубо свои обязанности. Их предостаточно, и меня едва хватает на них. Хотя дело еще не закрыто, но могу заранее вам сказать, что никакого убийства я здесь не усматриваю.

— Я восхищаюсь вами, — очень зло сказал Бертлеф, — восхищаюсь вашей готовностью не

задумываясь подвести черту под смертью человека.

Ольга заметила, как кровь бросилась в лицо инспектора.

Но он тотчас овладел собой и после небольшой паузы сказал голосом даже слишком любезным:

— Хорошо. Согласен принять ваше предположение, что здесь имело место убийство. Итак, попробуем разобраться, как оно могло быть совершено. В сумке покойной мы обнаружили тюбик с успокоительными таблетками. Можем предположить, что Ружена хотела принять таблетку, чтобы успокоиться, но кто–то успел подложить ей в тюбик другую таблетку, с виду такую же, но содержавшую яд.

— Вы полагаете, что Ружена взяла яд из тюбика с атарактиками?

— Сестра Ружена, разумеется, могла взять яд, который лежал в сумке отдельно, не в тюбике. Так было бы в случае самоубийства. Но если мы предполагаем убийство, то нет иной версии, чем та, что кто–то подложил ей в тюбик яд, который был той же формы, что и ее лекарство.

— Простите, что возражаю вам, — сказал доктор Шкрета, — но вовсе не так просто изготовить из алкалоида таблетку точно такой же формы.

Это под силу лишь тому, у кого есть доступ к производству медикаментов. Здесь ни у кого такой возможности нет.

— Вы хотите сказать, что возможность изготовить такую ядовитую таблетку полностью исключена?

— Может, не исключена полностью, но весьма затруднительна.

— Достаточно и того, что это возможно, — сказал инспектор и продолжал. — Подумаем, кто мог быть заинтересован в смерти этой женщины. Она не была богата, стало быть, имущественный интерес отпадает. Следует также исключить мотивы политического или шпионского характера. Остаются лишь причины личного порядка. Кто же наши подозреваемые? Прежде всего, это любовник, который непосредственно перед ее смертью бурно ссорился с ней. Вы полагаете, что яд подложил ей он?

На вопрос инспектора никто не ответил, и он сказал:

— Я так не думаю. Ведь этот парень неустанно боролся за эту девушку. Хотел жениться на ней. Она была беременна от него, и даже если бы она зачала от кого–то другого, главное, он не сомневался в том, что она беременна от него. В ту

минуту, когда он узнал, что она хочет избавиться от ребенка, его охватило отчаяние. Но заметьте: Ружена пришла после комиссии по пресечению беременности, а не после аборта! Так что для нашего бедолаги не все еще было потеряно. Плод внутри нее еще жил, и он готов был сделать все, чтобы сохранить его. Абсурдно предполагать, что в эти минуты он дал ей яд, когда только и мечтал о том, чтобы жить с ней и иметь ребенка. К тому же пан доктор объяснил нам, что достать яд в форме обычной таблетки — вещь не простая для обыкновенного человека. Где мог бы приобрести ее этот наивный паренек, у которого нет никаких связей в обществе? Вы могли бы мне это объяснить?

Бертлеф, к которому постоянно обращался инспектор, пожал плечами.

— Обсудим следующих подозреваемых. Трубач из столицы. Какое–то время назад он познакомился здесь с покойной, причем мы не знаем, как далеко зашло их знакомство. Но в любом случае достаточно далеко, если покойная осмелилась попросить его объявить себя виновником ее беременности и сопровождать ее на абортную комиссию. Почему она попросила именно его, а не кого–то из местных? Это несложно угадать.

Любой женатый мужчина из этого курортного городка боялся бы огласки дела и скандала в семье. Такую услугу мог оказать ей лишь тот, кто не живет здесь. Впрочем, молва о том, что у нее должен быть ребенок от знаменитого артиста, только льстила ей, а трубачу не могла навредить. Стало быть, мы можем заключить, что пан Клима взялся за эту услугу совершенно спокойно. С какой стати было ему ради этого убивать несчастную медсестру? Весьма неправдоподобно, как объяснил нам пан главврач, чтобы Клима был настоящим отцом нерожденного ребенка. Но допустим и эту возможность. Допустим, что отец — Клима и ему это крайне неприятно. Но объясните мне, зачем ему ее убивать, когда она согласилась сделать аборт и уже получила официальное разрешение на эту операцию? Или, пан Бертлеф, нам следует считать Климу убийцей?

— Вы не понимаете меня, — мягко сказал Бертлеф. — Я никого не хочу сажать на электрический стул. Я хочу лишь обелить Ружену. Ибо самоубийство есть самый тяжкий грех. И омраченная болями жизнь имеет свою тайную цену. И жизнь на пороге смерти прекрасна. Тот, кто никогда не смотрел смерти в лицо, не знает этого, но я, пан инспектор, это знаю. И потому говорю вам,

что сделаю все, чтобы доказать невиновность девушки.

— И я хочу попытаться сделать это, — сказал инспектор. — Есть еще третий подозреваемый. Пан Бертлеф, американский бизнесмен. Он сам показал, что провел с покойной ее последнюю ночь. Мы могли бы считать, что, будь он убийцей, то вряд ли признался бы в этом. Но это возражение весьма несостоятельно. На вчерашнем концерте все видели, что пан Бертлеф сидит рядом с Руженой и что, не дождавшись конца, уводит ее к себе домой. Пан Бертлеф понимает, что в таком случае лучше признаться, чем быть уличенным другими. Пан Бертлеф уверяет нас, что сестра Ружена была в эту ночь с ним счастлива. А как же иначе! Ведь пан Бертлеф не только обаятельный мужчина, но прежде всего американский бизнесмен, обладатель долларов и паспорта, дающего возможность путешествовать по всему миру. Сестра Ружена замурована в этом захолустье и тщетно ищет способ вырваться отсюда. У нее тут единственный любовник, который хочет жениться на ней, но это всего лишь молоденький местный монтер. Если она выйдет за него, то навсегда предрешит свою судьбу и уже никуда отсюда не вырвется. Она терпела его, по-

скольку не было выбора. Но при этом не хотела и окончательно связываться с ним, чтобы навсегда не распрощаться со своими надеждами. А тут вдруг появился экстравагантный мужчина с галантными манерами и совершенно вскружил ей голову. Она уже жила мыслями, что он женится на ней и она наконец–то покинет эту глухомань. Если поначалу она умела быть деликатной любовницей, то со временем становилась все более, навязчивой. Она дала ему понять, что не отступится от него, и стала его шантажировать. Но Бертлеф — человек женатый, и, как мне известно, завтра к нему из Америки приезжает жена, и, как мне известно, любимая жена, мать его годовалого ребенка. Бертлеф хочет сделать все во избежание скандала. Он знает, что сестра Ружена постоянно носит с собой тюбик с успокоительными таблетками, и знает, как они выглядят. У него широкие связи с заграницей, у него много денег. Для него сущий пустяк дать изготовить ядовитую таблетку в форме Руженина лекарства. Во время этой прекрасной ночи, пока его любовница спала, он тайно подсунул ей яд в тюбик. Считаю, пан Бертлеф, что вы единственный человек, имеющий повод и средства для того, чтобы убить Ружену. Предлагаю вам признать свою вину!

В комнате наступила тишина, инспектор долго смотрел в глаза Бертлефу, Бертлеф платил ему столь же терпеливым и молчаливым взглядом. На его лице не было ни изумления, ни обиды. Наконец он сказал:

— Ваши выводы меня не удивляют. Вы не способны обнаружить убийцу и потому должны найти кого–то, кто возьмет на себя его вину. К таинственным законам жизни относится и то, что невинные несут ответственность за виновных. Прошу, арестуйте меня.

22

На край опускались мягкие сумерки. Якуб остановил машину в деревне, за которой в нескольких километрах были пограничные шлагбаумы. Он хотел продлить последние минуты, остававшиеся ему на родине. Он вышел из машины в незнакомой деревне и побрел по улице.

Улица была некрасивой. Вокруг домишек валялись ржавые обручи, куски старого железа, выкинутое тракторное колесо. Деревня была заброшенной и безобразной. Якубу казалось, что эта мусорная свалка с ржавыми обручами ни дать ни взять бранное слово, каким вместо привета прощается с ним его родина. Он дошел до конца улицы, где была деревенская площадь с прудом.

Пруд был тоже заброшенный, заросший мокрицей. С краю плескалась стайка гусей — какой–то паренек старался прутом отогнать их оттуда.

Якуб повернул назад к машине. Вдруг он увидел за окном одного дома мальчика лет пяти, не больше. Мальчик стоял и смотрел в окно на пруд. То ли он смотрел на гусей, то ли наблюдал за пареньком, стегавшим их прутом. Он стоял у окна, и Якуб не мог оторвать от него взгляд. Это было детское личико, и что более всего привлекало в нем внимание Якуба, так это очки. У мальчика были большие очки с толстыми, как угадывалось, стеклами. Голова была маленькой, а очки в тяжелой оправе — большими. Мальчик носил их на себе, как гирю. Носил их, как свою судьбу. Он смотрел в них, точно сквозь решетку. Да, он носил очки в тяжелой оправе, точно решетку, которую вынужден будет таскать на себе всю жизнь. И Якуб смотрел в глаза мальчика сквозь эту решетку очков, и на него вдруг нахлынула безмерная печаль.

Было это внезапно — как будто прорвались берега и вода захлестнула край. Якуб давно не был таким печальным. Уже столько лет. Он знал вкус горечи, терпкости, но не печали. А сейчас она вдруг навалилась на него, и не было сил

сдвинуться с места.

Он видел перед собой ребенка, одетого в решетку, и ему было жаль этого ребенка и всей своей страны, и ему казалось, что страну свою он мало любил и плохо любил, и ему было грустно от этой плохой и незадачливой любви.

И вдруг пришла мысль, что это была гордыня, мешавшая ему любить эту страну, гордыня благородства, гордыня аристократизма, гордыня утонченности; безрассудная гордыня, ставшая причиной того, что он не любил своих ближних, что ненавидел их, считая убийцами. И он снова вспомнил о том, что вложил незнакомой женщине в тюбик яд и что убийца он сам. Да, он убийца, и его гордыня повержена в прах. Он стал одним из них, он стал братом этих печальных убийц.

Мальчик в больших очках стоял, как каменный, у окна и неотрывно смотрел на пруд. И Якуб подумал, что этот мальчик, ни в чем не повинный, не совершивший ничего дурного, уже родился с плохими глазами и такими они останутся на всю жизнь. И еще мелькнула смутная мысль, что все, что он ставил людям в укор, есть нечто данное, с чем они рождаются и несут с собой до конца, точно тяжелую решетку. И Якуба осенило, что

сам он не имеет никакого преимущественного права на благородство и что наивысшее благородство — это любовь к людям, несмотря на то что они убийцы.

В памяти вновь всплыла голубая таблетка, и ему представилось, что он вложил ее в тюбик несимпатичной медицинской сестры, как свое оправдание; как свое приобщение к ним; как просьбу принять его в свой круг, хотя он всегда и сопротивлялся тому, чтобы быть к ним причисленным.

Он быстрым шагом пошел к машине, открыл дверцу, сел за руль и погнал к границе. Еще вчера он думал, что это будет миг облегчения. Что он уедет отсюда с радостью. Что уедет из страны, где родился случайно и к которой по сути не принадлежит. Но сейчас он знал, что уезжает со своей единственной родины и что никакой другой на свете не существует.

23

— Не надейтесь, — сказал инспектор. — Тюрьма не раскроет перед вами свои триумфальные врата, чтобы вы вступили в них, как Иисус Христос на Голгофу. Даже во сне не могло мне привидеться, что вы убили эту молодую женщину. Я обвинил вас лишь затем, чтобы вы перестали утверждать,

что она была убита.

— Я рад, что ваше обвинение не серьезно, — сказал Бертлеф мирно. — Но вы верно заметили. С моей стороны было неразумно добиваться правосудия по отношению к Ружене от полиции.

— Мне приятно, что вы пришли к согласию, — сказал доктор Шкрета. Одно может в известной мере утешить нас. Каким бы образом ни умерла Ружена, ее последняя ночь была прекрасной.

— Взгляните на луну, — сказал Бертлеф, — она светит, как и вчера, и превращает эту комнату в сад. Не прошло еще и суток с той поры, как Ружена была феей в этом саду.

— А правосудие поистине не должно нас так занимать, — сказал доктор Шкрета. — Правосудие — не дело рук человеческих. Существует правосудие слепых и жестоких законов и еще, возможно, есть какое–то высшее правосудие, но того мне постичь не дано. У меня всегда было чувство, что я живу в этом мире вне правосудия.

— Как это? — удивилась Ольга.

— Правосудие меня не касается, — сказал доктор Шкрета. — Это нечто вне меня и сверх меня. В любом случае это что–то нечеловеческое. Я никогда не стану сотрудничать с этой омерзительной силой.

— Тем самым вы хотите сказать, — заметила Ольга, — что вообще не признаете никаких ценностей, которые считаются общепринятыми?

— Ценности, которые я признаю, не имеют ничего общего с правосудием.

— Например? — спросила Ольга.

— Например, дружба, — тихо ответил доктор Шкрета.

Все замолчали, и инспектор встал, чтобы проститься с присутствующими. Вдруг Ольгу что–то осенило:

— А какого цвета были таблетки в тюбике Ружены?

— Голубые, — сказал инспектор и добавил с явным интересом: — Но почему вы об этом спросили?

Ольга испугалась, что инспектор читает ее мысли, и быстро проговорила:

— Я видела у нее такой тюбик. Просто интересно, был ли это тот тюбик, который я видела у нее…

Инспектор не читал ее мыслей, он устал и потому пожелал всем спокойной ночи.

Когда он ушел, Бертлеф сказал Шкрете:

— Скоро приедут наши жены. Пойдем их встречать?

— Обязательно пойдем. Примите сегодня двойную порцию лекарства, заботливо сказал доктор Шкрета, и Бертлеф вышел в соседнюю комнату.

— Вы когда–то давно дали Якубу яд, — сказала Ольга. — В виде голубой таблетки. Он никогда не расставался с ней. Я это знаю.

— Не выдумывайте глупости. Ничего подобного я ему никогда не давал, сказал доктор Шкрета весьма выразительно.

Из соседней комнаты вернулся Бертлеф, украшенный новым галстуком, и Ольга откланялась.

24

Бертлеф и доктор Шкрета шли к вокзалу тополиной аллеей.

— Взгляните на эту луну, — сказал Бертлеф. — Поверьте, доктор, вчерашний вечер и ночь были восхитительны.

— Я вам верю, однако вам не следовало бы так развлекаться. Движения, которые в такую ночь неизбежны, для вас поистине рискованны.

Бертлеф не ответил; его лицо светилось выражением счастливой гордости.

— Пожалуй, вы в отличном настроении, — сказал доктор Шкрета.

— Вы правы. Если я сделал последнюю ночь ее жизни прекрасной, я счастлив.

— Знаете что, — неожиданно сказал доктор Шкрета. — Я давно хочу обратиться к вам со странной просьбой, но все не решаюсь. А сегодня, похоже, такой удивительный день, что я, пожалуй, решусь…

— Говорите, доктор!

— Я хотел бы, чтобы вы усыновили меня. Пораженный Бертлеф остановился, а доктор Шкрета стал излагать ему причины своей просьбы.

— Чего бы я только не сделал для вас, доктор, — сказал Бертлеф. — Лишь бы это не показалось глупым моей жене. Она была бы гораздо моложе своего сына. Возможно ли это с юридической точки зрения?

— Нигде не написано, что приемный сын должен быть моложе своих родителей. Это же не родной, а именно приемный сын.

— Вы уверены в этом?

— Этот вопрос я давно проконсультировал у юристов, — с тихой стыдливостью сказал доктор Шкрета.

— Да, это довольно странно, и я несколько поражен вашей просьбой, сказал Бертлеф, — но сегодня я в таком удивительном настроении, что хотел бы всему миру приносить одну радость. Если вам это доставит радость… сын мой…

И они обнялись посреди улицы.

25

Ольга лежала в постели (в соседней комнате радио уже не играло), и ей было ясно, что Ружену убил Якуб и что об этом знает только она и доктор Шкрета. Но почему он это сделал, она, пожалуй, никогда не узнает. От ужаса у нее по телу бегали мурашки, но вскоре (ибо, как известно, она умела пристально наблюдать за собой) она с изумлением обнаружила, что эти мурашки сладостны и что этот ужас исполнен гордости.

Вчера она занималась любовью с Якубом в те минуты, когда он несомненно был захвачен самыми страшными мыслями, и она в любовном акте вбирала его вместе с ними.

Как это мне не противно? — спрашивала она себя. — Как это я не иду (и никогда не пойду) донести на него? Неужели и я живу вне правосудия?

Но чем больше она задавала себе такие вопросы, тем больше росла в ней странная счастливая гордость: ей было так, как, возможно, девушке, которую насилуют, но которую внезапно охватывает дурманящий оргазм, тем более мощный, чем сильнее она ему сопротивляется…

26

Поезд остановился, и на перрон вышли две

женщины.

Одной из них, верно, было около тридцати пяти, и ей достался поцелуй доктора Шкреты, другая была моложе, эффектно одетая, с ребенком на руках, и ее поцеловал Бертлеф.

— Покажите, сударыня, вашего малыша, — сказал доктор Шкрета, — я ведь еще не видел его!

— Если бы я не знала тебя так хорошо, то кое в чем заподозрила бы, смеялась пани Шкретова. — Взгляни, у него родинка на верхней губе точно там, где у тебя!

Пани Бертлефова всмотрелась в лицо Шкреты и ахнула от удивления:

— И в самом деле! Когда я здесь лечилась, я ее у вас совсем не заметила!

Бертлеф сказал:

— Это столь необыкновенная случайность, что не побоюсь причислить ее к чудесам. Пан доктор Шкрета, возвращающий здоровье женщинам, принадлежит к сословию ангелов и, как ангел, оставляет свой знак на детях, которым помог появиться на свет. Таким образом, это не родинка, а ангельский знак.

Всем присутствующим объяснение Бертлефа понравилось, и они весело засмеялись.

— Кстати, — обратился Бертлеф к своей очаро-

вательной жене, торжественно сообщаю тебе, что несколько минут назад пан доктор стал братом нашего Джона. Стало быть, совершенно естественно, что они, будучи родными братьями, имеют одинаковые родинки.

— Значит, ты наконец решился… — счастливо вздохнула пани Шкретова.

— Я ничего не понимаю, ничего! — Пани Бертлефова потребовала разъяснений.

— Я тебе все объясню. Мы сегодня о многом должны рассказать друг другу, многое отпраздновать. Нас ждет превосходный уик–энд, — сказал Бертлеф и взял жену под руку. И все четверо, пройдя под фонарями перрона, покинули вокзал.

Закончено в 1971 или в 1972 году в Чехии

Бессмертие

Часть 1. ЛИЦО

1

Даме могло быть лет шестьдесят—шестьдесят пять. Я смотрел на нее, растянувшись в шезлонге против бассейна в спортивном клубе, расположенном на последнем этаже современного здания, откуда сквозь огромные окна виден весь Париж. Я ждал профессора Авенариуса, с которым подчас встречаюсь здесь, чтобы поболтать. Но профессор Авенариус запаздывал, и я смотрел на даму: она стояла одна в бассейне по пояс в воде и не сводила глаз с молодого инструктора в тренировочном костюме, учившего ее плавать. Следуя его указаниям, она держалась за край бассейна и делала глубокие вдохи и выдохи. Дышала она сосредоточенно, старательно, и похоже было, будто из глубины вод отзывается голос старого паровоза (для этого идиллического звука, ныне уже забытого, а кому и вовсе неведомого, нет более удачного сравнения, как с шумным дыханием пожилой женщины, стоящей у края бассейна). Зачарованный, я смотрел на нее. Своей трогательной комичностью (инструктор также осознавал ее, ибо то и дело у него подрагивал

уголок губ) она притягивала мой взор до тех пор, пока один знакомый не окликнул меня и не отвлек моего внимания. Когда чуть позже мне снова захотелось взглянуть на нее, занятия уже кончились. Она в купальнике шла вдоль бассейна. Пройдя мимо инструктора и оказавшись в трех–пяти шагах от него, она повернула к нему голову, улыбнулась и помахала рукой. У меня сжалось сердце. И улыбка, и этот жест принадлежали двадцатилетней женщине. Рука ее взметнулась вверх с чарующей легкостью. Казалось, будто она бросала в воздух цветной мяч, играя с любовником. Улыбка и жест были исполнены прелести и изящества, тогда как лицо и тело уже утратили всякую привлекательность. То была прелесть жеста, затонувшего в непрелести тела. Но женщина, хотя, вероятно, и сознавала, что уже некрасива, в то мгновение забыла об этом. Какой–то частью своего существа мы все живем вне времени. Возможно, лишь в исключительные моменты мы осознаем свой возраст, а большую часть времени мы — вне возраста. Как бы там ни было, но в то мгновение, когда дама, обернувшись, улыбнулась и помахала молодому инструктору (который не выдержал и прыснул), о своем возрасте она не помнила. Некая квинт-

эссенция ее прелести, независимая от времени, этим жестом явила себя на миг и поразила меня. Я был несказанно растроган. И всплыло в моей памяти слово «Аньес». Аньес. Ни одной женщины с таким именем я никогда не знал.

2

Я лежу в постели в сладком полусне. Уже в шесть часов, как только начинаю пробуждаться, я тянусь рукой к маленькому транзистору у изголовья и нажимаю кнопку. Звучат первые утренние новости, я едва способен разобрать отдельные слова и снова засыпаю, так что фразы дикторов превращаются в сновидения. Это самый прекрасный отрезок сна, самая восхитительная часть дня: благодаря радио я ощущаю свое неизменное забытье и пробуждение, те самые чудесные качели между бодрствованием и сном, что сами по себе уже достаточный повод для нас не сожалеть о своем рождении. То ли мне снится, то ли я на самом деле в опере и вижу двух трубадуров в рыцарских доспехах, поющих о том, какая будет погода? Как же так, почему они не поют о любви? Но затем до меня доходит, что это дикторы, и они уже не поют, а шутливо перебивают друг друга. «Будет жаркий день, душно, гроза», — говорит первый, а второй игриво:

«Серьезно?» Первый голос столь же игриво отвечает: «Mais oui. Прошу прощения, Бернар. Но это так. Придется потерпеть». Бернар громко смеется и говорит: «Это кара за грехи наши». А первый голос: «С какой стати, Бернар, я должен страдать за твои грехи?» Тут Бернар смеется еще громче, как бы давая понять всем слушателям, о какого рода грехе идет речь, и я понимаю его: то наша заветная мечта жизни — пусть все считают нас великими грешниками! Да будут наши пороки сродни ливням, бурям, ураганам! Когда нынче французы раскроют над головами зонтики, пусть вспомнят двусмысленный смех Бернара и изойдут завистью к нему! Я переключаю транзистор на соседнюю станцию, ибо хочу привлечь к близящемуся забытью более интересные образы. На соседней станции женский голос сообщает, что будет жаркий день, душно, гроза, и я счастлив, что у нас во Франции столько радиостанций и повсюду в одно и то же время говорится об одном и том же. Гармоническое сочетание однообразия и свободы — чего лучшего может желать себе человечество? Затем я снова поворачиваю ручку туда, где только что Бернар выставлял напоказ свои грехи, но вместо него слышу другой голос, поющий о новой модели марки «рено», кручу еще,

и хор женских голосов расхваливает распродажу мехов, переключаю назад на станцию Бернара, улавливаю два последних такта гимна автомобилю «рено», и тут же вновь вторгается сам Бернар. Напевным голосом, напоминающим только что затихшую мелодию рекламы, он сообщает, что вышла новая биография Эрнеста Хемингуэя, сто двадцать седьмая по счету, но на сей раз истинно сенсационная, ибо из нее вытекает, что Хемингуэй за всю жизнь не сказал ни единого слова правды. Он не только преувеличил число ранений, полученных им в Первую мировую войну, но и изобразил себя великим совратителем, тогда как доказано, что в августе 1944–го, а затем с июля 1956–го был полным импотентом. «О, возможно ли?» — смеется второй голос, и Бернар кокетливо отвечает: «Mais oui…» — и мы все вновь на оперной сцене, и с нами вместе импотент Хемингуэй, а затем вдруг какой–то весьма серьезный голос сообщает о судебном процессе, который в последние недели будоражит всю Францию: во время совсем несложной операции пациентка умерла из–за неудачно проведенной анестезии. В связи со случившимся организация, имеющая целью защищать так называемых потребителей, вносит предложение: все будущие операции

запечатлевать на пленке и помещать в архив. Только так, утверждает организация по защите прав потребителей, можно будет гарантировать французу, умершему на операционном столе, что суд отплатит за него полной мерой. Затем я вновь засыпаю.

Когда я проснулся, было уже почти полдевятого, и я представил себе Аньес. Подобно мне, она лежит на широкой кровати. Правая сторона кровати пуста. Кто же, однако, может быть мужем Аньес? Вероятно, он из тех, кто субботним утром рано уходит из дому. Поэтому она одна и сладостно балансирует между явью и сном.

Вот она встала. Напротив нее на длинной ноге, словно аист, стоит телевизор. Она бросает на него свою рубашку, закрывая ею экран, точно сборчатым занавесом. Теперь она стоит возле кровати, и я впервые вижу ее нагую. Аньес, героиню моего романа. Я не могу отвести глаз от этой красивой женщины, и она, словно почувствовав мой взгляд, убегает в соседнюю комнату, чтобы одеться.

Кто же такая Аньес?

Как Ева, сотворенная из ребра Адама, как Венера, рожденная из морской пены, Аньес возникла из жеста той шестидесятилетней дамы, что по-

махала возле бассейна инструктору и чьи черты уже расплываются в моей памяти. Тот жест разбудил во мне тогда бесконечную и неизъяснимую печаль, а из печали родилась фигура женщины, которую я называю Аньес.

Но разве человек, а уж тем более герой романа, не представляет собой единичного, неповторимого существа? Может ли тогда быть, чтобы жест, подмеченный мною у одного человека, связанный с ним, свойственный ему, выражающий его своеобразное очарование, одновременно выявлял и суть совершенно другого человека и моих фантазий о нем? Об этом стоит подумать:

Коль скоро с момента появления первого человека по земле прошло уже миллиардов восемьдесят человеческих существ, трудно предположить, что у каждого из них был свой собственный набор жестов. Арифметически это просто немыслимо. Вне всяких сомнений, на свете гораздо меньше жестов, чем индивидов. Это утверждение приведет нас к шокирующему выводу: жест более индивидуален, чем индивид. Мы могли бы выразить это в форме пословицы: много людей, мало жестов.

Рассказывая в первой главе о даме в бассейне, я заметил, что «некая квинтэссенция ее прелести,

независимая от времени, этим жестом явила себя на миг и поразила меня». Да, тогда я воспринимал это так, но я ошибался. Жест не явил никакой квинтэссенции этой дамы, правильнее было бы сказать, что эта дама дала мне возможность узнать прелесть некоего жеста. То есть жест нельзя считать ни выражением индивида, ни его изобретением (ибо никакой человек не способен изобрести свой совершенно оригинальный и только ему свойственный жест), ни даже его инструментом; напротив, это скорее жесты пользуются нами как своими инструментами, носителями, своим воплощением.

Аньес оделась и вышла в переднюю. Там остановилась на секунду, прислушалась. Из соседней комнаты доносились неясные звуки, по которым она могла понять, что дочь уже встала. Словно желая избежать встречи, она ускорила шаг и вышла на лестничную площадку. В лифте нажала кнопку первого этажа. Но лифт, вместо того чтобы спускаться, стал дергаться, словно человек, пораженный пляской святого Витта. Не впервой лифт изумлял ее своими причудами. Однажды он вздумал подниматься, когда она хотела спускаться, в другой раз не давал открыть дверь и полчаса держал ее в плену. У нее было ощущение, что

он намерен о чем–то поговорить с ней, что–то срочно сообщить ей своими грубыми средствами немого животного. Уже не раз она жаловалась на него консьержке, но, поскольку с прочими жильцами он вел себя пристойно и нормально, консьержка сочла спор Аньес с лифтом ее личным делом и отказалась уделить ему внимание. На сей раз Аньес ничего не оставалось, как выйти из лифта и пойти пешком. Как только она сошла на несколько ступенек, лифт успокоился и спустился следом за ней.

Суббота всегда была для Аньес самым утомительным днем. Поль, ее муж, уходил из дому еще до семи и оставался на обед с кем–нибудь из своих друзей, тогда как она использовала свободный день, чтобы переделать кучу необходимых дел, гораздо более неприятных, чем работа в учреждении: ей приходилось тащиться на почту и с полчаса изнывать в очереди, делать покупки в торговом доме, ссорясь с продавщицей и теряя время в ожидании у кассы, звонить по телефону монтеру и умолять его прийти в точно установленное время, а не заставлять ее торчать из–за него целый день дома. Среди всех этих дел она стремилась найти часок–другой и сходить в сауну, куда на неделе не поспевала, а конец дня

проводила с пылесосом и тряпкой, поскольку уборщица, приходившая по пятницам, работала все небрежнее.

Однако эта суббота отличалась от всех прочих: прошло ровно пять лет, как умер отец. В памяти Аньес возникла сцена: отец сидит, склонившись над ворохом разорванных фотографий, а сестра кричит на него: «Что же ты делаешь, зачем ты рвешь мамины фотографии!» Аньес заступается за отца, и сестры ссорятся, переполняясь внезапной ненавистью.

Она села в машину, запаркованную у дома.

3

Лифт поднял ее на последний этаж современного здания, где помещался клуб с гимнастическим залом, большим плавательным бассейном, малым бассейном с подводным массажем, сауной, турецкой баней и панорамой Парижа. Раздевалку оглашал рвущийся из динамиков рок. Десять лет назад, когда Аньес стала ходить сюда, в клубе было мало членов и стояла тишина. Затем клуб год от году совершенствовался: в нем все больше становилось стекла и осветительных ламп, искусственных цветов и кактусов, все больше динамиков, больше музыки, равно как и больше людей, число которых, кстати, еще и удвоилось

с того дня, как их стали отражать огромные зеркала, какими управление клуба распорядилось прикрыть все стены гимнастического зала.

Она подошла к шкафчику и стала раздеваться. Неподалеку от нее разговаривали две женщины. Одна из них тихим, неспешным голосом жаловалась, что ее муж все бросает на пол: книги, носки, газеты, даже спички и трубку. У второй было сопрано, и говорила она с удвоенной скоростью: французская привычка произносить последний слог фразы на октаву выше уподоблял ритм ее речи раздосадованному кудахтанью курицы: «Ты меня убиваешь! Терпеть этого в тебе не могу! Просто возмутительно! Ты должна втолковать ему! Он не смеет себя так вести! Это твой дом! Ты должна раз и навсегда втолковать ему это! Он не смеет делать все, что придет ему в голову!» Ее собеседница, как бы разрываясь надвое между подругой, чей авторитет признавала, и мужем, которого любила, меланхолически объясняла: «Ну а если он такой. Он всегда все бросает на пол». — «Значит, он должен это прекратить! Это твой дом! Он не смеет делать все, что взбредет ему в голову! Растолкуй ему это раз и навсегда!» — говорила вторая.

Аньес в таких разговорах не принимала уча-

стия; она никогда не отзывалась о Поле плохо, хотя и знала, что это несколько отдаляет ее от остальных женщин. Она присмотрелась к обладательнице высокого голоса: то была молоденькая девушка со светлыми волосами и ангельским лицом.

«Еще чего! Что за вопрос — у тебя есть свои права! Он не смеет так себя вести!» — продолжала девушка, и Аньес заметила, что при этих словах она быстро из стороны в сторону поводит головой и одновременно поднимает плечи и брови, как бы выражая возмущенное удивление по поводу того, что кто–то отказывается признать права человека за ее приятельницей. Она знала этот жест: точно так поводит головой, приподнимая плечи и брови, Брижит, ее дочь.

Аньес разделась, заперла шкафчик и вошла распашными дверями в облицованный кафелем зал, где по одну сторону был душ, по другую — стеклянные двери, ведущие в сауну. Там на деревянных лавках, тесно прижавшись друг к другу, сидели женщины. На некоторых были особые пластиковые мешки, которые образовывали вокруг их тел (или отдельной части тела, в основном живота и зада) герметическую оболочку, так что на коже обильно выступал пот, и женщины

полагали, что от этого они быстрее похудеют.

Она поднялась на верхнюю лавку, где еще было свободное место. Прислонившись к стене, закрыла глаза. Хотя сюда и не долетал шум музыки, болтовня женщин, говоривших наперебой, была не менее громкой. В сауну вошла незнакомая молодая особа и уже с порога начала всеми командовать: она заставила всех усесться еще плотнее, затем, подхватив шайку, стала лить воду на печь, начавшую шипеть. Поднялся вверх горячий пар, так что сидевшая возле Аньес женщина скривилась от боли и прикрыла лицо руками. Незнакомка, заметив это, объявила: «Я люблю горячий пар! Так по крайней мере я чувствую, что я в сауне!» — протиснулась меж двух нагих тел и заговорила о вчерашней телевизионной передаче, на которую был приглашен известный биолог, только что издавший свои мемуары.

— Он был потрясающий! — сказала она. Другая женщина одобрительно добавила:

— О да! И до чего скромный! Незнакомка возразила:

— Скромный? Разве вы не заметили, что это невероятно гордый человек? Но эта гордость мне нравится! Обожаю гордых людей! — И она повернулась к Аньес: — Вам что, он тоже показался

скромным?

Аньес пожала плечами, и незнакомка сказала:

— В сауне я люблю чувствовать настоящую жару. Чтобы как следует пропотеть. А потом сразу под холодный душ. Нет ничего лучше холодного душа, обожаю его! Не понимаю тех, кто после сауны идет под горячий душ! Горячий душ, по–моему, просто гадость!

Вскоре ей стало в сауне душно, так что, повторив еще напоследок, что ненавидит скромность, она поднялась и вышла.

Как–то раз, еще совсем девочкой, во время долгой прогулки Аньес спросила отца, верит ли он в Бога. Отец ответил: «Я верю в компьютер Творца». Этот ответ был настолько странным, что девочка запомнила его. Странным было не только слово «компьютер», но и слово «Творец»: дело в том, что отец никогда не говорил «Бог», а всегда только «Творец», словно хотел ограничить значение Бога лишь его инженерной деятельностью. Компьютер Творца. Но может ли человек договориться с компьютером? И посему она спросила отца, молится ли он. Он сказал: «Это все равно как если бы ты молилась Эдисону, когда у тебя перегорит лампочка».

Аньес думает: Творец вложил в компьютер дис-

кету с подробной программой и потом удалился.

Что Бог сотворил мир и потом покинул его на произвол осиротелых людей, что, взывая к Нему, они говорят в пустоту, не получая отклика, — эта мысль не нова. Но одно дело быть покинутым Богом наших предков, и совсем другое, если нас покинул Бог — изобретатель космического компьютера. Вместо него здесь есть программа, которая неуклонно выполняется и в Его отсутствие, причем никто ничего не может в ней изменить. Ввести программу в компьютер вовсе не означает, что будущее запланировано в деталях, что «там, наверху», все расписано. В программе, к примеру, не было установлено, что в 1815 году состоится сражение под Ватерлоо и что французы проиграют его, было лишь дано, что человек по сути своей агрессивен, что война ему уготована и что с техническим прогрессом она будет все более чудовищной. Все остальное, с точки зрения Творца, не имеет никакого значения и есть лишь игра вариаций и видоизменений общей предназначенной программы, которая не является провидческой антиципацией будущего, а указывает лишь пределы возможностей, внутри которых вся сила предоставляется случайности.

Подобным образом был спроектирован и чело-

век. В компьютер не были заложены ни Аньес, ни Поль, а был запланирован лишь прототип человека, сообразно которому возникло великое множество экземпляров, являющихся производными изначальной модели и не обладающих никакой индивидуальной сущностью. Точно так, как не обладает ею отдельно взятый автомобиль марки «рено». Его сущность содержится вне его, в архиве главного конструкторского бюро. Отдельные машины разнятся лишь производственным номером. Производственный же номер человеческого материала — лицо, это случайное и неповторимое сочетание черт. В нем не отражается ни характер, ни душа, ни то, что мы называем «я». Лицо — всего–навсего номер экземпляра.

Она подумала о незнакомой женщине, которая минуту назад сообщила всем, что ненавидит горячий душ. Она явилась, чтобы всем присутствующим женщинам дать знать, что она: 1) любит жару в сауне, 2) высоко ставит гордость, 3) терпеть не может скромность, 4) обожает холодный душ, 5) не переносит горячего душа. Этими пятью штрихами она нарисовала автопортрет, этими пятью пунктами она обозначила свое «я» и всем продемонстрировала его. И продемон-

стрировала его не скромно (она же сказала, что не терпит скромности), а воинственно, пользуясь словами «обожаю», «не переношу», «просто гадость», словно хотела сказать, что за каждый из пяти штрихов своего портрета, за каждый из пяти пунктов обозначения своего «я» она готова броситься в бой.

Откуда эта страстность, спрашивала себя Аньес, и ей подумалось: когда мы были изринуты в мир такими, какие мы есть, пришлось с этим выпавшим нам жребием, с этой случайностью, сотворенной Божьим компьютером, поначалу полностью согласиться: перестать изумляться тому, что именно это (то, что мы видим напротив в зеркале) суть наше «я». Без веры, что наше лицо выражает наше «я», без этой основной иллюзии, праиллюзии, мы не могли бы жить или, по меньшей мере, воспринимать жизнь всерьез. Но было недостаточно, чтобы мы просто согласились сами с собой, необходимо было, чтобы мы согласились со всей страстностью, безоглядно и до конца. Ибо только так мы можем считать себя не одним из вариантов прототипа человека, а созданием, обладающим своей собственной, незаменимой сутью. Вот причина, по которой незнакомой молодой женщине потребовалось

нарисовать свой портрет, но при этом хотелось дать всем понять, что в нем содержится нечто совершенно единичное и невосполнимое, за что стоит сражаться, а то и положить жизнь.

Пробыв в жаркой сауне четверть часа, Аньес поднялась и пошла окунуться в бассейн с ледяной водой. Затем легла в комнате отдыха среди других женщин, не переставших болтать.

Ее не оставляла мысль о том, какое бытие запрограммировал компьютер после смерти.

Есть две возможности. Если компьютер Творца располагает в качестве единственного поля деятельности лишь нашей планетой и мы зависим исключительно от него одного, после смерти нельзя рассчитывать на что–либо иное, кроме как на некую пермутацию того, что было при жизни: мы снова встретимся с подобными ландшафтами и существами. Мы будем одни или в толпе? Ах, одиночество столь маловероятно, его так мало было в жизни, что после смерти его и подавно не будет! Мертвых же неизмеримо больше, чем живых! В лучшем случае посмертное существование будет похоже на время, которое она проводит в шезлонге в комнате отдыха: она будет слышать непрерывное щебетание женских голосов. Вечность как звук бесконечного

стрекотания; по правде говоря, можно было бы представить вещи и похуже, но уже одно то, что ей пришлось бы слышать женские голоса до скончания века, непрестанно, без передышки, для нее достаточный повод яростно цепляться за жизнь и делать все, чтобы умереть как можно позже.

Но есть и другая возможность: над компьютером нашей планеты существуют еще и другие, вышестоящие. Тогда, конечно, посмертное бытие никак не должно было бы походить на земную жизнь, и человек мог бы умирать с ощущением смутной, но все же обоснованной надежды. И Аньес представляет сцену, о которой в последнее время часто думает: к ней приходит незнакомый мужчина. Симпатичный, учтивый, он сидит в кресле напротив супругов и беседует с ними. Очарованный особой учтивостью, которая исходит от посетителя, Поль в хорошем настроении, разговорчив, доверителен, приносит альбом семейных фотографий. Гость перелистывает страницы, но, похоже, некоторые фотографии вызывают его недоумение. На одной из них, к примеру, Аньес и Брижит под Эйфелевой башней, и гость спрашивает: «Что это?»

«Это же Аньес! — отвечает Поль. — А это наша дочка, Брижит!»

«Это я вижу, — отвечает гость. — Я спрашиваю об этой конструкции».

Поль изумленно смотрит на него: «Это же Эйфелева башня!»

«А, bon, — удивляется гость. — Так это Эйфелева башня», — и он говорит это таким же голосом, как сказал бы при виде портрета дедушки: «Так, значит, это ваш дедушка, о котором я столько слышал. Я рад, что наконец вижу его».

Поль удивлен, Аньес — гораздо меньше. Она знает, кто этот мужчина. Она знает, почему он пришел и о чем будет ее спрашивать. Именно поэтому она слегка нервничает, она хотела бы остаться с ним наедине, без Поля, но не знает, как это устроить.

4

Отец умер пять лет назад, мать — годом раньше. Уже тогда отец тяжело болел, и все ждали его смерти. Мать же, напротив, была здорова, полна энергии и, казалось, обречена на долгую жизнь счастливой вдовы; отец был в немалой растерянности, когда неожиданно скончалась она, а не он, словно боялся, что все станут упрекать его в ее смерти. Все — это семья матери. Его собственные родственники были рассеяны по всему свету, и кроме какой–то дальней кузины, проживавшей

где–то в Германии, Аньес никогда так и не узнала ни одного из них. Зато семья матери жила вся в одном месте: сестры, братья, кузены, кузины и уйма племянников и племянниц. Дед по матери крестьянствовал, жил в горах в деревянном доме, но умел, не жалея себя, позаботиться о детях — все они выучились и сделали хорошие партии.

Мать, познакомившись с отцом, явно влюбилась в него, да и неудивительно: он был красив, в свои тридцать — уже профессор университета, что по тем временам считалось весьма почитаемой должностью. Она радовалась не только тому, что у нее завидный супруг, но еще более тому, что может преподнести его как бы в дар своей семье, с которой была связана традицией вековечного деревенского единогласия. Но отец был необщителен, на людях по большей части молчал (никто не знал, молчал ли он из робости или потому, что думал о чем–то своем, то есть выражало ли его молчание скромность или безразличие), и вся семья была скорее озадачена, чем осчастливлена таким ее даром.

Жизнь шла, оба старились, и чем дальше, тем сильнее мать привязывалась к своей семье, уже хотя бы потому, что отец вечно запирался в кабинете, тогда как она испытывала жадную

потребность общения и долгие часы проводила у телефона в разговорах с сестрами, братьями, кузинами, племянницами, проникаясь все больше и больше их заботами. Когда Аньес думает теперь об этом, ей представляется, что жизнь матери была подобна кругу: она вышла из своей среды, мужественно вступила в совершенно иной мир, затем стала возвращаться назад: жила с мужем и двумя дочерьми в вилле, окруженной садом, и несколько раз в году — на Рождество, на дни рождения — приглашала к себе всю родню на большие семейные праздники; она предполагала, что после смерти отца (давно заявлявшей о себе, так что все относились к нему с сочувствием, как к человеку, у которого истек официально запланированный срок земного пребывания) к ней переселятся сестра и племянница.

Но вдруг умерла мать, и отец остался в вилле один. Через две недели после похорон к нему приехала Аньес со своей сестрой Лорой, и они застали его сидевшим у стола над кипой разорванных фотографий. Лора, схватив их, подняла крик: «Что же ты делаешь, зачем ты рвешь мамины фотографии!»

Аньес тоже склонилась над ворохом обрывков: нет, здесь были не только фотографии матери,

на большинстве из них был один отец, лишь на некоторых он был с мамой или она была одна. Застигнутый дочерьми врасплох, отец молчал, ничего не объясняя. Аньес осадила сестру: «Не кричи на папу!» — но Лора не унималась. Отец поднялся, ушел в соседнюю комнату, а сестры поссорились так, как никогда прежде не ссорились. Лора на следующий день уехала в Париж, а Аньес осталась с отцом. Только тогда отец объявил ей, что нашел маленькую квартиру в центре города, а виллу решил продать. Это была еще одна неожиданность. Отец представлялся человеком неумелым, переложившим всю тяжесть повседневной жизни на плечи матери. Все полагали, что без нее он пропадет, причем не только потому, что сам ничего не умеет делать, но прежде всего потому, что не знает, чего он хочет, ибо давно переложил на мать даже свои желания. Но когда он решил переехать — внезапно, без малейших колебаний, через несколько дней после ее смерти, — Аньес поняла, что сейчас он осуществляет то, о чем уже давно думал, а значит, и хорошо знал, чего он хочет. Это было тем удивительнее, что он не мог и предполагать, что переживет мать, и, стало быть, думал о маленькой квартире не как о реальном проекте, а как о своей мечте.

Он жил с матерью в их вилле, гулял с ней по саду, принимал визиты ее родных и двоюродных сестер, делал вид, что слушает их разговоры, а сам при этом жил в холостяцкой квартире; после смерти матери он всего лишь переселился туда, где давно уже обитал в мыслях.

Тогда впервые он предстал перед нею загадкой. Почему он рвал фотографии? И почему он так давно мечтал о холостяцкой квартире? И почему он не мог внять желанию матери, мечтавшей, чтобы в виллу переехали сестра и племянница? Это было бы куда практичнее: о нем, с его недугом, они, несомненно, заботились бы лучше, чем иная платная сиделка, которую ему однажды придется нанять. Спросив отца о причинах его переезда, она получила весьма простой ответ: «А как ты думаешь, что может делать один человек в таком большом доме?» Предложить ему взять к себе мамину сестру с дочерью было невозможно — он слишком явно не хотел этого. И тут ей пришло в голову, что и отец возвращается на круги своя. Мать: из своей семьи через супружество назад в свою семью. Он: из одиночества через супружество назад в одиночество.

Впервые он серьезно заболел за несколько лет до смерти матери. Аньес тогда взяла двухнедель-

ный отпуск, чтобы побыть с ним наедине. Но этого не получилось: мать ни на минуту не оставляла их одних. Однажды отца пришли навестить двое коллег из университета. Они задавали ему множество вопросов, но вместо отца на них отвечала мать. Аньес не выдержала: «Прошу тебя, дай папе сказать!» Мать обиделась: «Ты разве не видишь, что он болен!» Когда к концу этих двух недель его состояние чуточку улучшилось, Аньес два раза выбралась с ним на прогулку. Но в третий раз мать уже увязалась за ними.

Через год после смерти матери его болезнь резко обострилась. Аньес приехала, пробыла с ним три дня, на четвертый день утром он скончался. Лишь в эти три дня ей удалось быть с ним так, как ей всегда мечталось. Она считала, что они любили друг друга, но за неимением достаточных возможностей быть вместе по–настоящему так и не сблизились. Разве что между ее восемью и двенадцатью годами, когда мама целиком была поглощена маленькой Лорой, им это удалось в большей мере. Они часто отправлялись вдвоем в долгие прогулки, и отец отвечал ей на бесчисленные вопросы. Тогда–то он рассказал ей и о Божьем компьютере, и о множестве других вещей. От тех разговоров в памяти у нее остались

лишь отдельные его суждения, точно черепки редкостных тарелок, которые она силилась, став взрослой, снова склеить воедино.

С его смертью сладостное трехдневное уединение кончилось. Были похороны, и на них — все мамины родственники. Но поскольку мамы уже не стало, никто не пытался устроить поминки, и все быстро разошлись. Впрочем, продажу виллы и переезд отца в маленькую квартиру родственники восприняли как жест, которым он отверг их. Теперь их беспокоило лишь одно: наследство обеих дочерей после продажи виллы, несомненно принесшей немалый капитал. Однако от нотариуса они узнали, что все состояние, хранившееся в банке, отец завещал научному математическому обществу, одним из основателей которого он являлся. Теперь он стал им еще более чужим, чем был при жизни. Своим завещанием он словно попросил их милостиво забыть о нем.

Вскоре после его смерти Аньес обнаружила на своем банковском счете довольно приличную сумму. Она все поняла. Этот непрактичный человек, каким казался отец, действовал очень продуманно. Еще десять лет назад, когда его жизнь впервые оказалась под угрозой и она приехала к нему на две недели, он заставил ее

открыть в Швейцарии счет. Незадолго до смерти он перевел на него почти все свое состояние, а то немногое, что осталось, завещал научному обществу. Если бы в завещании он все отказал Аньес, он излишне ранил бы вторую дочь; а переведи он украдкой на счет Аньес все свои деньги и не отдай символической суммы математикам, он тем самым возбудил бы любопытство окружающих, которые попытались бы разгадать тайну его состояния.

В первую минуту Аньес решила было поделиться с Лорой. Будучи на восемь лет старше сестры, она никогда не могла избавиться от чувства ответственности перед ней. Однако в конце концов ничего ей не сказала. И вовсе не из жадности, а лишь потому, что тем самым предала бы отца. Своим подношением он, вероятно, хотел что–то сообщить ей, на что–то намекнуть, дать совет, который не успел дать ей при жизни и который она теперь должна была хранить как тайну, касавшуюся только их двоих.

5

Она запарковала машину, вышла и направилась к широкой авеню. Она чувствовала себя усталой, голодной, но обедать одной в ресторане было грустно и потому решила наскоро

перекусить что–нибудь в первом попавшемся бистро. Когда–то в этом квартале располагалось много милых бретонских ресторанчиков, где можно было удобно и дешево поесть блинов и галет, запивая их сидром. Но однажды все эти кабачки исчезли, и вместо них здесь появились современные забегаловки, которые принято называть унылым выражением «fast food». Преодолев нежелание, она направилась к одной из них. Сквозь стекло она увидела за столами людей, склонившихся над засаленными бумажными подносиками. Взгляд ее остановился на девушке с удивительно бледным лицом и ярко накрашенными губами. Покончив с едой и отодвинув опорожненный из–под кока–колы стакан, девушка откинула голову и засунула глубоко в рот указательный палец; и, закатив глаза, долго крутила им. Мужчина за соседним столом полулежал на стуле и глазел на улицу, широко разевая рот. То была не зевота, имеющая начало и конец, а зевота бесконечная, как мелодия Вагнера: рот по временам закрывался, хотя и не совсем, и снова разевался, а глаза, уставленные на улицу, прищуривались и открывались в противовес движению рта. Впрочем, зевали и другие посетители, показывая зубы, пломбы, коронки, протезы,

и ни один из них не пытался прикрыть рукой рот. Между столами ходила девочка в розовом платье, держа за ногу медвежонка; ее рот тоже был разинут, однако очевидно было, что она не зевает, а кричит; временами она ударяла медвежонком кого–нибудь из посетителей. Столы были придвинуты один к другому так, что даже сквозь стекло чувствовалось, что каждому сидящему вместе с едой приходится глотать и запах пота, вызванного на кожном покрове соседа жарой июньского дня. Волна омерзительности визуальной, обонятельной, вкусовой (Аньес ощутимо вообразила вкус жирного гамбургера, запитого сладкой кока–колой) ударила в лицо с такой силой, что она отвернулась, решив поискать другое место, где можно было бы утолить голод.

Тротуар запрудили пешеходы, идти было трудно. Перед нею сквозь толпу пробивали себе дорогу две длинные фигуры бледноликих северян с желтыми волосами: мужчина и женщина, возвышающиеся на две головы над морем французов и арабов. У обоих за спиной висело по розовому рюкзаку, а на животе — по младенцу, укрепленному на особых ремнях. Минутой позже они исчезли из виду, и впереди оказалась женщина в широких, до колен брюках, модных

в нынешнем году. Ее задница в этом одеянии выглядела еще толще и еще ближе к земле, а голые бледные икры походили на деревенский кувшин, украшенный рельефом варикозных синих вен, переплетенных точно клубок маленьких змей. Аньес подумала: эта женщина могла подобрать для себя двадцать различных нарядов, которые смягчили бы безобразность ее ягодиц и прикрыли синие вены. Почему она не сделала этого? Люди, появляясь среди себе подобных, уже не только не стремятся выглядеть красивыми, но не стремятся даже что–то предпринять, чтобы не выглядеть уродливыми!

Она подумала: когда в конце концов натиск этого уродства станет совсем невыносимым, она купит в цветочном магазине незабудку, одну–единственную незабудку, хрупкий стебелек с миниатюрным голубым венцом, выйдет с нею на улицу и будет держать перед собой, судорожно впиваясь в нее взглядом, чтобы видеть лишь эту единственную прекрасную голубую точку, чтобы видеть ее, как то последнее, что ей хочется оставить для себя и своих глаз от мира, который перестала любить. Пройдет она с цветком по улицам Парижа, люди начнут узнавать ее, дети — бегать за ней, смеяться и бросать в нее чем

попало, и весь Париж будет говорить: безумная с незабудкой…

Она продолжала путь: правым ухом она зарегистрировала прибой музыки, ритмичный гром ударных инструментов, долетавший из магазинов, парикмахерских, ресторанов, в левое ухо поступали все звуки мостовой: монолитный шум машин, сокрушительный грохот отъезжающего автобуса. Потом ее пронизал резкий звук мотоцикла. Она не могла удержаться, чтобы не посмотреть, кто причиняет ей эту физическую боль: девушка в джинсах, с длинными развевающимися черными волосами сидела на маленькой мотоциклетке, выпрямившись, как за пишущей машинкой; с мотоциклетки были сняты все глушители, и она издавала чудовищный грохот.

Аньес вспомнила молодую женщину, ту, что несколькими часами раньше вошла в сауну и, желая явить свое «я» и навязать его другим, уже с порога громко оповестила всех, что ненавидит горячий душ и скромность. Аньес была уверена, что совершенно то же побуждение владело и молодой девушкой с черными волосами, когда она снимала глушители с мотоцикла. То не машина производила шум, а «я» черноволосой девушки; эта девушка, дабы быть услышанной

и войти в сознание других, приобщила к своей душе шумный выхлоп мотора. Аньес смотрела на развевающиеся волосы этой грохочущей души и вдруг осознала, что жаждет смерти девушки. Если бы она сейчас столкнулась с автобусом и осталась в луже крови на асфальте, Аньес не почувствовала бы ни ужаса, ни скорби, лишь одно удовлетворение.

Она тут же испугалась своей ненависти и подумала: мир подошел к некоему рубежу; если он переступит его, все может превратиться в безумие: люди станут ходить с незабудкой в руке или при встрече убивать друг друга. И будет недоставать малого, лишь одной капли воды, которая переполнит чашу: допустим, на улице на одну машину, на одного человека или на один децибел станет больше. Здесь есть какой–то количественный предел, который нельзя преступить, однако никто за ним не следит, а возможно, и не ведает о его существовании.

Она продолжала идти по тротуару; чем дальше, тем больше на нем было людей, но ни один не уступал ей дороги, и потому, сойдя на проезжую часть, она продолжила путь уже между краем тротуара и проходящими машинами. Это был ее давний опыт: люди не уступали ей дороги. Она

знала это, воспринимала это как свой злосчастный удел и часто пыталась сломить его: тщилась собраться с духом, идти смело вперед, не сходить со своего пути и принудить посторониться встречного, но из этого ничего не получалось. В этой ежедневной банальной пробе сил именно она всегда оказывалась побежденной. Однажды навстречу ей шел ребенок лет семи. Аньес попыталась не уступить ему дороги, однако, коль скоро она не хотела столкнуться с ним, ей ничего в конце концов не осталось, как посторониться.

Всплыло воспоминание: ей было лет десять, когда однажды она пошла с родителями на прогулку в горы. На широкой лесной прогалине прямо перед ними выросли два мальчика: один из них держал горизонтально в вытянутой руке палку, преграждая им путь. «Это частная дорога! Платите таможенную пошлину!» — кричал он, выставляя палку так, что слегка касался папиного живота.

По всей вероятности, это была детская шутка, и достаточно было просто оттолкнуть паренька. Или таким способом он попрошайничал, и достаточно было вытащить из кармана франк. Но отец повернулся и пошел другой дорогой. По правде говоря, это не имело никакого значения, шли они

наугад, и было все равно куда идти, но все–таки мать сердилась на отца и не удержалась, чтобы не сказать: «Он и перед двенадцатилетними мальчишками пасует!» И Аньес тогда тоже несколько огорчило отцовское поведение.

Новый напор шума прервал воспоминание: мужчины в касках вгрызались ручными отбойными молотками в асфальт мостовой. В этот грохот откуда–то сверху, словно с небес, вдруг ворвалась фуга Баха, исполняемая на фортепьяно. Вероятно, кто–то на верхнем этаже открыл окно и включил магнитофон на полную мощность, чтобы строгая красота Баха зазвучала как грозное предостережение миру, вступившему на скверную дорогу. Однако фуга Баха была не в состоянии действенно противостоять отбойным молоткам и машинам; напротив, машины и отбойные молотки вобрали фугу Баха как часть своей собственной фуги, и Аньес теперь продолжала путь, зажав ладонями уши.

В эту минуту прохожий, шедший навстречу ей, обвел ее ненавидящим взглядом и хлопнул себя рукою по лбу: на языке жестов всех стран это означает, что человека считают дураком, чокнутым или слабоумным. Аньес поймала этот взгляд, эту ненависть, и ее обуяло бешенство. Она

остановилась. Ей хотелось броситься на этого человека. Ударить его. Но она не смогла, толпа уносила ее все дальше, кто–то врезался в нее, ибо на тротуаре нельзя было стоять на месте долее секунды–другой.

Поневоле она двинулась дальше, но не переставала думать об этом человеке: они оба шли под один и тот же грохот, но, несмотря на это, он счел необходимым дать ей понять, что у нее нет никакого повода, а возможно, и никакого права затыкать уши. Этот человек призывал ее к порядку, который она нарушила своим жестом. Это было само равенство, которое от его лица делало ей выговор, не допуская, чтобы некий индивид отказывался принять то, что должны принимать все. Это само равенство запрещало ей быть в разладе с миром, в котором мы все живем.

Желание убить этого человека не было всего лишь мимолетной реакцией. Хотя непосредственное возмущение и прошло, это желание в ней осталось, разве что к нему прибавилось удивление, что она способна на такую ненависть. Образ человека, хлопнувшего себя по лбу, плавал у нее внутри, как наполненная ядом рыба, которую невозможно извлечь и которая исподволь разлагается.

Снова вспомнился отец. С того момента, как она увидела его отступившим перед двумя двенадцатилетними мальчишками, она часто представляла его себе в такой ситуации: он на тонущем корабле, спасательных шлюпок мало, в них нет места для всех, и посему на палубе страшная давка. Отец сперва бежит со всеми, но, видя, как люди, сталкиваясь, готовы затоптать друг друга, а какая–то дама и вовсе взялась охаживать его кулаком в ярости оттого, что он оказался на ее пути, он останавливается и отступает в сторону. И уже только стоит и смотрит, как шлюпки, переполненные орущими и изрыгающими проклятия людьми, медленно опускаются в разбушевавшиеся волны.

Как назвать позицию отца? Трусостью? Нет. Трусы дрожат за жизнь и поэтому умеют яростно за нее биться. Благородством? Можно было бы о нем говорить, если бы отцом двигала забота о ближнем. Но, по мнению Аньес, речь шла не об этом. Так в чем же дело? Она не находила ответа. Лишь одно казалось ей всегда несомненным: на корабле, идущем ко дну, где необходимо бороться с другими людьми за место в спасательной шлюпке, отец заранее обречен на гибель.

Да, это бесспорно. Вопрос, который она сейчас

задавала себе, был таков: испытывал ли отец к людям на корабле ненависть, подобную той, какую испытывает она к мотоциклистке или к человеку, высмеявшему ее за то, что она заткнула уши? Нет, Аньес не в силах представить себе отца, способного ненавидеть. Вероломство ненависти в том–то и состоит, что она связывает нас с противником в тугом объятии. В этом вся непристойность войны: интимность взаимно перемешанной крови, неприличная близость двух солдат, которые, встретившись взглядами, протыкают друг друга штыками. Аньес уверена, что именно этой близости гнушался отец. Давка на корабле была ему так отвратительна, что он предпочел утонуть. Телесно соприкоснуться с людьми, стремящимися оттолкнуть ближнего и обречь его смерти, казалось ему куда страшнее, чем окончить свою жизнь в чистой прозрачности вод.

Воспоминание об отце стало освобождать ее от ненависти, которой она только что была переполнена. Ядовитый образ мужчины, хлопнувшего себя по лбу, постепенно исчезал, и в голове все настойчивее звучала фраза: я не могу их ненавидеть, потому что я не связана с ними; у меня с ними нет ничего общего.

6

Если Аньес не стала немкой, то благодаря тому, что Гитлер проиграл войну. Впервые в истории побежденному не досталось никакой, ровно никакой славы: даже скорбной славы крушения. Победитель не удовольствовался одной лишь победой, а решил судить побежденного и судил весь народ, так что в то время говорить по–немецки и считаться немцем было делом малоприятным.

Предки Аньес по материнской линии были крестьянами, жившими на пограничной территории между немецкой и французской частями Швейцарии; и поэтому одинаково хорошо говорили на двух языках, хотя формально и считались французскими швейцарцами. Родители отца были немцами, поселившимися в Венгрии. Отец в юности учился в Париже, где неплохо овладел французским; когда он женился, общим языком супругов тем не менее вполне естественно стал немецкий. Только после войны мать вспомнила об официальном языке своих родителей, и Аньес послали во французскую гимназию. Отцу было дозволено лишь единственное для немца утешение: декламировать перед старшей дочерью стихи Гёте в оригинале.

Это наиболее известное из всех немецких

стихотворений, какие когда–либо были написаны, — его учат наизусть все немецкие дети:

Над всеми холмами Покой,
В верхушках дерев
Ты не услышишь
Даже дыхания;
Птицы молчат в лесу.
Подожди лишь, скоро
И ты отдохнешь[6] .

Мысль стихотворения проста: в лесу все спит, и ты также уснешь.

Смысл поэзии не поражает нас неожиданным откровением, но способен сделать одно мгновение незабываемым и исполненным невыразимой печали. В дословном переводе стихотворение теряет все. Вы почувствуете его красоту, лишь когда прочтете по–немецки:

Über allen Gipfeln
Ist Ruh,
In allen Wipfeln
Spürest du
Kaum einen Hauch.
Die Vцgelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde

---

[6] Примечания: 6

В русском варианте — стихотворение М.Ю.Лермонтова «Горные вершины спят во тьме ночной...» (Прим, перев.).

Ruhest du auch.

У каждой строки — разное число слогов, здесь чередуются трохей, ямб, дактиль, шестая строка, на удивление, длиннее остальных, и, хотя речь идет о двух четверостишиях, первая грамматическая фраза асимметрически кончается в пятой строке, что создает мелодию, никогда и нигде доселе не существовавшую, кроме как в этом единственном стихотворении, столь же прекрасном, сколь и совершенно простом.

Отец выучил его еще в Венгрии, где посещал начальную немецкую школу, и Аньес впервые услышала его от отца, когда была в том же возрасте, что и он, тогдашний школьник. Они читали его во время совместных прогулок, причем так, что сверх всякой меры подчеркивали ударения и старались шагать в его стихотворном ритме. Из–за неправильности размера это было совсем непросто, и только на последних двух строках получалось: war–te nur–bal–de–ru–hest du–auch! Последнее слово они всегда выкрикивали так, что его было слышно за километр: auch!

В последний раз отец читал ей это стихотворение в один из тех трех дней перед смертью. Сперва она полагала, что он тем самым возвращается к языку своей матери и в детство; потом

она заметила, что он смотрит ей в глаза красноречивым и доверительным взглядом, и ей подумалось, что он хочет напомнить ей о счастье их давних прогулок; только позже она уяснила себе, что стихотворение говорит о смерти: отец хотел сказать ей, что умирает и что знает об этом. Прежде она никогда бы не подумала, что эти невинные стишки, столь милые школьникам, могут иметь такой смысл. Отец лежал, лоб его от жара покрывался испариной, и она, схватив его за руку, превозмогая рыдания, зашептала вместе с ним: warte nur, balde rahest du auch. Скоро и ты отдохнешь. И она уже узнавала голос близившейся отцовой смерти: то была тишина умолкших птиц в верхушках дерев.

После его смерти и вправду воцарилась тишина, и эта тишина была в ее душе, и было прекрасно; повторю еще раз: то была тишина умолкших птиц в верхушках дерев. И чем дальше шло время, тем явственнее в этой тишине отзывалось, словно охотничий рожок в глубине лесов, предсмертное послание отца. Что хотел он сказать ей своим подношением? Быть свободной. Жить так, как ей хочется жить, идти туда, куда хочет идти. Он сам на это никогда не решался. Поэтому он отдал все свое состояние дочери, что-

бы решилась она.

С той поры как Аньес вышла замуж, она утратила радость уединения: в учреждении она восемь часов торчала в одной комнате с двумя сослуживцами; потом возвращалась домой, в четырехкомнатную квартиру. Но ни одна комната не принадлежала ей: там была большая гостиная, супружеская спальня, комната Брижит и маленький кабинет Поля. Когда она начинала жаловаться, Поль предлагал ей считать гостиную своей комнатой и обещал (с несомненной искренностью), что ни он, ни Брижит не будут там мешать ей. Но могла ли она уютно себя чувствовать в комнате, где стоял обеденный стол с восемью стульями, поджидавшими вечерних гостей?

И возможно, теперь становится уже понятнее, почему она чувствовала себя в это утро такой счастливой в кровати, которую только что покинул Поль, и почему так тихо шла по прихожей, боясь привлечь внимание Брижит. Она любила даже капризный лифт, ибо он предоставлял ей несколько мгновений уединения. И в машину она садилась с нетерпением, потому что там с ней никто не разговаривал и на нее никто не смотрел. Да, самым главным было, что на нее никто

не смотрел. Уединение: сладкое неприсутствие взглядов. Однажды оба ее сослуживца заболели, и две недели она работала одна в комнате. А вечером с изумлением обнаруживала, что чувствует себя совсем не такой усталой. С тех пор она знала, что взгляды подобны гирям, пригибающим к земле, или поцелуям, высасывающим из нее силы, что морщины на ее лице выгравированы иглами взглядов.

Проснувшись утром, она услышала по радио сообщение о том, что во время одной несложной операции на операционном столе умерла молодая пациентка из–за небрежно проведенной анестезии. По этому поводу три врача привлечены к суду, и организация по защите прав потребителей выступает с предложением снимать все без исключения операции и пленки хранить в архиве. Предложение встречено восторженными аплодисментами! Нас каждодневно пронизывает тысяча взглядов, но и этого недостаточно; сверх того, здесь будет еще легализованный взгляд, который ни на миг не оставит нас в покое — ни на улице, ни в лесу, ни у врача, ни на операционном столе, ни в постели: изображение каждого мгновения нашей жизни будет помещено в архив, дабы при надобности

использовать его в судебных тяжбах или для удовлетворения общественного любопытства. Эти мысли снова воскресили в ней тоску по Швейцарии. Впрочем, с тех пор как умер отец, она ездила туда по два–три раза в год. Поль и Брижит со снисходительной улыбкой называли это гигиеническо–сентиментальной потребностью: она ездит туда сметать листья с отцовской могилы и дышать свежим воздухом у настежь распахнутого окна альпийского отеля. Они ошибались: хотя там у нее и не было любовника, Швейцария была ее единственно глубокой и регулярной изменой, в какой она была перед ними повинна. Швейцария: пение птиц в верхушках дерев. Она мечтала однажды остаться там и больше не возвращаться. Она зашла так далеко, что не раз осматривала в Альпах квартиры, подлежавшие продаже или найму, мысленно даже стилизовала письмо, в котором сообщит дочери и мужу, что, не переставая любить их, решила жить в одиночестве. И просит лишь о том, чтобы время от времени они посылали ей весточку о своем житье–бытье, поскольку ей надо быть уверенной, что с ними ничего плохого не происходит! Это–то и было труднее всего выразить и объяснить: что ей необходимо знать, как им живется, но при этом она

совсем не жаждет видеть их и быть с ними.

Все это, конечно, были одни мечты. Могла ли разумная женщина отвергнуть удачное супружество? И все же в ее супружеский мир врывался издалека заманчивый голос: то был голос уединения. Она закрывала глаза и прислушивалась к звукам охотничьего рожка, доносившимся из глубины далеких лесов. В тех лесах были тропы, на одной из них стоял отец, улыбался и звал ее к себе.

7

Аньес сидела в кресле и ждала Поля. Вечером им предстоял ужин, то, что во Франции называется «diner en ville» и означает: люди, мало знакомые или совсем незнакомые, жуя, проведут за разговором три–четыре часа. Она весь день не ела, чувствовала себя уставшей и, чтобы отдохнуть, листала толстый журнал. Читать текст сил у нее не было, она лишь проглядывала фотографии: цветные и во множестве. В середине журнала был репортаж о катастрофе, происшедшей во время воздушного парада: в толпу зрителей рухнул горящий самолет. Фотографии были большие, каждая из них помещалась на развороте журнала, и на них были запечатлены люди, в ужасе разбегающиеся во все стороны,

обгорелые одежды, обожженная кожа, пламя, взметающееся с тел; не в силах оторвать взгляда, Аньес думала о том, какую дикую радость должен был испытывать фотограф, скучавший во время банального зрелища и вдруг узревший, как в образе пылающего самолета падает к нему с неба удача.

Она перевернула две–три страницы и увидела обнаженных людей на пляже, большой заголовок «Каникулы в фотографиях, которых вы не найдете в альбоме Букингема» и краткий текст с заключительной фразой: «…и там был фотограф, так что из–за своих связей принцесса снова окажется в центре внимания». И там был фотограф. Везде — фотограф. Фотограф, спрятанный за кустом. Фотограф, переодетый в хромого нищего. Повсюду всевидящее око. Повсюду объектив.

Аньес вспомнила, как еще в детстве ее поразила мысль, что Бог видит ее, и видит непрестанно. Тогда, пожалуй, она впервые испытала то наслаждение, ту несказанную сладость, которую человек ощущает, когда он виден, виден вопреки своему желанию, виден в минуты интимности, когда он изнасилован взглядом. Мать, будучи верующей, говорила ей: «Бог видит тебя», стремясь таким образом отучить ее врать, грызть ногти и

ковырять в носу; но случилось нечто иное: именно предаваясь своим дурным привычкам или в интимные, стыдные минуты Аньес представляла Бога и демонстрировала ему то, что делает.

Она думала о сестре английской королевы и повторяла про себя: сегодня Божье око заменено камерой. Око одного заменено глазами всех. Жизнь превратилась в один–единственный «партуз», как называют во Франции оргии, в «партуз», в котором все принимают участие. Все могут лицезреть обнаженную английскую принцессу, празднующую на субтропическом пляже день рождения. Камера лишь на первый взгляд проявляет интерес исключительно к знаменитостям, но достаточно, чтобы неподалеку от вас рухнул самолет, с вашей рубашки взметнулось пламя, как вы враз становитесь тоже знаменитым и вовлеченным во всеохватный «партуз», не имеющий ничего общего с наслаждением и торжественно оповещающий всех, что им некуда спрятаться и что любой отдан на произвол любому.

Однажды у нее было свидание с одним человеком, но в минуту, когда в вестибюле большого отеля она поцеловала его, перед ней неожиданно возник паренек с бородкой, в джинсах, кожаной куртке и с пятью сумками, висевшими на шее

и на плечах. Присев, он приставил к глазу фотоаппарат. Она замахала рукой перед лицом, но парень смеялся, бормотал что–то на скверном английском, отпрыгивал от нее назад, как блоха, и щелкал затвором. Ничего не значащий эпизод: в отеле происходил какой–то конгресс, и был нанят фотограф, затем чтобы собравшиеся здесь со всего мира ученые могли завтра же купить на память свои фотографии. Но Аньес была невыносима мысль, что где–то останется документ, свидетельствующий о ее связи с человеком, с которым она здесь встретилась; на следующий день она вернулась в гостиницу, скупила все фотографии (на них она стояла рядом с мужчиной, закрывая рукой лицо) и попыталась заполучить даже негативы, но они, сданные в архив предприятия, были уже недоступны. И хотя Аньес не угрожала никакая опасность, в ней осталась горечь, что одна секунда ее жизни, вместо того чтобы превратиться в ничто, как это происходит со всеми остальными секундами жизни, будет выхвачена из бега времени и, если однажды какой–нибудь идиотской случайности заблагорассудится, оживет, как плохо погребенный покойник.

Она взяла другой журнал, нацеленный больше на политику и культуру. Ни тебе катастроф, ни

нудистских пляжей с принцессами, зато там были лица, сплошные лица. И в конце, в разделе книжных рецензий, каждую статью сопровождала фотография рецензируемого автора. Поскольку писатели часто оставались неизвестными, к фотографиям можно было отнестись как к полезной информации, но как оправдать пять изображений президента республики, чей подбородок и нос все давно уже знают как свои пять пальцев? Автор передовицы тоже был изображен на маленьком фото над своим текстом, видимо на том же месте, что и каждую неделю. В сообщении по астрономии были помещены увеличенные улыбки астрономов; и на всех рекламах — пишущих машинок, мебели, моркови — тоже были помещены лица, сплошные лица. Она снова просмотрела журнал с первой до последней страницы; подсчитала: девяносто две фотографии, на которых были исключительно лица; сорок одна фотография, где лицо было вместе с фигурой; девяносто лиц на двадцати трех фотографиях, где были группы фигур, и лишь одиннадцать фотографий, где люди играли второстепенную роль или вовсе отсутствовали. Всего в журнале было двести двадцать три физиономии.

Затем вернулся домой Поль, и Аньес рассказала

ему о своих подсчетах.

— Да, — согласился он. — Чем равнодушнее человек к политике, к интересам других, тем он более одержим собственной персоной. Индивидуализм нашего времени.

— Индивидуализм? Что здесь от индивидуализма, если камера фотографирует тебя в минуты агонии? Напротив, это означает, что индивид уже не принадлежит себе, что он целиком и полностью достояние других. Знаешь ли, я вспоминаю свое детство: если кто–то хотел кого–то фотографировать, спрашивал на то разрешения. Хоть я была и ребенком, но взрослые спрашивали меня: девочка, можно тебя сфотографировать? А потом в один прекрасный день перестали спрашивать. Право камеры было вознесено над всеми остальными правами, и тем самым все, абсолютно все изменилось. — Открыв журнал, она сказала: — Если положишь рядом фотографии двух разных лиц, тебе сразу бросится в глаза то, чем они отличаются друг от друга. Но когда рядом двести двадцать три физиономии, ты вдруг начинаешь понимать, что все это лишь одно лицо во множестве вариантов и что никакого индивида никогда не существовало.

— Аньес, — сказал Поль, и его голос стал вдруг

серьезным. — Твое лицо не похоже ни на какое другое.

Аньес не уловила перемены в тоне Поля и улыбнулась.

Поль сказал:

— Не улыбайся. Это я серьезно. Когда любишь кого–то, любишь его лицо, и оно, таким образом, становится не похожим на другие.

— Да, ты знаешь меня по моему лицу, ты знаешь меня просто в лицо и никогда не знал иначе. Тебе даже на ум не могло прийти, что мое лицо — это еще не есть я.

Поль ответил с терпеливой участливостью старого доктора:

— Как это твое лицо еще не есть ты? Кто же тогда скрывается за твоим лицом?

— Представь себе, что ты живешь в мире, где нет зеркал. Ты думал бы о своем лице, ты представлял бы его как внешний образ того, что внутри тебя. А потом, когда тебе было бы сорок, кто–то впервые в жизни подставил бы тебе зеркало. Представь себе этот кошмар! Ты увидел бы совершенно чужое лицо. И ты ясно постиг бы то, чего не в силах постичь: твое лицо не есть ты.

— Аньес, — сказал Поль и поднялся с кресла. Теперь он стоял совсем рядом с ней. В его глазах

она видела любовь, а в его чертах — его мать. Он был похож на нее, как, вероятно, его мать была похожа на своего отца, который также походил на кого–то. Когда Аньес увидела его мать впервые, ее схожесть с Полем была ей мучительно неприятна. Когда впоследствии они отдавались любви, какая–то злонамеренная сила напоминала ей об этом сходстве, и временами ей представлялось, что на ней лежит старая женщина с лицом, искаженным оргазмом. Но Поль давно забыл, что на его лице отпечатано лицо матери, и был уверен, что его лицо не что иное, как он сам.

— Фамилию мы также получили случайно, — продолжала она. — Мы не знаем, когда она возникла и как досталась какому–то нашему давнему предку. Мы не понимаем своей фамилии, не знаем ее истории и все же носим ее с экзальтированной верностью, сливаемся с нею, любуемся и смешно гордимся ею, словно мы сами придумали ее в минуты какого–то гениального озарения. С лицом то же самое. Случилось это, видимо, под конец детства: я так долго смотрелась в зеркало, что в конце концов уверовала, что то, что вижу, есть я. О том времени я вспоминаю весьма туманно, но знаю, что открывать свое «я» было, очевидно, упоительно, однако затем

настает минута, когда стоишь перед зеркалом и думаешь: и это я? почему? почему я связывала себя вот с этим самым? какое мне дело до этого лица? И в эту минуту все начинает рушиться.

— Что начинает рушиться? Что с тобой, Аньес? Что с тобой творится в последнее время?

Она посмотрела на него и вновь склонила голову. Он непоправимо походил на свою покойную мать. Впрочем, чем дальше, тем больше он походит на нее. Чем дальше, тем больше он походит на старую женщину, какой была его мать.

Поль схватил ее обеими руками и поднял. Она поглядела на него, и он только теперь заметил, что глаза у нее полны слез.

Он прижал ее к себе. Она поняла, что он очень любит ее, и ее вдруг пронизало чувство жалости. Ей стало грустно, что он так любит ее, и захотелось плакать.

— Надо пойти одеться, через минуту нам уже выходить, — сказала она и, высвободившись из его объятий, убежала в ванную.

8

Я пишу об Аньес, воображаю ее себе, заставляю сидеть на лавке в сауне, ходить по Парижу, листать журнал, разговаривать с мужем, но о том, что было в начале всего, о жесте дамы, помахав-

шей в бассейне инструктору, как бы забываю. Что, разве Аньес таким жестом никогда никому не машет? Нет, как ни странно, но мне кажется, она давно уже так не машет. Когда–то, еще совсем маленькой, да, тогда она это делала.

Это было в те годы, когда она еще жила в городе, позади которого обрисовываются верхушки Альп. Ей было шестнадцать, и как–то она пошла со своим одноклассником в кинотеатр. Когда погас свет, он взял ее руку. Вскоре у них вспотели ладони, но мальчик не осмеливался отпустить руку, которую так смело схватил, ведь это значило бы признать, что он потеет и стыдится этого. Так они полтора часа вымачивали руки в горячей влаге и разжали их, лишь когда стал зажигаться свет.

Потом, стараясь еще продолжить свидание, он повел ее в улочки старого города и поднялся с ней к старому монастырю, подворье которого было запружено туристами. Видимо, у него все было хорошо продумано: сравнительно быстрым шагом он повел ее в безлюдный коридор под довольно глупым предлогом показать ей одну картину. Они дошли до конца коридора, но там оказалась не картина, а крашеная коричневая дверь и на ней надпись WC. Мальчик, не видя надписи, остановился. Она же хорошо знала, что картины мало

интересуют его и что он просто ищет уединенное место, где мог бы ее поцеловать. Бедняжка, он не нашел ничего лучшего, чем этот грязный закуток возле клозета! Она рассмеялась, но, чтобы он не подумал, что она смеется над ним, указала ему надпись. Он тоже засмеялся, но впал в отчаяние. Разве можно было на фоне этих букв наклониться и поцеловать ее (тем более, что это был бы их первый, то бишь незабываемый поцелуй)? И ему, стало быть, ничего не оставалось, как с горьким ощущением капитуляции вернуться на улицу.

Они шли молча, и Аньес досадовала: почему он не поцеловал ее совершенно спокойно посреди улицы? Почему вместо этого повел ее в глухой коридор с уборной, в которой опрастывались поколения старых, отвратительных, вонючих монахов? Его растерянность льстила ей, она была знаком его стыдливой влюбленности, но еще больше отпугивала, ибо свидетельствовала о его незрелости; встречаться с мальчиком своего возраста было для нее как бы дисквалификацией: ее интересовали те, что постарше. Но, пожалуй, именно потому, что мысленно она предавала его, зная при этом, что он любит ее, какое–то чувство справедливости побуждало ее помочь ему в его любовном усилии, поддержать его, избавить от

ребячливой растерянности. И она решилась: если он не нашел в себе смелости, найдет она.

Он провожал ее до дома, и она приготовилась: как только они подойдут к калитке виллы, она быстро обнимет его и поцелует, а он будет настолько ошеломлен, что и с места не сдвинется. Однако в последнюю минуту у нее пропал к тому интерес: его лицо было не только печальным, но и неприступным, даже враждебным. Они подали друг другу руки, и она пошла по тропке, ведущей вдоль клумб к дверям дома. Она чувствовала, что мальчик недвижно стоит и смотрит на нее. Ей снова стало жалко его, и она, почувствовав к нему сострадание старшей сестры, вдруг сделала то, о чем секунду назад и не думала. На ходу она повернула к нему голову, улыбнулась и выбросила в воздух правую руку, весело, легко, плавно, словно бросала ввысь цветной мяч.

То мгновение, когда Аньес внезапно, без подготовки воздела руку плавным и легким движением, чудодейственно. Как же ей удалось в единую долю секунды и в первый раз в жизни найти для тела и руки движение столь совершенное, отточенное, подобное законченному творению искусства?

В то время к отцу Аньес ходила дама лет сорока,

секретарша факультета: одни бумаги приносила ему на подпись, другие забирала. Несмотря на то что повод для этих визитов был незначительный, они сопровождались загадочным напряжением (мать сразу замыкалась в себе), пробуждавшим у Аньес любопытство. Всегда, когда секретарша собиралась уходить, Аньес подбегала к окну, чтобы незаметно поглядеть на нее. Однажды, направляясь к калитке (то есть в сторону, противоположную той, какой пойдет несколько позже Аньес, сопровождаемая взглядом незадачливого одноклассника), секретарша повернула голову, улыбнулась и этаким неожиданным, плавным и легким движением выбросила в воздух руку. Картина незабываемая: посыпанная песком тропа в лучах солнца искрилась, как золотой поток, а по обеим сторонам калитки цвели два куста жасмина. Жест, устремленный ввысь, словно хотел указать этому золотому кусочку земли направление, каким ему вознестись, и белые кусты жасмина уже начали обращаться в крылья. Отца не было видно, но, судя по жесту женщины, он стоял в дверях и смотрел ей вслед.

Этот жест был столь неожиданным и прекрасным, что остался в памяти Аньес словно оттиск молнии: он звал ее в дали пространства и вре-

мени, рождая в шестнадцатилетней девушке неясное и беспредельное желание. И когда ей понадобилось сообщить своему пареньку что–то важное, но она не нашла для этого слов, этот жест ожил в ней и сказал за нее то, чего она сама не сумела выразить.

Я не знаю, как долго она пользовалась им (или, точнее сказать, как долго он пользовался ею), наверное, до того дня, когда заметила, что ее сестра, которая была восемью годами младше, выбрасывает в воздух руку, расставаясь со своей подружкой. Увидев свой жест в исполнении сестры, с раннего детства восторгавшейся ею и во всем подражавшей ей, Аньес почувствовала некую неловкость: взрослый жест был не к лицу одиннадцатилетней девочке. Но прежде всего ей пришло на ум, что этот жест дан в пользование всем и, стало быть, не принадлежит ей: когда она машет рукой, то, собственно, совершает кражу или подделку. С той поры она стала избегать этого жеста (совсем не просто отвыкнуть от жестов, которые привыкли к нам) и относилась с недоверием ко всем жестам. Она старалась ограничить их лишь самыми необходимыми (выражать кивком «да» или «нет», указывать на предмет, невидимый ее собеседнику), то есть теми, что

не претендуют на оригинальное проявление ее сущности. И так случилось, что очаровавший ее жест отцовской секретарши, уходившей по золотой тропе (и столь очаровавший меня, когда я увидел даму в купальнике, прощавшуюся с инструктором), совершенно уснул в ней.

Он проснулся только однажды. Было это еще до смерти матери, когда Аньес две недели провела в вилле с больным отцом. Прощаясь с ним в последний день, она понимала, что они уже долго не увидятся. Матери не было дома, и отец хотел проводить ее на улицу, к машине. Она не разрешила ему идти с ней дальше порога и пошла к калитке одна по золотому песку между клумб. У нее сжималось горло, ей невыразимо хотелось сказать отцу что–то прекрасное, чего нельзя выразить словами, и вдруг нежданно, она не знала даже, как это случилось, повернула голову и с улыбкой взмахнула рукой, легко, плавно, словно говорила ему, что перед ними еще долгая жизнь и что они еще много раз свидятся. Секундой позже она вспомнила сорокалетнюю даму, которая двадцать пять лет назад на том же месте таким же образом помахала рукой. Это встревожило и смутило ее. Словно внезапно в одно и то же мгновение встретились два отдаленных друг от друга

времени, словно в одном жесте встретились две разные женщины. Ее пронзила мысль, что эти две женщины, возможно, были единственными, кого он любил.

В гостиной, где все, отужинав, расположились в креслах с рюмкой коньяку или недопитой чашечкой кофе, поднялся наконец первый смельчак и с улыбкой откланялся хозяйке дома. Остальные, решив принять это как команду, вместе с Полем и Аньес повскакивали с кресел и поспешили к своим машинам. Поль сидел за рулем, а Аньес предавалась власти неумолчного шума машин, мелькания огней, тщеты непрестанного треволнения столичной ночи, не ведающей отдыха. Снова возникло у нее то странное, мощное чувство, которое охватывало ее все чаще и чаще: у нее нет ничего общего с этими существами о двух ногах, с головой на шее и ртом на лице. Когда–то она была захвачена их политикой, их наукой, их открытиями, считала себя малой частью их великой авантюры, пока однажды в ней не возникло чувство, что она не принадлежит к ним. Это чувство было странным, она противилась ему, зная, что оно абсурдно и аморально, но в конце концов решила, что не может приказывать своим чувствам: она не способна терзаться мыслью об

их войнах или радоваться их торжествам, ибо проникнута сознанием, что ей до этого нет дела.

Значит ли это, что у нее холодное сердце? Нет, к сердцу это не имеет отношения. Кстати, никто не подает нищим столько милостыни, сколько она. Она не может пройти мимо, не замечая их, и они, словно чувствуя это, обращаются к ней, мгновенно и издали среди сотен прохожих распознавая в ней ту, что видит и слышит их. Да, все именно так, однако к этому я должен добавить вот что: и ее щедрость по отношению к нищим носила характер отрицания: она одаривала их не потому, что нищие также принадлежат к человечеству, а потому, что не принадлежат к нему, что они исторгнуты из него и, вероятно, столь же отстранены от человечества, как и она.

Отстраненность от человечества — вот ее позиция. И единственное, что могло бы вырвать ее из этого отстранения: конкретная любовь к конкретному человеку. Если бы она кого–нибудь действительно любила, судьба остальных людей не была бы ей безразлична, ибо ее любимый зависел бы от этой судьбы, был бы ее частью, и тогда у нее не возникло бы чувства, что то, чем люди терзаются, их войны и их каникулы, вовсе не ее дело.

Своей последней мысли она испугалась. Неужто правда, что она никого из людей не любит? А как же Поль?

Она вспомнила, что за несколько часов до того, как они поехали ужинать, он подошел к ней и обнял ее. Да, что–то с ней происходит: в последнее время ее преследует мысль, что за ее любовью к Полю ничего не стоит, кроме единственного желания: единственного желания любить его; единственного желания быть с ним в счастливом браке. Если бы это желание на миг ослабело, любовь улетела бы точно птица, которой открыли клетку.

Час ночи, Аньес и Поль раздеваются. Доведись каждому описать, как раздевается другой, как он двигается при этом, оба пришли бы в замешательство. Они уже давно не смотрят друг на друга. Аппарат памяти выключен и не регистрирует ничего из тех совместных вечерних минут, что предшествуют их укладыванию в супружескую постель.

Супружеская постель: алтарь супружества; и кто говорит «алтарь», тем самым говорит «жертва». Здесь один приносит себя в жертву другому: оба засыпают с трудом, и дыхание одного будит другого; а посему они жмутся к краю кровати,

оставляя посреди нее широкое свободное пространство; каждый делает вид, что спит, ибо полагает, что тем самым облегчит отход ко сну другому, который сможет ворочаться с боку на бок, не опасаясь нарушить покой партнера. К сожалению, партнер не воспользуется этим, ибо и он (из тех же соображений) будет притворяться спящим и побоится шевельнуться.

Быть не в силах уснуть и не сметь шевельнуться: супружеская постель.

Аньес лежит, вытянувшись на спине, и в голове ее проносятся картины; в них снова присутствует этот странный ласковый человек, который все знает о них, но при этом не имеет понятия, что такое Эйфелева башня. Она отдала бы все, чтобы поговорить с ним с глазу на глаз, но он умышленно выбрал время, когда они дома оба. Аньес тщетно обдумывает, какой бы хитростью услать Поля из квартиры. Все трое сидят в креслах вокруг низкого столика за тремя чашечками кофе, и Поль старается развлечь гостя. Аньес лишь ждет, когда гость заговорит о том, зачем он пришел. Она–то ведь это знает. Но знает только она, Поль — нет. Наконец гость прерывает разглагольствования Поля и приступает к делу: «Вы, полагаю, представляете себе, откуда я прихожу».

«Да», — говорит Аньес. Она знает, что гость приходит с иной, очень далекой планеты, занимающей во Вселенной важное место. И она тотчас добавляет с робкой улыбкой: «Там лучше?»

Гость лишь пожимает плечами: «Аньес, вы же знаете, где вы живете».

Аньес говорит: «Возможно, смерти положено быть. Но разве нельзя было придумать как–нибудь по–другому? Неужто необходимо, чтобы после человека оставалось тело, которое надо зарыть в землю или бросить в огонь? Ведь все это чудовищно!»

«Разумеется, Земля — это чудовищно!» — говорит гость.

«И еще кое–что, — говорит Аньес. — Вопрос покажется вам глупым. Те, что живут там, у вас, имеют лицо?»

«Нет, не имеют. Лица существуют только здесь, у вас».

«И чем же тогда те, что живут там, отличаются друг от друга?»

«Там все являются своим собственным творением. Я бы сказал: каждый сам себя придумывает. Но об этом трудно говорить. Вам этого не понять. Но когда–нибудь вы это поймете. Я, собственно, пришел для того, чтобы сказать вам, что в буду-

щей жизни вы уже не вернетесь на Землю».

Аньес знает, конечно, наперед, что скажет им гость, и ничто не удивляет ее. Зато Поль поражен. Он смотрит на гостя, смотрит на Аньес, и она не может не заметить: «А Поль?»

«И Поль тут не останется, — отвечает гость. — Я пришел сообщить вам это. Мы всегда сообщаем об этом людям, которых мы выбрали. Я хочу лишь спросить вас: в будущей жизни вы хотите остаться вместе или предпочитаете уже не встретиться?»

Аньес ждала этого вопроса. По этой причине она и хотела остаться с гостем одна. Она понимала, что в присутствии Поля она не способна сказать: «Я больше не хочу быть с ним». Она не может сказать это при нем, как и он не может сказать это при ней, хотя вполне вероятно, что и он предпочел бы попробовать в будущем жить иначе, а стало быть, без Аньес. Однако сказать вслух друг перед другом: «Мы уже не хотим в будущей жизни оставаться вместе, мы не хотим больше встретиться», это все равно что сказать: «Никакой любви между нами не существовало и не существует». А как раз это невозможно выговорить вслух, ибо вся их совместная жизнь (уже более двадцати лет совместной жизни) основана

на иллюзии любви, иллюзии, которую оба заботливо пестуют и оберегают. И так всегда, когда она представляет себе эту сцену и дело доходит до вопроса гостя, она знает, что смалодушничает и скажет против своего желания, против своей мечты: «Да. Разумеется. Я хочу, чтобы и в будущей жизни мы были вместе».

Но сегодня впервые она уверена, что и в присутствии Поля найдет в себе смелость выговорить то, чего ей по–настоящему и до глубины души хочется; она уверена, что найдет в себе эту смелость даже ценой того, что между ними все рухнет.

Она слышала рядом шумное дыхание. Поль уже действительно спал. Она будто снова вставила в проектор ту же самую катушку пленки, отмотала еще раз перед глазами всю сцену: она разговаривает с гостем, Поль на нее изумленно смотрит, и гость говорит: «В будущей жизни вы хотите остаться вместе или предпочитаете больше не встретиться?»

Часть 2. БЕССМЕРТИЕ

(Удивительно: хотя он располагает о них всей информацией, земная психология для него непостижима, понятие любви неведомо, так что он не осознает, в какое положение ставит их столь откровенным, практичным и доброжелательным вопросом.)

Аньес, собрав всю свою внутреннюю силу, отвечает твердым голосом: «Мы предпочитаем больше не встретиться».

Этими словами она захлопывает дверь перед иллюзией любви.

1

13 сентября 1811. Вот уже третья неделя, как молодая новобрачная Беттина, урожденная Брентано, поселилась со своим мужем, поэтом Ахимом фон Арнимом, у супругов Гёте в Веймаре. Беттине двадцать шесть лет, Арниму тридцать, жене Гёте Христиане сорок девять; Гёте шестьдесят два года, и у него нет ни одного зуба. Арним любит свою молодую жену, Христиана любит своего старого мужа, а Беттина и после свадьбы не прекращает флиртовать с Гёте. В тот день Гёте до полудня остается дома, а Христиана сопро-

вождает молодую супружескую чету на выставку (устраивает ее друг семьи, надворный советник Майер), где представлены картины, о которых с похвалой отозвался Гёте. Госпожа Христиана в картинах толку не знает, но помнит, что говорил о них Гёте, так что теперь с легким сердцем может выдавать его суждения за свои. Арним слышит громкий голос Христианы и видит очки на носу Беттины. Очки то и дело подпрыгивают, как только Беттина (на кроличий манер) морщит нос. И Арним отлично знает: Беттина раздражена до бешенства. Он, словно почуя в воздухе бурю, неприметно удаляется в соседний зал.

Стоило ему уйти, как Беттина прерывает Христиану: нет, она нисколько с ней не согласна! Ведь эти совершенно немыслимые картины.

Не менее раздражена и Христиана, причем по двум причинам: с одной стороны, эта молодая патрицианка, хотя замужем и беременна, не стесняется кокетничать с ее мужем, с другой стороны — оспаривает его суждения. Чего она добивается? Быть первой среди тех, кто состязается в преданности Гёте, и одновременно — первой среди тех, кто восстает против него? Христиана возмущена каждой из этих причин в отдельности, а сверх того, тем, что одна логически исключает

другую. Поэтому громогласно заявляет, что столь признанные картины нельзя считать немыслимыми.

На что Беттина отвечает так: их не только можно считать немыслимыми, но следует сказать, что эти картины просто смешны! да, они смешны, и в поддержку своего утверждения она приводит аргумент за аргументом.

Христиана слушает и обнаруживает, что совсем не понимает того, о чем говорит ей эта молодая женщина. Чем сильнее кипятится Беттина, тем больше употребляет слова, заимствованные у своих сверстников, прошедших университетские аудитории, и Христиана знает, что Беттина употребляет их именно потому, что она, Христиана, не понимает их. Она смотрит на ее нос, на котором подпрыгивают очки, и ей представляется, что эти заумные слова и эти очки неразделимы. В самом деле, примечательно, что у Беттины на носу очки! Все же знают, что Гёте ношение очков в обществе почитает безвкусицей и эксцентричностью! И если Беттина, невзирая на это, носит в Веймаре очки, то лишь потому, что хочет нагло и вызывающе подчеркнуть, что она принадлежит к молодому поколению, именно к тому, которому присущ романтизм и очки. А мы знаем, что хочет

сказать человек, когда он гордо и демонстративно причисляет себя к молодому поколению: он хочет сказать, что будет жить в то время, когда иные (в Беттинином случае — Христиана и Гёте) будут уже давно и смешно лежать в могиле.

Беттина говорит, распаляясь все больше, и вдруг рука Христианы взлетает к ее лицу. Но в последний миг она осознает, что неловко давать пощечину тому, кто у нее гостит. Она замирает, и ее рука лишь соскальзывает по Беттининому лбу. Очки падают наземь и разбиваются. Окружающие оборачиваются, застывают в растерянности; из соседнего зала прибегает бедняга Арним и, не придумав ничего умнее, приседает на корточки и начинает поднимать осколки, словно собираясь их склеить.

В течение нескольких часов все напряженно ожидают вердикта Гёте. Чью сторону он примет, узнав обо всем?

Гёте принимает сторону Христианы и раз и навсегда запрещает супружеской чете Арним переступать порог его дома.

Когда разбивается рюмка, это на счастье. Когда разбивается зеркало, семь лет жди несчастья. А когда разбиваются очки? Это война. Во всех веймарских салонах Беттина объявляет, что

эта «толстая колбаса взбесилась и искусала ее». Изречение переходит из уст в уста, и весь Веймар хватается за животики. Это бессмертное изречение, этот бессмертный смех слышны и поныне.

2

Бессмертие. Гёте не боялся этого слова. В своей книге «Из моей жизни», означенной известным подзаголовком «Поэзия и правда» («Dichtung und Wahrheit»), он пишет о занавесе, на который жадно смотрел в новом лейпцигском театре, когда ему было девятнадцать лет. На занавесе вдали был изображен (привожу слова Гёте) «der Tempel des Ruhmes», Храм Славы, а перед ним — великие драматурги всех времен. В свободном пространстве между ними, вовсе их не замечая, шел «прямо к ступеням храма человек в легкой куртке; он был виден со спины и ничем особенным не выделялся. Человек этот был, несомненно, Шекспир: без предшественников и преемников, нимало не заботясь об образцах, своим путем двигался он навстречу бессмертию».

Бессмертие, о котором говорит Гёте, конечно, не имеет ничего общего с религиозным представлением о бессмертии души. Речь об ином, совершенно земном бессмертии тех, кто остается в памяти потомков. Любой человек может до-

стичь большего или меньшего, более короткого или долгого бессмертия и уже смолоду лелеет мысль о нем. Рассказывали, что у старосты одной моравской деревни, куда я мальчиком частенько захаживал, стоял дома открытый гроб, и он в те счастливые минуты, когда бывал чрезвычайно доволен собой, укладывался в него и воображал свои похороны. Ничего более прекрасного, чем эти вымечтанные минуты в гробу, он не знал: он пребывал в своем бессмертии.

Перед лицом бессмертия люди, конечно, не равны. Нужно различать так называемое малое бессмертие, память о человеке в мыслях тех, кто знал его (таково было бессмертие, о котором мечтал староста моравской деревни), и великое бессмертие, означающее память о человеке в мыслях тех, с кем он лично не был знаком. Есть жизненные пути, которые ставят человека лицом к лицу с таким великим бессмертием, пусть ненадежным, даже неправдоподобным, но тем не менее возможным: это жизненные пути художников и государственных деятелей.

Более всех европейских политиков нашего времени мысль о бессмертии занимала, пожалуй, Франсуа Миттерана: помню незабываемую церемонию, которая последовала за его избранием

президентом в 1981 году. Площадь Пантеона была запружена восторженной толпой, и он удалялся от нее: он один восходил по широким ступеням (точно так же, как шел Шекспир к Храму Славы на занавесе, о котором писал Гёте), и в руке у него были три розы. Затем он скрылся из глаз и оказался уже один–одинешенек среди надгробий шестидесяти четырех великих усопших, сопровождаемый в своем задумчивом одиночестве лишь взором телекамеры, съемочной группы и нескольких миллионов французов, вперивших взгляд в телевизоры, из которых рвалась бетховенская Девятая. Одну за другой он возложил эти розы на могилы трех мертвых, коих выбрал среди всех остальных. Он был подобен землемеру, втыкающему три розы, словно три колышка, в бесконечную стройплощадку вечности, дабы обозначить треугольник, в центре которого должен быть воздвигнут его дворец.

Валери Жискар д'Эстен, предшествующий президент, в 1974 году пригласил в Елисейский дворец на свой первый завтрак мусорщиков. То был жест сентиментального буржуа, мечтавшего о любви простолюдинов и желавшего вселить в них веру, что он один из них. Миттеран не был столь наивным, чтобы желать походить на мусор-

щиков (подобная мечта не сбывается ни у одного президента), он хотел походить на мертвых, что было гораздо мудрее, ибо смерть и бессмертие — точно неразлучная пара влюбленных, и тот, чей лик сливается у нас с ликами мертвых, бессмертен уже при жизни.

Американский президент Джимми Картер всегда был мне симпатичен, но я проникся к нему едва ли не любовью, увидев его на телеэкране в спортивном костюме, бегущим с группой своих сотрудников, тренеров и телохранителей; внезапно у президента на лбу выступили капли пота, лицо его искривилось в судороге, попутчики, склонившись к нему, подхватили его под руки, поддержали: у него случился небольшой сердечный приступ. Бег трусцой должен был стать для президента случаем явить народу свою вечную молодость. Ради этого были приглашены операторы, не по своей вине показавшие нам вместо пышущего здоровьем атлета стареющего человека в незадачливый для него час.

Человек мечтает быть бессмертным, и однажды камера покажет нам рот, сведенный печальной гримасой, как то единственное, что нам запомнится в нем, что останется у нас после него как парабола всей его жизни. Он вступит в бессмер-

тие, которое мы называем смешным. Тихо Браге был великим астрономом, но сегодня нам известно о нем лишь то, что во время торжественного ужина при пражском императорском дворе он так стеснялся отлучиться в уборную, что у него лопнул мочевой пузырь и он отошел к смешным бессмертным мучеником стыда и мочи. Он отошел к ним так же, как и Христиана Гёте, на века превращенная во взбесившуюся кусачую колбасу. Нет романиста, который был бы мне дороже Роберта Музиля. Он умер однажды утром, когда поднимал гантели. Я и сам теперь, поднимая их, с тревогой слежу за биением сердца и страшусь смерти, поскольку умереть с гантелями в руках, как умер боготворимый мною писатель, было бы эпигонством столь невероятным, столь неистовым, столь фанатичным, что вмиг обеспечило бы мне смешное бессмертие.

Вообразим, что во времена императора Рудольфа уже существовали телекамеры (те, что обеспечили бессмертие Картеру), снимавшие пиршество при императорском дворе, во время которого Тихо Браге ерзал на стуле, бледнел, закидывал ногу на ногу и закатывал глаза. Если бы к тому же он знал, что на него смотрят несколько миллионов зрителей, муки его возросли бы во

сто крат, и смех, отзывающийся в кулуарах его бессмертия, звучал бы еще громче.

Народ наверняка бы потребовал, чтобы фильм о знаменитом астрономе, которому стыдно помочиться, крутили бы в канун каждого Нового года, когда люди хотят смеяться и по большей части не знают чему.

Этот образ рождает во мне вопрос: меняется ли характер бессмертия в эпоху камер? Не замедлю ответить: в сущности — нет; ибо фотографический объектив существовал уже задолго до того, как был изобретен; он существовал в форме своей собственной нематериализованной сущности. Хотя никакой объектив на людей и не был наставлен, они вели себя так, точно их фотографировали. Вокруг Гёте не сновало никакой толпы фотографов, но вокруг него сновали тени фотографов, брошенные на него из глубин будущего. Так было, например, во время его знаменитой аудиенции у Наполеона. Тогда, находясь на вершине славы, император французов собрал в Эрфурте всех европейских правителей, которым надлежало выразить согласие на раздел власти между ним и императором русских.

В этом смысле Наполеон был истым французом: мало было ему во славу свою погнать на смерть

сотни тысяч людей, ему понадобилось еще и восхищение писателей. Как–то он осведомился у своего советника по культуре, кто считается самым признанным среди духовных авторитетов современной Германии, и узнал, что это прежде всего некий господин Гёте. Гёте! Наполеон стукнул себя по лбу. Автор «Страданий юного Вертера»! Во время Египетского похода он как–то обнаружил, что его офицеры увлеченно читают эту книгу. Поскольку и сам знал ее, он страшно разгневался. Выбранив офицеров за чтение такого сентиментального вздора, он раз и навсегда запретил им брать в руки роман. Любой роман! Пусть читают исторические сочинения, это куда полезнее! Однако на сей раз он порадовался, что знает, кто такой Гёте, и решил пригласить его. Сделал он это даже не без удовольствия, ибо советник доложил ему, что Гёте знаменит прежде всего как драматург. Наполеон гнушался романами, однако признавал театр, ибо он напоминал ему сражения. А поскольку он и сам был одним из величайших авторов сражений и сверх того — их непревзойденным режиссером, в глубине души он был уверен, что он одновременно и величайший трагический поэт всех времен, больший, чем Софокл, больший, чем Шекспир.

Советник по культуре был сведущим человеком, однако, случалось, кое в чем ошибался. Хотя Гёте и немало занимался театром, но слава его почти не была с ним связана.

Наполеоновский советник, по всей вероятности, спутал Гёте с Шиллером. В конце концов, если учесть, что Шиллер был близок с Гёте, то не столь уж большой ошибкой было создать из двух друзей одного поэта; возможно даже, что советник действовал вполне осознанно, движимый похвальным дидактическим умыслом, когда сотворил для Наполеона синтез немецкого классицизма в лице Фридриха Вольфганга Шиллёте.

Получив приглашение, Гёте (не предполагая, что он Шиллёте) тотчас понял, что должен принять его. Оставался ровно год до его шестидесятилетия. Смерть приближается, а со смертью и бессмертие (ибо, как я сказал, смерть и бессмертие составляют неразлучную пару, прекраснее, чем Маркс и Энгельс, чем Ромео и Джульетта, чем американские комики Лорел и Гарди), и Гёте не мог пренебречь приглашением бессмертного. Несмотря на то что был тогда чрезвычайно поглощен работой над «Учением о цвете», почитая ее вершиной своего творчества, он оставил письменный стол и поехал в Эрфурт, где 2 октября

1808 года произошла незабываемая встреча бессмертного поэта с бессмертным полководцем.

Окруженный беспокойными тенями фотографов, Гёте восходит по широкой лестнице. Сопровождает его адъютант Наполеона, он приводит его по следующей лестнице и следующими коридорами в большую гостиную, в глубине которой за круглым столом сидит Наполеон и завтракает. Вокруг снуют люди в форме и обращаются к нему с различными донесениями, на которые он, жуя, отвечает. Лишь спустя несколько минут адъютант осмеливается указать ему на Гёте, недвижно стоящего поодаль. Наполеон окидывает его взглядом и всовывает правую руку под жилет, касаясь ладонью последнего левого ребра. (Когда–то он это делал, страдая болями в желудке, но позже этот жест пришелся ему по душе, и он автоматически прибегал к нему, замечая вокруг фотографов.) Он быстро проглатывает кусок (негоже быть сфотографированным, когда лицо искажено жеванием, в газетах же злонамеренно публикуют именно такие фотографии) и говорит громко, чтобы все слышали: «Voila un homme!» Какой мужчина!

Эта короткая фраза как раз то, что теперь во Франции принято называть «une petite phrase».

Политики произносят долгие речи, в которых без зазрения совести бубнят одно и то же, зная, что совершенно все равно, повторяются они или нет, ибо до широкой общественности так или иначе дойдут лишь те несколько слов, какие будут цитировать из их выступлений журналисты. Дабы облегчить им задачу и чуть направить их в нужное русло, политики вставляют в свои все более и более единообразные речи одну–две короткие фразы, которые до сей поры никогда не произносили, — это уже само по себе столь неожиданно и ошеломляюще, что «короткая фраза» вмиг становится заметной. Искусство политики ныне состоит не в управлении polis (они управляются самой логикой своего темного и неконтролируемого механизма), а в придумывании «petites phrases», по которым политик будет увиден, понят и поддержан на плебисците, равно как избран или не избран на предстоящих выборах. Гёте еще неведом термин «petite phrase», но, как известно, вещи присутствуют в своем существе еще до того, как бывают материализованы или названы. Гёте понимает, что как раз то, что сказал Наполеон, и есть выдающаяся «petite phrase», которая им обоим придется весьма кстати. Он доволен и на шаг приближается к столу полководца.

Вы можете толковать что угодно о бессмертии поэтов, полководцы бессмертны в еще большей степени, так что это Наполеон, кто с полным правом задает вопросы Гёте, а не наоборот. «Сколько вам лет?» — спрашивает он его. «Шестьдесят», — отвечает Гёте. «Для этого возраста вы хорошо выглядите», — признает Наполеон (ему на двадцать лет меньше), и это доставляет Гёте радость. Когда ему было пятьдесят, он был ужасно толстым, с двойным подбородком, но это его не тревожило. Однако по мере того как прибывали годы, ему все чаще приходила мысль о смерти, и он испугался, что может войти в бессмертие с отвратительным брюхом. А посему решил похудеть и сделался вскоре стройным мужчиной, который хоть уже и не был красив, но мог, во всяком случае, вызывать воспоминания о своей былой красоте.

«Вы женаты?» — спрашивает Наполеон, полный искреннего интереса. «Да», — отвечает Гёте, слегка при этом кланяясь. «И дети есть?» — «Один сын». Тут к Наполеону наклоняется какой–то генерал и сообщает ему важную новость. Наполеон задумывается. Он вынимает руку из–под жилета, втыкает вилку в кусок мяса, подносит ее ко рту (эта сцена уже не отснята) и, жуя, от-

вечает. Лишь минутой позже он вспоминает о Гёте. Полный искреннего интереса, он задает вопрос: «Вы женаты?» — «Да», — отвечает Гёте, слегка при этом кланяясь. «И дети есть?» — «Один сын», — отвечает Гёте. «А что Карл–Август?» — внезапно выпаливает Наполеон имя правителя Гёте, герцога Веймарского, и по его тону ясно, что он недолюбливает этого человека.

Гёте не может дурно отзываться о своем государе, однако не может и возражать бессмертному и потому лишь говорит с дипломатической уклончивостью, что Карл–Август много сделал для науки и искусства.

Упоминание о науках и искусствах становится для бессмертного поводом перестать жевать, встать из–за стола, сунуть руку под жилет, на шаг–другой приблизиться к поэту и завести с ним разговор о театре. В эту минуту поднимает шум невидимая толпа фотографов, начинают щелкать аппараты, и полководец, который отвел поэта чуть в сторону для доверительного разговора, вынужден повысить голос, дабы все присутствующие его слышали. Он предлагает Гёте написать пьесу об Эрфуртской встрече, которая наконец–то обеспечит человечеству мир и счастье. «Театр, — говорит он затем чересчур громко, — должен был

бы стать школой народа! (Это вторая красивая «petite phrase“, коя была бы достойна появиться на следующий день в виде огромного заголовка над пространными газетными статьями.) И было бы превосходно, — добавляет он более тихим голосом, — если бы вы посвятили эту пьесу императору Александру!» (Ибо о нем шла речь на Эрфуртской встрече! Наполеону необходимо было привлечь его на свою сторону!) Засим он одаривает Шиллёте и небольшой лекцией по литературе; тем временем адъютанты прерывают его рапортами, и он теряет нить мыслей. Чтобы найти ее, он еще дважды, без связи и убежденности, повторяет, что «театр — школа народа», а затем (да! наконец! нить найдена!) упоминает о «Смерти Цезаря» Вольтера. Вот, по мнению Наполеона, пример того, как поэт–драматург упустил возможность стать наставником народа. В пьесе он должен был бы явить образ великого полководца, который трудился на благо народа, и лишь краткость времени, отмеренного ему жизнью, помешала ему осуществить свои замыслы. Последние слова прозвучали меланхолично, и полководец посмотрел прямо в глаза поэту: «Вот великая тема для вас!»

Но тут его снова прервали. В помещение входят

высшие офицеры. Наполеон вытаскивает руку из–под жилета, садится к столу, тычет вилкой в мясо и, жуя, выслушивает донесения. Тени фотографов исчезают из гостиной. Гёте оглядывается. Осматривает картины на стенах. Затем подходит к адъютанту, который привел его сюда, и спрашивает, можно ли считать аудиенцию оконченной. Адъютант утвердительно кивает. Вилка Наполеона подносит ко рту кусок мяса, а Гёте удаляется.

Беттина была дочерью Максимилианы Ла Рош, женщины, в которую был влюблен двадцатитрехлетний Гёте. Если не считать нескольких целомудренных поцелуев, то была любовь бестелесная, чисто сентиментальная и не оставившая никаких следов уже потому, что мать Максимилианы вовремя выдала свою дочь замуж за богатого итальянского купца Брентано, который, заметив, что молодой поэт осмеливается и далее флиртовать с его женой, выгнал его из своего дома и запретил ему когда–либо в нем появляться. Максимилиана впоследствии родила двенадцать детей (этот инфернальный итальянский самец за свою жизнь наплодил их двадцать!), в том числе девочку, которой дала имя Элизабет; то была Беттина.

Гёте привлекал Беттину с ранней юности. Во–первых, потому, что на глазах всей Германии он шагал к Храму Славы, а во–вторых — потому что она узнала о любви, которую он питал к ее матери. Беттина стала завороженно погружаться в эту давнюю любовь, и тем завороженнее, чем дальше эта любовь отступала в прошлое (Боже мой, это происходило за тринадцать лет до ее рождения!), и мало–помалу в ней росло ощущение, что она обладает каким–то тайным правом на великого поэта, ибо в метафорическом смысле слова (а кто иной мог бы относиться серьезно к метафорам, кроме поэта) считала себя его дочерью.

Общеизвестно, что мужчины обладают неблаговидной склонностью увиливать от своих отцовских обязанностей, не платить алиментов и не признавать своих детей. Они отказываются понять, что ребенок — сама сущность любви. Да, сущность каждой любви — ребенок, и вовсе не имеет значения, был ли он зачат и родился ли на свет. В алгебре любви ребенок — знак магической суммы двух существ. Если мужчина любит женщину, то, и не дотрагиваясь до нее, он должен считаться с тем, что от любви может возникнуть и появиться на свет плод даже по прошествии тринадцати лет с момента последней встречи

влюбленных. Нечто подобное думала Беттина, прежде чем наконец решилась приехать в Веймар и явиться к Гёте. Произошло это весной 1807 года. Ей было двадцать два года (почти как Гёте, когда он ухаживал за ее матерью), но она по–прежнему чувствовала себя ребенком. Это чувство тайно оберегало ее, словно детство было ее щитом.

Носить перед собою щит детства — то была ее хитрость на протяжении всей жизни. Хитрость, но и естество, поскольку еще ребенком она привыкла играть в ребенка. Она всегда была немножко влюблена в своего старшего брата поэта Клеменса Брентано и с превеликим удовольствием усаживалась к нему на . колени. Уже тогда (ей было четырнадцать) она умела насладиться той тройственной ситуацией, в какой она одновременно была ребенком, сестрой и взыскующей любви женщиной. Можно ли прогнать ребенка с колен? Даже Гёте не способен будет это сделать.

Она села к нему на колени уже в 1807 году, в день их первого свидания, если можно верить тому, как она сама его описала: сперва она сидела напротив Гёте на диване; он говорил вежливо–опечаленным голосом о герцогине Амалии,

умершей несколько дней назад. Беттина сказала, что ничего не знает об этом. «Как так? — удивился Гёте. — Вас не занимает жизнь Веймара?» Беттина сказала: «Меня занимаете только вы». Гёте улыбнулся и сказал молодой женщине роковую фразу: «Вы прелестный ребенок». Как только она услыхала слово «ребенок», она перестала смущаться. Объявив, что ей неудобно сидеть, вскочила с дивана. «Сядьте так, чтобы вам было удобно», — сказал Гёте, и Беттина, обвив его шею руками, уселась к нему на колени. Ей было там так чудесно сидеть, что, прижавшись к нему, она вскоре уснула.

Трудно сказать, действительно ли было так, или Беттина мистифицирует нас, но даже если и мистифицирует, то тем лучше — она открывает нам, какой ей хочется явить себя, и описывает методу своего подхода к мужчинам: на манер ребенка она была дерзостно откровенна (объявила, что смерть веймарской герцогини ей безразлична и что ей неудобно сидеть на диване, хотя на нем благоговейно сидели десятки других посетителей); на манер ребенка она бросилась к нему на шею и уселась на колени; и как венец всего: на манер ребенка она там заснула!

Принять позу ребенка — нет ничего более

выгодного: ребенок может позволить себе что захочет, ибо он невинен и неопытен; ему необязательно придерживаться правил приличия, он ведь еще не вступил в мир, где властвует форма; он имеет право проявлять свои чувства без учета того, удобно это или нет. Люди, отказавшиеся видеть в Беттине ребенка, говорили о ней, что она сумасбродна (однажды, охваченная чувством восторга, она принялась танцевать, упала и расшибла лоб об угол стола), невоспитанна (в обществе вместо стула она садилась на пол), а главное, чудовищно неестественна. И напротив: те, что были готовы воспринимать ее как вечного ребенка, восхищались ее спонтанной непосредственностью.

Гёте был растроган этим ребенком. В память о своей собственной молодости он подарил Беттине прекрасный перстень. Этим же вечером он коротко занес в свой дневник: Мамзель Брентано.

6

Сколько же раз на протяжении жизни встретились эти прославленные любовники, Гёте и Беттина? Она пожаловала к нему уже осенью того же 1807 года и осталась в Веймаре на десять дней. Затем она увидела его лишь три года

спустя: приехала на три дня на чешский курорт Теплице, где на тамошних благодатных водах, к ее вящему изумлению, как раз лечился Гёте. А годом позже уже произошел тот роковой визит в Веймар: две недели спустя после Беттининого приезда Христиана сбросила на пол ее очки.

А сколько раз они оставались по–настоящему наедине, с глазу на глаз? Раза три–четыре, вряд ли более. Чем меньше они виделись, тем больше писали друг другу или, точнее, тем больше она писала ему. Она написала ему пятьдесят два длинных письма, в которых обращалась к нему на «ты» и говорила исключительно о любви. Но, кроме лавины слов, ничего другого, собственно, не было, и, естественно, мы можем задаться вопросом: почему же история их любви стала столь знаменитой?

Ответ таков: она стала знаменитой потому, что с самого начала речь шла не о любви, а кое о чем другом.

Гёте в скором времени это почувствовал. Впервые он встревожился, когда Беттина сообщила ему, что еще задолго до первого посещения Веймара она весьма сблизилась с его старой матерью, жившей, как и она, во Франкфурте. Беттина расспрашивала ее о сыне, и обласканная

и польщенная матушка целыми днями делилась с ней множеством воспоминаний. Беттина полагала, что ее дружба с матерью Гёте откроет ей его дом и его сердце. Этот расчет был не вполне точным. Обожествляющая любовь матери казалась Гёте несколько комичной (он ни разу не приехал из Веймара навестить ее), и союз экстравагантной девицы с наивной матушкой представлялся ему опасным.

Могу себе вообразить, что он испытывал весьма смешанные чувства, когда Беттина рассказывала ему истории, услышанные ею от старой дамы. Сперва, разумеется, он был польщен интересом, проявленным к нему молодой девушкой. Ее рассказы пробуждали в нем множество дремлющих приятных ему воспоминаний. Но вскорости среди них он обнаружил и анекдотические ситуации, которые не могли произойти или в которых он выглядел столь смешным, что происходить им вовсе не полагалось. Кроме того, его детство и юность приобретали в устах Беттины определенную окраску и смысл, которые отнюдь не устраивали его. Не то чтобы Беттина хотела использовать воспоминания о его детстве во зло ему, скорее потому, что человеку (любому человеку, не только Гёте) неприятно слушать

рассказы о своей жизни в чужой, а не в своей собственной интерпретации. Таким образом, Гёте почувствовал себя в опасности: эта девушка, что вращается в среде молодых интеллектуалов романтического толка (Гёте не испытывал к ним ни малейшей симпатии), опасно честолюбива и считает себя (с апломбом, недалеким от бесстыдства) будущей писательницей. Впрочем, однажды она ему прямо сказала: она хотела бы написать книгу по воспоминаниям его матери. Книгу о нем, о Гёте! В те мгновения за проявлениями любви он углядел угрожающую агрессивность пера и насторожился.

Но именно потому, что относился к ней настороженно, он делал все, дабы не быть неприятным.

Она была слишком опасна, чтобы он мог позволить себе превратить ее в своего врага: он предпочел держать ее под мягким, но постоянным контролем. Но вместе с тем он понимал, что даже с этой мягкостью он не должен перегибать палку, поскольку и самый незначительный жест, который она могла бы истолковать как проявление страсти нежной (а она была готова и чох его истолковать как признание в любви), прибавил бы ей смелости.

Однажды она написала ему: «Не сжигай моих

писем, не рви их; это могло бы навредить тебе, ибо любовь, которую в них выражаю, связана с тобою незыблемо, подлинно и животворно. Но никому их не показывай! Храни их как тайную красоту». Сперва он снисходительно улыбнулся тому, что Беттина столь убеждена в красоте своих писем, но затем его привлекла фраза «Но никому их не показывай!». Зачем она говорит ему это? Разве у него было хоть малейшее желание кому–то показать их? Императивом «Не показывай! » Беттина выдала свое тайное желание показать. У него не оставалось сомнений, что письма, которые он ей время от времени Пишет, будут иметь и других читателей, и он знал, что пребывает в положении обвиняемого, которого судья оповестил: все, что отныне вы скажете, может быть истолковано против вас.

И посему между приветливостью и сухостью он постарался тщательно вымерить срединный путь: на ее экзальтированные письма он отзывался посланиями, которые одновременно были дружескими и сдержанными, и на ее «тыканье» долго отвечал обращением к ней на «вы». Если они оказывались где–то вместе, он был к ней по–отцовски ласков, приглашал ее к себе в дом, но всегда старался встречаться с ней при сви-

детелях.

Так о чем же, собственно, шла между ними речь?

В 1809 году Беттина пишет ему: «У меня твердое желание любить тебя вечность». Прочтите внимательно эту, казалось бы, банальную фразу. Слова «вечность» и «желание» гораздо важнее в ней, чем слово «любить».

Не стану дольше держать вас в напряжении. То, о чем шла между ними речь, была не любовь. То было бессмертие.

В 1810 году, в те три дня, когда они случайно оба оказались в Теплице, она призналась ему, что в скором времени выйдет замуж за поэта Ахима фон Арнима. Вероятно, она поведала ему об этом в некоем смятении, так как опасалась, не сочтет ли Гёте ее брак изменой любви, в которой столь страстно объяснялась ему. Она недостаточно знала мужчин, чтобы предугадать, какую тихую радость тем самым доставит ему.

Тотчас после ее отъезда он пишет письмо в Веймар Христиане, и в нем — задорную фразу: «Mit Arnim ists wohlgewiss». С Арнимом, видимо, дело решенное. В том же письме он выражает радость, что Беттина на сей раз «и вправду была красивее и милее, чем когда–либо», и мы понимаем, поче-

му она такой представлялась ему: он был уверен, что существование мужа отныне будет ограждать его от ее экстравагантностей, которые до сих пор мешали ему оценить ее прелести непредвзято и в добром расположении духа.

Чтобы постичь ситуацию, мы не должны забывать об одной важной вещи: с ранней молодости Гёте был обольстителем, а следовательно, к тому времени, когда он познакомился с Беттиной, он был таковым уже сорок лет подряд; за это время в нем выработался механизм реакций и жестов обольщения, который приходил в движение при самом малом импульсе. До сей поры в присутствии Беттины он вынужден был с превеликим усилием удерживать его в бездействии. Но, поняв, что «с Арнимом, видимо, дело решенное», он с облегчением подумал, что в дальнейшем его осторожность будет излишней.

Вечером она пришла в его комнату и снова разыгрывала из себя ребенка. Она говорила что-то прелестно недозволительное и, в то время как он оставался в своем кресле, плюхнулась рядом на пол. Пребывая в добром расположении духа («с Арнимом, видимо, дело решенное»), он наклонился к ней и погладил ее по лицу, как мы гладим ребенка. В этот момент ребенок прекратил свой

лепет и возвел к нему глаза, полные женской страсти и требовательности. Он взял ее за руки и поднял с пола. Запомним эту сцену: он сидел, она стояла против него, а за окном заходило солнце. Она смотрела ему в глаза, он смотрел в глаза ей, механизм обольщения был пущен в ход, и он не противился этому. Голосом чуть более глубоким, чем обычно, не переставая смотреть ей в глаза, он велел ей обнажить грудь. Она ничего не сказала, ничего не сделала; покрылась румянцем. Он поднялся с кресла и сам расстегнул ей на груди платье. Она все время смотрела ему в глаза, а вечерняя заря окрашивала ее кожу вперемешку с румянцем, залившим ее от лица до самого живота. Он положил ей руку на грудь. «Скажи, еще никто не касался твоей груди?» — спросил он ее. «Нет, — ответила она. — И мне так странно, что ты касаешься меня», — и она неотрывно смотрела ему в глаза. Не отнимая руки от ее груди, он тоже смотрел ей в глаза и долго и жадно наблюдал на самом их дне стыд девушки, чьей груди еще никто не касался.

Примерно так сама Беттина описала эту сцену, которая, вероятнее всего, не имела никакого продолжения и сверкает посреди их истории, скорее риторической, нежели эротической, как

единственная и великолепная жемчужина сексуального возбуждения.

8

После ее отъезда в них обоих надолго остался след этого чарующего мгновения. В письме, последовавшем за их последней встречей, Гёте называл ее allerliebste, любимейшей. Однако это не помешало ему помнить о сути дела, и уже в следующем письме он сообщал ей, что начинает писать мемуары «Из моей жизни» и ему понадобится ее помощь: его матушки нет уже в живых, и никто другой не может воскресить в нем его юность. А Беттина провела рядом со старой дамой много времени: пусть напишет все, что она ей рассказывала, и пришлет ему, Гёте!

Разве он не знал, что Беттина хотела сама издать книгу воспоминаний о детстве Гёте? Что даже вела о том переговоры с издателем? Разумеется, знал. Держу пари, что он попросил ее об этой услуге не потому, что нуждался в ней, а лишь для того, чтобы она сама не смогла предать гласности что–либо, связанное с ним. Расслабленная волшебством их последней встречи и опасением, что брак с Арнимом отдалит от нее Гёте, она согласилась. Ему удалось обезвредить ее, как обезвреживают бомбу замедленного действия.

А потом она приехала в Веймар в сентябре 1811–го; приехала со своим молодым мужем, беременная. Нет ничего более отрадного, чем встреча с женщиной, которой мы боялись и которая, обезоруженная, уже не нагоняет страху. Но и беременная, и замужняя, и лишенная возможности написать книгу о его юности, Беттина, однако, не чувствовала себя обезоруженной и не собиралась прекращать свою борьбу. Поймите правильно: не борьбу за любовь; борьбу за бессмертие.

Что о бессмертии думал Гёте, это можно вполне допустить, учитывая его положение. Но можно ли допустить, что о нем думала и безвестная девушка Беттина, причем в столь юном возрасте? Разумеется, да. О бессмертии думают с детства. Кроме того, Беттина принадлежала к поколению романтиков, что были зачарованы смертью уже с той минуты, как появились на свет. Новалис не прожил и тридцати лет, однако, невзирая на молодость, ничто никогда не вдохновляло его больше, чем смерть, волшебница смерть, смерть, пресуществленная в алкоголь поэзии. Все они жили в трансцендентальном мире, превосходя самих себя, протягивая руки в неоглядные дали, к самому концу своих жизней и даже за их пределы, в дали небытия. Но как уже было

сказано, где смерть, там и бессмертие — спутник ее, и романтики обращались к нему на «ты» так же бесцеремонно, как Беттина говорила «ты» Гёте. Годы между 1807–м и 1811–м были самым прекрасным периодом ее жизни. В 1810 году в Вене она навестила, без уведомления, Бетховена. Она вдруг оказалась знакомой с двумя наибессмертнейшими немцами, не только с красивым поэтом, но и с уродливым композитором, и с обоими флиртовала. Это двойное бессмертие пьянило ее. Гёте был уже старым (в те годы считался стариком и шестидесятилетний) и великолепно созревшим для смерти; Бетховен, хотя ему едва перевалило за сорок, был, даже не подозревая того, на пять лет ближе к смерти, чем Гёте. Беттина стояла между ними, как нежный ангел меж двумя огромными черными надгробиями. Это было так прекрасно, что ей вовсе не мешал почти беззубый рот Гёте. Напротив, чем он был старше, тем был привлекательнее, ибо чем ближе был к смерти, тем ближе был к бессмертию. Лишь мертвый Гёте способен будет взять ее за руку и повести к Храму Славы. Чем ближе он был к смерти, тем меньше она готова была от него отказаться.

И потому в том роковом сентябре 1811 года, хотя она была замужем и беременна, она разыгрывала

из себя ребенка еще старательнее, чем когда–либо прежде, громко говорила, усаживалась на пол, на стол, на край комода, на люстру, на деревья, ходила пританцовывая, пела, когда остальные вели серьезные разговоры, изрекала многозначительные фразы, когда остальным хотелось петь, и во что бы то ни стало стремилась остаться с Гёте наедине. Однако за все две недели это удалось ей только однажды. Судя по ее собственному рассказу, это происходило примерно так.

Был вечер, они сидели у окна в его комнате. Она стала говорить о душе, затем о звездах. Тут Гёте посмотрел кверху в окно и указал Беттине на большую звезду. Но Беттина была близорукой и ничего не увидела. Гёте подал ей телескоп: «Нам повезло: это Меркурий! Этой осенью его прекрасно видно». Но Беттине хотелось говорить о звездах влюбленных, а не о звездах астрономов, и потому, приложив телескоп к глазу, она притворилась, будто ничего не видит, и объявила, что этот телескоп слишком слаб для нее. Гёте терпеливо пошел за телескопом с более сильными стеклами. Он вновь заставил приложить его к глазу, и она вновь объявила, что ничего не видит. Это подвигло Гёте завести речь о Меркурии, о Марсе, о планетах, о Солнце, о Млечном Пути.

Говорил он долго, а когда кончил, она извинилась и сама, по собственному желанию, пошла спать. Несколькими днями позже объявила на выставке, что все вывешенные картины немыслимы, и Христиана сбросила наземь ее очки.

День разбитых очков, день тринадцатого сентября, Беттина пережила как великое поражение. Сперва она реагировала на него воинственно, разгласив по всему Веймару, что ее укусила «бешеная колбаса», но вскорости поняла, что ее злоба приведет лишь к тому, что она никогда уже не увидит Гёте и тем самым ее великая любовь к бессмертному превратится в ничтожный эпизод, обреченный на забвение. И потому она принудила добряка Арнима написать Гёте письмо и попытаться попросить за нее извинения. Но письмо осталось без ответа. Супруги Арним покинули Веймар, а в январе 1812 года посетили его снова. Гёте не принял их. В 1816 году умерла Христиана, и вскоре Беттина послала Гёте длинное письмо, полное смирения. Гёте безмолвствовал. В 1821 году, то есть десять лет спустя после их последней встречи, она приехала в Веймар и явилась к Гёте, который в тот вечер принимал гостей и не мог не позволить ей войти в дом. Однако он не обмолвился с ней ни единым

словом. В декабре того же года она написала ему еще раз. И не получила никакого ответа. В 1823 году советники франкфуртского магистрата решили воздвигнуть памятник Гёте и заказали его некоему скульптору Рауху. Эскиз не понравился Беттине, и она вмиг поняла, что судьба дарует ей случай, какой нельзя упустить. Не умея рисовать, она, однако, в ту же ночь взялась за работу и начертила собственный проект скульптуры: Гёте сидел в позе античного героя, в руке держал лиру, между его колен стояла девушка, представляющая собой Психею; а волосы его походили на языки пламени. Рисунок она послала Гёте, и тут произошло нечто совершенно невообразимое: на глаза Гёте навернулась слеза! Итак, спустя тринадцать лет (случилось это в июле 1824–го, ему было семьдесят пять, а ей тридцать девять) он принял ее у себя и, несмотря на то что держал себя чопорно, дал ей понять, что все прощено и пора презрительного молчания позади.

Мне представляется, что на этой стадии оба протагониста пришли к холодно провидческому пониманию ситуации: оба знали, что для каждого из них важно, и каждый знал, что другой это знает. Своим рисунком Беттина впервые недвусмысленно обозначила то, что с самого начала

содержалось в игре: бессмертие. Беттина этого слова не произнесла, разве что беззвучно коснулась его, как касаются струны, которая затем тихо и долго звенит. Гёте услышал. Поначалу он был лишь глупо польщен, но постепенно (когда уже утер слезу) стал постигать истинный (и менее лестный) смысл Беттининого послания: она дает ему знать, что прежняя игра продолжается; что она не отступила; что это она сошьет ему торжественный саван, в котором он предстанет перед потомством; что он ничем не будет препятствовать ей в том и менее всего — своим упрямым молчанием. Он снова вспомнил то, что давно знал: Беттина опасна и потому лучше держать ее под ласковым присмотром.

Беттина знала, что Гёте знает. Это вытекает из их последующей встречи осенью того же года; она сама описывает ее в письме, посланном племяннице: вслед за приветствием, пишет Беттина, Гёте «сперва стал брюзжать, потом же обласкал меня словами, чтобы вновь снискать мою приязнь».

Можем ли мы не понять Гёте! С беспощадной очевидностью он почувствовал, как она действует ему на нервы, и вознегодовал на самого себя, что нарушил это восхитительное тринадцати-

летнее молчание. Он стал с ней спорить, словно хотел одним махом выложить ей все, что у него накопилось против нее. Но тут же одернул себя: почему он откровенен? почему говорит ей, что думает? Прежде всего важна его решимость: нейтрализовать ее; усмирять ее; держать ее под присмотром.

По меньшей мере раз шесть в течение их разговора, рассказывает далее Беттина, Гёте под разными предлогами удалялся в соседнюю комнату, где украдкой пил вино, о чем она догадалась по его дыханию. Наконец она, смеясь, спросила его, почему он ходит пить украдкой, и он обиделся.

Много любопытнее, чем удалявшийся пить вино Гёте, представляется мне Беттина; она вела себя не так, как вели бы себя вы или я: забавляясь, мы бы следили за Гёте и при этом тактично и уважительно молчали. Сказать ему то, что иные не посмели бы и выговорить («Твое дыхание отдает алкоголем! почему ты пил? и почему пил украдкой?»), для нее было способом силой вырвать из него часть его сокровенной сути, оказаться с ним в самом тесном соприкосновении. В ее агрессивной бестактности, право на которую она всегда присваивала себе, пользуясь маской

ребенка, Гёте вдруг обнаружил ту Беттину, какую еще тринадцать лет назад решил никогда больше не видеть. Молча поднявшись, он взял лампу; это было знаком того, что свидание окончено и что теперь он намерен проводить посетительницу по темному коридору к дверям.

Тогда, продолжает Беттина в своем письме, чтобы помешать ему выйти, она преклонила на пороге колени, лицом к комнате, и сказала: «Я хочу знать, в силах ли я удержать тебя и дух ли ты добра или дух зла, подобно крысе Фауста; я целую и благословляю порог, который каждодневно переступает величайший из умов и одновременно мой наилучший друг».

А что сделал Гёте? Я опять слово в слово цитирую Беттину. Он якобы сказал: «Чтобы выйти, я не наступлю ни на тебя, ни на твою любовь; твоя любовь мне слишком дорога, что же касается твоего духа, я проскользну мимо него (он и вправду осторожно обошел коленопреклоненную Беттину), потому что ты слишком хитра и лучше остаться с тобою в добром согласии!»

Фраза, которую Беттина вложила ему в уста, подытоживает, как мне кажется, все, что Гёте во время их встречи мысленно говорил ей: знаю, Беттина, что эскиз памятника был твоей гениаль-

ной хитростью. В своей прискорбной дряхлости я позволил себе растрогаться, увидев свои волосы, уподобленные пламени (ах, мои жалкие, поредевшие волосы!), но тут же следом уяснил себе: то, что ты хотела явить мне, был не эскиз, а пистолет, который ты держишь в руке, чтобы стрелять в дальние просторы моего бессмертия. Нет, я не сумел обезоружить тебя. Поэтому я не хочу никакой войны. Я хочу мира. Ничего, кроме мира. Я осторожно обойду тебя и не коснусь тебя, не обниму, не поцелую. Во–первых, мне этого не хочется, а во–вторых, знаю, что все, что ни сделаю, ты сумеешь превратить в патроны для своего пистолета.

10

Два года спустя Беттина вновь приехала в Веймар; она чуть ли не каждый день виделась с Гёте (тогда ему было семьдесят семь), а в конце своего пребывания, пытаясь попасть ко двору Карла–Августа, допустила одну из своих очаровательных дерзостей. И произошло нечто непредвиденное. Гёте взорвался. «Этот докучливый слепень (diese leidige Bremse), — пишет он великому герцогу, — который достался мне в наследство от моей матушки, вот уже много лет нестерпимо донимает меня. Нынче она вновь принялась за

старую игру, которая так шла ей в дни юности; вновь щебечет о соловьях и трещит как сорока. Ежели Ваше Высочество изволят приказать, то я на правах дядюшки со всей строгостью воспрещу ей всякое дальнейшее посягательство на Ваше время. Иначе Ваше Высочество никогда не будут ограждены от ее настырности».

Шестью годами позже она еще раз появилась в Веймаре, но Гёте не принял ее. Сравнение Беттины с докучливым слепнем осталось его последним словом во всей их истории.

Странная вещь. С тех пор, что он получил эскиз памятника, он приказал себе сохранять с нею мир. Хотя уже одно ее присутствие вызывало у него аллергию, он тщился тогда сделать все (даже ценой того, что изо рта у него пахло алкоголем), чтобы провести с ней вечер до конца «в добром согласии». Так почему же он вдруг готов обратить все усилия в дым? Он столь заботился о том, чтобы не отойти в бессмертие в помятой рубашке, — так почему же вдруг он написал эту страшную фразу о докучливом слепне, в которой будут его укорять спустя сто, спустя триста лет, когда уже никто не будет читать ни «Фауста», ни «Страданий юного Вертера»?

Попробуем разобраться в циферблате жизни.

До определенного времени наша смерть представляется нам чем–то слишком далеким, чтобы погружаться в нее. Ее не видно, она невидима. Это первый, счастливый период жизни.

Но затем мы вдруг начинаем зреть свою смерть перед собой и уже не в силах избавиться от мысли о ней. Она с нами. А поскольку бессмертие держится смерти, как Гарди — Лорела, мы можем сказать, что с нами и наше бессмертие. С той минуты, как мы узнаем, что оно с нами, мы начинаем горячо радеть о нем. Мы заказываем для него смокинг, покупаем для него галстук из боязни, что платье и галстук для него выберут другие, причем выберут неудачно. Это пора, когда Гёте решает писать свои мемуары, свою прославленную «Поэзию и правду», когда приглашает к себе преданного Эккермана (странное совпадение дат: происходит это в том же 1823 году, когда Беттина посылает ему проект памятника) и понуждает его писать «Разговоры с Гёте», этот великолепный портрет, созданный под любезным контролем портретируемого.

За этим вторым.периодом жизни, когда человек не в состоянии оторвать глаз от земли, приходит третий период, самый прекрасный и самый таинственный, о котором мало знают и

мало говорят. Силы убывают, и человеком овладевает обезоруживающая усталость. Усталость: тихий мост, перекинутый с берега жизни на берег смерти. Смерть так близка, что вид ее уже сделался скучен. Она снова стала невидимой и невидной: невидной, как не видны предметы, слишком близко знакомые. Усталый человек смотрит из окна, видит кроны деревьев и про себя твердит их названия: каштан, тополь, клен. И эти названия прекрасны, как само бытие. Тополь высок и похож на атлета, что протянул руку к небу. Или похож на пламя, что выбилось и застыло. Тополь, ах тополь. Бессмертие — это смешная иллюзия, пустое слово, ветер, пойманный в сачок, если сравним его с красотой тополя, на который взирает из окна усталый человек. Бессмертие вообще уже тревожит усталого старого человека.

А что делает усталый старый человек, взирающий на тополь, когда вдруг появляется женщина, которая жаждет садиться на стол, преклонять на пороге колени и возглашать софизмы? Во внезапном приливе жизненности, с невыразимой радостью он называет ее докучливым слепнем.

Я думаю о той минуте, когда Гёте писал слова «докучливый слепень». Я думаю об удовольствии, которое он при этом испытывал, и представляю

себе, что он вдруг тогда осознал: он никогда в жизни не поступал так, как ему хотелось. Он считал себя правителем своего бессмертия, и эта ответственность сковывала его, делала его чопорным. Он боялся эксцентричностей, хотя его сильно влекло к ним, а если, случалось, и допускал что–либо подобное, то силился задним числом упорядочить дело так, чтобы ничто не выпирало из той улыбчивой умеренности, какую он некогда отождествлял с красотой. Слова «докучливый слепень» не вязались ни с его творениями, ни с его жизнью, ни с его бессмертием. В этих словах была чистейшая свобода. Их мог написать только человек, оказавшийся уже в третьем периоде своей жизни, когда перестаешь управлять своим бессмертием и считать его делом серьезным. Не всякий доходит до этой крайней черты, но тот, кто доходит знает, что только там — истинная свобода.

Эти мысли пролетели в сознании Гёте, но он тотчас забыл о них, так как был уже старым, усталым человеком со слабеющей памятью.

11

Вспомним: впервые она пришла к нему в обличье ребенка. По прошествии двадцати пяти лет, в марте 1832–го, узнав, что Гёте серьезно зане-

мог, тотчас отослала к нему своего собственного ребенка: восемнадцатилетнего сына Зигмунда. Робкий юноша по настоянию матери оставался в Веймаре шесть дней, вовсе не зная, о чем идет речь. Но Гёте знал: она направила к нему своего посланца, который одним своим присутствием должен был дать понять ему, что смерть топчется за дверью и что с этой минуты его, Гёте, бессмертие Беттина берет в свои руки.

Затем смерть перешагнула порог; после недельной борьбы с ней, 22 марта, Гёте умирает, а несколькими днями позже Беттина пишет исполнителю последней воли Гёте канцлеру фон Мюллеру: «Конечно, смерть Гёте произвела на меня глубокое, неизгладимое впечатление, но нисколько не впечатление скорби. Если я и не могу выразить словами подлинную правду того, что чувствую, то все же, пожалуй, в наибольшей мере приближусь к ней, коли скажу: впечатление славы».

Обратим особое внимание на это Беттинино уточнение: никоим образом не скорбь, а слава.

В скором времени она просит того же канцлера фон Мюллера прислать ей все письма, кои она когда–либо написала Гёте. Прочитав их, она испытала разочарование: вся ее история с Гёте

явилась ей всего лишь наброском, наброском хоть и к великому творению, но все же наброском, и весьма несовершенным. Необходимо было приняться за работу. На протяжении трех лет она правила, переписывала, дописывала. Если она была недовольна собственными письмами, письма Гёте удовлетворяли ее еще меньше. Когда она теперь перечитала их, ее оскорбила их лаконичность, сдержанность, а подчас даже дерзость. Словно в самом деле приняв маску ребенка за ее истинное лицо, он подчас писал ей так, будто давал снисходительные наставления школьнице. Посему ей пришлось изменить их тональность: там, где он называл ее «дорогой друг», она заменила на «сердце мое», попреки его смягчила лестными приписками и добавила фразы, кои должны были свидетельствовать о ее власти Вдохновительницы и Музы над очарованным поэтом.

Разумеется, еще радикальнее она переписывала собственные письма. Нет, тональности она не меняла, тональность была правильной. Но изменяла, к примеру, датировку их написания (дабы исчезли долгие паузы в их переписке, которые ставили бы под сомнение постоянство их страсти), изъяла много неуместных пассажей

(к примеру, тот, в котором просила Гёте никому не показывать ее писем), другие пассажи добавила, драматизируя описанные ситуации, придала большую глубину своим взглядам на политику, на искусство, особенно на музыку и на Бетховена.

Книгу она закончила в 1835 году и опубликовала ее под названием «Goethe's Briefwechsel mit einem Kinde». «Переписка Гёте с ребенком». Никто не усомнился в истинности переписки вплоть до 1921 года, когда были найдены и изданы подлинные письма.

Ах, почему она вовремя не сожгла их?

Вообразите себя на ее месте: нелегко сжечь интимные бумаги, которые дороги вам, — это не иначе как признаться, что долго вы здесь уже не задержитесь, что завтра умрете; и оттого акт уничтожения откладываете со дня на день, пока однажды не становится поздно.

Человек помышляет о бессмертии и забывает помыслить о смерти.

12

Сегодня, с расстояния, какое предоставил нам конец нынешнего столетия, мы, пожалуй, можем осмелиться сказать: Гёте — фигура, расположенная точно посередине европейской истории.

Гёте: великая середина. Но отнюдь не середина — пугливая точка, что осмотрительно избегает крайностей, нет, крепкая середина, что держит обе крайности в редкостном равновесии, какого затем Европа уже никогда не узнает. Гёте еще смолоду изучает алхимию, а позже становится одним из первых современных ученых. Гёте — величайший из всех немцев и одновременно антипатриот и европеец. Гёте — космополит и одновременно всю жизнь почти не покидает своей провинции, своего маленького Веймара. Гёте — человек природы, но и человек истории. В любви он настолько же либертин, насколько и романтик. И еще: Вспомним Аньес в лифте, что трясся, будто у него была пляска святого Витта. И хотя она разбиралась в кибернетике, однако никак не могла объяснить себе, что творится в техническом мозгу этой машины, которая была столь же чужда и непроницаема для нее, как и механизм всех предметов, с какими она каждодневно соприкасалась, от маленького компьютера, поставленного у телефона, до посудомойки.

Гёте, напротив, жил в ту короткую пору истории, когда технический прогресс уже приносил жизни определенные удобства, но когда образованный человек еще способен был осмыслить

все устройства, какими пользовался. Гёте знал, из чего построен дом, в котором жил, знал, почему светит керосиновая лампа, знал устройство телескопа, в который с Беттиной наблюдал за Меркурием; хотя он сам не умел оперировать, но ассистировал при нескольких операциях, а когда бывал болен, мог разговаривать с доктором языком специалиста. Мир технических предметов был понятен ему и полностью открыт его взору. То было великое Гётево мгновение посреди европейской истории, мгновение, после которого останется рубец тоски на сердце человека, плененного дергающимся и танцующим лифтом.

Творчество Бетховена начинается там, где кончается великая Гётева середина. Оно размещается во времени, когда мир начинает постепенно терять свою прозрачность, мутнеет, становится все более непостижимым, мчится в неведомое, в то время как человек, преданный миром, бежит в самого себя, в свою тоску, в свои мечтания, в свой бунт и дает оглушить себя голосом своей больной души до такой степени, что уже не слышит голосов, обращающихся к нему извне. Этот крик души звучал для Гёте невыносимым гамом. Гёте ненавидел шум. Это известно. Он не переносил даже собачьего лая в отдаленном саду. Говорят,

он не любил музыки. Это ошибка. Чего он не любил, так это оркестра. Он любил Баха, поскольку тот еще понимал музыку как прозрачное созвучие самостоятельно ведомых голосов, каждый из которых можно различить. Но в бетховенских симфониях отдельные голоса инструментов растворялись в звуковой амальгаме крика и рыданий. Гёте не выносил рева оркестра в той же мере, в какой не выносил громких стонов души. Молодые Беттинины друзья замечали, с какой неприязнью смотрит на них божественный Гёте и как он затыкает уши. Этого простить они ему не могли и ополчались на него как на противника души, бунта и чувства.

Беттина была сестрой поэта Брентано, женой поэта Арнима и почитала Бетховена. Она принадлежала к поколению романтиков, но одновременно была и приятельницей Гёте. Такого положения не было ни у кого другого: это была королева, властвующая в двух королевствах.

Ее книга была великолепной данью почтения к Гёте. Все ее письма были не чем иным, как единой песнью любви к нему. Да, но поскольку все знали про очки, сброшенные с нее госпожой Гёте на пол, и о том, что Гёте тогда позорно предал любящее дитя в угоду «бешеной колбасе», эта книга

одновременно (и куда более) являет собой урок любви, преподанный покойному поэту, который перед лицом великого чувства повел себя как трусливый филистер и пожертвовал страстью ради убогого семейного покоя. Книга Беттины была одновременно и данью почтения, и оплеухой.

13

В год смерти Гёте Беттина в письме своему другу князю Герману фон Пюклеру–Мускау поведала, что произошло летом двадцать лет назад. Узнала она это якобы от самого Бетховена. В 1812 году (десять месяцев спустя после черных дней разбитых очков) он приехал ненадолго в Теплице, где впервые тогда встретился с Гёте. Однажды они вместе отправились на прогулку. Они шли вдоль курортной аллеи, как вдруг впереди появилась французская императрица Мария–Луиза с семьей и придворными. Гёте, увидев их, перестал внимать словам Бетховена, отошел на обочину дороги и снял шляпу. Бетховен же надвинул свою шляпу еще ниже на лоб, нахмурился так, что его густые брови выросли еще на несколько сантиметров, и двинулся дальше, не замедляя шага. И посему это они, аристократы, вынуждены были остановиться, уступить дорогу и раскланяться. Только отойдя от них на некоторое расстояние,

Бетховен повернулся, дабы подождать Гёте. И высказал ему все, что думает о его унизительном лакейском поведении. Он выбранил его, как сопливого мальчишку.

Действительно ли произошла эта сцена? Выдумал ли ее Бетховен? От начала до конца? Или только прикрасил ее? Или прикрасила ее Беттина? Или сама от начала до конца ее выдумала? Этого уже никто никогда не узнает. Определенно все же одно: когда она писала письмо Пюклеру–Мускау, она поняла, что эпизод этот недооценен. Только он был способен раскрыть истинный смысл истории ее любви с Гёте. Но как придать ему огласку? «Нравится тебе этот эпизод, как я рассказываю его?» — спрашивает она в своем письме Германа фон Пюклера. — «Kannst Du sie brauchen?» Можешь ли ты им воспользоваться? — Князь не намеревался воспользоваться им, и потому Беттина увлеклась идеей опубликовать свою переписку с князем; однако затем ее осенило нечто получше: в 1839 году она опубликовала в журнале «Атенеум» письмо, в котором тот же эпизод рассказывает ей сам Бетховен. Оригинал этого письма, датированного 1839 годом, так никогда и не был найден. Осталась лишь копия, написанная рукой Беттины. Там имеются несколько

деталей (к примеру, дата письма), свидетельствующих о том, что Бетховен этого письма никогда не писал или, по меньшей мере, не написал его в том виде, в каком Беттина переписала его. Но вне зависимости от того, сфальсифицировано письмо полностью или наполовину, анекдот этот очаровал всех и стал знаменитым. И вдруг все прояснилось: если Гёте и предпочел «колбасу» великой любви, то это было явно не случайно: в то время как Бетховен — бунтарь, идущий вперед, низко надвинув на лоб шляпу и заложив руки за спину, Гёте — прислужник, униженно кланяющийся на обочине аллеи.

14

Беттина сама занималась музыкой, даже написала несколько сочинений и, стало быть, обладала определенными данными, чтобы понять, что было в бетховенской музыке нового и прекрасного. И все же я задаю вопрос: захватывала ли ее бетховенская музыка сама по себе, своими нотами, или, скорее, тем, что она являла собой, то есть своей туманной родственностью с мыслями и взглядами, которые разделяла Беттина со своими поколенческими друзьями? Существует ли вообще любовь к искусству и существовала ли когда–либо? Не обман ли это? Когда Ленин

объявил, что более всего любит бетховенскую «Аппассионату», что, собственно, он любил? Что он слышал? Музыку? Или величественный грохот, который напоминал ему помпезные движения его души, взыскующей крови, братства, казней, справедливости и абсолюта? Испытывал ли он радость от звуков или от мечтаний, которые рождали в нем звуки и которые не имели ничего общего ни с искусством, ни с красотой? Вернемся к Беттине: привлекал ли ее Бетховен — музыкант или Бетховен — великий Анти–Гёте? Любила ли она его музыку тихой любовью, какая нас связывает с единственной чарующей метафорой или с сочетанием Двух красок на картине? Или, скорее, той самой захватнической страстью, с какой мы объявляем себя сторонниками политической партии? Но как бы то ни было (мы никогда не узнаем, как это было на самом деле), Беттина выпустила в мир образ Бетховена, шагающего вперед в шляпе, низко надвинутой на лоб, и этот образ шел затем уже сам по себе сквозь века.

В 1927 году (спустя сто лет после смерти Бетховена) известный немецкий журнал «Литерарише вельт» обратился к выдающимся современным композиторам с просьбой сказать, что для них значит Бетховен. Редакция не предполагала,

какой это станет посмертной казнью для хмурого человека в надвинутой на лоб шляпе. Орик, член парижской «Шестерки», заявил от имени своей генерации: Бетховен безразличен им до такой степени, что даже нет смысла спорить о нем. Будет ли он однажды вновь открыт и вновь оценен, как сто лет назад Бах? Исключено. Смешно! Яначек также утверждал, что творчество Бетховена никогда его не вдохновляло. А Равель резюмировал это так: он не любит Бетховена, поскольку его слава основана отнюдь не на его музыке, которая явно несовершенна, а на литературной легенде, созданной вокруг его жизни.

Литературная легенда. В нашем случае она зиждется на двух шляпах: одна низко надвинута на лоб, и из–под нее торчат огромные брови; другая в руке человека, отвешивающего низкий поклон. Фокусники любят работать со шляпой. Они дают предметам исчезнуть в ней или выпускают из нее стаю голубей под потолок. Беттина выпустила из шляпы Гёте безобразных птиц его униженности и дала исчезнуть в шляпе Бетховена (а этого она определенно не хотела!) его музыке. Она уготовила Гёте то, что досталось Тихо Браге и Картеру: смешное бессмертие. Однако смешное бессмертие подстерегает всех, и для Равеля Бетховен в

надвинутой на самые брови шляпе был смешнее, чем Гёте, отвешивающий низкий поклон.

Из этого вытекает: хотя бессмертие и возможно заранее моделировать, манипулировать им, подготавливать его, оно никогда не бывает таким, каким было запланировано. Шляпа Бетховена обрела бессмертие. Тут план удался. Но каков станет смысл бессмертной шляпы, заранее определить было не дано.

15

«Послушайте, Иоганн, — сказал Хемингуэй, — мне тоже нет покоя от вечных обвинений. Вместо того чтобы читать мои книги, теперь пишут обо мне. О том, что я не любил своих жен. Что я дал в морду одному критику. Что я врал. Что был неискренен. Что был гордым. Что был мачо. Что я объявил о своих двухстах тридцати ранениях, когда их у меня всего двести десять. Что я онанировал. Что сердил свою маму».

«Это бессмертие, — сказал Гёте. — Бессмертие — это вечный суд».

«Коли это вечный суд, так там должен быть достойный судья. А не ограниченная учительница с розгой в руке».

«Розга в руке ограниченной учительницы — это и есть вечный суд. Что другое вы представляли

себе, Эрнест?»

«Да ничего не представлял. Уповал на то, что смогу по крайней мере жить спокойно».

«Вы делали все, чтобы быть бессмертным».

«Вздор. Я писал книги. Только и всего».

«Вот именно!» — засмеялся Гёте.

«Я вовсе не против того, чтобы книги мои были бессмертны. Я писал их так, чтобы никто не смог убрать из них ни единого слова. Чтобы они выстояли в любую непогоду. Но сам я, как человек, как Эрнест Хемингуэй, плевать хотел на бессмертие!»

«Я прекрасно вас понимаю, Эрнест. Но следовало вам быть осмотрительнее при жизни. Теперь уже поздно!»

«Осмотрительнее? Это намек на мое бахвальство? Да, когда я был молод, я ужасно любил похваляться, щеголять в обществе. Но поверьте, я не был таким монстром, чтобы при этом думать о бессмертии! Когда я однажды смекнул, что речь о нем, меня охватила паника. С тех пор я тысячу раз просил всех не совать нос в мою жизнь. Но чем больше я просил, тем было хуже. Чтобы исчезнуть из поля их зрения, я перебрался на Кубу. А получив Нобелевскую премию, отказался от поездки в Стокгольм. Говорю вам, плевать я хотел

на бессмертие, и повторю еще раз: когда однажды я осознал, что оно держит меня в объятиях, я испытал больший ужас, чем при мысли о смерти. Человек может покончить с жизнью. Но не может покончить с бессмертием. Как только бессмертие погрузит вас на корабль, вам уже не сойти с него, и, даже если застрелитесь, вы останетесь на борту вместе со своим самоубийством, и это кошмар, Иоганн, поистине кошмар. Я лежал на палубе мертвый, и вокруг себя видел своих четырех жен, они сидели на корточках и все как одна писали обо мне все, что знали, а за ними был мой сын и тоже писал, и старая карга Гертруда Стайн была там и писала, и все мои друзья были там и громогласно рассказывали обо мне всякие пакости и сплетни, какие когда–либо слышали, и сотня журналистов толпилась за ними с микрофонами, а армада университетских профессоров по всей Америке все это классифицировала, исследовала, развивала, кропая сотни статей и книг».

16

Хемингуэй дрожмя дрожал, и Гёте схватил его за руку: «Успокойтесь, Эрнест! Успокойтесь, дружище! Я вас понимаю. То, что вы рассказываете, напоминает мне мой сон. То был последний мой сон, потом уже никакие сны мне не снились или

были такими сумбурными, что я не мог отличить их от действительности. Вообразите себе маленький зал кукольного театра. Я за сценой, вожу кукол и сам читаю текст. Это представление Фауста. Моего Фауста. Кстати, вы знаете, что Фауст нигде так не хорош, как в кукольном театре? И посему я был столь счастлив, что рядом со мной не было никаких актеров и только я один читал стихи, которые в тот день звучали прекраснее, чем когда–либо. Но тут я вдруг посмотрел в зал и увидел, что он пуст. Это смутило меня. Где же зрители? Неужто мой Фауст так скучен, что все разошлись по домам и я не стою даже того, чтобы они меня освистали? Я в растерянности оглянулся назад и остолбенел: я предполагал, что они в зале, а они оказались за кулисами и смотрели на меня большими любопытными глазами. Как только наши взгляды встретились, раздались аплодисменты. И мне стало ясно, что мой Фауст нимало не волнует их, и что спектакль, который они хотели видеть, — отнюдь не куклы, которых я водил по сцене, а я сам! Не Фауст, а Гёте! И тогда меня обуял ужас, очень похожий на тот, о котором только что говорили вы. Я чувствовал, как они хотят, чтобы я что–то сказал, но я не мог. У меня сдавило горло. Я положил кукол на освещенную сцену,

на которую уже никто не смотрел. И стараясь сохранить достойное спокойствие, молча направился к вешалке, где висела моя шляпа, надел ее и, не оглядываясь на всех этих любопытных, выбрался из театра и пошел домой. Я старался не глядеть ни направо, ни налево, поскольку знал, что они следуют за мной. Я отпер тяжелую дверь и быстро захлопнул ее за собой. Нашел керосиновую лампу, зажег. Взяв ее трясущейся рукой, прошел в свой кабинет, чтобы возле коллекции камней забыть про эту пренеприятную историю. Но не успел я поставить лампу на стол, как взгляд мой упал на окно. Там теснились их лица. Тогда я понял, что уже никогда не избавлюсь от них, уже никогда, никогда, никогда. Я сообразил, что лампа бросает свет на мое лицо — это было ясно по их большим глазам, которыми они пожирали меня. Я потушил ее, хотя знал, что этого делать не следовало: теперь они поняли, что я прячусь от них, что страшусь их, и оттого станут еще неистовее. Но этот страх был уже сильнее разума, и я, бросившись в спальню, сорвал с кровати одеяло, накинул его на голову и, отступив в угол комнаты, прижался к стене…»

17

Хемингуэй и Гёте удаляются по дорогам запре-

дельного мира, и вы не преминете спросить меня, что это была за идея свести вместе именно их. Можно ли вообразить пару менее подходящую? Что между ними общего? А что должно быть? С кем, на ваш взгляд, хотел бы Гёте общаться на том свете? С Гердером? С Гёльдерлином? С Беттиной? С Эккерманом? Вспомните Аньес. Какой ужас вселяла в нее мысль, что и на том свете ей, возможно, снова придется слышать шум женских голосов, какие она слышит по субботам в сауне! После смерти она не жаждет быть ни с Полем, ни с Брижит. Так с какой стати Гёте возмечтал бы о Гердере? Скажу вам даже, пусть это чуть ли не кощунство, не мечтает он и о Шиллере. При жизни он никогда не признался бы в этом: печален итог жизни, прожитой без единого большого друга. Несомненно, Шиллер был самым дорогим среди всех. Но слово «самый дорогой» означает лишь то, что он был ему дороже всех других, которые, откровенно говоря, не так уж и дороги были ему. Это его современники, их он не выбирал. Даже Шиллера он не выбирал. Когда однажды осмыслил, что они всю жизнь будут его окружать, горло перехватило от тоски. Что поделаешь, пришлось с этим смириться! Так есть ли какой–нибудь повод желать общения с ними и на том свете?

Лишь в силу самой искренней любви к нему я вообразил в спутники ему человека, способного весьма заинтересовать его (вспомните–ка, если забыли, что Гёте при жизни был очарован Америкой!) и не напоминавшего ему романтиков с бледными лицами, что к концу его жизни заполонили всю Германию.

«Знаете, Иоганн, — сказал Хемингуэй, — для меня великая удача сопровождать вас. Люди дрожат от почтения к вам, так что все мои жены вместе со старухой Гертрудой Стайн и от меня за милю шарахаются. — Тут он начал смеяться: — И дело, конечно, не в том, что вы так нелепо вырядились!»

Чтобы слова Хемингуэя были понятны, я должен объяснить, что бессмертным на том свете во время их прогулок дозволено принимать тот облик из прежней жизни, какой им нравится. И Гёте предпочел интимный облик своих последних лет; таким, кроме самых близких, его никто не знал: он носил на лбу прозрачную зеленую пластинку, привязанную шнурком к голове, чтобы защитить глаза от света; на ногах шлепанцы; а вокруг шеи толстый шерстяной полосатый шарф, потому как боялся простуды.

Услышав, что он нелепо вырядился, Гёте счаст-

ливо рассмеялся, словно Хемингуэй отпустил ему большой комплимент. Затем он наклонился к нему и тихо сказал: «Я так вырядился главным образом из–за Беттины. Где она ни бывает, только и говорит о своей великой любви ко мне. И я хочу, чтобы люди видели предмет ее страсти. Когда она издали замечает меня, то убегает прочь. И я знаю, она топает злобно ногами оттого, что я здесь прогуливаюсь в таком виде: беззубый, плешивый и с этой смехотворной штуковиной над глазами».

Часть 3. Борьба

СЕСТРЫ

Радиостанция, которую я слушаю, государственная, и посему на ней — никаких реклам, а новости прослоены самыми новейшими шлягерами. Соседняя станция — частная, и музыка заменена на ней рекламами, но до такой степени похожими на новейшие шлягеры, что я никогда не могу различить, какую из станций слушаю, и осознаю это тем менее, что вновь и вновь проваливаюсь в сон. В полусне до меня доходит, что с конца войны на дорогах погибло два миллиона человек, во Франции ежегодно гибнет примерно десять тысяч и триста тысяч получают увечья; целая армия безногих, безруких, безухих, безглазых. Депутат Бертран Бертран (имя это прекрасно, как колыбельная), возмущенный этим страшным итогом, предложил нечто из ряда вон выходящее, но тут меня одолел сон, и узнал я об этом лишь полчаса спустя, когда повторяли ту же новость: депутат Бертран Бертран, чье имя прекрасно, как колыбельная, выступил в парламенте с предложением запретить рекламу пива. В палате депутатов по сему случаю поднялась невероятная

буча, против предложения выступили многие депутаты, поддержанные представителями радио и телевидения: запрет рекламы сильно ударил бы их по карману.

Затем слышится голос самого Бертрана Бертрана: он говорит о борьбе со смертью, о борьбе за жизнь. Слово «борьба» в течение короткой речи повторялось раз пять, что мгновенно напомнило мне прежнюю родину, Прагу, знамена, плакаты, борьбу за счастье, борьбу за справедливость, борьбу за будущее, борьбу за мир; борьбу за мир до полного уничтожения всех всеми, добавлял мудрый чешский народ. Но вот я уже снова сплю (всякий раз, когда произносят имя Бертрана Бертрана, я впадаю в сладкое забытье), а проснувшись, слышу беседу о садоводстве, так что быстро нахожу соседнюю станцию. Там идет речь о депутате Бертране Бертране и о запрете рекламы пива. Исподволь начинаю постигать логические связи: люди гибнут в автомобилях, как на поле боя, но запретить автомобили невозможно: они гордость современного человека; определенный процент катастроф вызван тем, что водители под градусом, но и вино запретить невозможно: им от века славится Франция; определенный процент опьянения вызван пивом, однако его тоже

запретить невозможно: подобный запрет противоречил бы всем международным договорам о свободной торговле; определенный процент потребителей пива подвигнут на это рекламой: так вот она, ахиллесова пята недруга, вот по чему решил ударить кулаком мужественный депутат! Да здравствует Бертран Бертран, говорю я себе, но, поскольку это имя действует на меня как колыбельная, я вмиг засыпаю снова, и будит меня уже обольстительный бархатный голос, да, я узнаю его, это Бернар, диктор, и, словно бы все сегодняшние события вертятся исключительно вокруг автокатастроф, он сообщает такую новость: неизвестная девушка этой ночью села на шоссе спиной к движению транспорта. Три машины, одна за другой, успев в последнюю секунду объехать ее, вдребезги разбились, свалившись в кювет; есть погибшие и раненые. Самоубийца, осознав свою неудачу, исчезла с места катастрофы совершенно бесследно, и лишь сходные показания раненых свидетельствуют о ее существовании. Это известие потрясает меня, и я окончательно просыпаюсь. Мне ничего не остается, как встать, позавтракать и сесть к письменному столу. Но я еще долго не могу сосредоточиться, я вижу эту девушку, как она сидит на

ночном шоссе, скорчившись и уткнувшись лбом в колени, я слышу крик, рвущийся из кювета. Силюсь отогнать это видение, чтобы продолжить роман, который, если вы еще помните, я начал с того, что, поджидая в бассейне профессора Авенариуса, заметил одну незнакомую даму, помахавшую на прощание инструктору. Этот жест мы вновь наблюдали, когда Аньес прощалась у дома с робким одноклассником. Она прибегала к этому жесту всякий раз, когда какой–нибудь мальчик провожал ее после свидания до садовой калитки. Ее сестрица Лора, спрятавшись за кустом, ждала возвращения Аньес: ей хотелось подглядеть, как сестра целуется, а потом одна идет к дверям виллы. Она ждала, когда Аньес обернется и выбросит в воздух руку. Движение это олицетворяло для нее заколдованный, смутный образ любви, о которой она ничего не ведала, но которая останется в ней навсегда связанной с обликом ее прелестной и нежной сестры.

Аньес, поймав Лору на том, что она копирует ее жест, прощаясь со своими подружками, была неприятно удивлена и, как мы знаем, с той поры прощалась со своими возлюбленными сдержанно, без лишних внешних проявлений. В этой краткой истории жеста мы можем разглядеть ме-

ханизм, которому были подчинены отношения обеих сестер: младшая подражала старшей, протягивала к ней руки, но Аньес всегда в последний миг ускользала.

После окончания гимназии Аньес уехала в Париж, в университет. Лора вменяла ей в вину, что она покинула край, который они любили, хотя и сама после выпускных экзаменов отправилась учиться в Париж. Аньес посвятила себя математике. После окончания университета все предрекали ей яркую научную карьеру, но она, вместо того чтобы продолжить свои изыскания, вышла замуж за Поля и поступила на хорошо оплачиваемую, но ординарную работу, где никакая слава ей уже не грозила. Лора сожалела об этом и, занимаясь в Парижской консерватории, намеревалась восполнить упущенное сестрой и стать вместо нее знаменитой.

Однажды Аньес представила ей Поля. В ту же минуту, когда Лора увидела его, она услыхала, как кто–то незримый говорит ей: «Какой мужчина! Настоящий мужчина. Единственный мужчина. Другого такого нет на свете». Кто же был этот незримый подсказчик? Уж не сама ли Аньес? Да. Это она указывала путь младшей сестре и тут же загораживала его собою.

Аньес и Поль были добры к Лоре и опекали ее так, что в Париже она чувствовала себя у них как когда–то в родном городе. Счастье постоянного семейного уюта было, правда, окрашено меланхолическим сознанием, что единственный мужчина, которого она могла бы любить, одновременно и тот единственный, на которого она не имеет права посягнуть. Когда она проводила время вместе с супругами, ощущение счастья чередовалось в ней с приступами печали. Она умолкала, ее взгляд устремлялся в пустоту, и Аньес в такие минуты брала ее за руки и говорила: «Что с тобой, Лора? Что случилось, дорогая сестричка?» Иной раз в той же ситуации и из подобных же побуждений брал ее за руки Поль, и все трое погружались в благостную купель, в которой смешивались самые разнородные чувства: чувства родства и любви, соучастия и вожделения. Потом она вышла замуж. Аньесиной дочери Брижит было десять лет, и Лора решила поднести ей в подарок двоюродного братика или сестричку. Она упросила мужа помочь ей забеременеть, и хотя это удалось легко, последствия оказались для них печальными: у Лоры был выкидыш, и врачи объявили ей, что, если она хочет иметь ребенка, дело не обойдется без серьезного

медицинского вмешательства.

ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

Аньес полюбила черные очки, еще когда училась в гимназии. Даже не потому, что они защищали глаза от солнца, а потому, что в них она казалась себе красивой и таинственной. Очки стали ее слабостью: как иные мужчины без конца набивают шкаф галстуками, а иные женщины приобретают десятки колец, Аньес собрала целую коллекцию черных очков.

В жизни Лоры черные очки стали играть особую роль после выкидыша. Тогда она носила их почти не снимая и лишь извинялась перед друзьями: «Не сердитесь на меня за мои очки, но я так заревана, что не могу без них показаться». С той поры черные очки стали для нее знаком печали. Она надевала их, но не для того, чтобы скрыть слезы, а чтобы показать, что плачет. Очки стали заменителем слез, но от настоящих слез выгодно отличались тем, что не причиняли вреда векам, не вызывали ни покраснения, ни припухлости и были ей даже к лицу.

Если Лора полюбила черные очки, то и на этот раз, как бывало обычно, вдохновилась примером сестры. Однако история с очками говорит еще и о том, что отношения сестер никак нельзя сво-

дить к утверждению, что младшая подражала старшей. Да, Лора подражала, но одновременно и подправляла ее: она придавала черным очкам более глубокое содержание, более значительный смысл, так что, я бы сказал, Аньесиным черным очкам полагалось бы краснеть перед Лориными за свою фривольность. Всякий раз, когда Лора появлялась в них, было ясно, что она страдает, и у Аньес возникало ощущение, что собственные очки ей надо бы непременно снять из деликатности и скромности.

История с очками выявляет и кое–что другое: Аньес в ней предстает той, кому судьба благоприятствует, а Лора — той, кого судьба не балует. Обе сестры уверовали, что перед лицом фортуны они не равны, и Аньес мучилась из–за этого даже больше, чем Лора. «Моя сестричка влюблена в меня, а вот в жизни ей не везет», — говаривала она не раз. Поэтому она с радостью встретила ее в Париже; поэтому представила ей Поля и попросила его любить ее; поэтому сама нашла для нее хорошенькую гарсоньерку и приглашала к себе всякий раз, когда подозревала, что она страдает. Но что бы Аньес ни делала, она вечно оставалась незаслуженно избалованной судьбой, меж тем как Лору фортуна явно не жаловала.

Лора была на редкость музыкально одарена; она превосходно играла на рояле, но, невзирая на это, упрямо решила заниматься в консерватории вокалом. «Когда я играю на рояле, я сижу перед чужим, враждебным предметом. Музыка принадлежит не мне, а этому черному инструменту, что напротив. А когда я пою, мое собственное тело превращается в орган, и я сама становлюсь музыкой». Не ее вина, что у нее оказался слабый голос, из–за которого все и рухнуло: солисткой она не стала, а ее музыкальная карьера на всю оставшуюся жизнь свелась всего лишь к любительскому хору, куда она ходила два раза в неделю на репетиции и несколько раз в году с ним концертировала.

Ее брак, в который она вступила из самых лучших побуждений, спустя шесть лет тоже распался. Правда, весьма состоятельный супруг вынужден был оставить ей прекрасную квартиру и платить изрядное содержание, так что она смогла приобрести модный магазин, где стала продавать меха с достойным удивления коммерческим талантом; и все же этот обыденный, чересчур заземленный успех не был способен загладить несправедливость, причиненную ей на более высоком, духовном и эмоциональном

уровне.

Пользуясь репутацией страстной любовницы, разведенка Лора меняла партнеров, но при этом делала вид, что все эти любовные связи для нее тяжкий крест. «Я знавала многих мужчин», — часто говорила она с патетической грустью, словно жалуясь на судьбу.

«Я завидую тебе», — отвечала ей Аньес, и Лора в знак печали надевала черные очки.

Восхищение, переполнявшее Лору в детстве, когда она подглядывала, как Аньес прощается у калитки с мальчиком, никогда не покидало ее, и потому, поняв в один прекрасный день, что сестра не сделает никакой блистательной научной карьеры, не смогла скрыть своего разочарования.

— В чем ты меня упрекаешь? — защищалась Аньес. — Вместо того чтобы петь в опере, ты продаешь меха, а я, вместо того чтобы мотаться по международным конференциям, нашла для себя необременительно скромное местечко на предприятии, где выпускают компьютеры.

— Однако я делала все возможное, чтобы петь, а ты забросила научную карьеру по собственной воле. Я была побеждена. Ты сдалась.

— А почему я должна была делать карьеру?

— Аньес! Жизнь всего лишь одна! Ты обязана заполнить ее! Мы же должны хоть что–нибудь оставить после себя!

— Что–нибудь оставить? — переспросила Аньес голосом, полным скептического недоумения.

В ответе Лоры послышался почти скорбный протест:

— Аньес, ты — нигилистка!

Этот упрек Лора адресовала своей сестре часто, но по большей части про себя. Вслух она произнесла его всего два–три раза. В последний раз, когда увидела, как отец после смерти матери сидит за столом и рвет фотографии. То, что делал отец, было для нее невыносимо: он уничтожал кусок жизни, кусок совместной, своей и маминой, жизни: он рвал образы, рвал воспоминания, принадлежавшие не только ему, но всей семье и в особенности дочерям; он делал то, на что не имел права. Она принялась кричать на отца, а Аньес за него вступилась. Оставшись одни, сестры впервые в жизни поссорились. Исступленно и зло. «Ты — нигилистка! Ты — нигилистка!» — кричала Лора Аньес, потом надела черные очки и в слезах и гневе уехала.

ТЕЛО I

У знаменитого художника Сальвадора Дали

и у его жены Гала на старости лет был ручной кролик; он жил с ними, ни на шаг не отходил от них, и они очень его любили. Однажды им предстояла дальняя поездка, и они до поздней ночи толковали о том, что делать с кроликом. Брать его с собой было затруднительно, но невозможно было и оставить его: другим людям он не доверял. На следующий день Гала приготовила обед, и Дали наслаждался превосходной едой, правда, до той минуты, пока не догадался, что это кроличье мясо. Он вскочил из–за стола и, бросившись в уборную, изверг в унитаз любимого зверька, верного друга своих поздних дней. Зато Гала была счастлива: тот, кого она любила, вошел в ее нутро, обласкал его и претворился в тело своей хозяйки. Не было для нее более совершенного наполнения любви, чем вобрать в себя любимого. По сравнению с этим единением тел сексуальный акт представлялся ей забавной щекоткой.

Лора походила на Гала, Аньес — на Дали. Было немало людей, женщин и мужчин, которых Аньес любила, но, если бы в силу некоей курьезной договоренности дружба с ними была обусловлена ее обязанностью следить за их носом, заставляя их регулярно сморкаться, она предпочла бы остаться без друзей. Лора, знавшая брезгливость сестры,

нападала на нее: «Что значит симпатия, какую ты испытываешь к тому или иному? Как ты можешь при этом исключать тело? Разве человек, из которого ты вычтешь тело, все еще человек?»

Да, Лора была как Гала: полностью отождествившись с собственным телом, она чувствовала себя в нем как в превосходно обставленном жилище. И тело было не только тем, что отражается в зеркале, самое ценное было внутри. Поэтому названия внутренних органов тела и их процессов стали излюбленной частью ее словаря. Когда она хотела сказать, до какого отчаяния вчера довел ее любовник, она говорила: «Как только он ушел, меня вырвало». Несмотря на то что она часто говорила о своей рвоте, Аньес была далеко не уверена, что сестру вообще когда–нибудь рвало. Рвота была не ее правдой, а ее поэтическим вымыслом: метафорой, лирическим образом боли и отвращения.

Однажды сестры отправились за покупками в магазин дамского белья, и Аньес заметила, как Лора нежно гладит бюстгальтер, предложенный ей продавщицей. То был один из тех моментов, когда Аньес осознавала, что их различает с сестрой: для Аньес бюстгальтер относился к категории вещей, призванных исправить некий

телесный изъян, как, например, повязка, протез, очки или кожаный ошейник, какой носят больные после повреждения шейных позвонков. Бюстгальтер призван поддерживать нечто, что в силу неудачного расчета оказалось тяжелее, чем предусматривалось, и посему должно быть укреплено дополнительно, примерно так, как подпирают в плохо сооруженных постройках балконы, чтобы не рухнули. Иными словами: бюстгальтер обнаруживает техническую стать женского тела.

Аньес завидовала Полю: он живет, не осознавая постоянно, что у него есть тело. Вдыхает, выдыхает, легкие работают у него как большие автоматизированные мехи, так воспринимает он и свое тело: охотно забывает о нем. Даже о своих телесных тяготах он не говорит никогда, причем вовсе не из скромности, а скорее из какого–то тщеславного стремления к элегантности, ибо болезнь — несовершенство, за которое бывает стыдно. Он долгие годы страдал от язвы желудка, но Аньес узнала об этом лишь в тот день, когда «скорая» увезла его в больницу со страшным приступом, случившимся сразу же после того, как он выступил на суде с драматичной защитительной речью. Это тщеславие было, конечно, смешным,

но оно, скорее, умиляло Аньес и вызывало чуть ли не зависть к Полю.

Хотя Поль, по всей вероятности, был тщеславен сверх меры, все же, думала Аньес, его позиция раскрывает разницу между мужской и женской участью: женщина гораздо больше времени занята разговорами о своих телесных сложностях; ей не дано беззаботно забыть о своем теле. Начинается это с шока первого кровотечения; тело вдруг тут как тут, и она стоит перед ним, словно механик, которому поручено следить за работой небольшой фабрики: каждый месяц менять тампоны, глотать порошки, застегивать бюстгальтер, быть готовой к производству. Аньес с завистью смотрела на старых мужчин; ей казалось, что старятся они по–иному: тело ее отца постепенно превращалось в свою собственную тень, теряло свою материальность, оставаясь на свете лишь в виде одной небрежно воплощенной души. Напротив же, чем больше тело женщины становится ненужным, тем больше превращается в тело: грузное и обременительное; оно похоже на старую, обреченную на слом мануфактуру, при которой женское «я» обязано до самого конца оставаться в качестве сторожа.

Что может изменить отношение Аньес к телу?

Лишь миг возбуждения. Возбуждение — быстролетное искупление тела. Но и тут Лора не согласилась бы с ней. Миг искупления? Как это, миг? Для Лоры тело было сексуальным изначально, априорно, непрестанно и целиком, по своей сути. Любить кого–нибудь для нее означало: принести ему тело, дать ему тело, тело с головы до пят, такое, какое оно есть, снаружи и изнутри, с его временем, что исподволь разрушает его.

Для Аньес тело не было сексуальным. Оно становилось таким лишь в краткие, редкостные мгновения, когда миг возбуждения осиял его нереальным, искусственным отсветом и делал желанным и прекрасным. И пожалуй, именно потому Аньес была, хотя вряд ли кто знал об этом, одержима телесной любовью, тянулась к ней, ибо без нее не было бы уж никакого запасного выхода из убожества тела и все было бы потеряно. Когда она любила, ее глаза всегда были открыты, и, если поблизости случалось зеркало, она смотрела на себя: ее тело в эти минуты казалось ей залитым светом.

Но смотреть на собственное тело, залитое светом, — предательская игра. Однажды, отдаваясь любовнику, Аньес увидела некоторые изъяны своего тела, не замеченные при последней

встрече (она встречалась с любовником не чаще одного–двух раз в год в большом парижском анонимном отеле), и не могла оторвать взгляда: она не видела любовника, не видела их совокупляющихся тел, она видела лишь старость, уже начавшую вгрызаться в нее. Возбуждение мгновенно улетучилось, а она, закрыв глаза, убыстрила движения любви, чтобы тем самым не дать партнеру прочесть ее мысли: в эту минуту она решила, что сошлась с ним в последний раз. Она вдруг почувствовала себя бессильной и затосковала по супружеской постели; затосковала по супружеской постели, словно по утешению, словно по тихой затемненной гавани.

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ

В нашем мире, где день ото дня множится число лиц, все более похожих друг на друга, человеку, желающему утвердиться в оригинальности своего «я» и убедить себя в его неповторимой исключительности, приходится нелегко. Существуют два метода культивирования исключительности «я»: метод сложения и метод вычитания. Аньес вычитает из своего «я» все внешнее, наносное, дабы таким путем дойти до самой своей сути (не без риска того, что в результате подобного вычитания окажется на полном нуле). Метод

Лоры прямо противоположен: чтобы ее «я» стало более зримым, более ощутимым, уловимым, более объемным, она без конца прибавляет к нему все новые и новые атрибуты, стремясь отождествиться с ними (не без риска того, что под грузом прибавляемых атрибутов исчезнет сущность самого «я»).

Возьмем для примера ее кошку. После развода Лора осталась одна в большой квартире, и ей стало грустно. Захотелось разделить одиночество хотя бы с каким–нибудь животным. Сперва она подумывала о собаке, но скоро поняла, что собака требует забот, на которые она не способна. А посему приобрела кошку. Большую сиамскую кошку, красивую и злую. Чем дольше Лора жила с кошкой и рассказывала о ней друзьям, тем больший смысл обретал для нее этот зверь, выбранный ею, по сути, случайно и без особой уверенности (она ведь поначалу хотела собаку): она не уставала восхвалять достоинства кошки, принуждая всех делать то же самое. Она находила в ней завидную самодостаточность, независимость, гордость, свободу поведения и постоянство очарования (в отличие от очарования человеческого, то и дело нарушаемого проявлениями неловкости и непривлекательности); она видела в ней образец

для себя; она видела в ней самое себя.

И тут дело совсем не в том, напоминает ли Лора нравом своим кошку или нет, важно лишь то, что она запечатлела ее на своем гербе и что кошка (любовь к кошке, апологетика кошки) стала одним из атрибутов ее «я». Поскольку многие ее любовники с самого начала досадовали на этого эгоцентричного и злого зверя, что ни с того ни с сего фыркал и царапался, он стал пробным камнем Лориной силы; она словно бы каждому хотела сказать: ты будешь обладать мною, но только такой, какая я есть на самом деле, то есть вместе с моей кошкой. Кошка стала образом ее души, и любовнику приходилось сперва принять ее душу, если он хотел владеть ее телом.

Метод сложения вполне мил, если человек прибавляет к своему «я» кошку, пса, свиную печень, любовь к морю или к холодному душу. Все выглядит менее идиллическим, если кому–то вздумается прибавлять к своему «я» любовь к коммунизму, к отечеству, к Муссолини, к Католической церкви или к атеизму, к фашизму или к антифашизму. Метод в обоих случаях остается абсолютно тем же: кто упрямо отстаивает превосходство кошки перед всеми остальными зверями, делает, по сути, то же, что и тот, кто

утверждает, что Муссолини — единственный спаситель Италии: хвастаясь атрибутом своего «я», он стремится, чтобы этот атрибут (кошку или Муссолини) признавали и любили все окружающие. В этом суть того странного парадокса, жертвой которого становятся все, кто культивирует «я» методом сложения: они прибавляют, дабы создать исключительное, неповторимое «я», но тотчас превращаются в пропагандистов прибавленных атрибутов и делают все, чтобы как можно большее число людей походило на них; тем самым исключительность этого «я» (такими усилиями обретенная) быстро исчезает.

Мы можем вполне резонно спросить, почему человек, который любит кошку (или Муссолини), не довольствуется своей любовью, а стремится внушить ее и другим. Попробуем ответить, вспомнив образ молодой женщины в сауне, воинственно утверждавшей, что она любит холодный душ. Тем самым ей мгновенно удалось отделить себя от одной половины рода людского, от той, что отдает предпочтение душу горячему. Беда была только в том, что вторая половина человечества тем больше на нее походила. Ах, до чего все это грустно! Людей много, мыслей мало, и как же нам отличиться друг от друга? Молодая жен-

щина знала лишь один способ, как преодолеть досадность своего сходства с этими несметными толпами, признающими холодный душ: свою фразу «обожаю холодный душ» она должна была произнести уже в дверях сауны, притом с такой энергией, чтобы миллионы остальных женщин, которые получают от холодного душа такое же наслаждение, как и она, в один миг выглядели ее жалкими подражательницами. Иными словами: если мы хотим, чтобы эта невинная, ничего не значащая любовь к душу стала атрибутом нашего «я», мы должны дать знать миру, что за эту любовь мы готовы бороться.

Тот, кто атрибутом своего «я» сделал любовь к Муссолини, станет политическим борцом; тот, кто пристрастен к кошке, к музыке или старинной мебели, тот подносит своим близким подарки.

Представьте себе, что у вас есть приятель, который любит Шумана и ненавидит Шуберта, тогда как вы до безумия любите Шуберта, а Туман вам смертельно скучен. Какую пластинку вы подарите другу ко дню рождения? Шумана, которого любит он, или Шуберта, которого боготворите вы? Естественно, Шуберта. Подари вы ему Шумана, у вас осталось бы неприятное чувство, что

этот подарок сделан не от души и похож скорее на взятку, которой вы рассчитываете добиться расположения друга. Поднося подарок, вы подносите его из любви, хотите дать другу кусочек самого себя, кусочек своего сердца! И потому вы дарите ему Шубертову «Неоконченную», на которую он после вашего ухода плюнет и затем, надев перчатки, возьмет ее двумя пальцами и отнесет в мусорный ящик, стоящий у дома.

Лора в течение нескольких лет подарила сестре и ее мужу набор тарелок и блюд, чайный сервиз, корзину для фруктов, лампу, кресло–качалку, примерно пять пепельниц, скатерть, а главное, рояль, который однажды как сюрприз внесли два дюжих мужика и спросили, куда его поставить. Лора сияла: «Я хотела вам подарить такое, чтобы вы думали обо мне даже тогда, когда меня нет с вами!»

После развода Лора проводила у сестры каждую свободную минуту. Она занималась Брижит как собственной дочерью, а рояль купила сестре главным образом потому, что хотела учить играть на нем племянницу. Однако Брижит рояль возненавидела. Аньес боялась, что Лора почувствует себя обиженной, и потому умоляла дочь взять себя в руки и постараться увлечься этими черными и

белыми клавишами. Брижит сопротивлялась: «Я что, должна учиться играть на рояле только ради ее удовольствия?» В итоге все кончилось плохо: через несколько месяцев рояль стал всего лишь роскошной декорацией или, скорее даже, помехой; лишь грустным напоминанием о чем–то незаладившемся; лишь громоздким белым телом (да, рояль был белый!), которого никто не желал.

По правде говоря, Аньес не любила ни чайный сервиз, ни кресло–качалку, ни рояль. Не то чтобы эти вещи были безвкусны, но в них во всех было нечто эксцентричное, что не отвечало ни ее характеру, ни ее пристрастиям. Вот почему она не только с искренней радостью, но и с эгоистичным облегчением отнеслась к сообщению Лоры (рояль стоял уже шесть лет в ее квартире нетронутым), однажды сказавшей ей, что Бернар, молодой друг Поля, стал ее любовью. Охваченная страстью женщина, думала Аньес, найдет для себя более увлекательные занятия, чем таскать сестре подарки и воспитывать племянницу.

ЖЕНЩИНА СТАРШЕ МУЖЧИНЫ, МУЖЧИНА МОЛОЖЕ ЖЕНЩИНЫ

— Великолепная новость, — сказал Поль, когда Лора поведала ему о своей любви, и позвал обеих сестер на ужин. Он был невыразимо счастлив,

что два милых его сердцу человека любят друг друга, и по такому случаю заказал к ужину две бутылки исключительно дорогого вина.

— Ты заведешь знакомство с одним из самых знаменитых семейств Франции, — говорил он Лоре. — Ты, конечно, знаешь, кто отец Бернара?

Лора сказала:

— Разумеется! Депутат! И Поль:

— Ничего–то ты о нем не знаешь. Депутат Бертран Бертран — сын депутата Артура Бертрана. Он чрезвычайно гордился своей фамилией и мечтал с помощью сына сделать ее еще более знаменитой. Он долго думал, какое дать ему имя, и его осенила гениальная идея окрестить его Бертраном. Такое удвоенное имя никто не сможет упустить или забыть! Достаточно произнести «Бертран Бертран», и оно прозвучит как овация, как крик «ура»: Бертран Бертран! Бертран Бертран! Бертран Бертран!

При этих словах Поль поднял бокал, словно, скандируя имя любимого вождя, произносил здравицу. Затем наконец выпил:

— Отменное вино, — сказал он и продолжал: — Каждый из нас пребывает под таинственным воздействием своего имени, и Бертран Бертран, который слышал, как его скандируют по несколь-

ку раз на дню, жил всю жизнь точно под прессом воображаемой славы этих четырех благозвучных слогов. И свой провал на выпускных экзаменах по сравнению с другими одноклассниками он перенес куда тяжелее. Словно удвоенное имя автоматически удваивало и его чувство ответственности. При своей известной скромности он способен был бы вынести позор, павший на него; но он не мог смириться с позором, доставшимся его имени. Уже в двадцать лет он дал клятву своему имени всю жизнь посвятить борьбе за торжество добра. Однако вскоре обнаружил, что нелегко различить, что есть добро и что есть зло. Его отец, к примеру, голосовал с большинством парламента за Мюнхенское соглашение. Он хотел защитить мир, поскольку мир — добро неоспоримое. Но потом ему ставили в укор, что Мюнхенское соглашение проложило дорогу войне, которая была неоспоримым злом. Сын хотел избежать ошибок отца и потому держался лишь самых элементарных, но несомненных истин. Он никогда не высказывался о палестинцах, Израиле, Октябрьской революции, Кастро и даже о террористах, поскольку знал, что существует граница, за которой убийство уже не убийство, а героизм, и что эту границу он никогда не будет

способен определить. Тем истовее он выступал против нацизма, газовых камер и в определенном смысле сожалел, что Гитлер исчез под развалинами канцелярии, так как с той поры понятия добра и зла обрели нестерпимую относительность. Это привело его к тому, что он сосредоточился на добре в самом непосредственном, не искаженном политикой виде. Его девизом было: «Добро есть жизнь». Смыслом его жизни стала борьба против абортов, против эвтаназии и против самоубийств. Лора, смеясь, возражала:

— Ты делаешь из него идиота!

— Видишь, — сказал Поль Аньес, — Лора уже защищает семью своего любовника. Это столь же достойно похвалы, как и это вино, за выбор которого вы должны мне похлопать! Недавно в передаче об эвтаназии Бертран Бертран позволил заснять себя у койки неподвижного больного с удаленным языком, незрячего и терзаемого постоянными болями. Бертран сидел, склонившись над ним, и телекамера показывала, как он вселяет в больного надежду на лучшие дни. В минуту, когда он в третий раз произнес слово «надежда», больной вдруг разъярился и издал протяжный страшный вопль, подобный вою зверя, быка, лошади, слона или всех, вместе взя-

тых; Бертран Бертран испугался: он уже не мог говорить, он лишь изо всех сил пытался удержать на лице улыбку, и камера долго снимала лишь эту застывшую улыбку трясущегося от страха депутата, а рядом с ним, в том же кадре лицо вопящего смертника. Но я не об этом хотел говорить. Я хотел только сказать, что с сыном он сплоховал, выбирая ему имя. Поначалу он хотел, чтобы сына звали, как и его, но быстро сообразил, что наличие на этом свете двух Бертранов Бертранов смахивало бы на карикатуру: людям было бы невдомек, идет ли речь о двух или четырех лицах. И все же, не желая отступиться от счастья слышать в имени сына отголосок собственного имени, он пришел к идее окрестить его Бернаром. Правда, Бернар Бертран звучит не как овация или крик «ура», а как обмолвка или даже скорее как фонетическое упражнение для актера или диктора радио, чтобы научиться говорить скороговоркой не спотыкаясь. Как я уже сказал, наши имена таинственно воздействуют на нас, и имя Бернара уже с колыбели предопределило его участь: вещать на волнах эфира.

Поль молол весь этот вздор лишь потому, что не отваживался говорить о том главном, о чем он думал и что приводило его в восторг: Лора

была на восемь лет старше Бернара! А дело в том, что Поля не покидало одно прекрасное воспоминание о женщине старше его на пятнадцать лет, с которой он находился в интимной связи, когда ему самому было двадцать пять. Ему хотелось говорить об этом, хотелось объяснить Лоре, что часть жизни каждого мужчины составляет любовь к женщине, которая старше его, и что именно о ней у него остаются самые чудесные воспоминания. «Женщина старше мужчины — это жемчужина в его жизни», — хотелось ему воскликнуть, снова поднимая бокал. Но он воздержался от этого поспешного жеста и стал лишь про себя вспоминать о давнишней любовнице, которая доверяла ему ключ от своей квартиры, и он мог ходить туда когда хотел, делать что хотел, и это было ему весьма кстати, потому как он не ладил с отцом и стремился по возможности меньше бывать дома. Она никогда не претендовала на его вечера; когда он был свободен, он приходил к ней, когда был занят, он не должен был ей ничего объяснять. Она никогда не принуждала его куда–либо ходить с ней, а если их видели вместе в обществе, она изображала из себя любящую родственницу, готовую сделать все для своего очаровательного племянника. Когда он женился,

она послала ему дорогой свадебный подарок, который для Аньес навсегда остался загадкой.

Но, пожалуй, не совсем удобно было говорить Лоре: я счастлив, что мой друг любит опытную женщину, которая старше его и будет относиться к нему как любящая тетя к очаровательному племяннику. Он не мог сказать этого, тем более что Лора разговорилась сама:

— И что самое прекрасное — рядом с ним я чувствую себя на десять лет моложе. Благодаря ему я вычеркнула десять или пятнадцать скверных лет, и мне так, будто я только вчера приехала из Швейцарии в Париж и встретила его.

Это признание лишило Поля возможности вслух вспоминать о жемчужине своей собственной жизни, и он лишь думал о ней, пригубливая вино и уже не слушая того, о чем говорила Лора. Чуть погодя, чтобы снова вступить в разговор, он спросил:

— Что рассказывает Бернар о своем отце?

— Ничего, — сказала Лора. — Могу уверить тебя, что его отец — не тема наших разговоров. Я знаю, что это выдающаяся семья. Но ты же знаешь мое мнение о выдающихся семьях.

— И тебе даже не любопытно?

— Нет, — весело рассмеялась Лора.

— А жаль. Бертран Бертран — самая большая проблема Бернара Бертрана.

— Не думаю, — сказала Лора, убежденная, что самой большой проблемой Бернара стала она.

— Ты же знаешь, что старый Бертран уготовил для Бернара политическую карьеру? — спросил Поль Лору.

— Нет, — сказала она, пожав плечами.

— В этой семье политическая карьера наследуется, как имение. Бертран рассчитывал на то, что его сын однажды будет выдвинут кандидатом в депутаты вместо него. Но Бернару было двадцать лет, когда он услыхал по радио такое сообщение: «В авиакатастрофе над Атлантическим океаном погибло сто тридцать девять пассажиров, в том числе семеро детей и четверо журналистов». К тому, что дети в подобных сообщениях выделяются в особую, чрезвычайно ценную породу человечества, мы привыкли давно. Но на сей раз дикторша причислила к ним еще и журналистов и тем самым озарила Бернара светом познания. Он понял, что политик в наши дни фигура комичная, и с ходу решил стать журналистом. Случаю было угодно, что тогда на юридическом факультете я вел семинар, который он посещал. Там и завершились его предательство политической

карьеры и предательство отца. Об этом Бернар тебе, наверное, рассказывал.

— Да, — сказала Лора. — Он боготворит тебя!

В эту минуту вошел чернокожий с корзиной цветов. Лора помахала ему. Чернокожий обнажил великолепные белые зубы, и Лора взяла из его корзины пучок из пяти увядших гвоздик; подала его Полю:

— Всем своим счастьем я обязана тебе. Поль протянул руку к корзине и вынул другой пучок гвоздик.

— Сегодня мы чествуем тебя, не меня! — И он подал цветы Лоре.

— Да, сегодня мы чествуем Лору, — сказала Аньес и взяла из корзины третий пучок гвоздик. У Лоры увлажнились глаза, и она сказала:

— Мне так хорошо, мне с вами так хорошо, — потом она поднялась. Прижимая к груди оба букета, она стояла возле чернокожего, возвышавшегося рядом, точно король. Все чернокожие похожи на королей: этот был похож на Отелло тех времен, когда он еще не ревновал Дездемону, и Лора выглядела как Дездемона, влюбленная в своего короля. Поль знал, что должно произойти сейчас. Когда Лора бывала в подпитии, она всегда начинала петь. Желание петь, поднимаясь

откуда–то из глубины тела к горлу, достигло такой интенсивности, что несколько ужинавших господ обратили к ней любопытные взоры.

— Лора, — зашептал Поль, — в этом ресторане вряд ли оценят твоего Малера!

Лора прижала к каждой груди по одному букету, и ей представилось, что она стоит на сцене. Под пальцами она ощущала свои груди, чьи молочные железы казались ей налитыми нотами. Но желание Поля всегда было для нее законом. Она послушалась его и лишь вздохнула:

— Мне страшно хочется что–то сделать…

Тут чернокожий, ведомый изысканным инстинктом королей, взял со дна корзины последние два букета помятых гвоздик и величественным жестом подал их Лоре. Она сказала сестре:

— Аньес, моя дорогая Аньес, без тебя я никогда не была бы в Париже, без тебя никогда не узнала бы Поля, без Поля никогда бы не узнала Бернара, — и положила перед ней на стол все четыре букета.

ОДИННАДЦАТАЯ ЗАПОВЕДЬ

Когда–то славу журналиста могло символизировать великое имя Эрнеста Хемингуэя. Все его произведения, его лаконичный, деловой стиль корнями уходили в репортажи, которые он еще

в юности посылал в газету в Канзас–Сити. Быть журналистом означало тогда приблизиться более чем кто–либо к реальности, пролезть во все ее затаенные уголки, запачкать ею руки. Хемингуэй был горд, что его книги столь низко опускались до самой земли и столь высоко взмывали к небосводу искусства.

Когда Бернар мысленно произносит слово «журналист» (а этим словом сейчас во Франции называют и редакторов радио и телевидения и даже фотокорреспондентов), он, однако, представляет себе не Хемингуэя, и литературная форма, в которой он мечтает отличиться, вовсе не репортаж. Он прежде всего грезит публиковать во влиятельном еженедельнике передовицы, которые заставляли бы трепетать коллег отца. Или интервью. Впрочем, кто зачинатель современной журналистики? Вовсе не Хемингуэй, писавший о своих впечатлениях во фронтовых окопах, вовсе не Оруэлл, что провел год жизни среди парижской бедноты, и не Эгон Эрвин Киш, знаток пражских проституток, а Ориана Фаллачи, публиковавшая между 1969 и 1972 годами в итальянском еженедельнике «Эуропео» цикл бесед с самыми видными политиками того времени. Эти беседы были больше, чем просто беседы; это были

поединки. Могущественные политики, не успев понять, что дерутся в неравных условиях — ибо вопросы имела право задавать только она, а не они, — уже извивались в нокауте на полу ринга.

Эти поединки были знамением времени: ситуация изменилась. Журналист уразумел, что постановка вопросов — не простой рабочий метод репортера, скромно проводящего свои изыски с блокнотом и карандашом в руке, а способ проявления власти. Журналист не тот, кто задает вопрос, а тот, кто наделен священным правом спрашивать кого угодно и о чем угодно. Но разве вопрос — не мост понимания, перекинутый от человека к человеку? Возможно. Уточню поэтому свое утверждение: власть журналиста основана не на его праве спрашивать, а на праве требовать ответа.

Особо заметьте, пожалуйста, что Моисей не включил в десять Божьих заповедей «Не лги!» И это не случайность! Ибо тот, кто говорит «не лги!», должен прежде сказать «отвечай!», а Бог никому не дал права требовать от другого ответа. «Не лги! Отвечай правду!» — все это слова, которые человек не посмел бы говорить другому человеку, считай он его равным себе. Только Бог, пожалуй, имел бы право сказать ему эти слова,

но у Него для этого нет никакого основания, коль Он все знает и в нашем ответе не нуждается.

Между тем, кто приказывает, и тем, кто должен слушаться, нет такого неравенства, как между тем, кто имеет право требовать ответа, и тем, кто обязан отвечать. Поэтому право требовать ответа издавна давалось лишь в исключительных случаях. Например, судье, расследующему преступление. В нашем веке это право присвоили себе фашистские и коммунистические государства, причем не в исключительных ситуациях, а на все времена. Граждане этих стран знали, что в любой момент их могут вызвать и спросить: что они делали вчера; о чем их самые сокровенные мысли; о чем говорят, встречаясь с А, и существуют ли у них интимные отношения с В. Именно этот сакрализованный императив «Не лги! Отвечай правду!», эта одиннадцатая заповедь, мощи которой они не сумели противостоять, превратила их в толпы впавших в детство бедолаг. Порой, конечно, находился какой–нибудь С, который ни за что на свете не хотел сказать, о чем он говорил с А, и протеста ради (часто это была единственно возможная форма протеста) вместо правды говорил ложь. Но органы, зная это, распоряжались тайно вмонтировать в его квартире подслуши-

вающее устройство. И делали это не по каким–то заслуживающим всяческого осуждения причинам, а просто ради того, чтобы узнать правду, которую лжец С утаил. Они настаивали только на своем святом праве требовать ответа.

В демократических странах каждый показал бы язык полицейскому, посмевшему спросить, о чем он говорил с А и в интимной ли он связи с В. Тем не менее и здесь проявляется всесильная власть одиннадцатой заповеди. Должна же хоть какая–нибудь заповедь властвовать над людьми в нашем столетии, когда Десятословие Божье почти забыто! Вся нравственная структура нашей эпохи зиждется на одиннадцатой заповеди, и журналист понял, что благодаря тайному установлению истории он должен стать ее вершителем, чем и достигнет власти, никакому Хемингуэю или Оруэллу доныне не снившейся.

Впервые это стало ясно как Божий день, когда американские журналисты Карл Бернстайн и Боб Вудворд своими вопросами раскрыли нечистоплотное поведение президента Никсона во время предвыборной кампании и таким образом принудили самого могущественного мужа планеты поначалу публично лгать, а затем публично признаться во лжи и, наконец, со склоненной

головой уйти из Белого дома. Все мы тогда аплодировали, поскольку были удовлетворены требования справедливости.

Поль аплодировал еще и потому, что в этом эпизоде провидел великую историческую перемену, веху, незабываемую минуту, когда наступает смена караула; появилась новая власть, та единственная, что способна сбросить с престола старого профессионала власти, кем до последнего времени был политик. И сбросить его с престола никоим образом не оружием или интригами, а всего лишь силой вопроса.

«Отвечай правду», — говорит журналист, и, естественно, мы можем спросить, каково содержание слова «правда» для того, кто правит институтом одиннадцатой заповеди. Чтобы дело не дошло до ошибок, заметим, что речь идет не о правде Божьей, во имя которой погиб на костре Ян Гус, равно как и не о правде науки и свободного образа мыслей, во имя которой сожгли Джордано Бруно. Правда, отвечающая одиннадцатой заповеди, не касается ни веры, ни образа мыслей, это правда самого низкого онтологического уровня, чисто позитивистская правда фактов: что делал С вчера; что он действительно думает в глубине души; о чем говорит, встречаясь с А, и

в интимной ли он связи с В. Тем не менее, хотя она и на самом низшем онтологическом уровне, это правда нашего времени и заключает в себе такую же взрывную силу, как когда–то правда Гуса или Джордано Бруно. «У вас были интимные отношения с В?» — спрашивает журналист. С лжет, утверждая, что он не знает В. Но журналист тихо смеется, поскольку фотограф его газеты уже давно запечатлел В в объятиях С, и только от него, журналиста, зависит, когда сделать скандал всеобщим достоянием заодно с заявлением лгуна С, трусливо и нагло твердящего, что с В незнаком.

Идет предвыборная кампания, политик прыгает из самолета в вертолет, из вертолета в машину, лезет из кожи вон, обливается потом, глотает на бегу обед, кричит в микрофон, толкает двухчасовые речи, но в конце концов зависит от Бернстайна или Вудворда, какие из пятидесяти тысяч фраз, произнесенных им, будут выпущены на страницы газет или процитированы по радио. А захоти политик выступить в прямом эфире по радио или телевидению, он сможет это осуществить лишь при посредничестве Орианы Фаллачи, которая является хозяйкой программы и будет задавать ему вопросы. Политик возжаждет воспользоваться минутой, когда наконец

его увидит весь народ, чтобы в один присест выложить все, что волнует его, но Вудворд будет спрашивать его лишь о том, что политика совсем не волнует и о чем говорить ему вовсе не хочется. Так он окажется в классической ситуации гимназиста, которого спрашивают у доски и который силится прибегнуть к старому трюку: он делает вид, что отвечает на вопрос, но на самом деле говорит о том, что приготовил для передачи дома. Только если этот трюк удавался когда–то с учителем, Бернстайна на этом не проведешь. Он беспощадно напоминает политику: «На мой вопрос вы не ответили!»

Кому нынче хотелось бы делать карьеру политика? Кому хочется, чтобы его всю жизнь спрашивали у доски? Уж во всяком случае не сыну депутата Бертрана Бертрана.

ИМАГОЛОГИЯ

Политик зависит от журналиста. Но от кого зависят журналисты? От тех, кто платит. А платят рекламные агентства, покупающие для своих реклам у газет место, а у телевидения время. На первый взгляд, можно было бы утверждать, что они не колеблясь обратятся к газетам, пользующимся большим спросом, дабы увеличить продажу предложенной продукции. Однако это

наивный взгляд на вещи. Продажа продукции заботит их менее, чем вы думаете. Достаточно обратить свой взор на коммунистические страны: нельзя же утверждать, что миллионы изображений Ленина, вывешенных повсюду, куда ни кинь глазом, могут увеличить любовь к Ленину. Рекламные агентства коммунистической партии (так называемые отделы агитации и пропаганды) уже давно забыли о практической цели своей деятельности (привить любовь к коммунистической системе) и превратились в самоцель: они создали свой язык, свои формулировки, свою эстетику (руководители подобных агентств когда–то обладали абсолютной властью над искусством своих стран), свое представление о стиле жизни, который культивируют, распространяют и навязывают несчастным народам.

Вы, пожалуй, возразите, что реклама и пропаганда несравнимые вещи, поскольку одна служит торговле, а другая — идеологии? Заблуждаетесь. Примерно сто лет назад в России преследуемые марксисты стали тайно объединяться в небольшие кружки, в которых изучали «Манифест» Маркса; они упростили содержание этой простой идеологии, чтобы распространять ее в других кружках, члены которых, упрощая еще больше

это упрощенное простое, передавали ее и распространяли еще дальше, так что когда марксизм стал известен и влиятелен по всей планете, от него осталось лишь собрание шести–семи лозунгов, столь зыбко связанных между собой, что трудно их называть идеологией. И так как все, что осталось от Маркса, уже давно являет собою не логическую систему идей, а лишь ряд суггестивных образов и лозунгов (улыбающийся рабочий с молотом, белый человек, держащий за руку желтого и черного, голубь мира, взмывающий в поднебесье, и так далее, и так далее), мы можем с полным правом говорить о постепенном, общем и всепланетном превращении идеологии в имагологию.

Имагология! Кто раньше придумал этот превосходный неологизм от латинского imago, образ? Я или Поль? В конце концов это не имеет значения. Главное, что это слово поможет нам наконец соединить под одной крышей то, что имеет столько названий: рекламные конторы, советники государственных мужей по вопросам так называемой коммуникации, дизайнеры, которые предлагают форму автомобилей и гимнастических снарядов, творцы модной одежды, парикмахеры, звезды шоу–бизнеса, диктующие норму физической

красоты, которой руководствуются все отрасли имагологии.

Имагологи, как теперь известно, существовали еще до того, как создали свои мощные институты. И у Гитлера был свой личный имаголог, который, стоя перед ним, терпеливо обучал его жестам, какие следует принимать во время выступлений, дабы завораживать толпу. Но если бы тот имаголог вздумал дать тогда интервью журналистам, в котором позабавил бы немцев тем, как Гитлер неумело двигал руками, он и на полдня не пережил бы своих откровенностей. Однако нынешний имаголог не только не скрывает своей деятельности, он даже часто сам говорит о ней вместо своих государственных деятелей, объясняя публике, чему он их научил и от чего отучил, как (согласно его инструкциям) они будут вести себя, каких лозунгов и формул придерживаться и какой галстук носить. И нечего нам удивляться его самоуверенности: имагология в последние десятилетия одержала историческую победу над идеологией.

Потерпели крах все идеологии: в конечном счете их догмы были разоблачены как иллюзии, и люди перестали принимать их всерьез. Коммунисты, к примеру, верили, что пролетариат в

ходе капиталистического развития будет нищать все больше и больше, и когда однажды оказалось, что рабочие по всей Европе катят на работу в авто, они готовы были кричать, что реальность жульничает. Реальность оказалась сильнее идеологии. И именно в этом смысле имагология превзошла ее: она сильнее реальности, которая, впрочем, уже давно перестала быть для человека тем, чем была для моей бабушки, жившей в моравской деревне и знавшей все по собственному опыту — как печется хлеб, как строится дом, как забивают хряка и делают из него копчености, что кладется в перины, что думает о мире пан священник и пан учитель; каждодневно она встречалась со всей деревней и знала, сколько было совершено в округе за последние десять лет убийств; у нее был, так сказать, личный контроль над действительностью, так что никто не мог убедить ее, что моравское земледелие процветает, когда дома нечего было есть. Мой сосед в Париже все свое время проводит в конторе, где восемь часов сидит напротив другого чиновника, потом садится в машину, возвращается домой, включает телевизор, и когда диктор информирует его об опросе общественного мнения, согласно которому большинство французов решило, что в

их отечестве наибольшая безопасность в Европе (я недавно знакомился с таким опросом), он на радостях откупоривает бутылку шампанского, даже не имея понятия о том, что именно в этот день на его улице были совершены три ограбления и два убийства.

Опросы общественного мнения стали решающим инструментом имагологической власти, которая благодаря им живет в совершеннейшей гармонии с народом. Имаголог бомбардирует людей вопросами: прибыльна ли французская экономика? будет ли война? существует ли во Франции расизм? а расизм — это хорошо или плохо? кто самый великий писатель всех времен? Венгрия в Европе или в Полинезии? кто из государственных мужей мира наиболее сексуален? А поскольку реальность для современного человека — материк, все менее и менее посещаемый и, кстати, заслуженно нелюбимый, данные опросов превратились в некую высшую реальность, или, скажем иначе, стали правдой. Опросы общественного мнения — это перманентно заседающий парламент, цель которого — продуцировать правду, причем самую демократическую правду, какая когда–либо существовала. И поскольку власть имагологов никогда не окажется в разладе

с парламентом правды, она всегда будет жить по правде, и, хоть все человеческое, как известно, недолговечно, я не могу представить себе, что могло бы сломить эту власть.

Что же касается соотношения идеологии и имагологии, хочу добавить еще кое–что: идеологии были словно огромные вращающиеся за кулисами колеса, которые приводили в действие войны, революции, реформы. Вращение же имагологических колес на историю не оказывает влияния. Идеологии воевали одна с другой, и каждая из них была способна заполнить своим образом мыслей целую эпоху. Имагология сама организует мирное чередование своих систем в бодром ритме сезонов. Как любил говаривать Поль: идеологии принадлежали истории, тогда как власть имагологии начинается там, где история кончается.

Столь дорогое нашей Европе слово перемена обрело новый смысл: оно означает не новую стадию последовательного развития (как это понимали Вико, Гегель или Маркс), а перемещение с места на место, с одной стороны на другую, назад, влево, вперед (так, как это понимают портные, измышляющие модный покрой для нового сезона). Если имагологи решили, что в гимнастическом клубе,

куда ходит Аньес, стены будут сплошь озеркалены, то это не для того, чтобы гимнасты могли следить за своими упражнениями, а лишь потому, что на имаго–логической рулетке зеркало в этот момент оказалось выигрышным числом. Если же в час, когда я пишу эти строки, все решат, что Мартин Хайдеггер должен быть сочтен за психопата и паршивую овцу, то это не потому, что его идеи превзойдены другими философами, а потому, что на имагологической рулетке он стал для данной минуты проигрышным числом, антиидеалом. Имагологи создают системы идеалов и антиидеалов, системы недолговечные, быстро сменяющие друг друга, однако влияющие на наше поведение, на наши политические взгляды и эстетический вкус, цвет ковров и выбор книг столь же мощно, как некогда владели нами системы идеологов.

После этих замечаний я могу вернуться к началу моих размышлений. Политик зависит от журналиста. От кого же зависят журналисты? От имагологов. Имаголог — человек убеждений и принципов: он требует от журналиста, чтобы его газета (телевизионный канал, радиостанция) соответствовала духу имагологической системы данного момента. Именно это имаго-

логи время от времени контролируют, решая, поддерживать им ту или иную газету или нет. В один прекрасный день они таким же манером обследовали радиостанцию, где Бернар работает редактором, а Поль каждую субботу выходит в эфир с коротким комментарием под названием «Право и закон». Они пообещали обеспечить станцию множеством рекламных договоров и, сверх того, организовать во славу ее кампанию с развешанными по всей Франции плакатами; но при этом они выдвинули условия, которые директору программы, известному под кличкой Медведь, пришлось принять: он мало–помалу стал сокращать отдельные комментарии, дабы не утомлять слушателя долгими рассуждениями; разрешил прерывать пятиминутные монологи редакторов вопросами другого редактора, чтобы создать впечатление непринужденной беседы; включил гораздо больше музыкальных заставок, разрешил часто сопровождать текст музыкой и посоветовал всем выступавшим у микрофона придать своим словам раскованную легкость и юношескую беззаботность, в результате чего мои утренние сны обрели особую прелесть, ибо сводки погоды стали напоминать комическую оперу. Поскольку директору важно было, чтобы его под-

чиненные не переставали видеть в нем могучего медведя, он изо всех сил стремился сохранить на своих местах всех сотрудников. Уступил он лишь в одном пункте. Регулярную передачу «Право и закон» имагологи считали в такой мере нудной, что отказались даже обсуждать ее и при упоминании о ней лишь смеялись, скаля свои чересчур белые зубы. Медведь пообещал, что в скором времени отменит эту передачу, правда, затем ему сделалось стыдно, что он уступил. И стыдно тем больше, что Поль был его другом.

ОСТРОУМНЫЙ СОЮЗНИК СВОИХ МОГИЛЬЩИКОВ

Директора программы прозвали Медведем, и лучшего прозвища придумать было нельзя: коренастый, медлительный, и, хотя он считался добряком, все знали, что своей увесистой лапой в сердцах может и ударить. Имагологам, имевшим наглость поучать его, как ему делать программу, удалось исчерпать едва ли не все его медвежье терпение. Сейчас он сидел в столовой радиостанции, окруженный несколькими сотрудниками, и говорил:

Эти мошенники от рекламы точно марсиане. Ведут себя не как нормальные люди. Говорят вам в глаза всякие гадости, а лицо у них светится

счастьем. Пользуются они не более чем шестью–десятью словами и выражаются фразами из четырех слов. Их речь — сочетание двух–трех технических, непонятных мне терминов, с одной, максимально двумя умопомрачительно примитивными мыслями. Стыд неведом этим господам, как нет у них и ни малейшего следа закомплексованности. Как вам известно, это свойство людей, обладающих властью.

Примерно в эту минуту в столовой появился Поль. При виде его все пришли в смущение, тем в большее, что Поль был в превосходном настроении. Он принес из бара кофе и собирался подсесть к остальным.

В присутствии Поля Медведь чувствовал себя неловко. Ему было стыдно и за то, что он не отстоял! его, и за то, что теперь не находил в себе смелости сказать об этом прямо ему в глаза. Его залила новая волна ненависти к имагологам, и он заявил:

— В конце концов я готов пойти этим кретинам навстречу и превратить сводки погоды в клоунаду, но что делать, когда вслед за этим Бернар говорит об авиакатастрофе, в которой погибла сотня пассажиров? Я, разумеется, готов положить жизнь за то, чтобы французы забавлялись, одна-

ко новости — это не шутовство.

Все сделали вид, что соглашаются. Один Поль разразился смехом задиристого провокатора и сказал:

— Медведь! Имагологи правы! Ты путаешь новости со школьными уроками!

Медведю припомнилось, что комментарии Поля, хотя иной раз и достаточно остроумные, как правило, чересчур сложны и сверх меры перегружены незнакомыми словами, смысл которых вся редакция потом тайком ищет в словарях. Но сейчас говорить об этом не хотелось, и он объявил с достоинством:

— Я всегда был высокого мнения о журналистике и не хочу ей изменять.

Поль сказал:

— Слушать новости — все равно что выкурить сигарету и тут же бросить ее в пепельницу.

— С этим я вряд ли могу согласиться, — сказал Медведь.

— Да ведь ты заядлый курильщик! Отчего же ты против того, чтобы новости походили на сигареты? — посмеялся Поль. — С той лишь разницей, что сигареты тебе вредят, а новости навредить не могут, а сверх того, еще приятно тебя позабавят перед утомительным днем.

— Война между Ираном и Ираком — забава? — спросил Медведь, и в его сочувствие к Полю постепенно стало примешиваться раздражение. — А сегодняшняя катастрофа, этот кошмар на железной дороге, это что, забавное происшествие?

— Ты допускаешь привычную ошибку, считая смерть трагедией, — сказал Поль; видно было по нему, что он с утра в отличной форме.

— Должен признаться, — сказал Медведь ледяным тоном, — что смерть я действительно считал трагедией.

— И ошибался, — сказал Поль. — Железнодорожная катастрофа, несомненно, кошмар для того, кто в поезде или у кого там сын. Но в новостях смерть значит то же самое, что в романах Агаты Кристи, которая, между прочим, самый великий волшебник всех времен, потому что сумела превратить убийство в развлечение, причем не одно убийство, а десятки убийств, сотни убийств, конвейер убийств, совершенных для нашего удовольствия в истребительном лагере ее романов. Освенцим забыт, но из крематория романов Агаты вечно возносится к небу дым, и только чрезвычайно наивный человек мог бы утверждать, что дым этот — трагедия.

Медведю припомнилось, что именно этим видом парадоксов Поль уже давно воздействует на всю редакцию. А посему, когда имагологи обратили к ней свой дурной глаз, она оказала своему директору весьма слабую поддержку, считая в глубине души его позицию старомодной. Медведю было стыдно, что он в конце концов пошел на уступки, но при этом он понимал, что ничего другого ему не оставалось. Такие вынужденные компромиссы с духом эпохи — дело банальное и в конечном счете неизбежное, если мы не хотим призвать ко всеобщей стачке всех, кому не по нраву наше столетие. Но в отношении Поля нельзя было говорить о вынужденном компромиссе. Поль спешил предоставить в пользование своему столетию свое остроумие и разум добровольно и, на вкус Медведя, чересчур рьяно. Поэтому он ответил ему тоном еще более ледяным:

— Я тоже читаю Агату Кристи! Когда утомлен, когда хочется ненадолго стать ребенком. Но если всякий час жизни превратится в детскую игру, мир в конце концов погибнет под наш веселый лепет и смех.

Поль сказал:

— Я предпочел бы погибнуть под звуки детского лепета, чем под звуки «Похоронного марша»

Шопена. И скажу тебе вот что: в этом похоронном марше, прославляющем смерть, заключено все зло. Кабы меньше было траурных маршей, было бы, возможно, и меньше смертей. Пойми, что я хочу сказать: почтение к трагедии гораздо опаснее, чем беззаботность детского лепета. Осознал ли ты, что является вечным условием трагедии? Существование идеалов, почитаемых более ценными, чем человеческая жизнь. А что является условием войн? То же самое. Тебя гонят на гибель, поскольку якобы существует нечто большее, чем твоя жизнь. Война может существовать лишь в мире трагедии; с начала истории человек не познал ничего, кроме трагического мира, и он не в силах выйти из него. Век трагедии может завершить лишь бунт фривольности. Люди уже сейчас знают из бетховенской Девятой лишь четыре такта оды «К радости», которые ежедневно слышат в рекламе духов «Белла». У меня это не вызывает возмущения. Трагедия будет изгнана из мира, как старая плохая актриса, которая, хватаясь за сердце, декламирует охрипшим голосом. Фривольность — радикальный курс лечения против ожирения. Вещи лишатся девяноста процентов смысла и станут легкими. В такой невесомой атмосфере исчезнет фанатизм.

Война станет невозможной.

— Я рад, что ты наконец нашел способ, как устранить войны, — сказал Медведь.

— Можешь ли ты представить себе французскую молодежь, восторженно идущую воевать за отчизну? Медведь, война в Европе стала немыслимой. Не политически. Антропологически немыслимой. Европейцы уже не способны воевать.

Не вздумайте меня убеждать, что два человека, глубоко не согласных друг с другом, могут все же любить друг друга; это побасенки для детей. Пожалуй, они могли бы любить друг друга при условии, что будут молчать о своих взглядах или высказывать их только в шутливом тоне и таким путем умалять их значение (так, кстати, до сих пор и разговаривали друг с другом Поль и Медведь). Но стоит только спору разгореться, и кончен бал. Не потому, что они так твердо верят во взгляды, которые отстаивают, а потому, что не вынесут своей неправоты. Взгляните на эту пару. Их спор ничего не изменит, не приведет ни к какому решению, не повлияет на ход событий, он абсолютно бесплоден, излишен, рассчитан лишь на эту столовую с ее затхлым воздухом, вместе с которым он выветрится, как только уборщицы

откроют окна. И все же обратите внимание на эту сосредоточенность маленькой аудитории вокруг стола! Все стихли и слушают их, забыв о своем кофе. Обоим противникам теперь уже все трын–трава, кроме одного: кто из них будет признан этой частицей общественного мнения обладателем истины, поскольку быть признанным тем, кто этой истиной не обладает, для каждого из них не что иное, как потеря чести. Или потеря собственного «я». Сам по себе взгляд, который они отстаивают, особенно их и не волнует. Но поскольку этот взгляд они когда–то сделали атрибутом своего «я», любое его ущемление подобно болезненному уколу.

Где–то в глубинах души Медведь испытывал удовлетворение, что Поль уже не будет больше читать по радио свои софистические комментарии; его голос, исполненный медвежьей спеси, звучал все более тихо и холодно. Зато Поль говорил все громче, и чем дальше, тем мысли его становились все более утрированными и провокационными. Он сказал:

— Великая культура — не что иное, как плод той европейской извращенности, имя которой история, то есть той одержимости постоянно идти вперед, считать череду поколений эста-

фетным бегом, где каждый превосходит своего предшественника, дабы быть превзойденным своим последователем. Без этого эстафетного бега, называемого историей, не было бы европейского искусства и того, что его характеризует: жажды оригинальности, жажды перемены. Робеспьер, Наполеон, Бетховен, Сталин, Пикассо — все они участники эстафетного бега, причем бегают по одному и тому же стадиону.

— Так ты полагаешь, что Бетховен и Сталин сопоставимы? — спросил Медведь с ледяной иронией.

— Разумеется, хотя это и шокирует. Война и культура — это два полюса Европы, ее небо и ад, ее слава и позор, но разъединить их нельзя. Если кончится одно, кончится и другое, и одно не может кончиться без другого. То, что в Европе уже пятьдесят лет нет войны, каким–то таинственным образом связано с тем, что здесь вот уже пятьдесят лет не объявился никакой Пикассо.

— Вот что скажу тебе, Поль, — проговорил Медведь очень медленным голосом, словно поднимал вверх свою тяжелую лапу, чтобы в следующий момент нанести удар. — Если конец великой культуре, то, значит, конец и тебе, и твоим парадоксальным идеям, ибо парадокс, как

таковой, — принадлежность великой культуры, а не детского лепета. Ты напоминаешь мне тех юнцов, которые когда–то объявляли себя сторонниками нацистов или коммунистов не в силу трусости или карьеризма, а от избытка ума. Дело в том, что ничто не требует большего усилия мысли, чем аргументация, направленная на оправдание антимысли. У меня была возможность увидеть это своими глазами, пережить на собственном опыте после войны, когда интеллектуалы и художники, как телята, вступали в коммунистическую партию, которая затем с превеликим удовольствием их всех систематически истребляла. Ты поступаешь точно так же. Ты остроумный союзник своих могильщиков!

СТОПРОЦЕНТНЫЙ ОСЕЛ

Из транзистора, лежавшего между их головами, раздавался хорошо знакомый голос Бернара; он разговаривал с актером, чей фильм в скором времени должен был впервые появиться на экране. Повышенный голос актера пробудил их от полусна.

— Я пришел сюда поговорить о фильме, а не о сыне.

— Не беспокойтесь, дойдет очередь и до фильма, — звучал голос Бернара. — Но это требования

хроники. Пошли толки, что в скандальной истории вашего сына вы играли немалую роль.

— Приглашая меня сюда, вы мне совершенно ясно сказали, что хотите поговорить со мной о фильме. Стало быть, давайте говорить о фильме, а не о моих личных делах.

— Вы лицо общественное, и я спрашиваю вас о том, чем интересуется общественность. Я не делаю ничего другого, я лишь исполняю свои обязанности журналиста.

— Я готов выслушать ваши вопросы касательно фильма.

— Как вам угодно. Но слушателям, несомненно, покажется странным, почему вы уклоняетесь от ответа.

Аньес встала с постели. Четверть часа спустя после ее ухода на работу поднялся и Поль; оделся и спустился вниз к консьержке за почтой. Одно письмо было от Медведя. Множеством фраз, в которых горький юмор перемешивался с извинениями, он сообщал ему о том, что нам уже известно: радиостанция отказывалась от услуг Поля.

Он перечел письмо четыре раза. Потом, махнув рукой, ушел в контору. Но был сам не свой, ни на чем не мог сосредоточиться и думал только

об этом письме. Было ли это для него таким ударом? С практической точки зрения — ничуть. И все–таки ему было больно. Всю свою жизнь он избегал общества адвокатов: был счастлив, когда вел семинар в университете, был счастлив, когда выступал на радио. Не то чтобы профессия адвоката была ему не по нраву; напротив, он любил своих подзащитных, старался понять мотивы их преступления и придать ему смысл; «я не адвокат, я поэт защиты!» — говаривал он в шутку; он осознанно был на стороне людей, оказавшихся вне закона, и считал себя (не без явного тщеславия) предателем, пятой колонной, партизаном человечности в мире нечеловеческих законов, комментируемых в пухлых книгах, которые брал в руки с отвращением пресыщенного знатока. Ему было важно общаться с людьми вне зала суда, со студентами, с литераторами, с журналистами, дабы сохранять сознание (а не только пустую иллюзию), что он принадлежит к их числу. Он тянулся к ним и сейчас страдал оттого, что письмо Медведя снова загоняет его в юридическую контору и в залы суда.

Но задело его еще и другое. Когда вчера Медведь назвал его «союзником своих могильщиков», он принял это разве что за элегантное оскорбление,

лишенное конкретного смысла. Под словом «могильщики» он ничего не сумел вообразить себе. Он тогда еще ни* чего не знал о своих могильщиках. Но сегодня, когда он получил письмо от Медведя, ему вдруг стало ясно, что они существуют, что они уже засекли его и ждут.

Он вдруг понял, что люди видят его иначе, чем он сам себя видит, иным, чем он представлял себя в их глазах. Из всех сотрудников радиостанции он единственный, кто должен был уйти, хотя (в этом он не сомневался) Медведь защищал его как мог. Чем он раздражал этих деятелей от рекламы? Впрочем, он был бы наивен, думая, что только они сочли его нежелательным. Нежелательным, вероятно, признали его и другие. Что–то наверняка произошло с его образом, хотя сам–то он этого не осознавал. Что–то произошло, а он и не знает что и никогда того не узнает. Уж так повелось, и это касается всех: мы никогда не узнаем, почему и чем мы раздражаем людей, чем мы милы им и чем смешны; наш собственный образ остается для нас величайшей тайной.

Поль понял, что в этот день он не сможет ни о чем другом думать, и потому, подняв трубку, пригласил Бернара пообедать с ним в ресторане.

Они уселись друг против друга, и Поль горел

желанием рассказать о письме, которое получил от Медведя, но, будучи человеком воспитанным, сперва сказал:

— Я слушал тебя утром. Погонял ты этого актера, как зайца.

— Да, знаю, — сказал Бернар. — Возможно, я перестарался. Но я был в ужасном настроении. Вчера у меня был гость, о котором не могу забыть. Пожаловал ко мне незнакомый мужчина. На голову выше меня, с огромным животом. Представился, с настораживающей любезностью улыбнулся и сказал: «Имею честь вручить вам этот диплом». И, сунув мне в руку большой картонный тубус, настоял на том, чтобы я тотчас открыл его. В тубусе был диплом. В цвете. Каллиграфическим почерком там было написано: Бернар Бертран произведен в чин стопроцентного осла.

— Что, что? — прыснул Поль, но тотчас овладел собой, увидев серьезное, неподвижное Бернарово лицо, в котором нельзя было заметить и тени игривости.

— Да, — повторил мрачным голосом Бернар. — Я был произведен в чин стопроцентного осла.

— А кто тебя произвел? Там указана какая–нибудь организация?

— Нет. Только подпись, причем неразборчивая. Бернар еще раз–другой описал, что произошло, затем добавил:

— Сперва я не мог поверить своим глазам. Было ощущение, что я стал жертвой покушения, хотелось кричать, звать полицию. А потом осознал, что вообще бессилен что–либо сделать. Этот человек улыбался и протягивал мне руку. «Примите мои поздравления», — сказал он, а я был так ошеломлен, что взял и пожал ему руку.

— Ты пожал ему руку? Ты действительно поблагодарил его? — сказал Поль, с трудом сдерживая смех.

— Когда я понял, что не могу потребовать ареста этого человека, я решил проявить хладнокровие и вел себя так, словно все, что происходит, в порядке вещей и вообще это меня не трогает.

— Это неизбежно, — сказал Поль. — Если человек произведен в ослы, он начинает вести себя как осел.

— К сожалению, это так, — сказал Бернар.

— И ты не знаешь, кто это был? Он же представился?

— Я был так взволнован, что его имя мигом выскочило из головы.

Поль не мог удержаться, чтобы снова не за-

смеяться.

— Да, я знаю, ты скажешь, что это шутка, и ты, разумеется, прав, это шутка, — говорил Бернар, — но я ничего не могу с собой поделать. С тех пор я думаю об этом постоянно и ни о чем другом думать не могу.

Поль уже не смеялся, ибо понял, что Бернар говорит правду: со вчерашнего дня, без сомнения, он не думал ни о чем другом.

А как бы реагировал Поль, получив такой диплом? Так же, как и Бернар. Когда вас производят в стопроцентные ослы, это значит, что по меньшей мере один человек считает вас ослом, и ему важно, чтобы вы знали об этом. Это уже само по себе пренеприятно. Но вполне возможно, что это не один человек, что за дипломом стоит инициатива десятка людей. И возможно также, что эти люди вознамерились сделать что–то еще, ну, допустим, послать заметку в газету, и завтра в «Монд» в рубрике похорон, свадеб и награждений появится сообщение, что Бернар был произведен в чин стопроцентного осла.

Затем Бернар поделился с Полем (и тот не знал, смеяться ему над ним или плакать), что в тот же день, когда неизвестный вручил ему диплом, он показывал его всем встречным и поперечным.

Не желая оставаться один на один со своим позором, он пытался разделить его с другими и потому всем разъяснял, что этот выпад касается не только его лично: «Если бы это предназначалось одному мне, это принесли бы мне домой, на мой адрес. Но они принесли мне это на радио! Это выпад против меня как журналиста! Выпад против нас всех!»

Поль резал мясо, пил вино и думал: итак, здесь сидят два приятеля: одного обозвали стопроцентным ослом, другого — остроумным союзником своих могильщиков. И он вдруг осознал (трогательная приязнь к молодому другу от этого лишь возросла), что уже никогда про себя не назовет его Бернаром, а исключительно стопроцентным ослом, причем не из злорадства, а потому, что пред столь прекрасным званием никто не может устоять; да и ни один из тех, кому Бернар от волнения имел глупость показать диплом, уже никогда иначе его не назовет.

И еще подумалось ему, что Медведь поступил вполне по–дружески, назвав его остроумным союзником своих могильщиков лишь в тесном кругу, за столом. Награди он его этим титулом в дипломе, было бы куда печальнее. Так горести Бернара позволили ему почти забыть о своих

переживаниях, и когда Бернар сказал ему: «Впрочем, с тобой тоже случилась неприятная вещь», он лишь махнул рукой: «А, эпизод», и Бернар согласился: «Я сразу же подумал, что это никак не может тебя уязвить. Ты сумеешь найти для себя тысячу других занятий, причем поинтереснее». Когда Бернар провожал Поля к машине, тот весьма уныло заметил:

— Медведь ошибается, а имагологи правы. Человек — это всего лишь то, что являет собой его образ. Философы могут убеждать нас, будто безразлично, что думает о нас мир, что действительно лишь то, каковы мы на самом деле. Но философы ничего не смыслят. Поскольку мы живем с людьми, мы не что иное, как то, за кого люди нас принимают. Думать о том, какими нас видят другие, и стараться, чтобы наш образ был по возможности более симпатичным, считается своего рода притворством или фальшивой игрой. Но разве существует какой–либо прямой контакт между моим и их «я» без посредничества глаз? Разве мыслима любовь, если мы не озабочены тем, каков наш образ в мыслях любимого? Когда нам становится безразлично, каким нас видит тот, кого мы любим, это значит, мы его уже не любим.

— Ты прав, — сказал Бернар мрачным голосом.

— Наивная иллюзия думать, что наш образ лишь видимость, за которой скрыто наше «я» как единственно истинная сущность, независимая от глаз мира. Имагологи с крайней циничностью открыли, что это как раз наоборот: наше «я» лишь простая видимость, неосязаемая, невыразимая, туманная, тогда как единственная реальность, даже слишком легко осязаемая и выразимая, это наш образ в глазах других. И что самое худшее: ты не властелин этого образа. Поначалу ты стремишься сам нарисовать его, затем хочешь хотя бы влиять на него и его контролировать, но все тщетно: достаточно одной злонамеренной формулы, чтобы тебя навсегда превратить в жалкую карикатуру.

Они остановились у машины, и Поль увидел перед собой лицо Бернара, еще более тревожное и бледное. Минуту назад из лучших побуждений он хотел утешить друга, а сейчас понял, как он задел его своими словами. Какая жалость: он отдался своим размышлениям лишь потому, что думал о себе, о своем собственном положении, а не о Бернаре. Но теперь уже ничего не исправишь.

Попрощались, и Бернар сказал ему с трогательным смущением:

— Только, пожалуйста, ничего не говори Лоре. И Аньес — тоже ничего.

Поль искренне пожал ему руку:

— Положись на меня.

Вернувшись в контору, он взялся за работу. Встреча с Бернаром на удивление успокоила его, на душе было лучше, чем до обеда. Под вечер он встретился дома с Аньес. Он рассказал ей о письме и тут же подчеркнул, что все это дело ровным счетом ничего для него не значит. Силился сказать это посмеиваясь, но Аньес заметила, что между словами и смехом Поль покашливает. Она отлично знала это покашливание. Он умел всегда совладать с собой, когда приключалось с ним что–то неприятное, и лишь этот короткий, смущенный кашель, которого он и сам не замечал, выдавал его.

— Им захотелось, чтобы передачи были более занятные и молодежные, — сказала Аньес. Ее слова, намеренно иронические, направлены были против тех, кто отменил передачу Поля. Затем она погладила его по волосам. Но этого не следовало делать. Поль увидел в ее глазах свой образ: образ униженного человека, о котором было решено, что он уже не молод и не занятен.

КОШКА

Каждый из нас мечтает перешагнуть эротические условности, эротические табу и в опьянении вступить в царство Запретного. Но каждому из нас недостает для этого смелости…

Иметь любовницу старше себя или любовника моложе — вот что можно посоветовать в качестве самого простого и доступного всем способа перешагнуть Запрет. У Лоры впервые в жизни был любовник моложе ее. У Бернара впервые была любовница старше его, и они оба переживали это как возбуждающее грехопадение.

Когда Лора однажды объявила в присутствии Поля, что рядом с Бернаром она помолодела на десять лет, она говорила правду: в нее влился поток новой энергии! Однако моложе его она себя от этого не чувствовала! Напротив, с доныне непознанной радостью она наслаждалась ощущением, что у нее молодой любовник, который считает себя слабее ее и встревожен тем, что опытная любовница станет сравнивать его с предшественниками. В эротике как в танце: один всегда ведет другого. Лора впервые в жизни вела мужчину, и вести для нее было столь же упоительно, сколь для Бернара позволять себя вести.

Женщина, которая старше мужчины, прежде всего дает ему уверенность, что их любовь свер-

шается далеко от тенет брака, ибо никто все же не станет всерьез думать, что молодой мужчина, перед которым впереди простирается удачливая жизнь, вступит в брак с женщиной на восемь лет старше себя.

В этом плане Бернар смотрел на Лору так же, как Поль на даму, которую задним числом возвысил до жемчужины своей жизни: Бернар предполагал, что его любовница считается с тем, что однажды добровольно уступит место молодой жене, которую он сможет представить родителям, не приведя их при этом в замешательство. Уверовав в ее материнскую мудрость, он грезил даже о том, что в один прекрасный день она пойдет свидетелем на свадьбу и начисто утаит от невесты, что когда–то была (а может, будет и далее, почему нет?) его любовницей.

Их безоблачное счастье длилось два года. Затем Бернар был произведен в чин стопроцентного осла и стал неразговорчивым. Лора о дипломе ничего не знала (Поль сдержал слово), а поскольку не была приучена расспрашивать его о делах, ничего не знала и о прочих трудностях, с которыми он столкнулся на радио (беда, как известно, не ходит одна), и его замкнутость объясняла себе лишь тем, что он перестал ее любить. Она уже не

раз ловила его на том, что он не слышит, что она ему говорит, и была уверена, что в такие минуты он думает о другой женщине. Ах, сколь малого достаточно в любви, чтобы человек совсем отчаялся!

Однажды он пришел к ней, весь погруженный в черные мысли. Она удалилась в соседнюю комнату переодеться, а он остался в гостиной наедине с большой сиамской кошкой. К кошке он не испытывал особой симпатии, но знал, что его пассия в ней души не чает. Итак, он сидел в кресле, предавался черным мыслям и вдруг механически протянул руку к кошке, полагая, что обязан ее погладить. Но она, фыркнув, укусила его в руку. Укус тут же подключился к целой веренице обид, которые в последние недели преследовали и унижали его, а посему он впал в дикую ярость, вскочил с кресла и кинулся за кошкой. Она махнула в угол, выгнула спину и грозно зашипела.

Тут он обернулся и увидел Лору. Она стояла на пороге, и явно наблюдала всю сцену. Она сказала:

— Нет, нет, не смей ее наказывать. Она была совершенно права.

Он смотрел на Лору с удивлением. Укус причи-

нял ему боль, и от своей любовницы он ожидал если не союза с ним против зверя, то по крайней мере проявления элементарного чувства справедливости. Его охватило сильное желание подойти к кошке и дать ей такого пинка, чтобы она распласталась на потолке гостиной. Лишь с великим усилием он сдержал себя.

Лора добавила, делая упор на каждом слове:

— Она требует, чтобы тот, кто гладит ее, по–настоящему сосредоточился на этом. Я тоже терпеть не могу, когда кто–то бывает со мной, а при этом думает о ком–то другом.

Когда минуту назад Лора наблюдала, как Бернар гладит кошку, неприязненно реагировавшую на его отстраненную рассеянность, она испытала чувство солидарности с ней; вот уже несколько недель как Бернар ведет себя по отношению к ней совершенно так же: гладит ее и при этом думает о чем–то другом; делает вид, что он с ней, но она–то знает: он вовсе не слышит, что она ему говорит. Во время этой сцены Лоре представилось, что ее второе, символическое, мистическое «я», каким она считала свою кошку, хочет ее подбодрить, указать ей, как вести себя, послужить ей примером. Бывают минуты, когда надо выпустить когти, сказала она себе и вознамерилась за ин-

тимным ужином в ресторане, куда они должны были вот–вот отправиться, набраться храбрости и сделать решающий шаг.

Опережая события, скажу прямо: трудно представить себе большую нелепость, чем ее решение. То, что она собиралась сделать, совершенно противоречило всем ее интересам. А дело вот в чем: те два года, что они были знакомы, Бернар был с нею счастлив, возможно, даже более счастлив, чем сама Лора могла предположить. Она была для него бегством из жизни, какую с детства ему готовил отец, благозвучный Бертран Бертран. Наконец он мог жить свободно, сообразно своим желаниям, иметь укромный уголок, куда не сунет любопытную голову ни один член его семьи, уголок, где он живет совершенно иначе, чем привык жить; он обожал Лорину богему, ее рояль, к которому она иной раз подсаживалась, концерты, на которые она его водила, ее настроения и ее экстравагантности. Он оказался с ней Далеко от богатых и скучных людей, среди которых вращался отец. Их счастье, однако, зависело от одного условия: они должны были оставаться вне брачных уз. Стань они супругами, все разом бы изменилось: их союз вмиг был бы открыт для любого вмешательства его семьи; их любовь по-

теряла бы не только свою прелесть, но и сам свой смысл. И Лора лишилась бы всей своей власти, какую до сих пор имела над Бернаром.

Как же случилось, что, невзирая на все, она могла принять такое глупое решение, противоречащее всем ее интересам? Неужто она так мало знала своего любовника? Так плохо понимала его?

Да, как это ни удивительно, она не знала и не понимала его. Она даже гордилась тем, что в Бернаре, кроме его любви, ее ничто не интересует. Она никогда не спрашивала его об отце. Она ничего не знала о его семье. Когда он иной раз говорил о ней, Лора демонстративно скучала и тут же объявляла, что на пустые разговоры ей не хочется тратить время, какое она могла бы уделить Бернару. А еще удивительнее, что даже в мрачные недели после получения диплома, когда он стал молчалив и просил у нее извинения за свою озабоченность, она всегда говорила: «Да я знаю, что такое трудности», но ни разу не задала ему самый простой из всех мыслимых вопросов: «Какие у тебя трудности? Скажи внятно, что происходит? Объясни мне, что тебя мучит!»

Странная вещь: она была влюблена в него до безумия, но при этом не интересовалась им. Я

мог бы даже сказать: она была влюблена в него до безумия и именно потому не интересовалась им. Упрекни мы ее в отсутствии интереса к нему и обвини в том, что она не знает своего любовника, она не поняла бы нас. Ибо Лора не знала, что такое знать кого–то. В этом отношении она была словно девственница, которая думает, что у нее родится ребенок, если она станет много целоваться со своим любезным. Она думала о Бернаре в последнее время почти непрерывно. Она представляла себе его тело, его лицо, у нее было чувство, что она постоянно с ним, что она вся им пронизана. Поэтому она была уверена, что знает его наизусть и что никто никогда не знал его так, как она. Чувство любви всем нам внушает ложную иллюзию познания.

После этого пояснения мы, пожалуй, можем наконец поверить, что за десертом она сказала ему (в ее оправдание я мог бы добавить, что они выпили бутылку вина и две рюмки коньяка, но я уверен, что она сказала бы это, даже не будучи в опьянении): «Бернар, женись на мне!»

ЖЕСТ ПРОТЕСТА ПРОТИВ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Брижит уходила с урока немецкого, твердо решив им не заниматься. С одной стороны, пото-

му что в языке Гёте не видела для себя никакой надобности (к его изучению ее принудила мать), с другой — потому что ощущала с немецким глубокое несогласие. Этот язык раздражал ее своей нелогичностью. Сегодняшний пример переполнил чашу ее терпения: предлог ohne (без) управляет винительным падежом, предлог mit (с) — дательным. Почему? Ведь оба предлога означают позитивный и негативный аспект одного и того же отношения, поэтому должны были бы управлять одним и тем же падежом. Она сказала об этом учителю, молодому немцу, который смутился и фазу же почувствовал себя виноватым. То был симпатичный мягкий человек, страдающий от того, что он представитель народа, который позволил властвовать над собой Гитлеру. Готовый видеть в своем отечестве все пороки, он мгновенно согласился, что не существует никакого приемлемого основания, чтобы предлоги mit u ohne управляли двумя различными падежами.

— Нелогично, я знаю, но так уж принято в течение веков, — говорил он, словно просил молодую француженку смилостивиться над языком, проклятым историей.

— Я рада, что вы с этим согласны. Это нелогично. А язык должен быть логичным, — говорила

Брижит. Молодой немец подпевал ей:

— К сожалению, у нас не было Декарта. Это непростительная брешь в нашей истории. В Германии нет традиции разума и ясности, в ней полно метафизического тумана и вагнеровской музыки, и мы все знаем, кто был величайшим поклонником Вагнера: Гитлер!

Брижит не интересовали ни Вагнер, ни Гитлер, и она следовала за своей мыслью:

— Языком, в котором нет логики, может овладеть ребенок, потому что ребенок не думает. Но им никогда не сможет овладеть взрослый иностранец, поэтому для меня немецкий не является языком мирового общения.

— Вы абсолютно правы, — сказал немец и тихо добавил: — По крайней мере, вы видите, насколько абсурдно было стремление немцев к мировому господству!

Довольная собой, Брижит села в машину и поехала к «Фашон» купить бутылку вина. Она хотела запарковаться, но это оказалось невозможным: ряды машин без единого просвета окаймляли тротуары в радиусе целого километра; она колесила с четверть часа, но, так и не найдя нигде места, преисполнилась запальчивого удивления; она въехала на тротуар и оставила машину там.

Вышла и направилась к магазину. Но уже издали увидала, что происходит что–то необычное. Когда подошла ближе, поняла, в чем дело.

Снаружи и внутри известного продуктового магазина «Фашон», где любой товар в десять раз дороже, чем в другом месте, так что за покупками ходят сюда лишь те, кому большее удовольствие доставляет платить, чем есть, теснилось с сотню плохо одетых людей — безработных; это была особая манифестация: безработные пришли сюда вовсе не для того, чтобы что–то разбить, кому–то угрожать или выкрикивать какие–то лозунги; они просто хотели пристыдить богатеев, уже одним своим присутствием лишая их желания купить вина и икры. И в самом деле, на лицах продавцов и покупателей блуждали смущенные улыбки, и стало невозможно ни продавать, ни покупать.

Брижит протиснулась внутрь. К безработным она не испытывала никакой особой антипатии, да и против дам в манто у нее не было предубеждения. Она громко попросила бутылку бордо. Ее решительность удивила продавщицу, осознавшую вдруг, что присутствие безработных, ничем ей не угрожающих, вовсе не мешает ей обслужить молодую покупательницу. Брижит заплатила за

бутылку и вернулась к машине; там стояли двое полицейских, потребовавших от нее штрафа.

Она напустилась на них, а когда они заявили, что машина не по правилам запаркована и не дает людям пройти по тротуару, она указала на ряды машин, стоявших впритык. «Скажите, где мне надо было припарковаться? Если людям позволено покупать машины, то надо гарантировать им и место парковки, не так ли? Будьте логичны!» — обрушилась она на них.

Я рассказываю это лишь ради одной детали: когда Брижит кричала на полицейских, она вдруг вспомнила о безработных в магазине «Фашон» и прониклась к ним внезапной симпатией; почувствовала себя связанной с ними общей борьбой. Это придало ей смелости, и она повысила голос; полицейские (неуверенные, как и дамы в манто при виде безработных) не способны были ни на что другое, кроме как неубедительно и тупо повторять: «запрещено», «не положено», «дисциплина», «порядок», и в конце концов позволили ей отъехать, так и не уплатив штрафа.

Во время перебранки Брижит вертела головой короткими, быстрыми движениями, поднимая притом плечи и брови. Когда она рассказывала об этом эпизоде дома отцу, ее голова проделыва-

ла то же движение. Мы уже встречались с этим жестом: он выражает досадливое удивление по поводу того, что кто–то не хочет признать за нами наши самые естественные права. Поэтому этот жест назовем жестом протеста против нарушения прав человека.

Понятие прав человека существует уже двести лет, но начиная со второй половины семидесятых годов нашего века оно стало приобретать особую популярность. В это время как раз был выдворен из своей страны Александр Солженицын, и его необычная фигура в ореоле бороды и наручников гипнотизировала западных интеллектуалов, взыскующих великой судьбы, которой им недоставало. Только благодаря ему они поверили с пятидесятилетним опозданием, что в коммунистической России существуют концентрационные лагеря; даже прогрессисты вдруг готовы были допустить, что сажать человека за его образ мыслей несправедливо. И для этой своей новой позиции они нашли даже известное обоснование: русские коммунисты нарушили права человека, причем невзирая на то, что их торжественно провозгласила сама Французская революция!

Так благодаря Солженицыну права человека

вновь поселились в словаре нашего времени; я не знаю ни одного политика, который бы десять раз на дню не говорил о «борьбе за права человека» или о «нарушении прав человека». Но людям на Западе не угрожают концлагеря, и они могут говорить и писать все, что вздумается, так что чем больше борьба за права человека обретала популярность, тем больше она утрачивала всякое конкретное содержание, пока в конце концов не стала некоей тотальной позой всех по отношению ко всему, некоей энергией, обращающей все человеческие хотения в право. Мир стал правом человека, и все стало правом: желание любви — правом на любовь, желание отдыха — правом на отдых, желание дружбы — правом на дружбу, желание ездить на запрещенной скорости — правом ездить на запрещенной скорости, желание издать книгу — правом на издание книги, желание кричать ночью на площади — правом кричать на площади. Безработные имеют право захватывать магазин с дорогими товарами, дамы в манто имеют право купить икры, Брижит имеет право парковаться на тротуаре, и все, безработные, дамы в манто и Брижит, принадлежат к одной и той же армии борцов за права человека.

Поль сидел в кресле напротив дочери и с лю-

бовью смотрел на ее голову, которая в быстром темпе вертелась из стороны в сторону. Он знал, что нравится дочери, и это было для него важнее, чем нравиться жене. Дело в том, что восторженные глаза дочери давали ему то, что Аньес дать ему не могла: доказательство, что он не чужд молодости, что он все еще принадлежит к молодым. Не прошло и двух часов с той минуты, как Аньес, растроганная его кашлем, погладила его по волосам. Насколько дороже ему был вид вертящейся из стороны в сторону головки дочери, чем это унизительное поглаживание! Присутствие дочери действовало на него как аккумулятор энергии, умножающий его силы.

БЫТЬ АБСОЛЮТНО СОВРЕМЕННЫМ

Ах, мой милый Поль, который в желании провоцировать и изводить Медведя ставил крест на истории, на Бетховене и Пикассо… В моих мыслях он сливается с Яромилом, героем моего романа, который я закончил ровно двадцать лет назад и который в одной из последующих глав оставлю для профессора Авенариуса в бистро на бульваре Монпарнас.

Мы в Праге, в 1948 году, восемнадцатилетний Яромил безумно влюблен в современную поэзию, в Бретона, Элюара, Десноса, Витезслава Незвала

и по их примеру исповедует девиз, выдвинутый Рембо в книге «Пора в аду»: «Надо быть абсолютно современным». Однако то, что в Праге 1948 года внезапно заявило о себе как об абсолютно современном, была социалистическая революция, мгновенно и грубо отвергшая современное искусство, в которое безумно был влюблен Яромил. И тогда мой герой в кругу нескольких друзей (так же, как и он, безумно влюбленных в современную поэзию) с сарказмом отрекся от всего того, что любил (любил по–настоящему и всей душой), поскольку не хотел предать великий приказ «быть абсолютно современным». В свое отрицание он вложил всю ярость и пылкость девственника, который мечтает брутальным актом вступить в свою зрелость, и его друзья, наблюдая со сжавшимся сердцем, как ожесточенно отвергает он самое дорогое, ради чего жил и хотел жить дальше, отвергает кубизм и сюрреализм, Пикассо и Сальвадора Дали, Бретона и Рембо, отвергает их во имя Ленина и Красной Армии (которые в то время являли собой вершину мыслимой современности), испытывали сперва удивление, потом отвращение и наконец едва ли не ужас. Вид этого девственника, готового приспособиться к тому, что провозглашало себя современным,

и приспособиться вовсе не из трусости (в угоду личному благополучию или карьере), а мужественно, как тот, кто с болью жертвует всем, что любит, да, его вид поистине таил в себе ужас (который был предвестником ужаса террора, затем наступившего, ужаса преследований и арестов). Возможно, кое у кого из тех, кто тогда наблюдал за ним, возникла мысль: «Яро–мил — союзник своих могильщиков».

Поль и Яромил, конечно, совсем не похожи. Единственное, что роднит их, это страстная убежденность, что «надо быть абсолютно современным». «Абсолютно современный» — понятие, не имеющее никакого установленного или поддающегося четкому определению содержания. Рембо в 1872 году под этими словами едва ли представлял себе миллионы ленинских и сталинских бюстов, а еще менее — рекламные фильмы, цветные фотографии в журналах или исступленное лицо рок–певца. Но все это несущественно, ибо быть абсолютно современным означает: не принимая в расчет содержания современности, служить ему, как служат абсолюту, то есть без колебаний.

Так же как и Яромил, Поль знал, что завтра современность иная, чем сегодня, и что во имя

вечного императива современности необходимо уметь предать ее изменчивое содержание, равно как во имя девиза Рембо предать его стихи. В Париже 1968 года в терминологии еще более радикальной, чем та, какой пользовался Яромил в 1948 году в Праге, студенты отрицали мир такой, какой он есть, мир легковесности, комфорта, коммерции, рекламы, мир тупой массовой культуры, вдалбливающей в людские головы свои мелодрамы, мир условностей, мир отцов. Поль провел тогда несколько ночей на баррикадах, и голос у него был столь же решительным, как и у Яромила двадцать лет назад, ничто не могло смягчить его, и он, опершись на руку, которую протянул ему студенческий бунт, шагал прочь из мира отцов, дабы в свои тридцать или тридцать пять лет наконец повзрослеть.

Но время шло, дочь его росла и чувствовала себя весьма уютно в мире таком, каков он есть, в мире телевизора, рока, рекламы, масскультуры с ее мелодрамами, в мире певцов, авто, моды, роскошных продуктовых магазинов и элегантных промышленников, которые становились телевизионными звездами. Если Поль когда–то готов был упрямо отстаивать свои взгляды против судей, полицейских, префектов и министров,

он не способен был отстаивать их перед дочерью, которая садилась к нему на колени и совсем не спешила покинуть мир отца и стать взрослой. Напротив, хотела по возможности дольше оставаться дома со своим толерантным папочкой, который (чуть ли не с умилением) позволял ей каждую субботу оставаться на ночь с дружком в ее комнате, что была возле спальни родителей.

Что значит быть абсолютно современным, когда человек уже не молод и его дочь совершенно другая, чем он был в молодости? Поль легко нашел ответ: быть абсолютно современным в данном случае означает абсолютно идентифицироваться с дочерью.

Я представляю себе Поля: он с Аньес и Брижит дома за ужином. Брижит вполуоборот сидит на своем стуле, жует и смотрит на экран телевизора. Все трое молчат, поскольку звук телевизора пущен на полную громкость. У Поля ни на минуту не выходит из головы злополучная фраза Медведя, назвавшего его союзником своих могильщиков. Затем из задумчивости его выводит смех дочери: на экране реклама — голый, примерно годовалый ребенок встает с ночного горшка и тянет за собой туалетную бумагу, которая отматывается от рулона и белоснежно расстилается за фигуркой

идущего малыша, как чудесный шлейф невесты. Тут Поль вспоминает, что на днях с удивлением узнал, что Брижит не читала ни одного стихотворения Рембо. Если учесть, как он сам в ее возрасте любил Рембо, то с полным правом он может считать ее своим могильщиком.

В этом есть для него что–то печальное: знать, что его дочь от души забавляется телевизионной нелепицей и что никогда не читала его любимого поэта. Но Поль тут же задает себе вопросы: почему, собственно, он так любил Рембо? как он пришел к этой любви? было ли у ее истоков очарование его стихов? Нет. Рембо тогда для него сливался в одну революционную амальгаму с Троцким, с Бретоном, с сюрреалистами, с Мао, с Кастро. Первое, что он знал из Рембо, был его лозунг, всеми пережеванный: changer la vie, изменить жизнь. (Будто для такой банальной формулы нужен был поэтический гений…) Да, это правда, что потом он читал его стихи, некоторые даже знал наизусть и любил их. Но он никогда не прочел всех его стихов и любил только те, о которых говорили его знакомые и говорили о них лишь потому, что им в свою очередь их рекомендовали их знакомые. Рембо, следовательно, не был его эстетической любовью, а возможно,

у него никогда и не было никакой эстетической любви. Он объявлял себя его приверженцем, как становятся под знамена, как примыкают к политической партии или болеют за футбольную команду. Что на деле принесли Полю стихи Рембо? Лишь чувство гордости, что он принадлежит к тем, кто любит стихи Рембо.

Мысленно он все время возвращался к недавнему спору с Медведем: да, он перегнул палку, позволил себе увлечься парадоксом, провоцировал Медведя и всех остальных, но в конечном счете разве все, что он говорил, не было правдой? То, что Медведь с таким уважением называет «культурой», не есть ли всего лишь наша самореклама, нечто пусть несомненно прекрасное и ценное, но значащее для нас гораздо меньше, чем мы способны признать?

Несколько дней тому назад он развивал перед Брижит взгляды, которые шокировали Медведя, стремясь при этом употреблять те же слова. Любопытно было, как она прореагирует. Но она не только не возмутилась провокационными формулами, но готова была идти гораздо дальше. Для Поля это было чрезвычайно важно. Он ведь тянулся к дочери чем дальше, тем больше, и в последние годы интересовался ее мнением каса-

тельно всех своих проблем. Прежде он делал это в воспитательных целях, дабы заставить ее думать о серьезных вещах, но вскоре роли незаметно переменились: он уже походил не на учителя, поощряющего вопросами робкого ученика, а на растерянного человека, который ждет совета прорицательницы.

От прорицательницы не требуется особой мудрости. (У Поля нет преувеличенного мнения насчет таланта или образованности своей дочери.) Надо только, чтобы она была связана невидимыми нитями с неким вместилищем мудрости, что находится вне ее. Он слушал, как Брижит развивает свои взгляды, и приписывал их не ее личной оригинальности, а большой коллективной мудрости молодости, что говорит ее устами, и потому принимал их со все большим доверием.

Аньес встала из–за стола, собрала посуду и понесла ее на кухню, Брижит полностью повернулась вместе со стулом к экрану, и Поль остался за столом в одиночестве. Он представил себе игру, в какую играли в обществе его родители. Вокруг десяти стульев ходят десять человек и по условному знаку все должны сесть. На каждом стуле — надпись. На том, что выпал ему, было написа-

но: остроумный союзник своих могильщиков. И он знает, что игра продолжаться уже не будет и что на этом стуле он останется сидеть навсегда.

Что делать? Ничего. Впрочем, почему человеку и не быть союзником своих могильщиков? Или прикажете ему драться с ними на кулачках? Чтобы потом могильщики еще и наплевали на его гроб?

Он снова услышал смех Брижит, и тут пришло ему на ум новое определение, самое парадоксальное, самое радикальное. Оно понравилось ему настолько, что он почти забыл о своем горе. Это определение звучало так: быть абсолютно современным — значит быть союзником своих могильщиков.

БЫТЬ ЖЕРТВОЙ СВОЕЙ СЛАВЫ

Сказать Бернару «женись на мне!» было ошибкой в любом случае, а уж после того, как он получил диплом стопроцентного осла, — ошибкой столь же огромной, как Монблан. Прежде всего надо осознать то, что на первый взгляд выглядит совершенно неправдоподобно, но без чего нельзя понять Бернара: кроме кори в детстве, он не перенес ни одной болезни, кроме смерти отцовской охотничьей собаки, до сих пор не ранила его ни одна кончина, и, кроме нескольких

плохих отметок на экзаменах, он не познал ни одной неудачи; он жил в естественном убеждении, что судьбой ему уготовано счастье и что у всех он вызывает лишь одни добрые чувства. Присвоение звания осла было первым большим ударом, который ему нанесли.

Не обошлось тут и без странного стечения обстоятельств. Примерно в это же время имагологи развернули рекламную кампанию в пользу его радиостанции, и на больших плакатах, развешанных по всей Франции, красовалось цветное фото редакционной команды: они стояли в белых рубашках с закатанными рукавами на фоне голубого небосклона, и у всех был разинут рот: они смеялись. Поначалу он ходил по Парижу в гордом возбуждении. Но спустя одну–две недели ничем не омраченной славы к нему пришел тот самый пузатый великан и, улыбаясь, протянул ему картонный тубус с дипломом. Случись это в ту пору, когда его большая фотография еще не стала всеобщим достоянием, он, пожалуй, перенес бы это несколько легче. Но слава фотографии придала позору диплома некий резонанс: она умножила его.

Если в «Монд» появляется сообщение, что какой–то Бернар Бертран произведен в чин сто-

процентного осла, — это одно, и совсем другое — когда Дело касается человека, чье фото висит на всех углах. Ко всему, что с нами происходит, слава добавляет стократное эхо. А ведь неловко ходить по свету, таща за собой это эхо. Бернар, тут же осознав свою внезапную уязвимость, подумал, что слава — это как раз то, к чему он никогда не стремился. Конечно, успех манил его, но успех и слава — вещи разные. Слава означает, что вас знает множество неведомых вам людей, которые чего–то требуют от вас, хотят знать о вас все подробности и относятся к вам так, будто вы их собственность. Актеры, певцы, политики, вероятно, испытывают некое наслаждение, когда они могут таким образом отдать себя во власть другим. Но о подобном наслаждении Бернар не мечтал. Недавно, когда он интервьюировал актера, чей сын был замешан в каком–то досадном скандале, он не без удовольствия подметил, как слава стала ахиллесовой пятой актера, его слабостью, гривой, за которую Бернар мог схватить его, трясти и не отпускать. Бернар всегда мечтал быть тем, кто задает вопросы, а не тем, кто должен отвечать. Слава же выпадает тому, кто отвечает, а не тому, кто спрашивает. Лицо отвечающего освещено софитами, тогда как того,

кто спрашивает, снимают со спины. Освещен Никсон, а никак не Вудворд. Бернар мечтает не о славе освещаемого, а о силе того, кто в полутьме. Он мечтает о силе охотника, который застрелит тигра, но никоим образом не о славе тигра, вызывающего восхищение у тех, кто употребит его как коврик у кровати.

Однако слава выпадает на долю не только знаменитых. Всяк проживает свою маленькую, короткую славу и хотя бы на какое–то время испытывает то же, что Грета Гарбо, Никсон или тигр, с которого содрали шкуру. Бернаров разинутый рот смеялся с парижских стен, и у него было ощущение, что его поставили к позорному столбу: все видят его, изучают, судят. В тот момент, когда Лора сказала ему: «Бернар, женись на мне!» — он представил ее у позорного столба рядом с собой. И вдруг (прежде никогда такого не случалось) увидел ее старой, довольно неприятно экзальтированной и слегка смешной.

Все это было тем нелепее, что она никогда не была ему столь нужна, как сейчас. Из всех возможных любовных связей самой желанной для него всегда оставалась любовь женщины старше его, но при условии, что эта любовь будет еще более потаенной, а женщина — еще более мудрой

и более деликатной. Если бы Лора вместо глупого матримониального призыва решила воздвигнуть из их любви прекрасный, роскошный замок в стороне от общественной жизни, ей не пришлось бы опасаться потерять Бернара. Но на каждом шагу она видела его большую фотографию и, связав этот факт с переменой в его поведении, с его молчаливой рассеянностью, уверенно сделала вывод, что успех привлек к нему другую женщину, о которой он непрестанно думает. И она, не желая сдаться без боя, перешла в наступление.

Вам теперь понятно, почему Бернар пошел на попятную. Когда один наступает, другому приходится отступать, таков закон. Отступление, как всем известно, самый трудный военный маневр. Бернар осуществлял его с точностью математика: если до сих пор он привык проводить у Лоры четыре ночи в неделю, теперь он свел их к двум; если он привык бывать с нею все уик–энды, теперь он бывал с нею лишь каждое второе воскресенье и в будущем собирался перейти к еще большим ограничениям. Он ощущал себя пилотом космической ракеты, возвращающейся в стратосферу, когда надо срочно начать тормозить. И он стал тормозить, осторожно и решительно, в то время как его очаровательная

подруга–мать таяла на глазах. Вместо нее вдруг появилась женщина, которая вечно с ним вздорила, теряла мудрость, зрелость и проявляла назойливую активность.

Однажды Медведь сказал ему:

— Я познакомился с твоей невестой. Бернар покраснел от стыда. Медведь продолжал:

— Она говорила о каком–то вашем разладе. Симпатичная женщина. Будь к ней повнимательнее.

Бернар был взбешен. Медведь что знает, все расскажет, дело известное, и Бернар не сомневался, что на радио уже все осведомлены, кто его любовница. Встречаться с женщиной старше себя до сих пор казалось ему прелестной и едва ли не смелой извращенностью, но теперь он был убежден, что в его выборе коллеги не увидят ничего, кроме нового подтверждения его ослиной дурости.

— Почему ты жалуешься на меня чужим людям?

— Каким чужим людям?

— Медведю.

— Я думала, это твой друг.

— Даже если он мой друг, почему ты посвящаешь его в наши интимные дела? Она сказала с грустью:

— Я не скрываю того, что люблю тебя. Или я не имею права сказать об этом? Может, ты стыдишься меня?

Бернар уже ничего не говорил. Да, он стыдился ее. Стыдился ее, хотя был с нею счастлив. Но был с нею счастлив в те минуты, когда забывал, что стыдится ее.

БОРЬБА

Лора, чувствуя, что космическая ракета любви замедляет свой полет, была близка к отчаянию.

— Объясни мне, что с тобой произошло?

— Со мной ничего не произошло.

— Ты изменился.

— Мне нужно побыть одному.

— Случилось что–нибудь?

— Кой–какие сложности.

— Если у тебя сложности, тем более нельзя быть одному. Если человека что–то беспокоит, ему нужно, чтобы кто–то был рядом.

В пятницу он уехал в свой загородный дом и не пригласил ее. Она приехала к нему в субботу незваная. Она знала, что делать этого не надо, но она уже давно привыкла делать то, что не надо, и была даже горда этим, поскольку как раз этим–то мужчины и восхищались в ней, а Бернар — более других. Иной раз посреди концерта или

театрального спектакля, которые не нравились ей, она в знак протеста поднималась и уходила так демонстративно и шумно, что люди возмущенно оглядывались. Однажды, когда Бернар с дочерью своей консьержки послал ей в магазин письмо, которое она томительно ждала, она взяла с полки меховую шапку, стоившую не менее двух тысяч франков, и на радостях отдала ее этой шестнадцатилетней девушке. В другой раз она поехала с ним на два выходных дня в снятую на побережье виллу и, желая его за что–то проучить, день–деньской играла с двенадцатилетним сынишкой соседа–рыбака, делая вид, что напрочь забыла о существовании любовника. Неудивительно, что и тогда в ее поведении, даже чувствуя себя уязвленным, он прежде всего усмотрел пленительную непосредственность («Из–за этого мальчика я забыла обо всем на свете!») в сочетании с чем–то обезоруживающе женским (разве не была она по–матерински растрогана ребенком?) и сразу же перестал сердиться, когда весь следующий день она целиком посвятила ему. Под его влюбленным и восторженным взглядом ее капризные эскапады давали буйные всходы, можно сказать, расцветали, как розы; в своих непредсказуемых поступках и опрометчивых

словах она усматривала свою самобытность, очарование своего «я» и была счастлива.

Когда же Бернар начал ускользать от нее, ее экстравагантное поведение хотя и не изменилось, однако сразу же утратило свой радостный и естественный характер. В тот день, когда она решила приехать к нему незваной, она знала, что не вызовет восторга, и вошла в его дом с ощущением тревоги, приведшей к тому, что определенная дерзость ее поведения, в иные времена невинная и даже привлекательная, на сей раз выглядела агрессивной и судорожной. Сознавая это, она сердилась на него, что он лишил ее радости, какую еще совсем недавно испытывала от самой себя, радости, оказавшейся, как выяснилось, слишком хрупкой, не пустившей корней и целиком зависящей от него, от его любви и восхищения. Но тем сильнее что–то побуждало ее продолжать вести себя экзальтированно, безрассудно и провоцировать Бернара злиться на нее; она хотела вызвать взрыв, тайно и смутно надеясь, что после бури тучи рассеются и все будет, как было.

— Вот и я. Надеюсь, ты рад мне, — смеясь, сказала она.

— Да, рад. Но я приехал сюда работать.

— Я не буду тебе мешать. Мне ничего от тебя

не нужно. Я просто хочу быть с тобой. Разве я когда–нибудь мешала тебе работать?

Он не отвечал.

— Мы ведь часто ездили за город, и ты там готовил передачу. Хоть когда–нибудь я мешала тебе? Он не отвечал.

— Я мешала тебе?

Что поделаешь, пришлось ответить:

— Не мешала.

— Тогда почему я мешаю теперь?

— Не мешаешь.

— Не лги! Будь мужчиной и найди в себе хотя бы мужество сказать, что ты страшно сердишься, что я приехала без приглашения. Я не выношу трусливых мужиков. По мне, так лучше бы ты попросил меня тут же убраться. Ну скажи это!

Он смутился. Пожал плечами.

— Почему ты трусишь? Он опять пожал плечами.

— Не пожимай плечами!

Ему хотелось в третий раз пожать плечами, но он не сделал этого.

— Объясни мне, что с тобой произошло.

— Ничего со мной не произошло.

— Ты изменился.

— Лора! У меня сложности! — повысил он голос.

Она тоже повысила голос:

— И у меня сложности!

Он понимал, что ведет себя глупо, точно ребенок, распекаемый мамочкой, и ненавидел ее за это. Не знал, что и делать. Он умел быть с женщинами милым, забавным, возможно, даже обольстительным, но не умел злиться на них, этому никто не научил его, напротив, все вбивали ему в голову, что сердиться на них никогда не следует. Как вести себя мужчине с женщиной, которая приезжает к нему без приглашения? Где университет, в котором изучалась бы эта наука?

Он перестал отвечать ей и удалился в соседнюю комнату. Лег на диван и взял первую попавшуюся под руку книжку. Это было карманное издание детектива. Он лежал на спине и держал перед собой книжку открытой: делал вид, что читает. Спустя примерно минуту она вошла к нему. Села в кресло напротив. Поглядела на цветную картинку на обложке книги и сказала:

— Как ты можешь читать такое? Он с удивлением посмотрел на нее.

— Я имею в виду эту обложку. Он все еще не понимал ее.

— Как ты можешь показывать мне эту аляповатую обложку? Если ты твердо намерен читать эту

книжку в моем присутствии, то, будь любезен, доставь мне удовольствие и сорви обложку.

Бернар, ничего не говоря, сорвал обложку, подал ее Лоре и продолжал читать.

Ей хотелось кричать. Она подумала, что сейчас ей в самую пору подняться, уйти и уже никогда больше не видеть его. Или слегка отодвинуть книжку, которую он держит в руке, и плюнуть ему в лицо. Но у нее недоставало смелости ни на одно, ни на другое. Вместо этого она бросилась к нему (книга выпала у него из рук на ковер) и стала исступленно его целовать, шаря руками по всему его телу.

У Бернара не было ни малейшего желания заниматься любовью. Но если у него хватило мужества отказаться от объяснений с Лорой, то от ее эротического призыва отказаться он не сумел. Впрочем, в этом смысле он был подобен всем мужчинам на свете. Какой из них отважится сказать женщине, любовно касающейся его межножья: «Убери свою руку»? И вот тот, кто еще минуту назад с высокомерным презрением сорвал обложку и протянул ее униженной любовнице, теперь послушно реагировал на ее прикосновения, целовал ее и при этом стягивал брюки.

Да и она не очень–то стремилась к любовной

близости. Это отчаяние от того, что она не знала, что делать, и потребность что–то сделать бросили ее к нему. Ее страстные и нетерпеливые прикосновения выказывали в ней слепую жажду действия, немую жажду слова. Когда они сплелись в любовных объятиях, ей захотелось, чтобы они были безумнее, чем когда–либо прежде, и неуемные, как занявшееся пламя. Но как этого достичь в безмолвном совокуплении (ибо их любовная связь всегда бывала немой, за исключением нескольких лирических слов, которые они, задыхаясь, произносили)? Вот именно, как? быстротой движений? громкостью вздохов? частым изменением позы? Не зная ни о каком ином способе, она и теперь пользовалась всеми тремя. А главное, то и дело меняла положение тела, сама, по своей воле: то становилась на четвереньки, то садилась на него верхом, а потом вновь и вновь измышляла все новые, крайне затруднительные положения, к каким раньше они никогда не прибегали.

Бернар воспринял неожиданную виртуозность ее телодвижений как вызов, какой он не мог не принять. В нем отозвалась старая тревога юнца, опасающегося, что недооценят его эротическую зрелость. Эта тревога возвращала Лоре власть,

которую она в последнее время теряла и на которой когда–то основывались их отношения: власть женщины, что старше своего партнера. Снова у него складывалось досадное впечатление, что Лора опытнее его, что она знает то, чего не знает он, что она может сравнивать его с другими и оценивать. Поэтому он исполнял все требуемые движения с чрезвычайным тщанием и по малейшему намеку на ее желание изменить положение тела реагировал живо и дисциплинированно, как солдат на строевых учениях. Неожиданная усложненность гимнастики их любви потребовала от него такого рвения, что он даже не успел осознать, возбужден ли он и испытывает ли нечто, что можно было бы назвать наслаждением.

Да и Лора не думала ни о наслаждении, ни о возбуждении. Про себя она повторяла: я не отпущу тебя, ты не прогонишь меня от себя, я буду за тебя бороться. И ее орган любви, двигавшийся вверх и вниз, уподоблялся военному механизму, который она приводила в действие и которым управляла. Она внушала себе, что это ее последнее оружие, единственное, что ей осталось, но всемогущее. В ритме своих движений она про себя повторяла, словно это было остинато басо-

вой партии в музыкальном сочинении: я буду бороться, буду бороться, буду бороться, и она верила, что победит.

Достаточно открыть любой словарь. Бороться — значит противопоставить свою волю воле другого с целью этого другого сломать, поставить на колени, возможно, убить. «Жизнь есть борьба» — вот фраза, которая, вероятно, звучала, будучи впервые произнесенной, как меланхолический и смиренный вздох. Наш век оптимизма и резни сумел превратить эту страшную фразу в сладкозвучную песнь. Вы скажете, что бороться против кого–либо, возможно, страшно, но бороться за что–либо, во имя чего–либо — благородное и прекрасное дело. Да, прекрасно стремиться к счастью (к любви, к справедливости и так далее), но если вы предпочитаете обозначать это усилие словом «борьба», значит, за этим вашим благородным усилием скрывается жажда повергнуть кого–то наземь. Борьба за всегда связана с борьбой против, и в ажиотаже борьбы о предлоге за всегда забывают.

Лорин орган любви мощно двигался вверх и вниз. Лора боролась. Она любила и боролась. Боролась за Бернара. Но против кого? Против того, кого прижимала к себе и потом отталкивала,

чтобы принудить его занять новое положение тела. Эта изнурительная гимнастика на диване и на ковре, где оба обливались потом, где обоим не хватало дыхания, похожа была на пантомиму, изображающую беспощадную борьбу в которой она нападает, а он обороняется, она отдает приказы, а он подчиняется.

ПРОФЕССОР АВЕНАРИУС

Профессор Авенариус спустился вниз по авеню дю Мэн, обогнул станцию «Монпарнас» и, поскольку никуда не торопился, решил пройтись по торговому дому «Лафайет». В дамском отделе на него отовсюду взирали восковые манекены в платьях по последней моде. Авенариус любил их общество. Прежде всего его привлекали недвижные, застывшие в безрассудном движении фигуры женщин, чьи открытые от удивления уста выражали не смех (губы не растягивались вширь), а испуг. Профессор Авенариус воображал себе, что все эти окаменевшие женщины успели увидеть его роскошно торчавший член, который был не только огромным, но и отличался от обыкновенных членов тем, что был увенчан маленькой рогатой головой дьявола. Кроме тех, что явно выражали восторженный ужас, тут стояли еще и манекены, чьи уста были не открыты, а

лишь надуты; они походили на толстый красный кружок с маленьким отверстием посредине, из которого в любую минуту как бы должен был высунуться язык и пригласить профессора Авенариуса на сладострастный поцелуй. И была еще третья группа манекенов, чьи губы на восковом лице изображали мечтательную улыбку. По их прикрытым глазам ясно было, что они испытывают тихую и долгую усладу совокупления.

Потрясающая сексуальность, которую манекены распространяли в воздухе, словно волны радиации, ни у кого не находила отклика; среди выставленного товара бродили усталые, серые, скучающие, раздражительные и абсолютно асексуальные люди; один профессор Авенариус прохаживался здесь счастливый, ощущая себя правителем гигантских оргий.

Однако все прекрасное имеет конец: профессор Авенариус вышел из торгового дома и, стремясь избежать потока машин, проносившегося поверху вдоль бульвара, спустился по лестнице в подземелье метро. Этим путем он ходил часто и ничему из того, что видел, не удивлялся. В подземном переходе был обычный состав. Слонялись здесь два клошара, один держал в руке бутылку красного вина и время от времени ле-

ниво обращался к кому–нибудь из прохожих, с обезоруживающей улыбкой выпрашивая у него взнос на выпивку. У стены сидел молодой мужчина, подперев лицо ладонями; перед ним на полу мелом было написано, что он вернулся на днях из тюрьмы, не находит работы и голодает. И наконец, У другой стены (против молодого человека, вернувшегося из тюрьмы) притулился усталый музыкант; У одной ноги лежала шляпа, на дне которой блестело несколько монет, у другой стояла труба.

Все это было в порядке вещей, лишь одно привлекло внимание профессора Авенариуса своей необычностью. Как раз между молодым мужчиной, вернувшимся из тюрьмы, и двумя пьяными клошарами стояла, но не у стены, а посреди перехода, довольно красивая дама, лет под сорок, держала красную копилку и с сияющей улыбкой обольстительной женственности протягивала ее навстречу прохожим; на копилке была надпись: помогите прокаженным. Элегантно одетая дама контрастировала с окружением, и ее воодушевление освещало полумрак прохода, словно фонарь. Своим присутствием она явно портила настроение клошарам, привыкшим проводить здесь свое рабочее время, а труба, поставленная у ноги

музыканта, была несомненным выражением капитуляции перед вероломной конкуренцией.

Встретившись с чьим–либо взглядом, дама бесшумно, так, чтобы прохожий скорее прочел по ее губам, чем услышал, произносила слова: «Прокаженные!» Профессору Авенариусу тоже захотелось прочитать эти слова по ее губам, но женщина, увидев его, проговорила лишь «прока», а «женные» уже проглотила, ибо узнала его. Авенариус также узнал ее, но никак не мог взять в толк, откуда она взялась здесь. Он взбежал вверх по ступеням и очутился по другую сторону бульвара.

Там он понял, что совершенно напрасно стремился пройти под потоком машин, поскольку движение было приостановлено: от Куполь в сторону рю де Рэн по всей проезжей части дороги тянулись толпы людей. Все они были смуглолицые, и профессор Авенариус решил, что это молодые арабы, протестующие против расизма. Он равнодушно прошел еще несколько метров и открыл дверь кафе; хозяин крикнул ему: «Господин Кундера просит его извинить, что придет попозже. Он оставил здесь для вас книгу, чтоб вам пока не было скучно», — и подал ему мой роман «Жизнь в другом месте» в дешевом издании,

называемом «Фолио».

Авенариус сунул книгу в карман, не уделив ей ни малейшего внимания, поскольку в эту минуту к нему снова вернулась мысль о женщине с красной копилкой, и он вновь возжелал увидеть ее.

— Скоро вернусь, — сказал он и вышел.

По плакатам над головами демонстрантов он наконец понял, что по бульвару движутся не арабы, а турки и что они протестуют не против французского расизма, а против болгаризации турецкого меньшинства в Болгарии. Манифестанты поднимали кулаки, но несколько устало, ибо безграничное равнодушие парижан, проходивших мимо, повергало их в отчаяние. Но тут вдруг они увидали мощный, грозный живот мужчины, который шагал по краю тротуара в том же направлении, что и они, поднимал кулак и кричал: «A bas les Russes! A bas les Bulgares!» Долой русских! Долой болгар! Это влило в них новую энергию, и многоголосица лозунгов снова взвилась над бульваром.

У входа в метро возле лестницы, по которой Авенариус только что взбежал вверх, он увидел двух уродливых теток, раздававших листовки; в желании узнать больше о борьбе турок он спросил одну из них: «Вы турчанки?» — «Нет,

что вы, Боже упаси! — вскинулась она, словно он обвинил ее в чем–то ужасном. — Мы не имеем никакого отношения к этой манифестации! Мы здесь протестуем против расизма!» Профессор Авенариус, взяв у обеих женщин по листовке, невзначай встретился с улыбкой юноши, небрежно опиравшегося на перила лестницы. С веселым подначиванием он тоже протянул ему листовку.

— Это против чего? — спросил Авенариус.

— За свободу канаков в Новой Каледонии.

Итак, профессор Авенариус спускался с тремя листовками в подземелье метро и уже издали ощутил, что атмосфера в катакомбах изменилась; исчезла нудная усталость, что–то происходило: к нему долетал веселый звук трубы, аплодисменты, смех. И тут он увидел всю картину: там все еще была молодая дама, но окруженная теперь двумя клошарами, один держал ее за свободную руку, другой нежно поддерживал ее под локоть, которым она прижимала копилку. Тот, кто держал ее за руку, делал танцевальные шаги: три назад, три вперед. Тот, кто поддерживал ее под локоть, протягивал к прохожим шляпу музыканта и кричал: «Pour les lepreux!» Для прокаженных! «Pour l'Afrique!» Для Африки! — а возле него стоял трубач и трубил, трубил, ах, трубил так, как

никогда в жизни не трубил, и вокруг собирались повеселевшие люди, улыбались, бросали клошару в шляпу монеты и купюры, и он благодарил: «Merci! Ah, que la France est genereuse!» Без Франции прокаженные подохли бы как животные! «Ah, que la France est genereuse!»

Дама не знала, что делать; временами она пыталась вывернуться, а затем вновь, слыша аплодисменты зрителей, делала мелкие шажки взад и вперед. В какой–то момент клошар попытался повернуть ее к себе и потанцевать, прижавшись к ней всем телом. Из его рта пахнуло на нее алкоголем, и она начала сконфуженно, с тревогой и страхом в лице отбиваться.

Молодой человек, выпущенный из тюрьмы, вдруг встал и замахал руками, словно о чем–то предупреждал обоих клошаров. Да, сюда приближались двое полицейских. Заметив их, профессор Авенариус сам пустился в пляс. Он двигал из стороны в сторону своим огромным животом, делал круговые движения согнутыми в локтях руками, улыбался на все четыре стороны и распространял вокруг себя невыразимую атмосферу мира и беззаботности. Когда полицейские проходили мимо, он заулыбался даме с копилкой, будто был ее сообщником, и захлопал в ритме трубы и сво-

их ног. Полицейские, равнодушно оглядевшись, продолжали обход.

Обрадованный успехом, Авенариус придал своим движениям больше живости: с неожиданной легкостью он кружился на месте, убегал вперед и назад, выбрасывал ноги вверх и делал руками жесты в подражание танцовщице канкана, высоко задирающей юбку. Это вдохновило клошара, державшего даму под руку; он наклонился и пальцами взял подол ее юбки. Она хотела было защититься, но не могла отвести глаз от толстяка, который одобрительно улыбался ей; когда она попыталась воздать ему за улыбку, клошар задрал ей юбку до самого пояса: объявились голые ноги и зеленые трусики (отлично подобранные к розовой юбке). Она вновь попыталась защититься, но оказалась бессильна: в одной руке у нее была копилка (никто не бросил в нее ни сантима, но она держала ее крепко, словно в ней была заключена вся ее честь, смысл ее жизни, возможно, сама ее душа), а другая рука была неподвижно зажата в тисках клошара. Если бы ее привязали за обе руки и изнасиловали, положение ее было бы ничуть не хуже. Клошар, высоко задрав подол ее юбки, кричал: «Для прокаженных! Для Африки!» — а у нее по щекам текли слезы унижения. Но, не

желая показывать свое унижение (признанное унижение —унижение двойное), она силилась улыбаться, словно бы все происходило с ее согласия и во имя Африки, и даже сама, добровольно, подняла кверху свою красивую, хоть и коротковатую ногу.

Затем в нос ей ударило зловонное дыхание клошара, зловоние его рта и одежды, которую он не снимал уже несколько лет кряду и которая приросла к его коже (случись с ним какое несчастье, целый штаб хирургов сперва бы, верно, битый час соскребал ее с тела, прежде чем положить его на операционный стол); тут уж она не выдержала: мгновенно вырвалась от него и, прижимая красную копилку к груди, бросилась к профессору Авенариусу. Тот развел руки и заключил ее в объятия. Прижавшись к нему, она дрожала и всхлипывала. Он быстро успокоил ее, взял за руку и повел из метро.

ТЕЛО II

— Ты похудела, Лора, — заметила Аньес озабоченно, когда они с сестрой обедали в ресторане.

— Нет аппетита. От всего рвет, — сказала Лора и отпила минеральной воды, которую заказала к еде вместо привычного вина. — Ужасно щиплет.

— Что, минералка?

— Разбавить бы ее водой.

— Лора… — Аньес хотела было попенять сестре, но вместо этого сказала: — Нельзя так мучиться.

— Все потеряно, Аньес.

— Что, собственно, изменилось между вами?

— Все. Причем мы отдаемся друг другу, как никогда прежде. Как два сумасшедших.

— Так что же изменилось, коли вы отдаетесь друг другу, как два сумасшедших?

— Это единственные минуты, когда я уверена, что он со мной. Но как только близость кончается, он уже снова мыслями где–то в другом месте. И даже если бы мы занимались любовью в сто раз больше, это конец. Поскольку любовная связь вовсе не главное. Не о ней речь. Речь о том, чтобы он думал обо мне. У меня было много мужчин, но сегодня ни один из них ничего обо мне не знает, как и я не знаю о них, и я задаюсь вопросом: зачем я вообще все эти годы жила, если ни в ком не оставила по себе никакого следа? Что осталось после моей жизни? Ничего, Аньес, ничего! Но последние два года я поистине была счастлива, ибо знала, что Бернар думает обо мне, что я занимаю его мысли, что я живу в нем. Только это и есть для меня настоящая жизнь: жить в мыслях другого. А иначе я заживо мертва.

— А когда ты бываешь дома одна и слушаешь пластинки, ну, хотя бы своего Малера, разве тебе этого недостаточно для какого–то маленького, простого счастья, ради которого стоит жить?

— Аньес, ты же знаешь, что говоришь глупости. Малер для меня ничего не значит, ровно ничего, когда я одна. Малер доставляет мне радость, только когда я с Бернаром или когда знаю, что он думает обо мне. Когда я без него, у меня нет сил даже постелить себе. Не хочется ни умываться, ни менять белье.

— Лора! В конце концов Бернар не единственный мужчина на свете!

— Единственный! — сказала Лора. — Почему ты I хочешь, чтобы я лгала! Бернар моя последняя возможность. Мне не двадцать, даже не тридцать. За Бернаром — одна пустыня. — Она выпила минералки и снова сказала: — Ужасно едкая. — Потом крикнула официанту, чтобы принес чистой воды.

— Через месяц он уезжает на две недели на Мартинику, — продолжала она. — Я уже два раза была с ним там. На сей раз он мне заранее сообщил, что поедет туда без меня. Когда он мне это сказал, я два дня не могла есть. Но я знаю, что сделаю.

Официант принес графин, из которого Лора перед его изумленным взором стала подливать воду в бокал с минералкой, а потом вновь повторила:

— Да, я знаю, что сделаю.

Она замолчала, словно тем самым побуждая сестру задать вопрос. Аньес, поняв это, умышленно не спрашивала. Но когда молчание слишком затянулось, она сдалась:

— Что ты собираешься сделать?

Лора ответила, что в последние недели она была у пятерых врачей и, жалуясь на бессонницу, каждого попросила выписать ей барбитал.

С той поры как Лора к своим обычным жалобам стала примешивать намеки на самоубийство, на Аньес нападали тоска и бессилие. Уже не раз, прибегая к логическим и эмоциональным доводам, она отговаривала сестру от ее помыслов; убеждала ее в своей любви («ты же не можешь так поступить со мной!»), но все это не оказывало на Лору никакого воздействия: она вновь говорила о самоубийстве, словно Аньесиных слов вовсе не слышала.

— Поеду на Мартинику за неделю до него, — продолжала она. — У меня ключ. Вилла пуста. Я сделаю это так, чтобы он меня нашел там. И чтобы уже никогда не мог забыть обо мне.

Аньес знала, что Лора способна на безрассудные вещи, и ее фраза «сделаю это так, чтобы он меня нашел там» вселяла в нее ужас; она представляла недвижное тело сестры посреди гостиной тропической виллы и страшилась того, что эта воображаемая ею картина вполне правдоподобна, мыслима, в Лорином духе.

Любить кого–то для Лоры значило принести ему в дар свое тело; принести его ему, как она распорядилась принести сестре белый рояль, поставить свое тело посреди его дома: я здесь, здесь мои пятьдесят семь килограммов, мое мясо, мои кости, они для тебя, и я их у тебя оставляю. Это подношение было для нее эротическим жестом, поскольку тело было для нее сексуальным не только в редкостные минуты возбуждения, но, как я уже сказал, изначально, априорно, непрерывно и с головы до пят, с его поверхностью и нутром, во сне, наяву и в смерти.

Для Аньес эротика ограничивалась мигом возбуждения, во время которого тело становилось вожделенным и прекрасным. Лишь этот миг оправдывал и искуплял тело; когда это искусственное освещение гасло, тело вновь превращалось всего лишь в загрязненный механизм, который она была вынуждена обслуживать.

Именно потому Аньес никогда не могла бы сказать: «Я сделаю это так, чтобы он меня нашел там». Ее обуял бы ужас при мысли, что тот, кого она любит, увидел бы ее как лишенное секса и очарования тело с судорожной гримасой на лице, в положении, которое она была бы уже не в силах контролировать. Ей было бы стыдно. Стыд помешал бы ей стать, по доброй воле трупом.

Но Аньес знала, что Лора другая: оставить свое тело лежащим в гостиной любовника — это вполне вытекало из ее отношения к телу, из природы ее любви. Поэтому Аньес испугалась. Перегнувшись через стол, она схватила сестру за руку.

— Ты же должна меня понять, — говорила теперь Лора тихим голосом. — У тебя есть Поль. Лучший мужчина, о каком ты только можешь мечтать. У меня есть Бернар. Если Бернар оставит меня, у меня нет никого и уже никого не будет. А ты знаешь, что малое меня не устроит. Я не стану смотреть на убожество собственной жизни. Я о жизни слишком высокого мнения. Либо жизнь дает мне все, либо я ухожу. Ты же должна меня понять. Ты моя сестра.

В наступившую минуту молчания Аньес растерянно искала слова, какими могла бы ответить.

Она устала. Уже столько недель, как повторяется один и тот же диалог, и все, что говорит Аньес, оказывается бездейственным. В эту минуту усталости и бессилия вдруг прозвучали совершенно немыслимые слова:

— Старый Бертран Бертран снова бушевал в парламенте против волны самоубийств. Вилла на Мартинике принадлежит ему. Представляю, какую я ему доставлю радость! — смеясь, сказала Лора.

Хотя смех ее прозвучал нервозно и наигранно, он пришел на помощь Аньес, словно неожиданный союзник. Она тоже начала смеяться, и смех вскоре утратил свою изначальную неестественность и стал вдруг настоящим смехом, смехом облегчения; у обе их сестер глаза наполнились слезами, и они почувствовали, что любят друг друга и что Лора не покончит с собой. Держась за руки, они обе принялись болтать наперебой, и во всем, что они говорили, слышались слова сестринской любви, за которыми сквозили вилла в швейцарском саду и жест руки, выброшенной вверх, как цветной мяч, как приглашение в дорогу, как обещание нежданного грядущего, обещание, которое, хоть и не сбылось, но все же осталось с ними, будто прекрасное эхо.

Когда минута головокружения прошла, Аньес сказала:

— Лора, ты не имеешь права делать глупости. Никто не стоит твоих страданий. Думай обо мне и о том, что я люблю тебя.

И Лора сказала:

— Но я бы хотела что–то сделать. Я должна что–то сделать.

— Что–то? Что «что–то»?

Лора посмотрела сестре глубоко в глаза и пожала плечами, словно признаваясь, что ясное содержание слова «что–то» пока от нее ускользает. А потом она слегка откинула голову, осветила лицо туманной, чуть меланхолической улыбкой, приложила кончики пальцев к точке между грудями и, произнеся вновь слово «что–то», выбросила руки вперед.

Аньес успокоилась; хотя она и не могла представить себе ничего конкретного за этим «что–то», но жест Лоры не оставлял никаких сомнений: это «что–то» устремлялось в прекрасные дали и не имело ничего общего с мертвым телом, лежащим на полу тропической гостиной.

Через несколько дней Лора наведалась в общество «Франция — Африка», председателем которого был отец Бернара, и на добровольных

началах предложила свои услуги — собирать на улице деньги для прокаженных.

ЖЕСТ, ВЗЫСКУЮЩИЙ БЕССМЕРТИЯ

Первой любовью Беттины был ее брат Клеменс, ставший впоследствии великим поэтом–романтиком, затем она была влюблена, как мы знаем, в Гёте, боготворила Бетховена, любила своего мужа Ахима фон Арнима, что тоже был великим поэтом, затем сходила с ума по князю Герману фон Пюклеру–Мускау, кто хоть и не был великим поэтом, но писал книги (кстати, это ему она посвятила «Переписку Гёте с ребенком»), затем, уже в пятидесятилетнем возрасте, воспылала полуматеринскими, полуэротическими чувствами к двум молодым людям, Филиппу Натузиусу и Юлиусу Дёрингу, которые книг не писали, но интенсивно обменивались с ней письмами (эта переписка также частично опубликована), восторгалась Карлом Марксом, которого однажды, когда гостила у его невесты Женни, принудила отправиться в долгую ночную прогулку вдвоем (Марксу гулять не хотелось, он мечтал быть с Женни, а не с Беттиной; но даже тот, кто сумел перевернуть вверх ногами весь мир, не в силах был противостоять женщине, обращавшейся на «ты» к Гёте), она питала слабость к Ферен-

цу Листу, правда, мимолетную, ибо ее бесило то, что Листа ничто не заботило, кроме собственной славы, она горячо старалась помочь душевнобольному живописцу Карлу Блехену (презирая его жену не менее, чем когда–то госпожу Гёте), вступила в переписку с наследным принцем Карлом Александром Саксен–Веймарским, написала для прусского короля Фридриха Вильгельма IV «королевскую» книгу («Эта книга принадлежит королю»), в которой объясняла, какие у короля обязанности по отношению к подданным, а следом за ней «Книгу бедных», где показала страшную нищету народа, затем вновь обратилась к королю с просьбой освободить из–под стражи Фридриха Вильгельма Шлёффеля, обвиненного в коммунистическом комплоте, ходатайствовала перед королем о помиловании Людвика Мерославского, одного из вождей польской революции, ожидавшего в прусской тюрьме смертной казни. Последнего человека, которого она боготворила, не зная его лично, был Шандор Пётефи, венгерский поэт, погибший двадцати шести лет от роду в рядах повстанческой армии сорок восьмого года. Так она открыла миру не только великого поэта (называя его Sonnengott, Солнцебог), но вместе с ним и его отечество, о

существовании которого Европа почти не имела понятия. Если еще припомнить, что венгерские интеллектуалы, восставшие в 1956 году против русской Империи и открывшие путь первой великой антисталинской революции, называли себя в честь поэта «кружком Пётефи», то нам не может не прийти на ум, что своими привязанностями Беттина присутствует в длительном отрезке европейской истории, который простирается с восемнадцатого столетия вплоть до середины нашего. Мужественная, упрямая Бенина: фея истории, жрица истории. И я с полным правом говорю «жрица», ибо для Беттины история (все ее друзья использовали эту метафору) была «воплощением Божьим».

Случалось, друзья упрекали ее, что она недостаточно думает о семье, о своем положении, что она слишком нерасчетливо жертвует собой ради других.

«То, о чем вы говорите, меня не занимает! Я не счетовод! Вот что я такое!» — и тут она прикладывала пальцы обеих рук к груди, причем так, что средние пальцы касались точки между грудями. Потом слегка откидывала голову, освещала лицо улыбкой и быстро, но грациозно выбрасывала руки вперед. В этом движении запястья поначалу

касались друг друга, а под конец руки расходились, устремив ладони вперед.

Нет, вы не ошибаетесь. Это то же движение, которое изобразила Лора в конце предыдущей главы, когда объявила, что намерена сделать «что–то». Вспомним ситуацию:

Когда Аньес сказала: «Лора, ты не имеешь права делать глупости. Никто не стоит твоих страданий. Думай обо мне и о том, как я люблю тебя», — Лора ответила: «Но я бы хотела что–то сделать. Я должна что–то сделать!»

При этих словах она смутно воображала себе, что переспит с каким–нибудь другим мужчиной. Думала она об этом все чаще, и это вовсе не находилось в противоречии с ее желанием покончить с собой. Это были две крайние и в целом законные реакции униженной женщины. Ее неопределенная мечта об измене была грубо оборвана Аньесиным злополучным стремлением прояснить ситуацию:

— Что–то? «Что, что–то»?

Лора понимала, что смешно было бы признаться в своих помыслах об измене сразу же вслед за тем, как она говорила о самоубийстве. Поэтому она смешалась и повторила лишь слово «что–то». Но поскольку Аньесин взгляд требовал более

конкретного ответа, она попыталась хотя бы жестом придать смысл неопределенному слову: она приложила руки к груди и выбросила их вперед.

Как ее осенило сделать этот жест? Трудно сказать. Никогда прежде она его не делала. Возможно, кто–то неведомый подсказал его ей, как суфлер подсказывает актеру, не знающему текста. Хотя этот жест и не выражал ничего определенного, он давал все же понять, что «сделать что–то» значит предложить себя миру, принести себя в жертву, послать свою душу встречь голубым горизонтам, как белую горлицу.

Идея пойти встать в метро с копилкой еще недавно, естественно, была ей совершенно чужда и, очевидно, никогда не пришла бы ей в голову, не приложи она пальцы к груди и не выброс вперед руки. Этот жест словно обладал своей собственной волей: он вел ее, и она разве что следовала за ним.

Пути Лоры и Беттины сходны, и, несомненно, существует связь между Лориным желанием помочь далеким чернокожим и стремлением Беттины спасти осужденного на смерть поляка. Хотя сравнение может показаться здесь и неуместным. Невозможно представить себе, чтобы Беттина фон Арним стояла в метро с копилкой

и попрошайничала! Беттину не увлекали филантропические акции! Беттина была не из числа богатых дам, устраивающих за недостатком лучшего занятия сбор средств в пользу бедных. Случалось, она бывала резкой с прислугой, вследствие чего ее муж Арним делал ей замечания («Слуга такое же человеческое существо, и ты не имеешь права так муштровать его, он не машина!» — напоминает он ей в одном из писем). То, что побуждало ее помогать другим, было не страстью благотворительности, а жаждой войти в прямой личный контакт с Богом, веруя, что Он воплощен в истории. Все ее любови к знаменитым мужам (а к другим мужчинам она оставалась глубоко безразличной!) были не чем иным, как батутом, на который она низвергалась всей тяжестью тела, чтобы взлетать в горние выси, туда, где обитает тот самый воплощенный в истории Бог.

Да, все это так. Однако заметьте! Ведь и Лора не принадлежала к чувствительным дамам из президиумов благотворительных обществ. У нее не было привычки подавать милостыню нищим. Проходя мимо них, она не замечала их даже на расстоянии двух–трех метров. Она страдала пороком духовной дальнозоркости. Поэтому удаленные на четыре тысячи километров черно-

кожие, от которых кусками отваливается тело, были ей ближе. Они находились как раз на том месте за горизонтом, куда она изящным жестом рук посылала свою горестную душу.

И все–таки между осужденным на смерть поляком и прокаженными чернокожими есть разница! То, что для Беттины было вмешательством в историю, для Лоры стало чисто филантропическим шагом. Но Лора здесь ни при чем. Мировая история с ее революциями, утопиями, надеждами и отчаянием покинула Европу, оставив по себе одну грусть. Вот почему француз интернационализировал свои благотворительные акции. Его к этому вела не христианская любовь к ближнему (как, например, американцев), а грусть по утраченной истории, жажда вернуть ее, присутствовать в ней хотя бы в виде красной копилки с монетами для прокаженных африканцев.

Назовем жест Беттины и Лоры жестом, взыскующим бессмертия. Беттина, претендующая на великое бессмертие, хочет сказать: отказываюсь умирать вместе с сегодняшним днем и его заботами, хочу превзойти самое себя, стать частью истории, поскольку история являет собой вечную память. Лора же, хоть и претендует лишь на малое бессмертие, хочет того же самого: превзойти

самое себя и ту горестную минуту, которую она проживает, сделать «что–то», чтобы остаться в памяти тех, кто ее знал.

ДВУСМЫСЛЕННОСТЬ

С детства Брижит любила садиться к отцу на колени, но мне кажется, что в свои восемнадцать она это делала еще охотнее. Аньес не удивлялась тому: Брижит к обоим родителям часто забиралась в кровать (к примеру, поздними вечерами, когда они смотрели телевизор), и между ними царила большая физическая доверительность, чем когда–то между Аньес и ее родителями. Однако от нее не ускользала и двусмысленность этой сцены: взрослая девушка с большими грудями и большой задницей сидит на коленях у красивого, еще полного сил мужчины, касается этими захватническими грудями его плеч и лица и говорит ему «папа».

Однажды у них собралась веселая компания, куда Аньес пригласила и сестру. Когда все достаточно взыграли духом, Брижит села к отцу на колени, а Лора сказала: «Я тоже хочу!» Брижит освободила для нее одно колено, и вот они уже вдвоем восседали на коленях у Поля.

Эта ситуация вновь напоминает нам о Беттине, поскольку она, и никто другой, возвела сидение

на коленях в классическую модель эротической двусмысленности. Я же сказал, что она прошла по всей эротической арене своей жизни, хранимая щитом детства. Она носила перед собой этот щит вплоть до своих пятидесяти лет, чтобы затем сменить его на щит матери и уже самой сажать молодых мужчин к себе на колени. И опять же эта ситуация была упоительно двусмысленна: заказано подозревать мать в сексуальных помыслах по отношению к сыну, и как раз поэтому поза молодого мужчины, сидящего (пусть только метафорически) на коленях зрелой женщины, полна эротических значений, которые тем более впечатляющи, чем они более туманны.

Позволю себе утверждать, что без искусства двусмысленности нет подлинного эротизма и что чем двусмысленность сильнее, тем напряженнее возбуждение. Кто не помнит замечательной игры детства, игры в доктора! Девочка лежит на полу, а мальчик раздевает ее под предлогом, что он доктор. Девочка послушна, поскольку тот, кто осматривает ее, не любопытный мальчик, а серьезный человек, заботящийся о ее здоровье. Эротическое содержание этой ситуации столь же безгранично, как и таинственно, и они оба захлебываются от возбуждения. И захлебываются

тем сильнее, что мальчик ни на миг не должен забывать, что он доктор и, даже стягивая с девочки трусики, все равно будет говорить ей «вы».

Воспоминание об этой благословенной поре детства воскрешает во мне еще более прекрасное воспоминание об одном провинциальном чешском городе, в который в 1969 году вернулась из Парижа молодая чешка. Уехав в 1967–м учиться во Францию и вернувшись через два года на родину, она нашла ее захваченной русской армией, а людей — бесконечно запуганными и мечтавшими хотя бы душой оказаться в каком–то другом месте, где свобода, где Европа. Молодая чешка, посещавшая во Франции в течение двух лет как раз те семинары, какие тогда посещал каждый желающий быть в центре интеллектуальной жизни, узнала, что еще до эдиповской стадии мы все проходим в нашем самом раннем детстве то, что прославленный психоаналитик назвал стадией зеркала: то есть прежде, чем каждый из нас осознает тело матери и отца, он познает свое собственное тело. Молодая чешка пришла к заключению, что именно эту стадию многие ее соотечественницы в своем развитии перескакивают. Окруженная ореолом Парижа и его знаменитых семинаров, она собрала вокруг себя

кружок молодых женщин. Она читала теоретический курс, которого ни одна из них не понимала, и занималась практическими упражнениями, которые были столь же просты, сколь сложна теория: все раздевались донага и смотрели сперва на себя в огромное зеркало, потом долго и внимательно оглядывали друг друга и под конец наставляли друг на друга маленькое карманное зеркальце, в которое могли видеть то, что до сих пор сами на себе не видели. Руководительница кружка при этом ни на минуту не забывала изъясняться на своем ученом языке, чья завораживающая непостижимость всех их уносила прочь от русской оккупации, от их провинции и к тому же еще вызывала в них таинственное и не имеющее названия возбуждение, о котором они предпочитали умалчивать. Весьма вероятно, что руководительница кружка была не только ученицей великого Лакана, но еще и лесбиянкой, хотя не думаю, что в кружке было много убежденных лесбиянок. И признаюсь, что из всех этих женщин более всего будоражит мое воображение совершенно невинная девушка, для которой во время сеансов ничего на свете не существовало, кроме невнятной речи плохо переведенного на чешский Лакана. Ах, научные сеансы нагих

женщин в квартире одного провинциального чешского города, по улицам которого ходил русский военный патруль, ах, эти научные сеансы, насколько они были более волнующими, чем оргии, где все стараются выполнять то, что положено, о чем было заранее условлено и что имеет лишь единственный, убогий единственный и никакой другой смысл! Но давайте поскорее покинем маленький чешский город и вернемся к коленям Поля: на одном сидит Лора, а на другом — на этот раз из соображений экспериментальных — представим себе не Брижит, а ее мать:

Лора испытывает приятное ощущение, что ягодицами касается бедер мужчины, о котором втайне мечтала; это ощущение тем более возбуждает ее, что она уселась к нему на колени не как любовница, а как свояченица, с полного соизволения жены. Лора — наркоманка двусмысленности.

Аньес не находит в ситуации ничего возбуждающего, но не может отделаться от комичной фразы, которая вертится у нее в голове: «У Поля на каждом колене сидит по одному женскому анусу! У Поля на каждом колене сидит по одному женскому анусу!» Аньес — проницательный наблюдатель двусмысленности.

А Поль? Тот шумит и шутит, поочередно поднимая колени, чтобы сестры ни на минуту не сомневались, что он хороший и веселый дяденька, готовый когда угодно превратиться для своих маленьких племянниц в верховую лошадь. Поль — глупец двусмысленности.

В пору своих любовных переживаний Лора часто нуждалась в его совете и встречалась с ним в различных кафе. Заметим, что о самоубийстве не было произнесено ни слова. Лора просила сестру нигде не заикаться о ее болезненных помыслах, и сама не делилась ими с Полем. Слишком грубая картина смерти, стало быть, не портила тонкую ткань прекрасной грусти, окутывавшей их, и они, сидя за столом визави, временами касались друг друга. Поль пожимал ей руку или плечо, как человеку, которому хотят придать уверенности в себе и силы, ибо Лора любила Бернара, а любящий заслуживает поддержки.

Я бы охотно сказал, что в такие мгновения он смотрел Лоре в глаза, но это было бы неточно, поскольку Лора тогда снова стала носить черные очки; Поль знал, что это ради того, чтобы он не видел ее зареванных глаз. Черные очки приобрели вдруг множество значений: они придавали Лоре строгую элегантность и неприступность;

но одновременно указывали и на нечто весьма телесное и чувственное: на глаз, подернутый слезой, глаз, ставший вдруг отверстием тела, одним из тех прекрасных девяти врат тела женщины, о которых говорит в своем знаменитом стихотворении Аполлинер, влажным отверстием, прикрытым фиговым листком черного стекла. Не раз казалось: образ слезы за очками был так выразителен и воображаемая слеза так горяча, что превращалась в пар, который окутывал их обоих, лишая рассудительности и ясности зрения.

Поль видел этот пар. Но понимал ли он его смысл? Думаю, нет. Представьте себе такую ситуацию: к маленькому мальчику приходит маленькая девочка. Она начинает раздеваться и говорит: «Господин доктор, обследуйте меня». А этот маленький мальчик возьмет и скажет: «Ах, маленькая девочка! Да я ведь вовсе не господин доктор!»

Именно так вел себя Поль.

ПРОРИЦАТЕЛЬНИЦА

Если в споре с Медведем Полю хотелось предстать остроумным приверженцем фривольности, то отчего же он почти лишался ее в отношении сестер, сидевших у него на коленях? Объяснение таково: фривольность в его понимании была

благотворным клистиром, который он охотно прописывал культуре, общественной жизни, искусству, политике; клистир для Гёте и Наполеона, однако заметим: никоим образом не для Лоры и Бернара! Его глубокое недоверие к Бетховену и Рембо искупалось его безмерным доверием к любви!

Понятие любви сочеталось у него с образом моря, этой самой бурной из всех стихий! Проводя с Аньес каникулы на побережье, он оставлял в номере отеля на ночь распахнутым настежь окно, чтобы рокот прибоя пронизывал их соитие и они сливались с его величественным голосом. Он любил свою жену и был с нею счастлив; и все–таки в потаенном уголке души тлело слабое, робкое сожаление, что их любовь ни разу не проявилась более драматичным образом. Он чуть ли не завидовал Лоре, что на ее пути возникают преграды, ибо только они, на взгляд Поля, способны превратить любовь в историю любви. Он искренне сопереживал свояченице, и ее любовные муки причиняли ему страдания, будто все происходило с ним самим.

Однажды Лора позвонила ему и сообщила, что Бернар через несколько дней летит на Мартинику, на фамильную виллу, и что она готова за ним

туда отправиться вопреки его желанию. Если она найдет его там с другой женщиной, тем хуже. По крайней мере, все станет ясным.

Чтобы оградить ее от бесполезных ссор, он пытался отговорить ее от этого решения. Но разговор становился нескончаемым: она все время приводила одни и те же аргументы, и Поль уж было смирился с тем, что наконец, пусть и неохотно, скажет ей: «Раз ты действительно так глубоко убеждена, что твое решение правильное, то не сомневайся и поезжай!» Но не успел он произнести эту фразу, как Лора вдруг сказала:

— Только одна вещь могла бы меня удержать от этой поездки: если бы ты мне ее запретил.

Так она весьма однозначно подсказала Полю, как ему следует поступить, чтобы отговорить ее от намеченного шага, но при этом помочь ей сохранить перед самой собой и перед ним достоинство женщины, готовой идти до самого конца отчаяния и борьбы. Вспомним, что Лора, впервые увидев Поля, услышала, как в ней прозвучали те же слова, что когда–то Наполеон сказал о Гёте: «Какой мужчина!» Но будь Поль на самом деле мужчиной, он без колебаний сказал бы, что он запрещает ей эту поездку. Однако, на беду, он был не мужчина, а человек твердых принципов: он

уже давно исключил из своего лексикона слово «запрещать» и гордился этим. Он возразил:

— Ты же знаешь, что я ничего никому не запрещаю. Лора настаивала на своем:

— Я хочу, чтобы ты мне запрещал и советовал. Ты же знаешь, что ни у кого нет на это права, кроме тебя. Я сделаю то, что ты мне скажешь.

Поль пришел в смущение: уже битый час, как он объясняет ей, что не следует ехать к Бернару, а она битый час толкует ему свое. Почему, вместо того чтобы дать убедить себя, она требует от него запрета? Он помолчал.

— Боишься? — спросила она.

— Чего?

— Навязать мне свою волю.

— Если я не сумел убедить тебя, то не имею права ничего тебе запрещать.

— Это именно то, что я говорю: боишься.

— Я хотел убедить тебя, взывая к разуму.

Она засмеялась:

— Ты прячешься за разум, потому что боишься навязать мне свою волю. Ты боишься меня!

Ее смех поверг его в еще более глубокое смущение, и, чтобы закончить разговор, он сказал:

— Я подумаю об этом.

Затем спросил Аньес, каково ее мнение.

Она сказала:

— Ей нельзя к нему ехать. Это была бы страшная глупость. Если будешь говорить с ней, сделай все, чтобы она не поехала!

Однако мнение Аньес значило немного, ибо главным советчиком Поля была Брижит.

Как только он объяснил ей положение ее тетки, она отреагировала мгновенно:

— А почему ей туда не поехать? Человек должен делать то, что ему хочется.

— Но представь себе, — возразил Поль, — что она там встретит любовницу Бернара! Она учинит ему дикий скандал!

— А он ей сказал, что там с ним будет другая женщина?

— Нет.

— Но он обязан был ей об этом сказать. Раз не сказал, значит, он трус, и нет никакого смысла щадить его. Что потеряет Лора? Ничего.

Нам впору спросить: почему Брижит дала Полю именно такой, а не другой совет? Из солидарности с Лорой? Нет. Лора часто вела себя так, словно была дочерью Поля, а Брижит это было смешно и противно. У нее не было ни малейшего желания солидаризироваться с теткой; для нее важно было единственное: нравиться отцу. Она

чувствовала, что Поль обращается к ней как к некоей прорицательнице, и жаждала упрочить свой магический авторитет. Чутко уловив, что ее мать против Лориной поездки, она решила занять позицию прямо противоположную: стать рупором голоса молодости и очаровать отца жестом безрассудной отваги.

Она быстро вертела из стороны в сторону головой, поднимая плечи и брови, и Поль вновь испытал это прекрасное чувство, что в лице своей дочери он обрел аккумулятор, откуда он черпает энергию. Возможно, он был бы счастливее, если бы Аньес преследовала его и садилась в самолет, чтобы на далеких островах искать его любовниц. Всю жизнь он мечтал о любимой женщине, готовой ради него биться головой о стену, кричать от отчаяния или прыгать от радости по комнате. Он подумал, что Лора и Брижит — поборницы мужества и сумасбродства и что без крупицы сумасбродства жизнь не стоила бы того, чтобы жить. Пусть Лора следует голосу своего сердца! Почему каждый наш поступок должен быть десять раз перевернут на сковороде рассудка, как блинчик?

— Все же прими во внимание, — возразил еще Поль, — что Лора женщина чувствительная. Та-

кая поездка может обернуться для нее новыми страданиями.

— На ее месте я бы поехала, и никто бы меня не удержал, — заключила Брижит разговор.

Вскоре ему снова позвонила Лора. Чтобы предвосхитить долгие разговоры, он тотчас сказал ей:

— Я опять все продумал и хочу тебе сказать, что ты должна сделать именно то, что собираешься сделать. Раз тебя туда тянет, поезжай!

— А я уж была готова не ехать. Ты с таким недоверием отнесся к моей поездке. Но коли ты одобряешь ее, я завтра же лечу.

Поля обдало холодным душем. Он понял, что без его явного поощрения Лора бы на Мартинику не полетела. Но он уже ничего не мог ей сказать: разговор был окончен. Назавтра самолет уносил Лору через Атлантику, и Поль знал, что он лично ответствен за эту поездку, которую, как и Аньес, в глубине души считал полной бессмыслицей.

САМОУБИЙСТВО

С того момента, как она села в самолет, прошло два дня. В шесть часов зазвонил телефон. То была Лора. Она сообщила сестре и зятю, что на Мартинике как раз полночь. Ее голос был неестественно оживленным, по чему Аньес тут же решила, что

дела оборачиваются скверно.

Она не ошиблась: Бернар, увидев Лору на пальмовой аллее, ведущей к вилле, побледнел от гнева и строго сказал ей: «Я просил тебя не приезжать». Она начала что–то объяснять ему, но он, не говоря ни слова, швырнул в чемодан кое–какие вещи, сел в машину и уехал. Она осталась одна и, блуждая по дому, в шкафу нашла свой красный купальник, который бросила туда в свой последний приезд.

— Один он ждал меня здесь. Один купальник, — говорила она и от смеха перешла к плачу. Плача, продолжала: — С его стороны это было мерзко. Меня рвало. А потом я решила остаться. Все кончится в этой вилле. Когда Бернар вернется, он найдет меня здесь в этом купальнике.

Лорин голос разносился по комнате; они слышали его оба, но трубка была одна, и они передавали ее из рук в руки.

— Прошу тебя, — говорила Аньес, — успокойся, главное, успокойся. Постарайся быть хладнокровной и спокойной.

Лора снова рассмеялась:

— Представь только, что перед дорогой я запаслась двадцатью коробочками барбитала, но все оставила в Париже. Так я была взволнована.

— О, это замечательно, замечательно, — говорила Аньес и в эту минуту действительно испытывала некое облегчение.

— Но здесь в ящике я нашла револьвер, — продолжала Лора, снова смеясь. — Бернар, видно, опасается за свою жизнь! Боится, что нападут чернокожие! Я вижу в этом знамение!

— Какое знамение?

— Что он оставил здесь для меня револьвер.

— Не сходи с ума! Ничего он для тебя не оставил! Он вообще не рассчитывал на то, что ты приедешь!

— Разумеется, он не оставил его здесь умышленно. Но он купил револьвер, которым здесь никто не воспользуется, кроме меня. Выходит, он оставил его здесь для меня.

Аньес вновь охватило чувство отчаянного бессилия. Она сказала:

— Положи, пожалуйста, этот револьвер туда, где он был.

— Я не умею с ним обращаться. Но Поль… Поль, ты слышишь меня?

Поль взял в руки трубку:

— Да.

— Поль, я рада слышать твой голос.

— Я тоже, Лора, но прошу тебя…

— Я знаю, Поль, но я уже не могу больше… — и она разрыдалась.

Настало короткое молчание. Оборвала его Лора:

— Передо мной лежит револьвер. Я не могу оторвать от него глаз.

— Так положи его на место, туда, где он был, — сказал Поль.

— Поль, ты все–таки служил в армии.

— Да.

— Ты офицер!

— Младший лейтенант.

— Значит, ты умеешь стрелять из револьвера. Поль был в растерянности. Но пришлось сказать:

— Да.

— Как узнать, что револьвер заряжен?

— Если он выстрелит, значит, заряжен.

— Если я спущу курок, раздастся выстрел?

— Должен раздаться.

— Как это «должен»?

— Если с револьвера снят предохранитель, произойдет выстрел.

— А как узнать, снят ли предохранитель?

— Однако не станешь же ты ей объяснять, как ей застрелиться? — выкрикнула Аньес и вырвала у Поля трубку.

Лора продолжала:

— Я только хочу знать, как с ним обращаться. Мне же надо знать, как обращаться с револьвером. Что значит, что с него снят предохранитель? Как это снимают предохранитель?

— Хватит, — сказала Аньес. — Ни слова о револьвере. Положи его туда, где он был. Хватит, хватит уже этих шуток.

У Лоры вдруг стал совершенно другой, серьезный голос:

— Аньес! Я не шучу! — И она вновь заплакала.

Разговор был бесконечным. Аньес и Поль повторяли одни и те же фразы, убеждали Лору в своей любви, просили ее остаться с ними, не покидать их, пока наконец она не пообещала им положить револьвер в ящик и пойти спать.

Опустив трубку, они почувствовали себя такими измученными, что не могли вымолвить ни единого слова.

Потом Аньес сказала:

— Зачем она это делает! Зачем она это делает! А Поль сказал:

— Это моя вина. Я ее туда послал.

— Она поехала бы туда а любом случае. Поль покачал головой:

— Не поехала бы. Она уже готова была остать-

ся. Я сделал самую большую глупость в своей жизни.

Аньес не хотела, чтобы Поля мучило чувство вины. Не из сочувствия, скорее из ревности: не хотела, чтобы он ощущал себя столь ответственным за сестру, чтобы был столь привязан к ней мыслями. Поэтому она сказала:

— А ты можешь быть до конца уверен, что она нашла там револьвер? Поль не сразу понял:

— Что ты хочешь этим сказать?

— Что, возможно, там вообще нет никакого револьвера.

— Аньес! Она не ломает комедию! Это чувствуется! Аньес постаралась сформулировать свое подозрение осторожнее:

— Возможно, там есть револьвер. А возможно, у нее с собой барбитал, и она нарочно говорит о револьвере, чтобы сбить нас с толку. Но нельзя исключить и того, что там нет ни револьвера, ни барбитала и она просто хочет нас помучить.

— Аньес, — сказал Поль, — ты злишься на нее.

Упрек Поля вновь насторожил Аньес: Поль даже не осознает, что Лора в последнее время стала ему ближе ее, Аньес; он думает о ней, интересуется ею, беспокоится о ней, умилен ею, и Аньес вынуждена вдруг предполагать, что Поль

сравнивает ее с сестрой и что в этом сравнении из них двоих она оказывается менее душевной.

Она попробовала защитить себя:

— Я не злюсь. Я хочу только сказать тебе, что Лора сделает все, чтобы привлечь к себе внимание. Это естественно, потому что она страдает. Все склонны посмеяться над ее несчастной любовью и пожать плечами. Когда в руке у нее револьвер, уже никто смеяться не может.

— А что, если ее стремление привлечь внимание к себе приведет к тому, что она покончит с собой? Разве такое не может случиться?

— Может, — сказала Аньес, и между ними вновь наступило долгое молчание, исполненное тревоги. Потом Аньес сказала:

— Я также могу себе представить, что человек мечтает покончить с собой. Что уже не в силах переносить боль. И злобу людскую. Что хочет исчезнуть с глаз людских и что исчезнет. Каждый имеет право убить себя. Это его свобода. Я не имею ничего против самоубийства, которое является способом исчезновения.

Она хотела помолчать, но ярый протест против того, что делает сестра, заставил ее продолжать:

— Но это не ее случай. Она не хочет исчезнуть. Она думает о самоубийстве, ибо видит в нем спо-

соб, как остаться. Как остаться с ним. Как остаться с нами. Как у всех у нас навсегда запечатлеться в памяти. Как навалиться всем своим телом на нашу жизнь. Как нас раздавить.

— Ты несправедлива, — сказал Поль. — Она страдает.

— Я знаю, — сказала Аньес и расплакалась. Она представила себе сестру мертвой, и все, что она только что сказала, явилось ей мелким, и низменным, и непростительным.

— А что, если она хотела нас только успокоить своими обещаниями? — сказала она и начала набирать номер виллы на Мартинике; на звонок никто не отвечал, и у них уже снова на лбу выступила испарина; они знали, что не смогут повесить трубку и до бесконечности будут выслушивать эти гудки, которые означают Лорину смерть. Наконец раздался ее голос, звучавший довольно неприветливо. Они спросили, где она была. «В соседней комнате», — ответила она. Они вдвоем говорили в трубку. Говорили о своей тревоге, о том, что должны еще раз услышать ее, дабы успокоиться. Они повторяли ей, что любят ее и что с нетерпением ждут ее возвращения.

Оба ушли на работу с опозданием и целый день только и думали о Лоре. Вечером позвонили ей

снова, и разговор снова длился целый час, и они снова уверяли ее в своей любви и в том, что с нетерпением ждут ее.

Несколькими днями позже она позвонила в дверь. Поль был дома один. Она стояла на пороге, на ней были черные очки. Она упала ему в объятия. Они пошли в гостиную, сели друг против друга в кресла, но она была так возбуждена, что тут же встала и начала ходить по комнате. Говорила лихорадочно. Потом поднялся с кресла и он и стал тоже ходить по комнате и тоже говорить.

Он с презрением отзывался о своем бывшем ученике, подопечном и друге. Можно было, конечно, объяснить это тем, что так он хотел облегчить Лоре разрыв с ним. Но он сам был поражен, что все, что говорил, думал всерьез и искренне: Бернар — избалованное дитя богатых родителей; человек заносчивый и самоуверенный. Лора, прислонившись к камину, смотрела на Поля. И вдруг Поль заметил, что на ней уже нет очков. Она держала их в руке, уставив на него свои глаза, опухшие от слез, влажные. Поль понял: Лора уже какое–то время не слушает, что он ей говорит.

Он помолчал. В комнате воцарилась тишина, какой–то таинственной силой она толкнула его к

Лоре. Лора сказала:

— Поль, почему мы не встретились раньше? До всех остальных…

Эти слова простерлись между ними словно туман. Поль вступил в этот туман и протянул руку, точно незрячий, что пробирается ощупью; рука его коснулась Лоры. Вздохнув, Лора позволила руке Поля остаться на ее коже. Потом она отступила на шаг и снова надела очки. Этот жест заставил туман рассеяться, и они уже снова стояли друг против друга, как свояченица и зять.

Минутой позже в комнату вошла вернувшаяся с работы Аньес.

ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

Аньес, увидев сестру по возвращении с Мартиники, вовсе не заключила ее в объятия, как человека, спасшегося от гибели, а осталась поразительно холодной. Она не видела сестры, она видела лишь черные очки, эту трагическую маску, которая пожелает задать тон последующей сцене. Словно не замечая этой маски, она сказала: «Лора, ты страшно похудела». И только затем подошла к ней и, как принято во Франции между знакомыми, слегка коснулась губами ее щек.

Если учесть, что это были первые слова после столь драматических дней, то нельзя не признать,

что они были весьма неуместны. Они не касались ни жизни, ни смерти, ни любви, они касались пищеварения. Но даже это само по себе было бы не так скверно, в конце концов Лора охотно говорила о своем теле и считала его метафорой своих чувств. Гораздо худшим представлялось то, что эта фраза сказана была не с заботливостью, не с печальным восхищением перед страданием, ставшим причиной похудания, а с очевидной и усталой неприязнью.

Нет сомнения, что Лора точно подметила тон сестринского голоса и поняла его смысл. Но она тоже сделала вид, что не понимает того, что имеет в виду Аньес, и проговорила голосом, полным страдания:

— Да, я похудела на семь кило.

Аньес хотела сказать: «Хватит! Хватит уже! Это продолжается слишком долго! Перестань наконец!» — но она совладала с собой и ничего не сказала.

Лора подняла руку:

— Взгляни, это же не моя рука, это же палочка… Я не могу надеть ни одной юбки. Все сваливаются с меня. И кровь идет из носа… — и она, словно желая подтвердить свои слова, закинула голову и долго и шумно вдыхала и выдыхала носом.

Аньес смотрела на это исхудавшее тело с неодолимой антипатией, и ей на ум пришла такая мысль: куда подевались семь килограммов, которые потеряла Лора? Рассеялись, как израсходованная энергия, где–то в лазури? Или ушли с ее экскрементами в сточную трубу? Куда подевались семь кило невосполнимого Лориного тела?

Меж тем Лора сняла черные очки и положила их на полку камина, о который опиралась. И обратила к сестре припухшие глаза, как за минуту до этого обратила их к Полю.

Сняв очки, она словно обнажила лицо. Словно разделась. Но не так, как раздевается женщина перед любовником, а скорее как перед врачом, взваливая на него всю ответственность за свое тело.

Аньес не сумела удержать фразу, вертевшуюся у нее в голове, и сказала вслух:

— Хватит! Прекрати наконец! У нас уже нет сил. Разойдешься с Бернаром, как разошлись миллионы женщин с миллионами мужчин, не угрожая при этом самоубийством.

Можно было бы предположить, что после стольких недель бесконечных разговоров, когда Аньес клялась ей в своей сестринской любви, этот взрыв должен был бы поразить Лору, однако

Лора отреагировала на слова Аньес, как будто давно была к ним готова. Она сказала совершенно спокойно:

— Тогда я тебе скажу, что я думаю. Ты не знаешь, что такое любовь, ты никогда этого не знала и никогда не узнаешь. Любовь никогда не была сильной твоей стороной.

Лора знала, в чем уязвима сестра, и Аньес испугалась этого; она поняла, что Лора говорит теперь лишь потому, что ее слышит Поль. Неожиданно выяснилось, что речь вообще шла не о Бернаре: вся драма самоубийства вообще его не касалась; эта драма рассчитана была только на Поля и на Аньес. И еще ей пришло в голову, что если человек начинает бороться, то он приводит в действие силу, которая не довольствуется лишь первой целью, и что за первой целью, какой для Лоры был Бернар, существуют еще и последующие.

Схватка уже была неизбежной. Аньес сказала:

— В том, что ты потеряла из–за него семь килограммов, существенное доказательство любви, которое отрицать трудно. И все–таки кое–что мне непонятно. Если я кого–то люблю, то хочу для него только хорошего. Если кого–то ненавижу, то желаю ему плохого. А ты в последние месяцы мучила Бернара и мучила нас. Что здесь общего с

любовью? Ничего.

Представим себе гостиную в виде театральной сцены: сразу же направо камин, с противоположной стороны сцена закрыта книжным шкафом. Посреди, на заднем плане, диван, низкий столик и два кресла. Поль стоит посреди комнаты, Лора — у камина и в упор глядит на Аньес, застывшую в двух шагах от нее. Взгляд Лориных опухших глаз обвиняет сестру в жестокости, непонимании и холодности. В то время как Аньес говорит, Лора отступает от нее к середине комнаты, где стоит Поль, как бы выказывая этим отступательным движением изумленный страх перед несправедливым наскоком сестры.

Оказавшись шагах в двух от Поля, она остановилась и повторила:

— Ты не знаешь, что такое любовь. Аньес прошла вперед и заняла Лорино место у камина. Она сказала:

— Я понимаю, что такое любовь. В любви самое главное тот, кого мы любим. Речь о нем и ни о чем более. И я спрашиваю, что значит любовь для того, кто не способен ничего видеть, кроме самого себя. Иначе говоря, что понимает под словом «любовь» абсолютно эгоцентричная женщина.

— Спрашивать, что такое любовь, не имеет

никакого смысла, моя дорогая сестра, — сказала Лора. — Ты либо испытала любовь, либо не испытала. Любовь — это любовь, и ничего больше о ней не скажешь. Это крылья, которые бьются в моей груди и толкают меня к поступкам, кажущимся тебе безрассудными. И это именно то, чего с тобой никогда не бывало. Ты сказала, что я не способна никого видеть, кроме себя. Но тебя я вижу, и вижу насквозь. Когда в последнее время ты меня уверяла в своей любви, я хорошо знала, что в твоих устах это слово лишено всякого смысла. Это была лишь хитрость. Довод, который призван был меня успокоить. Помешать мне нарушить твой покой. Я тебя знаю, моя дорогая сестра: ты всю жизнь живешь по другую сторону любви. Совершенно по другую. За пределами любви.

Обе сестры говорили о любви, впиваясь друг в друга копями ненависти. И мужчина, присутствовавший при этом, впадал в отчаяние. Ему хотелось что–то сказать, что смягчило бы невыносимое напряжение:

— Мы все трое устали. Расстроены. Хорошо бы нам всем куда–нибудь уехать и забыть о Бернаре.

Но Бернар был уже давно забыт, и вмешательство Поля способствовало лишь тому, что

словесный поединок сестер сменился молчанием, в котором не было ни грана сочувствия, ни единого примиряющего воспоминания, ни малейшего осознания кровных уз или семейного единогласия.

Попытаемся охватить взором всю сцену целиком: вправо, опершись о камин, стояла Аньес; посреди комнаты, повернувшись лицом к сестре, стояла Лора, а в двух шагах слева от нее — Поль. И Поль сейчас махнул рукой в отчаянии оттого, что не способен воспрепятствовать ненависти, столь безрассудно вспыхнувшей между женщинами, которых он любил. Словно желая в знак протеста отойти от них как можно дальше, он пошел к книжному шкафу. Прислонившись к нему спиной, он отвернулся к окну, стараясь не смотреть на них.

Аньес заметила черные очки, положенные на полку камина, и непроизвольно протянула к ним руку. Она оглядывала их с ненавистью, словно держала в руке две почерневшие Лорины слезы. Неприязнь ко всему, что исходило от тела сестры, переполняла ее, и эти большие стеклянные слезы представлялись ей одним из его секретов.

Лора смотрела на Аньес и видела свои очки в ее руках. Этих очков вдруг стало не хватать ей.

Ей нужен был щит, флер, которым она завесила бы лицо от ненависти сестры. Но при этом она не решалась сделать четыре шага в ее сторону и взять у нее из рук очки. Она боялась ее. И оттого с каким–то мазохистским исступлением отдалась уязвимой обнаженности своего лица, на котором были отпечатаны все следы ее страданий. Она хорошо знала, что Аньес не выносит ее тела, ее разговоров о теле, о семи килограммах, которые она потеряла, знала это интуитивно, чутьем и, наверное, именно потому, из протеста, хотела в эту минуту быть как нельзя более телом, покинутым, отброшенным телом. Это тело она хотела положить посреди гостиной и оставить его. Оставить лежать здесь неподвижным и тяжелым грузом. А если бы оно стало мешать им, принудить их взять это тело, ее тело, один за руки, другой за ноги, и вынести его из дому, как выносят ночью тайно на улицу негодные старые матрацы.

Аньес стояла у камина и держала в руке черные очки. Лора была посреди гостиной, но вот она уже начала маленькими шажками пятиться от сестры. Потом она сделала еще один, последний шаг назад, и ее тело спиной вплотную прижалось к Полю, совсем вплотную, ибо за Полем был книжный шкаф и он никуда не мог отступить.

Лора отвела руки назад и крепко прижала обе ладони к бедрам Поля. И, откинув голову, приникла ею к его груди.

Аньес — с одной стороны комнаты, в руке — черные очки; с другой стороны напротив нее, вдалеке, как недвижная скульптура, стоит Лора, прильнувшая к Полю. Они оба застыли, словно каменные. Никто не произносит ни звука. И лишь минуту спустя Аньес разнимает указательный и большой пальцы, и черные очки, этот символ сестринской печали, эта метаморфическая слеза, падают на каменные плитки у камина и разбиваются вдребезги.

Часть 4. Homo Sentimentalis

1

На вечном суде, творимом над Гёте, прозвучало бесчисленное множество обвинительных речей и показаний по делу «Беттина». Дабы не утомить читателя перечнем пустяков, приведу лишь три свидетельства, которые кажутся мне важнейшими.

Во–первых: свидетельство Райнера Марии Рильке, самого крупного после Гёте немецкого поэта.

Во–вторых: свидетельство Ромена Роллана, в двадцатые–тридцатые годы одного из самых читаемых романистов от Урала до Атлантики, пользовавшегося к тому же высоким авторитетом прогрессиста, антифашиста, гуманиста, пацифиста и друга революции.

В–третьих: свидетельство поэта Поля Элюара, блистательного представителя так называемого авангарда, певца любви, или, скажем его словами, певца любви–поэзии, ибо эти два понятия (как свидетельствует о том один из самых его прекрасных сборников стихов «L'amour la poesie») сливались у него воедино.

2

В качестве свидетеля, вызванного на вечный суд, Рильке пользуется в точности теми же словами, какие он написал в своей самой знаменитой книге прозы, изданной в 1910 году, «Записки Мальте Лауридса Бригге», где обращает к Беттине эту длинную апострофу:

«Возможно ли, что доныне все еще не твердят о твоей любви? Случилось ли с той поры что–либо более примечательное? Что их занимает? Сама–то ты знала цену своей любви, ты говорила о ней величайшему поэту, чтобы он очеловечил ее, ибо любовь эта была еще стихией. Но он, когда писал тебе, разубеждал людей в ней. Все читали его ответы и верят им больше, потому что поэт им понятнее природы. Но возможно, когда–нибудь обнаружится, что здесь–то и был предел его величия. Эта любящая (diese Liebende) была ему поручена (auferlegt), а он не постиг ее (er hat sie nicht bestanden: местоимение sie относится к «любящей», к Беттине: он не выдержал экзамена, коим для него была Беттина). Что значит, что он не сумел откликнуться (erwidern)? Такая любовь ни в каком отклике и не нуждается, она сама содержит в себе и зов (Lockruf) и отклик; она сама себя восполняет. А ему следовало покориться

перед нею во всем своем величии и то, что она диктовала, писать, как Иоанн на Патмосе, пав на колени, обеими руками. У него не было никакого иного выбора в присутствии этого голоса, который нес «службу ангелов» (die «das Amt der Engel verrichtete»); который явился, чтобы окутать его и увлечь за собой в вечность. То была колесница для его огненной дороги по небесам. То был уготованный на случай его смерти темный миф (der dunkle Mythos), которым он не воспользовался».

3

Свидетельство Ромена Роллана касается отношений между Гёте, Бетховеном и Беттиной. Романист подробно излагает их в своем сочинении «Гёте и Бетховен», изданном в Париже в 1930 году. Хотя он тонко оттеняет свою точку зрения, однако совсем не утаивает, что наибольшую симпатию питает к Беттине: он толкует события примерно так же, как и она. Он не отказывает Гёте в величии, но его удручает политическая и эстетическая осторожность, столь мало приличествующая гениям. А Христиана? Ах, о ней лучше и не говорить, это «nullitй d'esprit», духовное ничтожество.

Эта точка зрения выражена, повторяю еще раз, с тонкостью и чувством меры. Эпигоны всегда

радикальнее, чем их вдохновители. Читаю, например, весьма обстоятельную французскую биографию Бетховена, изданную в шестидесятые годы. Там уже прямо говорится о «трусости» Гёте, о его «сервилизме», о его «старческом страхе перед всем новым в литературе и эстетике» и так далее. Беттина же, напротив, наделена «прозорливостью и даром ясновидения, которые придают ей чуть ли не масштабы гения». А Христиана, как всегда, не что иное, как жалкая «volumineuse йpouse», объемистая супруга.

4

Рильке и Роллан, пусть и принимают сторону Беттины, говорят о Гёте с почтением. В эссе «Тропинки и дороги поэзии» Поль Элюар, подлинный Сен–Жюст любви–поэзии (он написал его, да будем к нему справедливы,, в худшую пору своего поэтического пути, в 1949 году, когда был восторженным приверженцем Сталина), находит слова много жестче: «Гёте в своем дневнике упоминает о своей первой встрече с Беттиной Брентано лишь такими словами: «Мамзель Брентано». Признанный поэт, автор «Вертера», предпочитал спокойствие домашнего очага неистовым безумствам страсти (delires actives de la passion). И никакая фантазия, никакой талант Беттины

не смогли бы нарушить его олимпийский сон. Если бы Гёте отдался любви, возможно, его пение опустилось бы на землю, но мы любили бы его не менее, ибо в таких обстоятельствах он, вероятно, не решился бы на роль придворного и не заразил бы свой народ убежденностью, что несправедливость предпочтительнее беспорядка».

5

«Эта любящая была ему поручена», — написал Рильке. Мы можем спросить: что означает эта пассивная грамматическая форма? Иными словами: кто ему ее поручил?

Подобный же вопрос приходит на ум, когда мы читаем в письме Беттины, отправленном Гёте 15 июня 1807 года, такую фразу: «Я не должна страшиться этого чувства, потому что это не я заронила его в мое сердце».

Кто же заронил ей его в сердце? Гёте? Этого Беттина явно не имела в виду. Тот, кто заронил его ей в сердце, был некто выше ее и выше Гёте, если не Бог, то по крайней мере один из ангелов, о которых говорил в процитированном отрывке Рильке.

В этом месте нам следует заступиться за Гёте: если некто (Бог или ангел) заронил чувство в Беттинино сердце, то, естественно, Беттина

будет послушна этому чувству, это чувство в ее сердце, это ее чувство. Но Гёте, видимо, никто никакого чувства в сердце не заронил, Беттина была ему «поручена». Поручена как обязанность. Auferlegt. Так может ли Рильке упрекать Гёте, что он противился обязанностям, которые были ему поручены против его воли и, так сказать, без всякого предупреждения? Почему он должен был пасть на колени и писать «обеими руками» то, что ему диктовал голос, нисходящий с высот?

Очевидно, никакого рационального ответа на этот вопрос нам не найти и потому придется прибегнуть к сравнению: представим Симона, который рыбачит в водах Галилейского озера. Приходит к нему Иисус и призывает его бросить сети и последовать за Ним. А Симон говорит: «Оставь меня в покое. Мне дороже мои сети и моя рыба». Такой Симон мгновенно стал бы комической фигурой, Фальстафом Евангелия; Гёте в глазах Рильке стал Фальстафом любви.

6

Рильке, говоря о любви Беттины, считает, что она «ни в каком отклике и не нуждается, она сама содержит в себе и зов и отклик; она сама себя восполняет». Любовь, которую ангельский садовник зароняет в сердце человека, не нужда-

ется ни в каком предмете, ни в каком отклике, ни в какой, как говорила Беттина, Gegen–Liebe, ответной любви. Любимый (к примеру, Гёте) не является ни поводом, ни смыслом любви.

В период своей переписки с Гёте Беттина также пишет любовные письма Арниму. В одном из них она говорит: «Истинная любовь не способна к измене. Такая любовь, не нуждающаяся в отклике («die Liebe ohne Gegen–Liebe“), ищет любимого в каждом его перевоплощении».

Если бы в сердце Беттины заронил любовь вовсе не ангельский садовник, а Гёте или Арним, в ее сердце взросла бы любовь к Гёте или Арниму, неподражаемая, незаменимая, предназначенная тому, кто ее заронил, тому, кто любим, а стало быть, любовь, не ведающая перевоплощений. Такую любовь можно было бы определить как отношение: избранное отношение между двумя людьми.

Однако то, что Беттина называет wahre Liebe (истинной любовью), это не любовь–отношение, а любовь–чувство; огонь, зажженный небесной рукой в душе человека, факел, в чьем свете любящая «ищет любимого в каждом его перевоплощении».

Такая любовь не знает измен, поскольку, да-

же если предмет любви меняется, сама любовь остается все время тем же самым пламенем, зажженным небесной рукой.

Дойдя в наших рассуждениях до этого места, мы, пожалуй, способны уже понять, почему в своей обширной переписке Беттина задавала так мало вопросов Гёте. Боже мой, представьте только, что вам дано переписываться с Гёте! О чем бы только вы не спросили его! О его книгах. О книгах его современников. О поэзии. О прозе. О картинах. О Германии. О Европе. О науке и технике. Вы бы так наседали на него со своими вопросами, что ему пришлось бы уточнить свои воззрения. Вы бы спорили с ним, пока не вынудили бы его сказать то, о чем он доселе умалчивал.

Но Беттина с Гёте не обменивается взглядами. Она не дискутирует с ним даже об искусстве. За одним исключением: пишет ему о музыке. Но это она, кто наставляет! Гёте совершенно очевидно не разделяет ее взглядов. Так отчего же Беттина не расспрашивает подробно о причинах его несогласия? Если бы она умела задавать вопросы, мы в ответах Гёте обрели бы первую критику музыкального романтизма avant la lettre, с самого начала!

Ан нет, ничего подобного в этой обширной

переписке мы не найдем, мы крайне мало прочтем в ней и о Гёте просто потому, что Беттина интересовалась Гёте много меньше, чем мы полагаем; поводом и смыслом ее любви был не Гёте, а любовь.

7

Принято считать, что европейская цивилизация основана на разуме. Но столь же справедливо было бы сказать о ней, что это цивилизация чувств, сантиментов; она создала тип человека, которого я называю человеком сентиментальным: homo sentimentalis .

Иудейская религия предписывает верующим Закон. Этот Закон стремится быть доступным разуму (Талмуд не что иное, как постоянное разумное толкование предписаний, установленных Богом) и не требует никакого особого чувства сверхъестественного, никакого особого восторга или мистического пламени в душе. Критерий добра и зла объективен: речь о том, чтобы понимать писаный Закон и придерживаться его.

Христианство перевернуло этот критерий головой вниз: Люби Бога и делай что хочешь! — сказал Блаженный Августин. Критерий добра и зла был перемещен в душу индивида и стал субъективным. Если душа того или иного челове-

ка исполнена любви, все в порядке: этот человек хорош, и все, что он делает, хорошо.

Беттина мыслит, как Блаженный Августин, когда пишет Арниму: «Я нашла прекрасную поговорку: истинная любовь всегда права, даже когда не права. А Лютер в одном письме говорит: настоящая любовь часто не права. Это мне кажется не таким удачным, как моя поговорка. Но в другом месте Лютер говорит: любовь предшествует всему, и жертве и молитве. И из этого я делаю вывод, что любовь — наивысшая добродетель. Любовь делает нас беспамятными (macht bewusstlos) в земном и наполняет нас небесным, любовь таким образом избавляет нас от вины (macht unschuldig)».

На убеждении, что любовь избавляет нас от вины, основывается оригинальность европейского права и его теория вины, которая принимает во внимание чувства обвиняемого: когда вы убиваете человека хладнокровно ради денег, вам нет прощения; если вы убиваете его за то, что он оскорбил вас, гнев ваш явится смягчающим обстоятельством, и вы получите меньшее наказание; если же вы убьете его из–за несчастной любви или из ревности, суд отнесется к вам благосклонно, а Поль в качестве вашего адвоката и

вовсе потребует приговорить убитого к высшей мере.

8

Homo sentimentalis может быть определен не просто как человек, испытывающий чувства, ибо на это способны мы все, но как человек, возводящий свое чувство в достоинство. А как только чувство признается достоинством, чувствовать хочет каждый; и поскольку мы все любим хвастаться своими достоинствами, то склонны и выставлять напоказ свое чувство.

Превращение чувства в достоинство происходило в Европе уже в двенадцатом веке: трубадуры, воспевающие свою великую страсть к любимой и недостижимой знатной даме, представлялись всем, кто их слышал, столь восхитительными и прекрасными, что каждый стремился по их примеру стать жертвой какого–нибудь необузданного движения сердца.

Никто
не раскрыл глубже суть homo sentimentalis, чем Сервантес. Дон–Кихот решает любить некую даму по имени Дульсинея, невзирая на то, что почти не знает ее (что нас вовсе не поражает, ибо, как нам известно, когда речь идет о «wahre Liebe», истинной любви, любимый мало что значит). В

двадцать пятой главе первой книги он отправляется с Санчо в пустынные горы, туда, где ему хочется проявить все величие своей страсти. Но как доказать другому, что в твоей душе бушует пламя? И как это показать существу, кроме всего прочего, еще такому наивному и тупому, как Санчо Панса? И вот Дон–Кихот на лесной тропе снимает штаны, остается в одной рубахе и, демонстрируя слуге необъятность своего чувства, начинает перед ним кувыркаться. Всякий раз, когда он оказывается вниз головой и вверх пятками, рубаха сползает до самых плеч, и Санчо лицезрит его болтающийся детородный орган. Вид маленького девственного члена рыцаря до того комично грустен, до того трогателен, что даже Санчо с его очерствелой душой не в силах больше глядеть на этот спектакль; он садится на Росинанта и быстро удаляется.

Когда умер отец, Аньес пришлось составить программу похоронного обряда. Она хотела, чтобы похороны прошли без прощальных речей и сопровождались лишь звуками Адажио Десятой симфонии Малера, которую отец очень любил. Но это ужасно грустная музыка, и Аньес опасалась, что на похоронах не в силах будет удержаться от слез. Ей казалось невыносимым всхлипывать

на глазах у всех, и потому она решила поставить пластинку с Адажио в проигрыватель и прослушать ее заранее. Один раз, второй, третий. Музыка напоминала ей отца, и она плакала. Но когда Адажио зазвучало в комнате в восьмой, в девятый раз, мощь музыки заметно ослабела: когда она поставила пластинку в тринадцатый раз, музыка тронула ее не больше, чем если бы она слушала парагвайский национальный гимн. Благодаря этому тренингу ей удалось на похоронах не плакать.

Чувство по сути своей рождается в нас вне нашей воли, часто вопреки нашей воле. Когда мы хотим чувствовать (решаем чувствовать, как решил Дон–Кихот любить Дульсинею), чувство уже не чувство, а имитация чувства, его демонстрация. То, что обычно называют истерией. Поэтому homo sentimentalis (то есть человек, который возвел чувство в достоинство) по существу то же самое, что и homo hystericus . Однако это вовсе не значит, что человек, имитирующий чувство, его не испытывает. Актер, исполняющий роль старого короля Лира, чувствует на сцене перед всеми зрителями истинную печаль покинутого, преданного человека, но эта грусть испаряется в ту секунду, когда спектакль кончается. И потому

homo sentimentalis, восхищающий нас великими чувствами, тут же следом способен ошеломить нас непостижимым безразличием.

9

Дон–Кихот был девственником. Беттина впервые почувствовала мужскую руку на своей груди в двадцать пять лет, когда осталась наедине с Гёте в гостиничном номере курорта Теплице. Гёте познал физическую любовь, если верить его биографам, лишь в своей поездке по Италии, когда ему было под сорок. Вскоре по возвращении в Веймар он встретил двадцатитрехлетнюю девушку–работницу и сделал ее своей первой постоянной любовницей. Это была Христиана Вульпиус, ставшая после многих лет сожительства в 1806 году его законной женой и в памятном 1816–м сбросившая наземь очки Беттины. Она была беззаветно предана своему мужу (говорят, что она защищала его собственным телом, когда ему угрожали пьяные солдаты наполеоновской армии) и, по всей видимости, была превосходной любовницей, как о том свидетельствуют слова Гёте, называвшего ее «mem Bettschatz», что можно перевести как «сокровище моей постели».

Тем не менее Христиана оказывается в гётевской агиографии вне любви. Девятнадцатый век

(да и наш, который все еще находится в плену века предшествующего) отказался впустить Христиану в галерею любовей Гёте наряду с Фредерикой, Шарлоттой, послужившей прообразом Лотты в «Вертере», Лили, Беттины или Ульрики. Вы, возможно, скажете: это потому, что она была его супругой, а мы привыкли автоматически считать супружеский союз чем–то непоэтичным. Думаю, однако, что подлинная причина гораздо глубже: публика отказывалась видеть в Христиане любовь Гёте просто потому, что Гёте с нею спал. Ибо сокровище любви и сокровище постели суть две вещи, которые исключали друг друга. Если писатели девятнадцатого века охотно завершали романы свадьбой, то это не потому, что они хотели защитить историю любви от супружеской скуки. Нет, они хотели защитить ее от совокупления!

Все прославленные европейские истории любви протекают во внекоитальном пространстве: история принцессы Клевской, Поля и Виргинии, история Доминика — героя романа Фромантена, всю свою жизнь любившего одну–единственную женщину, с которой ни разу не целовался, и, разумеется, история Вертера, история Гамсуновой Виктории и история Пьера и Люс, персонажей

Ромена Роллана, над которыми в свое время плакали читательницы всей Европы В романе «Идиот» Достоевский заставил Настасью Филипповну спать с первым встречным купцом, но, когда речь зашла о подлинной страсти, то есть когда Настасья оказалась между князем Мышкиным и Рогожиным, их половые органы растворились в трех больших сердцах, как сахар в трех чашках чая. Любовь Анны Карениной и Вронского кончилась с их первым сексуальным актом, а потом она уже стала не чем иным, как собственным распадом, и мы даже не знаем почему: то ли они так убого любили друг друга, толи, напротив, любили друг друга так упоительно, «что мощь наслаждения внушала им чувство вины. Но каким бы ни был наш ответ, мы всегда придем к одному и тому же заключению: другой великой любви, кроме докоитальной, не было и быть не могло.

Однако это вовсе не означает, что внекоитальная любовь была невинной, ангельской, детской, чистой; напротив, она содержала в себе все муки ада, какие можно представить себе на этом свете. Настасья Филипповна без опаски переспала со многими пошлыми богатеями, но с той минуты, как она встретила князя Мышкина и Рогожина,

чьи половые органы, как я сказал, растворились в большом самоваре чувства, она вступила в зону катастроф и умерла. Кстати, напомню вам великолепную сцену из «Доминика» Фромантена: оба влюбленных, годами мечтавшие друг о Друге и ни разу не коснувшиеся друг друга, выехали верхом на прогулку, и нежная, тонкая, сдержанная Мадлен вдруг с неожиданной жестокостью погнала лошадь бешеным галопом, поскольку знала: Доминик, скачущий рядом, плохой наездник и может разбиться. Внекоитальная любовь: котелок на огне, прикрытый крышкой, под которой чувство, доведенное до кипения, превращается в страсть, так что крышка подпрыгивает и как безумная пляшет на нем.

Европейское понятие любви уходит корнями во внекоитальную почву. Двадцатый век, который бахвалится раскрепощением нравов и с радостью высмеивает романтические чувства, не в состоянии наполнить понятие любви каким–то новым содержанием (в этом одно из его крушений), так что молодой европеец, произносящий про себя это великое слово, возвращается на крыльях восторга, хочет он или не хочет, как раз туда, где томился в своей любви к Лотте Вертер и где чуть было не упал с лошади Доминик.

Примечательно, что Рильке восторгался Беттиной так же, как восторгался Россией, в которой определенное время усматривал свою духовную родину. Ибо Россия par excellence страна христианского сентиментализма. Она была защищена как от рационализма средневековой схоластической философии, так и от Ренессанса. Новая эпоха, основанная на картезианском мышлении, пришла туда со столетним или двухсотлетним опозданием. Стало быть, homo sentimentalis не нашел там достаточного противовеса и стал своей собственной гиперболой, обыкновенно носящей название славянская душа.

Россия и Франция — два полюса Европы, которые будут вечно притягивать друг друга. Франция — старая, усталая страна, где от чувств остались лишь формы. Француз пишет вам в конце письма: «Соблаговолите, дорогой господин, принять уверения в моем особом расположении». Когда я впервые получил такое письмо, подписанное секретаршей издательства «Галлимар», я жил еще в Праге. Я прыгнул чуть ли не до потолка от радости: в Париже есть женщина, которая любит меня! Ей удалось в конце официального письма поместить любовное признание! Она не только

расположена ко мне, но и красноречиво подчеркивает, что питает ко мне особое расположение! Ни одна чешка не сказала мне в жизни ничего подобного!

Только многими годами позже в Париже мне объяснили, что существует целый семантический веер заключительных формул письма; благодаря им француз может с точностью аптекаря отвешивать тончайшие степени чувств, которые — даже не испытывая их — хочет выказать адресату; среди них «особое расположение» выражает низшую степень официальной вежливости, граничащей чуть ли не с пренебрежением.

О Франция! Ты страна Формы, равно как Россия страна Чувства! Поскольку француз вечно неудовлетворен, оттого что не чувствует в груди горящего пламени, он с завистью и ностальгией взирает на страну Достоевского, где мужчины, подставляя мужчинам для поцелуя выпяченные губы, готовы зарезать того, кто откажется их поцеловать. (Впрочем, даже если они и зарежут его, их надо тотчас простить, поскольку их рукой водила уязвленная любовь, а она, как поведала нам Беттина, освобождает людей от вины. Русский сентиментальный убийца найдет в Париже по меньшей мере сто двадцать адвокатов,

жаждущих отправиться в Москву специальным поездом, дабы его защищать. К этому их принудит не сострадание — чувство слишком экзотическое и редко практикуемое в их стране, — но абстрактные принципы, являющиеся их единственной страстью. Русский убийца, не имеющий о том и понятия, по освобождении помчится к своему французскому защитнику, чтобы обнять его и поцеловать в губы. Француз испуганно попятится, русский оскорбится, всадит ему нож под ребра, и вся история повторится, как та самая песенка о собаке и куске мяса.)

11

Ах эти русские…

Когда я жил еще в Праге, там ходил анекдот о русской душе. Чех с ошеломляющей быстротой соблазняет русскую женщину. После совокупления русская говорит ему с бесконечным презрением: «Моим телом ты овладел. Но душой моей не овладеешь никогда!»

Прекрасный анекдот. Беттина написала Гёте пятьдесят два письма. Слово «душа» встречается в них пятьдесят раз, слово «сердце» сто девятнадцать раз. Лишь изредка слово «сердце» мыслится в буквальном анатомическом значении («у меня колотилось сердце»), чаще оно использовано как

синекдоха, означающая грудь («я хотела бы прижать тебя к моему сердцу»), но в подавляющем большинстве случаев означает то же, что слово «душа»: чувствующее «я».

Я мыслю, следовательно, я существую — фраза интеллектуала, который пренебрегает зубной болью. Я чувствую, следовательно, я существую — правда, более обобщенная по силе и касающаяся всего живого. Мое «я» не отличается существенно от вашего «я» тем, что оно думает. Людей много, мыслей мало: все мы думаем приблизительно одно и то же и друг другу передаем мысли, обмениваемся ими, берем взаймы, крадем. Однако когда кто–то наступил мне на ногу, боль чувствую я один. Основой «я» является не мышление, а страдание — самое элементарное из всех чувств. В страдании даже кошка не может сомневаться в своем незаменимом «я». В сильном страдании мир исчезает, и каждый из нас — лишь сам наедине с собой. Страдание — это великая школа эгоцентризма. «— …А очень вы меня презираете теперь, как вы думаете? — спрашивает Ипполит князя Мышкина.

— За что? За то, что вы больше нас страдали и страдаете?

— Нет, а за то, что недостоин своего страда-

ния».

Я недостоин своего страдания. Великая фраза. Из нее вытекает, что страдание является не только основой «я», его единственным бесспорным онтологическим доказательством, но что из всех чувств оно является тем, что более всего достойно уважения: достоинством всех достоинств. Поэтому Мышкин восхищается всеми женщинами, которые страдают. Впервые увидев фотографию Настасьи Филипповны, он скажет: «Лицо веселое, а она ведь ужасно страдала…» Эти слова определили сразу же с самого начала, еще до того, как мы могли заметить Настасью Филипповну на сцене романа, что она возвышается над всеми остальными. «Я ничто, а вы страдали…» — скажет очарованный Мышкин в пятнадцатой главе первой части, и с этого мгновения он погиб.

Я сказал, что Мышкин восхищался всеми женщинами, которые страдают, но я мог бы перевернуть свое утверждение: как только какая–нибудь женщина начинала ему нравиться, он представлял себе, как она страдает. Это была, впрочем, выдающаяся метода обольщения (жаль, что Мышкин так мало сумел извлечь из нее пользы!), ибо сказать какой–нибудь женщине: «Вы очень страдали» — это все равно что обратиться

к ее душе, погладить ее, поднять ввысь. Любая женщина в такую минуту готова сказать нам: «Хотя телом моим ты еще не владеешь, но моя душа уже принадлежит тебе!»

Под взглядом Мышкина душа растет и растет, она похожа на огромный гриб высотой с пятиэтажный дом, она похожа на воздушный шар, который с экипажем воздухоплавателей вот–вот взмоет к небу. Это явление я называю гипертрофией души.

12

Получив от Беттины проект своего памятника, Гёте почувствовал, вы, наверное, помните, как у него выступила слеза; он был уверен, что так самые глубины его души дают ему возможность познать правду: Беттина действительно любит его, и он был несправедлив к ней. Только со временем он осознал, что слеза открыла ему не какую–то великую правду о Беттининой преданности, а лишь избитую правду о его тщеславии. Ему стало стыдно, что он вновь поддался демагогии собственной слезы. А дело в том, что со слезой у него был немалый опыт, начиная с его пятидесятилетия: всякий раз, когда кто–то хвалил его или когда он испытывал внезапное удовлетворение от совершенного им красивого

или доброго поступка, на глаза набегали слезы. Что такое слеза? — задавался он вопросом и не находил ответа. Однако одно осознавал ясно: часто, до подозрительности часто, слеза была вызвана впечатлением, которое на Гёте производил сам Гёте.

Примерно спустя неделю после страшной гибели Аньес Лора навестила сокрушенного горем Поля.

— Поль, — сказала она, — теперь мы на свете одни.

У Поля увлажнились глаза, и он отвернулся, чтобы скрыть от Лоры свою растроганность.

Этот–то поворот головы и заставил ее крепко схватить его за руку:

— Поль, не плачь!

Поль сквозь слезы смотрел на Лору и убеждался, что у нее тоже увлажнились глаза. Он улыбнулся и сказал дрожащим голосом:

— Я не плачу. Это ты плачешь.

— Если тебе что–то понадобится, Поль, ты же знаешь, что я здесь, что я всем существом с тобой. И Поль ответил ей:

— Я знаю.

Слеза в глазах Лоры была слезой умиления, которое испытывала Лора над Лорой, готовой

пожертвовать всей своей жизнью, чтобы быть рядом с мужем своей погибшей сестры.

Слеза в глазах Поля была слезой умиления, которое испытывал Поль над преданностью Поля, не способного жить ни с одной женщиной, кроме как с той, которая была тенью его покойной жены, ее имитацией — ее сестрой.

А потом однажды они улеглись вместе на широкую постель, и слеза (милосердие слезы) сделала свое дело: у них не возникло ни малейшего ощущения предательства, которое они, возможно, допустили по отношению к мертвой.

Старое искусство эротической двусмысленности пришло им на помощь: они лежали рядом вовсе не как супруги, а как брат с сестрой. Лора была для Поля до сих пор табу: пожалуй, даже в тайниках сознания он не соединял ее ни с каким сексуальным представлением. Сейчас он ощущал себя ее братом, который должен заменить ей потерянную сестру. Это сперва помогло ему лечь с нею в постель, а уж потом наполнило его совершенно незнакомым волнением: они знали все друг о друге (как брат и сестра), и то, что их разделяло, не было неведомое; то был запрет; запрет, который продолжался двадцать лет и со временем становился все более нерушимым.

Ничего не было ближе, чем тело этого другого. Ничего не было запретнее, чем тело этого другого. С ощущением возбуждающего инцеста (и с увлажненными глазами) он овладел ею и любил ее так неистово, как никогда никого не любил.

13

Известны цивилизации, архитектура которых была выше европейской, а античная трагедия навсегда останется непревзойденной. Однако ни одна цивилизация не создала из звуков такого чуда, каким является тысячелетняя история европейской музыки с ее богатством форм и стилей! Европа: великая музыка и homo sentimentalis. Близнецы, лежащие тело к телу в одной колыбели.

Музыка научила европейца не только глубоко чувствовать, но и боготворить свое чувство и свое чувствующее «я». Вам же это знакомо: скрипач на сцене закрывает глаза и выводит первые два долгих звука. В эту минуту слушатель также закрывает глаза, чувствуя, как у него расширяется душа в груди, и думает: «Какая красота!» Но, кстати сказать, то, что он слышит, не что иное, как два звука, которые сами по себе не содержат никакой композиторской мысли, никакого творчества, а следовательно, никакого искусства или красоты.

Но эти два звука коснулись сердца слушателя и заставили замолчать его рассудок и эстетическое суждение. Лишь один музыкальный звук оказывает на нас приблизительно то же воздействие, что и взгляд Мышкина, обращенный к женщине. Музыка: насос для надувания души. Гипертрофированные души, превращенные в большие шары, возносятся под потолок концертного зала, натыкаясь друг на друга в невероятной давке.

Лора любила музыку искренне и глубоко; в ее любви к Малеру я вижу точный смысл: Малер — последний великий композитор, который все еще наивно и прямо обращается к homo sentimentalis. После Малера чувство в музыке уже становится подозрительным; Дебюсси хочет нас околдовать, отнюдь не расстрогать, а Стравинский и вовсе стыдится чувств. Малер для Лоры последний композитор, и когда она слышит из комнаты Брижит включенный на полную громкость рок, ее израненная любовь к европейской музыке, исчезающей в грохоте электрических гитар, доводит ее до исступления; она ставит Полю ультиматум: либо Малер, либо рок; что означает: либо я, либо Брижит.

Однако как выбрать между двумя музыками, одинаково нелюбимыми? Рок для Поля (уши у

него чувствительны, как у Гёте) слишком шумен, а романтическая музыка вызывает в нем тоскливые чувства. Бывало, во время войны, когда все окружающие впадали в панику от зловещих вестей, по радио вместо обычных танго и вальсов раздавались минорные аккорды страстной и торжественной музыки; в памяти ребенка эти аккорды навсегда запечатлелись как вестники катастроф. Позже он понял, что пафос романтической музыки объединяет всю Европу; она слышна всякий раз, когда убивают какого–нибудь государственного деятеля, когда объявляют войну, всякий раз, когда необходимо забить людям голову жаждой славы, чтобы они охотнее обрекли себя на погибель. Народы, которые взаимно истребляли друг друга, переполнялись одинаковым волнением, когда слышали гул «Похоронного марша» Шопена или бетховенской «Героической». Ах, кабы зависело от Поля, мир запросто обошелся бы и без рока, и без Малера. Однако эти две женщины не давали возможности соблюсти ему нейтралитет. Принуждали его выбрать: между двумя музыками, между двумя женщинами. А он не знал, как ему быть, ибо этих двух женщин любил в равной мере.

Зато они ненавидели друг друга. Брижит смот-

рела с мучительной тоской на белый рояль, используемый многими годами лишь для того, чтобы на него складывать ненужные вещи; он напоминал ей Аньес, которая из любви к сестре просила ее учиться на нем играть. Как только Аньес умерла, рояль ожил и звучал целыми днями. Брижит мечтала взбесившимся роком отомстить за преданную мать и выставить вон непрошеную гостью. Поняв, что Лора останется, она ушла сама. Рок умолк. Пластинка на проигрывателе вертелась, по квартире разносились тромбоны Малера и раздирали сердце Поля, потрясенное уходом дочери. Лора подошла к Полю, взяла в ладони его голову и уставилась ему в глаза. Потом сказала: «Я хотела бы подарить тебе ребенка». Оба знали, что врачи уже давно предостерегали ее от беременности. Поэтому она добавила: «Я сделаю все, что будет нужно».

Было лето. Лора закрыла магазин, и они уехали на две недели к морю. Волны разбивались о берег, переполняя своим гулом грудь Поля. Музыка этой стихии была единственной, которую он страстно любил. Со счастливым удивлением он обнаруживал, что Лора сливается с этой музыкой; единственная женщина в его жизни, которая была для него подобна морю; которая сама была

морем.

14

Ромен Роллан, свидетель обвинения на вечном суде, творимом над Гёте, отличался двумя свойствами: восторженным отношением к женщине («она была женщиной, и уже потому мы любим ее», — пишет он о Беттине) и вдохновенным стремлением идти в ногу с прогрессом (что для него означало: с коммунистической Россией и с революцией). Любопытно, что этот поклонник женщин одновременно столь восторгался Бетховеном как раз за то, что он отказался поздороваться с женщинами. Ибо речь идет именно об этом, если мы правильно поняли эпизод, имевший место на водах Теплице: Бетховен в низко надвинутой на лоб шляпе, заложив руки за спину, шагает навстречу императрице и ее свите, в которой определенно, кроме мужчин, были и дамы. Если он не поздоровался с ними, то, значит, был невежа, которому нет равных. Однако этому–то и нельзя поверить: хотя Бетховен был чудак и нелюдим, он никогда не был грубияном по отношению к женщинам! Вся эта история — очевидная несуразица, и если она могла быть так легковерно принята и распространена, то лишь потому, что люди (и даже романист, а это позор!)

утратили всякое чувство реальности.

Вы можете возразить мне, что негоже изучать правдоподобность анекдота, который совершенно очевидно является не свидетельством, а аллегорией. Прекрасно; что ж, посмотрим на аллегорию, как на аллегорию; забудем, как она возникла (мы все равно в точности никогда этого не узнаем), забудем о предвзятом смысле, который стремился придать ей тот или иной толкователь, и постараемся постичь, если можно так выразиться, ее объективное значение.

Что означает шляпа Бетховена, низко надвинутая на лоб? Что Бетховен отрицает власть аристократии как реакционную и несправедливую, в то время как шляпа в смиренной руке Гёте просит о сохранении мира таким, какой он есть? Да, это обычно принятое толкование, которое, однако, трудно отстаивать: так же как и Гёте, Бетховен тоже вынужден был создать в свое время модус вивенди для себя и своей музыки; поэтому он посвящал свои сонаты поочередно то одному, то другому князю; он без колебаний сложил кантату в честь победителей, собравшихся в Вене после поражения Наполеона, в которой хор восклицает: «Да будет мир таким, каким он был!»; он даже зашел так далеко, что для русской

царицы написал полонез, как бы символически бросая несчастную Польшу (ту Польшу, за которую тридцать лет спустя так мужественно будет бороться Беттина) к ногам ее захватчика.

Стало быть, если на нашей аллегорической картине Бетховен шагает навстречу группе аристократов, не снимая шляпы, то это может означать не то, что аристократы — достойные презрения реакционеры, а он — достойный удивления революционер, а скорее то, что те, кто творит (скульптуру, стихи, симфонии), заслуживают большего почтения, нежели те, кто правит (прислугой, чиновниками или целыми народами). Что творчество больше, чем власть, искусство больше, чем политика. Что бессмертны творения, а вовсе не войны и балы князей.

(Гёте, впрочем, должен был думать то же самое, разве что не считал нужным выказывать власть имущим эту неприглядную правду уже сейчас, при их жизни. Он был уверен, что в вечности именно они будут кланяться первыми, и этого ему было достаточно.)

Аллегория ясна, и все–таки она, как правило, толкуется вопреки своему смыслу. Те, кто при виде этой аллегорической картины спешит аплодировать Бетховену, вообще не осмысляют

его гордыни: по большей части это ослепленные политикой люди, которые сами отдают предпочтение Ленину, Че Геваре, Кеннеди или Миттерану перед Феллини или Пикассо. Ромен Роллан определенно опустил бы шляпу гораздо ниже Гёте, если бы по аллее курорта Теплице навстречу ему шел Сталин.

15

С преклонением Ромена Роллана перед женщинами дело обстоит довольно странно. Он, восторгавшийся Беттиной лишь потому, что она была женщиной («она была женщиной, и уже потому мы любим ее»), не обнаруживал ничего достойного в Христиане, которая, вне всякого сомнения, тоже была женщиной! Беттина для него «безумная и мудрая» (folle et sage), «безумно темпераментная хохотунья» с сердцем «нежным и безумным», и еще многажды названа она безумной. А мы знаем, что для homo sentimentalis слова «безумный, безумец, безумство» (которые во французском звучат еще поэтичнее, чем в других языках: fou, folle, folie) означают экзальтацию чувства, освобожденного от цензуры («неистовые безумства страсти», говорит Элюар), и, стало быть, произносятся здесь с умилительным восторгом. Что же до Христианы, почитатель женщин и про-

летариата, напротив, никогда не упустит случая, чтобы не добавить к ее имени вопреки всем правилам галантности прилагательные «ревнивая», «жирная», «румяная и тучная», «любопытная» и вновь и вновь «толстая».

Удивительно, что друг женщин и пролетариата, апостол равенства и братства ничуть не был растроган, что Христиана — бывшая работница и что Гёте проявил даже необычайную смелость, когда жил с нею на виду у всех как с любовницей, а затем сделал ее своей женой. Ему пришлось не только пренебречь сплетнями веймарских салонов, но и возражениями друзей–интеллектуалов, Гердера и Шиллера, свысока смотревших на Христиану. Я не удивляюсь, что аристократический Веймар немало радовался, когда Беттина назвала ее «толстой колбасой». Но нельзя не удивляться, что этому мог радоваться друг женщин и рабочего класса. Так почему же молодая патрицианка, умышленно демонстрировавшая свою образованность перед простой женщиной, была ему столь близка? И почему же Христиана, любившая пить и танцевать, не следившая за своей фигурой и беззаботно толстевшая, так ни разу и не сподобилась божественного определения «безумная» и была в глазах друга пролетариата всего лишь

«назойливой»?

И почему же другу пролетариата никогда не пришло в голову превратить сцену с очками в аллегорию, в которой простая женщина из народа по заслугам наказывает молодую экстравагантную интеллектуалку, а Гёте, заступившийся за свою жену, шагает вперед с поднятой головой (и без шляпы!) против армии аристократов и их постыдных предрассудков?

Конечно, такая аллегория была бы не менее глупой, чем предыдущая. Однако вопрос остается: почему друг пролетариата и женщин выбрал одну глупую аллегорию, а не другую? Почему предпочел Беттину Христиане?

Этот вопрос подводит к самой сути дела. Следующая глава дает на него ответ:

16

Гёте призывал Беттину (в одном из недатированных писем) «отвергнуть самое себя». Нынче мы бы сказали, что он упрекал ее в эгоцентризме. Но имел ли он на это право? Кто вступался за восставших горцев в Тироле, за славу погибшего Пётефи, за жизнь Мерославского? Он или она? Кто постоянно думал о других? Кто готов был пожертвовать собой?

Беттина. О том спору нет. Однако тем самым

упрек Гёте не опровергнут. Ибо Беттина никогда не отвергала своего «я». Куда бы она ни шла, ее «я» реяло за ней, словно знамя. То, что вдохновляло ее вступаться за тирольских горцев, были не горцы, это был пленительный образ Беттины, борющейся за тирольских горцев. То, что побуждало ее любить Гёте, был не Гёте, а очаровательный образ Беттины–ребенка, влюбленной в старого поэта.

Вспомним ее жест, который я назвал жестом, взыскующим бессмертия: она спервa прикладывала пальцы к точке между грудями, словно бы хотела указать на самый центр того, что мы называем своим «я». Потом выбрасывала руки вперед, словно это «я» стремилась послать куда–то далеко, к горизонту, в бесконечность. Жест, взыскующий бессмертия, знает только два места в пространстве: «я» здесь и горизонт там, вдали; лишь два понятия: абсолют, которым является «я», и абсолют мира. Этот жест не имеет ничего общего с любовью, поскольку другой человек, ближний, любой, кто находится между двумя крайними полюсами («я» и мир), заранее исключен из игры, опущен, невидим.

Двадцатилетний парень, который вступает в коммунистическую партию или идет с винтовкой бороться вместе с партизанами в горы,

заворожен своим собственным образом революционера — именно он отличает его от других и помогает стать самим собой. В истоках его борьбы лежит растравленная и неудовлетворенная любовь к своему «я», которому он хочет придать броские очертания и потом послать это «я» (движением, которое я назвал жестом, взыскующим бессмертия) на великую сцену истории, куда устремлены тысячи глаз; а на примере Мышкина и Настасьи Филипповны мы знаем, что душа под пристальными взглядами растет, раздувается, становится все больше и больше и наконец возносится к небу, словно прекрасный светящийся воздушный корабль.

Нет, не разум, а гипертрофированная душа заставляет людей поднимать кулаки вверх, дает им винтовку в руки и гонит их на общий бой за правое или неправое дело. Именно она является тем бензином, без которого мотор истории не вращался бы и Европа лежала бы на траве, лениво взирая на плывущие по небу облака.

Христиана не страдала гипертрофией души и не мечтала играть на великой сцене истории. Подозреваю, что она любила лежать на траве, устремив глаза к небу, по которому плыли облака. (Подозреваю даже, что она умела быть в такие

минуты счастливой, — картина, неприглядная для человека с гипертрофированной душой, поскольку он сам, пожираемый огнем своего «я», никогда не бывает счастлив.) Стало быть, Ромен Роллан, друг прогресса и слезы, ни секунды не колебался, когда должен был выбирать между Христианой и Беттиной.

17

Блуждая по дорогам запредельного мира, Хемингуэй заметил, что издали направляется к нему молодой мужчина; он был элегантно одет и держался чрезвычайно прямо. По мере того как щеголь приближался к нему, Хемингуэй сумел разглядеть на его губах легкую озорную улыбку. Когда они были уже в нескольких метрах друг от друга, молодой человек замедлил шаг, словно желая дать Хемингуэю последнюю возможность его узнать.

«Иоганн!» — пораженно воскликнул Хемингуэй.

Гёте довольно улыбался; он был горд, что ему удался отличный сценический эффект. Не забывайте, что он долгое время был директором театра и знал толк в эффектах. Потом он взял своего приятеля под руку (любопытно, что хотя он и был теперь моложе Хемингуэя, но относился

к нему с прежней ласковой снисходительностью старшего) и повел на дальнюю прогулку.

«Иоганн, — говорил Хемингуэй, — вы сегодня красивы как Бог. — Красота приятеля доставила ему истинную радость, и он счастливо засмеялся: — Где вы оставили свои домашние шлепанцы? И ту зеленую пластинку над глазами? — И, перестав смеяться, сказал: — Таким вы должны были предстать на вечном суде. Разгромить своих судей не аргументами, а своей красотой!»

«Вы же знаете, что на вечном суде я не произнес ни единого слова. Из презрения. Но я не мог удержаться от того, чтобы не ходить туда и не выслушивать их. Я сожалею об этом».

«Что же вы хотите? Вы были осуждены на бессмертие в наказание за то, что писали книги. Вы это сами мне объяснили».

Гёте пожал плечами и сказал не без гордости: «Наши книги в определенном смысле слова, возможно, бессмертны. Возможно. — После паузы он добавил тихо и многозначительно: — Но не мы».

«Как раз наоборот, — горько возразил Хемингуэй. — Наши книги, всего вероятнее, скоро перестанут читать. От вашего Фауста останется лишь дурацкая опера Гуно. И еще, пожалуй, строка о том, что вечная женственность манит

нас к себе…»

«Das Ewigweibliche zieht uns hinan», — продекламировал Гёте.

«Правильно. Но вашей жизнью до мельчайших подробностей люди никогда не перестанут интересоваться».

«Вы все еще не поняли, Эрнест, что лица, о которых они говорят, не мы?»

«Не пытайтесь утверждать, Иоганн, что вы не имеете никакого отношения к Гёте, о котором все пишут и говорят. Допускаю, что образ, оставшийся после вас, не вполне соответствует вам. Допускаю, что вы изрядно искажены в нем. Но все–таки вы в нем присутствуете».

«Нет, это не я, — сказал Гёте очень твердо. — И скажу вам еще кое–что. Даже в своих книгах я не присутствую. Тот, кого нет, не может присутствовать».

«Для меня это слишком философская мысль».

«Забудьте на минуту, что вы американец, и пораскиньте мозгами: тот, кого нет, не может присутствовать. Неужто это так сложно? В миг, когда я умер, я ушел отовсюду и полностью. Ушел я и из своих книг. Эти книги живут на свете без меня. Никто в них меня уже не найдет. Поскольку нельзя найти того, кого нет».

«Я охотно соглашусь с вами, — сказал Хемингуэй, — но объясните мне: если образ, оставшийся после вас, не имеет с вами ничего общего, почему же при жизни вы уделили ему столько внимания? Почему пригласили к себе Эккермана? Почему вы взялись за написание «Поэзии и правды»?»

«Эрнест, смиритесь с тем, что я был таким же сумасбродом, как и вы. В этих хлопотах о собственном образе — роковая незрелость человека. Как трудно быть равнодушным к собственному образу! Такое равнодушие свыше человеческих сил. Человек приходит к нему только после смерти. И причем не сразу. Через долгое время после смерти. Вы к этому еще не пришли. Вы все еще не взрослый. А то, что вы мертвы… кстати, давно ли это?»

«Двадцать семь лет», — сказал Хемингуэй.

«Это совсем ничего. Вам придется ждать по меньшей мере еще лет двадцать — тридцать, прежде чем вы полностью осознаете, что человек смертен, и сумеете сделать из этого надлежащие выводы. Раньше не получится. Еще незадолго до смерти я говорил, что чувствую в себе такую творческую мощь, которая не может исчезнуть без остатка. И естественно, я верил, что буду жить в образе, который по себе здесь оставляю. Да, я

был такой же, как и вы, Эрнест. Даже после смерти тягостно было смириться с тем, что меня нет. Знаете, ужасно странная вещь! Быть смертным — это самый элементарный человеческий опыт, но при этом человек никогда не способен был принять его, понять и вести себя соответственно. Человек не умеет быть смертным. А умирая, не умеет быть мертвым».

«А умеете ли вы быть мертвым, Иоганн? — спросил Хемингуэй, чтобы ослабить серьезность минуты. — Вы и вправду думаете, что лучший способ быть мертвым — это терять время на болтовню со мной?»

«Не стройте из себя дурака, Эрнест, — сказал Гёте. — Вы хорошо знаете, что в эту минуту мы лишь фривольная фантазия романиста, который заставляет нас говорить то, что мы, по всей видимости, никогда бы не сказали. Но оставим это. Вы заметили, какой у меня сегодня вид?»

«Разве я вам не сказал об этом, как только увидел вас? Вы прекрасны как Бог!»

«Так я выглядел, когда вся Германия считала меня бессердечным соблазнителем, — сказал Гёте едва ли не торжественно. Затем добавил: — Я хотел, чтобы именно таким вы унесли меня в свои будущие годы».

Хемингуэй смотрел на Гёте с внезапной нежной снисходительностью:

«А у вас, Иоганн, сколько лет прошло после вашей смерти?»

«Сто пятьдесят шесть», — ответил Гёте с каким-то смущением.

«И вы все еще не умеете быть мертвым?» Гёте улыбнулся: «Понимаю, Эрнест. Я веду себя в некотором противоречии с тем, что я минутой раньше говорил вам. Но я позволил себе это ребячливое тщеславие потому, что сегодня мы видимся в последний раз. — И затем медленно, как тот, кто больше никогда не заговорит, произнес такие слова: — Дело в том, что я окончательно понял, что вечный суд — это глупость. Я решил воспользоваться наконец тем, что я мертвый, и пойти, если можно это выразить столь неточным словом, спать. Насладиться абсолютным небытием, о котором мой великий недруг Новалис говорил, что оно синеватого цвета».

Часть 5. Случайность

1

После обеда она поднялась в свой номер. Было воскресенье, в отеле не ждали ни одного нового гостя, никто не торопил ее с отъездом; широкая кровать в номере была все так же расстелена, как и утром, когда она встала. Ее вид наполнил ее счастьем: она провела в ней две ночи одна, слыша лишь собственное дыхание, и лежала во сне наискось, от угла к углу, словно хотела своим телом обнять всю эту огромную квадратную плоскость, которая принадлежала только ей и ее сну.

В раскрытом на столе чемоданчике все уже было упаковано: поверх сложенной юбки лежало брошюрованное издание стихов Рембо. Она взяла его с собой, поскольку в последние недели много думала о Поле. В пору, когда Брижит еще не было на свете, она часто садилась позади него на большой мотоцикл и катила с ним по всей Франции. С тем временем и с тем мотоциклом сливаются ее воспоминания о Рембо: это был их поэт.

Она взяла эти полузабытые стихи, словно брала в руки старый дневник, любопытствуя узнать, покажутся ли ей пожелтевшие от времени запи-

си трогательными, смешными, чарующими или не стоящими внимания. Стихи были все так же прекрасны, но кое–что в них поразило ее: они не имели ничего общего с большим мотоциклом, на котором они когда–то ездили. Мир стихов Рембо был гораздо ближе человеку гётевской поры, чем современникам Брижит. Рембо, предписавший всем быть абсолютно современными, был по-этом природы, бродягой, в его стихах были слова, которые нынешний человек забыл или уже не способен им радоваться: кресс–салат, липы, дубы, сверчки, орех, вязы, вереск, воронье, теплый помет старых голубятен и дороги, в особенности дороги:

Голубыми вечерами пойду я по тропе,

исколотый хлебами, бродить среди густой травы…

Не буду говорить, не буду думать ни о чем…

И, как цыган, я побреду куда глаза глядят путем природы

и счастлив буду с ней, как с женщиной…[7]

---

[7] Примечания: 7

Приводим стихотворение Артюра Рембо в переводе Виктора Андреева: «В дремотных сумерках, в сапфирной тишине // Неспешно я пойду тропинкой луговою; // Немятая трава исколет ноги мне, // Лицо омоет ветер пылью дождевою. // Не стану говорить и думать — ни о чем; // Блаженствуй же, душа, в любви неизъяснимой; // А просто, как цыган, я побреду вдвоем // С Природой — счастлив, словно с женщиной любимой». (Прим. ред.)

Она закрыла чемоданчик. Потом вышла в коридор, быстро спустилась вниз, выбежала из отеля, бросила чемоданчик на заднее сиденье и села за руль.

2

Было полтретьего, пора пускаться в путь: она не любила ездить в темноте. Но она никак не решалась повернуть ключ зажигания. Словно любовник, который не успел сказать ей всего, чем полнилось его сердце, окрестный пейзаж не давал ей уехать. Она вышла из машины. Вокруг нее были горы; горы слева были яркими, сочного цвета, и над их зеленым абрисом сияли белые глетчеры; горы справа были окутаны желтоватой дымкой, обратившей их в один сплошной силуэт. Это были два совершенно разных освещения; два разных мира. Она поворачивала голову то в одну, то в другую сторону и решила напоследок еще раз пройтись. И вышла на дорогу, которая, полого поднимаясь, вела через луга к лесу.

Лет двадцать пять тому назад она приезжала с Полем в Альпы на большом мотоцикле. Поль любил море, а горы были ему чужды. Ей хотелось заманить его в свой мир; хотелось очаровать его видом деревьев и лугов. Мотоцикл стоял на обочине дороги, а Поль говорил:

— Луг — не что иное, как нива страданий. Каждую минуту в этой прекрасной зелени умирает какое–нибудь существо, муравьи медленно пожирают живых червяков, птицы с высоты подстерегают ласку или мышь. Видишь эту черную кошку, как она недвижно притаилась в траве? Она только и ждет, когда настанет возможность убить. Мне противно это слепое преклонение перед природой. Ты думаешь, что лань испытывает в пасти тигра меньший ужас, чем испытала бы ты? Люди выдумали, что звери не способны так же страдать, как человек, а иначе им трудно было бы смириться с сознанием, что они окружены природой, которая не что иное, как убийство, сплошное убийство.

Поль утешался тем, что человек постепенно покроет всю землю бетоном. Для него это было подобно тому, как если бы на его глазах заживо замуровывали безжалостную злодейку. Аньес слишком хорошо понимала его, чтобы упрекать в нелюбви к природе, мотивированной, если можно так выразиться, чувством гуманности и справедливости.

А возможно, это скорее была совершенно обычная ревнивая борьба мужчины за женщину, которую он хотел окончательно оторвать от отца.

Поскольку именно отец научил Аньес любить природу. С ним она исходила километры и километры дорог, восхищаясь тишиной леса.

Когда–то друзья показывали ей из машины природу Америки. Это было бесконечное и недоступное царство деревьев, рассекаемое длинными шоссе. Тишина этих лесов казалась ей столь же враждебной и чуждой, как шум Нью–Йорка. В лесу, который любит Аньес, дороги разветвляются на проселки и на совсем маленькие тропки; по тропам ходят лесники. На дорогах — скамейки, с которых можно обозревать окрестности, где пасутся стада овец и коров. Это Европа, это сердце Европы, это Альпы.

3

Depuis huit jours, j'avais déchire mes bottines aus cailleux des chemins…

Восемь дней подряд я разбивал свои ботинки о камни дорог… —

пишет Рембо.

Дорога: полоска земли, по которой ходят пешком. Шоссе отличается от дороги не только тем, что по нему ездят в машинах, но и тем, что оно всего лишь линия, связывающая одну точку с другой. У шоссе нет смысла в самом себе; смысл есть лишь в двух соединенных точках. Дорога

— это гимн пространству. Каждый кусочек дороги осмыслен сам по себе и приглашает нас остановиться. Шоссе — победное обесценивание пространства, которое по его милости сейчас не что иное, как сущая помеха людскому движению и напрасная трата времени.

Прежде чем исчезнуть из ландшафта, дороги исчезли из души человека: он перестал мечтать о ходьбе, о пеших прогулках и получать от этого радость. Он уже и жизнь свою видел не как дорогу, а как шоссе: как линию, которая ведет от точки к точке, от чина капитана к чину генерала, от роли супруги к роли вдовы. Время жизни стало для него сущей преградой, которую нужно преодолеть все большими и большими скоростями.

Дорога и шоссе — это и два разных понятия красоты. Если Поль говорит, что там–то и там–то прекрасное место, это значит: когда там остановишь машину, увидишь прекрасный замок семнадцатого века, а рядом с ним парк; или: там озеро, и на его блестящей поверхности, уходящей в неоглядную даль, плавают лебеди.

В мире шоссе прекрасный пейзаж означает: остров красоты, соединенный длинной линией с другими островами красоты.

В свете дорог красота непрерывна и вечно

изменчива; на каждом шагу она говорит нам: «Остановись!»

Мир дорог был миром отца, мир шоссе — миром мужа. И история Аньес замыкается как круг: из мира дорог в мир шоссе и снова назад. Вот почему Аньес переезжает в Швейцарию. Это уже решено, и в этом источник ее постоянного за последние две недели и безумного счастья.

4

Уже давно перевалило за полдень, когда она вернулась к машине. И как раз в ту минуту, когда она вставляла ключ в замок, профессор Авенариус в плавках подходил к маленькому бассейну, где я поджидал его в теплой воде, подставляя тело сильным струям, бьющим из стен под ее поверхностью.

События, таким образом, синхронизировались. Всегда, когда что–то происходит в пункте Z, нечто другое также происходит в пунктах A, B, C, D, E. «И как раз в ту минуту, когда…» — одна из магических формул всех романов, фраза, что очаровывает нас, когда мы читаем «Трех мушкетеров», самый любимый роман профессора Авенариуса, которому я сказал вместо приветствия:

— Как раз в эту минуту, когда ты входишь в

бассейн, героиня моего романа наконец завела машину, чтобы ехать в Париж.

— Дивное совпадение, — сказал явно обрадованный профессор Авенариус и опустился в воду.

— Таких совпадений, разумеется, происходит на свете ежеминутно миллиарды. Я мечтаю написать об этом большую книгу: «Теория случайности». Первая часть: Случайность, управляющая совпадениями. Классификация разных типов случайных совпадений. Например: «Как раз в ту минуту, когда профессор Авенариус вошел в бассейн, чтобы почувствовать теплую струю воды на своей спине, в общественном парке Чикаго упал с каштана желтый лист». Подобное случайное совпадение событий не имеет ровно никакого смысла. В своей классификации я называю его немым совпадением. Но представь себе, что я скажу: «Как раз в ту минуту, когда упал первый желтый лист в городе Чикаго, профессор Авенариус вошел в бассейн, чтобы помассировать свою спину». Фраза обретает меланхолический оттенок, потому что мы уже воспринимаем профессора Авенариуса как провозвестника осени и вода, в которую он вошел, представляется нам соленой от слез. Случайное совпадение вдох-

нуло в событие неожиданный смысл, и потому я называю его поэтическим совпадением. Но я могу сказать то же, что произнес, увидев тебя: «Профессор Авенариус погрузился в бассейн как раз в ту минуту, когда Аньес тронула в Альпах свою машину». Это совпадение нельзя назвать поэтическим, поскольку оно не придает никакого особого смысла твоему погружению в бассейн, но все же это весьма ценное совпадение, которое я называю контрапунктическим. Будто две мелодии соединяются в одну композицию. Я знаю это еще со времен своего детства. Один мальчик пел одну песню, а другой мальчик в то же время пел другую песню, и это сливалось воедино! Или вот еще иной тип случайного совпадения: «Профессор Авенариус вошел в метро на Монпарнасе как раз в ту минуту, когда там стояла прекрасная дама с красной копилкой в руке». Это так называемое совпадение, творящее историю, которое, в частности, обожают романисты.

После этих слов я сделал паузу, дабы заставить его рассказать мне поподробнее о своей встрече в метро, но он знай себе вертел спиной, подставляя бьющей струе воды свое люмбаго, и делал вид, что мой последний пример его ничуть не касается.

— Не могу избавиться от ощущения, — сказал

он, — что в человеческой жизни случайность вовсе не обусловлена исчислением вероятностей. Тем самым хочу сказать: мы часто сталкиваемся со случайностями столь невероятными, что им не найти никакого математического оправдания. Недавно я шел по ничего не значащей улице ничего не значащего парижского квартала и встретил женщину из Гамбурга, с которой двадцать пять лет назад встречался чуть ли не каждодневно, а потом начисто потерял ее из виду. Шел я по этой улице лишь потому, что по ошибке вышел из метро на одну остановку раньше. А она, будучи в трехдневном туре по Парижу, заблудилась. Наша встреча — следствие одной миллиардной вероятности!

— Каким методом ты исчисляешь вероятность человеческих встреч?

— Может, ты знаешь какой–нибудь метод?

— Не знаю. И сожалею об этом, — сказал я. — Удивительно, но человеческая жизнь никогда не была подвергнута математическому исследованию. Возьмем хотя бы время. Я мечтаю об эксперименте, который с помощью электродов, подключенных к голове человека, исследовал бы, сколько процентов своей жизни человек отдает настоящему, сколько воспоминаниям и сколько

будущему. Мы пришли бы таким образом к познанию того, каков человек в своем отношении ко времени. Что такое человеческое время. И мы наверняка смогли бы выделить три основных человеческих типа сообразно тому, какая из форм времени для него доминантная. Но вернусь к случайностям. Что мы можем сказать определенного о случайности в жизни без математического исследования? Однако, к сожалению, никакой экзистенциальной математики не существует.

— Экзистенциальная математика. Потрясающая идея, — произнес в задумчивости Авенариус. Потом сказал: — В любом случае, шла ли речь об одной миллионной или биллионной вероятности, встреча была абсолютно невероятной, и именно в ее невероятности вся ее ценность. Ибо несуществующая экзистенциальная математика выдвинула бы, наверное, такое уравнение: цена случайности равняется степени ее невероятности.

— Встретиться неожиданно на улицах Парижа с красивой женщиной, которую многие годы не видел… — сказал я мечтательно.

— Не знаю, что дало тебе повод думать, что она красива. То была гардеробщица из пивной, куда я одно время ежедневно захаживал; она приехала

с клубом пенсионеров на три дня в Париж. Узнав друг друга, мы растерялись. Мы смотрели друг на друга чуть ли не с отчаянием, какое испытывает безногий мальчик, выигравший в лотерее велосипед. Мы оба как бы понимали, что нам дарована бесконечно ценная, но абсолютно бесполезная случайность. Казалось, кто–то смеется над нами, и нам обоим было стыдно.

— Этот тип случайного совпадения я решился бы назвать пагубным, — сказал я. — Однако я пока еще тщетно прикидываю, к какой категории причислить случайность, приведшую к тому, что Бернар получил диплом стопроцентного осла.

Авенариус сказал со всей категоричностью: — Бернар Бертран получил диплом стопроцентного осла, ибо он таковым и является. Ни о какой случайности тут не было речи. Это была простейшая необходимость. Даже железные законы истории, о которых говорит Маркс, не являют собой большей необходимости, чем этот диплом.

И словно раззадоренный моим вопросом, он выпрямился в воде во всем своем грозном могуществе. Я последовал его примеру, и мы оба вышли из бассейна, чтобы пойти посидеть в баре на другом конце зала.

Мы заказали себе по бокалу вина, сделали первый глоток, и Авенариус сказал:

— Ты же прекрасно знаешь: все, что я делаю, это борьба против Дьяволиады.

— Разумеется, знаю, — ответил я. — Поэтому–то я и спрашиваю, какой смысл нападать именно на Бернара Бертрана.

— Ничего ты не понимаешь, — сказал Авенариус, словно утомившись оттого, что я не понимаю вещей, какие он уже столько раз объяснял мне. — Не существует никакой действенной или разумной борьбы против Дьяволиады. Маркс пробовал, все революционеры пробовали, а в конечном счете Дьяволиада присвоила себе все организации, имевшие своей первоначальной целью ее уничтожение. Все мое революционное прошлое кончилось разочарованием, и для меня сегодня важен только один вопрос: что остается человеку, понявшему, что никакая организованная, действенная и разумная борьба против Дьяволиады невозможна? У него лишь два выхода: он либо смиряется и перестает быть самим собой, либо продолжает поддерживать в себе внутреннюю необходимость бунта и время от времени дает ей проявить себя. Не для того, чтобы изменить мир, как справедливо и тщетно

хотел этого Маркс, а потому, что к этому принуждает его личный нравственный императив. Я часто думал о тебе в последнее время. И для тебя важно, чтобы свой бунт ты проявлял не только в писании романов, которые не могут принести тебе никакого подлинного удовлетворения, но и в делах. Сегодня я хочу, чтобы ты наконец присоединился ко мне!

— И все–таки для меня остается неясным, — сказал я, — почему внутренняя нравственная необходимость привела тебя к выпаду против какого–то жалкого редактора радио! Какие объективные причины послужили тому? Почему именно он для тебя стал символом идиотизма?

— Я запрещаю тебе употреблять дурацкое слово «символ», — поднял голос Авенариус. — Это мышление террористических организаций! Это мышление политиков, которые ныне превратились в простых жонглеров символами! Я одинаково презираю и тех, кто вывешивает из окон государственные флаги, и тех, кто сжигает себя на площадях. Бернар для меня не символ. Для меня нет ничего конкретнее, чем он! Я слышу, как он каждое утро вещает! С его слов для меня начинается день! Его женственно аффектированный, по–идиотски шутливый голос действует мне на

нервы! Я на дух не выношу того, что он говорит! Объективные причины? Не знаю, что это такое! Я произвел его в стопроцентные ослы по праву своей самой чудаческой, самой злорадной, самой капризной личной свободы!

— Это–то я и хотел услышать, — сказал я. — Ты действовал отнюдь не как Бог необходимости, а как Бог случайности!

— Случайности ли, необходимости ли, я все равно рад, что для тебя я Бог, — сказал профессор Авенариус опять своим нормальным приглушенным голосом. — Но мне невдомек, почему ты так удивляешься моему выбору. Тот, кто по–идиотски шутит со слушателями и организует кампанию против эвтаназии, вне всяких сомнений — стопроцентный осел, и я не могу представить себе ни одного возражения против этого.

Услышав последние слова Авенариуса, я оцепенел:

— Ты путаешь Бернара Бертрана с Бертраном Бертраном!

— Я имею в виду Бернара Бертрана, который выступает по радио и борется против самоубийств и пива! Я схватился за голову:

— Это два разных человека! Отец и сын! Как ты мог соединить в одном лице редактора радио и

депутата?! Твоя ошибка — исключительный пример того, что мы за минуту до этого определили как пагубное совпадение.

Авенариус смутился. Однако вскоре пришел в себя и сказал:

— Боюсь, что ты не очень–то хорошо разбираешься даже в своей собственной теории случайности. В моей ошибке нет ничего пагубного. Напротив, она отчетливо похожа на то, что ты назвал поэтическим совпадением. Из отца и сына получился один осел о двух головах. Такого великолепного зверя не вымыслила даже древнегреческая мифология!

Мы допили вино, пошли в раздевалку, а оттуда я позвонил в ресторан с просьбой забронировать для нас столик.

6

Профессор Авенариус как раз надевал носок, когда Аньес вспомнила фразу: «Каждая женщина ребенка всегда предпочитает мужу». Ее произнесла доверительным тоном (при обстоятельствах, с той поры забытых) мать, когда Аньес было лет двенадцать–тринадцать. Смысл фразы станет ясным, если мы немного над ним поразмыслим: сказать, что мы любим А больше В, означает не сравнение двух степеней любви, а то, что В мы

не любим. Ибо когда мы кого–то любим, мы не сравниваем его. Любимый несравним. И когда мы любим А и В, мы тоже не можем их сравнивать, поскольку, сравнивая их, одного из них перестаем любить. И если мы публично заявляем, что одного предпочитаем другому, то вовсе не потому, что хотим перед всеми признаться в любви к А (ибо в таком случае было бы достаточно сказать просто «Люблю А!»), а для того, чтобы деликатно, но достаточно ясно дать понять, что В нам совершенно безразличен.

Конечно, маленькая Аньес была не способна к такому анализу. Мать определенно рассчитывала на это; ей нужно было открыться, но вместе с тем не хотелось и быть до конца понятой. Однако девочка, хотя и была не способна все осмыслить, ясно ощутила, что эта фраза матери — не в пользу отца. А маленькая Аньес любила его! Поэтому она чувствовала себя не польщенной тем, что ей отдают предпочтение, а опечаленной, что с любимым обходятся несправедливо.

Фраза запечатлелась в ее памяти; она стремилась представить себе, что значит во всей определенности любить кого–то более, а кого–то менее; перед сном она лежала в своей кровати, закутанная в одеяло, и воображала себе такую

сцену: отец стоит и держит за руки своих двух дочерей. Напротив него выстроился в шеренгу карательный взвод, который ждет лишь приказа: прицелиться! пли! Мать отправилась к вражескому генералу просить пощады, и он дал ей право из трех осужденных спасти двоих. И вот за минуту до того, как командир отдаст приказ стрелять, прибегает мать, вырывает у отца дочерей и в панической спешке уводит их. Аньес, которую мать тащит за собой, поворачивает голову назад, к отцу; поворачивает ее так упрямо, строптиво, что судорогой сводит горло; она видит, как отец печально и безропотно смотрит им вслед: он смирился с выбором матери, поскольку знает, что любовь материнская сильнее любви супружеской и что это ему положено умереть.

Иногда она представляла себе, что вражеский генерал дал матери право выбрать только одного из осужденных. Ни на мгновение она не сомневалась, что мать спасла бы Лору. Она воображала себе, как они остались одни, она и отец, лицом к лицу со взводом стрелков. Они держались за руки. В эти минуты Аньес вообще не занимало, что происходит с матерью и сестрой, она не смотрела им вслед, но знала, что они быстро удаляются и что ни одна из них ни разу не оглянулась! Заку-

тавшись в одеяло на своей кроватке, обливаясь горючими слезами, Аньес испытывала невыразимое счастье, что она держит отца за руку, что она с ним и что они умрут вместе.

7

Пожалуй, Аньес забыла бы о сцене казни, если бы в один прекрасный день сестры не поссорились, застав отца над грудой разорванных фотографий. Глядя тогда на раскричавшуюся Лору, она вдруг вспомнила, что это та самая Лора, которая бросила ее одну с отцом перед карательным взводом и пошла прочь, даже ни разу не оглянувшись. Она внезапно поняла, что их разлад глубже, чем она предполагает, и именно потому уже никогда не возвращалась к той ссоре, как бы боясь называть то, что должно оставаться неназванным, пробуждать то, что должно оставаться спящим.

Когда в тот день сестра в слезах и гневе уехала и она осталась с отцом одна, она впервые испытала странное чувство усталости от поразительного открытия (более всего нас всегда поражают самые банальные открытия), что у нее всю жизнь будет одна и та же сестра. Она сможет менять друзей, менять любовников, она сможет, если захочется, развестись с Полем, но она никогда не

сможет поменять сестру. Лора — это константа ее жизни, что для Аньес тем утомительнее, что их отношения уже с детства походили на бег с преследованием: Аньес бежала впереди, а сестра за ней.

Иногда она представляла себя героиней сказки, которую знала с детства; принцесса скачет верхом, спасаясь от злого преследователя; в руке у нее щетка, гребень и лента. Бросает она назад щетку — между нею и преследователем вырастают густые леса. Так она выигрывает время, но вскоре преследователь снова настигает ее, и она бросает назад гребень, вмиг обратившийся в островерхие скалы. А когда он снова гонится за ней по пятам, она опускает ленту, которая расстилается позади нее широкой рекой.

Затем у Аньес в руке уже оставался последний предмет: черные очки. Она бросила их на пол, и от преследователя ее отделила полоса, усыпанная острыми осколками.

Но сейчас в руке у нее нет ничего, и она знает, что Лора сильнее ее. Она сильнее, поскольку обратила свою слабость в оружие и нравственное превосходство: с ней поступают несправедливо, ее оставил любовник, она страдает, она пытается покончить с собой, тогда как благополучная в

своем замужестве Аньес бросает на пол Лорины очки, унижает ее и отказывает ей от дома. Да, с момента разбитых очков уже минуло более полугода, как они не встречались. И Аньес видит, что Поль, хотя и молчит об этом, с ней не согласен. Он жалеет Лору. Бег близится к концу. Аньес слышит дыхание сестры чуть ли не в затылок и чувствует, что проигрывает.

Чувство усталости чем дальше, тем сильнее. У нее уже нет ни малейшего желания продолжать бег. Она же не участница соревнования. Ей никогда не хотелось соревноваться. Она не выбирала сестру. Она не хотела быть для нее ни образцом, ни соперницей. Сестра в жизни Аньес такая же случайность, как форма ее ушей. Она не выбирала себе ни сестру, ни форму ушей, но должна всю жизнь тащить за собой бессмыслицу случайности.

Когда она была маленькой, отец учил ее играть в шахматы. Ее внимание привлек один ход, который на профессиональном языке называется рокировкой: в течение одного хода игрок переставляет две фигуры; ладью ставит рядом с клеткой короля, а короля переносит через ладью и опускает рядом с ней. Этот ход нравился ей: неприятель сосредоточивает все усилия, чтобы

нанести удар по королю, а король вдруг исчезает из виду; он переселяется. Она всю жизнь мечтала о таком ходе, и чем сильнее становилась ее усталость, тем больше она мечтала о нем.

8

С тех пор как умер отец, оставив ей деньги в швейцарском банке, Аньес два–три раза в год ездила в Альпы, всегда в один и тот же отель, и старалась представить себе, что переедет в эти края навсегда; смогла бы она жить без Поля и без Брижит? Откуда ей это знать? Трехдневное одиночество, в котором она привыкла пребывать в отеле, такое «одиночество на пробу», научило ее немногому. Слово «уехать!» звучало у нее в голове прекраснейшим искушением. Но если бы она действительно уехала, не пожалела бы она об этом сразу же? Да, правда, она мечтала об одиночестве, но при этом у нее были муж и дочь, и она беспокоилась о них. Она требовала бы вестей от них, ей хотелось бы знать, все ли у них в порядке. Но можно ли жить одной, вдали от них и одновременно все о них знать? И как бы она устроила свою новую жизнь? Искала бы другую работу? Это было бы непросто. Ничего бы не делала? Что ж, заманчиво, но не стала бы она вдруг похожа на пенсионерку? Когда она обо всем

этом думала, ее план «уехать» представлялся ей все более искусственным, нарочитым, неосуществимым, подобным явной утопии, которой обманывается тот, кто в глубине души знает, что он беспомощен и ни на что не решится.

А потом в один прекрасный день пришло решение извне, сколь абсолютно неожиданное, столь и самое что ни на есть обыкновенное. Ее работодатель основывал филиал в Берне, а поскольку всем было известно, что она владеет немецким так же свободно, как и французским, ей предложили руководить там исследованиями. Знали, что она замужем, и потому не слишком рассчитывали на ее согласие; она удивила их, сказав «да» без малейшего колебания; удивила она и самое себя: это спонтанное «да» доказывало, что ее мечта была не комедией, которую она разыгрывала перед самой собой, кокетничая и даже не веря в нее, а чем–то настоящим и серьезным.

Эта мечта жадно ухватилась за возможность перестать быть просто романтической фантазией и стала частью чего–то абсолютно прозаического: средством продвижения по службе. Приняв предложение, Аньес действовала как любая честолюбивая женщина, так что истинные мотивы ее решения остались для всех неразгаданной

тайной. А для нее внезапно все стало ясно; уже незачем было ставить опыты, репетировать и пытаться вообразить себе, «как это было бы, если бы…». То, о чем она мечтала, вдруг нежданно свалилось на нее, и она была потрясена, что принимает это как однозначную и ничем не омраченную радость.

Радость эта была такой бурной, что в ней проснулись стыд и чувство вины. Она не нашла в себе смелости сказать Полю о своем решении. Поэтому еще раз поехала в свой отель в Альпы. (В следующий раз у нее уже будет своя квартира: то ли в пригороде Берна, то ли где–то поблизости в горах.) За эти два дня она хотела обдумать, в какой форме преподнести свое решение Брижит и Полю, дабы заставить их поверить, что она честолюбивая и эмансипированная женщина, захваченная научной работой и своим успехом, хотя до сих пор никогда такой не была.

9

Уже стемнело; Аньес с зажженными фарами пересекла границу Швейцарии и оказалась на французской автостраде, всегда нагонявшей на нее страх; дисциплинированные швейцарцы придерживались предписаний, тогда как французы, быстро вертящие головой из стороны в

сторону, откровенно выражали свое возмущение теми, кто хочет отказать людям в их праве на скорость, и превращали езду по шоссе в оргиастическое торжество прав человека.

Почувствовав голод, она стала всматриваться, нет ли где по пути какого–нибудь ресторана или мотеля, чтобы можно было перекусить. С левой стороны со страшным шумом ее перегнали три огромных мотоцикла; свет прожекторов выхватывал из темноты мотоциклистов в одеянии, подобном скафандру астронавтов и сообщавшем им вид инопланетных, нечеловеческих существ.

Между тем над нашим столом склонился официант, чтобы унести пустые тарелки после закуски, а я как раз рассказывал Авенариусу:

— Именно в тот день, когда я принялся за третью часть своего романа, по радио я услышал сообщение, которое не в силах забыть. Какая–то девушка вышла ночью на шоссе и села спиной к движению транспорта. Она сидела, уткнувшись головой в колени, и ждала смерти. Водитель первой машины в последний миг вывернул руль и погиб с женой и двумя детьми. Вторая машина разбилась в кювете. И за второй — третья. А девушка осталась цела и невредима. Она поднялась и пошла прочь, и никто никогда так и не узнал,

кто она была.

Авенариус сказал:

— Какие мотивы, по–твоему, могут побудить юную девушку усесться ночью на шоссе и мечтать быть раздавленной машиной?

— Не знаю, — сказал я. — Но я могу держать пари, что мотивы были несоразмерно ничтожны. Точнее говоря, видимые со стороны, они нам бы казались ничтожными и совершенно неразумными.

— Почему? — спросил Авенариус. Я пожал плечами:

— Я не способен представить себе для подобного чудовищного самоубийства никакого особого основания, каким могла бы стать, к примеру, неизлечимая болезнь или смерть самого близкого человека. В таком случае никто не избрал бы столь страшного конца, при котором гибнут и другие люди! Только основание, лишенное смысла, может привести к ужасу столь бессмысленному. Во всех языках, восходящих к латыни, слово «основание» (ratio, raison, reason) означает прежде всего то, что продиктовано разумом. Так что основание всегда воспринимается как нечто рациональное. Основание, рациональность которого не явлена, представляется неспособным

стать причиной какого–либо следствия. Но по–немецки основание — Grand, слово, которое не имеет ничего общего с латинским ratio и первоначально означает «почва», «грунт», а потом уж «основание». С точки зрения латинского ratio поведение сидящей на шоссе девушки кажется абсурдным, несоразмерным, лишенным смысла, но все же имеющим свое основание, то есть свою почву, свой Grand. В глубинах каждого из нас вписано такое основание, такой Grand, являющийся постоянной причиной наших поступков, или же почвой, из которой произрастает наша судьба. Я пытаюсь постичь Grand, скрытый на дне каждого из моих персонажей, и я все больше убеждаюсь, что он носит характер метафоры.

— Твоя мысль ускользает от меня, — сказал Авенариус.

— Жаль. Это самая важная мысль, которая когда–либо осеняла меня.

Тут подошел официант с уткой. Она чудесно благоухала и заставила нас забыть о предыдущем разговоре.

Лишь минуту спустя Авенариус нарушил молчание:

— Кстати, о чем ты сейчас пишешь?

— Этого не расскажешь.

— Жаль.

— Совсем не жаль. Это преимущество. Новое время набрасывается на все, что когда–либо было написано, чтобы превратить это в фильмы, телевизионные передачи или мультики. Поэтому самое существенное в романе как раз то, чего нельзя сказать иначе чем романом, в любой адаптации остается лишь несущественное. Если сумасшедший, который еще пишет сегодня, хочет уберечь свои романы, он должен писать их так, чтобы их нельзя было адаптировать, иными словами, чтобы их нельзя было пересказать.

Он не согласился:

— «Три мушкетера» Александра Дюма я могу тебе рассказать с превеликим удовольствием и, если попросишь, от начала до конца!

— Я, так же как и ты, люблю Александра Дюма, — сказал я. — Однако, к сожалению, почти все романы, когда–либо написанные, слишком подчинены правилам единства действия. Тем самым я хочу сказать, что их основа — единая цепь поступков и событий, причинно связанных. Эти романы подобны узкой улочке, по которой кнутом прогоняют персонажей. Драматическое напряжение — истинное проклятие романа, поскольку оно превращает все, даже самые пре-

красные страницы, даже самые неожиданные сцены и наблюдения в простой этап на пути к заключительной развязке, в которой сосредоточен смысл всего предыдущего. Роман сгорает в огне собственного напряжения, как пучок соломы.

— Слушая тебя, опасаюсь, — робко заметил профессор Авенариус, — как бы твой роман не был скучен.

— Разве все, что не есть безумный бег за конечной развязкой, скука? Когда ты наслаждаешься этим прелестным окорочком, разве ты скучаешь? Торопишься к цели? Напротив, ты хочешь, чтобы утка входила в тебя как можно медленнее и чтобы ее вкус никогда не кончался. Роман должен походить не на велогонки, а на пиршество со множеством блюд. Я жду не дождусь шестой части. В роман войдет совершенно новый персонаж. А в конце части уйдет так же, как и пришел, не оставив по себе ни следа. Не став ни причиной, ни следствием чего–либо. И именно это мне нравится. Шестая часть будет романом в романе и самой грустной эротической историей, какую я когда–либо написал. И тебе станет от нее грустно.

Авенариус растерянно помолчал, а потом мягко спросил меня:

— И как будет называться твой роман?

— «Невыносимая легкость бытия».

— Но это название, по–моему, у кого–то уже было.

— У меня! Но тогда я ошибся. Такое название должно было быть у романа, который я пишу сейчас. Потом мы замолчали, смакуя вино и утку. Не переставая жевать, Авенариус сказал:

— Мне кажется, ты слишком много работаешь. Подумай о своем здоровье.

Я прекрасно знал, куда Авенариус клонит, но делал вид, что ни о чем не догадываюсь, и молча наслаждался вином.

10

Спустя долгое время Авенариус повторил: — Мне кажется, ты слишком много работаешь. Подумай о своем здоровье.

Я сказал:

— Я думаю о своем здоровье. Я регулярно упражняюсь с гантелями.

— Опасно, Тебя может хватить удар.

— Именно этого я и опасаюсь, — сказал я, вспомнив о Роберте Музиле.

— Тебе нужен бег, вот что. Ночной бег. Я кое–что тебе покажу, — сказал он таинственно и расстегнул пиджак. Вокруг его груди и на могучем животе была укреплена странная система рем-

ней, которая отдаленно напоминала лошадиную упряжь. Справа внизу на поясе был ремешок, на котором висел огромный, устрашающий кухонный нож.

Я похвалил его снаряжение, но, стремясь отдалить разговор на хорошо известную мне тему, завел речь о том единственном, что было для меня важно и что я хотел услышать от него:

— Когда ты увидел Лору в метро, она узнала тебя, а ты узнал ее.

— Да, — сказал Авенариус.

— Меня интересует, откуда вы знали друг друга.

— Тебя интересуют глупости, а вещи серьезные наводят на тебя тоску, — сказал он с явным разочарованием и снова застегнул пиджак. — Ты точно старая консьержка.

Я пожал плечами.

Он продолжал:

— В этом вовсе нет ничего интересного. Прежде чем я вручил стопроцентному ослу диплом, на улицах появилась его фотография. Я ждал в холле радио, чтобы увидеть его воочию: когда он вышел из лифта, к нему подбежала женщина и поцеловала его. Затем я наблюдал за ними все чаще, и не раз мой взгляд встречался с ее, так что

мое лицо, вероятно, было ей знакомо, хотя она и не знала, кто я.

— Она тебе нравилась? Авенариус понизил голос:

— Признаюсь тебе, не будь ее, возможно, я никогда бы и не осуществил своего плана с дипломом. У меня таких планов тысячи, и большинство из них так и остается в пределах мечты.

— Да, я знаю, — подтвердил я.

— Но когда мужчину заинтересует женщина, он делает все, чтобы войти — пусть косвенно, пусть в обход — в контакт с ней, чтобы хоть издали приобщиться к ее миру и расшевелить его.

— Значит, Бернар стал стопроцентным ослом потому, что тебе нравилась Лора.

— Возможно, ты прав, — сказал Авенариус задумчиво и затем добавил: — В этой женщине есть нечто, что обрекает ее стать жертвой. Именно это меня в ней и притягивало. Я пришел в восторг, увидев ее в руках двух пьяных, вонючих клошаров! Незабываемые минуты!

— Да, до этого момента мне твоя история известна. Но хотелось бы знать, что было дальше.

— У нее совершенно необыкновенная задница, — продолжал Авенариус, не обращая внимания на мой вопрос. — Когда она ходила в

школу, одноклассники, несомненно, щипали ее за ягодицы. Я мысленно слышу, как всякий раз она визжит своим высоким сопрано. Уже один этот звук был сладким обещанием ее будущих наслаждений.

— Да, поговорим о них. Расскажи мне, что было дальше, когда ты вывел ее из метро, точно спаситель–кудесник.

Авенариус делал вид, что не слышит меня.

— Эстет сказал бы, что ее задница слишком объемиста и низковато посажена, и это тем более обременительно, что душа ее устремлена ввысь. Но именно в этом противоречии для меня сконцентрирована человеческая участь: голова полна грез, а зад, как железный якорь, держит нас у самой земли.

Последние слова Авенариуса неведомо почему прозвучали меланхолично, возможно, потому, что наши тарелки были пусты и от утки не осталось следа. И вновь над нами склонился официант, забирая пустые тарелки. Авенариус поднял к нему голову:

— Нет ли у вас клочка бумаги? Официант подал ему счет. Авенариус вынул ручку и изобразил на листочке такой рисунок: Потом сказал:

— Вот это Лора. Голова, полная грез, устремлена

к небу. А тело притянуто к земле: ее задница и ее груди, тоже довольно тяжелые, обращены книзу.

— Это любопытно, — сказал я и рядом с рисунком Авенариуса изобразил свой:

— Кто это? — спросил Авенариус.

— Ее сестра Аньес: тело возносится, как пламя. А голова постоянно опущена: скептическая голова, склоненная к земле.

— Предпочитаю Лору, — твердо сказал Авенариус и добавил: — Но более всего предпочитаю ночной бег. Тебе нравится церковь Сен–Жермен–де–Пре?

Я кивнул.

— Но притом ты никогда по–настоящему не видел ее.

— Не понимаю тебя, — сказал я.

— Недавно я шел по рю де Рэн к бульвару и посчитал, сколько раз мне удается окинуть взглядом эту церковь и не быть при этом сбитым торопливым прохожим или раздавленным машиной. Насчитал я семь очень беглых взглядов, которые стоили мне синяка на левой руке: в меня въехал локтем нетерпеливый юноша. Восьмой взгляд был мне дарован, когда я встал прямо перед входом в храм и поднял голову кверху. Я видел лишь фасад, но снизу, в очень деформированном виде.

От этих беглых, искажающих взглядов в моем сознании сложился какой–то приблизительный знак, имеющий с храмом не больше общего, чем Лора с моим рисунком, составленным из двух стрелок. Храм Сен–Жермен–де–Пре исчез, исчезли и все церкви во всех городах, подобно луне в час ее затмения. Машины, запрудившие шоссе, уменьшили тротуары, на которых толпятся пешеходы. Глядя друг на друга, они видят на заднем плане машины; глядя на противоположный дом, они видят на переднем плане машины; не существует ни одного угла зрения, при котором бы сзади, впереди или с краю не было бы видно автомобиля. Их вездесущий шум разъедает, как кислота, каждый миг созерцания. Машины явились причиной того, что былая красота городов стала невидимой. Я не принадлежу к числу идиотов–моралистов, возмущающихся тем, что на дорогах каждый год погибает десять тысяч человек. По крайней мере, так становится меньше водителей. Но я протестую против того, что машины затмевают соборы.

Профессор Авенариус помолчал, а потом сказал: — Теперь мне хочется немножко сыру.

11

Сыры на десерт позволили мне постепенно

забыть о храме, а вино рождало во мне чувственный образ двух стоящих друг на друге стрелок.

— Я уверен, что ты проводил даму домой и она пригласила тебя к себе. Она сказала тебе, что она самая несчастная женщина на свете. Ее тело при этом, истаивая от твоих прикосновений, было беззащитным и не способным удержать ни слез, ни мочи.

— Ни слез, ни мочи! — воскликнул Авенариус. — Великолепная картина!

— А потом ты овладел ею, а она смотрела тебе в лицо, вертела головой и говорила: «Я вас не люблю! Я вас не люблю!»

— То, что ты говоришь, дико возбуждает, — сказал Авенариус, — но о ком это ты?

— О Лоре!

Он прервал меня:

— Тебе позарез нужно упражняться. Ночной бег — это единственная вещь, которая может отвлечь тебя от эротических фантазий.

— Я не так снаряжен, как ты, — сказал я, намекая на его упряжь. — Ты же прекрасно знаешь, что без подходящего снаряжения нельзя пускаться в такие дела.

— Будь спокоен. Снаряжение не главное. Я тоже сперва бегал без него. К этой, — он коснулся

груди, — изощренности я пришел только через много лет, и привела меня к ней не столько практическая необходимость, сколько чисто эстетическая и почти бесплодная мечта о совершенстве. Ты пока можешь спокойно держать нож в кармане. Главное — соблюдать такое правило: у первой машины правую переднюю, у второй — левую переднюю, у третьей — правую заднюю, у четвертой…

— Левую заднюю…

— Ошибка! — засмеялся Авенариус, точно зловредный учитель, радующийся неправильному ответу ученика: — У четвертой все четыре!

Мы немного посмеялись, и Авенариус продолжал:

— В последнее время ты увлекся математикой, поэтому можешь оценить эту геометрическую симметричность расположения. Я настаиваю на ней, как на безусловном правиле, которое имеет двойное значение: с одной стороны, оно наведет на ложный след полицию, которая обнаружит в странном расположении проколотых шин какой–то смысл, послание, код и тщетно будет пытаться его расшифровать; но с другой стороны — выполнение этого геометрического рисунка внесет в нашу деструктивную акцию принцип

математической красоты, которая решительно отличит нас от вандалов, что царапают машину гвоздем или гадят на ее крышу. Я разработал свою методу до мельчайших подробностей много лет назад в Германии, когда еще верил в возможность организованной борьбы с Дьяволиадой. Я посещал общество экологов. Это те, что главное зло Дьяволиа–ды видят в том, что она уничтожает природу. Ну что ж, можно и так ее воспринимать. Я симпатизировал им. Я разрабатывал план по созданию команд, которые бы ночью прокалывали шины. Если бы этот план удался, ручаюсь тебе, машины прекратили бы свое существование. Пять команд по три человека в течение месяца свели бы на нет пользование машинами в городе средней величины! Я докладывал им о своем плане во всех подробностях, они в совершенстве могли бы овладеть этой отличной подрывной акцией, действенной и одновременно недосягаемой для полиции. Но эти идиоты сочли меня провокатором! Освистали меня, грозились избить! Две недели спустя они выехали на огромных мотоциклах и на маленьких автомобилях на манифестацию протеста куда–то в лес, где должны были строить атомную электростанцию. Там они уничтожили тьму деревьев и навоняли бензином

так, что смрад стоял еще четыре месяца. Тогда я понял, что они давно сами стали частью Дьяволиады, и это была моя последняя попытка изменить мир. Нынче я пользуюсь старой революционной практикой лишь для собственного, совершенно эгоистического удовольствия. Бежать по ночным улицам и прокалывать шины — несказанная радость для души и великолепный тренинг для тела. Еще раз настоятельно рекомендую тебе. Будешь лучше спать. И не будешь думать о Лоре.

— Скажи мне одну вещь. Твоя жена верит, что ты уходишь ночью прокалывать шины? Не подозревает, что это лишь предлог прикрыть ночные авантюры?

— От тебя ускользает одна деталь. Я храплю. Тем самым я добился права спать в самой дальней комнате. Я абсолютный властелин своих ночей.

Он улыбался, и я было решил принять его приглашение и пообещать пойти с ним: с одной стороны, мне его предприятие казалось похвальным, с другой стороны — я любил своего приятеля и хотел доставить ему удовольствие. Но прежде чем я успел сказать ему об этом, он своим громким голосом попросил у официанта счет, так что нить разговора оборвалась, и нас захватила иная тема.

12

Ни один из ресторанов на автостраде не привлекал ее, но голод и усталость брали свое. Было уже очень поздно, когда она притормозила у какого–то мотеля.

В обеденном зале не было никого, кроме женщины с шестилетним мальчиком, который то сидел за столом, то носился по залу и без устали визжал.

Она села и, заказав себе самый простой ужин, стала разглядывать фигурку, стоявшую посреди стола. То был маленький каучуковый человечек, рекламирующий какое–то изделие. У человечка было большое тело, короткие ноги и чудовищный зеленый нос, достигавший пупка. Очень забавная вещица, подумала она и, взяв ее в руки, продолжала рассматривать.

Ей представилось, что кто–то вдруг вздумал оживить человечка. Наделенный душой, он, вероятно, испытывал бы ужасную боль, если бы стали крутить его резиновый нос, как это делает сейчас Аньес. В нем очень скоро возник бы страх перед людьми, а поскольку каждому хотелось бы поиграть с этим смешным носом, жизнь человечка превратилась бы в сплошной ужас и страдание.

Чувствовал бы он благоговейный трепет перед

своим Творцом? Благодарил бы Его за жизнь? Молился бы Ему? Однажды подставили бы ему зеркало, и с той минуты он только бы и думал о том, как прикрыть лицо руками: до того он стыдился бы его. Но прикрыть лицо руками он не мог бы, потому что волею Творца, его создавшего, руки у него не двигаются.

Странно предполагать, говорила себе Аньес, что человечек стыдился бы. Разве он виноват в том, что у него зеленый нос? Может, скорее он пожал бы равнодушно плечами? Нет, не пожал бы плечами, а стыдился бы. Когда человек впервые постигает свое телесное «я», первичное и главное, что он испытывает, — не равнодушие и не гнев, а стыд: элементарный стыд, который будет сопровождать его всю жизнь, пусть более сильный или более легкий, притупленный временем.

Когда ей было шестнадцать, она гостила у знакомых своих родителей; посреди ночи у нее началась менструация, и она испачкала кровью простыню. Когда рано утром она обнаружила это, ее охватила паника. Она украдкой шмыгнула в ванную за мылом и потом долго терла простыню мочалкой; от этого не только увеличилось пятно, но испачкался и матрас; ей было мучительно стыдно.

Почему ей было так стыдно? Разве не страдают все женщины месячными кровотечениями? Разве она была в них виновата? Нет, не была. Но вина со стыдом не имеет ничего общего. Если бы она, предположим, разлила чернила и испортила бы людям, у которых гостила, ковер или скатерть, было бы неловко, неприятно, но стыда она не ощущала бы.

Основой стыда является не какая–то промашка, которую мы допустили, а позор, унижение, испытываемое от того, что мы должны быть такими, какие мы есть, притом не по нашей воле, и невыносимое ощущение, что это унижение видимо со всех сторон.

Конечно, надо ли удивляться тому, что человечку с длинным зеленым носом стыдно за свое лицо. Но как ей понять отца? Он же был красивым!

Да, был. Но что такое красота с точки зрения математики? Красота означает, что данный экземпляр предельно подобен исходному прототипу. Представим себе, что в компьютер были заложены максимальный и минимальный размеры всех частей тела: нос длиной от трех до семи сантиметров, лоб высотой от трех до восьми сантиметров и так далее. Уродливому человеку достается лоб в восемь сантиметров, а нос

всего в три. Уродливость: поэтический каприз случайности. У красивого человека игра случайностей определила среднюю величину размеров. Красота: прозаическая усредненность размеров. В красоте, еще больше, чем в уродливости, выявляется безликость, неиндивидуальность лица. Красивый человек видит в своем лице изначальный технический план таким, каким его нарисовал проектант прототипа, и с трудом может поверить, что видимое им есть некое оригинальное «я». Поэтому он стыдится так же, как и человечек с длинным зеленым носом.

Когда отец умирал, она сидела на краю его кровати. Прежде чем он вошел в конечную стадию агонии, он сказал ей: «Не смотри на меня», и это были последние слова, которые она услышала из его уст, его последнее послание к ней.

Она послушалась его; склонила голову, закрыла глаза и не выпуская держала его руку; она позволила ему медленно и незримо уходить в мир, где нет лиц.

13

Она расплатилась и направилась к машине. Навстречу ей выскочил мальчик, что визжал в ресторане. Он присел перед ней, держа руки так, будто в них автомат, и изображал звуки

стрельбы. Так–так–так! — расстреливал он ее воображаемыми пулями.

Она остановилась и, глядя на него сверху, сказала спокойным голосом:

— Ты идиот?

Перестав стрелять, он посмотрел на нее большими детскими глазами. Она повторила:

— Да, ты явно идиот.

Лицо мальчика исказилось в плаксивой гримасе:

— Я скажу маме!

— Ну, беги! Беги, пожалуйся ей! — сказала Аньес. Она села в машину и быстро тронулась.

Хорошо, что она не встретилась с матерью мальчика. Она представила себе, как бы та, защищая обиженного ребенка, кричала на нее, при этом быстро поводя из стороны в сторону головой и поднимая плечи и брови. Разумеется, права ребенка стоят над всеми остальными правами. Почему, собственно, их мать предпочла Лору Аньес, когда вражеский генерал разрешил ей спасти из трех членов семьи только одного? Ответ был совершенно ясен: она выбрала Лору, потому что та была младшей. В иерархии возрастов на высшем месте грудной младенец, потом ребенок, потом юноша и уже потом только взрослый че-

ловек. Старый человек находится совсем у самой земли, у подножия этой пирамиды ценностей. А мертвый? Мертвый под землей. Стало быть, еще ниже, чем старый человек. За стариком пока еще признают все права человека. Мертвый, напротив, теряет их с первой же секунды смерти. Ни один закон не защищает его от клеветы, его личная жизнь перестает быть личной жизнью; ни письма, что писали ему возлюбленные, ни альбом, который ему завещала матушка, ничто, ничто, ничто уже не принадлежит ему.

В последние годы жизни отец постепенно все свое уничтожал: после него не осталось ни костюмов в шкафу, ни одной рукописи, никаких заметок к лекциям, никаких писем. Он заметал за собой все следы, но никто этого не замечал. Только с этими фотографиями они застигли его врасплох. И все–таки не помешали ему уничтожить их. Ни одной после него не осталось.

Лора восставала против этого. Она боролась за права живых против незаконных притязаний мертвых. Ибо лицо, которое завтра исчезнет в земле или в огне, принадлежит не будущему мертвому, а исключительно живым, кто голоден и испытывает потребность поедать мертвых, их письма, их деньги, их фотографии, их старые

привязанности, их тайны.

Но отец ускользнул от них всех, говорила себе Аньес.

Думая о нем, она улыбалась. И внезапно ей пришла мысль, что отец был ее единственной любовью.

Да, это было совершенно ясно: отец был ее единственной любовью.

В этот момент мимо Аньес снова промчались на дикой скорости огромные мотоциклы; свет ее фар выхватывал из темноты фигуры, согнутые над рулем и заряженные агрессивностью, сотрясавшей ночь. Это был именно тот мир, от которого Аньес хотела уйти, уйти навсегда, и потому она решила на первом же перекрестке свернуть с автострады на какую–нибудь менее оживленную дорогу.

14

Оказавшись на парижской авеню, полной шума и огней, мы направились к «мерседесу» Авенариуса, припаркованному несколькими улицами далее. Мы снова думали о девушке, которая сидела на ночном шоссе, обхватив голову руками, и ждала удара машины.

Я сказал:

— Я пытался тебе объяснить, что в каждом из нас вписано основание наших поступков, то, что

немцы называют Grand; код, содержащий квинтэссенцию нашей судьбы; этот код, на мой взгляд, носит характер метафоры. Без поэтического образа невозможно понять эту девушку, о которой мы говорим. Предположим: она идет по жизни, как по долине; она поминутно кого–то встречает и заговаривает с ним; но люди недоуменно смотрят на нее и проходят мимо, потому что ее голос столь слаб, что никто не слышит его. Я ее такой себе представляю и уверен, что и она себя такой видит: женщиной, идущей по долине среди людей, которые не слышат ее. Или еще пример: она в переполненной приемной у зубного врача; в приемную входит новый пациент, идет к креслу, на котором сидит она, и садится прямо к ней на колени; он сделал это не умышленно, а потому, что видел свободное место; она защищается, отмахивается руками, кричит: «Господин! Вы что, не видите? Место занято! Я здесь сижу!» — но мужчина не слышит ее, он, удобно усевшись на ее коленях, весело болтает с другим ожидающим приема пациентом. Это два образа, две метафоры, которые определяют ее, которые дают мне возможность понять ее. В ее тяге к самоубийству не было ничего, что пришло бы извне. Зароненная в почву ее существа, она медленно взрастала,

распускаясь черным цветком.

— Допустим, — сказал Авенариус. — Однако все же объясни мне, почему она решила покончить с жизнью именно в этот день, а не в другой.

— А как ты объяснишь, что цветок распускается именно в этот день, а не в другой? Настает его время. Тяга к самоуничтожению росла в ней медленно, и однажды она уже не в силах была справиться с нею. Обиды, которые ей наносили, были, думаю, совсем маленькими: люди не отвечали на ее приветствие; никто не улыбался ей; она стояла в очереди на почте, а какая–то толстуха, оттолкнув ее, пролезла вперед; она служила продавщицей в универмаге, и заведующий обвинил ее в плохом обращении с покупателями. Тысячу раз хотелось ей воспротивиться и закричать, но она ни разу на это не отважилась: у нее был слабый голос, который в минуту волнения и вовсе срывался. Будучи слабее других, она постоянно подвергалась унижениям. Когда на человека обрушивается беда, он склонен, оттолкнув ее, свалить на других. Это называется спором, ссорой или местью. Но у слабого человека нет сил оттолкнуть от себя беду, обрушившуюся на него. Его собственная слабость оскорбляет и унижает его, и он перед нею абсолютно беззащитен. Ему

не остается ничего другого, как уничтожить свою слабость вместе с самим собой. Так родилась ее жажда собственной смерти.

Авенариус огляделся в поисках своего «мерседеса» и обнаружил, что ищет его не на той улице. Мы повернули обратно.

Я продолжал:

— Смерть, которой она жаждала, предполагала не исчезновение, а отрицание. Самоотрицание. Она не была довольна ни единым днем своей жизни, ни единым сказанным ею словом. Она несла себя по жизни как нечто уродливое и ненавистное, от чего нельзя избавиться. Поэтому она страстно мечтала отбросить себя, как отбрасывают помятую бумагу, как отбрасывают гнилое яблоко. Она мечтала отбросить себя, словно та, кто отбрасывает, и та, кого отбрасывают, были два разных лица. Сперва она думала выброситься из окна. Но эта идея была смешной, ибо она жила на втором этаже, а магазин, где работала, был на первом, да и то без единого окна. А она мечтала умереть так, чтобы на нее обрушился кулак и раздался звук, какой бывает, когда раздавишь надкрылья жука. Это была едва ли не физическая тяга быть раздавленным, подобно тому, как стремишься сильно прижать ладонью то место, что

у тебя болит.

Мы дошли до роскошного «мерседеса» Авенариуса и остановились.

Авенариус сказал:

— Такой, какой ты описываешь ее, она едва ли вызывает симпатию…

— Я знаю, что ты хочешь сказать. Если бы она не решилась, кроме себя, обречь гибели и других. Но и это выражено в тех двух метафорах, которыми я представил ее тебе. Когда она обращалась к кому–то, никто не слышал ее. Она теряла мир. Когда я говорю «мир», я подразумеваю под этим часть бытия, которая отвечает на наш зов (пусть даже едва слышимым отголоском) и чей зов мы слышим сами. Для нее мир становился немым и переставал быть ее миром. Она была совершенно замкнута в себе самой и в своем страдании. Мог ли вырвать ее из этой замкнутости хотя бы вид чужих страданий? Нет. Потому что страдания других людей происходили в мире, потерянном ею, переставшем быть ее. Пусть планета Марс не что иное, как одно бесконечное страдание, где и камень вопиет от боли, — нас это не может растрогать, поскольку Марс не относится к нашему миру. Человек, оказавшийся вне мира, нечувствителен к боли мира. Единственное событие,

что ненадолго вырвало ее из страдания, была болезнь и смерть ее песика. Соседка возмущалась: людям не сочувствует, а над собакой плачет. Она плакала над собакой, потому что собака была частью ее мира, а отнюдь не соседка; собака отзывалась на ее голос, а люди — нет.

Мы помолчали, думая о несчастной девушке, а потом Авенариус открыл дверцу машины и кивнул мне:

— Входи! Возьму тебя с собой! Дам тебе кроссовки и нож!

Я знал, что если я не пойду с ним прокалывать шины, то он не найдет никого другого и останется в своем чудачестве одинок, как в изгнании. Мне ужасно хотелось пойти с ним, но было лень, я чувствовал, как откуда–то издалека приближается ко мне сон. И бегать по улицам после полуночи представлялось бессмысленной жертвой.

— Пойду домой. Пройдусь пешком, — сказал я и подал ему руку.

Он отъехал. Я смотрел вслед «мерседесу», испытывая угрызения совести, что предал друга. Затем я направился к дому, и мысли мои вскоре вернулись к девушке, у которой жажда самоуничтожения распускалась черным цветком.

Я подумал: и однажды, когда кончился рабочий

день, она не пошла домой, а подалась прочь из города. Она ничего не замечала вокруг, не знала, лето сейчас, осень или зима, идет она берегом моря или вдоль фабрики; она же давно не жила в мире; единственным ее миром была ее душа.

15

Она ничего не замечала вокруг, не знала, лето сейчас, осень или зима, идет она берегом моря или вдоль фабрики, и если она шла, то шла лишь потому, что душа, полная тревоги, жаждет движения, не в силах оставаться на месте, ибо вне движения начинает невыносимо болеть. Это так же, как при сильной зубной боли: что–то вынуждает вас ходить из угла в угол по комнате; в этом нет никакого разумного довода, потому что движение не может уменьшить боль, но невесть почему больной зуб умоляет вас двигаться.

Итак, девушка шла и очутилась на большой автостраде, по которой со свистом проносились машины, шла она по обочине, от одной каменной тумбы до другой, и, не обращая ни на что внимания, смотрела лишь в свою душу, в которой видела все те же несколько образов унижения. Она не могла оторвать от них глаз; лишь по временам, когда мимо с ревом проносился мотоцикл и у нее от этого рева чуть не лопались барабанные

перепонки, она осознавала, что внешний мир существует; но этот мир для нее не имел никакого значения, это было пустое пространство, пригодное лишь к тому, чтобы идти и перемещать с места на место свою больную душу в надежде, что она будет меньше болеть.

Она уже давно собиралась покончить с собой под колесами машины. Но машины, мчавшиеся на огромной скорости по дороге, вселяли в нее страх, они были в тысячу раз сильнее ее; она и представить себе не могла, откуда у нее возьмется смелость броситься под колеса. Если только броситься на них, навстречу им, но на это не было сил, как не было их и тогда, когда ей хотелось кричать на заведующего, в чем–то несправедливо ее упрекавшего.

Она вышла из города, когда чуть смеркалось, а теперь была ночь. У нее болели ноги, она знала, что далеко не уйти. В этот момент усталости она увидела на большом указателе направления освещенное слово «Дижон».

Она сразу забыла о своей усталости. Это слово как бы что–то напомнило ей. Она силилась поймать ускользающее воспоминание: то ли кто–то был из Дижона, то ли кто–то рассказывал ей о чем–то веселом, что происходило там. Она вдруг

вообразила себе, что в этом городе приятно жить и что люди там совсем не такие, как те, которых она знала до сих пор. Это было так, будто внезапно посреди пустыни раздалась танцевальная музыка. Будто внезапно на кладбище забил родник серебристой воды.

Да, она поедет в Дижон! Она стала «голосовать», но машины, ослепляя фарами, проносились мимо. Всякий раз повторялась одна и та же ситуация, из которой не было выхода: она обращается к кому–то, заговаривает с ним, просит о чем–то, зовет, но никто не слышит ее.

Так с полчаса она тщетно вытягивала руку: машины не останавливались. Освещенный город, веселый город Дижон, танцевальный оркестр посреди пустыни, снова проваливался в темноту. Мир снова отворачивался от нее, и она возвращалась в свою душу, вокруг которой, куда ни кинь глазом, была пустота.

Потом она дошла до места, где от автострады сворачивала дорога поуже. Она остановилась: нет, от машин на автостраде проку не будет: они и не раздавят ее, и не отвезут в Дижон. Она сошла с автострады и по извилистой дороге стала спускаться вниз.

Как жить в мире, с которым ты не согласна? Как жить с людьми, если ни их страдания, ни их радости не считаешь своими? Если знаешь, что ты чужая среди них?

Аньес едет по тихой дороге и отвечает себе: любовь или монастырь. Любовь или монастырь: два способа, как отринуть Божий компьютер, как увернуться от него.

Любовь: уже давно Аньес представляет себе такое испытание: вас спрашивают, хотели бы вы после смерти возродиться для новой жизни? Если вы любите по–настоящему, то согласитесь на это лишь при условии, что снова встретитесь со своим любимым. Жизнь для вас — ценность обусловленная, оправданная лишь тем, что дает вам возможность жить вашей любовью. Тот, кого вы любите, для вас больше, нежели Божье творение, больше, нежели жизнь. Это, конечно, кощунственная издевка над компьютером Творца, который считает себя вершиной всего сущего и смыслом бытия.

Но большинство людей не познали любви, а из тех, кто полагает, что познал ее, немногие прошли бы успешно испытание, придуманное Аньес; они бросились бы за обещанием новой жизни, даже не ставя себе никакого условия; жизнь они

предпочли бы любви и по доброй воле упали бы снова в паучьи тенета Творца.

Если же человеку не дано жить с любимым и подчинить все на свете любви, остается второй способ, как избежать Творца: уйти в монастырь. Аньес вспоминает фразу из «Пармской обители» Стендаля: «И se retira a la chartreuse de Parme». Он удалился в Пармскую обитель. До этого нигде в романе никакой обители не возникало, и все же эта единственная фраза на последней странице так значима, что по ней Стендаль озаглавил свой роман; ибо основной целью всех приключений Фабрицио дель Донго была обитель; место, отстраненное от мира и от людей.

В монастырь уходили когда–то люди, которые жили в разладе с миром и не разделяли с ним ни его страданий, ни радостей. Но наш век не признает за людьми права жить в разладе с миром, и потому монастыри, куда мог бы уйти Фабрицио, уже не встречаются. Уже нет места, отстраненного от мира и от людей. От такого места остались лишь воспоминания, идеал монастыря, мечта о монастыре. Обитель. Он удалился в Пармскую обитель. Призрак монастыря. В поисках этого призрака вот уже семь лет ездит Аньес в Швейцарию. Этой обители отстраненных от мира дорог.

Аньес вспомнила особые минуты, которые пережила сегодня после обеда, когда пошла побродить по округе. Она подошла к реке и легла в траву. Лежала там долго, испытывая ощущение, что поток вступает в нее и уносит из нее всю боль и грязь: ее «я». Особая, неповторимая минута: она забывала свое «я», она утрачивала свое «я», она освобождалась от своего «я»; и в этом было счастье.

В воспоминания об этой минуте вторгается мысль, неясная, ускользающая и все–таки столь важная, возможно, самая важная из всех, какие Аньес стремится поймать для себя словами:

Самое невыносимое в жизни — это не быть, а быть своим «я». Творец со своим компьютером выпустил в мир миллиарды «я» и их жизни. Но кроме этой уймы жизней можно представить себе какое–то более изначальное бытие, которое было здесь до того, как Творец начал творить, бытие, на которое он не имел и не имеет влияния. Когда она сегодня лежала в траве и в нее проникало монотонное пение реки, уносившей из нее ее «я», грязь ее «я», она сливалась с этим изначальным бытием, явленным в голосе уплывающего времени и в голубизне окоема; теперь она знает, что нет ничего прекраснее.

Дорога, по которой она едет, тиха, и над ней светят далекие, бесконечно далекие звезды. Аньес думает:

Жить — в этом нет никакого счастья. Жить: нести свое больное «я» по миру.

Но быть, быть — это счастье. Быть: обратиться в водоем, в каменный бассейн, в который, словно теплый дождь, ниспадает Вселенная.

17

Девушка шла еще долго, у нее болели ноги, она пошатывалась и наконец села на асфальт точно посередине правой половины дороги. Голову она втянула в плечи, носом уткнулась в колени, и согнутая спина обжигала ее сознанием, что она подставлена металлу, жести, удару. В ее стесненной, несчастной, хилой груди горело горькое пламя больного «я», не давая ей думать ни о чем другом, кроме как о себе самой. Она мечтала об ударе, который бы раздавил ее и затушил это пламя.

Услышав шум приближавшейся машины, она скорчилась еще больше, грохот сделался невыносим, но вместо ожидаемого удара ее настигла лишь сильная воздушная волна справа и чуть развернула ее сидячее тело. Слышен был скрип тормозов, затем страшный грохот столкновения;

с закрытыми глазами и прижатым к коленям лицом она ничего не видела и лишь изумилась тому, что она жива и сидит, как сидела до этого.

И снова она услыхала шум приближавшегося мотора; на сей раз воздушная волна сбила ее наземь, удар столкновения раздался где–то на очень близком расстоянии, и вслед за ним послышался крик, неописуемый, страшный крик, который подбросил ее с земли. Теперь она стояла посреди пустого шоссе; метрах в двухстах от нее взвивалось пламя, а из другого места, ближе к ней, из кювета без устали рвался к темному небу все тот же неописуемый, страшный крик.

Крик был таким упорным, таким страшным, что окружающий мир, мир, который она потеряла, стал реальным, цветным, ослепительным, шумным. Она стояла посреди дороги, раскинув руки, и вдруг показалась себе большой, мощной, сильной; мир, этот утраченный мир, который отказывался слышать ее, с криком возвращался к ней, и это было так прекрасно и так страшно, что ей и самой захотелось кричать, но она не смогла: голос был задушен в горле и воскресить его не удавалось.

Она оказалась в слепящем свете третьей машины. Она хотела отскочить, но не знала, в какую

сторону; она услышала скрип тормозов, машина проехала мимо, и раздался удар. Тогда крик, который был у нее в горле, наконец вырвался. Из кювета, все время из одного и того же места, неустанно доносился рев боли, и теперь она ему вторила.

Потом она повернулась и побежала прочь. Она бежала, громко крича, завороженная тем, что ее слабый голос способен издавать такой крик. Там, где дорога сходилась с автострадой, на столбе был телефон. Девушка подняла трубку: «Алло! Алло!» На другом конце наконец раздался голос. «Случилось несчастье!» Голос просил ее указать место, но она не знала, где она, и потому, повесив трубку, побежала назад в город, который покинула после обеда.

18

Еще несколькими часами раньше он внушал мне, что шины должны быть проколоты в строго установленном порядке: сперва передняя правая, потом передняя левая, затем задняя правая, затем все четыре колеса. Но это была лишь теория, которой он хотел ошеломить аудиторию экологов или своего чересчур доверчивого друга. В действительности же Авенариус действовал без какой–либо системы. Он бежал по улице и,

когда вздумается, заносил нож и всаживал его в ближайшую шину.

В ресторане он объяснял мне, что после каждого удара нож следует спрятать назад под пиджак, повесить его на ремень и лишь затем, освободив руки, бежать дальше. С одной стороны, так легче бежать, а с другой — из соображений безопасности: с какой стати подвергать себя риску быть застигнутым с ножом в руке? Акция прокола должна быть стремительной и краткой, все должно произойти в одну–две секунды, не долее.

Однако, к несчастью, чем большим догматиком был Авенариус в теории, тем небрежнее действовал он на практике, без всякой методы и с опасной склонностью делать только то, что ему по душе. Вот и сейчас в пустой улочке он проколол у одной машины две шины (вместо четырех), выпрямился и, сжимая нож в руке, вопреки всем правилам безопасности продолжал свой бег. Следующий автомобиль, к которому он направлялся, стоял на углу. На расстоянии четырех–пяти шагов он занес руку (опять же вопреки правилам: слишком рано!), и в эту же минуту у правого уха услышал крик. На него смотрела женщина, окаменевшая от ужаса. Несомненно, она вынырнула из–за угла именно в тот момент,

когда все внимание Авенариуса было нацелено на обретенную мишень у тротуара. Теперь они стояли друг против друга, а поскольку он тоже оцепенел от испуга, рука его оставалась недвижно поднятой вверх. Женщина, не в силах оторвать глаз от занесенного ножа, снова заорала. Только сейчас Авенариус опомнился и повесил нож на ремень под пиджак. Чтобы успокоить женщину, он улыбнулся и спросил:

— Сколько времени?

И тут, словно этот вопрос привел женщину в еще больший ужас, чем нож, она издала третий страшный крик.

Меж тем от шоссе подходили ночные пешеходы, и Авенариус допустил роковую ошибку. Вытащи он снова нож и начни им яростно размахивать, женщина бы опамятовалась от оцепенения и бросилась бы наутек, увлекая за собой всех случайных прохожих. Но он решил вести себя так, будто ничего не случилось, и повторил спокойным голосом:

— Не могли бы вы мне сказать, который сейчас час?

Увидев, что к ней приближаются люди, а Авенариус не собирается причинять ей никакого вреда, она вдруг издала четвертый дикий крик,

а потом принялась жаловаться всем, кто только мог слышать ее:

— Он замахнулся на меня ножом! Он хотел меня изнасиловать!

Жестом, выражавшим полнейшую невиновность, Авенариус развел руками:

— Я хотел только одного, — сказал он, — узнать, который час.

От маленькой группки, собравшейся вокруг, отделился человечек в форме полицейского. Поинтересовался, что происходит. Женщина повторила, что Авенариус хотел ее изнасиловать.

Маленький полицейский робко приблизился к Авенариусу, который во всей своей величественной высоте вытянул руку вперед и сказал могучим голосом:

— Я профессор Авенариус!

Эти слова и достойная манера, в какой они были высказаны, произвели на полицейского сильное впечатление; казалось, он предложит окружающим разойтись, а Авенариусу даст спокойно удалиться.

Однако женщина, как только улетучился страх, стала агрессивной:

— Да будь вы хоть профессором Капиллариусом, — кричала она, — вы угрожали мне

ножом!

Из дверей ближайшего дома вышел мужчина. Он шел странным шагом, точно сомнамбула, и остановился в тот момент, когда Авенариус объяснял твердым голосом:

— Я не сделал ничего, только спросил у этой дамы, который час.

Женщина, словно чувствуя, что Авенариус своим достоинством завоевывает симпатию окружающих, крикнула полицейскому:

— У него нож под пиджаком! Он спрятал его под пиджак! Огромный нож! Обыщите его.

Полицейский пожал плечами и сказал Авенариусу почти что извиняющимся тоном:

— Не были бы вы так любезны расстегнуть пиджак?

Авенариус не двигался. Но потом сообразил, что не может ослушаться. Расстегнув не спеша пиджак, он распахнул его так, что все могли увидеть замысловатую систему ремней, обхватывающих его грудь, и ужасающий кухонный нож, подвешенный на них.

Люди вокруг ахнули от изумления, а сомнамбулический мужчина меж тем приблизился к Авенариусу и сказал ему:

— Я адвокат. Если вам понадобится моя по-

мощь, вот моя визитка. Хочу сказать вам лишь одно. Вы совершенно не обязаны отвечать на вопросы. С самого начала следствия вы можете потребовать присутствия адвоката.

Авенариус принял визитку и сунул ее в карман. Полицейский схватил его за руку и повернулся к людям:

— Разойдись! Разойдись!

Авенариус не сопротивлялся. Он понял, что арестован. После того как все увидели огромный кухонный нож, подвешенный на его животе, уже никто не проявлял к нему ни малейшего признака симпатии. Он повернулся к мужчине, который назвал себя адвокатом и вручил ему свою визитку. Однако тот уже стал удаляться; не оглядываясь, он направился к одной из припаркованных машин и, подойдя, сунул в замок ключ. Авенариус еще увидел, как мужчина отошел от автомобиля и склонился к колесу.

В этот момент полицейский, сильно сжав Авенариусу руку, потащил его в сторону. Мужчина у автомобиля вздохнул: — О Боже! — и весь затрясся в рыданиях.

19

Всхлипывая, он взбежал наверх в квартиру и помчался к телефону. Набрал «такси». В трубке

зазвучал необыкновенно сладкий голос: «Такси, Париж. Пожалуйста, наберитесь терпения и ждите у телефона…», затем в трубке раздалась музыка, веселое пение женских голосов, барабанный бой; спустя долгое время музыка прекратилась, и снова сладкий голос попросил его подождать у телефона. Ему хотелось заорать, что он не в силах терпеливо ждать, потому что у него умирает жена, но он понимал, что нет никакого смысла кричать, поскольку голос, который с ним разговаривает, записан на кассету и его протесты не будут услышаны. Потом снова раздалась музыка, поющие женские голоса, покрикивания, барабанный бой, а спустя долгое время он наконец услыхал живой женский голос, о чем сразу же догадался по тому, что голос этот был уже не сладким, а весьма неприятным и нетерпеливым. Когда он сказал, что ему нужно такси, чтобы отвезти его за несколько сот километров от Парижа, голос мгновенно оборвал его отказом, а когда он попытался объяснить, что такси позарез ему необходимо, в его ухо уже снова ударила веселая музыка, барабанный бой, поющие женские голоса, а спустя долгое время сладкий голос с кассеты снова попросил его терпеливо подождать у телефона.

Он положил трубку и набрал номер своего ассистента. Но вместо ассистента на другом конце провода раздался его голос, записанный на автоответчик: шутливый, кокетливый голос, искаженный улыбкой: «Прекрасно, что наконец–то вы вспомнили обо мне. Вы даже не представляете, как я огорчен, что не могу поговорить с вами, однако оставьте мне ваш номер телефона, по возможности я с радостью позвоню вам…»

— Кретин, — сказал Поль и повесил трубку.

Почему Брижит нет дома? Почему так долго нет ее дома, говорил он себе в сотый раз, отправляясь в ее комнату посмотреть, не пришла ли она, хотя было совершенно исключено, чтобы он не расслышал ее шагов.

К кому еще можно обратиться? К Лоре? Она, конечно, с радостью даст машину, но станет настаивать на том, чтобы поехать с ним; а именно этого он и не хотел: Аньес разошлась с сестрой, и Поль не хотел идти наперекор ее воле.

И тут он вспомнил о Бернаре. Причины, по которым он перестал с ним общаться, показались ему вдруг до смешного мелкими. Он набрал его номер. Бернар был дома.

Поль попросил дать ему машину; Аньес попала в автокатастрофу; звонили из больницы.

— Я тотчас приеду, — сказал Бернар, и Поля обдала волна большой любви к старому другу. Его потянуло обнять его и поплакать у него на груди.

Теперь он радовался, что Брижит нет дома. Только бы она не приехала, и он мог бы поехать к Аньес один. Вдруг все исчезло, свояченица, дочь, весь мир, остались только он и Аньес; ему не хотелось, чтобы с ними был кто–то третий. Он был уверен, что Аньес умирает. Если бы ее состояние не было столь отчаянным, ему не звонили бы из провинциальной больницы среди ночи. Он думал теперь лишь о том, чтобы застать ее в живых. Чтобы еще поцеловать ее. Он был просто одержим желанием поцеловать ее. Он жаждал этого поцелуя, заключительного, последнего, каким он поймал бы, как сачком, ее лицо, которое быстро исчезнет, оставив ему по себе лишь воспоминания.

В ожидании Бернара он принялся наводить порядок на письменном столе и тут же поразился, как он может в такую минуту заниматься столь пустячным делом. Какое это имеет значение, убрано на столе или нет? И почему он только что на улице вручил свою визитку незнакомому человеку? Но он никак не мог остановиться:

складывал книги на одну сторону стола, комкал конверты от старых писем и бросал их в корзину. Он осознавал, что именно так ведет себя человек, когда случается беда: как сомнамбула. Инерция каждодневноести стремится удержать его в колее жизни.

Он посмотрел на часы. Из–за проколотых шин он потерял около получаса. Поторопись, поторопись, говорил он про себя Бернару, только бы Брижит меня здесь уже не застала, только бы мне одному поехать к Аньес и только бы доехать вовремя.

Но ему не повезло. Брижит вернулась домой за минуту до того, как приехал Бернар. Оба бывших друга обнялись, Бернар отправился домой, а Поль с Брижит сели в ее автомобиль. Машину он вел сам, выжимая предельную скорость.

20

Аньес видела фигуру девушки, торчавшую посреди дороги, фигуру, резко высвеченную мощными прожекторами, с раскинутыми руками, как в балетном па, это было подобно появлению танцовщицы, опускающей занавес в конце спектакля, ибо затем уже не было ничего, и от всего предыдущего зрелища, тотчас забытого, остался лишь этот последний образ. Затем была уже одна

усталость, усталость такая безмерная, словно глубокий колодец, и потому сестры и врачи полагали, что она впала в беспамятство, тогда как она воспринимала все вокруг и с удивительной ясностью осознавала свое умирание. Она даже способна была чувствовать легкое удивление оттого, что не испытывает никакой печали, никакого сожаления, никакого ощущения ужаса, ничего такого, что до сих пор сочеталось у нее с понятием смерти.

Потом она увидела склонившуюся над ней медсестру и услышала, как та шепчет ей:

— Ваш муж уже в дороге. Приедет к вам. Ваш муж.

Аньес улыбнулась. Но почему она улыбнулась? Что–то вспомнилось ей из забытого представления: да, она замужем. А потом возникло и имя: Поль! Да, Поль. Поль. Поль. То была улыбка внезапного свидания с утраченным словом. Как если бы вам показали медвежонка, которого вы не видели пятьдесят лет, и вы бы узнали его.

Поль, говорила она про себя и улыбалась. Эта улыбка так и осталась на ее губах, хотя она уже опять забыла, что ее вызвало. Она устала, все ее утомляло. Особенно не было сил выносить чужой взгляд. У нее были закрыты глаза, дабы никого и

ничего не видеть. Все, что происходило вокруг, обременяло ее, мешало ей, и она мечтала, чтобы не происходило ничего.

И тут снова вспомнила: Поль. Что говорила ей сестра? Что он приедет? Воспоминание о забытом спектакле, чем была ее жизнь, внезапно стало яснее. Поль. Поль приедет! В эту минуту она страстно, горячо пожелала, чтобы он уже не увидел ее. Она устала и не хотела, чтобы кто–то смотрел на нее. Не хотела, чтобы Поль смотрел на нее. Не хотела, чтобы он видел ее умирающей. Ей надо поспешить умереть.

И в последний раз повторилась основная ситуация ее жизни: она бежит и кто–то преследует ее. Поль преследует ее. И теперь в руке у нее нет уже никакого предмета. Ни щетки, ни гребня, ни ленты. Она обезоружена. Она нагая, разве что в больничной белой рубахе. Она очутилась на последней финишной прямой, где ей уже ничто не поможет, где она может положиться лишь на быстроту своего бега. Кто окажется быстрее? Поль или она? Ее смерть или его приезд?

Усталость стала еще глубже, и у Аньес было ощущение, что она быстро удаляется, словно кто–то тянул назад ее постель. Открыв глаза, она увидела сестру в белом халате. Какое у нее было

лицо? Она не различала его. И в памяти всплыли слова: «Нет, там нет лиц».

21

Когда Поль с Брижит подошли к койке, он увидел тело, прикрытое целиком, вместе с головой, простыней. Женщина в белом халате сказала им:

— Она умерла четверть часа назад.

Краткость промежутка, отделившего его от мгновения, когда она была еще жива, совсем растравила его отчаяние. Он разминулся с нею на пятнадцать минут. Разминулся на пятнадцать минут с содержанием своей жизни, вдруг оказавшейся прерванной, бессмысленно обрубленной. Казалось ему, что все эти годы, которые они прожили вместе, она никогда не была по–настоящему его, он не имел ее; и что для того, чтобы сейчас завершить и закончить историю их любви, ему недостает последнего поцелуя; последнего поцелуя, чтобы еще живой удержать ее своими губами, чтобы сохранить ее на своих губах.

Женщина в белом халате отогнула простыню. Он увидел родное лицо, бледное, красивое и все же совершенно иное: ее губы, хотя все такие же мягкие, прочерчивали линию, какой он никогда не знал. На ее лице было выражение, которого он не понимал. Он не в силах был наклониться и

поцеловать ее.

Брижит рядом расплакалась и, сотрясаясь в рыданиях, приникла головой к его груди.

Он снова посмотрел на Аньес: эта странная улыбка, которой он никогда не видел у нее, эта незнакомая улыбка на лице с закрытыми веками не принадлежала ему, она принадлежала кому–то, кого он не знал, и говорила о чем–то, чего он не понимал.

Женщина в белом халате резко схватила Поля за руку; он был на грани обморока.

Часть 6. Циферблат

1

Ребенок, появившись на свет, сразу же начинает сосать материнскую грудь. А как только мать отнимет его от груди, начинает сосать палец.

Когда–то Рубенс спросил одну даму: «Почему вы позволяете вашему сыночку сосать палец? Ему ведь уже десять лет!» Дама возмутилась: «А вы бы хотели запретить ему это? Так продлевается связь с материнской грудью! Не хватает еще нанести ему травму!»

Таким образом, ребенок сосет палец до тех пор, пока в тринадцать лет гармонично не заменит его сигаретой.

Когда впоследствии Рубенс, занимаясь любовью с этой матерью, отстаивавшей право своего недоросля сосать палец, положил ей собственный палец на губы, она, слегка поводя головой, начала лизать его. Закрыв глаза, она воображала себе, что ее любят двое мужчин.

Этот маленький эпизод стал для Рубенса значительной вехой, ибо он открыл способ тестирования женщин: положив им на губы палец, наблюдал, как они реагируют на это. Те, что лиза-

ли палец, были, вне всякого сомнения, склонны к коллективной любви. Те, что оставались к пальцу безразличны, были безнадежно глухи к порочным соблазнам.

Одна из женщин, в которой он «проверкой пальцем» обнаружил оргиастические наклонности, по–настоящему любила его. После любовной близости она взяла его палец и неловко поцеловала, что означало: теперь я хочу, чтобы твой палец снова стал пальцем, и я счастлива, что после всего, что я воображала себе, я здесь с тобой совершенно одна.

Превращения пальца. Или: как вращаются стрелки по циферблату жизни.

2

Стрелки на часовом циферблате вращаются по кругу. Зодиак, как изображает его астролог, тоже имеет форму циферблата. Гороскоп — это часы. И верим мы или не верим предсказаниям астрологии, гороскоп — это метафора жизни, заключающая в себе великую мудрость.

Как изобразит ваш гороскоп астролог? Он сделает круг, образ небесной сферы, и разделит его на двенадцать частей, представляющих отдельные знаки: Овен, Телец, Близнецы и так далее. Затем в этот круг–зодиак он впишет графические знаки

Солнца, Луны и семи планет точно туда, где эти светила стояли в момент вашего рождения. Это так же, как если бы он вписал в циферблат курантов, равномерно разделенный на двенадцать часов, еще и другие девять цифр, размещенные неравномерно. По циферблату вращаются девять стрелок: это опять же Солнце, Луна и планеты, но такие, какие действительно вращаются по небесному своду в течение вашей жизни.

Каждая планета–стрелка оказывается во все новых и новых отношениях с планетами–цифрами, этими неподвижными знаками вашего гороскопа.

Неповторимое сочетание светил в момент вашего рождения — это постоянная тема вашей жизни, ее алгебраическое определение, оттиск пальцев вашей индивидуальности; планеты, застывшие на вашем гороскопе, создают по отношению друг к другу углы, чья величина, выраженная в градусах, имеет определенное значение (негативное, позитивное, нейтральное): представьте себе, что между вашей возлюбленной Венерой и вашим агрессивным Марсом весьма напряженные отношения; что воздействие Солнца, олицетворяющего вашу личность, усилится благодаря совпадению с энергичным

и жаждущим приключений Ураном; что сексуальность, символизированная Луной, обострена неистовым Нептуном, и все в таком духе. Но на протяжении своего пути стрелки движущихся планет будут касаться неподвижных точек гороскопа и приводить в действие (ослаблять, усиливать, подвергать опасности) различные элементы вашей жизненной темы. Такова жизнь: она не похожа на плутовской роман, в котором героя от главы к главе подстерегают все новые и новые события, не имеющие никакого общего знаменателя. Она похожа на сочинение, которое музыканты называют темой с вариациями.

Уран движется по небесному своду сравнительно медленно. Проходит семь лет, пока он преодолеет один знак. Предположим, что сейчас он в драматическом отношении с неподвижным Солнцем вашего гороскопа (допустим, под углом в 90 градусов): вы переживаете трудный период; через двадцать один год эта ситуация повторится (Уран по отношению к вашему Солнцу будет под углом в 180 градусов, что имеет столь же пагубное значение), но это повторение будет лишь кажущимся, ибо в то самое время, когда ваше Солнце будет атаковано Ураном, Сатурн на небесном своде будет пребывать в таком гармоническом

отношении к вашей Венере, что гроза пройдет мимо вас, будто на цыпочках. Это так, как если бы к вам вернулась прежняя болезнь, но переболели бы вы ею в сказочной лечебнице, где вместо нетерпеливых сестер работают ангелы.

Казалось бы, астрология учит нас фатализму: от своей судьбы не уйти! На мой взгляд, астрология (заметьте, астрология как метафора жизни) говорит о чем–то куда более утонченном: от своей темы жизни не уйти! Из этого следует, например, что стремиться начать где–то посреди жизни «новую жизнь», не похожую на предыдущую, начать, так сказать, с нуля — сущая иллюзия. Ваша жизнь всегда будет выстроена из одного и того же материала, из тех же кирпичей, из тех же проблем, и то, что вам поначалу будет представляться «новой жизнью», очень скоро окажется лишь чистой вариацией той, предыдущей.

Гороскоп подобен часам, а часы — школа конечности: как только стрелка опишет круг и вернется на то место, откуда вышла, — одна фаза завершена. На циферблате гороскопа вращаются девять стрелок на разной скорости, и каждую минуту одна фаза завершается, а другая начинается. В молодости человек не способен воспринимать время как круг, он воспринимает его как дорогу,

ведущую прямо вперед к вечно новым горизонтам; он еще далек от понимания, что его жизнь содержит лишь одну тему; он поймет это, лишь когда его жизнь начнет осуществлять свои первые вариации.

Рубенсу было лет четырнадцать, когда на улице его остановила девочка раза в два моложе его и спросила: «Скажите, пожалуйста, месье, который час?» Это был первый случай, когда незнакомка обратилась к нему на «вы» и назвала его «месье». Он был вне себя от счастья, ему казалось, что перед ним открывается новый этап жизни. Со временем об этом эпизоде он начисто забыл и вспомнил о нем, лишь когда одна красивая женщина спросила его: «А когда вы были молоды, вы тоже так думали?» Тогда впервые женщина заговорила о его молодости как о чем–то ушедшем. В эту минуту в памяти всплыл образ девочки, когда–то спросившей, который час, и он подумал, что между этими двумя женскими фигурами существует некая общность. Сами по себе они были маловыразительными, случайно встреченными, и все же в тот момент, когда он заставил эти фигуры взаимодействовать, они явились ему как два знаменательных события на циферблате его жизни.

Скажу это иначе: представим себе, что циферблат жизни Рубенса размещен на огромных средневековых курантах, хотя бы на таких, как в Праге, на Староместской площади, мимо которых я ходил двадцать лет подряд. Часы бьют, и над циферблатом открывается окошко: в нем показывается кукла — семилетняя девочка и спрашивает, который час. А когда та же столь медлительная стрелка много лет спустя коснется следующей цифры, то вновь зазвенят колокольцы, откроется окошко, и в нем покажется кукла — молодая дама, которая спросит: «А когда вы были молоды…»

3

В ранней молодости он не осмеливался открыться женщине в своих эротических фантазиях. Он полагал, что всю любовную энергию без остатка он должен обратить в ошеломляющий физический подвиг на женском теле. Его молоденькие партнерши были, впрочем, того же мнения. Он смутно вспоминает одну из них, обозначим ее буквой А, которая, приподнявшись вдруг на локтях и пятках посреди любовного акта, выгнулась мостиком так, что он закачался на ней и едва не упал с постели. Этот спортивный жест был полон знаков страсти, за которые Рубенс ис-

пытывал к ней благодарность. Он проживал свой первый период: период атлетической немоты.

Постепенно эту немоту он утрачивал; он казался себе очень смелым, когда впервые перед одной девушкой вслух назвал некую сексуальную часть ее тела. Но эта смелость была не столь велика, как ему казалось, поскольку выбранное им выражение было всего лишь ласковым уменьшительным словом или поэтическим перифразом. И все же, восхищенный своей смелостью (как и пораженный тем, что девушка его не одернула), он стал придумывать сложнейшие метафоры, дабы поэтическими обиняками говорить о сексуальном акте. То был второй период: период метафор.

В то время он встречался с девушкой В. После обычной словесной прелюдии (насыщенной метафорами) они предавались любви. Однажды, когда ее наслаждение достигло предела, она сказала фразу, в которой назвала свой самый сокровенный орган однозначным и неметафорическим выражением. Впервые он услыхал это слово из женских уст (кстати, это также одна из существенных вех на циферблате). Изумленный, ослепленный, он понял, что в этом брутальном термине больше пленительности и взрывной

силы, нежели во всех метафорах, что были когда–либо вымышлены.

Некоторое время спустя его пригласила к себе некая С, что была лет на пятнадцать старше его. Прежде чем прийти к ней, он вслух зачитал своему приятелю роскошные непристойности (отнюдь уже не метафоры!), которые намеревался сказать этой даме при соитии. Он потерпел крах весьма своеобразным образом: прежде чем он решился их произнести, произнесла их она. И он вновь был ошеломлен. Не только тем, что она опередила его в своей эротической смелости, но чем–то более странным: она слово в слово употребила все те выражения, которые вот уже несколько дней он заготавливал. Он был покорен этим совпадением. Он отнес его за счет некоей эротической телепатии или таинственного родства душ. Так он постепенно вступал в третий период: период непристойной правды.

Четвертый период был тесно связан с приятелем М: период испорченного телефона. «Испорченным телефоном» называлась игра, которой он забавлялся между своими пятью и семью годами: дети усаживались рядком, и один нашептывал другому фразу, которую затем тот шепотом передавал третьему, третий — четвертому и так далее,

пока последний не произносил ее вслух, и все покатывались со смеху, сравнивая начальную фразу с ее окончательным превращением. Взрослые Рубенс и М играли в испорченный телефон таким образом, что говорили своим любовницам весьма оригинально сформулированные непристойные фразы, а те, не ведая, что участвуют в этой игре, передавали их далее. А поскольку у Рубенса и М было несколько общих любовниц (или они доверительно уступали их друг другу), приятели обменивались с их помощью веселыми приветствиями. Однажды одна женщина во время любовного слияния шепнула Рубенсу фразу столь невероятную, столь немыслимо завинченную, что он в ней тотчас узнал злокозненную изобретательность друга. Его обуял неудержимый приступ смеха, а поскольку женщина приняла едва сдерживаемый смех за любовные содрогания, она вдохновленно повторила эту фразу во второй раз, а в третий — выкрикнула ее, и Рубенс мысленно видел над их переплетенными телами призрак хохочущего приятеля.

В этой связи он вспомнил девушку В, которая в конце периода метафор неожиданно сказала ему непристойное слово. Только сейчас, спустя время, он задал себе вопрос: в первый ли раз она

произнесла это слово? Тогда он в этом нимало не сомневался. Он думал, что она влюблена в него, подозревал, что она не прочь выйти за него замуж, и был уверен, что он у нее единственный. Только теперь он понял, что кто–то другой должен был ее научить (я бы сказал, натренировать) вслух выговаривать это слово еще раньше, чем она решилась сказать его Рубенсу. Да, только спустя годы, благодаря опыту испорченного телефона, он осознал, что в то время, когда В клялась ему в своей верности, у нее наверняка был другой любовник.

Опыт испорченного телефона изменил его: он утрачивал ощущение (мы все подвластны ему), что акт телесной любви — мгновение абсолютной интимности, когда мир вокруг нас превращается в необозримую пустыню, посреди которой прижимаются друг к другу два одиноких тела. Теперь вдруг он стал понимать, что это мгновение не предоставляет никакого интимного уединения. Двигаясь в толпе по Елисейским полям, он ощущает себя в большем интимном уединении, чем в тугих объятиях самой тайной из своих любовниц. Ибо период испорченного телефона — это общественный период любви: благодаря нескольким словам все участвуют в

объятиях двух с виду одиноких существ; общество постоянно обеспечивает рынок порочных фантазий и способствует их распространению и кругообороту. Рубенс тогда выдвинул такое определение народа: сообщество личностей, чья эротическая жизнь объединена все тем же испорченным телефоном.

А затем он познакомился с девушкой D, которая была самой разговорчивой из всех женщин, когда–либо им встреченных. Уже при втором свидании она сообщила ему, что она фанатичная мастурбантка и доводит себя до оргазма тем, что рассказывает себе сказки. «Сказки? Какие? Расскажи!» — и он стал любить ее, а она — рассказывать: бассейн, кабины, в деревянных стенах просверлены отверстия, взгляды, которые она чувствовала на себе, когда раздевалась, дверь, которая внезапно открылась, на пороге — четверо мужчин, и все в таком духе, сказка была захватывающей, банальной, и он был в высшей степени ублаготворен.

Но с той поры происходила с ним удивительная вещь: встречаясь с другими женщинами, он в их фантазиях обнаруживал фрагменты тех длинных сказок, которые D рассказывала ему во время любовного акта. Он часто сталкивался с

тем же словом, с тем же оборотом речи, хотя это слово и этот оборот были совершенно необычны. Монолог D был зеркалом, в котором отражались все женщины, каких он познал, это была огромная энциклопедия, восьмитомный Ла–русс эротических фантазий и фраз. Сначала он объяснял себе ее грандиозный монолог принципом испорченного телефона: через посредство сотни любовников целый народ сносил в ее голову, точно в пчелиный улей, порочные фантазии, собранные со всех уголков страны. Но потом он понял, что это объяснение далеко от истины. Он слышал фрагменты монолога D и от женщин, о которых твердо знал, что они никак не могли даже косвенно пересечься с D, ибо между ними не существовало ни одного общего любовника, который играл бы роль рассыльного.

Кстати, тогда же он вспомнил эпизод с C: как заготовил непристойные фразы, которые он скажет ей в любовном экстазе, а она вдруг опередила его. Он полагал тогда, что это была телепатия. Но в самом ли деле она прочла эти фразы в его голове? Гораздо правдоподобнее было, что эти фразы помещались в ее собственной голове еще задолго до того, как она встретилась с ним. Но откуда у них у обоих в голове были одинаковые фразы? Вероят-

но, потому, что был некий общий источник. И тут его осенило, что через всех женщин и мужчин протекает один и тот же поток, общая и единственная река эротических образов. Отдельный человек получает свою долю порочных фантазий не от любовника или любовницы по принципу испорченного телефона, а из этого безличного (сверхличного или инфраличного) потока. Но если я говорю, что эта река, протекающая сквозь нас, безлична, то, стало быть, она принадлежит не нам, а тому, кто сотворил нас и вложил ее в нас, иными словами, она принадлежит Богу или, более того, она и есть Бог или одно из его превращений. Когда Рубенс впервые сформулировал эту мысль, она показалась ему кощунственной, но затем видимость богохульства рассеялась, и он погрузился в подземную реку с каким–то набожным смирением: он знал, что этим потоком мы все объединены, но не как народ, а как дети Божьи; всякий раз, когда он погружался в этот поток, он испытывал чувство, будто сливается в каком–то мистическом единении с Богом. Да, пятый период был мистическим периодом.

4

Но разве история жизни Рубенса — всего лишь история физической любви?

Ее можно понять и так, и минута, когда он вдруг открыл это, стала также знаменательной вехой на его циферблате.

Еще гимназистом он проводил долгие часы в музеях перед картинами, дома рисовал сотни гуашей и был знаменит среди однокашников своими карикатурами на учителей. Рисовал он их карандашом для ротаторного ученического журнала, а на переменах мелом на доске — к великому удовольствию класса. Эти годы дали ему возможность познать славу: его знала и им восхищалась вся гимназия, и все в шутку называли его Рубенсом. Как воспоминание об этом прекрасном времени (единственном времени славы), это прозвище он сохранил на всю жизнь, обязывая друзей (с изумляющей наивностью) так и называть его.

С получением аттестата зрелости его слава угасла. Он хотел поступить в школу изобразительных искусств, но не выдержал экзамена. Был хуже других? Или менее удачлив? Как ни удивительно, но на подобные вопросы я не готов ответить.

С полным безразличием принялся он изучать право, обвиняя в своем провале миниатюрность родной Швейцарии. В надежде осуществить свое художническое призвание где–нибудь в другом

месте он еще два раза попытал счастья: сначала, когда сдавал экзамены в парижскую Школу изящных искусств и провалился, а затем, когда предложил свои рисунки нескольким журналам. Почему отвергли эти его рисунки? Были нестоящими? Или те, что судили о них, были тупицами? Или просто рисунки уже никого не интересовали? Могу лишь повторить, что и на эти вопросы у меня нет ответа.

Устав от неудач, он отказался от дальнейших попыток. Из этого, несомненно, следовало (и он это прекрасно сознавал), что его страсть писать и рисовать была слабее, чем он думал, и что, выходит, он не был рожден для карьеры художника, как предполагал в гимназии. Поначалу это открытие опечалило его, но потом в его душе все упрямее зазвучала апология собственного смирения: почему у него должна быть страсть к живописи? Что особенно похвального в страсти? Не возникает ли большинство плохих картин и плохих романов лишь из–за того, что художники усматривают в своей страсти к искусству нечто священное, некое предназначение, а то и вовсе обязанность (обязанность по отношению к себе, даже к человечеству)? Под воздействием собственного смирения он начал видеть в худож-

никах и литераторах людей, скорее одержимых честолюбием, чем способных к творчеству, и стал избегать общения с ними. Его основной соперник N, юноша того же возраста, из того же города, окончивший ту же гимназию, что и он, был не только принят в школу изобразительных искусств, но вскоре достиг поразительных успехов, хотя в гимназии все считали Рубенса куда более талантливым, чем N. Значит ли это, что все тогда ошибались? Или талант — нечто, что может по дороге пропасть? Как мы уже понимаем, нет ответа и на эти вопросы. Важно, впрочем, другое обстоятельство: в то время когда неудачи вынудили его окончательно отказаться от живописи (в ту пору N отмечал свои первые успехи), Рубенс встречался с очень красивой молоденькой девушкой, тогда как его соперник женился на девушке из богатой семьи, но столь непривлекательной, что Рубенс при виде ее потерял дар речи. Ему сдавалось, что это стечение обстоятельств было неким знаком судьбы, указывавшим ему истинный центр тяжести его жизни, который отнюдь не в общественной, а в личной жизни, отнюдь не в погоне за профессиональным успехом, а в успехе у женщин. И вдруг то, что еще вчера представлялось поражением, было явлено

ему как блистательная победа: да, он отвергает славу, борьбу за признание (тщетную и печальную борьбу), дабы посвятить себя самой жизни. Он даже не задавался вопросом, почему именно женщины суть «сама жизнь». Это казалось ему естественным и ясным, не подлежащим никакому сомнению. Он был уверен, что избрал лучший путь, чем его соперник, облагодетельствованный богатой уродиной. При этих обстоятельствах его молоденькая красавица была для него не только обещанием счастья, но прежде всего его торжеством и гордостью. Чтобы упрочить свою нежданную победу и отметить ее печатью непреложности, он женился на красавице в полной уверенности, что весь мир завидует ему.

5

Женщины для Рубенса означают «саму жизнь», но при этом он не находит ничего более безотлагательного, чем жениться на красавице и тем самым отказаться от женщин. Поступок явно нелогичный, хотя и вполне естественный. Рубенсу было двадцать четыре года. Он тогда вступил как раз в период непристойной правды (стало быть, вскоре после того, как он познал девушку B и даму C), но его новый опыт нисколько не поколебал его убежденности, что любовь превыше

всех физических наслаждений, великая любовь, эта ни с чем не сравнимая ценность жизни, о которой он много слышал, читал, много мечтал, но ничего не знал. Он не сомневался в том, что любовь — это венец жизни (этой «самой жизни», которую он предпочел карьере) и что, стало быть, должен встретить ее с распростертыми объятиями и без всяких компромиссов.

Как я сказал, стрелки на сексуальном циферблате указывали период непристойной правды, но стоило ему влюбиться, как мгновенно началось отступление в предшествующие стадии: в постели он либо молчал, либо говорил своей будущей невесте нежные метафоры, убежденный, что непристойности вынесут их обоих за пределы любви.

Скажу об этом по–другому: любовь к красавице привела его снова в состояние девственника, ибо, как я уже заметил в иной связи, каждый европеец, как только произнесет слово «любовь», возвращается на крыльях восторга в предкоитальное (или внекоитальное) мышление и чувствование, именно в те просторы, где страдал юный Вертер и где чуть было не упал с лошади Доминик Фромантена. Поэтому Рубенс, встретив свою красавицу, готов был поставить котелок

с чувством на огонь и ждать, пока в точке кипения чувство не превратится в страсть. Дело несколько осложнилось тем, что в то же время в другом городе у него была любовница (обозначим ее буквой Е) тремя годами старше его; с ней он общался задолго до знакомства со своей будущей невестой и еще несколько месяцев после того. Прекратил он встречи с ней лишь с того дня, как принял решение жениться. Разрыв был вызван не внезапным охлаждением чувств к Е (позже выяснится, что он даже слишком любил ее), а скорее осознанием того, что он вступил в важный и торжественный период жизни, когда великую любовь необходимо освятить верностью. Однако за неделю до дня свадьбы (в ее неизбежности он все–таки в глубине души сомневался) его охватила невыносимая тоска по Е, которую он покинул без каких–либо объяснений. Поскольку связь с Е никогда не называл любовью, он был поражен, что так бесконечно тоскует по ней телом, сердцем, душой. Не совладав с собой, он поехал к ней. С неделю он унижался, вымаливая у нее позволения любить ее, осаждал нежностью, печалью, требованиями, но она не предлагала ему ничего, кроме вида своего огорченного личика; тела ее он так и не посмел коснуться.

Расстроенный и удрученный, он вернулся домой в день свадьбы. За свадебным столом он перепил, а вечером повез новобрачную в их общую квартиру. Одурманенный вином и тоской, он посреди любовного слияния назвал ее именем своей прежней любовницы. Катастрофа! Ему уже никогда не забыть огромных глаз, уставленных на него в невыразимом удивлении! В ту секунду, когда все рухнуло, ему пришло в голову, что это месть его отвергнутой любовницы и что в день его женитьбы она навсегда заминировала своим именем его брачный союз. Пожалуй, в тот короткий миг он осознал и неправдоподобность того, что случилось, всю глупость и гротескность своей обмолвки, гротескность, которая сделает неизбежный крах его брака еще более невыносимым. То были ужасные три–четыре секунды полнейшей растерянности, а потом он вдруг закричал: «Ева! Элизабет! Марлен!»; не в состоянии быстро вспомнить другие женские имена, он стал повторять: «Марлен! Элизабет! Да, ты для меня все женщины! Все женщины мира! Ева! Клара! Марлен! Ты — все женщины вместе! Ты женщина во множественном числе! Марлен, Гретхен, все женщины мира заключены в тебе, ты носишь все их имена!..» — и, словно истинный атлет секса,

овладевал ею еще энергичнее; спустя несколько мгновений он уже мог заметить, что ее широко открытые глаза вновь обрели нормальное выражение и ее окаменевшее под ним тело возобновляет ритм, чья равномерность возвращала ему спокойствие и уверенность.

Способ, каким он выпутался из этой адской ситуации, был на грани невероятного, и нам остается только удивляться, что молодая жена отнеслась всерьез к столь безумной комедии. Не забудем, однако, что оба они жили в плену предкоитального мышления, которое роднит любовь с абсолютом. Каков критерий любви девственного периода? Лишь количественный: любовь — чувство очень, очень, очень большое. Неверная любовь — чувство маленькое, истинная любовь (die wahre Liebe!) — чувство великое. Но с точки зрения абсолюта не мала ли всякая любовь? Бесспорно. Поэтому любовь, стремясь доказать, что она настоящая, пытается вырваться из пределов разумного, отвергает меру, не хочет быть правдоподобной, мечтает превратиться в «неистовые безумства страсти» (не забудем Элюара!), иначе говоря, она жаждет быть безумной! Стало быть, неправдоподобность преувеличенного жеста может принести только выгоды. Способ, каким

Рубенс вышел сухим из воды, для стороннего наблюдателя отнюдь не элегантен, не убедителен, но в данной ситуации он был единственный, позволивший ему избежать полного краха: действуя, как безумец, Рубенс взывал к безумному абсолюту любви, и это его спасло.

6

Если Рубенс лицом к лицу со своей молоденькой женой снова стал лирическим атлетом любви, это вовсе не значит, что он раз и навсегда отрекся от эротических пороков; он и пороки хотел поставить на службу любви. Он представлял себе, что в моногамном экстазе с одной женщиной он перечувствует больше, чем с сотней других. Лишь один вопрос предстояло ему решить: в каком темпе должны продвигаться по дороге любви авантюры сладострастия? Поскольку дорога любви предполагала быть долгой, как можно более долгой, если не бесконечной, он определил для себя принцип: тормозить время и не торопиться.

Допустим, он представлял себе сексуальное будущее с красавицей как восхождение на высокую гору. Если бы он дошел до самой вершины в первый же день, что бы он делал в дальнейшем? Стало быть, ему следовало распланировать эту дорогу так, чтобы она заполнила всю его жизнь.

Поэтому он отдавался любви со своей молодой женой хотя и страстно, пылко, но способами, я бы сказал, классическими и без какой–либо похотливости, которая влекла его (а с женой более, чем с любой другой женщиной), но которую он откладывал на более позднее время.

А потом вдруг случилось то, чего он не ожидал: они перестали находить общий язык, раздражали друг друга, стали бороться за верховенство в доме, она утверждала, что нуждается в большей свободе для своей карьеры, он сердился, что она не хочет сварить ему яйца, и быстрее, чем сами предполагали, оказались разведенными. Большое чувство, на котором он собирался строить всю свою жизнь, улетучилось так быстро, что он уже сомневался, испытывал ли он его когда–либо. В этом исчезновении чувства (внезапном, быстром, легком!) было для него что–то головокружительное, невероятное! И это состояние завораживало его намного больше, чем внезапная влюбленность два года назад.

Однако не только эмоциональный, но и эротический итог его брака оказался нулевым. Из–за медленного темпа, предписанного себе, он испытал с этим прекрасным созданием лишь наивную любовь без особого вожделения. Он не только

не взошел с ней на вершину горы, но даже не поднялся на первую смотровую площадку. Поэтому уже после развода он пытался раз–другой сойтись с ней (она была не против: с тех пор как прекратилась борьба за верховенство в доме, она вновь с удовольствием предавалась любви с ним) и быстро осуществить хотя бы некоторые небольшие сексуальные шалости, приберегаемые им на более поздние сроки. Но он не осуществил почти ничего, поскольку на сей раз избрал темп слишком поспешный, и разведенная красавица объяснила его нетерпеливую похотливость (он увлек ее прямо в период непристойной правды) цинизмом и недостатком любви, так что их постсупружеская связь быстро оборвалась.

Этот короткий брак был в его жизни всего лишь взятым в скобки отступлением; меня так и подмывает сказать, что он вернулся точно туда, где был до того, как встретил свою невесту; но это не отвечало бы правде. Раздувание любовного чувства и его невероятно недраматическое и безболезненное опадание он пережил как оглушающее открытие: он бесповоротно оказывался за пределами любви.

7

Великая любовь, ослепившая его два года назад,

дала ему возможность забыть о живописи. Но когда он закрыл скобку за своим супружеством и с меланхоличным разочарованием обнаружил, что оказался за пределами любви, его отречение от живописи представилось ему вдруг неоправданной капитуляцией.

Он снова начал набрасывать эскизы картин, которые мечтал написать. Однако вскоре понял, что возврат невозможен. Еще гимназистом он представлял себе, что все художники мира идут по одной большой дороге; это была королевская дорога, ведущая от готических мастеров к великим итальянцам Возрождения, далее к голландцам, от них к Делакруа, от Делакруа к Мане, от Мане к Моне, от Боннара (ах, как он любил Боннара!) к Матиссу, от Сезанна к Пикассо. Художники шли по этой дороге не толпой, как солдаты, нет, каждый шел в одиночку, но все–таки то, что открывал один, служило вдохновению другого, и все знали, что продираются вперед в неизвестное, которое было их общей целью и всех объединяло. А потом вдруг дорога исчезла. Это было подобно пробуждению от прекрасного сна; мгновение мы еще ищем мреющие картины, пока наконец не поймем, что сны невозможно вернуть. Дорога исчезла, но все же в душе художников она осталась

в форме неугасимой жажды «идти вперед». Но где «вперед», когда уже нет дороги? В каком направлении искать это утраченное «вперед»? И так жажда идти вперед стала неврозом художников; они разбежались в разные стороны, но при этом постоянно пересекались, словно толпы людей, снующих туда–сюда по одной и той же площади. Они хотели отличаться друг от друга, но каждый из них вновь открывал уже открытое открытие. По счастью, вскоре нашлись люди (то были не художники, а коммерсанты и галерейщи–ки со своими агентами и экспертами от рекламы), которые упорядочили этот беспорядок и определили, какое открытие необходимо открыть заново в том или ином году. Это восстановление порядка значительно содействовало продаже современных картин. Теперь покупали их в свои салоны те самые богачи, которые еще десять лет назад смеялись над Пикассо и Дали, вызывая тем самым страстную ненависть Рубенса. Теперь богачи решили быть современными, и Рубенс вздохнул с облегчением, что он не художник.

Однажды он посетил в Нью–Йорке Музей современного искусства. На втором этаже были Матисс, Брак, Пикассо, Миро, Дали, Эрнст; Рубенс был в восторге: мазки кистью по холсту выража-

ли исступленное наслаждение. Порой реальность была превосходно изнасилована, как женщина фавном, порой она противоборствовала живописцу, как бык тореадору. Но, поднявшись на верхний этаж, где были выставлены картины новейшего времени, он оказался в пустыне; ни на одном холсте он не увидел и следа веселого мазка кисти; нигде ни следа наслаждения; исчезли бык и тореадор; картины изгнали из себя реальность или копировали ее с циничной и бездуховной достоверностью. Между двумя этажами текла река Лета, река смерти и забвения. И тут он подумал, что его отречение от живописи имело, возможно, более глубокий смысл, чем недостаток дарования или упрямства: на циферблате европейской живописи пробило полночь.

Чем бы занимался гениальный алхимик, перемещенный в девятнадцатый век? Кем бы стал Христофор Колумб сегодня, когда морские пути обслуживаются тысячью транспортных компаний? Что писал бы Шекспир во времена, когда театра еще нет или он уже перестал существовать?

Все это риторические вопросы. Если человек призван для деятельности, на циферблате которой уже пробило полночь (или еще не пробил

первый час), что произойдет с его талантом? Он изменится? Приспособится? Христофор Колумб станет директором туристической компании? Шекспир будет писать сценарии для Голливуда? Пикассо будет изготовлять мультипликационные сериалы? Или все эти великие таланты удалятся от мира, уйдут, так сказать, в монастырь истории, охваченные космической печалью по поводу того, что родились они не в урочный час, не в сужденную им эпоху, вне циферблата, для времени которого были созданы? Забросят ли они свое несвоевременное дарование, как бросил Рембо в девятнадцать лет стихотворство?

И на эти вопросы, естественно, нет ответа ни у меня, ни у вас, ни у Рубенса. Были ли у Рубенса моего романа неосуществленные возможности крупного живописца? Или никакого таланта у него вовсе не было? Бросил ли он живопись из–за недостатка сил или как раз наоборот: в силу своего ясновидения, которое прозрело тщету живописи? Разумеется, он часто думал о Рембо и мысленно сравнивал себя с ним (хотя и робко и с иронией). Рембо ведь не только оставил поэзию бесповоротно и без сожаления, но деятельность, которой он затем занимался, была издевательским отрицанием поэзии: говорят, он торговал в

Африке оружием и даже живым товаром. Пусть второе утверждение всего лишь клеветническая легенда, но оно как гипербола точно схватывает самоуничтожающее насилие, страсть, ярость, что отделили Рембо от собственного прошлого художника. Если Рубенс все более и более втягивался в мир финансов и биржи, было это, наверное, и потому, что подобная деятельность (оправданно или неоправданно) казалась ему противовесом его мечтаний о карьере художника. Однажды, когда его соученик стал знаменит, Рубенс продал картину, когда–то полученную от него в подарок. Благодаря продаже он обрел не только достаточно денег, но и открыл способ своего будущего существования: он станет продавать богачам (которых презирал!) картины современных художников (которых не ценил).

На свете определенно много людей, живущих за счет продажи картин, и им даже во сне не снится, что можно стыдиться своей профессии. Разве Веласкес, Вермеер, Рембрандт не были также торговцами картин? Рубенс, конечно, это знает. Но если он способен сравнивать себя с Рембо, торговцем рабами, то сравнивать себя с великими художниками, торговцами картинами, он никогда не станет. Он ни на мгновение

не усомнится в абсолютной бесполезности своей работы. Поначалу он огорчался из–за этого и упрекал себя в аморальности. Но потом сказал себе: что, собственно, означает «быть полезным»? Сумма полезности всех людей всех времен в полном объеме содержится в мире таком, каким он стал ныне. А из этого вытекает: нет ничего более морального, чем быть бесполезным.

8

Прошло лет двенадцать со времени его развода, когда однажды к нему заглянула F. Она рассказала ему, как недавно ее пригласил в гости один мужчина и поначалу добрых десять минут заставил ждать в гостиной под тем предлогом, что должен закончить в соседней комнате важный телефонный разговор. Вероятнее всего, этот разговор он инсценировал, чтобы тем временем дать ей возможность просмотреть порнографические журналы, лежащие на столике перед креслом, в какое он усадил ее. F завершила рассказ таким замечанием: «Была бы я моложе, он бы добился своего. Если бы мне было семнадцать. Это возраст самых сумасбродных фантазий, когда ты не можешь ни перед чем устоять…»

Рубенс слушал F скорее рассеянно, пока последние ее слова не вывели его из безразличия.

Это будет теперь происходить с ним постоянно: кто–то произнесет фразу, и она неожиданно подействует на него как укоризна: напомнит ему о чем–то, что он упустил в жизни, прозевал, проворонил безвозвратно. Когда F говорила о своих семнадцати годах и тогдашней своей неспособности противостоять любому соблазну, он вспомнил о своей жене, которую узнал, когда ей тоже было семнадцать. Вспомнился ему провинциальный отель, где он с ней поселился на какое–то время перед свадьбой. Они занимались любовью в комнате, за стеной которой готовился отойти ко сну их приятель. «Он нас слышит!» — шептала она Рубенсу. Только сейчас (сидя напротив F, рассказывающей ему о соблазнах своих семнадцати) он осознает, что тогда она вздыхала громче, чем обычно, что даже кричала и что, видимо, кричала нарочно, чтобы их приятель слышал ее. И в последующие дни, часто возвращаясь к этой ночи, спрашивала: «Ты правда думаешь, что он нас не слышал?» Он тогда объяснял себе ее вопрос как проявление вспугнутого стыда и успокаивал свою невесту тем (сейчас при воспоминании о своей тогдашней глупости он краснеет до ушей!), что приятель всегда спит как убитый.

Глядя на F, он не ощущал в себе никакого особого

желания предаваться с ней любви в присутствии другой женщины или другого мужчины. Но почему же воспоминание о собственной жене, которая четырнадцать лет назад шумно вздыхала и кричала, думая при этом о лежавшем за тонкой стеной приятеле, почему это воспоминание столь растревожило теперь его сердце?

Его осенило: любовь втроем, вчетвером может быть возбуждающей лишь в присутствии любимой женщины. Только и только любовь может вызвать изумление и возбуждающий ужас при виде женского тела в объятиях другого мужчины. Старая нравоучительная истина, согласно которой сексуальная связь без любви лишена смысла, внезапно была подтверждена и обрела новое значение.

9

Утром следующего дня он полетел в Рим, куда звали его дела. К четырем часам он освободился. Он был переполнен неизбывной грустью: он думал о своей жене и думал не только о ней; все женщины, которых он знал, проходили перед его глазами, и казалось ему, что он их всех упустил, что испытал с ними гораздо меньше, чем мог и должен был испытать. Чтобы стряхнуть с себя эту печаль, эту неудовлетворенность, он посетил

галерею дворца Барберини (во всех городах он всегда посещал галереи), затем направился к площади Испании и по широкой лестнице вошел в парк Виллы Боргезе. На стройных постаментах, окаймляющих длинными рядами аллеи, стояли мраморные бюсты прославленных итальянцев. Их лица, застывшие в заключительной гримасе, были выставлены здесь как резюме их жизни. У Рубенса было особое понимание комизма памятников. Он улыбался. Вспомнились сказки детства: волшебник заколдовал людей во время пира, и все застыли в той позе, в которой как раз находились: открытые рты, лица, искривленные жеванием, обглоданная кость в руке. Или другая мысль: людям, убегавшим из Содома, запрещено было оглядываться под угрозой превращения в соляной столп. Эта библейская история дает ясно понять, что нет на свете большего ужаса, нет большего наказания, чем обратить мгновение в вечность, чем вырвать человека из времени, остановить его посреди естественного движения. Погруженный в эти мысли (он забыл о них в следующую секунду!), он вдруг увидел ее перед собой. Нет, то была не его жена (та, что шумно вздыхала, зная, что в соседней комнате ее слышит приятель), то был некто другой. Все решилось в

долю секунды. То есть он узнал ее в тот миг, когда они оказались рядом и когда следующий шаг неотвратимо отдалил бы их друг от друга.

354

Он должен был найти в себе мгновенную решимость тут же остановиться, обернуться (она на его движение мгновенно отреагировала) и заговорить с ней.

У него было ощущение, будто именно по ней он тосковал уже много лет, будто все это время искал ее по всему свету. В ста метрах от них было кафе, столы стояли на улице под кронами деревьев и роскошным голубым небом. Они сели друг против друга.

На улице у нее были черные очки. Он взял их пальцами, осторожно снял и положил на стол. Она не протестовала.

Он сказал:

— Из–за этих очков я с трудом узнал вас.

Они пили минеральную воду и не могли оторвать глаз друг от друга. Она была в Риме со своим мужем, и в ее распоряжении был едва ли час времени. Он знал, что, будь это возможно, они бы в тот же день, в ту же минуту отдались друг другу.

Как ее зовут? Как ее имя? Он забыл его, а спросить ее об этом было неловко. Он говорил ей (и

думал так абсолютно искренне), что все то время, пока они не виделись, у него было ощущение, что он ждет ее. Так как же он может признаться ей, что не знает ее имени?

Он сказал:

— Знаете, как мы вас называли?

— Нет, не знаю.

— Лютнистка.

— Лютнистка?

— Поскольку вы были нежны, как лютня. Это я придумал для вас такое имя.

Да, это он придумал его. Но не годы назад, когда они были коротко знакомы, а сейчас, в парке Виллы Боргезе, потому что ему нужно было назвать ее по имени и потому что она казалась ему элегантной и нежной, как лютня.

10

Что он знал о ней? Мало. Он смутно припоминал, что знал ее чисто зрительно по теннисному корту (ему могло быть двадцать семь, ей на десять меньше) и однажды пригласил ее в ночной клуб. В те годы в моде был танец, при котором мужчина и женщина, на расстоянии шага друг от друга, крутили бедрами и выбрасывали попеременно руки в сторону партнера. В этом движении она и запечатлелась в его памяти. Что же было в ней

такого особенного? Прежде всего, она не смотрела на Рубенса. Куда же она смотрела? В никуда. У всех танцоров руки были согнуты в локтях, и они выбрасывали вперед то одну, то другую руку. Она тоже делала такие движения, но несколько иначе: выбрасывая руку вперед, она при этом правый локоть чуть изгибала влево, а левый локоть чуть изгибала вправо. Казалось, что за этими круговыми движениями она хочет скрыть свое лицо. Словно хочет стереть его. Танец по тем временам считался относительно непристойным, и девушка, казалось, стремилась танцевать непристойно, при этом, однако, скрывая свою непристойность. Рубенс был околдован! Словно до этого времени он не видел ничего более нежного, прекрасного, более возбуждающего. Затем раздалось танго, и пары прижались друг к другу. Он не преодолел внезапного побуждения и положил руку девушке на грудь. Он и сам этого испугался. Что девушка сделает? Она не сделала ничего. Она продолжала танцевать с его рукой на груди и смотрела прямо перед собой. Он спросил ее чуть дрожащим голосом: «Кто–нибудь уже касался вашей груди?» И она таким же дрожащим голосом (да, это было так, словно кто–то слегка коснулся лютни) ответила: «Нет». И он, не опуская руки с ее груди,

вбирал в себя это «нет», как самое прекрасное слово на свете; он был восхищен; казалось ему, что он вблизи видит стыд; что видит стыд, каков он есть; что он мог бы коснуться его (впрочем, он касался его; ее стыд ушел в ее грудь, обитал в ее груди, был обращен в ее грудь). Почему он не встретился с нею больше? Сколько ни ломал он над этим голову, он не мог найти ответа. Он уже ничего не помнил.

11

Артур Шницлер, венский писатель на рубеже веков, написал прекрасную повесть «Фройляйн Эльза». Героиня повести — девушка, чей отец обременен долгами и ему грозит разорение. Кредитор обещает простить отцу долг, если его дочь предстанет перед ним обнаженной. После долгой внутренней борьбы Эльза соглашается, однако стыд ее настолько велик, что, выставив напоказ свою наготу, она сходит с ума и умирает. Постараемся правильно понять: это не нравоучительная повесть, цель которой обвинить дурного и распутного богача! Нет, это эротическая повесть, при чтении которой у нас захватывает дух: она дает нам возможность осознать власть, какую имела некогда красота: для кредитора она значила непомерную сумму денег, а для девушки — необо-

римый стыд и вытекающее из него возбуждение, граничащее со смертью.

На циферблате Европы повесть Шницлера обозначила важную веху: в конце пуританского девятнадцатого столетия эротическое табу было еще мощным, но падение нравов пробудило к жизни столь же мощное стремление это табу перешагнуть. Стыд и бесстыдство пересеклись в тот момент, когда они обладали одинаковой силой. В момент необычайного эротического напряжения. Вена познала его на рубеже веков. Это время уже не вернется.

Стыд означает, что мы противимся тому, чего хотим, и нам стыдно, что хотим то, чему мы противимся. Рубенс принадлежал к последнему европейскому поколению, воспитанному на чувстве стыда. Поэтому он испытывал такое возбуждение, когда положил руку на грудь девушки и тем самым разбудил ее стыдливость. Еще гимназистом однажды он прокрался в коридор, из окна которого была видна комната, где собрались в ожидании рентгена легких его одноклассницы, по пояс обнаженные. Одна из них увидела его и испустила крик. Остальные, накинув на себя верхнюю одежду, с гамом выбежали в коридор и погнались за ним. Рубенс пережил минуты

страха; внезапно они перестали быть одноклассницами, соученицами, подругами, способными шутить и флиртовать. На их лицах читалась настоящая злоба, к тому же помноженная на их количество, злоба коллективная, готовая его преследовать. Он убежал от них, но они, продолжая свою травлю, наябедничали на него директору школы. Он получил общественное порицание перед собравшимся классом. С явным презрением в голосе директор назвал его вуайером.

А когда ему было лет сорок, женщины, побросав в ящики шифоньеров бюстгальтеры, демонстрировали, лежа на пляжах, свои груди всему свету. Он ходил по побережью и отводил глаза от их неожиданной наготы, поскольку в нем был прочно укоренен старый императив: не травмировать женскую стыдливость! Когда он встречал какую–нибудь знакомую без бюстгальтера, к примеру жену приятеля или свою сослуживицу, он с изумлением обнаруживал, что стыдится не она, а он. Теряясь, он не знал куда глаза девать и старался отводить их от груди, но это оказывалось невозможным: обнаженная грудь бросалась в глаза, даже если мужчина смотрел на руки женщины или прямо ей в лицо. И потому он пытался смотреть на их грудь с такой же естественностью,

как, предположим, смотрел бы на их колено или лоб. Но и это было не просто, поскольку грудь — не лоб и не колено. Но что бы он ни делал, ему мнилось, будто эта обнаженная грудь обвиняет его, что он не до конца принимает ее наготу. И у него было явное ощущение, что женщины, которых он встречает на пляже, именно те самые, что двадцать лет назад донесли на него директору за подглядывание: они такие же злые и сбившиеся в толпу, требующие с такой же агрессивностью, да еще помноженной на их количество, признать их право демонстрировать свою наготу.

Смирившись кое–как с обнаженной грудью, он, однако, не мог избавиться от впечатления, что произошло нечто важное: на циферблате Европы снова пробил первый час: исчез стыд. И не просто исчез, но исчез так легко, чуть ли не в одну–единственную ночь, что мнилось, будто он и вовсе не существовал. Что мужчины просто его выдумывали, оказываясь лицом к лицу с женщинами. Что стыд был их иллюзией. Их эротической мечтой.

12

После развода с женой, как я уже сказал, Рубенс раз и навсегда очутился «за пределами любви». Эта формула ему нравилась. Часто про себя он

повторял (порой меланхолически, порой весело): проживу свою жизнь «за пределами любви».

Но территория, которую он назвал «за пределами любви», не походила на затененный, заброшенный двор роскошного дворца (дворца любви), нет, эта территория была обширной, богатой, красивой, бесконечно разнообразной и, возможно, больше и прекрасней самого дворца любви. По этой территории двигались разные женщины, одни были ему безразличны, другие его забавляли, в третьих он был влюблен. Необходимо понять этот кажущийся абсурд: за пределами любви существует любовь.

То, что вытеснило любовные похождения Рубенса «за пределы любви», было ведь не отсутствием чувства, а стремлением ограничить их чисто эротической сферой жизни, запретить им какое–либо воздействие на ход его жизни. Во всех определениях любви есть нечто общее: она всегда являет собой то существенное, что превращает жизнь в судьбу; вот почему истории, происходящие «за пределами любви», как бы прекрасны они ни были, неминуемо эпизодичны.

Однако повторяю: среди женщин Рубенса, пусть и вытесненных «за пределы любви» на территорию эпизодического, были такие, к которым

он испытывал нежность, о которых исступленно думал, или такие, что своим уходом вызывали в нем боль или ревность. Иными словами, и за пределами любви существовала любовь, а поскольку слово «любовь» было запрещено, все это были тайные связи и потому еще более притягательные.

Сидя в летнем кафе Виллы Боргезе напротив той, кого он называл лютнисткой, он сразу же понял, что это будет «любимая женщина за пределами любви». Он знал, что его не будут занимать ее жизнь, ее брак, ее семья, ее заботы, он знал, что встречаться они будут очень редко, но знал и то, что к ней он будет испытывать невыразимую нежность.

— Припоминаю еще и другое имя, какое я вам тогда дал, — сказал он. — Я называл вас готической девой.

— Я? Готическая дева?

Никогда он не называл ее так. Эти слова явились ему только что, когда они шли рядом по аллее к кафе. Ее походка вызывала в его памяти готические картины, которые он осматривал днем во дворце Барберини.

Он продолжал:

— Женщины на картинах готических масте-

ров двигаются, чуть выставив вперед живот. И опустив голову книзу. Ваша походка — походка готической девственницы. Лютнистки из оркестра ангелов. Ваша грудь обращена к небу, ваш живот обращен к небу, но ваша голова, знающая о тщете всего сущего, склоняется к праху.

Возвращались они той же аллеей скульптур, где встретились. Отрубленные головы славных усопших, посаженные на пьедесталы, надменно взирали на них.

У выхода из парка она простилась с ним. Они договорились, что он приедет к ней в Париж. Она назвала ему свою фамилию (фамилию мужа), номер телефона и уточнила, в какие часы она дома одна. Потом, улыбаясь, подняла к лицу черные очки:

— Теперь я уже могу их надеть?

— Да, — сказал Рубенс и долго смотрел ей вслед.

13

Болезненная тоска, до сих пор томившая его при мысли, что он безвозвратно потерял свою жену, превратилась в безумную увлеченность лютнисткой. В последующие дни он непрестанно думал о ней. Он вновь попытался воскресить все, что осталось от нее в его памяти, но не на-

шел ничего, кроме того единственного вечера в ночном клубе. В сотый раз всплывал в воспоминаниях один и тот же образ: они были среди танцующих пар, она на шаг от него. Она смотрела мимо него, в пустоту. Словно, сосредоточенная лишь на себе, не хотела видеть ничего вокруг. Словно на расстоянии шага от нее был не он, а большое зеркало, в котором она наблюдала себя. Она наблюдала в нем свои бедра, поочередно выдвигающиеся вперед, наблюдала свои руки, описывающие круги перед грудью и лицом, словно хотела таким образом скрыть их или вовсе стереть. И, словно стирая их, вновь позволяла им появиться, смотрясь при этом в воображаемое зеркало, возбужденная собственным стыдом. Ее танцевальные движения были пантомимой стыда: они постоянно указывали на скрытую наготу.

Неделю спустя после их встречи в Риме они увиделись в холле большого парижского отеля, переполненного японцами, чье присутствие вызвало в них ощущение приятной анонимности и отстраненности. Когда за ними закрылась дверь номера, он подошел к ней и положил руку на ее грудь:

— Так я касался вас, когда мы вместе танцевали, — сказал он. — Помните?

— Да, — сказала она, и это было так, будто кто–то слегка коснулся тела лютни. Было ли ей стыдно, как пятнадцать лет назад? И было ли ей стыдно пятнадцать лет назад? Стыдилась ли Беттина, когда Гёте коснулся ее груди на курорте Теплице? Был ли стыд Беттины всего лишь мечтой Гёте? Был ли стыд лютнистки всего лишь мечтой Рубенса? Как бы то ни было, этот стыд, пусть он и был лишь видимостью стыда, пусть он и был лишь воспоминанием о видимости стыда, этот стыд был здесь, был с ними в маленьком гостиничном номере, он завораживал их своею магией и придавал всему смысл. Он раздевал ее, и было так, словно он только что привел ее сюда из ночного клуба их молодости. Он обладал ею и видел, как она танцует: она прятала лицо за круговыми движениями рук и при этом смотрела на себя в воображаемое зеркало.

Они оба жадно отдались волнам того потока, что протекает сквозь всех женщин и всех мужчин, того мистического потока порочных представлений, в котором все женщины похожи друг на друга, но в котором одни и те же представления и слова в каждом отдельном случае обретают свою особую силу и упоительность. Он слушал, что говорит ему лютнистка, слу-

шал собственные слова, смотрел в нежное лицо готической девственницы, на нежные губы, произносящие непристойные слова, и чувствовал себя все более и более опьяненным.

Грамматическое время их порочных мечтаний было будущим: в будущем ты сделаешь то–то и то–то, мы изобразим такую и такую ситуацию… Это грамматическое будущее время превращает мечтания в постоянное обещание (обещание, которое в момент отрезвления перестает действовать, но поскольку никогда не забывается, то вновь и вновь становится обещанием). Поэтому неизбежно должен был настать день, когда в холле отеля он ждал ее со своим приятелем М. Поднявшись втроем в номер, они пили, развлекались, а затем стали ее раздевать. Когда они сняли с нее бюстгальтер, она обхватила руками груди, стараясь целиком прикрыть их ладонями. Потом они подвели ее (она была в одних трусиках) к зеркалу (облупленному зеркалу на двери шкафа), и она, встав между ними, прикрывая одной рукой одну грудь, а другой — другую, зачарованно смотрела в зеркало. Рубенс безошибочно определил, что в то время, как они смотрели на нее (на ее лицо и руки, прикрывавшие груди), она не замечала их, разглядывая, точно в гипнозе, самое себя.

14

Эпизод — существенное понятие «Поэтики» Аристотеля. Аристотель не любит эпизода. Из всех событий, на его взгляд, наихудшие (с точки зрения поэзии) — события эпизодические. Не будучи неизбежным результатом предшествующего или причиной последующего, эпизод находится вне каузальной цепи событий, каковой является история. Это всего лишь бесплодная случайность: если ее опустить, история не утратит своей внятной взаимосвязи, а в жизни персонажей она не способна оставить сколько–нибудь продолжительный след. Вы едете в метро на свидание с женщиной своей судьбы, но за минуту до того, как вам выйти, незнакомая девушка, которую вы раньше и не приметили (вы же ехали к женщине своей судьбы и ни на что вокруг не обращали внимания), в приступе внезапной дурноты теряет сознание и начинает падать. Вы стоите рядом и потому подхватываете ее и одно–два мгновения держите в объятиях, пока она не открывает глаза. Затем вы усаживаете ее на освобожденное для нее место, но поезд уже начинает тормозить, и вы едва ли не с нетерпением отстраняетесь от нее, чтобы успеть выйти и бежать к женщине своей судьбы. И с этой секунды девушка, которую

вы только что держали в объятиях, совершенно забыта. Таков типичный эпизод. Жизнь выстлана эпизодами, как матрас конским волосом, но поэт (по Аристотелю) вовсе не обойщик, и он должен всю набивку тщательно устранить из действия, хотя настоящая жизнь как раз и состоит из такой набивки.

Встреча с Беттиной для Гёте была малозначащим эпизодом; не только потому, что занимала количественно ничтожное место в его жизни, но и потому, что Гёте настороженно следил за тем, чтобы этот эпизод никогда не сыграл в ней причинной роли, и старательно держал его вне своей биографии. Но именно здесь мы как раз и обнаруживаем относительность понятия эпизода, относительность, до которой Аристотель не додумался: никто не может поручиться, что какая–нибудь совершенно эпизодическая случайность не заключает в себе потенциальной силы, которая приведет к тому, что однажды, неожиданно, эта случайность все же станет причиной целого ряда других событий. Если я и говорю «однажды», то это может быть и после смерти, примером чему был как раз триумф Беттины, ставшей одной из историй жизни Гёте уже после его смерти.

Итак, мы можем дополнить Аристотелево определение эпизода и сказать: нет такого эпизода, который априорно обречен остаться только эпизодом, ибо каждое событие, даже самое неприметное, заключает в себе скрытую возможность стать, рано или поздно, причиной других событий и превратиться, таким образом, в историю, в приключение. Эпизоды словно мины. Большинство из них никогда не взорвутся, но именно тот, самый неприметный, в один прекрасный день может превратиться в роковую для вас историю. На улице навстречу вам идет девушка и издали смотрит на вас взглядом, который кажется вам слегка безумным. Подходя к вам, она замедляет шаг и говорит: «Это вы? Я так давно ищу вас!» — и бросается вам на шею. Это та девушка, что упала в бесчувствии в ваши объятия, когда вы ехали в метро на свидание с женщиной своей судьбы, с которой тем временем вы поженились и произвели на свет ребенка. Но девушка, неожиданно встретившая вас на улице, давно надумала влюбиться в своего спасителя и сочла вашу случайную встречу знаком фортуны. Она будет по пять раз в день звонить вам, писать письма, навещать вашу жену и так долго объяснять ей, что любит вас и имеет на вас право, пока женщина

вашей судьбы не потеряет терпения, не отдастся в ярости мусорщику, а затем вместе с ребенком убежит от вас из дому. Вы же, дабы ускользнуть от влюбленной девицы, которая меж тем завалила вашу квартиру содержанием своих шифоньеров, отправитесь за океан, где умрете в отчаянии и нищете. Если бы наши жизни были бесконечны, подобно жизни античных богов, понятие «эпизод» утратило бы смысл, ибо в бесконечности каждое, даже самое ничтожное, событие получило бы свое продолжение и развернулось бы в историю.

Лютнистка, с которой танцевал Рубенс в двадцать семь лет, была для него эпизодом, архиэпизодом, абсолютным эпизодом до той самой минуты, пока пятнадцатью годами позже он не встретил ее случайно в парке Виллы Боргезе. Тогда вдруг забытый эпизод превратился в маленькую историю, но и эта история по отношению к жизни Рубенса осталась историей совершенно эпизодической, без малейшего шанса превратиться в часть того, что мы могли бы назвать его биографией.

Биография: цепь событий, которые мы считаем важными для нашей жизни. Однако что важно и что нет? Поскольку нам самим это не дано знать

(и нам даже на ум не придет задавать себе этот до глупости простой вопрос), мы считаем важным то, что принимают за важное другие, допустим, работодатель, чью анкету мы заполняем: дата рождения, занятия родителей, образование, прежние работы и места жительства (партийность, добавили бы на моей бывшей родине), свадьбы, разводы, рождение детей, серьезные болезни, успехи, неудачи. Ужасно, но это так: мы научились видеть собственную жизнь глазами официальных или полицейских анкет. Это уже небольшой бунт, если мы включим в свою биографию другую женщину, а не свою законную жену; такое исключение можно допустить лишь при условии, если эта женщина сыграла в нашей жизни особенно драматическую роль, чего Рубенс абсолютно не мог бы сказать о лютнистке. Впрочем, всем своим видом и поведением лютнистка отвечала образу женщины–эпизода: она была элегантна, но не бросалась в глаза, красива, но не ослепляла, расположена к плотской любви, но робка; она никогда не отягощала Рубенса исповедями о своей личной жизни, как и не драматизировала свое тактичное молчание и не обращала его в возбуждающее таинство. Это была истинная принцесса эпизода.

Встреча лютнистки с двумя мужчинами в парижском отеле была захватывающей. Занимались ли они любовью втроем? Не забудем, что лютнистка стала для Рубенса «любимой женщиной за пределами любви»; старый императив замедлять развитие событий, чтобы сексуальный заряд любви слишком быстро не исчерпал себя, снова ожил. Перед тем как повести ее обнаженную в постель, он дал знак своему приятелю тихо удалиться из комнаты.

Их разговор при соитии снова, стало быть, происходил в будущем грамматическом времени в форме обещания, которому, однако, никогда не суждено было исполниться: приятель М вскоре исчез из его поля зрения, и захватывающая встреча двух мужчин и одной женщины осталась эпизодом без продолжения. В дальнейшем Рубенс виделся с лютнисткой два–три раза в год, когда ему выпадал случай съездить в Париж. Затем случилось так, что возможности такой не представилось, и она вновь почти исчезла из его памяти.

15

Проходили годы; однажды он сидел со своим знакомым в кафе швейцарского города под Альпами, в котором жил. За столиком напротив он

заметил девушку, наблюдавшую за ним. Она была красива, с удлиненными чувственными губами (я охотно сравнил бы их с лягушачьими, если можно было бы сказать о лягушках, что они красивы), и ему почудилось, что это именно та женщина, по которой он всегда тосковал. Даже на расстоянии трех–четырех метров тело ее казалось ему приятным на ощупь, и в те мгновения он предпочитал его всем другим женским телам. Она смотрела на него так упорно, что он, завороженный ее взглядом, не воспринимал, что говорит ему собеседник, и с болью думал лишь о том, что через две–три минуты, как только он уйдет из кафе, он потеряет эту женщину навсегда.

Но он не потерял ее, ибо в тот момент, когда он, расплатившись за две чашки кофе, поднялся, поднялась и она и так же, как и мужчины, направилась к противоположному зданию, где в скором времени должен был состояться аукцион картин. Когда они переходили улицу, она оказалась на таком близком расстоянии от Рубенса, что нельзя было не заговорить с ней. Она держала себя так, словно ждала этого, не обращая никакого внимания на его знакомого, в молчаливом смущении шагавшего рядом с ними в зал аукциона. Когда торги окончились,

они оказались вместе в том же самом кафе. Располагая всего лишь получасовым перерывом, они спешили сказать друг другу все, что можно было сказать. Однако спустя минуту выяснилось, что говорить особенно не о чем, и эти полчаса длились дольше, чем они предполагали. Девушка была австралийской студенткой, с четвертушкой негритянской крови (по ней это было не видно, но тем охотнее она о том говорила), изучала у цюрихского профессора семиологию живописи и некоторое время в Австралии зарабатывала тем, что танцевала полуобнаженной в ночном заведении. Все эти сведения были занятными, но в то же время настолько чуждыми Рубенсу (почему она танцевала полуобнаженной в Австралии? почему изучала семиологию в Швейцарии? и что такое эта семиология?), что они не только не возбуждали в нем любопытства, а лишь заранее утомляли его, точно препятствие, которое придется преодолевать. Поэтому он обрадовался, когда эти полчаса минули; в этот момент снова ожило его первоначальное воодушевление (ибо она не переставала ему нравиться), и он условился встретиться с нею завтра.

В тот день все шло шиворот–навыворот: проснулся он с головной болью, почтальон

принес ему два неприятных письма, а при телефонном разговоре с одной конторой нетерпеливый женский голос отказал ему в просьбе. Когда студентка появилась на пороге, его дурное предчувствие оправдалось; с какой стати она оделась совершенно иначе, чем вчера? На ногах у нее были огромные кроссовки, над кроссовками торчали толстые носки, над носками — серые полотняные брюки, удивительно укорачивавшие ее фигуру, над брюками — куртка; только над курткой он наконец с удовольствием остановил взгляд на ее лягушачьих губах, которые по–прежнему были красивы, но только если отвлечься от всего, что виднелось под ними.

Однако то, что одежда не шла ей, не было уж так существенно (это ничуть не мешало оставаться ей красивой женщиной), куда больше его беспокоило собственное недоумение: почему девушка, отправляясь на свидание с мужчиной, с которым хочет заниматься любовью, не старается одеться так, чтобы понравиться ему? не стремится ли она дать ему понять, что одежда — нечто внешнее, не имеющее никакого значения? или считает свою куртку элегантной, а огромные кроссовки соблазнительными? или просто ни во что не ставит мужчину, к которому идет на свидание?

Как бы заранее прося извинения, если их встреча не выполнит всех своих обещаний, он сообщил ей, что сегодня у него скверный день: в нарочито шутливом тоне он перечислил ей все неприятности, которые с утра обрушились на него. И она улыбнулась ему своими красивыми вытянутыми губами: «Любовь — лекарство от всех дурных предзнаменований». Его заинтересовало слово «любовь», от которого он отвык. Непонятно, что она подразумевает под ним. Телесный акт любви или чувство любви? В то время как он думал над этим, она быстро в уголке комнаты разделась и шмыгнула в постель, оставив на стуле свои полотняные брюки, а под ним — огромные кроссовки с засунутыми в них толстыми носками, кроссовки, которые здесь, в квартире Рубенса, на короткий миг прервали свое долгое странствие по австралийским университетам и европейским городам.

Это была невероятно спокойная и молчаливая любовь. Я сказал бы, что Рубенс сразу вернулся в период атлетической немоты, но слово «атлетический» здесь было не вполне уместно, поскольку он уже давно утратил былое молодеческое честолюбие — продемонстрировать свою физическую и сексуальную силу; занятие, которому они

предавались, казалось, носило скорее символический, нежели атлетический характер. Однако же Рубенс не имел ни малейшего понятия, что должны были символизировать совершаемые ими движения. Негу? любовь? здоровье? радость жизни? распутство? дружбу? веру в Бога? просьбу о долголетии? (Девица изучала семиологию живописи. Так не лучше ли ей сообщить ему кое–что о семиологии телесной любви?) Он совершал механические движения и впервые в жизни ощущал, что не знает, зачем совершает их.

Когда они посреди любовных занятий сделали паузу (Рубенсу пришло на ум, что ее профессор семиологии несомненно тоже делает десятиминутную паузу посреди двухчасового семинара), девица произнесла (все таким же спокойным, уравновешенным голосом) фразу, в которой снова возникло непостижимое слово «любовь»; Рубенсу представилась такая картина: из глубины Вселенной опускаются на Землю прекрасные женские создания. Их тела походят на тела земных женщин, однако они абсолютно совершенны, ибо планета, с которой они приходят, не знает болезней, и тела там без всяких изъянов. Однако земные мужчины, которые с ними встречаются, ничего не знают об их внеземном

прошлом и потому совсем не понимают их; они никогда не смогут узнать, какой отзвук находят у этих женщин их слова и их действия; они никогда не узнают, какие чувства скрываются за их красивыми лицами. С женщинами, до такой степени загадочными, невозможно было бы предаваться любви, думал Рубенс. Потом поправил себя: очевидно, наша сексуальность настолько автоматизирована, что в конце концов она сделала бы возможной телесную любовь и с внеземными женщинами, но эта любовь была бы за гранью какого–либо вожделения, любовный акт, превращенный в чисто физическое упражнение, лишенное чувства и порочности.

Перемена близилась к концу, вторая половина любовного семинара должна была вот–вот начаться, и ему хотелось что–то сказать, какую–нибудь несуразность, которая вывела бы ее из равновесия, но он знал, что не решится на это. Он ощущал себя иностранцем, которому приходится перебраниваться на языке, каким он недостаточно владеет; он не может выкрикнуть никакого ругательства, потому что противник невинно спросил бы его: «Что вы хотели сказать, месье? Я не понял вас!» И потому Рубенс, так и не обронив никакой несуразности, еще раз овладел ею в

безмолвной невозмутимости.

Потом он проводил ее на улицу (он не знал, довольна она или разочарована, но выглядела она скорее довольной) и был настроен уже никогда больше с нею не видеться; он понимал, что это уязвит ее, ибо столь внезапную потерю интереса у него (она все же не могла не чувствовать, как еще вчера он был ею околдован!) она будет воспринимать как поражение, тем более горькое, чем оно необъяснимее. Он хорошо представлял себе, что по его вине ее кроссовки отправятся теперь в странствие чуть более меланхоличным шагом, чем до сих пор. Он простился с ней, а когда она исчезла за углом улицы, его охватила сильная, мучительная тоска по женщинам, которых он знал. Это было резко и неожиданно, словно болезнь, возникающая сразу, без предупреждения.

Постепенно он начал понимать, в чем дело. На его циферблате стрелка достигла новой цифры. Он слышал, как бьют часы, видел, как на больших курантах открывается окошко и с помощью таинственного средневекового механизма в них появляется кукла девушки в огромных кроссовках. Ее появление означало, что его тоска сделала полный поворот: он уже не будет больше желать новых женщин; он будет желать лишь тех жен-

щин, которых когда–то знал; отныне его желание будет одержимо прошлым.

По улицам ходили красивые женщины, и он удивлялся тому, что не обращает на них внимания. Я даже полагаю, что многие заглядывались на него, но он не замечал этого. Когда–то он жаждал только новых женщин. Он жаждал их до такой степени, что с иными из них бывал близок лишь однажды, не больше. И словно расплачиваясь за эту свою одержимость новизной, за это невнимание ко всему, что было долгим и постоянным, за эту безрассудную нетерпеливость, что гнала его все вперед, теперь он хотел обернуться, отыскать женщин своего прошлого, повторить их любовную связь, продолжить ее, извлечь из нее все, что осталось неизвлеченным. Он понял, что отныне великие страсти позади, и если ему хочется новых страстей, то искать их придется в прошлом.

16

Совсем молодым он был стыдлив и всегда старался отдаваться любви в темноте. Но в темноте он широко открывал глаза, дабы хоть что–то увидеть в слабом мерцании света, пробивавшемся сквозь опущенные жалюзи.

Затем он не только привык к свету, но и нуждал-

ся в нем. И если обнаруживал, что у партнерши закрыты глаза, то заставлял ее открыть их.

А однажды он с удивлением обнаружил, что отдается любви при свете, но с закрытыми глазами. Он отдавался любви и воспоминаниям.

В темноте — с открытыми глазами. На свету — с открытыми глазами. На свету — с закрытыми глазами. Циферблат жизни.

17

Он взял лист бумаги и попробовал выписать в столбик имена женщин, которых когда–либо знал. И сразу же наткнулся на первую неудачу. Лишь в редких случаях он мог вспомнить их имя и фамилию, чаще всего не помнил ни того, ни другого. Женщины стали (незаметно, неуловимо) женщинами без имен. Возможно, переписывайся он с ними, их имя задержалось бы у него в памяти, ему пришлось бы часто писать его на конверте, но «за пределами любви» любовной переписки не бывает. Пожалуй, если бы он привык называть их по имени, он бы запомнил его, но с момента злоключения своей брачной ночи он вознамерился называть в дальнейшем всех женщин лишь банальными нежными прозвищами, которые любая из них без всякого подозрения может всегда принять на свой счет.

Он исписал полстраницы (эксперимент не требовал полного списка), заменяя часто забытое имя иной характеристикой («веснушчатая» или «учительница», в таком духе), а затем попытался вспомнить у каждой из них ее curriculum vitae. И тут еще большая неудача! Об их жизни он не знал ровно ничего! Тогда он упростил свою задачу, ограничившись лишь одним вопросом: кто были их родители? За исключением одного случая (он знал отца прежде, чем познакомился с дочерью), он не имел о них ни малейшего представления. А ведь в жизни каждой из них родители несомненно занимали огромное место! Наверняка они ему много рассказывали о них! Какое же значение, выходит, он придавал жизни своих подруг, если не считал нужным запомнить даже эти самые элементарные сведения?

Пришлось допустить (хотя не без доли неловкости), что женщины значили для него не более как эротический опыт. Ну что ж, по крайней мере этот опыт он попытается воскресить в памяти! Наудачу он задержал свое внимание на женщине (без имени), обозначенную им как «докторша». Что же происходило тогда, когда он впервые сошелся с ней? Вспомнилась ему тогдашняя его квартира. Они вошли, и она тут же стала искать

телефон; затем в присутствии Рубенса извинялась перед кем–то неизвестным, что занята непредвиденным делом и не может прийти. Они оба посмеялись над этим и отдались любви. Удивительно: этот смех он слышит поныне, а от страсти обладания не сохранил никаких воспоминаний. Где это происходило? На ковре? в кровати? на диване? Какой она была при этом? Сколько раз они потом встретились? Три раза или тридцать? И как случилось, что он перестал с ней общаться? Помнит ли он хотя бы какой–нибудь обрывок из их разговоров, которые наверняка же заполнили пространство по меньшей мере в двадцать, а возможно, и в сотню часов? Он смутно вспоминал, что она часто рассказывала ему о своем женихе (содержание этих сведений он, конечно, забыл). Удивительная вещь: в его памяти не осталось ничего, кроме того, что у нее был жених. Любовный акт для него значил меньше, чем эта лестная и глупая подробность, что ради него она наставляла рога кому–то другому.

Он с завистью думал о Казанове. Не о его эротических подвигах, на которые в конце концов способны многие мужчины, а о его несравненной памяти. Примерно сто тридцать женщин, вырванных из забвения, с их именами, с их лицами,

с их жестами, с их высказываниями! Казанова: утопия памяти. До чего жалок итог Рубенса в сравнении с ним! Когдато в начале своей зрелости, отказавшись от живописи, он утешал себя тем, что познание жизни для него значит больше, чем борьба за прочное положение. Жизнь его коллег, гонявшихся за успехом, представлялась ему столь же агрессивной, сколь монотонной и пустой. Он верил, что эротические похождения откроют ему путь в самую сердцевину жизни полной и настоящей, богатой и таинственной, пленительной и конкретной, словом, той, какую он мечтал объять. И вдруг он понял, что ошибался: вопреки всем любовным похождениям его знание людей точно такое же, каким оно было у него в пятнадцать лет. Все это время он лелеял в себе уверенность, что за спиной у него богатая жизнь; но слова «богатая жизнь» были лишь абстрактным утверждением; когда он попытался раскрыть, что же конкретного содержит это богатство, он нашел лишь пустыню, по которой гуляет ветер.

Стрелка на курантах указала ему, что отныне он будет одержим одним прошлым. Но может ли быть одержим прошлым тот, кто видит в нем лишь пустыню, по которой ветер гонит несколь-

ко обрывков воспоминаний? Значит ли это, что он будет одержим лишь несколькими обрывками воспоминаний? Впрочем, не станем преувеличивать: хотя о молодой докторше он и не помнил ничего толком, иные женщины возникали перед его глазами с неубывающей выразительностью.

Когда я говорю, что они возникали перед ним, то как же представить себе это возникновение? Рубенс осознал одну любопытную вещь: память не снимает фильм, память фотографирует. То, что он сохранил от каждой из женщин, в лучшем случае представляло ряд мысленных фотографий. Он видел перед собой не связанные движения этих женщин, даже их короткие жесты представали не в своей плавной протяженности, а в оцепенелости доли секунды. Эротическая память сохранила для него небольшой альбом порнографических фотографий, но никак не порнографический фильм. Да и говорить об альбоме фотографий было бы преувеличением, поскольку у него осталось их всего каких–нибудь семь–восемь; эти фотографии были прекрасны, зачаровывали его, но их число было все же печально ограниченным: семь–восемь долей секунды, вот к чему свелась в его воспоминаниях вся его эротическая жизнь, которой он хотел когда–то посвятить все свои

силы, все дарование.

Я воображаю себе Рубенса сидящим за столом и подпирающим голову ладонью: он напоминает «Мыслителя» Родена. О чем же он думает? Смирившись с тем, что его жизнь свелась к сексуальным переживаниям, а те в свою очередь — к семи неподвижным образам, он хотел бы по крайней мере надеяться, что в каком–то уголке памяти сохранилась еще восьмая, девятая, десятая фотография. Поэтому он сидит, подперев голову ладонью, и вновь вспоминает отдельных женщин, пытаясь к каждой из них подобрать забытую фотографию.

При этом он обнаруживает еще одну любопытную деталь: некоторые его любовницы были чрезвычайно смелы в своей эротической активности, к тому же внешне очень эффектны; и тем не менее они оставили в его душе совсем мало возбуждающих фотографий, а то и вовсе не оставили ни одной. Гораздо больше в воспоминаниях его привлекали женщины, чья эротическая активность была приглушенной, а внешность — неброской: те, которыми он тогда, скорее, не дорожил. Словно память (и забвение) осуществляла радикальную переоценку всех ценностей; то, что было в его эротической жизни желанным, пред-

намеренным, вызывающим, запланированным, утрачивало цену, и, напротив, приключения неожиданные, не претендовавшие на какую–то исключительность, в воспоминаниях становились неоценимыми.

Он думал о женщинах, которых возвеличила его память: одна из них уже определенно перешагнула возраст, когда еще хотелось бы ее встретить; другие жили в условиях, крайне затруднявших встречу. Но среди них была лютнистка. Уже восемь лет, как он не видел ее. Всплывали три мысленные фотографии. На первой из них она стояла на шаг от него, с рукой, застывшей в движении, которым она, казалось, стирала свои черты. Другая фотография запечатлела мгновение, когда, положив руку на ее грудь, он спросил ее, касался ли кто–нибудь ее так же, и она тихим голосом, устремив перед собой взгляд, сказала ему «нет!». И наконец, он видел ее (эта фотография была самой захватывающей из всех) стоящей между двумя мужчинами перед зеркалом и прикрывающей ладонями обнаженные груди. Удивительно, что на всех трех фотографиях на ее красивом и неподвижном лице был один и тот же взгляд: устремленный вперед, минуя Рубенса.

Он сразу же отыскал ее телефонный номер, который когда–то знал наизусть. Она говорила с ним, словно они расстались вчера. Он приехал к ней в Париж (на сей раз он не нуждался ни в какой оказии, он приехал только ради нее) и встретился с нею в том же отеле, где много лет назад она стояла между двумя мужчинами и прикрывала ладонями груди.

18

У лютнистки был все тот же силуэт, та же прелесть движений, ее черты не утратили ни капли своего благородства. Однако что–то изменилось: при близком рассмотрении ее кожа уже не была свежей. Это не могло ускользнуть от Рубенса; однако странная вещь: мгновения, когда он это осознавал, были необыкновенно короткими, они длились не более двух–трех секунд; а затем лютнистка снова возвращалась в свой образ, такой, каким его уже давно нарисовала память Рубенса: она скрывалась за своим образом.

Образ: Рубенс давно знает, что это значит. Прячась за спину одноклассника, сидящего на передней парте, он тайком рисовал карикатуру на учителя. Потом оторвал глаза от рисунка; лицо учителя в непрерывном мимическом движении на рисунок не походило. И тем не менее,

когда учитель исчез из его поля зрения, он не мог представить его (ни тогда, ни теперь) иначе, чем в виде своей карикатуры. Учитель навсегда скрылся за своим образом.

На выставке одного знаменитого фотографа он видел снимок человека, поднимающегося с тротуара с окровавленным лицом. Незабываемая, загадочная фотография! Кто был этот человек? Что случилось с ним? Вероятно, банальное уличное происшествие, думал Рубенс: споткнулся, упал, а тут вдруг откуда ни возьмись фотограф. Ничего не предполагавший в ту минуту человек поднялся, обмыл в ближайшем бистро лицо и пошел восвояси, к жене. А в этот момент, упоенный своим рождением, его образ отделился от него и двинулся в противоположную сторону, чтобы пережить собственные приключения, собственную судьбу.

Человек может скрыться за своим образом, может навсегда исчезнуть за своим образом, может полностью отделиться от своего образа, но он никогда не бывает своим образом. Лишь благодаря трем мысленным фотографиям Рубенс позвонил лютнистке после восьми лет разлуки. Но кто такая лютнистка сама по себе, вне своего образа? Он знает об этом мало и не хочет знать

больше. Я представляю себе их встречу спустя восемь лет: они сидят друг против друга в холле большого парижского отеля. О чем они говорят? Обо всем на свете, только не о жизни каждого из них. Ведь если бы они знали друг друга слишком близко, между ними выросла бы стена ненужных сведений, которые бы отдаляли их друг от друга. Они знают друг о друге лишь самую необходимую малость и едва ли не гордятся тем, что отодвинули свою жизнь в тень, дабы их встреча тем больше была залита светом и исторгнута из времени и из всех взаимосвязей.

Переполненный нежностью, он смотрит на лютнистку и счастлив, что она пусть слегка и постарела, но по–прежнему остается близкой своему образу. С каким–то умиленным цинизмом он говорит себе: ценность физически присутствующей лютнистки в том, что она по–прежнему способна сливаться со своим образом. И он с нетерпением ждет той минуты, когда лютнистка дополнит этот образ своим живым телом.

19

Они вновь встречались так, как когда–то, один, два, три раза в год. И снова проходили годы. Однажды он позвонил ей и сообщил, что через две недели приедет в Париж. Она сказала, что у нее

не будет времени.

— Я могу отложить поездку на неделю, — предложил Рубенс.

— У меня все равно не будет времени.

— А когда же ты сможешь?

— Теперь уже нет, — сказала она с заметным замешательством, — теперь уже долго не получится…

— Случилось что–нибудь?

— Нет, ничего не случилось.

Оба были смущены. Похоже, лютнистка больше не хочет видеться с ним, но ей неловко сказать ему об этом прямо. И в то же время эта догадка была так неправдоподобна (их встречи были всегда прекрасны, без малейшей тени), что Рубенс продолжал задавать ей вопросы, стремясь понять причину ее отказа. Но поскольку их связь с самого начала была основана на полной обоюдной независимости, исключавшей всякое принуждение, он запретил себе утруждать ее далее, пусть даже вопросами.

Итак, он закончил разговор, добавив лишь:

— Но я могу тебе еще позвонить?

— Конечно. Отчего же нет? Он позвонил ей через месяц:

— У тебя все еще нет времени повидаться со

мной?

— Не сердись на меня, — сказала она. — Ты тут ни при чем.

Он задал ей тот же вопрос, что и в прошлый раз:

— Случилось что–нибудь?

— Нет, ничего не случилось, — ответила она. Он помолчал. Не знал, что сказать.

— Тем хуже, — сказал он, печально улыбаясь в трубку.

— В самом деле ты тут ни при чем. С тобой это никак не связано. Это касается только меня.

Ему показалось, что в этих словах открывается для него какая–то надежда:

— Тогда все это вздор! В таком случае мы должны увидеться!

— Нет, — возразила она.

— Если бы я был уверен, что ты уже не хочешь меня видеть, я не сказал бы ни слова. Но ты же говоришь, это касается только тебя! Что с тобой происходит? Нам надо поговорить!

Но, произнеся это, он тотчас подумал: ах нет, это всего лишь ее деликатность, которая мешает ей сказать ему настоящую причину, даже слишком простую: он ей уже неинтересен. Она настолько деликатна, что не решается это сказать. А потому

он не вправе ее уговаривать. Тем самым он стал бы ей неприятен и нарушил бы неписаный договор, который повелевал каждому из них никогда не требовать того, что нежелательно другому.

И потому, когда она снова сказала «прошу тебя, не...», он больше не настаивал.

Он положил трубку и вдруг вспомнил австралийскую студентку в огромных кроссовках. Она также была отвергнута по причине, ей неведомой. Если бы ему представилась возможность, он стал бы ее утешать теми же словами: «Ты тут ни при чем. Это с тобой никак не связано. Это касается только меня». Он вдруг интуитивно почуял, что история с лютнисткой кончилась и ему никогда не понять причины. Точно так же, как и австралийской студентке никогда не понять, почему кончилась ее история. Его туфли будут бродить по свету чуть более меланхолично, чем до сих пор. Так же, как и огромные кроссовки австралийки.

20

Период атлетической немоты, период метафор, период непристойной правды, период испорченного телефона, мистический период — все было далеко позади. Стрелки обошли весь циферблат его сексуальной жизни. Теперь он оказался вне

времени своего циферблата. Но оказаться вне времени циферблата не означает ни конца, ни смерти. На циферблате европейской живописи также пробило полночь, однако живописцы продолжают писать. Быть вне времени циферблата означает лишь, что ничего нового или важного больше не произойдет. Рубенс продолжал встречаться с женщинами, но они для него уже не представляли особой значимости. Чаще всего виделся он с молодой женщиной G, которая отличалась тем, что с удовольствием уснащала речь вульгарными словами. Многие женщины употребляли их. Это было в духе времени. Изрекая «говно», «насрать», «трахать», они тем самым давали понять, что не относятся к старому поколению, консервативно воспитанному, что они свободны, эмансипированны, современны. Но несмотря на это, когда он коснулся G, она закатила глаза и превратилась в молчаливую праведницу. Близость с ней всегда была долгой, едва ли не бесконечной, потому что она достигала страстно желаемого оргазма лишь с большим усилием. Лежа навзничь, закрыв глаза, она трудилась, и пот градом катился по ее телу и лбу. Примерно так Рубенс представлял себе агонию: человек в жару и мечтает лишь о том, чтобы уж

настал конец, а его все нет и нет. В первые два–три свидания он пытался ускорить развязку тем, что нашептывал ей непристойности, но, поскольку она, как бы в знак протеста, отворачивала лицо, при последующих встречах он уже молчал. Зато она после двадцати, тридцати минут соития всегда говорила (и голос ее звучал для Рубенса недовольно и требовательно): «Сильнее, сильнее, еще, еще!» — а он именно тогда обнаруживал, что у него нет больше сил, что он обладает ею слишком долго и в слишком быстром темпе, чтобы еще усилить свои удары; он соскальзывал с нее и прибегал к средству, которое считал одновременно и капитуляцией, и технической виртуозностью, достойной патента: он запускал в нее руку и мощно снизу вверх двигал пальцами; извергался гейзер, начиналось наводнение, и она обнимала его и осыпала нежными словами.

Их интимные часы работали поразительно асинхронно: когда он испытывал нежность, она говорила грубости; когда его тянуло говорить непристойности, она упрямо молчала; когда ему хотелось молчать и спать, она внезапно становилась многословно–нежной.

Она была красива и на много лет моложе его! Рубенс полагал (скромно), что это лишь ловкость

его руки заставляет ее приходить по первому его зову. Он был признателен ей за то, что она в течение долгих минут омытого потом молчания позволяет ему с закрытыми глазами мечтать на ее теле.

21

Рубенсу как–то попал в руки старый альбом фотографий американского президента Джона Кеннеди: одни цветные фотографии, было их по меньшей мере штук пятьдесят, и на всех (на всех без исключения!) президент смеялся. Не улыбался, а именно смеялся! У него был открыт рот и обнажены зубы. В этом не было ничего необычного, таковы сейчас фотографии, но, пожалуй, то, что Кеннеди смеялся на всех фотографиях, что ни на одной из них у него не был закрыт рот, Рубенса поразило. Несколькими днями позже он оказался во Флоренции. Он стоял перед «Давидом» Микеланджело и представлял себе, что это мраморное лицо смеется, как Кеннеди. Давид, этот образец мужской красоты, сразу превратился в дебила! С тех пор он часто домысливал у фигур на знаменитых полотнах смеющийся рот; это был любопытный эксперимент: гримаса смеха способна была уничтожить любую картину! Представьте себе, как едва приметная улыбка

Моны Лизы превращается в смех, обнажающий ее зубы и десны!

Притом что он нигде не провел столько времени, как в галереях, ему пришлось ждать фотографии Кеннеди, чтобы осознать эту простую вещь: великие живописцы и скульпторы от античности до Рафаэля, а то, пожалуй, и до Энгра избегали изображать смех и даже улыбку. Конечно, лица этрусских скульптур улыбаются все, но эта улыбка являет собой не мимическую реакцию на моментальную ситуацию, а постоянное состояние лица, выражающее вечное блаженство. Для античного скульптора и для живописца позднейших времен красивое лицо мыслилось лишь в своей неподвижности.

Лица утрачивали свою неподвижность, рот открывался лишь тогда, когда живописец хотел постигнуть зло. Или зло скорби: лица женщин, склоненных над телом Иисусовым; открытые уста матери на картине Пуссена «Избиение младенцев». Или зло порока: картина Гольбейна «Адам и Ева». У Евы опухшее лицо, полуоткрытый рот и видны зубы, которые только что надкусили яблоко. Адам рядом с ней — еще человек перед грехом: он красив, на лице его спокойствие, рот закрыт. На картине Корреджо «Аллегория

порока» все улыбаются! Живописец, изображая порок, должен был нарушить невинное спокойствие лица, растянуть рот, деформировать черты улыбкой. На этой картине смеется единственное лицо: ребенок! Но это не смех счастья, каким его изображают дети на фоторекламах пеленок или шоколада! Этот ребенок смеется, потому что он развращен!

Только у голландцев смех становится невинным: «Шут» Франса Хальса или его «Цыганка». Голландские живописцы жанровых картин — первые фотографы. Лица, которые они пишут, находятся за пределами уродства или красоты. Проходя по залу голландцев, Рубенс думал о лютнистке и говорил себе: лютнистка — не модель для Хальса; лютнистка — модель художников, искавших красоту в недвижной поверхности черт. Тут вдруг какие–то посетители чуть было не сбили его с ног; все музеи были переполнены толпами зевак, как некогда зоологические сады; туристы, алчущие аттракционов, рассматривали картины, словно это были хищники в клетках. Живопись, размышлял Рубенс, чувствует себя неуютно в этом столетии, так же как неуютно чувствует себя и лютнистка; лютнистка принадлежит давно ушедшему миру, в котором красота

не смеялась.

Но как объяснить, что великие живописцы исключили смех из царства красоты? Рубенс говорит себе: несомненно, лицо красиво потому, что в нем явственно присутствует мысль, тогда как в минуту смеха человек не мыслит. Но так ли это? Не является ли смех отблеском мысли, которая как раз постигла комическое? Нет, говорит себе Рубенс: в ту секунду, когда человек постигает комическое, он не смеется; смех следует лишь затем как телесная реакция, как судорога, в которой мысль уже не присутствует вовсе. Смех — судорога лица, а в судороге человек не владеет собой, им владеет нечто, что не является ни волей, ни разумом. И в этом причина, по которой античный скульптор не изображал смеха. Человек, который не владеет собой (человек вне разума, вне воли), не мог считаться красивым.

Если же наша эпоха вопреки духу великих живописцев сделала смех привилегированным выражением человеческого лица, то, стало быть, отсутствие воли и разума стало идеальным состоянием человека. Можно было бы возразить, что судорога, какую демонстрируют нам фотопортреты, притворна и, следовательно, вызвана разумом и волей: Кеннеди, смеющийся перед объ-

ективом, не реагирует на комическую ситуацию, а весьма осознанно открывает рот и обнажает зубы. Но это лишь доказательство того, что судорога смеха (состояние вне разума и вне воли) была возведена современниками в идеальный образ, за которым они решили скрыться.

Рубенс думает: смех — самое демократическое выражение лица; своими неподвижными чертами мы отличаемся друг от друга, но в судороге мы все одинаковы.

Бюст смеющегося Юлия Цезаря немыслим. Но американские президенты отходят в вечность, скрываясь за демократической судорогой смеха.

22

Он снова был в Риме. В галерее он надолго задержался в зале готических картин. Одна из них заворожила его. Это было «Распятие». Что же он видел? На месте Иисуса он видел женщину, которую только что распяли. Как и Христос, она была обмотана вокруг бедер белой тканью. Стопами она опиралась о деревянный выступ, меж тем как палачи толстыми веревками привязывали ее лодыжки к бревну. Водруженный на вершине крест был виден со всех сторон. Вокруг собрались толпы солдат, простолюдинов, ротозеев, пялив-ших глаза на выставленную напоказ женщину.

То была лютнистка. Чувствуя все эти взгляды на своем теле, она прикрывала ладонями свои груди. Слева и справа от нее также были водружены два креста, и к каждому из них был привязан разбойник. Первый склонился к ней, взял ее руку, оторвал от груди и растянул так, что ее тыльная сторона стала касаться конца горизонтального плеча креста. Другой разбойник схватил другую руку и проделал с ней то же самое, так что обе руки лютнистки были распростерты во всю ширь. Ее лицо по–прежнему оставалось неподвижным. А глаза были устремлены в бесконечную даль. Но Рубенс знал, что она смотрит не в бесконечную даль, а в огромное воображаемое зеркало, помещенное перед ней между небом и землей. Она видит в нем свой собственный образ, образ женщины на кресте с распростертыми руками и обнаженной грудью. Она выставлена на обозрение толпе, необъятной, кричащей, звериной, и, возбужденная, смотрит на себя вместе с нею.

От этого зрелища Рубенс не мог отвести глаз. А отведя, подумал: это мгновение должно было бы войти в историю религии под названием «Видение Рубенса в Риме». До самого вечера он был под воздействием этой мистической минуты. Вот уже четыре года, как он не звонил лютнистке, но

в этот день он не в силах был совладать с собой. И тотчас, как только вернулся в отель, набрал ее номер. На другом конце линии отозвался незнакомый женский голос. Он неуверенно сказал:

— Я мог бы поговорить с мадам?.. — Он назвал ее по фамилии мужа.

— Да, это я, — сказал голос на другом конце. Он назвал имя лютнистки, и женский голос ответил ему, что та, которой он звонит, умерла.

— Умерла? — оцепенел он.

— Да. Аньес умерла. Кто у телефона?

— Ее приятель.

— Могу я узнать ваше имя?

— Нет, — сказал он и повесил трубку.

23

Если кто–то умирает на киноэкране, тотчас раздается элегическая музыка, но, если в нашей жизни умирают те, кого мы знали, никакой музыки не слышно. Слишком мало смертей, способных глубоко потрясти нас, разве что две–три за жизнь, не больше. Смерть жен–шины, которая была всего лишь эпизодом, поразила и опечалила Рубенса, однако потрясти его не могла, тем паче что эта женщина ушла из его жизни еще четыре года назад и ему пришлось тогда с этим смириться.

И все–таки: пусть в его жизни она теперь отсутствовала ничуть не более, чем до сих пор, с ее смертью, однако, все изменилось. Всякий раз, когда он вспоминал о ней, он не мог не думать о том, что сталось с ее телом. Опустили его в гробу в землю? Или сожгли? Перед его глазами возникало неподвижное лицо Аньес, рассматривающей самое себя огромными глазами в воображаемом зеркале. Он видел медленно приспускающиеся веки, и это лицо внезапно становилось мертвым. Именно потому, что оно было таким спокойным, переход из бытия в небытие был плавным, гармоническим, красивым. Но затем он стал представлять себе, что с этим лицом происходило далее. И это было страшно.

К нему пришла G. Как всегда, они отдались долгой, молчаливой любви, и, как всегда, в эти предолгие минуты вспомнилась ему лютнистка: как всегда, она стояла перед зеркалом с обнаженной грудью и смотрела перед собой недвижным взглядом. В эти мгновения Рубенс подумал о том, что она, возможно, уже года два–три мертва; что уже выпали волосы, пусты глазницы. Он хотел быстро избавиться от этого наваждения, ибо знал, что иначе не сможет заниматься любовью. Он гнал из головы мысли о лютнистке, принуждая

себя сосредоточиться на G, на ее учащенном дыхании, но мысли не слушались и будто нарочно подсовывали ему образы, которые он не хотел видеть. А послушавшись наконец и перестав показывать лютнистку в гробу, стали показывать ее в пламени, и было это точно так, как когда–то ему рассказывали: горящее тело (какой–то непонятной ему физической силой) приподнималось, и лютнистка сидела в печи. А в самый разгар видения этого сидящего в пламени тела вдруг раздался недовольный и требовательный голос: «Сильнее! Сильнее! Еще! Еще!» Ему пришлось прервать встречу. Он извинился перед G, сославшись на то, что он не в форме.

Потом он подумал: от всего, что я пережил, у меня осталась лишь одна фотография, как бы содержащая в себе самое интимное, самое глубинно сокрытое из всей моей эротической жизни, как бы содержащая ее квинтэссенцию. Пожалуй, в последнее время я любил лишь для того, чтобы эта фотография оживала в моих воспоминаниях. А теперь эта фотография в пламени, и красивое неподвижное лицо корежится, морщится, чернеет и наконец рассыпается в прах.

G должна была прийти неделей позже, и Рубенс уже заранее опасался видений, которые в час

обладания обрушатся на него. Надеясь прогнать из мыслей лютнистку, он снова сел к столу, подперев голову ладонью, и стал искать в памяти иные сохранившиеся от его эротической жизни фотографии, которые могли бы вытеснить образ лютнистки. Кое–какие ожили, и он был приятно удивлен, обнаружив, что они все еще столь красивы и возбуждающи. Но в глубине души он чувствовал, что, как только начнет предаваться любви с G, его память откажется показывать ему их и вместо этого подсунет ему, как скверную макабральную шутку, образ лютнистки, сидящей в пламени. Он не ошибся. Ему пришлось извиниться перед G посреди любовного акта.

А потом он подумал, что неплохо было бы свои встречи с женщинами пока прервать. «До лучших времен», как говорится. Однако этот перерыв продолжался неделя за неделей, месяц за месяцем. И однажды он осознал, что никаких лучших времен уже не будет.

Часть 7. Торжество

1

Зеркала в гимнастическом зале уже многие годы отражают движения рук и ног; полгода назад по настоянию имагологов они вторглись и в зал с бассейном; с трех сторон нас окружали зеркала, четвертую сторону представлял огромный застекленный проем, открывавший вид на крыши Парижа. Мы сидели в плавках за столом, поставленным у края бассейна, где пыхтели пловцы. Между нами возвышалась бутылка вина, которую я заказал по случаю торжества.

Так и не успев спросить меня, что я отмечаю, Авенариус увлекся новой идеей:

— Представь себе, что тебе предстоит выбор между двумя возможностями. Провести любовную ночь со всемирно известной красавицей, допустим, с Брижит Бардо или Гретой Гарбо, но при условии, что это для всех останется тайной. Или, доверительно обняв ее за плечи, пройтись с нею по главной улице своего города, но при условии, что ты никогда не будешь обладать ею. Мне хотелось бы точно знать процент людей, предпочитающих первую или вторую возможность.

Но это предполагает статистические изыскания. Поэтому я обратился в несколько контор, проводящих опросы общественного мнения, однако мне всюду было отказано.

— Я никогда до конца не понимал, в какой мере надо принимать всерьез то, что ты делаешь.

— Все, что я делаю, нужно принимать абсолютно всерьез.

Я продолжал:

— К примеру, представляю тебя излагающим экологам свой план уничтожения автомобилей. Не мог же ты рассчитывать на то, что они его примут!

После своих слов я сделал паузу. Авенариус молчал.

— Или ты думал, что тебе будут рукоплескать?

— Нет, — сказал Авенариус, — я так не думал.

— Тогда почему же ты выступил с таким предложением? Чтобы окончательно развенчать их? Чтобы доказать им, что при всей их нонконформистской шумихе в действительности они часть того, что ты называешь Дьяволиадой?

— Нет ничего более бесполезного, — сказал Авенариус, — чем что–то доказывать недоумкам.

— Тогда остается лишь одно объяснение: ты хотел устроить потеху! Но и в таком случае твое

поведение мне представляется нелогичным. Не рассчитывал же ты на то, что среди них найдется такой, кто поймет тебя и будет смеяться!

Авенариус отрицательно мотнул головой и сказал с какой–то грустью:

— Нет, не рассчитывал! Дьяволиаду отличает полнейшее отсутствие чувства юмора. Комичное, хотя все еще существует, стало невидимым. Шутить уже не имеет смысла. — Потом он добавил: — Этот мир все принимает всерьез. Даже меня. А это уже предел!

— У меня скорее было ощущение, что никто ничего не принимает всерьез! Все жаждут только развлечений!

— Это одно и то же. Если стопроцентному ослу доведется сообщить по радио о начале атомной войны или о землетрясении в Париже, он и тогда будет стараться острить. Возможно, он уже сейчас для этого случая подыскивает подходящий каламбур. Но это не имеет ничего общего с чувством комичного. Поскольку в данном случае комичен тот, кто ищет каламбур, чтобы сообщить о землетрясении. Однако тот, кто ищет каламбур, чтобы сообщить о землетрясении, свои поиски принимает абсолютно всерьез, и ему даже отдаленно не приходит на ум, что он комичен. Юмор может

существовать лишь там, где люди различают некую границу между важным и неважным. Но эта граница стала сейчас неразличима.

Я хорошо знаю своего приятеля, часто забавляюсь тем, что подражаю его манере говорить и заимствую его мысли и идеи; но при этом что–то ускользает от меня. Его поведение нравится мне, привлекает меня, но я не могу сказать, что я полностью его понимаю. Когда–то я объяснял ему, что суть того или иного' человека можно выразить лишь метафорой. Высвечивающей вспышкой метафоры. Все то время, что я знаю Авенариуса, я тщетно ищу метафору, которая выразила бы его и помогла бы мне его постичь.

— Если это было не шутки ради, тогда зачем ты выступил с этим предложением? Ради чего?

Прежде чем он успел мне ответить, наш разговор прервало неожиданное восклицание:

— Профессор Авенариус! Возможно ли? От входа в нашу сторону направлялся мужчина в плавках, приятной наружности, лет пятидесяти — шестидесяти. Авенариус поднялся. Явно растроганные встречей, они долго жали друг другу руки.

Затем Авенариус представил его. Передо мной стоял Поль.

2

Он подсел к нам, и Авенариус широким жестом указал ему на меня:

— Вы не знаете его романов? «Жизнь в другом месте»! Вам надо его прочесть! Моя жена утверждает, что это потрясающе!

Во внезапном озарении я понял, что Авенариус никогда не читал моего романа; когда недавно он заставил меня принести ему роман, это было лишь потому, что его жене, страдающей бессонницей, приходится проглатывать в постели килограммы книг. Я огорчился.

— Я пришел, чтобы остудить голову в воде, — сказал Поль. Но, узрев на столе вино, сразу же забыл о воде. — Что вы пьете? — Он взял бутылку и внимательно стал рассматривать этикетку. Потом добавил: — Пью сегодня с утра.

Да, это было заметно, и я удивился: никогда не представлял его выпивохой. Я попросил официанта принести третий бокал.

Мы говорили обо всем на свете. Авенариус еще раз–другой упомянул о моих романах, которых не читал, и спровоцировал Поля сделать замечание, неучтивость которого меня слегка ошеломила:

— Романов не читаю. Мемуары, на мой взгляд, гораздо занимательнее и поучительнее. Или

жизнеописания. В последнее время я читал книги о Сэлинджере, о Родене, о возлюбленных Франца Кафки. И потрясающую биографию Хемингуэя. Ах, каков обманщик. Каков враль. Каков мегаломан, — радостно смеялся Поль. — Каков импотент. Каков садист. Каков мачо. Каков эротоман. Каков женоненавистник.

— Если в качестве адвоката вы готовы защищать убийц, то почему же не вступитесь за авторов, которые, за исключением своих книг, ни в чем не провинились? — спросил я.

— Потому что они действуют мне на нервы, — сказал Поль весело и налил вина в бокал, который официант как раз поставил перед ним.

— Моя жена обожает Малера, — продолжал он. — Она рассказывала мне, как за две недели до премьеры своей Седьмой симфонии он заперся в шумном гостиничном номере и все ночи напролет перерабатывал инструментовку.

— Да, — подтвердил я, — это было в Праге в тысяча девятьсот шестом году. Гостиница называлась «У голубой звезды».

— Представляю его в этом гостиничном номере, обложенного нотной бумагой, — продолжал Поль, не давая прервать себя. — Он был убежден, что все его сочинение будет загублено, если во

второй части вместо гобоя мелодию будет вести кларнет.

— Это совершенно точно, — сказал я, думая о своем романе.

Поль продолжал:

— Я хотел бы, чтобы однажды эта симфония была исполнена перед самыми посвященными слушателями сначала с поправками последних двух недель, а затем без оных. Бьюсь об заклад, что никто не сумел бы отличить одну версию от другой. Поймите, спору нет, замечательно, что мотив, исполненный во второй части скрипкой, в последней части подхватывает флейта. Все проработано, продумано, прочувствовано, ничто не предоставлено случайности, но это непостижимое совершенство превыше вместимости нашей памяти, нашей способности сосредоточения, так что слушатель, даже фанатически внимательный, поймет из этой симфонии не более одной сотой, причем определенно той сотой, которая Малеру представлялась наименее важной.

Его мысль, столь очевидно справедливая, веселила его, в то время как я становился все более грустным: если мой читатель пропустит хоть одну фразу моего романа, он не поймет его, а меж тем где на свете найти читателя, который не

пропускал бы ни строчки? Разве я сам не грешу тем, что пропускаю строчки и страницы больше, чем кто–либо другой.

— Я не оспариваю совершенства этих симфоний, — продолжал Поль. — Я оспариваю лишь важность этого совершенства. Эти возвышенные симфонии не что иное, как соборы бесполезного. Они недоступны человеку. Они сверхчеловеческие. Мы преувеличивали их значение. Мы чувствовали себя перед ними неполноценными. Европа свела Европу к пятидесяти гениальным творениям, которых никогда не понимала. Представьте себе это возмутительное неравенство: миллионы ничего не значащих европейцев против пятидесяти имен, являющих собою все! Классовое неравенство — ничтожное упущение против этого оскорбительного метафизического неравенства, которое одних превращает в песчинки, а на других переносит весь смысл бытия!

Бутылка была пуста. Подозвав официанта, я попросил принести еще одну. В результате этой паузы Поль потерял нить разговора.

— Вы говорили о жизнеописаниях, — подсказал я ему.

— А, да, — вспомнил он.

— Вы радовались, что наконец можете читать

интимную переписку мертвых.

— Знаю, знаю, — говорил Поль, словно хотел предупредить возражения противной стороны. — Уверяю вас: копаться в интимной переписке кого–то, допрашивать его бывших любовниц, уговаривать докторов выдать медицинские тайны — все это омерзительно. Авторы жизнеописаний — подонки, и я никогда не сел бы с ними за один стол, как с вами. Робеспьер также не сел бы за один стол с чернью, которая грабила и испытывала коллективный оргазм, наслаждаясь зрелищем казни. Но он знал, что без нее ничего не получится. Подонки — инструмент справедливой революционной ненависти.

— Что же революционного в ненависти к Хемингуэю? — сказал я.

— Я не говорю о ненависти к Хемингуэю! Я говорю о его творчестве ! Я говорю об их творчестве! Нужно было уже наконец сказать вслух, что читать о Хемингуэе в тысячу раз занятнее и поучительнее, нежели читать самого Хемингуэя. Нужно было показать, что творчество Хемингуэя — всего лишь зашифрованная жизнь Хемингуэя, что жизнь эта была столь же жалкой и ничтожной, как и жизнь всех нас.

Надо было наконец покончить с террором бес-

смертных. Свергнуть высокомерную власть всех этих Девятых симфоний и «Фаустов».

Опьяненный собственными словами, он встал и высоко поднял бокал:

— Я пью за окончание старой эпохи!

3

В зеркалах, отражавшихся друг в друге, Поль был повторен двадцать семь раз, и люди за соседним столом с любопытством взирали на его поднятую с бокалом руку. И два толстяка, вылезавших из маленького бассейна с подводным массажем, остановились, не отрывая глаз от двадцати семи рук Поля, застывших в воздухе. Сперва я думал, что он замер так, дабы придать драматический пафос своим словам, но потом я заметил даму в купальнике, только что вошедшую в зал: сорокалетнюю женщину с красивым лицом, с несколько короткими, но прекрасной формы ногами и выразительной, хотя и великоватой задницей, которая, точно толстая стрелка, указывала в пол. По этой стрелке я мгновенно узнал ее.

Поначалу она не заметила нас и направилась прямо к бассейну. Однако наши глаза впивались в нее с такой силой, что привлекли наконец ее внимание. Она покраснела. Когда женщина

краснеет, это прекрасно; в эту минуту ее тело не принадлежит ей; она не владеет им; она отдана на его произвол; ах, есть ли нечто более прекрасное, чем вид женщины, изнасилованной собственным телом? Я начал понимать слабость Авенариуса к Лоре. Я скосил на него взгляд: его лицо оставалось совершенно неподвижным. Это самообладание, казалось мне, выдавало его еще больше, чем Лору — румянец.

Она овладела собой, светски улыбнулась и подошла к нашему столу. Мы поднялись, и Поль представил нас своей жене. Я неотрывно следил за Авенариусом. Знал ли он, что Лора жена Поля? Мне думалось, нет. Насколько я знал его, он переспал с ней лишь однажды и с тех пор не видел ее. Но в точности я не был в этом уверен, как, впрочем, и ни в чем другом. Подавая Лоре руку, он поклонился, словно видел ее впервые в жизни. Лора тотчас попрощалась (даже слишком поспешно, подумал я) и прыгнула в бассейн.

Всю эйфорию Поля как рукой сняло.

— Я рад, что вы познакомились с ней, — сказал он меланхолично. — Как принято говорить, это женщина моей судьбы. Мне бы только радоваться. Жизнь коротка, и большинство людей так никогда и не находит женщину своей судьбы.

Официант принес новую бутылку и, открыв ее, стал наполнять бокалы, так что Поль снова потерял нить.

— Вы говорили о женщине своей судьбы, — подсказал я ему, когда официант удалился.

— Да, — продолжал он. — У меня трехмесячная дочурка. От первого брака у меня тоже дочь. Год назад она ушла из дому. Не попрощавшись. Я был в отчаянии, потому что люблю ее. От нее долго не было известий. Два дня назад она вернулась, поскольку ее любовник охладел к ней. Но до этого он успел сделать ей ребенка, дочку. Друзья, у меня внучка! Я окружен четырьмя женщинами! — Образ четырех женщин как бы влил в него новую энергию: — Вот почему я сегодня с утра пью! Пью за встречу! Пью за здоровье своей дочки и своей внучки!

Под нами в бассейне плавала Лора с двумя другими пловцами, и Поль улыбался. То была странная усталая улыбка, вызывавшая во мне жалость. Казалось, он внезапно состарился. Его пышная седая шевелюра вдруг стала походить на прическу старой дамы. Как бы силясь преодолеть нахлынувшую слабость, он снова поднялся с бокалом в руке.

Тем временем раздавались удары рук о водя-

ную поверхность. Держа голову над водой, Лора плавала кролем, неловко, но тем энергичнее и с какой–то злостью.

Мне сдавалось, что каждый из этих ударов бьет Поля по голове, подобно дополнительному году жизни: его лицо заметно старело на наших глазах. Оно было уже семидесятилетним, затем восьмидесятилетним, а он стоял и протягивал бокал, словно хотел остановить эту лавину лет, что обрушилась на него:

— Я вспоминаю одну известную фразу, которую говаривали во времена моей молодости, — произнес он голосом, потерявшим вдруг звучность. — Женщина — это будущее мужчины. Кто, впрочем, это сказал? Не помню. Ленин? Кеннеди? Нет, нет. Какой–то поэт.

— Арагон, — подсказал я ему. Авенариус недружелюбно сказал:

— Каков же смысл в том, что женщина — будущее мужчины? Что, мужчины превратятся в женщин? Я не понимаю этой дурацкой фразы!

— Это не дурацкая фраза! Это поэтическая фраза! — защищался Поль.

— Литература исчезнет, а глупые поэтические фразы останутся бродить по свету? — проговорил я.

Поль не принимал меня во внимание. Он узрел свой образ, двадцать семь раз повторенный зеркалами, и не мог отвести от него глаз. Поочередно обращаясь ко всем своим лицам в зеркалах, он говорил слабым высоким голосом старой дамы:

— Женщина — будущее мужчины. Это значит, что миру, который когда–то был сотворен по образу мужчины, отныне предстоит уподобляться образу женщины. Чем более техническим, более механизированным, металлическим и холодным будет мир, тем большая потребность возникнет в том тепле, которое может дать только женщина. Если мы хотим спасти мир, мы должны приспособиться к женщине, позволить ей руководить нами, проникнуться этим Ewigweibliche, этим вечно женственным!

Эти пророческие слова, казалось, совершенно его истощили. Поль стал вдруг еще на десять лет старше, это был уже совершенно немощный, обессиленный старичок, которому можно было дать от ста двадцати до ста пятидесяти лет. Он не способен был даже удержать бокал. Он рухнул на стул. Потом сказал искренне и печально:

— Дочь неожиданно вернулась. И ненавидит Лору. А Лора ненавидит ее. Материнство придало им обеим еще больше воинственности. Уже вновь

из одной комнаты несется Малер, из другой — рок. Уже вновь они хотят заставить меня выбирать, уже вновь предъявляют мне ультиматумы. Они вступили в борьбу. А когда женщины вступают в борьбу, они уже не останавливаются. — Затем он доверительно наклонился к нам: — Друзья, не принимайте меня всерьез. То, что вам сейчас скажу, неправда. — Он понизил голос, словно сообщал нам великую тайну: — Это огромное счастье, что до сих пор войны затевали только мужчины. Если бы их вели женщины, в своей жестокости они были бы до того последовательны, что нынче на земном шаре не осталось бы ни одного человека. — И, словно желая, чтобы мы сразу забыли о его словах, он, стукнув кулаком по столу, повысил голос: — Друзья, если бы музыка не существовала! Если бы отец Малера, застав его за мастурбацией, влепил бы ему по уху так, что маленький Густав оглох бы на всю жизнь и уже никогда бы не отличил барабана от скрипки. О, если бы из всех электрических гитар был выведен ток и подключен к стульям, к которым я собственноручно привяжу гитаристов. — Потом он добавил очень тихо: — Друзья, о, если бы я был еще в десять раз пьянее, чем сейчас!

Он сидел у стола совсем удрученный, и на это печальное зрелище невозможно было смотреть. Мы встали, подошли к нему и стали похлопывать его по спине. А похлопывая таким образом, мы вдруг увидели, что его жена, выйдя из воды, направляется мимо нас вон из зала. Она делала вид, будто нас и вовсе не замечает.

Она так сердилась на Поля, что не хотела даже взглянуть на него? Или ее смутила неожиданная встреча с Авенариусом? Но как бы то ни было, шаг, которым она прошла мимо нас, содержал в себе нечто такое сильное и притягательное, что мы перестали хлопать Поля по спине и все трое уставились ей вслед.

Когда она была уже у распашных дверей, ведших из зала в раздевалку, случилось неожиданное: она повернула голову к нашему столу и выбросила в воздух руку таким легким, таким прелестным, таким плавным движением, что нам почудилось, будто от ее пальцев отскочил ввысь золотой мяч и остался висеть над дверьми.

Лицо Поля внезапно расплылось в улыбке, и он крепко схватил Авенариуса за руку:

— Вы видели? Вы видели этот жест?

— Да, — сказал Авенариус, устремляя взгляд,

подобно мне и Полю, к золотому мячу, сияющему под потолком, как воспоминание о Лоре.

Мне было совершенно ясно, что жест этот был предназначен не пьяному мужу. Это был не автоматизированный жест вседневного прощания, это был жест исключительный и полный значений. Он мог быть предназначен лишь Авенариусу.

Поль, конечно, ничего не подозревал. Каким–то чудом с него опадали годы, это был уже снова пятидесятилетний мужчина приятной наружности, горделиво несущий свою седую шевелюру. Не отрываясь, он смотрел в сторону дверей, над которыми сиял золотой мяч, и говорил:

— Ах, Лора! Вот она какая! Ах, какой жест! В этом вся она! — А потом заговорил растроганным голосом: — Впервые она так помахала мне, когда я проводил ее до родильного дома. Чтобы иметь ребенка, ей пришлось перенести две операции. Мы боялись родов. Стараясь избавить меня от волнений, она запретила мне войти с ней. Я остался у машины, а она одна пошла к воротам и уже с порога повернула вдруг голову и так же, как минуту назад, помахала мне. Когда я пришел домой, мне стало ужасно грустно, я затосковал по ней и, чтобы представить ее рядом, постарался изоб-

разить для себя этот волшебный жест, которым она меня очаровала. Если бы кто–то тогда увидел меня, определенно посмеялся бы. Я стал спиной к зеркалу, выбросил руку вверх и при этом сам себе через плечо улыбнулся в зеркало. Думая о ней, я повторил этот жест раз тридцать — пятьдесят. Я был одновременно и Лорой, приветствовавшей меня, и самим собой, смотревшим, как Лора приветствует меня. Но удивительная вещь: этот жест не шел мне. В этом движении я был неисправимо неуклюжим и смешным.

Он встал и повернулся к нам спиной. Потом выбросил руку вверх и посмотрел на нас через плечо. Да, в самом деле: он был уморителен. Мы засмеялись. Наш смех подвигнул его повторить этот жест еще несколько раз. Чем дальше, тем он был смешнее. Потом он сказал:

— Видите ли, это не мужской жест, это жест женщины. Женщина этим жестом приглашает нас: поди сюда, следуй за мной, а вы даже не знаете, куда она зовет вас, и она этого также не знает, но зовет, уверенная, что стоит идти туда, куда она зовет вас. Поэтому я говорю вам: или женщина будет будущим мужчины, или человечество погибнет, ибо только женщина способна лелеять в себе ничем не обоснованную надежду и

звать нас в сомнительное будущее, в которое мы, не будь женщин, давно перестали бы верить. Всю жизнь я был готов следовать за их голосом, хоть голос этот и безумен, а я все что угодно — только не безумец. Но для того, кто не безумец, нет ничего прекраснее, чем идти в неведомое по зову безумного голоса! — И он снова торжественно повторил немецкие слова: — Das Ewigweibliche zieht uns hinan ! Вечная женственность манит нас к себе!

Как гордый белый гусь, стих Гёте хлопал крыльями под сводом бассейна, и Поль, отраженный в трех зеркальных поверхностях, удалялся к распашным дверям, над которыми продолжал сиять золотой мяч. Наконец я видел его искренне веселым. Он сделал несколько шагов, повернул к нам голову через плечо и выбросил руку в воздух. Он смеялся. Он еще раз обернулся, еще раз помахал. Потом изобразил в последний раз это неловкое мужское подобие красивого женского жеста и исчез в дверях.

5

Я сказал:

— Он прекрасно говорил об этом жесте. Но думаю, он ошибался. Лора никого не манила в будущее, она просто хотела дать тебе понять, что

она здесь и что она здесь ради тебя.

Авенариус молчал, и лицо его оставалось непроницаемым.

Я сказал ему укоризненно:

— Тебе его не жалко?

— Жалко, — сказал Авенариус. — Я искренне его люблю. Он умный. Он остроумный. Он сложный. Он грустный. И главное: он помог мне! Не забудь об этом! — Потом наклонился ко мне, словно не желая оставить без ответа мой невысказанный укор: — Я говорил тебе о своем проекте публичного опроса: кто хотел бы тайно спать с Ритой Хейворт и кто предпочел бы показываться с нею на людях. Результат, разумеется, я знаю заранее: все, включая самого разнесчастного горемыку, утверждали бы, что предпочитают с нею спать. Потому что все хотят выглядеть перед самими собой, перед своими женами и даже перед плешивым чиновником, ведающим опросом общественного мнения, гедонистами. Однако это их самообман. Их комедиантство. Гедонистов нынче уже не существует. — Последние слова он произнес с особой значительностью и затем, улыбаясь, добавил: — Кроме меня. — И продолжал: — Но, что бы они ни утверждали, появись у них возможность действительного выбора,

все, уверяю тебя, все предпочли бы пройтись с нею по улице. Поскольку для всех восхищение важнее наслаждения. Видимость, а не действительность. Действительность ни для кого ничего не значит. Ни для кого. Для моего адвоката она не значит вообще ничего. — Затем он сказал с какой–то нежностью: — И потому могу тебе торжественно обещать, что он не будет обижен. Рога, которые он носит, останутся невидимыми. Они будут цвета лазури в погожий день и серыми — в ненастный. — И заметил еще: — Впрочем, ни один мужчина не станет подозревать человека, насилующего женщин с ножом в руке, что он любовник его жены. Эти два образа несовместимы.

— Постой, — сказал я. — Он в самом деле думает, что ты собирался изнасиловать женщину?

— Я ведь говорил тебе.

— Я думал, ты шутишь.

— Я бы не выдал своей тайны! — Затем добавил: — Впрочем, даже скажи я ему правду, он бы не поверил. А если бы поверил, мигом перестал бы интересоваться моим делом. Я был для него ценен лишь как насильник. Он воспылал ко мне той непостижимой любовью, которую большие адвокаты способны испытывать к большим преступникам.

— Но как ты тогда все объяснил?

— Я ничего не объяснял. Меня выпустили за недостатком доказательств.

— Как это за недостатком доказательств? А нож?

— Не отрицаю, это было трудно, — сказал Авенариус, и я понял, что больше мне ничего не узнать. Я помолчал, потом сказал:

— Ты бы ни в коем случае не сознался, что прокалывал шины?

Он покачал головой.

Меня охватило особое умиление:

— Ты готов был сесть как насильник, лишь бы не выдать игры…

И тут я понял его: если мы отказываемся признать значимость мира, который считает себя значимым, если в этом мире наш смех совсем не находит отклика, нам остается одно: принять этот мир целиком и сделать его предметом своей игры; сделать из него игрушку. Авенариус играет, и игра для него — единственная значимая вещь в мире, лишенном значимости. Но он знает, что этой игрой он никого не рассмешит. Когда он излагал экологам свой план, он никого не собирался развлекать. Ему хотелось развлечь только самого себя.

Я сказал:

— Ты играешь с миром, как меланхоличный ребенок, у которого нет братика!

Да, это метафора для Авенариуса! Я ищу ее с тех пор, как знаю его! Наконец!

Авенариус улыбался, как меланхоличный ребенок. Потом сказал:

— Братика у меня нет, зато есть ты.

Он встал, я тоже встал, и похоже было, что после его последних слов нам ничего не останется, как обнять друг друга. Но, тотчас осознав, что мы в плавках, испугались столь интимного прикосновения наших обнаженных животов. Смутившись, мы засмеялись и отправились в раздевалку, где из динамика раздавался такой визгливый женский голос в сопровождении гитар, что у нас пропала охота продолжать разговор. Мы вошли в лифт. Авенариус поехал в подвальный этаж, где был припаркован его «мерседес», а я вышел на первом этаже. С пяти плакатов, развешанных в зале, улыбались мне пять разных лиц с одинаково оскаленными зубами. Я побоялся, что они укусят меня, и быстро вышел на улицу.

Мостовая была забита непрерывно гудевшими машинами. Мотоциклы въезжали на тротуары и пробивались между пешеходами. Я думал об

Аньес. Ровно два года, как я впервые представил ее себе, поджидая в шезлонге наверху в клубе Авенариуса. То была причина, по которой я заказал сегодня бутылку вина. Роман был закончен, и мне захотелось отметить это событие на том самом месте, где родилась первая идея замысла.

Машины гудели, и слышны были крики разгневанных людей. В такой ситуации Аньес когда–то мечтала купить незабудку, только один цветок незабудки: она мечтала держать его перед глазами как последний, едва приметный отблеск красоты.

Окончено в декабре 1988 года в Рейкьявике